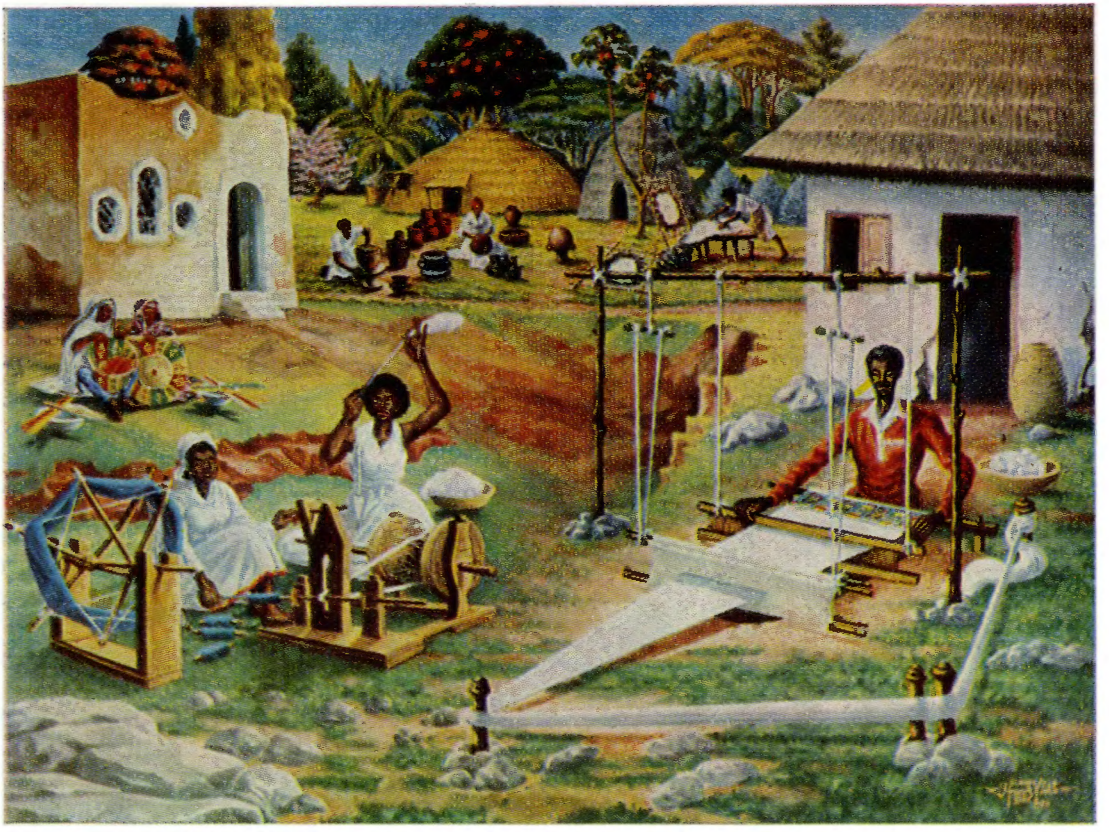
ISSN 0130 – 6545

8.1981

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Фрагмент настенной росписи «Эфиопия строит будущее»

Иллюстрации номера — работы эфиопского художника Афеворка Текле

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

8 август 1981

Содержание

АУЛИККИ ОКСАНЕН — Стихи о Кампучии *(Перевод с финского и вступление Николая Добронравова)* 3

ЭРЖЕБЕТ ГАЛГОЦИ — Церковь святого Христофора *(Повесть. Перевод с венгерского Е. Малыхиной)* 10

ЛУИЗА РИНЗЕР — Черный осел *(Роман. Окончание. Перевод с немецкого В. Котелкина)* 66

Рассказы бельгийских писателей

ПЬЕР МЕРТЕНС. АЛЬБЕР ЭППАРС *(Переводы с французского О. Тимашевой и Норы Галь)* 133

ПИТЕР УСТИНОВ — Крамнэгел *(Роман. Перевод с английского Ю. Зараховича)* 148

Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО — Из «Последних стихотворений» *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 183

Критика

Т. МОТЫЛЕВА — Актуальность антифашистского романа (Размышления о нескольких книгах) 191

О. ТИМАШЕВА — Контур лица (О современной франкоязычной литературе Бельгии) 200

Культура и современность

А. ВАЩЕНКО — «Служить конкретным целям» (По страницам периодики индейцев США) 207

Публицистика

Проблемы идеологии

Ю. КАГРАМАНОВ — Еще о носорогах (По поводу некоторых новейших идеологических трансформаций на Западе) 211

ДЖЕНЕТ БРУИН — Голоса Хиросимы *(Перевод с английского В. Воронина)* 223

Отклики, встречи, впечатления

В. ПЕРЕХВАТОВ — Эфиопский блокнот 230

Наши публикации

Н. ПРОЖОГИН — Достоевский во Флоренции 237

Антирубрика

Австралийские рассказы

РОБИН РОБЕРТСОН. МОРИН ПОПЛ *(Перевод с английского Л. Завьяловой)* 245

АНХЕЛЬ АНТОНИО МИНГОТЕ — Корова на рельсах. Звонарь *(Перевод с испанского А. Балжи)* 247

КАРЛ КРАУС — Афоризмы *(Перевод с немецкого А. Репко)* 249

Наши гости

А. Веселицкий — Альдо Де Яко. Элио Филиппо Аккрока (Италия) 250

Среди книг

Издано в СССР

Н. Литвинец — Лоцман в книжном море ✦ А. Зверев — Торжественный настрой 253

Издано за рубежом

Н. Попова — Открытие Бретани ✦ Б. Парникель — Роман, сочиненный на острове Буру ✦ Г. Злобин — Не только про любовь 257

Советская литература за рубежом 264

Из месяца в месяц 65, 147, 199, 265

На 1-й странице обложки: АФЕВОРК ТЕКЛЕ (Эфиопия). Фрагмент настенной росписи «Эфиопия строит будущее».

На 4-й странице обложки: АФЕВОРК ТЕКЛЕ. Витраж, выполненный для «Дома Африки» — штаб-квартиры организации Африканского единства в Аддис-Абебе.

© «Иностранная литература», 1981.

АУЛИККИ ОКСАНЕН

Стихи о Кампучии

Перевод с финского НИКОЛАЯ ДОБРОНРАВОВА

От переводчика

Имя Ауликки Оксанен хорошо известно в Финляндии. Она пишет прозу и стихи, публицистические статьи и рассказы для ребят. Она прекрасно рисует, некоторые книги свои оформляет как художник.

Когда я увидел ее впервые, мне показалось, что где-то с ней уже встречался,— настолько по-фински хрестоматийна ее внешность. Синеокая, светловолосая, словно появилась она в холле московской гостиницы «Юность» прямо из древних финских рун...

Однако общественному темпераменту этой типичной женщины севера могли бы позавидовать самые горячие представители южных народов. Создается в Хельсинки прогрессивный «Ком-театр» — Ауликки Оксанен принимает в его рождении самое активное участие. Ширится и крепнет в Финляндии движение сторонников мира — Ауликки на улицах, в рядах демонстрантов. Готовит новую программу популярный финский ансамбль «Агитпроп» — и здесь не обойтись без участия поэтессы.

Не случайно встретились мы с ней снова на международном фестивале политической песни в Хельсинки — многие современные финские политические песни написаны на ее стихи. Ауликки не пропускала ни одного концерта, внимательно вслушивалась в ритмы молодежных песен, в причудливые напевы Африки, в многоцветные мелодии Латинской Америки. Но именно в эти дни я понял, что Ауликки Оксанен больше всего на свете все-таки любит свои родные финские песни. Когда я услышал, как спокойно и чисто поет она ласковую протяжную песню о человеке, родившемся в сауне, я подумал, что первое впечатление от встречи с ней все-таки не было ошибочным: передо мной действительно типичная представительница страны Суоми, «хрестоматийно» финская женщина. С истинно финской рачительностью и аккуратностью ведет она свое домашнее хозяйство, воспитывает детей. Но, повторяю, это не мешает ей жить кипучей общественной жизнью, ибо, может быть, самое пленительное качество Ауликки Оксанен — отзывчивость... Сердце ее откликается на людские беды и радости, она всегда готова принять участие в близкой ли, далекой ли, но взволновавшей ее человеческой судьбе.

И вот она отправляется в Кампучию. Она поражена величием древних памятников и храмов. Ауликки слышит рассказы о страданиях испытавшего геноцид народа. Она не может не поделиться с людьми увиденным и услышанным в далекой южной стране и пишет цикл стихов, трагических и яростных. Цикл этот и предлагается вниманию читателей.

АУЛИККИ ОКСАНЕН — AULIKKI OKSANEN (род. в 1944 г.).

Финская поэтесса и прозаик. Начало ее литературной деятельности относится к 1963 г. Ей принадлежат сборники стихов «Земные песни» («Maallisia lauluja», 1974), «Семь раков и семь скорпионов» («Seitsmän rapua, seitsmän skorpiona», 1979), поэма «Космическая птица» («Avaruuslintu», 1973), посвященная 25-летию договора о дружбе между СССР и Финляндией, роман «Смерть лошади» («Hevosen kuolema», 1966), сборники рассказов «Так рождаются слезы» («Näin syntyy kyyneleet», 1970), «Похитители вишен» («Kirsikkavarkaat», 1976) и др. За книгу для детей «Юка и луна» («Ykä ja kuu», 1979) она была удостоена Национальной литературной премии.

Советским читателям Ауликки Оксанен известна по повести «Старшая сестра и младший брат» (М., «Прогресс», 1979), а также по стихотворениям, публиковавшимся в периодике и в поэтическом томе серии «Библиотека финской литературы».

Публикуемый цикл стихов взят из журнала «Культурные тетради» («Kulttuurivihkot», 1980, № 6).

I. Европейская скорбь

Европейская скорбь, элегантная скорбь.
Скорбь, словно траурный зонтик, прикрывающий череп
от базальтовых глыб — сгустков гнева и боли,—
что швыряют вулканы земли в направленье Европы.
Европейская скорбь, утонченная скорбь.
Одинокий поэт... Гладь лазурной воды...
Мысль о бренности жизни... Мысль о смерти,
избавляющей от земного страданья.
Припорхнул ветерок, покачнулась черемухи крона
и ее отраженье в глубине тихих вод,
словно призрак несчастной, погибшей невесты...
И дрожат, и качаются в стылой воде кружева...

Европейская скорбь, мимолетная скорбь.
Скорбь, похожая на обшарпанный занавес,
укрывающий от ураганов и бурь.
Утомленный интеллектуал приближается меланхолично
к кабачку, словно к центру культуры, к разгадке...
Он все ищет свое нераскрытое «я».
А ветер крепчает...
Он хрипит, он не может никак докричаться
до людей, чтобы им рассказать о кошмарах:
силуэты повешенных в темном качаются небе,
кровь детей высыхает, как на мухобойке.

Мир безумен. Клокочет вулкан Кампучии.
А тебя утешает вино и печальная песня с эстрады...

II. Боги Ангкора

Помилуй нас, Уша, повелительница зари, помилуй нас!
Оживи статуи, статуи Ангкора, оживи древних богов!
Вели равнодушному солнцу отныне стыдиться восхода,
вели заре устрашиться своих кровавых лохмотьев,
а ночью,
когда темно,
когда страх, икая, рыскает в такт выстрелам, злым и частым,
и осыпаются кирпичи, бушует огонь и ящерицы замирают
глубоко в своих норах, осязая смерть,—
в эту черную ночь, в эту страшную ночь
помилуй нас, Уша, повелительница зари, помилуй нас!

Проснись, Вишну, проснись!
Ты спишь под бронзовой митрой в тишине вековечных храмов.
Проснись, Вишну, проснись,
стряхни со своих ушей пыльцу цветущего лотоса,
шелест подолов небесных твоих танцовщиц.
Проснись, Вишну!
Услышь, Вишну, услышь,
как стонет кхмерский народ,
подобно пугливому буйволу, пронзенному алчным копьем.

Спеши, Вишну, спеши,
спеши на крыльях Гаруды в наш разрушенный город.
Вдави в землю, вдави
саранчу в человечьем обличье,
одетых в черную форму термитов Пол Пота!
Услышь, Вишну, услышь
в гуле древних храмов Ангкора
стон поникшего в муках народа,
сохрани гордому кхмеру
его непокорную кровь!

Божественный Наг на радуге
под небосклоном тысячеоким,
властитель дождей Наг, выслушай нас!
В древнейшие времена,
когда из молока вселенского хаоса
змеиным хлыстом твоего могучего тела
были сбиты миры,
когда из пространства бурь
выкатывались шары, огненные, шероховатые — будущие планеты,—
ведь ты тогда не хотел,
ведь ты тогда не желал
появленья такого страданья
ни на одной из них!
Зачем, Наг, зачем
тогда, на заре веков,
позволил бы ты брамину
высадиться в Фоу Нани,
свадьбу сыграть с дочкой змеиного короля
и стать королем?
Зачем, Наг, зачем
благословил ты их на потомство,
подарил дожди планете и муссонные ветры счастья?
Зачем, Наг, зачем
покрыл ты землю кхмеров
вековым плодородным илом?
К чему, Наг, к чему
все великие царства эти, переплетающиеся культуры,
если ты позволяешь погибнуть,
если ты разрешаешь погибнуть
всему от безумного варварства?

Очнись, Будда, очнись!
Ты стоишь безмолвный, бесчувственный
у дверей загадочной вечности...
Очнись, Будда, очнись!
Поверни в нашу сторону голову, погруженную в тишину времен.
Ответь, Будда, ответь,
может ли человек
избежать страданий, как статуя?
Ответь, Будда, ответь,
можно ли затеряться среди вечных колонн Ангкора,
можно ль, как рыба, скрыться
в углубленьях рельефа рисунка,
можно ль остановиться —
как бронзовый шлейф, как каменный конь, как выгравированная легенда?

Ответь, Будда, ответь,
может ли человек
принять без борьбы насилье,
принять без борьбы горе,
смерть принять без борьбы?

III. Заглушенные голоса

...Мать вздрогнула. Они стучались в дверь.
В руках у матери от страха вдруг заплясали
старинных вилок костяные ручки.
Они вломились в дом. И на пороге
остались после выстрелов три трупа.
И я была одним из них.

...Погасло электричество. Умолк приемник.
Нас выстроили всех, как пленных: руки вверх!
С текстильной фабрики нас выгнали на улицу —
четыреста ткачих.
И я была одной из них.

...Они в своих черных формах прогрызли Пномпень, как
крысы.
Они обглодали город. Остался один скелет.
Из мертвых домов бежали те, кто сумел бежать.
На дальней глухой дороге был наш первый привал.
Стонали кормящие матери с младенцами на руках,
и в темноте казалось: покачиваются деревья, разбросанные
тайфуном.
В пути потерялись многие.
Была я одной из них.

Все было под запретом: детство, школы.
Болезни. Старость. Интегралы. Песни.
А вместо них — звенели кандалы
с клеймом на каждом Made in China[1].

IV. Ложа свидетелей

ЮИТ КИМ СЕНГ

У нас у всех были семьи.
У них у всех — автоматы.
Мы хотели идти все вместе.
Полпотовцы нас расшвыряли.
Меня погнали на север.
Жену и детей — на запад.

Мы долго маршировали —
несчастная наша группа.
У нас было восемь женщин.
У них было восемь способов
самых разных убийств.

[1] Сделано в Китае *(англ.)*.

Казненные были грамотны
(раньше работали машинистками).
Они обвинили женщин
в провозглашенье опасных идей.

КХАМ НАРЫ

Я не помню, не помню, не помню,
куда нас вели... откуда...
В какой тюрьме нас пытали...
Как долго? Не помню точно...

Я не помню, не помню, не помню,
кто сказал мне, что сына убили...
Он успел только крикнуть: «Мама!»,
только крикнуть: «Мама! Спаси!»
Я упала без чувств на землю...
Сколько я была без сознанья,
я не помню... не помню точно...

Сколько было беременных женщин
среди нас — я не помню тоже...
Знаю: всех ОНИ заставляли
готовить компост
из людских останков.

И тогда в одной из могил
вдруг увидела башмачок
с левой ножки сына...
Это я... своими глазами...
Снова обморок был. Считался
даже обморок преступленьем.
Из-за этого я сверх срока
вновь раскапывала могилы.
Вот это я помню точно:
семь дней сверх срока.

ПЕОУ ЮЛЕНГ

Вы знаете состоянье, когда не хватает слез?
И дни и ночи я думал
о пропавших жене и детях.
Я думал о близкой смерти.
Но плакать уже не мог.

Я голоден был безумно. Они нам давали похлебку.
Пятнадцать часов работы за миску жидкого супа...
Мы все ожидали смерти, и у нас не хватало слез.

Когда я был помоложе, я снялся в нескольких фильмах.
Люди меня любили. Знали меня в лицо.
Меня ни один не выдал. Поэтому я и спасся.

ЧАЙНИ

Перед самым освобождением
войска Пол Пота
гнали нас в горы на запад.
Быть может, вы не поверите,—
голодное войско съело младшего из моих братьев.
Они зарезали мать. Я видел, как двадцать солдат
делили теплую печень.
Я остался в живых один.
Возможно, я несъедобен.

ХОАНГ ВУ

Я крестьянин из Ан Гианга.
Помню: ночь, весна. Я совсем мальчишка...
В эту ночь в деревне Ба Гуца
убили две тысячи человек.

...Топорами рассечены детские головы.
Почерневшие комья в болотных ямах.
...Груды тел. Лохмотья. Обрубки.
Клады ужасов в черных ямах.
Страшно мне говорить об этом.
Но я это видел, видел!
Теперь я уже старик...

V. Болотная лихорадка

О, бамбук Баттамбанга — раскаленный от солнца бамбук.
Ты растешь вверх ногами. Упираешься в небо корнями.
Бамбук Баттамбанга, твои корни рождают прохладу —
и на них вызревают лимонами желтые звезды.
Я тянусь и тянусь. Я губами хочу дотянуться
до корней твоих звездных, бамбук Баттамбанга.

В лесах Баттамбанга летает свирепый москит.
У него голос гнуса и пухлые губы вампира.
Вертолетные крылья его из китайского шелка.
Он садится на спину мою. Я дрожу
от мороза в тропический полдень... Спасите...
Кувыркается солнце луною в лесах Баттамбанга.

Обезумевший слон в древних пагодах Баттамбанга.
Он ворвался сюда сокрушить, растоптать все живое.
Как прозрачная ваза, расколоты тысячелетья...
Где мой дом? Ты ли это, моя Кампучия?
Я тянусь и тянусь. Я никак не могу дотянуться
до корней твоих звездных, бамбук Баттамбанга.

VI. Тихая песня об освобождении

Кампучия, Кампучия,
Свет родных полей...
Наг по радуге пронесся —
Повелитель змей.

Кампучия, Кампучия,
Мудрые века...
Тихо кланяются храмам
В небе облака.

Кампучия, Кампучия,
Страждущий народ.
Миллионы наших братьев
Истребил Пол Пот.

Кампучия, Кампучия,
Горький дым костра...
В окровавленной одежде
Младшая сестра.

Кампучия, Кампучия,
Ты не пала ниц,
Встал народ непобежденный
Покарать убийц.

Стебель риса как надежда,
Как росток весны...
Кампучия, Кампучия,
Новый день страны.

■

ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский поэт, прозаик. Автор ряда повестей для детей и юношества и стихотворных сборников «Созвездие Гагарина», «Вечная тревога», «Стихи и песни».

ЭРЖЕБЕТ ГАЛГОЦИ

Церковь святого Христофора

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского Е. МАЛЫХИНОЙ

«Да, Жофика, да, это бегство, дорогая моя»,— твердила она про себя, сидя за рулем «трабанта». Тридцать два года, худая, невыспавшаяся, непроспавшаяся после вчерашнего. Вчерашнего?.. Это тянется уже две недели, не меньше.

Дорога к селу была почти пустынна. Часы на щитке показывали восемь. Она выехала из Будапешта в пять утра, спать все равно не могла. Ярко сияло солнце, июньские поля по обе стороны дороги, словно огромная палитра, роскошно переливались всеми оттенками зеленого: зелень гороха и зелень ряски, зелень маслин, плесени, бутылочного стекла, гусиных испражнений, зелень моря, и желчная зелень, и сытая, сочная зелень... «Сейчас самый расцвет, а там все поблекнет, пожухнет... Как, впрочем, и ты,— вернулась она к своим мыслям.— Ты ведь для того и взялась за эту работу, чтобы не оставаться в Пеште... чтобы не покатиться под откос!.. Не пропить свой талант, если он у тебя есть! Чтобы не покончить с собой!.. Ты пригвоздил руки и ноги мои, ты пересчитал все кости мои...»

Жофия въехала в село. Взгляд ее скользнул по крышам домов, но церковной башни не было видно. Вот уже и главная площадь осталась позади — самое обычное место для сельской церквушки,— как вдруг на одном из поворотов она увидела за трухлявой дощатой оградой лесок и стройную башенку, едва возвышавшуюся над верхушками деревьев. Следуя вдоль ограды, она отыскала вход. Посыпанная желтым гравием дорожка, заброшенный парк — впрочем, некогда здесь собрали всю флору Европы: среди елей, сосен и лиственниц произрастали буки, дубы, ольха, липа, вяз, кизил, каштан, клен и много деревьев с темно-лиловой листвой, названия которых Жофия не знала. В этом парке стояла капелла.

Какое трогательно-грациозное строение!.. Тупой угол треугольника фронтона плавно переходит в необычайно стройную башенку. На

ЭРЖЕБЕТ ГАЛГОЦИ — GALGÓCZI ERZSÉBET (род. в 1930 г.).

Венгерская писательница, лауреат трех премий имени Аттилы Йожефа и премии имени Кошута. Окончила высшую театральную школу, работала на киностудии, занималась журналистикой. Печатается с 1950 г. Автор повестей, множества новелл, очерков, киносценариев. Рассказы ее составили несколько сборников, в том числе «Гостинцы из дому» («Egy kosár hazai», 1953), «Паренек из замка» («Fiú a kastélyból», 1968), «Доказательств нет» («Bizonyíték nincs», 1975), «Рядом нож» («Közel a kés», 1978) и др.
В русском переводе рассказы Э. Галгоци печатались в антологиях и журналах, в том числе в «ИЛ» (1971, № 3), вышла также повесть «На полпути» (М., «Прогресс», 1973).
Повесть «Церковь святого Христофора» была опубликована в журнале «Кортарш» («Szent Kristóf kápolnája», Budapest, «Kortárs», 1980, № 1). Эта повесть войдет в книгу «Современная венгерская проза», которая готовится к печати в издательстве «Художественная литература».

давно не беленной стене проступают едва заметные цветные пятна — сырость или остатки фрески? Одна створка великолепной кованой двери распахнута. Жофия остановила «трабант» и вошла в церквушку.

Между двумя рядами скамей дешевая дорожка из кокосового волокна вела к алтарю. Благородных очертаний алтарь с колоннами красного мрамора, повторяющий полукружие апсиды, обрамляет большой алтарный образ святого Христофора в красной мантии. Когда-то, должно быть, на картине бушевали романтические краски: густо-синяя вода, густо-зеленые поля, густо-коричневые и черные тучи, пурпурная мантия, но теперь все это поблекло, вспучилось пузырями, облупилось; время, сырость, превратности судьбы оставили свой след, будто на состарившемся лице человеческом. Стены церквушки побелены, примитивно расписаны сценами крестного пути, между фресками — гербы из красного мрамора с выцветшими рисунками и надписями.

Жофия остановилась у красной мраморной чаши со святой водой, опустила пальцы в прохладную воду, отдавая дань приличиям, перекрестилась. Воздух церкви овевал кожу приятным холодком, и в душе ее начал пробуждаться смутный интерес.

У алтаря служил мессу грузный, неспешно двигавшийся священник лет семидесяти. «Декан Тимот Жидани,— подумала Жофия,— тот, кто подписал заказ». Круглая физиономия с крючковатым носом основательно заплыла жирком, и все же это полное лицо с ярко-красными губами и большими серо-голубыми глазами было открытым и выразительным, словно у ребенка или у артиста. Он сосредоточенно бормотал слова молитвы, однако живой трепет мясистых ноздрей и то и дело трогавшая губы улыбка явственно говорили о том, что старик наслаждается и лучами июньского солнца, проникавшими снаружи сквозь узкие оконца, и ароматом свежесрезанных роз, что красовались в вазах алтаря.

Священнику помогала при богослужении одна-единственная восьмидесятилетняя старуха, худая как палка; министрант, ризничий и звонарь в одном лице, а кроме того, уборщица, декоратор престола и казначей прихода, она деловито сновала по церкви, как будто по собственному дому между кухней, чуланом и комнатой, где лежит больной муж.

Два старика привычно и согласно исполняли каждодневные свои обязанности, однако заметили все же, что в церковь вошел кто-то чужой; из-за огромных темных очков лица почти не видно, неправдоподобно тоненькая фигурка облечена в элегантно простой темно-синий брючный костюм, кремовая блуза, туфли без каблуков, дамская сумка — только по ней и видно, что женщина. Незнакомка отступила от чаши со святой водой и неслышно пошла вдоль стены, разглядывая мраморные дворянские гербы, забранные решеткой исповедальни, мигающую лампадку в алтаре.

По окончании мессы Жофия последовала за двумя стариками в ризницу. Сняла темные очки, на болезненно-бледном лице появилась вежливая улыбка.

— Добрый день, господин декан,— протянула она руку.— Жофия Тюю, реставратор.

Среди отсыревших, с пятнами плесени стен, рядом со скрюченной старушонкой в платке и какой-то серой хламиде она была словно свежее дыханье. Старый священник с радостным удивлением разглядывал ее — глаза засветились лаской, полные красные губы раздвинулись в улыбке. Он пожал девушке руку.

— Так это вас к нам направили?

«Направили?..» Лицо Жофии дрогнуло. Уж как она добивалась этой работы в провинции!

— Я рад, что прислали именно вас, дорогая Жофия... Вы мне позволите так называть вас?.. Тимот Жидани. А вот перед вами,— указал он на старушку,—казначей нашего прихода, тетушка Агнеш Линкаи.

Старушка оживилась, заулыбалась.

— Вы, значит, церкви расписываете?

— Н-ну... вроде того.

Священник, чуть отвернувшись, сбросил стихарь. На нем оказался обычный темно-серый костюм и легкая белая рубашка.

— Документацию получили?

— Да.— Жофия внимательно оглядела ризницу. В одном углу свод потолка доходил чуть ли не до самого пола, и ниша похожа была на большую печь.— По фотографиям судя, я и не думала, что здание так интересно... Мне кажется, господин декан, стоило бы реставрировать всю церковь, не только алтарный образ.

— У нас нет на это денег. Сколько есть — и то верующие собрали.

Старуха, заботливо свернув пастырское облачение, уложила его в старинный, с резьбою, сундук. И вдруг возбужденно заговорила:

— Толковала я вам, господин декан, чтобы не только в церкви собирать! Кто нынче ходит в церковь? Одна-две старухи вроде меня! А надо было по всему селу пройти! Сельский совет попросить! Кооператив!.. У кого в селе теперь деньги водятся? У сельхозкооператива!.. Коли бассейн построить могут, могли б и на церковь раскошелиться!.. Я вам когда еще толковала!

— Не столь великая ценность церквушка эта, тетушка Агнеш,— терпеливо принялся объяснять декан.— В восемнадцатом веке когда-то построена. На такое у епархии денег нет. У комитета по охране памятников тоже... Их средства на епископский дворец пойдут, на собор кафедральный — неподалеку от него опять остатки римских сооружений нашли — да на лебеньскую церковь [1]... Были тут из разных учреждений, обследовать обследовали, но реставрировать не взялись, потому что...— Покосившись на реставратора из Будапешта, старик тактично умолк.

— Знаю,— Жофия пожала плечами.— Считают, что не стоит трудов, да? — Она достала из сумки сигарету, но из уважения к святыне не закурила, только вертела сигарету в пальцах.— В Венгрии памятников так мало, что, даже если обнаружен какой-нибудь двухсотлетний погреб, наш долг и его сохранить.

Старая Агнеш попрощалась.

— Ну, вы уж покрасивше тут разрисуйте!

Декан остановился посредине нефа и, пока Жофия осматривалась, рассказывал:

— Это церковь помещичья, ее Семереди строили. Старый дворянский род, тысячью хольдов [2] владели. В замке теперь школа. Из усадебных построек сохранилась еще корчма, а конюшни, сараи, амбары в сорок пятом разнесли батраки... По кирпичику разобрали. Характерно, увы, что корчму пощадили.— Он указал на алтарь.— Святой Христофор, заступник путешествующих и кладоискателей. Легенду о нем знаете? — Жофия кивнула.— Когда господь наш Христос обходил землю со святым Петром, возжелали они через большую реку перебраться, а как это сделать — лодки нигде нет. И тут как раз святой Христофор подошел, перенес он сперва святого Петра, потом вернулся за Иисусом. Дошел до середины реки да и говорит: «О господи, создателю, уж не свет ли целый на себе несу?» «Его и несешь»,— ответил ему Иисус... По другой легенде, отправился Христофор на поиски величайшего из всех сокровища, а величайшее-то сокровище — то, что нашел он Иисуса... Оттого, вероятно, и почитают его патроном кладоискателей.

— В неважном он состоянии,— заметила Жофия, ближе подойдя к алтарю.— Картина, кажется, очень старая... И, возможно, не всегда здесь висела. Быть может, ее прятали в подвале, в склепе...

Священник, не слушая, задумчиво стоял посреди церкви.

---

[1] Церковь XIII века, известный памятник средневекового зодчества на западе Венгрии, неоднократно реставрировался. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Хольд — венгерская мера земли (ок. 0,57 га).

— Тридцать лет назад, в сорок восьмом — сорок девятом, прихожане надумали строить церковь, эта мала оказалась, уже не вмещала всех. Тогда еще люди веровали. Зазвонит, бывало, колокол в полдень, так они и во время жатвы, прямо среди поля, хоть разок да прочтут «Отче наш...». А нынче на алтарный образ с грехом пополам собрали... Неужели это так много — тридцать лет?

В нише под ризничным сводом Жофия обнаружила побеленную известкой, чуть ли не потайную дверцу.

— Эта дверь в склеп ведет?

Спросила она просто так, без всякого любопытства или заинтересованности, но декан резко вскинул голову.

— Из чего вы заключаете, что здесь имеется склеп?

— Капелла старого дворянского рода, семья, очевидно, здесь хоронила своих покойников. Можно взглянуть?

Священник испытующе, со скрытой тревогой смотрел на явившуюся из столицы незнакомку.

— Что вы хотите увидеть в обычной усыпальнице?

Жофия не понимала, к чему эти увертки, и ответила с некоторым нетерпением:

— То, что там есть! Стены. Камни. Гербы. Надгробные надписи. Саркофаги. Барельефы... почем я знаю.

— Ключа со мной нет,— отозвался священник, колеблясь.— Я храню его у себя дома.

Жофия, спросившая о склепе лишь из профессионального педантизма, теперь была чуть-чуть разочарована необъяснимым сопротивлением священника.

— Ну что ж, до другого раза.

Когда они вышли из капеллы, июньская жара, яркое солнце, буйная растительность парка объяли их так плотно, что казалось, они попали в какую-то иную сферу. В глубине, из-за деревьев, просвечивала охряная желтизна барского дома. У наружной стены церквушки Жофия увидела несколько замшелых, позабытых надгробий — одни упали, другие стояли еще, совсем покосившись.

— А здесь кого хоронили?

— Не совсем полноправных членов семейства Семереди. Невесток, не родивших потомства... Двухдневных младенцев... Компаньонку из Швейцарии... Надписи уже почти стерлись.

Декан запер церковь и теперь весело раскачивал на пальце большой и нарядный ключ. Казалось, у него стало легче на душе.

— Вы уже завтракали? Я был бы очень рад...

Жофия так набила «трабант» багажом, что заднего сиденья не было видно. Теперь, освобождая переднее сиденье, она втиснула туда еще несколько сумок.

— Садитесь, господин декан... Значит, хоронили все-таки в склепе.

Дом священника, о восьми окнах, стоял на углу; когда-то он выглядел, должно быть, внушительно, но теперь, допотопный рядом с обступившими его кричаще новенькими, двухэтажными крестьянскими хоромами, напоминал амбар. Под его сводчатыми воротами когда-то свободно проезжала телега с сеном, запряженная четверкой волов. Во двор выступала широкая терраса на столбиках, переходившая в застекленный коридор. Огромный, заботливо возделанный двор делился на цветник и огород. Море цветов — вьющиеся и кустовые розы, заросли сирени, гладиолусы, бегонии, бархатцы, кукушкины слезки, трясунки разноцветные, пеларгонии, флоксы, циннии... Пиршество цветов ошеломило Жофию; декан с гордостью наблюдал за выражением ее лица.

— Какая красота! — прошептала Жофия. Вот ведь и так можно жить, а не среди цветов-трупов, которые она забывает поливать, потому что другим занята голова...

— Люблю жизнь вокруг себя,— скромно заметил декан.— В прежние времена сельскому священнику здесь отводили целый надел, двадцать пять хольдов. Да и сейчас полагается восемьсот квадратных саженей от сельхозкооператива, но куда же мне столько? И так-то напросишься, пока подрядишь человека хоть двор вскопать, засеять да промотыжить.— Увидев в огороде то и дело склонявшуюся к земле женщину, он крикнул громко: — Пирока, у нас гостья!

Грузная женщина лет пятидесяти в ярком халате и в синих, донельзя стоптанных домашних туфлях, тяжело ступая, шла к ним из огорода. Держа на левой руке соломенную кошелку с только что надерганной редиской, она протянула Жофии выпачканную в земле правую руку. На мясистом лице — заученная любезная улыбка.

— Жофия Тюю, реставратор.

— Очень рада. Как же, наслышаны о вашем искусстве!

Жофия оторопела.

— О моем искусстве?.. В этом селе?.. Да ведь меня и среди коллег...

Но вдруг Пирока буквально набросилась на нее:

— А вот скажите, почем нынче редиска в Будапеште?

— Редиска? — удивилась Жофия. «Ну и домоправительница! То обо мне наслышана, то редиска эта... Вот коньяк сколько стоит, я, пожалуй, еще сказала бы...»— Понятия не имею, Пирока.

Пирока выхватила из кошелки самую никудышную редиску и торжествующе помахала ею перед носом священника и его гостьи.

— А знаете, во что нам обходится вот такая одна-единственная редисина? В двадцать форинтов! Потому что тут еще и стоимость двухсот корней клубневой бегонии, что господин декан выписал из Пешта, из сельхозкооператива «Розмарин», да с садовником вместе, который сажал ее. Вот так-то, кушайте на здоровье!

Декан виновато улыбнулся.

— У батюшки моего, знаете, присказка такая была: накажи тя господь дурными соседями да двором, бурьяном заросшим... Разве же так не красивей, чем если бы сорняки все заполонили?

На выложенной красным кирпичом веранде тоже полно было цветов: вьющиеся растения спускались по стенам, словно тончайшая зеленая вуаль. Веранда была просторная и длинная, самая широкая часть ее, обставленная садовой мебелью, служила для отдыха, оттуда же был вход в четыре комнаты: спальню-кабинет, столовую, приемную залу и комнатушку для капеллана. Дальше, на изгибе галереи, свободно ходившая на шарнирах дверь, за ней — ванная комната, кухня, чулан для провизии, комната для прислуги.

Стол, накрытый Пирокой, напоминал натюрморты импрессионистов и столичный буфет с холодными закусками: на фарфоровой менажнице — салями, вареная колбаса, копченое сало, сыр, масло, яйца всмятку; в плетеной лодочке — нарезанный хлеб, на деревянном блюде — свежая, с грядки, редиска, в зеленом обливном кувшине, словно невзначай оставленном на столе,— три розы. Белая скатерть камчатного полотна и такие же салфетки.

Декан ел быстро, с наслаждением — жадно. Он запихивал в рот все сразу — сыр, сало, хлеб с маслом, яйцо. Жофия без аппетита заставила себя проглотить кусочек-другой, но зато она завороженно, неотрывно смотрела на священника. Вот так же ее отец, когда вернулся после плена, долго еще, садясь за стол, ел все подряд, левой рукой оберегая тарелку, чтобы не отобрали. Может, когда-то и этому священнику довелось испытать нужду?.. Второпях он брызнул яйцом на белую рубашку, виновато покосился на пятно, потом запоздало взял салфетку с колен и заправил за воротник.

— Англичане-то не дураки. Они засовывают салфетку за ворот, а не на колени кладут, как французы.— Проглотив очередную солид-

ную порцию, он добавил: — К сожалению, в конце войны я весьма в них разочаровался.

Жофия отодвинула тарелку и с облегчением закурила.

— Вы ожидали, что нас захватят англичане?

— Разумеется... Как и вся интеллигенция, не так ли?

— Может быть, только священнослужители.

— Я бы сказал: все католики.

— И это было бы лучше?

Декан вытер салфеткой губы, бросил ее на скатерть и вместе со стулом отодвинулся от стола.

— Пиро!

В дверях показалась домоправительница с кофе.

— Унесите отсюда всю эту снедь, видеть ее не могу!

Собирая со стола посуду на деревянный поднос, домоправительница заметила на белой рубашке хозяина желтое пятно. И привычно, по-домашнему заворчала на старика:

— Шестнадцать лет прошу, чтоб подвязывали салфетку на шею. Вечно замурзаетесь до ушей, словно дитя малое!

— Ну-ну, Пирока,— смущаясь, пробормотал декан,— пятна от яйца выведутся.

— Выведутся, выведутся! Вот вы и прикажите им вывестись! Выведутся, коли я отстираю.— И Пирока, шаркая больными ногами, ушла на кухню.

Священник положил себе в чашечку сахару и задумчиво стал помешивать кофе.

— Лучше ли было бы? Видите ли, священнослужитель обязан церкви безусловным повиновением. Однако жизнь — а иначе сказать: история — научила меня, что не так это просто. Ведь что есть церковь? Ватиканский собор? Циркуляр кардинала? Епископский совет?.. К церкви относятся и верующие, не так ли? Я всю свою жизнь был сельским священником, следовательно, мои прихожане — крестьяне, иначе говоря, народ. А народ, как и я, в конце войны ждал англичан, или повернем по-иному, если угодно: я помышлял и чувствовал так же, как народ. Тогда ведь еще и речи не было об освобождении. Даже сами освободители не называли себя освободителями...— Он улыбнулся.— Есть у меня небольшая папка, где собраны разные документы, как-нибудь покажу, если вам интересно. Ну-с, так вот, один наш усердный учитель задумал устроить выставку, показать все этапы освобождения. И был совершенно огорошен, убедившись, что решительно все приказы, призывы, распоряжения, плакаты сорок пятого года были подписаны: «Иванов, командующий оккупационными войсками...» Ну-с, а ежели сейчас для народа лучше так, как есть, тогда и мне так лучше.

— Народу так лучше,— убежденно проговорила Жофия.

— Вы уверены? — с сомнением произнес священник.

— Мои родители — крестьяне, работают в сельхозкооперативе,— отозвалась Жофия.— Мать часто говорит: «Жаль, что эти нынешние времена не пришли к нам лет на сорок раньше».

Декан выпил остывший кофе.

— В такой дивный день грех заниматься политикой!.. Когда же вы собираетесь увезти алтарный образ? Надо ведь будет заранее попросить в кооперативе машину.

— Я не собираюсь его увозить,— сказала Жофия.— Работать буду здесь.

— Здесь? — удивился священник.

— Все необходимое я привезла с собой.

— Я полагал,— несмело заговорил священник,— в мастерской все же...

— Летом и церковь отличная мастерская,— сказала Жофия.— А я-то и не знала, что у вас тут даже бассейн есть... Один мой коллега

снял часовенку на берегу Балатона. Там и живет, пишет, выставки устраивает, гостей принимает.— Она беспокойно примяла сигарету и тотчас закурила следующую. Глаза ее неподвижно устремлены были в одну точку. Священник только теперь заметил, какая горечь написана на бледном, почти сером, измученном лице гостьи. А глаза! Затуманенные, словно потрескавшееся стекло.

— Господин декан,— проговорила она со сдерживаемой тоской,— уже несколько месяцев я не сплю, не могу спать! Я возненавидела свою квартиру!.. Получила ее два года назад... мастерская, ванная — каждый вечер я радовалась, возвращаясь домой. Обставляла заботливо — так ласточка лепит гнездо, по соломинке. Сюда полочку, туда торшер, перед кроватью коврик... А сейчас думаю о ней с ужасом...— Жофия заметила вдруг смущение старого священника, устыдилась собственной откровенности и договорила уже про себя: «И теперь возвращаюсь домой не прежде, чем закроется последняя корчма в Будапеште».

Священник, опустив глаза, спросил осторожно:

— Но вы же не в церкви собираетесь поселиться?

— Ой, ну что вы! Если бы вы помогли мне найти комнату, господин декан!.. Конечно, я могла бы ездить сюда из Пюшпёкмоноштора, но у меня нет денег на гостиницу.

Священник колебался.

— Места и здесь хватило бы, комната капеллана пустует, да я и рад бы вам был... Вот только, боюсь, прихожане коситься станут.

«А Пирока?»— подумала Жофия и неожиданно для себя шаловливо засмеялась:

— Они о вас такого хорошего мнения, господин декан?

На мясистых щеках старика появились два красных пятна, он уперся глазами в скатерть. Жофия была поражена: боже ты мой, этот старый человек еще способен краснеть, словно девица? Но как это трогательно: чем больше он старается скрыть смущение, тем шире разливается краска по лицу.

— Ну-ка, подумаем, подумаем,— бормотал он, потупив глаза и стараясь выиграть время. Наконец воскликнул: — Ага! Тетушка Агнеш!

Дом Линкаи оказался в самом конце села. Оставив машину на мостках, Жофия вступила на просторный двор. «А ведь у них было хольдов пятьдесят, не меньше»,— прикинула она. Вдоль ограды выстроились полукружьем громоздкие хозяйственные постройки, теперь уже ненужные,— голым двором владела лишь армия кур, уток, цыплят. Посреди стоял колодец с насосом, в свое время это новшество было, вероятно, истинной революцией. На задах двор переходил в виноградник.

На веранде своего выстроенного прямоугольником дома тетушка Агнеш приняла «мастерицу по церковной росписи» приветливо, даже с радостью. Вскоре они уговорились, что Жофия будет жить здесь сколько ей заблагорассудится, вот только о плате тетушка Агнеш не желала и слышать. Жофия спорить не стала — время терпит. Несмотря на свои восемьдесят лет, бодрая телом и духом, старушка гордо отворила перед гостьей двери трех комнат, обставленных «комбинированной» мебелью, по образцу той, что стояла в тридцатые годы в домах у судьи и у сельского учителя. Впрочем, в горке красовался фарфор, а на желтом лакированном полу раскинулся персидский ковер. Тетушка Агнеш трещала, не умолкая:

— Вот здесь свекор со свекровью померли, тому уж десять лет, а в этих двух комнатах гости, бывало, не переводились. Эх, было б у меня нынче столько вина в погребе, сколько этот славный наш господин декан выпил в моем доме, ну, правда, он тогда еще не декан был, а простой сельский священник, такой весельчак!.. Но и настоящие

господа к нам захаживали, мой муж ведь старостой был, так господин депутат перед выборами всякий раз наносил нам визит — у графов Палфи тут неподалеку, в Палфе, имение было, вот они и избирались у нас всегда депутатами... Здесь и граф Иштван Палфи сиживал, а потом младший брат его, Фидель, ну которого после сорок пятого повесили... Подойдет вам? — Тетушка Агнеш спросила, нисколько не сомневаясь в ответе, так что Жофия и не посмела бы сказать «нет» или «подумаю».

Круглый стол, накрытый кружевной скатертью, на скатерти фарфоровая пепельница, скорее безделушка — один окурок, может, кой-как уместится,— затем большая фарфоровая ваза, нарядный подсвечник (церковный, что ли?), молитвенник с фарфоровой крышкой и серебряными застежками — «это бедной сестрицы моей, монахини»,— десятилетиями не менявшийся гарнитур. Как же здесь чертить, конструировать, делать эскизы, наконец, писать письма? Да пока приведешь этот стол в «рабочий вид», пропадет, пожалуй, и охота работать!

У стены кушетка — узкая, неудобная, и ночного столика нет, нет настольной лампы.

Комбинированный шкаф. В таких обычно нет отделения, где можно повесить одежду.

В углу шкафчик с зеркалом и множеством ящичков, там, пожалуй, поместятся туфли и книги.

Ну, не беда, как-нибудь приспособим, приручим к себе эту видавшую графов Палфи комнату!

Тетушка Агнеш отворила дверь в четвертую комнату; под олеографией Гирландайо «Святая Мария» стояли две кровати, на одной из них на белоснежном белье лежал старик с белоснежными волосами, белоснежными усами, со свежевыбритым и ничего не выражавшим лицом.

— Муж мой.

Жофия запнулась о порог, испуганно заглянула в комнату.

Тетушка Агнеш вытащила из-под кровати флакон «Комфорта» для освежения воздуха, суетливо попрыскала и шепотом продолжала:

— Пять лет лежит. Упал в ванной, и какой-то нерв в хребте повредился. Ничего у него не болит, только вот передвигаться и говорить не может... Господин декан поминал как-то, что в старину про таких больных говорили, будто у них жилы порваны.

Она опять поставила аэрозоль возле ночного горшка и наклонилась к больному:

— Пали! Хочешь лимонаду?

Лицо старика осталось недвижимо, только левый глаз сощурился, что означало — не хочет. Жофия смотрела на него с ужасом — жилы порваны! Ей слышалось в этом что-то библейское.

— Видите, все понимает,— повернулась к ней тетушка Агнеш.— Может, и по телевизору понимает... По крайности, он старичку моему не помеха.— Телевизор стоял как раз напротив кроватей.— Я-то каждый вечер смотрю. Какое еще развлечение у старухи?.. Только вот говорить не говорит. Пять лет уж.

Тетушка Агнеш рассказывала, не жалуясь, жалея не себя, а мужа, но Жофии слышался в ее словах отчаянный вопль о помощи.

Этот день она посвятила устройству на новом месте. Старая крестьянка оказалась понятливей, чем она думала. У изголовья ее постели появился ночной столик, на стене ночник, нашлись и плечики для одежды. Но круглый стол с кружевной скатеркой остался, потому что оба четырехугольных стола, имевшихся в доме, кухонный и тот, что стоял на веранде — на нем рубили листья репы для уток,— обезобразили бы комнату. Тетушка Агнеш с готовностью ей помогала, дала постельное белье, угостила превосходным обедом, кофе, позволила поль-

зоваться ванной — за все это от Жофии требовалось только одно: слушать ее. Но Жофия слушала бы старушку и так, даже если бы ничем не была ей обязана,— ее совершенно обезоружила жалость: она неотступно видела перед собой парализованного старика, которого пять лет подряд обихаживает, купает, пеленает восьмидесятилетняя старуха, сама уже нуждающаяся в уходе. И она, Жофия, смеет говорить о своих страданиях рядом с такими судьбами?!

Она узнала, что у тетушки Агнеш никогда не было детей. «Уж по чьей вине, Жофика,— простите, что так называю, да ведь вы мне во внучки годитесь! — так никогда и не выяснилось, потому как в прежние-то времена, сами знаете, доктора в этом не разбирались. Напрасно я боженьке молилась, не помог он нам, а по какой причине — ему видней. Была у меня младшая сестра, так у ней восьмеро народилось при трех-то хольдах... выпросила я у них сперва девочку, она третьей родилась, чтоб удочерить, значит, навечно. Отдали неохотно, ну да богатства ради уступили все же, стала девчушка жить у нас, с узелочком пришла. Да у ней и не было ничего, кроме штанишек рваненьких. Дождалась я ярмарки, они у нас раз в неделю бывали, разодела ее, ну ботиночки там да сапожки, шубка заячья... ей пять годков было, росточком махонькая, складненькая, ловконькая такая, муж, бывало, скажет: экая ты, хоть заместо брошки тебя носи... а вот не привыкла у нас, день и ночь плакала, пришлось неделю спустя назад отдать, видеть я не могла, как она убивается. Седьмым ребеночком у сестры опять девочка получилась, такая же складная, аккуратненькая, я было и ее себе выпросила, удочерить, значит, да так же все и вышло, как с первой. Может, и наша вина тут была, как знать? Или уж такова воля господа?.. Мы и после много раз пытались дитем обзавестись, у родственников брали, один раз паренька-батрака сговорили — ну, правда, условие ему поставили, чтоб женился, когда мы дозволим, и ту девушку взял, какая нам придется по нраву,— и что же? Бросил нас, как восемнадцать исполнилось. Взял за себя голь перекатную, беднее ее в селе и не было... Потом уж смирились мы,— видать, не будет у нас наследника, чтобы имя наше носил,— но будущего не страшились: за такое-то богатство всегда найдутся охотники на старости лет нас содержать... Ну, а в сорок пятом все изменилось, молодежь на заводы подалась, в университеты, кто в милицию, кто в офицеры пошел, к земле уж никто не тянулся... Потом стали народ в кооперативы сгонять, тут и вовсе порушилась наша жизнь. Ничего у нас не осталось, только дом да сад. Был бы народ бедный, как прежде, и на это от желающих отбою не знали бы, да ведь нынче всяк норовит новый дом поставить, своим хозяйством обзавестись... Бедная сестрица моя, при восьми сыновьях-дочерях живет у каждого по очереди, нигде не терпят ее больше месяца-двух. И это родные дети! Чего уж мне ожидать?.. Как помрем, наследники враз слетятся, передерутся за усадьбу эту, но с такими двумя развалинами никому она не нужна!.. Есть тут еще один паренек у родичей, нынче как раз институт кончает, он словно бы и не прочь. Поглядим...»

Проснувшись под вечер, Жофия почувствовала себя совершенно разбитой, опустошенной; она отказалась смотреть телевизор, тайком принесла из «трабанта» бутылку армянского коньяка, но на этот раз довольно было первой же стограммовой рюмки, чтобы голова отяжелела. В открытое окно вливался из сада пряный, прохладный запах зелени и цветов. Она разделась, скользнула под хрустящее покрывало, даже ночник включать не было нужды.

И спокойно заснула.

Жофия устроила мастерскую прямо в церкви. Любопытствующих вокруг нее оказалось немало. В первый же рабочий день она зашла с тетушкой Агнеш в контору кооператива попросить подмогу. Эта блед-

ная, с сумрачным лицом женщина, словно излучавшая некую неудовлетворенность, так что вокруг нее вибрировал воздух, подействовала столь возбуждающе на сельских мужчин, привыкших к своим прокаленным солнцем тучным бабенкам, что помочь ей изъявило готовность само «руководство». Вооружившись стремянками, козлами, веревками, молотками, разводными ключами, они явились все в церковь и, потрудившись полдня, сняли алтарный образ со стены; теперь, уложенный на две пары козел перед скамьями, он был гораздо больше, чем казался оттуда, со стены. Жофи угостила помощников пивом, охлажденным в чуть солоноватой святой воде. Ей помогли выгрузить из багажника «трабанта» все необходимое для работы: банки с краской, фотоаппарат, таинственные коробочки, рабочую робу — играющие всеми цветами радуги джинсы, так задубевшие от засохшей краски, что сами по себе стояли на полу,— помощники сдвинули бы и саму церковь, пожелай того эта чужая женщина. Разошлись неохотно и потом заглядывали что ни день: не нужно ли чего?

Впрочем, наведывались и другие: декан, учителя из школы-замка... Из-за приезжей художницы опаздывали на уроки детишки, приходили незнакомые старушки, бормоча «Иже еси...». И в конторе кооператива вскоре оказался у нее знакомый — Жофия быстро узнала, что он председатель (как ведь ловко умеем мы вплести в свою речь, улыбалась она про себя: «С тех пор как я председатель, первый раз вижу церковь эту изнутри»); он два раза на дню предлагал ей от имени кооператива любую помощь по слесарному, столярному, кузнечному делу, спрашивал, не нужен ли грузовик, каменщики.

Это был высокий крепкий мужчина лет пятидесяти, не обмякший и не раздобревший от того, что меньше стало у него физической работы; на его выбритом лице, в теплых карих глазах затаилась печаль. Жофия охотно с ним беседовала и узнала от него множество важных вещей.

— Никак все-таки не пойму я нашего священника,— рассуждал он однажды, озадаченно щурясь.— В сорок восьмом — сорок девятом годах село собрало деньги на новую церковь. Крестьяне друг перед другом хорохорились — кто больше даст. У моего отца было тогда двадцать хольдов, он одну тысячу шестьсот форинтов выложил. Так извечный соперник его, Иштван Берта, тоже крестьянин, узнав про это, на тысячу шестьсот два форинта подписался. А священник наш уговорил народ вместо церкви дом культуры строить. И построили. До сих пор работает. По субботам-воскресеньям кино показывают, так что, если захотите... Но чтобы именно священник людей отговаривал...

В другой раз он рассказывал задумчиво:

— В детстве слышал я от бабки моей, будто епископский дворец и кафедральный собор в Паннонхалме подземным ходом связаны, и ведет он как раз через наше село — ведь в те давние времена графы Семереди геройски воевали с турками. Может, что-то за этим и есть... Рыл я однажды шахту для колодца с насосом, и вот на глубине трех метров стенки шахты моей вдруг провалились. Стал дальше копать, вижу — подземный ход метра полтора высотой. Я зажег свечу и полез в ход. Метра три прошел, потом свеча погасла — должно быть, ядовитый газ какой-нибудь. Я вылез. Ну, колодец был нужен нам срочно, так что мы яму зацементировали всю с дырою той вместе... ужо, думаю, как-нибудь погляжу в другой раз, что это могло быть и куда оно ведет... Да так, само собой, и не дошли руки. Хотя детишки мои каждое лето пристают: посмотрим да посмотрим, что в том подземелье, может, сокровища сыщем.

— Какие сокровища? — рассеянно спросила Жофия, осторожно зачищая набухший, облупившийся глаз святого Христофора.

— Во время войны закопали где-то сокровища из епископского дворца и собора... и по слухам, они до сих пор лежат, спрятанные. Мо-

жет, конечно, их и вывезли, как святую корону [1], она-то вон сколько лет в Америке обреталась, и только теперь ее вернули на родину, я по телевизору видел... а сокровища те — вполне может быть, что они и поныне таятся где-то, зарытые... В пятидесятые годы нашего священника тоже про них все выспрашивали те, кому положено...

— Откуда вы это знаете? — спросила Жофи.

— В селе все всё знают,— махнул председатель рукой.— Даже больше того, что на самом деле есть... Когда упразднили монастыри, младшая сестра тетушки Агнеш стала вести у декана хозяйство. Вот она и рассказала сестре, а уж та — всему селу...

Жофия узнала от председателя — за ним не раз забегал в церковь бригадир трактористов и тоже охотно задерживался поболтать,— что Линкаи больше всех отвалили на строительство церкви, три тысячи форинтов, но когда прослышали, что строят дом культуры, половину денег забрали назад; тетушка Агнеш ведь из старого набожного семейства, в молодости она даже в Мариацелл [2] паломничество совершила, а уж по окрестным святым местам — Чатка, Сенткут, Фехервар — чуть не каждый год ходила, все надеялась, что поможет ей божья матерь, благословит ребеночком... Узнала Жофия и о том, что Пирока служила прежде у старейшего каноника епископского дворца. Сюда попала после его смерти... Узнала, что в селе три корчмы, два эспрессо [3] и всего одна мясная лавка... и что если она любительница пива — нежный взгляд на чашу со святой водой, служившую Жофии холодильником,— то запасаться им следует в середине недели, потому что на субботу-воскресенье его вечно не хватает... Узнала, что... и еще узнала... И узнала Жофия, что попала в самую гущу жизни, попала в среду, куда более подвижную, живую и интересную, чем тот сузившийся до предела, омертвелый мир, в каком она живет уже несколько месяцев, если можно назвать жизнью покорный скулеж зайца, загипнотизированного удавом. И узнала, что с того времени, как в последний раз снимали председателя кооператива, она — величайшая на селе сенсация.

Она трудилась каждый день дотемна. Потом оттирала руки бензином, вылезала из переливающихся радугой штанов, одевалась «столичной художницей» и, помахивая тяжелым ключом от церкви, пешком шла домой. Она любила этот длинный путь в час заката через всю деревню, пропитанную запахами тепла, пыли, цветов и сена, когда детвора гоняет по площади в футбол, женщины трещат взапуски, остановясь на каком-нибудь углу с молочными бидонами в руках, мужчины на велосипедах катят с поля домой и у попутной корчмы приваливают свой велосипед к тем, что уже стоят перед ней, чтобы, когда закроется корчма, отыскать его с превеликими трудностями среди других; старухи брызгали водой и подметали цементные дорожки, а машины на шоссе тормозили и отъезжали к обочине, пропуская стадо.

Ее путь к тетушке Агнеш лежал мимо двух корчмушек и одного прессо — она выдерживала характер, в корчмы не «заглядывала». Однако у прессо под вывеской «Розмарин», но всеми именуемого не иначе как «Самопоилкой», сдавалась и брала раз-другой по пятьдесят граммов, чтобы выдержать атмосферу дома Линкаи,— так, по крайней мере, она себе объясняла. Не всегда удавалось ей найти свободный столик, но всякий раз тотчас вскакивало двое-трое мужчин, которые, надо полагать, заглядывали к ней в церковь,— иначе они не решились бы называть ее «золотком» и «дорогой нашей художницей», приглашая к своему столику, убежая попробовать их вина или пива. Она вежли-

[1] Так по традиции именуют корону венгерского короля Иштвана I после причисления его к лику святых (1083 г.). Во время второй мировой войны эта историческая реликвия исчезла; вскоре она оказалась в Америке и после настоятельных требований венгерского правительства была возвращена венгерскому народу в 1978 г.

[2] Селение в Австрии, место паломничества католиков к чудотворному образу богородицы.

[3] Эспрессо — кафе *(от итал.)*.

во отказывалась, предпочитая выпить свои пятьдесят граммов прямо у пульта, где бородатый мальчик-бармен обслуживал ее вне очереди.

На кухне у тетушки Агнеш она без аппетита жевала что-то на ужин (хозяйка все еще не говорила, сколько запросит или сколько согласится принять за полный пансион), слушая подробный отчет о мельчайших событиях дня: о том, что сухая гороховая ботва повыдергана и что в магазине нет лимонов, как же теперь приготовить лимонад для больного? И что соседка, старая дева, прикатила со станции домой баллон с газом... А Жофию между тем интересовало только одно: пришло ли письмо? Воспользовавшись первой же паузой между двумя фразами, легкомысленно оставленной хозяйкой, она торопливо прощалась и укрывалась в своей комнате. Иной раз она с удовольствием посмотрела бы телевизор, но одна мысль о неподвижном, с застывшим взглядом паралитике за спиной приводила ее в содрогание.

На кружевной скатерти ее ждали две газеты, центральная и местная, иногда заграничная открытка от какой-нибудь путешествующей приятельницы. То письмо не приходило. И тогда самоконтроль, под которым держала она себя в течение целого дня, улетучивался, словно воздух из проткнутого резинового мяча, и она начинала погружаться куда-то все ниже и ниже, под себя самое. От этих четырех стен, от одиночества ее охватывала паника — хотелось бежать, хотелось выкинуть из памяти того, кто ее унизил, и при этом вся она полнилась страстным ожиданием, от которого лишь усиливалась мука унижения... И ведь чего она ждала от того письма? Чтобы он опять позвал ее в Будапешт, откуда она бежала сломя голову?.. И если позовет, она поедет?.. Но тогда и бегство это было ошибкой... Дома в такие минуты она кидалась бродить по улицам, бесцельно мерила шагами проспекты, бульвары и закоулки, заходя — рюмка коньяка, не больше — во все встречавшиеся на пути рестораны, корчмы, эспрессо, забегаловки, без разбора, и, пока пила, пристально вглядывалась в зал — вдруг да встретится ей *лицо* — лицо человека, с кем захотелось бы поговорить, а может быть, как знать, и жизнь свою поставить на новые рельсы... Но у людей не было лиц — куда подевались лица? Какие тектонические сдвиги души похоронили лица?..

Как бы хорошо сейчас вернуться в прессо и сидеть там в общем галдеже, в хмельном чаду, пока не затуманит голову,— да, может, там и найдется лицо? — но Жофия понимала: нельзя. Здесь она не безымянная несчастливица, затерянная в ночи, какой была в Пеште, здесь она «художница по росписи церквей», приглашенная господином деканом.

Жофия прокралась к «трабанту», достала из багажника бутылку армянского коньяка — держать его в ночном столике она не решалась,— откинула кружевную скатерть, положила перед собой бумагу и принялась за письмо. Коньяк все убывал, письмо становилось все более путаным, почерк — неверным. В полночь она включила радио и, слушая «последние известия», комкала исписанные листы и жгла их в пепельнице.

В жизни старого человека постепенно все обретает незыблемые ритуальные формы. Пирока подтолкнула к телевизору самое удобное в кабинете кресло, придвинула к нему кованую чугунную подставку для цветов, стоявшую у окна, расположила на ней блюдечки с ранней черешней и крохотными солеными печеньями с сыром, включила телевизор, настенную лампу и, пока декан усаживался в кресло, проворно постелила ему на узкой софе. В просторной комнате был еще письменный стол, дарохранительница, бар; по стенам, всюду, где оставалось свободное место, шли книжные полки, наверху — тщательно подобранная коллекция крестьянских кустарных горшков. В простенке

между окнами — распятие, вырезанное из дерева, перед ним молитвенная скамеечка.

Декан внимательно смотрел «последние известия»— он видел войну, разгоревшуюся на Синайском полуострове, землетрясение, наводнение, аварию самолета и прочие ужасы, какие газеты и телевидение собирают со словно бы съежившегося земного шара и подают народам к завтраку и ужину, но, потрясенный ужасной судьбою несчастных жертв, в глубине души испытывал тайную радость от того, что может наблюдать все это отсюда, из надежного убежища, удобного своего кресла. Он и не заметил, как повернулась дверная ручка, нажатая снаружи, и в комнату вошла Жофия. Она бесшумно остановилась за спиною священника и, когда отзвучала уже и сводка погоды, легко коснулась его плеча.

— Вы не рассердитесь, господин декан? Я принесла ключ от церкви и подумала...

Хотя по телевизору предстояла программа «Дельта», суля любопытные новинки из области науки, священник все же обрадовался гостье. Он выключил телевизор и усадил Жофию.

— Что я могу вам предложить?.. Вы ужинали?

— Да я обычно не ужинаю...

— Пирока! — громко позвал священник и, когда домоправительница просунула в дверь растрепанную голову, попросил: — Покормите-ка нашу художницу.

— Я бы лучше выпила чего-нибудь, если есть,— проговорила Жофия и стеснительно улыбнулась, смягчая собственную бесцеремонность.

Декан давно уже приметил бутылки с пивом, охлаждавшиеся в чаше со святой водой. И не знал, как поступить: сказать ей?

— Армянский коньяк, грузинский коньяк, французский коньяк...

Жофия одобрительно прищелкнула языком.

— Вот это да!

— Иногда, знаете ли, нужно для приема,— извиняющимся тоном проговорил декан.— Секретарь епископа, счетовод канцелярии, мой школьный товарищ из Паннонхалмы...

— Пожалуй, французский...

Пирока достала из шкафчика-бара початую бутылку и маленькую рюмку. Поставив рюмку на край письменного стола, налила Жофии коньяку, придвинула ближе бутылку и, шаркая туфлями, удалилась.

— А вы, господин декан?

— Я не пью.

— За ваше здоровье! — Она сделала глоток и с восхищением оглядела кабинет.

— Как здесь красиво! Каждая вещь просто излучает покой. Гармонию.

— А у вас не так?

По лицу Жофии пробежала горькая гримаса.

— Я живу под крышей самого высокого в Будапеште дома. На девятнадцатом этаже. У меня великолепная мастерская с огромным балконом. Оттуда, пожалуй, и Цеглед[1] видно... Зимой я еще сметала с балкона снег. А теперь... даже не решаюсь ступить на него... боюсь, что вниз брошусь...

Декан слушал ее сочувственно, заинтересованно.

— Красивая, молодая, талантливая — как не подумать, что и счастливая...

— Талантливая?! — протянула Жофия.

— Я не видел еще ваших работ, но ежели вас рекомендовал Художественный фонд...

— Разрешите? — Жофия выпила рюмку и тотчас опять ее наполнила.— Сколько раз меня спрашивали: как становятся реставратора-

[1] Город в семидесяти километрах от Будапешта.

ми? Я буду откровенна, господин декан: когда оказываются не слишком талантливыми художниками.

— И вы страдаете из-за этого? — с участием спросил священник.

— Я из-за многого страдаю, господин декан! — Жофия налила себе еще, отпила немного. Видно было, что ей хотелось говорить, с тех пор как она в деревне, ей ни разу не довелось выговориться — все только ей изливали душу. Она пила, чтобы освободиться от скованности, которая делала ее в присутствии посторонних напряженной и замкнутой. Священник наблюдал за ней с волнением. Он слышал на своем веку столько исповедей, из таких глубин...

— Неподалеку от моей квартиры есть пивнушка. Самая настоящая забегаловка низшего пошиба — словом, распивочный пункт ресторанного треста. Я потому только решаюсь заглядывать туда, что обслуга меня знает и, если что, вступится, защитит. Милиция наведывается каждый вечер как по расписанию, разнимает драчунов, забирает подозрительных типов. Там я часто вижу одну старуху. Ужасно, ужасно старую. На головенке — седые космы, на худых как спички ногах мужские ботинки, незашнурованные. Лицо ее... ну нет, такое лицо не привиделось бы и Босху в самых кошмарных его сновидениях! Она собирает со столиков грязные стаканы, за это ей плеснут пятьдесят граммов «кеверта» [1]. И бросят пачку «Мункаша»... А мне иной раз хочется с ней поменяться...

— Почему?

— Потому что после такой вот рюмки для нее вся жизнь как масленица... После десятой стопки она падает на свое тряпье в угольном подвале и спит двенадцать часов подряд без просыпу...

— Есть, знаете, травяной сбор против бессонницы,— пробормотал священник нерешительно.

Жофия махнула рукой.

— Я все испробовала, господин декан! Моя мать тоже ведунья, у нее тоже есть свой набор трав... Бывало, с восьми утра брожу по городу и так до десяти вечера. По тридцать—сорок километров отмахивала... чтобы вымотать себя и чтобы... дома не быть. Чтоб по телефону не застали... Иной раз руки-ноги дрожат от усталости, кулем падаю на кровать, даже не искупавшись, а полчаса спустя сна ни в одном глазу, все чувства обострены, словно кожа содрана... и до утра практикуюсь в семеричном счете древних мадьяр... лишь бы не думать ни о чем.

Жофия умолкла. Ее красивая сильная рука беспомощно лежала на столе. Священник ласково накрыл эту руку своей теплой пухлой ладонью.

— Вы верующая, дитя мое?

— Нет, господин декан. Но принципы у меня есть... нравственные принципы, что ли.

— Тогда я не могу предложить вам утешение молитвы и исповеди.

— Но я и не неверующая,— уточнила Жофия.— Просто мне нет дела до бога. Я согласна с Шопенгауэром: если бы боги существовали, как бы я вынесла, что я-то не из их числа?

Священник мягко поправил:

— Ницше.

— Да, Ницше.— Жофия поправилась машинально, но тут же с удивлением, с радостью вскинула глаза на декана. Так этот сельский священник еще и образован?.. Не просто славный, неловкий, закапывающий соусом рубашки старик? Ею овладело вдруг чувство неизъяснимой благодарности.— Ах, дорогой господин декан, я действительно

[1] Смесь рома с ликером.

ошиблась. Действительно, Ницше! Спасибо, спасибо вам.— Она встала.— Не сердитесь на меня за...

Декан поднялся тоже.

— Ну, что вы, Жофия... Когда вам угодно... Я с радостью...

Жофия указала на коньячную бутылку.

— Можно, я заберу с собой? Не хочу заходить в корчму!

Декана это несколько покоробило, но, видя, что тоска словно бы отпустила немного молодую женщину, он кивнул.

— Вы упомянули про ключ от церкви... Так завтра вы не придете?

— Нет, господин декан. Поеду в епископский архив, хочу разыскать кое-что...— Она направилась к двери с бутылкой в руке.— Ну и потом... провиантом запастись надо мне...

Минуло несколько дней; ясным, солнечным утром декан обрезал в саду розы. Увядшие цветы он бросал в большую плетенную из лозы корзину, которую держала Пирока, следуя за деканом. Священник любил возиться в саду, однако наклоняться, чтобы подтаскивать за собой корзину по земле, ему было уже трудновато.

— Возможно, Пирока, вы правы,— рассуждал он вполголоса.— Цветы — это роскошь, а роскошь — бесполезная вещь. Особенно в жизни священника. Все так, однако бесполезные вещи необходимы. Без них, бесполезных вещей, не стоит и жить...

Пирока заметила у входа девушку-почтальоншу в шортах и, поставив корзину на дорожку, пошла ей навстречу. Декан все бормотал себе под нос:

— Взгляните на этот цветок! Поистине чудо... В один прекрасный день в землю падает крошечное зернышко, и вырастает из него роскошное дерево. Отчего? Никто еще не разгадал сию тайну. Она принадлежит господу богу!

Повернувшись, чтобы бросить в корзину увядший, сникший цветок, он только теперь заметил, что остался один.

— Гм... каждая редиска обходится в двадцать форинтов?.. Но коль скоро он уж есть, двор этот огромный, что ж, оставить его в запустении?.. Ведь это грех — пренебрегать тем, что даровано господом!.. Оно конечно, и сорняки — твое создание. И крапива... А какое лакомство суп из крапивы! Или сельдерей! Будь я химик, одеколон из сельдерея придумал бы.— Он глубоко вздохнул и покосился в сторону дома.— Что-то сегодня на обед у нас?

Держа в руке пачку писем и газет, Пирока крикнула с порога:

— Господин декан! Траурное извещение!

Священник вздохнул, бросил садовые ножницы в корзину.

— Право, не знаю, что ужаснее: пережить всех своих друзей или умереть прежде них.

Неохотно оставив любимое занятие, декан взял почту и скрылся в своей комнате.

Больше он не показывался. Некоторое время спустя Пирока заподозрила что-то неладное, но не нашла предлога, чтобы потревожить декана. Наконец, без четверти два, когда обед был готов, она постучалась к нему и, хотя ответа не последовало, осторожно приоткрыла дверь.

— Можно накрывать, господин декан?

Старый священник стоял на коленях перед распятием спиною к двери, закрыв лицо большими ладонями. Он даже не шелохнулся на голос, быть может, не услышал его, лишь пробормотал невнятно, с глубоким стоном: «Ох, господи!» На столе, раскрытое, лежало траурное послание.

Чуть-чуть поколебавшись, домоправительница неслышно подошла к столу в своих парусиновых — для беременных — туфлях и, не беря в руки, с ходу прочитала извещение:

«...Ему ведома была одна только мерка — то совершенство, кое определил он сам для себя и ниже коего никогда не опускался.

Смиряясь пред волей Господней, извещаем Вас о том, что Рафаэль Балог, бывший францисканский монах, 28 января 1978 года, семидесяти шести лет от роду, после недолгих страданий, окончил свой земной путь, прямой и чистый, и ныне вступил в обетованный край, коего вся его жизнь была утверждением.

Горько скорбящие

Тамаш Балог и его семейство.

Да приидет ко мне каждый человек, кого назначил мне Отец.

(Янв. 6,37)»

Домоправительница, сосредоточенно роясь в памяти, глядела на согбенную спину коленопреклоненного священника. «Кто ж бы это такой — Рафаэль Балог?»

На цыпочках вернулась она на кухню и принялась за обед в одиночестве: если уж господину декану придется довольствоваться перестоявшимся обедом, так хоть сама насладится им, свеженьким!

Но священник не прикоснулся и к подогретым яствам. Отказался он и от полдника, когда же домоправительница, тревожась все пуще, стала умолять его отведать хоть что-нибудь, с несвойственной ему твердостью отослал ее прочь:

— Оставьте меня в покое, Пиро! Очень прошу вас: оставьте меня нынче в покое!

— Да с чего это вы так к сердцу-то принимаете? — заупрямилась домоправительница.— Я испанские консервы открыла, с раками. Вы же любите... А он никогда и не бывал у нас, ваш отец Рафаэль! Я всех помню, кто заезжал сюда за эти шестнадцать лет. И чтобы вы к нему, господин декан, ездили, не упомню... Так кто же он был вам?

— Что вы об этом знаете! Оставьте меня, хорошо?

— Да раков-то можно принесу?

— Нынче я пощусь... А в семь утра попрошу чаю.

Пирока поняла, что в этот вечер декан уже недостижим для кого бы то ни было. Она приготовила ему постель, поставила рядом с кроватью бутылку содовой, стакан, положила чистый носовой платок и оставила своего хозяина в покое.

У Пироки личной жизни не было — собственной комнатой она пользовалась только для сна. Ее дни без остатка поглощало служение декану. И насколько она содержала в порядке дом священника, его сад, его облачение, настолько же не занималась собой. Постель свою никогда не застилала, платье не укладывала в шкаф, так что принимать гостей могла только на кухне.

Кухня была по-старомодному просторна, пол и стены на высоту человеческого роста выложены красным моющимся кирпичом. По стенам висела надраенная до блеска медная посуда — ее-то домоправительница чистила усерднее, чем собственные ногти. У стены вдоль огромного стола, на котором она разделывала тесто, затеяв пироги, стояли в ряд стулья — сюда и усадила Пирока столичную художницу и стала потчевать консервами из раков, раз уж они все равно открыты.

Жофия была разочарована, узнав, что не сможет увидеться с деканом, она вяло брала на вилку чертовски дорогой деликатес. В архиве епископского дворца она не нашла, правда, ничего существенного, но и то немногое, что все-таки обнаружила, ей хотелось обсудить со своим старым другом — про себя она уже иначе его не называла. Пирока курила, вставив сигарету в длинный мундштук, и озабоченно рассказывала:

— Я еще и не видела его таким расстроенным. Он всегда умеет найти в жизни что-то радостное, ободряющее. Пусть это цветок... или тарелка супа из сельдерея... Или маленький бочонок вина, что присылал монах из Мора...

— Может, какой-нибудь школьный товарищ,— рассудила Жофия.— Мой отец тоже в том возрасте, когда начинают умирать друзья его. И каждый раз он несколько дней подряд ходит мрачный как туча: смерть открыла огонь...— Она отодвинула тарелочку.— Нет у вас чего-нибудь выпить, Пирока?

— У нас-то? — самодовольно отозвалась домоправительница.— У нас ничего не пропадает попусту. Даже гнилые фрукты. Я все лето и осень палинку гоню.

Жофия оторопела.

— Вы?!

— Я. В подвале. Иной раз такой дух стоит, что и слепой налогоинспектор сыщет. Ну да господина декана, конечно, не трогают... Чего вам, золотко? Я сейчас все назову по порядку, как готовили: черешневая палинка, ореховая палинка, фруктовая смесь, на роме настоянная, сливовица, виноградная палинка. Ну, и вино само собой.

— Пожалуй, черешневую,— поколебавшись, сказала Жофия.

Домоправительница принесла из чулана белую литровую бутылку, на ней наклеены были вырезанные из бумаги и раскрашенные карандашом алая черешня и зеленый черешневый лист. Затем, достав из буфета, поставила перед Жофией узенькую высокую рюмку, разлинованную горизонтально. Возле каждой черточки надпись: «For Ladies», «For Gentlemen», «For Shipmasters», а рядом с самой верхней чертой была нарисована свинья. Домоправительница медленно наливала в рюмку, но Жофия только у черты «для матросов» сказала: «Спасибо, достаточно».

— Вы не пьете, Пирока?

— Никогда!.. И господин декан не пьет палинку, а уж когда выпьет, значит, очень большая беда стряслась.

Жофия отхлебнула из рюмки.

— Потрясающая палинка, Пирока! Неужто вы сами гнали?

Лицо домоправительницы сияло от гордости.

— Нравится? Возьмите с собой бутылочку,— и вынесла из чулана еще бутылку черешневой.

— Я собиралась попросить у господина декана ключ от склепа,— проговорила Жофия, залпом выпив рюмку.

— Сейчас я не смею обеспокоить господина декана.

«Вот и хорошо,— подумала Жофия,— твой господин, пожалуй, и не дал бы. Кто знает, в чем тут причина?»

А домоправительница, встревоженная, но и обиженная, продолжала:

— С тех пор как у него живу, нынче четвертый раз, как он сказал мне, чтоб оставила его в покое.

— Ну а первые три случая... тогда что случилось? Поссорились?

— Когда мы поссоримся, он и не отпустит, покуда все мне не выложит. Тогда-то нипочем от него не уйдешь!..— Пирока задумалась. Вставила сигарету в длинный дешевый мундштук, закурила и, отрешенно дымя, все думала о своем. И вдруг словно бы что-то прояснилось, она уловила какую-то связь.— Два раза он вот так же траурные извещения получил... Один в самом деле друг его был, а другой — каменщик... Их я тоже не знала, никогда они к нам не наведывались. А вот в третий-то раз никакого извещения и не было. Письма только, газеты, как всегда... Но он тогда совсем как потерянный был... Тогда-то, видите ли, и пил он. Утром гляжу — а у него на письменном столе пустая бутылка из-под палинки!..

Жофия опять налила себе душистого напитка.

— Какие-нибудь юношеские связи. У каждого человека есть тайны, Пирока... И у вас есть, верно?

Домоправительница так растерялась, что Жофия чуть не засмеялась вслух. Какая тайна может быть у Пироки? Ну, жених, помощник

деревенского нотариуса, вольноопределяющимся погиб на войне, и Пирока, молоденькая девчонка, перед тем как парню на фронт уехать, отдалась ему. Потом любовницей женатика стала или капеллана какого-нибудь... Вдруг Жофия серьезно заинтересовалась: в самом деле, как это приходит вдруг в голову стать домоправительницей сельского священника? Может, и Пирока была монахиней?.. Или среди родственников был священник, с него и пошло?

Пирока справилась с собой и тоже спросила со сладенькой улыбкой:

— И у вас, золотко, есть своя тайна?

Жофия помрачнела.

— И у меня, Пирока... Хотя мне-то хотелось бы жить так... так просто, прозрачно, чтобы любую минуточку мою можно было хоть по телевизору показывать в программе для молодежи.— Она быстро допила свою рюмку, с трудом втиснула в сумку подаренную бутылку, встала.— Вы дадите мне ключ от склепа?

Домоправительница недоуменно спросила:

— Так ведь можно и завтра?.. Сейчас в склепе темно уж.

Жофия улыбнулась.

— В склепе и днем темно, Пирока.

Согласившись с этим, Пирока встала и зашаркала по коридору к входу, где висел на стене шкафчик для ключей. Шкафчик был щедро изукрашен резьбой, вещица изысканная; среди множества разнообразных ключей ключ от склепа оказался совсем обыкновенным, словно от комнаты. Жофия осмотрела нарядный шкафчик со всех сторон.

— У вас тут дивные вещи есть, Пирока.

— Что правда, то правда,— с удовольствием согласилась Пирока.— Был, говорят, в прошлом веке один Семереди, друг Сечени[1]... всю Европу объездил, а как вернулся домой, часть обстановки дворцовой выбросил, заменил новой, из Вены. Вот так это все и попало сюда. У господина декана,— в ее голосе послышалось легкое пренебрежение,— только и было что две сутаны, когда он этот приход получил. Сам-то он был бедный-пребедный деревенский парнишка; если бы святые отцы его не выучили, остался бы простым мужиком, как другие... Да он и сейчас серебра от нейзильбера не отличит.

— А вы почему умеете их отличать, Пирока?

— Мой отец был главным садовником у графа Эстерхази,— с достоинством проговорила домоправительница и закрыла за гостьей дверь.

Жофия отперла дверь склепа и, светя себе сильным фонариком, стала спускаться по винтовой лестнице. Раскинув руки в стороны, измерила ширину прохода и удивилась: как же здесь проносили гроб? В нос ударил тяжелый затхлый воздух.

У подножия лестницы она остановилась, ей хотелось сперва ощупать помещение лучом фонарика. Пропорции склепа те же, что и церкви. В сводчатой нише, как раз под алтарем, на глыбе песчаника стояло изваяние Христа в человеческий рост — Христос воскресший; правую руку он поднял к небу, левой указывал на нарисованное у него на груди пронзенное, кровоточащее сердце. Раскрашенная скульптура, правда, краска сильно уже облупилась. Какой трогательный примитив! —как будто деревенского пьянчужки-каменотеса работа. Надпись на камне почти совсем стерлась.

Жофия медленно шла вдоль стен. Середину склепа оставили пустой — любопытно, почему? На метровом постаменте она увидела шесть гробов с самыми давними, самыми именитыми покойниками

[1] Имеется в виду граф Иштван Сечени (1791—1860) — выдающийся политический деятель.

этого исторического рода. Жофия с волнением разбирала высеченные на камне имена, даты, но древней 1700 года не нашла ничего. Мраморные доски на стенах свидетельствовали о месте упокоения тех, кому достались ниши, но даты жизни все приближались к дню нынешнему. Не обнаружилось ни одной взломанной, разграбленной или пустой гробницы. В стене из песчаника не оказалось никаких признаков и того, что были здесь сравнительно недавние захоронения — скажем, какого-нибудь нилашиста [1]. В сказку председателя сельхозкооператива о подземном ходе, соединяющем епископский дворец с Паннонхалмом, Жофия не верила, но все же надеялась обнаружить в склепе хоть что-то, наводящее на след. И теперь испытывала легкое разочарование — с чего же так дрожит над этим склепом декан?

Но перед одной мраморной доской она все же остановилась — свежо и ярко блестели на ней золотые буквы надписи:

«Здесь покоится супруга Калмана Семередь Семереди, урожд. баронесса Амалия Агашвари, 1885—1947».

— Тысяча девятьсот сорок седьмой,—повторила она задумчиво.— За нее, что ли, боится господин декан?.. Но почему?!

Она еще раз внимательно оглядела склеп и тут обнаружила в потолке продолговатой формы проем, плотно закрытый большой мраморной плитой. Плита не зацементирована, ее можно поднять. «Ага! — сообразила Жофия.— Вот сюда-то и опускали гробы. А сверху на полу нефа ничего не заметно: плита закрыта той красной кокосовой дорожкой».

Ее пробрала вдруг дрожь, и она поспешила вон из склепа.

Завечерело. В парке пахло мохом, на сельской улице запах зрелого зерна смешивался с ароматом малины. Женщины болтали, помахивая пустыми молочными бидонами, детишки искали на темной площади закатившийся мяч, шумная веселая компания выплеснулась из корчмы на улицу. Жофию охватило вдруг острое желание жить вот так, как они: чистые, без позывов к тошноте, рассветы, на завтрак парное молоко, потом тяжелая, бездумная физическая работа, вечером легкая разрядка на улице, в молочной, в корчме и здоровый, без сновидений сон...

Дом тетушки Агнеш стоял темный, не светился даже голубой огонек телевизора. Что случилось? Подозревая дурное, Жофия отворила калитку и перед верандой чуть не споткнулась обо что-то длинное, черное. Показалось — гроб. Она обошла его и включила лампу, освещавшую двор. На красной раскладушке под толстым серым покрывалом лежало тело. Покойник?! Послышался тихий жалобный плач. Она отбросила покрывало и, ошеломленная, увидела багровое от слез искаженное лицо тетушки Агнеш. Слезы и сейчас еще лились из ее глаз, напрасно она утирала их большим, совершенно мокрым уже полотенцем.

Жофия наклонилась к ней.

— Что случилось, тетушка Агнеш? Вам плохо? Позвать врача?

— Не могу больше, доченька! Не могу! Не могу! — проскулила старушка, и рыдание с новой силой вырвалось из ее груди.

Жофия беспомощно стояла над ней. «А ты завидуешь сельскому покою — ну вот, смотри же, что под поверхностью! Ты найдешь это повсюду, только ковырни фальшиво-безмятежный наружный слой. Не одна твоя жизнь трагедия — жизнь вообще трагедия, и ничего больше».

В этот теплый вечер под толстым покрывалом у бедной тетушки Агнеш не попадал зуб на зуб.

— Пять лет я за ним ухаживаю. Пеленки подкладываю. Мою. Смазываю все тело мазью, чтобы не было пролежней. Каждый божий день постельное белье меняю, ведь он уж и знак подать не может... А мне-то нельзя же все только при нем быть... Мне и по хозяйству

[1] Член венгерской фашистской партии.

крутиться надо... И в саду... И в церкви...— Жофия кивала ей: пусть выговорится.— Да ежели б оно впервой, тогда, может, господь бы мне больше терпения, больше силенок послал. Но это во второй уж раз!.. Свекровь мою тоже пять лет обихаживала. Ей девяносто было, склероз мозга, ходить не могла, ноги не слушались... по три раза на дню белье ей меняла. Ну ладно, больная, беспомощная, господи... может, и я такой же бессильной буду, хотя найдется ли еще кто, чтоб за мною присматривал... Но она же и злая была! Обделается вся, так еще по стене, по наволочке размажет... войду к ней, бывало, пожурю ласково, ай-яй, мама, зачем вы так? А она мне в глаза хохочет... Может, и не понимала, что творит... и так пять лет! Я белье-то ее в стиральной машине стирала, а все одно руки напрочь стерты были... рана сплошная... Однажды пришла младшая сестрица моя, у которой восьмеро детишек-то, она мне всю жизнь завидовала за то, что мне богатый парень достался,— думала, живу я себе, ни работы, ни заботы не знаю. Что уж ты, Агнеш, чего с ней маешься? Не давай ей еды с неделю, говорит. Господи боже мой, отвечаю, да как же я после такого к исповеди пойду?.. Тут-то злорадство ее и вылезло наружу: видишь, Агнеш, я восьмерых детей пеленала, а ты ни единого. Но все ж и тебя судьба наша женская настигла, вон когда пеленать довелось... Словно бы мне это в наказанье за то, что господь детей не дал... Да я-то чем виноватая?

Жофия слушала ее со стесненным сердцем. День, что ли, такой нынче — всем на мучение? Декан из-за чьей-то смерти терзается, тетушка Агнеш — из-за своего паралитика мужа. Наверное, жутко ей с ним, раз здесь легла, а не на своей кровати?.. В голове промелькнуло вдруг, что она даже не заглянула к себе — не знает, пришло ли письмо. Но сейчас это и не казалось столь неотложным.

Она уговорила тетушку Агнеш раздеться и лечь как следует, как всегда. Предложила ей снотворного, но у старой крестьянки и у самой было вдоволь новейших барбитуратовых препаратов. Казалось, возможность посетовать вволю помогла немного старушке, она поднялась, сложила раскладушку, покрывало и скрылась в комнате больного.

А наутро бедняга не знала, куда деться от стыда. Бледная, с покрасневшими веками, она потерянно толклась на кухне и, когда Жофия, еще в пижаме, вошла, чтоб выпить чаю, неловко попросила:

— Вы уж, золотко, пожалуйста, не рассказывайте никому!

— Ну что вы, тетушка Агнеш! — И Жофия поспешно заговорила о другом: — В церковном склепе я видела могилу Амалии Семереди, ее в сорок седьмом похоронили... Вот этого я не понимаю, тетушка Агнеш. Как с ними было-то, с Семереди этими? Вы случайно не знаете?

— Как не знать! — Старушка оживилась. Обрадовалась, видно, что можно говорить о другом, не терзаться мыслями все об одном и том же.— Ну, вы знаете, это семейство старинное, землевладельцы здешние. Когда-то не только наше село, но и другие села окрест все им принадлежали. Еще дед мой крепостным был у Семереди, потом, как стали землей наделять, крестьянином стал. Вот это все — виноградный холм, на котором дом наш стоит, и Хедьалья, и Старая улица, и Комловёльдь, Хоргаш,— все в имение Семереди входило... Последний Семереди, Кальман, здесь уже не жил, он офицер был, проживал в Будапеште. Только лето проводили здесь, в замке. Их и осада в столице застала, они там в Крепости [1] где-то жили, одна горничная ихняя из наших мест была, она и рассказывала... в сорок пятом, в апреле примерно, вернулись они было домой, да застали землю уже поделенной, в замке — комендатура, устроились у корчмаря своего, корчмато у них в усадьбе стояла. Какое-то время пытались они отсудить себе

[1] Старинный центр Буды, на горах над Дунаем.

замок да парк,— мол, господин генерал оттого и был когда-то, в тридцать восьмом еще, на пенсию отправлен, что сторонник англичан был[1], так что сколько-то земли уже положено, в Пеште-де это уж проголосовано, что те десять хольдов, на которых замок стоит да парк, за семейством ихним остались... так ведь разве ж местная беднота посчиталась с той бумагой да печатями? Деревья уж вырубили, парк чуть не весь распахали, усадебные постройки по кирпичику разобрали, из них себе дома понастроили... Я тоже купила подводу кирпича, когда разломали их винный погреб, им и вымостили мы дорожки к погребу да к сортиру, вот поглядите как-нибудь, там на каждом кирпиче оттиснуто: «1732 Ж. С.» — Жигмонд Семереди значит.

«Опять эти заколдованные тысяча семисотые!» — досадовала Жофия.

— А когда они на Запад уехали?

— В сорок шестом... Как увидели, что здесь только трудом рук своих прожить смогут, так и укатили в Швейцарию. Господин генерал да двое детей его — Феликсу было тогда лет восемнадцать, а его сестре Бланш двадцать. Уж такая страхолюдина была, длинная как каланча, а ноги прямо черные, все волосом поросли. А барыню... ее у нас так и звали... ну, значит, мать ихнюю, везти с собой не решились, она тяжело болела тогда, думали, позже-то заедут за ней, как она выздоровеет, а через несколько месяцев границу закрыли, барыня тут застряла, а после и померла... Важные были похороны... Поговаривали тогда, что господину декану золота отвалили, чтоб, значит, мраморную доску для нее заказал...

«Навряд ли... золото они скорей всего с собой прихватили»,— подумала Жофия и, одевшись, пошла в церковь работать.

Она уже удалила — осторожно, тщательно — облупившийся слой краски и теперь подбирала пурпурный тон для мантии, в точности соответствующий оригиналу. Вдруг она услышала за спиной посапыванье старого священника. Жофия выпрямилась.

— Не смотрите, господин декан, на этом этапе просто безобразно все выглядит! — И, обернувшись, оторопела при виде бледного лица декана, его обведенных синими кругами глаз.— Вы плохо себя чувствуете, господин декан?

— Только этого еще не хватало,— невнятно проговорил священник и, с трудом протиснувшись на переднюю скамью, локтями оперся о пюпитр. С задумчивым лицом смотрел он на эту красивую чужую женщину.

— У вас уже умирал кто-нибудь, Жофия?

— Нет еще, господин декан. И мать, и отец у меня, слава богу, здоровы... Я-то однажды чуть было не умерла, но ведь это я, а не мой кто-то...

— А у меня вот умер сейчас...— Священник искал точное слово; Жофия положила кисть, взяла определенную в пепельницы пустую банку из-под краски и присела на другой конец скамьи.— Брат мой? союзник?.. товарищ?.. Как хорошо писали встарь: мой ближний...

Жофия закурила сигарету. Священник сидел отрешенный и говорил словно бы сам с собой:

— Собственно, я не знал его близко... по правде сказать, и видел-то всего два раза... А все же... Мало кто на этой земле был мне так близок, как отец Рафаэль... Мы прилепились друг к дружке, как скованные вместе галерные рабы. Он был крестьянский сын, сильный, как буйвол, и душой незлобивый, как буйвол. Жили они в страшной бедности, он едва-то читать-писать выучился — зимой не ходил в школу, потому что обувки не было, а весной-осенью потому, что свиней пас... Короче говоря, священником быть ему не пришлось, и он стал монахом. Во францисканский орден вступил, такой, знаете, монах-

[1] То есть был в оппозиции правительству, проводившему пронемецкую, профашистскую политику.

слуга, по двору работал, на кухне... Покуда в монастыре жил, счастливый был человек. Чистый человек. Нет такой тайны за семью печатями, какую бы нельзя ему было доверить...

Декан вздохнул и надолго умолк, глядя перед собой.

— В пятидесятом, когда монастыри распустили, он пешком отправился в Залу, к родителям своим, но сперва ко мне зашел попрощаться... Трагическая судьба... Тогда я видел его последний раз.

— Двадцать восемь лет назад,— отметила Жофия.— Вы переписывались?

— Зачем? Да и о чем?.. О том, что мы знали, даже говорить-то нельзя было...

«Нельзя даже говорить?..— Жофия сосредоточенно смотрела на священника.— Нельзя говорить — о чем? Здесь скрывается какая-то тайна, но какая?!»

—Сколько ему было лет? — спросила она.— Верно, немолодой уже.

— Да не в возрасте дело тут,— сказал священник.— Просто я остался один.

Жофия помолчала, подумала.

— Не сердитесь, господин декан, но я не понимаю...

Священник вяло улыбнулся.

— Не беда, Жофия. Мне уж и то приятно, что вы меня слушали.

Наступила тишина. Жофия погасила сигарету и вернулась к своей работе. Делала на картоне мазки — подбирала пурпурный цвет.

— Подозрителен мне этот Христофор, господин декан,— медленно проговорила она и с большими паузами продолжала:— Святой Христофор стал в нашей стране популярен в четырнадцатом веке, после эпидемии чумы в Европе. Его рисовали на наружных стенах церквей, городских ратуш, на колодцах посреди площадей, на страницах псалтырей и кодексов... Изображали всегда на видном месте, чтобы заметен был издалека. Ставили на воротах, украшали им башни, он поджидал путника и провожал его в дорогу... впрочем, его писали и на створчатых алтарях, самые знаменитые изображения Христофора, какие можно увидеть еще и ныне, на створчатых алтарях в Эстергомском музее христианства, в Бартфе, Лёче [1] и Смречани. Все они относятся к концу пятнадцатого — началу шестнадцатого века... Правда, в XVIII веке его культ воспрянул снова, но... Одним словом, определенные признаки, которыми не хочу сейчас утомлять вас, господин декан, указывают на то, что эта церковь, по крайней мере остатки первичной кладки стен, несомненно старше XVIII века...— Она взяла на кисть пурпурную краску, осторожно коснулась ею мантии и, прищурясь, разглядывала мазок.— Я воображаю себе это так, если позволительно реставратору предаваться воображению: что первоначально святого Христофора написали для наружной стены церковной башни, а позднее — то ли церковь была разрушена, то ли сгорела, то ли непогода попортила,— позднее перенесли образ в алтарь... В епископальном архиве я обнаружила протоколы инспекционных смотров за 1698 год. Секретарь епископа объехал всю епархию, дабы установить, что от нее осталось после всех опустошений, какие причинили турки и те, кто изгонял их — съехавшиеся со всего света на помощь войска наемников, вандалов. Которые, кстати сказать, больше бед причинили этим местам, чем турки... Про соседнюю деревню в этих записях сказано, что на горе видны развалины церкви, а под горой — сгоревший барский амбар для сбора податей. О нашем селе написано, что оно совсем обезлюдело, обитатели же его, кто и жив, укрылись под землею, в норах, в местах недоступных. Вот и наш председатель сельхозкооператива нашел у себя во дворе такую нору на трехметровой глубине... Знаете, господин декан, засело у меня в голове слово это — «недоступные». Секретарь епископа, надо полагать, объезжал разо-

[1] Венгерские названия словацких городов Бардейов и Левоча.

ренную епархию в карете, запряженной двумя лошадьми. По бездорожью. А что, как не мог он подъехать к этой церквушке? Потому и о руинах ее записать ничего не мог... Сюда-то ведь не так называемая «королевская дорога» вела, с канавами по обочинам для стока воды, а обыкновенный проселок, и весною да осенью здесь, наверное, можно было утонуть в грязи...

Наконец-то Жофия была довольна цветом и стала осторожно наносить заплатки на обветшалую пурпурную мантию.

— Резная фигура Христа в склепе, несомненно, средневековая,— говорила она, продолжая работать.— После средневековья таких неуклюжих примитивных изваяний больше не делали, даже бродячие камнерезы. Да и постамент сам настолько...

Священник вдруг вскинул голову.

— Вы были в склепе?

— Была и, хотя не обнаружила там захоронений ранее тысяча семисотого года, думаю, этому также имеется какое-то объяснение. Но фигура Христа...

— Когда?! — резко перебил ее декан.

Жофия, недоумевая, оторвалась от работы.

— Вчера вечером.

— Где взяли ключ?

— Пирока была столь любезна...— Жофия запнулась и в растерянности смотрела на взволнованного, не похожего на себя священника. Право же, непонятно, с чего декан так оберегает склеп, ведь она не нашла там никаких, совершенно никаких тайн — напротив, благодаря остаткам старинной кладки под алтарем и фигуре Христа можно, пожалуй, добиться, чтобы церковь получила статус памятника старины... и тогда она стала бы ее реставрировать, господи, как бы хорошо-то, это же год, два года работы, и все это время ей можно будет не возвращаться в Пешт...

Но сказать она ничего не успела — священник, не простившись, вышел из церкви.

Пирока стряпала, когда разгневанный священник распахнул дверь в кухню.

— Как вы посмели распоряжаться за моею спиной! Кто хозяин в этом приходе? Вы или я? Я терплю, когда вы хулите мой сад! Я не говорю вам ни слова, когда вы ежегодно раздариваете тридцать литров моей палинки по той причине, что готовите ее сами. Я покорно ем с чесноком фасолевую похлебку, поскольку вам так по вкусу. Я смирился с тем, что в томатный суп вы не кладете лаврового листа! Я принимаю к сведению, что вы пришиваете пуговицы к моей рубашке, когда она уже на мне и я тороплюсь. Терплю, что вы смотрите свысока на мое происхождение! Глазом не моргну, когда вы рассказываете всем и каждому, будто бы я не способен отличить смарагд от сапфира! Мирюсь с тем, что вы отравляете моих прихожан безнравственной вашей «Театральной жизнью»! Но совать любому чужаку в руки ключи мои — нет, этого я не потерплю! Не потерплю! Примите к сведению, не потерплю!

Пирока слушала декана скорей изумленная, чем испуганная: право, он никогда еще, кажется, не выходил из себя до такой степени.

— Ключи? — спросила она непонятливо.

— Да-с! Ключ от склепа!

— Какой же она чужак? Художница. Церкви расписывает... Ежели ей пожелалось осмотреть склеп, то почему же, не понимаю...

— Ах, почему?! — бушевал священник.— В следующий раз, ежели явится сюда грабитель и попросит у вас ключи от моего письменного стола и от дарохранительницы, так вы уж ему, верно, на подушечке их подадите!

— Непонятно мне, господин декан! — оборонялась Пирока.— Ежели художнице захотелось посмотреть склеп...

— Не в склепе дело! Речь идет о моих ключах! Не извольте распоряжаться моими ключами!

Домоправительница сочла глубоко несправедливыми яростные наскоки священника. В чем же ее вина? Господин декан никого до себя не допускал, а этой славненькой художнице тут как раз и потребовался ключ. Горько обиженная, Пирока бормотала себе под нос:

— Что ж, могу и уйти... Я нынче дефицитный товар... Вымирающая профессия!.. Каждую неделю читаю в «Уй эмбере»: всему миру известные артисты, режиссеры ищут «надежную домоправительницу». А ведь и вы, господин декан, не скажете, будто я не надежная... Мы с вами друг к другу не цепью прикованы, господин декан, будто галерные рабы...

При словах «галерные рабы» священник вздрогнул и несколько устыдился. Сердито махнув рукой, он вышел из кухни.

Но Пироке этого было мало. Она выключила электрическую плиту, вытерла руки, достала из шкафа в прихожей самый красивый чемодан господина декана и с оскорбленным видом удалилась в свою комнату. Там она бросила чемодан на незастеленную кровать и начала укладываться. Пирока постоянно ходила в одних и тех же двух-трех халатах, но ее шкаф был полон нарядами, ни разу за двадцать лет не надетыми. Тут были платья из креп-сатина, платья из кружев, какие она видела в давно минувшие времена на гостьях герцога Эстерхази или в «Театральной жизни», и хотя они давно уже вышли из моды, выбросить было жаль. Перекладывая свои вещи из шкафа в чемодан, Пирока продолжала ворчать, не остыв от ссоры с деканом:

— Небось когда заболел, так и от письменного стола мне ключ отдал, чтоб я деньги взяла да докторам заплатила... Эх! Видать, и господин декан не лучше других...

Ей пришло в голову, что для путешествия следует переодеться. Она сбросила истрепанные домашние шлепанцы и с трудом втиснула ноги в закрытые туфли из крокодиловой кожи. Отобрав шелковое темно-зеленое платье, повесила его отдельно, на дверцу шкафа. Затем открыла картонную коробку, пересчитала: дюжина черных кожаных перчаток. Шляпы — фасонов сорокалетней давности. Маленькие старомодные ридикюли. Открыв один из них, вынула толстый, в три пальца, золотой браслет, защелкнула на запястье. Осмотрела себя в зеркале: седые, взбившиеся волосы, яркий цветастый халат, туфли крокодиловой кожи, на ногах варикозные вены, на руке золотой браслет. Пирока осталась довольна увиденным.

— Явлюсь прямо к Иринг Дечи, артистке. Так и скажу: больше никого не ищите, золотко, я стану вашей второй премией Кошута!

Полчаса спустя декан, чувствуя свою вину, пошел разыскивать Пироку; когда он открыл дверь в ее комнату, глазам его представилось поистине ошеломляющее зрелище: посреди невероятного беспорядка сидела у стола его домоправительница, а перед нею, на раскрытой клетчатой скатерке, поблескивали золотом сакральные предметы: епископский крест, усаженный рубинами, золотой перстень с лиловым камнем, золотой потир, золотой ларец, золотой кувшинчик... Декан смотрел, похолодев. Смущенная Пирока с опозданием попыталась скрыть сокровища и стала уже было завязывать скатерку, но священник решительным движением опять развязал ее, и, как видно, в мыслях у него пронеслось что-то ужасное, потому что он спросил совсем как судья:

— Что это такое?!

Пирока ответила с вызовом:

— И мне надо чем-то жить на старости лет.

— Откуда все это? — зловеще загремел голос священника.

— Откуда ж еще, как не от господина каноника! — оскорбленно

отвечала Пирока.— Двадцать лет при нем жила... Вот и бумага на все это.

Из золотой шкатулки для фотографий она достала пожелтевший лист бумаги, весь заполненный текстом и с подписью.

— Вы не думайте, господин декан... На смертном одре господин каноник все мне завещал самолично.

Декан внимательно прочитал напечатанное на машинке завещание и долго рассматривал дрожащие закорючки подписи. Потом с мягкой насмешкой спросил:

— Сами вели его руку, Пирока?

— Ох, господин декан,— оживилась домоправительница,— это ведь часто бывает: душа готова, но тело бессильно!

— Ладно, Пирока! После меня вы ничего такого не унаследуете!

Пирока сразу вскочила, упрятала свои сокровища в скатерку, завязала все четыре ее уголка и сунула узел в шкаф, за белье.

— И вы мне говорите такое, господин декан! Это вы будете моим наследником...— Она живо выпрастывала чемодан, бросая вещи в шкаф.— Недолго уж я протяну. Кровяное давление у меня сто восемьдесят, в глазах мелькает, а голова чудная такая, словно обогнать меня норовит...

— Поставьте чемодан на место и дайте чего-нибудь на завтрак,— проговорил священник и шагнул к двери.

— Уж не думаете ли вы, господин декан, что я не отослала бы ваш чемодан обратно?

Священник жалостливо спросил с порога:

— Откуда, Пирока, откуда?

Жофия жила в селе уже четвертую неделю и однажды утром проснулась с чувством, что больше не выдержит,— она должна вернуться в Пешт. Хотя бы на один день! Хотя бы на час. Только заглянет в почтовый ящик и проветрит квартиру... «Ты бы уж не врала себе так откровенно»,— презрительно подумала она: ведь ключи от квартиры и от почтового ящика она оставила своей уборщице, молоденькой швабке из Пилишвёрёшвара [1], а с ними — несколько больших конвертов с надписанным адресом, чтобы раз в неделю, приходя убираться, она вкладывала в них всю почту и пересылала сюда. И письма приходили, только того письма не было! Чего же ради ехать сейчас домой?

Позвонить по телефону?..

Если позвонит — после себе в глаза наплюет. Если не позвонит — жалеть будет, что не позвонила.

А если все опять начнется сначала? Все то, от чего спасалась она на этом затерянном островке?

Но сейчас ей было в селе невыносимо! Раздражала тетушка Агнеш — хотя старушка опять стала ровной и общительной, и одна мысль о том, чтобы взять в руки кисть, приводила в содрогание. Не хотелось встречаться ни с деканом, ни с председателем сельхозкооператива, не было желания завернуть в маленькое душное прессо, где около пульта с мороженым вечно толпится детвора. Она просто не знала, куда девать себя.

Необходимо чем-то занять свои мысли.

Надо что-то придумать, чтобы не начать пить прямо с утра. Потому что тогда она все-таки сядет на скорый и помчится домой.

И вдруг ее осенило — она бросилась в машину и поехала в комитатский архив.

Пожилая женщина, заместительница заведующего архивом, который был в отпуске, встретила ее приветливо. Охотно отыскала жиденькое досье Семереди.

[1] Пригород Будапешта.

— К сожалению, это все,— невесело заметила она.— К осени сорок пятого года, когда мы вновь организовали архив и поехали по покинутым дворянским усадьбам нашего комитата, частные архивы оказались опустошенными. Род Семереди насчитывает семьсот лет, а для венгерского дворянина, как известно, архив был его сокровищем, имуществом, охраной от невзгод. И берег он его как зеницу ока. В бурные эти столетия стоило пропасть его грамотам, и дворянин в единый миг оказывался бездомным, неимущим. Только грамоты указывали, что те или иные имения, барский дом принадлежат ему... Мы полагали, что обнаруженная документация займет у нас тут по крайней мере два погонных метра... Но батраки все расшвыряли, сожгли...

— Да, может, это армия? — спросила Жофия.

— Нет, не армия. Немцы увезли с собой лишь компрометировавшие их документы, ну а русским они были совсем ни к чему, из них даже цигарки не скрутишь, бумага-то толстая... Да и вообще... похоже, у венгерского народа нет интереса к документам, касающимся его же прошлого, ведь и в пятьдесят шестом здесь вели себя точно так же. Когда восстановили порядок и мы стали объезжать сельские советы, нашлось совсем немного полуобгоревших обрывков... У нас здесь больше материалов, касающихся средневековья, нежели наших дней...

— Когда же следует начинать сбор материалов? — задумчиво проговорила Жофия.— Вчера?.. Или прямо сегодня?..

Никаких сведений, относящихся к церкви, она в папке не нашла, решительно ничего. Вернее, там упоминалось только, что последний землевладелец, покоящийся в склепе, был похоронен в 1920 году, после чего сын его, армейский офицер, переехал на жительство в столицу и служил в штабе. В 1938 году, будучи в чине генерала, получил отставку. Имение вела его мать с помощью управляющего. Семейство генерала проводило в своем замке только лето.

Разочарование лишь усилило ее тоску.

— Я могу понять,— обратилась она к архивариусу,— когда батраки растаскивают обстановку, ковры, одежду, столовое серебро и тому подобное. Но что они делали с грудой бумаг, написанных по-латыни?

Заместительница главного архивариуса сварила на спиртовке кофе, угостила и Жофию.

— Я пишу книгу по истории здешнего края,— сказала она со стеснительной улыбкой.— В 1924 году давали наделы по программе Надьатади [1]. И эти документы пропали. Я написала генералу в Швейцарию,— мол, он, несомненно, еще помнит, сколько хольдов вынужден был отрезать...

Жофия заинтересовалась.

— Ответил сын его, Феликс. Письма при себе у меня нет, но говорилось в нем приблизительно следующее: мое письмо ужасно взволновало и растревожило его отца, несколько недель он пребывал в глубокой депрессии — отчасти то была тоска по родине, отчасти угрызения совести оттого, что, уезжая, оставил здесь умиравшую жену,— ну, и наконец, он не мог взять в толк, чего еще желают его лишить. Что же касается моего вопроса, писал он далее, то непременно выяснит все у отца, улучив более спокойную минуту, и либо ответит письменно, либо зайдет лично, если навестит родные края... А месяц тому назад я получила от него траурное извещение о том, что отец скончался...

— Д-да,— задумчиво проговорила Жофия.— А ведь он может знать и о том, когда была построена их семейная капелла.

— Если он не знает, тогда никто не знает,— отозвалась заместительница и приветливо улыбнулась Жофии.— Я рада, что вы здесь

[1] Надьатади Сабо Иштван (1863—1924) — политический деятель, защитник интересов зажиточного крестьянства, к обогащению которого и свелась в конечном счете связанная с его именем земельная реформа.

работаете. Быть может, вдвоем мы больше сумеем узнать о прошлом этого села...

Жофия попрощалась и до самого вечера бродила по городу. Осмотрела епископский дворец, комитатскую ратушу, краеведческий музей, фотовыставку дома культуры, казематы, «Рыбацкую чарду», «Пограничную чарду», чарду «Паприка», эспрессо «Голубой Дунай», эспрессо «Раба», эспрессо «Золотая звезда»... и лишь поздно вечером вернулась домой. У тетушки Агнеш слабо светился голубой огонек телевизора. Жофия неслышно прокралась по коридору в свою комнату, сбросила сумку с плеча. На кружевной скатерти увидела две газеты и цветную открытку, присланную из Неаполя: «Жаль, что тебя нет с нами. Иза, Кари».

Она вынула из ночного шкафчика полученную от Пироки бутылку — палинки в ней осталось всего половина,— поискала стакан; в комнате оказался только один большой стакан для воды, она плеснула в него палинки и жадно выпила. За целый день не пришлось проглотить ни капли — ведь она была за рулем. И теперь казалась себе пересохшим муравейником; ее томили жажда и беспокойство. Из другого отделения шкафчика она вынула папку, откинула кружевную скатерть, выпила еще палинки, затем села к столу и написала:

«Дорогой Миклош!»

Поглядела на написанное, перечеркнула.

«Родной Мицу!»

Не понравилось и это. Она вновь обратилась за помощью к палинке. Но едва поднесла стакан к губам, как в дверь постучали. Жофия быстро проглотила палинку, сунула бутылку в ночной столик, опять села к столу и только тогда ответила:

— Войдите!

Тетушка Агнеш, необычайно возбужденная, просунула голову в дверь.

— Не помешаю? — спросила она; впрочем, старушка была в таком волнении, что ответ даже не интересовал ее.

— Прошу, тетя Агнеш, входите,— проговорила Жофия не слишком любезно, хотя и рада была, что можно отвлечься от своих мыслей.

— Но я, право же, не хотела бы,— пробормотала, соблюдая приличия, старая женщина, но в то же время поспешно входя в комнату.— Вы, я вижу, работаете...

Жофия прикрыла вечной ручкой «родного Мицу».

— Да, я побывала сегодня в комитатском архиве... Но вы проходите, тетушка Агнеш.

Тетушка Агнеш была слишком взбудоражена, чтобы приметить недовольство Жофии или посчитаться с ним. Еще только идя к кушетке, чтобы примоститься там на самом краешке, тетя Агнеш сообщила:

— Его высокоблагородие господин Семереди приехал из Швейцарии!

— Семереди? — Жофия была поражена.— Вот так совпадение!.. Который же Семереди?

— Да Феликс! Тот, которому было лет восемнадцать, когда они укатили. В сорок шестом. Остановился у Келемена Байсатлана, да вы знаете, бывший корчмарь из имения... Но я и сама повстречалась с ним возле почты. Он признал меня! Хотите верьте, хотите нет, но признал!

«Сухощавые лица,— подумала Жофия,— между пятьюдесятью и восемьюдесятью не слишком меняются. Черты затвердевают, морщины делаются глубже, а кожа тоньше, суше, но тип лица остается тот же».

— Вы были знакомы? — спросила она.

— Свекор мой, мясник, часто ходил к ним, они каждое лето покупали у него колбасу.— Тетушка Агнеш сияла и оживленно жестикулировала.— Иногда и я ему помогала. Ну, а уж после сорок пятого, можно сказать, село-то и содержало их! Бывало, и я носила им в кор-

зиночке то цыпленка, то утку или молодую картошку, демижон [1] вина. Они тогда у Келемена Байсатлана жили в одной комнате, старая барыня уже все в постели лежала, а паренек этот работал на корчмаря, бочки мыл во дворе, бывало, увидит, что к ним иду, тотчас бежит навстречу, помогает поклажу нести... Нынче встретились с ним у корчмы, а он и говорит: «Целую ручки, тетушка Агнеш, вы совсем не изменились!»

Жофия улыбнулась.

— Барином выглядит?

— О, он-то барин с головы до ног! Я не про перстень или там золотую булавку на галстуке, хотя и это все при нем. Но осанка, манеры... Вот такие же баре и графы Палфи были.

— Он уже приезжал домой?

— Нет, нынче впервой...— И, ответив, тетушка Агнеш тоже призадумалась над этим.— В первый раз приехал на родину.

— Хотя теперь ведь и те домой наезжают, кого в пятьдесят шестом к смерти присудили бы,— сказала Жофи и встала.— Спасибо, тетя Агнеш, поздно уже.

Старушке уходить не хотелось, но все же ушла она довольная, что удалось поделиться последней новостью.

Оставшись одна, Жофия тотчас опять достала бутылку. Сразу налила побольше в стакан. Ей хотелось напиться до беспамятства. С самого утра в ней жило такое чувство, что напряжение вот-вот разорвет ее. Целый день, сжав зубы, она держала себя в узде, целый день только и делала, что слушала других,— и напряжение не отпускало. Она стала раздеваться, но вдруг ее охватило отчаяние: если она останется здесь, в этих четырех стенах, если ляжет сейчас и до рассвета будет метаться в постели, то опять все останется по-старому, опять ничего не решится!.. С блузкой в руке она бессмысленно смотрела перед собой. Пойти в «Самопоилку»?.. В памяти возникли ласковые, печальные глаза председателя кооператива, она до сих пор даже не знает, как его зовут. Может, она там застанет его?.. К чему? Чтобы он рассказывал ей сказочки о «дереве Ракоци» [2], жутких подземных казематах крепости Вилагош [3] — какая там крепость, крепостишка!.. «Да есть ли тюрьма ужасней, чем моя жизнь?»

Она швырнула блузку на пол, опять села к столу. Схватила ручку.

«Пойми же ты, проклятие мое, пойми, злодей ты мой, ведь и мне положено столько свободы, сколько имеет собака, на цепь посаженная! Я же не вещь твоя...»

Ручка отказала. Она была пуста. Жофия чуть не разрыдалась от беспомощности. Еще и это! А ведь сейчас у нее получилось бы это последнее, все между ними прояснявшее письмо!

Жофия вскочила, бросилась к палинке, как к избавлению своему, выпила, делая длинные глотки. Спать, спать! Она включила радио, комнату наполнила беспокойная, будоражащая музыка рока. Присев на диван, стала снимать туфли, но шнурки затянулись узлом. С бешенством рванула их, разорвала, отбросила туфли в угол. Сняв брюки, оставила их лежать на полу. Грохал барабан, вопил саксофон. Право же, нет инструмента страшней барабана. Музыка казней. Жофия потерянно стояла посреди комнаты в одной комбинашке и вдруг увидела себя в длинном, чуть не до полу, зеркале. И пошла к нему то ли спотыкаясь, то ли танцуя. Теперь она смотрела на себя в упор. Лицо выражало отвращение и жалость к себе.

— У тебя же на шее морщины! Какой болван станет любить морщинистую шею!

---

[1] Оплетенная бутыль для вина.

[2] Дерево, посаженное Ференцем Ракоци II (1676—1735), дуб, под которым он, вождь освободительной войны против габсбургской Австрии, держал совет со своими полководцами, часто упоминается в народных сказаниях.

[3] Место, где 13 августа 1849 года сложили оружие главные военные силы венгерской революционной национально-освободительной армии.

Она оттанцевала назад, к бутылке с палинкой, сделала глоток и через голову сдернула с себя комбинацию.

И опять перед зеркалом.

— И ноги у тебя кривые. Потому и ходишь вечно в брюках, а не из-за моды вовсе!

Несколько па назад — и еще глоток палинки.

Опять — перед зеркалом. Голая. Хотелось трезво разглядеть свое худое, но пропорциональное, спортивное тело. Взгляд ее затуманился, на глаза внезапно набежали слезы. Жофия обеими руками приподняла упругие груди, как делают матери, давая грудь младенцу.

— Так вам эта грудь не нужна?

Отражение в зеркале становилось все туманнее. Она несколько раз моргнула, сгоняя слезы. Картина прояснилась. Жофия всматривалась в себя все безнадежнее и вдруг высунула язык.

— Глубокоуважаемый товарищ министр! — выговорила она с отвращением и ненавистью.

По радио танцевальная музыка оборвалась неожиданным фортиссимо, и наступила почти пугающая тишина. Затем поставленный мужской голос заговорил:

— Дорогие радиослушатели! Сейчас полночь. Прослушайте последние известия. Президент Соединенных Штатов Америки Картер...

Жофия попятилась, выключила радио, шатаясь заставила себя надеть пижаму и, вздрагивая от рыданий, бросилась на постель, судорожно, словно живое тело, обхватила подушку.

Наутро, одурманенная, с головной болью, Жофия тупо слонялась по церкви. Она едва решалась прикоснуться к картине. Смешивала одну краску, другую, делала мазки и тут же снимала, недовольная. Воздух вокруг нее, наэлектризованный, только что не шипел. В чаше со святой водой охлаждались бутылки — их было больше, чем обычно, и Жофия чаще к ним подходила. Была минута, когда образ святого Христофора показался ей таким ненавистным, что, подвернись под руки нож, она, пожалуй, располосовала бы картину.

В церковь неслышно, едва передвигая ноги, вошел декан. Прежде чем осенить себя крестом, он опустил пальцы в чашу со святой водой и, увидев пивные бутылки, сердито покачал головой. Все же так нельзя, будь ты сколь угодно неверующая!.. Однако, испытывая неловкость оттого, что, из-за склепа, ушел в прошлый раз не объяснившись, старик решил отложить выговор до другого раза. Когда же увидел вытянувшееся, измученное лицо Жофии, испугался.

— Вчера вы не пришли сюда. А я долго ждал вас. Беспокоился, не больны ли,— сказал он искренне.

Жофия отшвырнула кисти, почти бегом бросилась священнику навстречу, судорожно сжала ему руку.

— Беспокоились?.. Правда?.. Значит, кто-то еще обо мне беспокоится?

Декан поспешил пройти вперед, чтобы Жофия не заметила, что он заметил пивные бутылки. Прежде две-три бутылки лежали на дне, скрытые под водой, нынче же они громоздились там, словно это было ведерко для охлаждения шампанского. Жофия плелась за ним следом, ей хотелось ухватиться за полу его пиджака, только бы он не ушел, не оставил ее одну.

Декан долго рассматривал святого Христофора.

— Вы знаете, я в этом не специалист... но цвет мантии вы подобрали замечательно,— похвалил он Жофию.— Как вижу, дело у вас идет прекрасно.

Жофия махнула рукой.

— Моей профессией я старалась овладеть как следует. Но этого мало для блаженства.

Священник протиснулся на переднюю скамью, откуда имел обыкновение наблюдать работу Жофии. Сейчас он смотрел на круги под

ее глазами, выражавшими несчастье и робкую мольбу. Растроганный, жалея молодую женщину, он сочувственно сказал:

— Вы спросили: беспокоится ли кто-то о вас? Должно быть, многие... и помимо меня... Ваши родители... друзья...

— Родители?.. Я не обременяю их моими заботами. Они уже старенькие. Хватит с них и своих бед — старость, болезни, грядущая смерть... А друзей у меня нет... Правда, по моей вине. Односторонней дружбы не бывает. А я вот уже два года ни с кем не дружу. Зачем же им-то дружить со мной?

— Вы одиноки? — сострадательно проговорил священник.

— Хуже!— Жофия горько махнула рукой.— Одиночество — состояние ясное. Плохое, но однозначное. Рано или поздно оно вырабатывает определенную стойкость... какое-то упорство. Вот не поддамся же! Не поддамся, и все! В одиночку против всего мира — в этом есть даже определенное величие... Уж лучше бы я была одинока!

— Вас покинули?

— И это было бы лучше! — Вдруг она оборвала себя, в ней зрело какое-то решение. Священник смотрел на нее сочувственно, не зная, как поступить. Он заметил неуверенным тоном:

— Я вас не понимаю. Простите, не понимаю.

— Господин декан,— медленно заговорила Жофия,— меня воспитывали католичкой, но многое я уже подзабыла. Тайна исповеди — что это значит? То, что священник ни в коем случае не может рассказать о ней кому-то другому, или также и то, что не напомнит о ней самому исповедующемуся, никогда-никогда? Исповедь надо забыть... я бы умерла со стыда, если бы когда-нибудь услыхала от вас хоть что-то, хотя бы намек на нее.

— Вы не услышите, дитя мое,— серьезно проговорил священник. Он грузно поднялся со скамьи и направился к исповедальне, но Жофия его остановила:

— Не нужно, господин декан! Останьтесь здесь!

Как ни странно было это слышать декану, он повиновался. Он не видел, но чувствовал, что Жофия, подошедшая ко второй скамье, опустилась на колени, прямо за его спиной.

Священник закрыл глаза, осенил себя крестом, беззвучно забормотал: "Dominus sit in corde tuo et in labis tuis, ut rite confitearis omnia peccata tua. Amen"[1].

Жофия тоже закрыла глаза, спрятала лоб в ладонях, собралась с мыслями. Заговорила шепотом:

— У меня один только грех — с собой справиться не могу... Я полюбила большого человека. Он не только по положению своему большой человек, а... по характеру, по удельному весу, что ли. И не нужно было ему эту должность принимать, у него и прежде было имя в своей области... Когда-то учился он в Паннонхалме у бенедектинцев, потом познакомился с марксизмом, стал коммунистом, теперь говорит: вижу в этом истинное служение... Мы повстречались два года назад, он с официальной миссией приехал в музей. Красивый, сильный, настоящий мужчина, из тех, знаете, кто работает по восемнадцать часов подряд. Сплошная сила, страсть, интеллект и какая-то трогательная чувствительность ребенка, поэта... Даже не знаю, кто из нас кого выбрал... И почему его выбор пал на меня, понять не могу. Ведь он такое положение занимает, захотел бы, от женщин отбою не было бы. Но будь он простым шофером на грузовике, ходи он в пропотевшей майке, с немытыми волосами, ему и тогда не стоило бы труда заполучить себе любую, какую только пожелает... В тот же день он

[1] «Господь да пребудет в сердце твоем и на устах твоих, дабы исповедалась ты в прегрешениях твоих. Аминь» *(лат.)*.

написал мне, что хочет встретиться, но не в общественном месте, ему этого нельзя, по крайней мере не приличествует, а у меня на квартире. Я ему написала, что живу в коммуналке. Он вызвал меня в министерство: как так, нет квартиры, почему? Я приехала в Будапешт из провинции, пять лет училась, и пока еще не набралось столько денег, чтобы купить квартиру. Да, но как же художнику работать без мастерской? Затем: возможно, мы тут сумеем найти какой-то выход... Сумели. Я получила квартиру-мастерскую в только что сданном высотном доме. Но до того прошли месяцы, несколько месяцев. Мы переписывались, словно он был на фронте, а я где-то в тылу... Он писал короткие, но чудесные письма... Я бывала везде, где могла его увидеть: на вернисажах, на похоронах, на открытии памятников, на фестивалях и конференциях художников... иногда мы обменивались несколькими словами под перекрестным огнем тридцати — сорока пар глаз.— Жофия говорила чуть слышно, словно исповедовалась себе самой.— Когда мы впервые поцеловались, у меня, на новой моей квартире, стояли только софа да мольберт. Мы обожали друг друга, иначе не скажешь. Мы боготворили друг друга! Наши тела... словно скрипка и смычок... Я не подозревала, что такое счастье существует. Все мои прежние любви полны были компромиссов... Компромиссов? Гм... Он женат, дети — студенты, но все ничего, он разведется, и мы поженимся... Он пообещал это только однажды, но и тогда мне не следовало ему верить. Я поверила...— Жофия тяжело вздохнула. После долгой паузы продолжала: — Я была влюблена, жила как в дурмане, на вершине счастья, словно получила в подарок весь земной шар с бархатно-голубыми морями, сверкающими заснеженными горными вершинами... Я почувствовала, что и он... поначалу... Как только выдавалась минута, он бросался в такси и мчался ко мне. Мы пили кофе, чуточку коньяка, но главное... любили друг друга. Да. Любили друг друга.— Жофия задумалась.— Я устроилась на такое место, чтобы работать в основном дома... Он и уговорил меня... конечно, так ему было удобно... Потом... Потом он взял отпуск и уехал. С женой. Я напомнила ему его обещание... мы уж год как были в связи. Он прямо сказал мне: нет. Конечно, на это и посмотрели бы косо, если б он развелся, был уже случай, когда одного крупного работника сместили именно за развод, но ему бы и наплевать, для него министерство не подарок, а груз, для него это было бы счастьем, если бы удалось наконец написать задуманную книгу по истории венгерского изобразительного искусства,— нет, дело в другом: ему не в чем упрекнуть жену, да он и любит ее, привык к ней и потерял бы в ее лице превосходную хозяйку дома. «Не считай меня циником, малышка, но мне приходится быть эгоистом — время дорого. У меня нет времени, чтобы достать из шкафа нужную на этот день рубашку. Нет времени обсуждать, что готовить на обед. Нет времени выслушивать, что опять разбила домработница. Нет времени на всю эту канитель, связанную с разводом. Нет времени перебираться на другую квартиру. Вся моя энергия, все мои силы нужны мне для работы. Ты понимаешь, любовь моя?.. Неужто все наше счастье рухнет из-за какой-то бумажки?..»—Голос Жофии наполнился ненавистью.— Тогда и надо было рвать. Тогда и началось мое хождение по мукам... Об этой любви у меня нет воспоминаний... только постель. Мы никогда не были вместе в театре... Не пили пива в саду какого-нибудь ресторанчика на закате... Не гуляли в Крепости, не сидели на каменных скамьях под древними надвратными сводами, где в давние времена каждый житель Буды торговал вином. Мы ни разу не провели вместе субботы-воскресенья... никогда не были вместе всю ночь, никогда! Ни единого раза! — Голос ее прервался, она помолчала, чтобы успокоиться.— Едва оказывался у него просвет — час, полчаса,— он звонил, что едет, а то и не звонил, брал такси и... а потом... бежал без оглядки. У нас не было времени, чтобы поговорить. Я знаю, что он любит романскую архитектуру, потому что он писал

об этом работу, но я понятия не имею, как он относится к лапше с капустой. Мало-помалу вся моя жизнь свелась к тому, что я кропала что-то в своей мастерской... стеклянной тюрьме... аду со всеми удобствами... и ждала его. Друзья понемногу от меня отошли, ведь сколько бы раз они ни звонили, спрашивая, когда встретимся, я вынуждена была отвечать: пока не знаю... Я всегда была начеку, как солдат на посту. А если все же, бывало, взбунтуюсь и он, удрав с совещания или с приема, не находил меня дома, тогда он наказывал меня: я не видела его по две недели кряду. И нельзя было хотя бы позвонить: домой не смела, а секретарша подслушивала... Наверное, я сама была виновата: я не обладаю терпением Пенелопы. Другая, вероятно, уже чувствовала бы себя счастливой от самого ожидания праздников. Меня же ожидание это измучило... Он был прав: из меня не вышло бы хорошей жены — хозяйки дома... А так — становилось все безысходнее, для нас не было будущего... Я словно отгородилась от всего на свете, и ограда — чье-то лицо, которое даже и не принадлежит мне... Я стала внушать себе, что по ту сторону колючей проволоки мир еще существует, что в том мире найдется кое-что и для меня — и вот, собрав последние силы, убежала сюда. Вдруг да окажется, что еще не обязательно умирать...

Жофия умолкла, спрятала в ладонях горящее лицо. Она едва услышала взволнованный шепот священника:

—...да простит он прегрешения твои, успокоит душу твою. Аминь.

Жофия поймала на слове председателя сельхозкооператива — предварительно спросив и старательно запомнив его имя: Карой Боттяни (может, какой-нибудь побочный потомок знаменитых Баттяни?[1]),— заказала в столярной мастерской огромный мольберт для святого Христофора, чтобы последние мазки нанести с фронтальной позиции, и высокую легкую стремянку, с помощью которой она хотела обследовать штукатурку фасада: что это за пятна на нем—плесень или же в самом деле проступившие краски старинной фрески? Грузовик сопровождал сам председатель, он же помогал сгрузить мольберт, укрепить на нем алтарный образ. Потом все, завороженные, стояли перед заново родившимся святым Христофором: краски ликовали, кричали, жили, и монументальная мужская фигура с маленьким бородатым Иисусом на плече вселяла не только благоговение, но и излучала рыцарственную силу, мужество, достоинство.

Жофия испытывала почти детскую, так давно желанную радость в сумятице восхищенных возгласов, одобрительного хмыкания, чуть слышных присвистов. «Расстояние,— думала она,— расстояние в пространстве и времени. А миллионеры не дураки, что своих отпрысков, ежели случится им полюбить неровню, отсылают на Гаити или Канарские острова».

— Послушайте, дорогая наша художница,— повернулся к Жофии председатель.— К двадцатому августа[2] мы заканчиваем дом под контору кооператива. До сих пор-то приходилось работать в старом кулацком доме, но мы давно уже выросли из него, да и неудобно стало принимать там наших зарубежных клиентов. И вот мы хотели бы попросить вас расписать стену зала для заседаний, а? Ну, нарисовать что-нибудь подходящее. Четыре времени года, например,— конечно, так, знаете... как на селе это понимают... Или что сами пожелаете... вы в этом больше сведущи, чем я... А мы бы хорошо заплатили!

Жофия непроизвольно рассмеялась. От радости. Ей приятно было это наивное предложение.

— Мне очень, очень приятно... но ведь я реставратор.

[1] Старинный графский род, многие представители которого играли видную роль в истории Венгрии.

[2] День конституции ВНР.

— Не знаю, что это такое, но вижу: рисовать вы умеете.

Весь день Жофии работалось радостно, легко. «Ну и дела,— думала она,— до сих пор я тащила мешок, а теперь мешок меня тащит». Ей пришлось порыться в памяти, чтобы припомнить, когда она чувствовала подобную приподнятость. Что и говорить, давненько, тому уж почти полтора года, когда она стала работать в собственной мастерской над примитивом — романской головкой ангела. Тогда все ее существо согревала любовь, теперь же — свобода, по крайней мере надежда на освобождение.

В селе заговорили об алтарном образе, все больше наведывалось безмолвных зрителей. Успех окрылил ее. И подспудно зрела мысль: как-нибудь, правдами или неправдами, официальным путем или в обход, но она раздобудет деньги на реставрацию церкви и еще поживет в этом селе. Пока душа ее не раскрепостится, чтобы, возвратясь в Будапешт, не превратиться снова в рабыню.

Вечером, запирая дверь церкви, она заметила, что начисто позабыла о двух бутылках пива, охлаждавшихся в чаше со святой водой.

Стояло лето, жара осела между домами, каждый шаг подымал облако пыли, остро, густо пахло созревшим зерном. На площади гоняла мяч детвора. На всех углах стояли женщины с молочными бидонами и болтали всласть, мужчины шумно выкатывались из корчмы на улицу. Жофия шла медленно, опаляемая горячим, густым воздухом, она чувствовала себя почти счастливой. Все с ней здоровались, и она улыбалась, приветливо всем отвечала. Зашла в «Самопоилку», выпила ледяной фрёч [1] — и не захотелось ни повторить, ни выпить чего-то еще.

Обычно тетушка Агнеш в это время уже сидела у себя, перед телевизором. Но сегодня Жофия увидела ее в ярко освещенной, наполненной паром кухне — старушка ощипывала в тазу с горячей водой большую откормленную утку; на плите булькали кастрюли и кастрюльки. Пестрый платок стряпухи сдвинулся на затылок, сухонькое лицо было багрово-красно и залито потом. Жофия удивленно остановилась на пороге.

— Что это, тетя Агнеш? Пир будет?

— А, просто обед поприличнее,— поскромничала старушка, впрочем, не скрывая радости. И продолжала чуть ли не благоговейно:— Шаника приезжает! Давеча забегала мать его, мальчик, мол, едет полночным скорым. Вот я и пригласила к обеду.

Жофия не помнила никакого Шанику, но, почувствовав, что должна была знать о нем, улыбнулась:

— Вот и прекрасно!

— Экзамены сдал на отлично, вот только с политикой да экономикой у него чуть похуже. Но мать говорит, это все равно к его профессии не относится.

— А какая же у него профессия? — спросила Жофия, вежливо поддерживая разговор. Она достала из холодильника колбасу двух сортов, сыр, отрезала кусочек хлеба, положила все на поднос и села на веранде ужинать. Через отворенную дверь они хорошо слышали друг друга.

— Инженер он! — гордо объявила тетушка Агнеш.— Дороги строит, мосты. Работать будет здесь, в комитатском инженерном управлении. Сынок младшего брата мужа моего, деверя то есть. Куда какой головастый парнишка, они, Линкаи, все башковитые. Детей у них трое, и каждый чему-ничему а выучился. Старший брат Шани по продовольствию специалист на холодильном комбинате работает. Сестра уже замужем, но и она аттестат зрелости получила, сейчас в кооперативе бухгалтером.— Информация лилась из тетушки Агнеш нескончаемым потоком. Закусывая на полутемной веранде, Жофия вдруг вспомнила, что впервые не торопится к кружевной скатерти

[1] Вино с содовой водой *(венг.)*.

посмотреть, есть ли письмо. И не позволила себе торопиться, осталась сидеть.

— Хотя родители-то ихние не были... как бы сказать... особо рассудительные. Мать у них в войну заневестилась, ну и слишком уж со многими солдатами якшалась... такой слух шел. Правда, нет ли — меня там не было. Одно истинно, что долго замуж выдать не могли, в семье у них уж побаивались, как бы на стыдобушку в вековухах девка не осталась. Ну а году в пятидесятом, когда и последние военнопленные домой воротились, вышла она за бывшего батрака из имения, которому только три хольда и досталось, ведь к этому времени имение давно поделили. Ох, как же трудились они да как бедовали, деверь мой помогать им не мог, в список кулаков попал... с нами вместе... Не случись кооперативы эти, где уж бы им мечтать всех троих детей выучить, им бы тогда без детских рабочих рук не прожить. А в кооперативе отец-то их стал скотником, когда никто еще за это не брался, мать со всеми детьми мотыжить ходила... За несколько лет и оперились. С тех пор уж и дом построили, обставили хорошо, дочь замуж выдали, она тоже теперь в своем доме живет, старший сынок с родителями остался, а Шаника... Шанике этот наш дом пойдет...

«Ага,— вспомнила Жофия,— тот самый родственник, последняя надежда, который будет содержать тетушку Агнеш с мужем на старости лет».

— Я очень рада, тетя Агнеш,— проговорила она и убрала остатки своего ужина. Если завтра приходит новый «хозяин», самое время выяснить с тетушкой Агнеш вопрос о плате. Она остановилась в дверях.

— Вот уж два месяца, как я живу здесь, тетя Агнеш. Скажите же мне, наконец, сколько я вам должна.

Старушка выплеснула в ведро воду с ошметками перьев и опять залила чистой водой желтую, жирную утку. Она переключилась на новую тему гораздо быстрее, чем предполагала Жофия.

— Мне деньги не нужны, Жофика. Я пятьсот форинтов пенсии получаю да от посудной фабрики за сарай две тысячи. Тут у них склад... А вы лучше знаете что? Нарисуйте портрет моего мужа.

Жофия содрогнулась при мысли, что долгие минуты, часы, даже дни ей придется вглядываться в белое, бессмысленное лицо парализованного старика. Она с ужасом воспротивилась:

— Ведь я не художник, тетя Агнеш! Я всего-навсего реставратор!

— Видела я, какой красивый вышел у вас алтарный образ-то. И кооперативную контору, говорят, расписывать станете... А мне бы картину с мужа моего... Я б ее в золотую рамку вставила...

— Ну, мы еще поговорим об этом, тетя Агнеш,— пробормотала Жофия и поспешила укрыться у себя в комнате.

На кружевной скатерти ее ожидали две газеты. Письма не было. В сердце кольнуло, но совсем, почти совсем не больно. Она сняла все со стола, приготовила чертежную бумагу, тушь и принялась за работу. Когда тетушка Агнеш час спустя постучалась к ней, чтобы забрать и почистить давно не бывшее в употреблении столовое серебро, она увидела разложенные на кушетке чертежи — церковь в бесчисленных разрезах.

— И как же вы можете говорить, Жофика, что не умеете рисовать? — воскликнула она с укором, восторженно глядя на чертежи.

— Я только святые картинки писать умею, тетушка Агнеш,— нашлась Жофия.— А вот живого человека не могу.

— Живого?..— Старушка вдруг сникла и, безнадежно махнув рукой, ушла.

Над селом тяжело нависла августовская жара, в неподвижном воздухе одурманенно замерла жизнь. В своем плотно зашторенном

кабинете декан мирно дремал на качалке с открытым пасторским молитвенником на коленях.

Пирока постучалась, затем, не получив ответа, нажала дверную ручку, неслышно подошла к священнику и рукой, по локоть в муке, коснулась его плеча. Декан проснулся.

Выпачканными в муке пальцами домоправительница торжественно подала ему визитную карточку.

— Господин какой-то, из Швейцарии.

Священник взял карточку и долго непонимающе смотрел на нее отуманенным взглядом. «Д-р Феликс Семереди»,— бормотал он машинально и вдруг, разом придя в себя, заволновался, стал неловко вылезать из качалки.

— Феликс!.. Господи боже мой... Проводите же его, Пирока! Не сюда, в приемную залу! — Он поискал глазами пиджак, висевший на спинке стула, стал надевать, но никак не мог попасть в рукава.— Да помогите же мне! — воскликнул он, все больше волнуясь.— Поставьте на стол французский коньяк и приготовьте кофе.— Видя, что Пирока уже направилась к двери, он остановил ее:— Погодите! Серебряный поднос!.. Старый венский сервиз!.. Срежьте несколько кистей винограда... Да печенье подайте!

— Господи, кто ж это может быть?! — теряясь в догадках, воскликнула домоправительница.— А я-то подумала, эмигрант какой-нибудь.

— Вы здесь уже шестнадцать лет, и вам ничего не говорит имя Семереди? — возмутился растревоженный священник.

Пирока всплеснула руками — с них так и посыпалась мука — и, воскликнув: «Здешний барин!» — быстро засеменила к двери, чтобы исправить свою оплошность. Священник бросил ей вдогонку:

— Вымойте руки да наденьте новый халат!

— Хорошо, хорошо, и ноги помою,— виновато согласилась Пирока.

Декан освежил в ванной руки, лицо, причесал седые волосы, опрыскал одеколоном шею и с торжественным видом вступил в приемную.

Феликс Семереди был высокий худощавый господин лет пятидесяти, одетый с той утонченной элегантностью, которая, собственно, на первый взгляд даже неприметна. Это и сбило с толку Пироку. Главный садовник был слуга высшего ранга, но все же слуга, и мировоззрение дочери главного садовника определяла та среда, где на вышестоящих смотрели снизу. У слуги только одно платье и есть, у главного садовника их восемь, у герцога — восемьдесят, и одно роскошнее другого. На Семереди же не было ни золотых запонок, ни перстней с печатками и монограммами.

В приемной стоял барочный стол для заседаний на восемь персон, в углу — мягкий гостиный гарнитур того же стиля, два благородной формы шкафа для бумаг, на стенах в золоченых рамах — портреты кардиналов и епископов — Леопольда Колонича, Акоша Керестея, Колоша Васари, Дёрдя Сечени... Когда вошел декан, Семереди как раз рассматривал эти портреты. Он с улыбкой поспешил навстречу хозяину, пожимая ему руку, почтительно поклонился.

— Узнаете, святой отец? — спросил он с чуть приметным иностранным акцентом.

— Вы совершенно не изменились, ваше высокоблагородие,— улыбнулся священник и указал на мягкие кресла.— Прошу.

— Только перестал быть высокоблагородием,— заметил гость.— Я инженер, святой отец, инженер-электрик. Обыкновенный гражданин. Буржуа.

На столике уже стояло все, что заказал священник своей домоправительнице. Пирока, с вымытыми руками и в чистом халате, внесла кофе в фарфоровых чашечках с позолотой и неслышно удалилась.

После легкого нащупывания почвы: как поживаете, когда прибыли, какие новости дома, что нового там, на чужбине, и так далее — молодой Семереди приступил к делу. Как и приличествовало, он был серьезен, взволнован.

— Святой отец, я хотел бы увезти с собой прах моей матушки. Вот уж тридцать лет меня мучит совесть, что мы оставили ее, бедняжку, одну... Представляю, каково ей было...

Гость смотрел прямо перед собой и не заметил, как задрожал священник и внезапно покрылся потом. Как бы оправдываясь, он продолжал:

— Но если бы я вернулся за ней, то рисковал и ее не вывезти, и сам мог в тюрьме оказаться... Времена-то были какие!..

Декан не посмел заговорить. Он отхлебнул из своей рюмки коньяк, губы его дрожали.

— Благодарю вас, святой отец, что в последние недели вы были с ней рядом. Благодарю и за то, что честь по чести похоронили ее в нашем склепе. Что ежегодно служили панихиду за упокой ее души. Видите, хотя мы не поддерживали связи, я был осведомлен обо всем, что здесь происходило...

— Обо всем? — встрепенулся священник.

— ...и хотя до сей поры мы не имели возможности выразить вам благодарность нашего семейства, сделать это сейчас — одна из целей моего приезда.

Воцарилась тишина. Семереди, глядя перед собой, помешивал ложечкой кофе. Священник кое-как оправился от волнения и наконец, несколько раз судорожно глотнув, проговорил:

— Зачем?

— Что зачем? — переспросил гость.

— Зачем желаете вы увезти... прах вашей матушки?

— Таково было последнее желание моего отца... В марте мы похоронили и его... Последним его желанием было покоиться с нею рядом.

Священник озабоченно молчал.

— Но требуется разрешение,— наконец заявил он.

— Знаю, святой отец, я его добуду.

Декан помолчал.

— Дебреценский крематорий так перегружен, пройдут недели, пока оттуда...

— Я дождусь, святой отец... Я не был дома с сорок шестого года, по крайней мере оглянусь немножко.

Священник в отчаянье искал все новые доводы.

— Мы хотим сейчас реставрировать церковь. Ее объявят памятником старины. Более достойного, более прекрасного места...

Семереди с некоторым нетерпением остановил его жестом.

— Я венгр, но мое отечество — Швейцария! Мой отец был солдат, он провоевал всю первую мировую войну с начала и до конца, когда же увидел, что нас несет в другую бессмысленную бойню, то попросил отставку. Не мы презрели эту страну, это нас сделали здесь personae non gratae [1].— В его голосе звучала сдерживаемая горечь.— А там мы именовались displaced persons [2], ничейные... Но нас в конце концов приняли, мы пустили корни, есть у нас там уже и родная могила, увы. Моей матери незачем оставаться в этой церкви.

Декан сокрушенно пробормотал:

— Как вам будет угодно, ваше выс... господин Семереди.

Гость встал.

— Благодарю вас, святой отец... А пока... мне хотелось бы, наконец, помолиться у ее могилы.

С тяжелым вздохом священник поднялся, ноги его дрожали; он

[1] Нежелательными лицами *(лат.)*.

[2] Перемещенные лица *(англ.)*.

пожал Семереди руку, проводил его до двери и с порога приказал домоправительнице:

— Пирока! Дайте господину Семереди ключ от склепа.

Домоправительница вышла из кухни.

— Эка зачастили нынче в склеп тот! — вполголоса проворчала она.

Жофия не заметила, когда в церковь вошел Семереди с большим букетом цветов и толстой свечой. Последние две-три недели она работала отрешенно и при этом быстро — кажется, именно после «исповеди», и, кажется, потому чувствовала себя как-то чище, испытывала облегчение, словно больной, которого отпустили спазмы.

На голос Семереди она обернулась.

— Отличная работа! — заметил он.— Не понимаю, как это нам не пришло в голову реставрировать картину... Прошу прощения,— прервал он себя и протянул руку.— Феликс Семереди.

— Господин Семереди? — живо переспросила Жофия и, обтерев руку запачканной тряпицей, поздоровалась.— Жофия Тюю, реставратор.

Семереди внимательно разглядывал святого Христофора.

— Правда, мы только лето проводили в селе,— продолжал он,— и на бедную мою матушку всегда ложилось столько забот, что она рада была, если удавалось осуществить хотя бы малую часть задуманного... Впрочем, не знаю, входило ли это в ее планы...

— Я очень рада, что мы встретились,— сказала Жофия.— Я уж чуть было не собралась писать вам. Вы определенно знаете историю вашей капеллы.

— Определенно, к сожалению, не знаю,— отклонил чрезмерные упования Семереди. Он заметил банку-пепельницу, положил букет и вынул из кармана американские сигареты.— Закурите?

— Благодарю.

Жофия предложила ему сесть.

— Согласно семейной легенде,— заговорил он, садясь на переднюю скамью и сосредоточенно выпуская дым изо рта,— некий предок наш, Семереди, выступая в поход против турок, дал обет, если вернется домой невредимым, воздвигнуть церковь во славу святого Христофора, который в те времена почитался хранителем всех путешествующих.

— Против турок? — взволнованно переспросила Жофия.— Значит, это во всяком случае было до изгнания турок, до 1686 года. А не в XVIII веке.

— Освящал ее, кажется, сам дёрский епископ Дёрдь Сечени.

— Когда ж это был он епископом в Дёре? — размышляла Жофия.— В конце тысяча шестисотых годов, как будто так?

— Я не историк,— заметил себе в оправдание Семереди.— Но это можно выяснить.

— Да-да, я выясню... А почему только «кажется»?

Семереди развел руками.

— Когда я был подростком, отец показывал мне всякие семейные документы, было среди них и свидетельство об освящении церкви, но меня тогда еще интересовало другое... впрочем и сейчас тоже... я был заядлый радиолюбитель... Ну а к тому времени как темечко у меня заросло, и война проиграна, и усадьбу нашу разграбили... Был всего недельный интервал между тем, как стояли здесь немцы и пришли русские, и за эту неделю наши собственные батраки ограбили нас дочиста. Буквально дочиста, даже гвозди повытащили из стен.

— Во время войны ничего было не достать,— улыбнулась Жофия,— а уж гвоздей особенно.

— И бумагу на растопку тоже? — с горечью спросил Семереди.— Весь наш архив растащили, пожгли... Я понимаю крестьян французской революции, когда они в справедливом гневе захватывали, поджигали

барские дворцы, но эти-то революции не делали! Они все получили даром!

— Быть может, французский помещик точно так же не понимал своих батраков, как вы — венгерских.

— Осенью сорок пятого года сюда приезжали из комитатского архива и обнаружили документов вот столечко — это за семьсот-то лет!

— Да, я видела,— сказала Жофия.

— Видели? — В голосе бывшего помещика слышалось уважение.

— Я уже несколько месяцев занимаюсь этой церквушкой,— сказала Жофия.— И не думаю, чтобы первым освящал ее епископ Дёрдь Сечени. В то время ее, вероятно, отстроили наново, потому что при турках она была разрушена... Судя по изображению Христа в склепе и некоторым остаткам старой кладки, я отношу постройку первой церкви скорее к XIV—XV векам. Одного только не понимаю. Я не нашла в склепе ни единой даты ранее тысяча семисотых годов. Как это объяснить?

Семереди размышлял. Жофия попыталась помочь ему:

— Насколько мне известно, у вас не только здесь были имения, но и во многих других селах.

— Как же, как же! — Семереди оживился.— Ну, разумеется! Прежде семья проживала в Семереди, оттуда и родовое имя, или наоборот, Семередская пуста по нашему имени названа... но оттуда нас выкурили какие-то австрийские графы!.. Я помню, отец несколько раз рассказывал. А до той поры мои предки хоронили и там... Поначалу церковь эту для работников поставили и для проживавших в селе крепостных, батраков... Замок наш построен в 1701 году, гораздо позднее, чем церковь. К этому времени семье пришлось уже перебраться сюда. Знаете,— глаза у Семереди блестели, словно для него воскресло вдруг его детство,— в те смутные времена нелегко было удерживать крепостных. Они то и дело сбегали в более мирные места. А церковь... да, вот и это отец рассказывал... церковь предок наш Семереди затем и воздвиг, чтобы, как при Святом Иштване [1], хотя бы дом божий удерживал людей возле себя. Он же прислал сюда капеллана, который еще и грамоте детей обучал...— Семереди неожиданно вскочил.— Позвольте! Где-то здесь должна быть дата. Я сам видел ее в детстве... Или слышал только?.. Может быть, при входе.

Оба взволнованно бросились к порталу, но продолговатая красного мрамора плита была так затоптана, что, если и была на ней выбита дата постройки, она совершенно уже стерлась. Они разочарованно посмотрели друг на друга.

— Приходилось вам бывать в Кордове?

— Нет, к сожалению.

— Самая красивая мечеть в Европе! — восторженно проговорил Семереди.— Место паломничества магометан. Цель паломников — обойти вокруг святилища, где хранится Коран. Так вот, точно так же истоптан мрамор там, вокруг Корана, миллионами ног.

Они вернулись в неф, Семереди заметил мимоходом охлаждающиеся в святой воде пивные бутылки. Он улыбнулся, наслаждаясь смущением Жофии.

— Вы любите пиво в банках?

— Увы, оно попадается нечасто.

— Позвольте, я пришлю вам целый короб... Итак, год постройки...

— Он может оказаться в самых разных местах,— с надеждой сказала Жофия.— В алтаре, на фризе башни, на цоколе. Может, вы запамятовали, он не на пороге, а на краеугольном камне... А может, и на постаменте статуи Христа, на колонне какой-нибудь...

Семереди задумчиво посматривал на вдохновенного реставратора.

[1] Святой Иштван (ок. 970—1038) — первый венгерский король, который во имя укрепления государства способствовал обращению венгров в католичество.

— Почему вам это так важно?

— Мои учителя считали,— скромно заметила Жофия,— что на древности у меня чутье. И хотя доказать я пока не могу, но чувствую: эта церковь четырнадцатого либо пятнадцатого века. А если так, мы спасем ее для будущего.

— Ну что ж, ищите дату, желаю успеха,— любезно проговорил Семереди; он взял с пюпитра передней скамьи свечу, засветил ее, подхватил огромный букет и спустился в склеп, чтобы помолиться у могилы матери.

Без четверти два, когда Пирока по обыкновению приотворила дверь в кабинет: «Можно накрывать, господин декан?» — старый священник опять, преклонив колени и закрыв руками лицо, стоял на молитвенной скамеечке перед распятием. Пирока испугалась, даже хотела было послать кого-нибудь за районным доктором, но потом все-таки отказалась от этой мысли. Она была суеверна: болезни с того и начинаются, что мы обращаемся к докторам.

Вот уже несколько дней что-то не давало тетушке Агнеш покоя; Жофия старалась этого не замечать, а если и обращала внимание на ее взволнованный вид, все же выбрасывала это из головы. Отчасти потому, что ее слишком занимало то странное состояние духа, какое она неожиданно в себе открыла, отчасти же сознательно избегая старушку. Утренний чай она наливала тайком и уносила к себе, вечерами приходила поздно и неслышно скрывалась в своей комнате.

На кружевной скатерти ее всегда дожидались две газеты, но письма не было.

«Что ж, самое время было мне исчезнуть, он уже и не любил меня»,— думала она отрешенно, раздевалась, ложилась на диван и старательно, от начала до конца, прочитывала обе газеты.

А в иные вечера говорила себе точно то же: «Он уже и не любил меня!» — и вдруг испытывала при этой мысли острое разочарование, опустошающее душу чувство униженности. В такие вечера у нее уходило коньяку и бумаги не меньше, чем в первые недели здешней жизни.

А она?.. Она-то еще любит его?.. Иногда Жофия уже ничего не чувствовала и от того становилась легкой, как пушинка, свободной, как скворец, и опять чего-то ждала — как ждал тот дом с распахнутыми окнами и старым колодцем; когда-то в отрочестве, мечтая по ночам о необыкновенной, неземной любви, она все шептала, все твердила про себя эти стихи:

Спи, лампу погаси. Колодец старый
журчит, журчит, твой охраняя сон.
Кого застала ночь в твоем хибаре,
привыкнет к песне той, дорогой утомлен.
А может, только-только ты задремлешь —
дорожки заскрипят в ночной тиши:
вкруг дома твоего тревога бродит
и песенку воды вдруг заглушит,
и ты проснешься. Только не пугайся,
всегда на страже звезды над тобой.
То мирный путник подошел к колодцу,
ладонь подставил, пьет. И в час ночной
продолжит путь. А твой колодец старый
журчаньем вечным сон твой напоит.
О радуйся, что край сей не пустынен,
и кто-то вновь к тебе ночной тропой спешит

...А в другие вечера та же пустота приводила ее в ужас. Так бурно ворвалась в ее жизнь эта страсть, так перевернула все ее существо, словно какой-нибудь ураган, разразившийся над беззащитным, затерянным на морском берегу городком. Что останется после него, кроме смерти, развалин, пустоты... где даже заплутавшая птица не захочет

свить гнезда? Пустота, ничто — да не лучше ли в сравнении с этим хотя бы и такая несчастливая, безнадежная, унизительная любовь?..

Но теперь ее жизнь была наполнена и другим. Все с большим увлечением работала она над образом Христофора, чуть ли не кончиками пальцев ощущала волшебное возрождение картины в истинном ее виде. От этой пышущей силою, исполненной достоинства мужской фигуры несчастные и вправду могли ждать себе защиты... Возможно, и она тоже... С помощью председателя кооператива и начальника строительного отдела она промерила всю церковь, чтобы снабдить свой план реставрации точными данными, а не только приблизительными, чисто импрессионистическими зарисовками. Она уже решила любой ценой раздобыть деньги для реставрации — а следовательно, иметь возможность и дальше жить на селе. Не получится иначе, будет собирать по крохам — у министерства, епископа, кооператива. Пусть «министерство», коль уж могло достать ей квартиру, когда это понадобилось, поможет теперь не работать в этой квартире. Иногда вместо отдыха она расчищала немного штукатурку башни с фасада, в тех местах, где проступали подозрительные пятна, и хотя пока что обнаружила лишь почерневшие кирпичи, след давнего пожара, верила, что под многослойной известкой скрыты и фрагменты настенной живописи.

Каждый вечер Жофия уходила в свою комнату и работала над проектом реставрации. Тетушку Агнеш она избегала — ей мучительно было думать о портрете, который хозяйка заказала ей, во всяком случае, надеялась получить вместо платы за квартиру и стол. После того первого дня Жофия ни разу не заглянула в комнату больного — и все же его белое, гладкое, пугающе неподвижное лицо так и стояло у нее перед глазами. Каким оно было при жизни?.. Пожалуй, можно бы срисовать с какой-нибудь старой фотографии... Но Жофия знала, что у нее не хватит на это таланта, и было совестно оставить здесь после себя дурную живопись хотя бы и в доме деревенской старухи.

Но однажды в воскресное утро ей не удалось улизнуть. С одеялом и книгой под мышкой она уже собралась подняться к винограднику и там под сенью раскидистого орехового дерева забыться немного, как вдруг вернулась после мессы хозяйка; ее глаза подозрительно покраснели, судорожно сжатые губы конвульсивно подергивались. На веранде они встретились нос к носу.

— Хвала Иисусу Христу,— поздоровалась старушка ритуальной фразой.

— Истинно так,— отозвалась Жофия, чья бабушка также приходила из церкви с этими же словами. И теперь уже нельзя было не спросить: — Как поживаете, тетя Агнеш?

Старушка с отчаянием махнула рукой, бросила на стол молитвенник и стала выуживать из узкого рукава носовой платок. Достала, бессильно опустилась в плетеное кресло и, утирая глаза, всхлипнула.

— И Шанике мы не нужны!

«Вот что,— подумала Жофия,— этот родич-студент...» Она потопталась еще в нерешительности, с одеялом и книгой под мышкой, потом поняла все же, что сбежать нельзя, и, сдавшись, села в другое кресло.

— Сказал, что невеста у него — будапештская жительница...— Тетушка никого ни в чем не обвиняла, просто вся вдруг поникла.— Она дочка известного доктора и слышать не желает о том, чтобы жить на селе. Да он и сам хочет в столице остаться, правда, инженером его там еще не берут, нет места, но он, пока суд да дело, и у бензиновой колонки перебьется... Сказал, чтоб мы продали дом и сад, а он на это в Буде половину виллы купит... а другую половину, мол, родители девушки выплатят... Они уж и присмотрели одну, как раз продается, ее только в порядок чуть-чуть привести... и...

— И?.. Ну, а вы-то?

— Внизу, мол, есть там квартирка — комната-кухня... в старое время дворник в ней проживал... Так что и мы, говорит, вполне там разместимся.

— В подвале,— уточнила Жофия.

— Да ведь как же я здесь-то все брошу? — горько вскричала старушка; она раскинула руки, словно принимая в объятия не только свой дом, сад, колодец с мотором, высокий орех, но обнимая все село сразу. И добавила подавленно, угнетенно: — Я без этого и жить-то не смогу... Да и не захочу уж...

Стало тихо. Жофия, не зная что сказать, закурила сигарету. Она искала хоть какие-нибудь, самые банальные слова утешения, как вдруг заметила, что тетушка Агнеш исподлобья за ней наблюдает. Она ответила ей удивленным взглядом.

— Мы очень полюбили вас, Жофика,— тепло проговорила старушка.— Хорошая вы... Терпеливая, некапризная.

— Меня?..— удивилась Жофия, особенно смущенная этим «мы». Выходит, паралитик тоже полюбил ее? Любопытно, за что, да и как он выразил это тетушке Агнеш?..

— Вы тоже вроде как одинокая,— продолжала тетушка Агнеш.— Вот и писем почти не получаете... С тех пор как здесь, ни разочку в Пешт не съездили, значит, не так уж и ждут вас дома-то. А мы видим, что в селе вам вроде бы по душе. И вот, порешили мы с мужем моим,— тетушка Агнеш стыдливо улыбнулась,— предложить вам вот это имущество наше... с нами вместе.

Жофия была так поражена, что выронила горящую сигарету прямо на голые колени и даже не почувствовала ожога. Ничего не скажешь, предложение было ей приятно. Она так долго жила словно загнанный зверь, без друзей, без семьи, в вечной тревоге, что привязанность этой старой женщины глубоко ее тронула. Но и напугала — она не желала ни имущества, ни ответственности и, ежели б хотела жить в деревне, то в четырнадцать лет, верно, не покинула бы родного села.

Она попыталась как-то смягчить, перевести все на шутку — пока не придет в голову что-то лучшее, чтобы отказаться, не обидев старушку.

— Тетушка Агнеш, я же стряпать не умею. Мама было научила меня, но с тех пор я уж все позабыла.

— Ничего, доченька, я сама буду стряпать,— замахала руками старушка.— А когда уж не смогу, из корчмы приносить станем.

— Да я и мотыжить не охотница. А у вас вон какой сад-огород.

— Так мы и до сих пор нанимали кого-нибудь поденно.

— Я выпить люблю, тетя Агнеш. Можно, пожалуй, сказать, что я настоящая пьянчужка.

— Что ж, мой бедный муж тоже вон весь урожай, бывало, пропьет. А теперь вы пропивайте.

— Я работу мою люблю. Люблю церкви реставрировать. Когда здесь все закончу, придется уехать в другое место.

— Что ж, а на конец недели все-таки домой будете приезжать. Да и к чему уезжать куда-то на край света... Поговорите с господином епископом, сыщут вам работу поблизости, сколько душе угодно.

У Жофии уже пропала охота шутить. Стихнув, она сказала:

— Мне надо с мамой поговорить, тетушка Агнеш. Ведь и она уж старенькая.

Это подействовало. Старушка встала.

— Поговорите, Жофика,— промолвила она печально и пошла на кухню.

Декан пригласил Жофию к обеду. Как и в первое утро, Пирока накрыла в широкой части веранды. Придя немного раньше, Жофия стала ей помогать. Домоправительница пожаловалась:

— Что-то грызет господина декана! В прошлый раз, как получил он то извещение о смерти, целый день молился. Я уж ждала, что ему крем понадобится коленки смазать... он иногда просит у меня крем, которым я руки в порядок привожу... И с той поры все пишет, ночи напролет.

— Что делает? Пишет? — переспросила Жофия.— И что же он пишет?

— Понятия не имею. А только приметила я, что из-под двери его все свет сочится. Однажды прокралась в сад да и заглянула в окно: а он сидит за столом, сгорбился совсем и все пишет... Ох, не к добру это! Бедненький господин каноник, у которого я прежде-то служила, за полгода до смерти вдруг день с ночью путать стал: ночью все ходит, бывало, а днем спит... О-ох! — И, погруженная в тревожные мысли о собственном будущем, она, шаркая, поплелась на кухню.

Декан в самом деле выглядел плохо, ел рассеянно, оставил тарелку почти нетронутой. Жофии, словно заряженной каким-то приятным напряжением, очень хотелось взбодрить и его. Она с аппетитом ела отбивную, приправленную непонятным зеленым соусом.

— Если удастся обнаружить дату постройки,— сказала она, пересказав декану свою беседу с Семереди,— тогда ни епископский дворец, ни комитет по охране памятников не смогут устраниться... Из чего этот соус, господин декан? Такой вкусноты я еще не едала. Пирока готовит божественно.

Декан улыбнулся со скромной гордостью.

— Это, видите ли, как раз мое изобретение. Листья редиски. Обычно листья редиски выбрасывают. Пирока тоже выбрасывала... Ну, а я как-то предложил ей: давайте попробуем!

— Я тоже всегда выбрасывала! А как вкусно!.. Но дату я отыщу, хотя бы мне пришлось для этого сдвинуть с места краеугольный камень,— все равно найду!

— Однако комитет по охране памятников раньше чем на будущий год денег не даст. У нас ведь плановое хозяйство.— Декан не смотрел на Жофию, чтобы даже взглядом не намекнуть на ее тайну, услышанную на исповеди.— Вам же для здоровья как раз сейчас полезно было бы в деревне пожить.

Жофия оценила его такт, благодарно ему улыбнулась.

— Сельхозкооператив не дал бы денег? Хотя бы на почин?

— Не знаю.— Священник задумался.— Мне кажется, они тоже на меня сердиты, что я тридцать лет назад не позволил церковь новую строить... Скажут, если тогда вам не нужно было, так уж теперь-то к чему?.. Страшно подумать, право: как же это много — тридцать лет!

— Не всякие тридцать лет! — возразила Жофия и хлебом, как не делала уже давным-давно, дочиста собрала соус с тарелки.— Не всякие. А лишь такие, когда история по какой-либо причине ускоряется. Смотрите, король Матяш [1] умер в 1490 году. Через двадцать пять лет пришел Дожа[2], через тридцать пять лет — Мохач[3]! Тоже насыщенное было тридцатилетие. Только с противоположным знаком, если сравнивать с нынешним тридцатилетием...

Декан отставил от себя почти нетронутую тарелку, бросил на стол салфетку и отодвинулся от стола.

— Пирока! — крикнул он, но так как домоправительница не показывалась, сам переставил тарелку на чугунную подставку для цветов, опять сел и продолжил свою мысль: — Я понимаю, вы оцениваете по-

[1] Матяш Корвин (1443—1490) — венгерский король-просветитель.

[2] Дожа Дёрдь (?—1514) — вождь крестьянского восстания 1514 года, жестоко подавленного.

[3] С городом Мохачем связана одна из самых трагических страниц в истории Венгрии: в 1526 году венгры потерпели там сокрушительное поражение от турецких завоевателей.

зитивно тот факт, что теперь верующие уже свободно помещаются в этой церкви. Но я, как их духовный пастырь...

Жофия прервала его:

— Вы действительно боялись строить церковь? Так люди говорят.

— Не боялся... Не того боялся. Правда, как раз тогда шел процесс Миндсенти [1], но низшее духовенство особенно не тревожили. Дело в другом...— Он испытующе посмотрел на Жофию: говорить ли? — Просто покинутая церковь рано или поздно непременно подвергается ограблению.

Жофия удивилась.

— Но ведь все, что есть там ценного: потир, дарохранительница, алтарный образ, хоругви, облачение — вы все равно перенесли бы в новую церковь. Гробы ведь не украли бы? — добавила она, улыбнувшись подобной несуразности.

— Как знать? — загадочно отозвался священник.— Ограбление могил когда-то было весьма процветавшим ремеслом.

— Да, но в наши дни?..

Священник опять заговорил серьезно:

— Господа здешние сбежали за границу, не так ли? Была война, положение подчас складывалось весьма тревожное... можно было опасаться и американской интервенции... Вы не помните те времена.

— Но я их изучала.

— Это совсем другое!.. Знать о событиях из исторических книг совсем иное дело, чем пережить их... Из исторических трудов выпадает главное — атмосфера. А ее передать — разве что еще раз «Войну и мир» напишут, о нынешних временах.

— Непонятно мне, господин декан. Иностранная интервенция и ограбление церкви... не понимаю...— Жофия пристально всматривалась в лицо священника.— Вообще, что существенное можно украсть из склепа? Я ничего там не обнаружила, кроме камней.

— Ваше поколение выросло уже в другие времена, Жофия,— уклончиво отвечал священник.— Для вас, например, совершенно естественно, что мы получили из Соединенных Штатов наши коронационные символы...— Он растроганно улыбнулся.— Я стал тяжел на подъем, но, верите ли, не поленился бы съездить в Национальный музей, чтобы взглянуть на них. Тридцать три года ожидали мы этого великого события.

— Я с удовольствием отвезу вас, господин декан,— предложила Жофия.— За один день обернулись бы...— Внезапно лицо ее изменилось.— По крайней мере, и к себе домой заскочила бы.

— Лучше не надо! — мягко отказался священник и со стеснительной ласковой улыбкой добавил: — А вдруг вы не вернетесь?

Он приподнял пухлую кисть, погладил руку помрачневшей своей гостьи.

— Мне бы очень недоставало вас!

Из кухни появилась Пирока с неизменным подносом. Ворча, она убрала почти не тронутую тарелку своего хозяина.

— Уж вы лучше по три раза на дню рубашки свои пачкайте, да только ешьте! Мне куда сподручней лишние рубашки стирать, чем за хворым ухаживать!

— Может, у вас что-то не так, господин декан? — участливо спросила Жофия.

Когда Жофия работала, не только круглый стол, но и диван, и столик под зеркалом, и пол — словом, каждый квадратный сантиметр покрывали листы бумаги. В такое время она не сразу решалась лечь, не закончив работу, потому что для этого нужно было убрать черте-

[1] Кардинал Миндсенти в 1949 году был судим и приговорен к пожизненному заключению за антигосударственную деятельность.

жи с дивана, частично с пола, и, значит, был риск назавтра все перепутать. Она чертила разрезы церкви в разных ракурсах, на столе лежали карандаши, линейки, сантиметр, тушь, рейсфедеры, фотографии — чтобы все было под рукой,— так что едва оставалось место для пепельницы. Иногда ей мучительно не хватало своей просторной мастерской, огромнейшего письменного стола — хотя в том и была теперь цель, чтобы как можно позже все это увидеть. Жофия работала увлеченно, с наслаждением, не испытывая ни малейшей потребности глушить себя спиртным. Ей хотелось подготовить проект реставрации церкви одновременно с окончанием работы над святым Христофором, чтобы сразу отдать все жюри.

Над селом стояла полная тишина, молчал и телевизор у тетушки Агнеш.

Вдруг в дверь постучали.

Жофия даже рассердилась — зачем ей мешают!.. Она оторвала руку от чертежа.

— Кто там?

— Это я, Жофика,— услышала она сдавленный голос тетушки Агнеш.

— Одну минуту, тетя Агнеш! — Пробравшись между разложенными по полу листами, она подошла к двери и чуть-чуть ее приоткрыла.

В дверях—смертельно-бледное, испуганное лицо тетушки Агнеш.

— Жофика, золотко,— выговорила она заплетающимся от волнения языком,— будьте такая добрая, поглядывайте изредка на мужа моего, я за господином деканом сбегаю...

Ее страх передался и Жофии.

— За господином деканом?.. Что, дядя Пали?..

Тетушка Агнеш кивнула.

— Он уж с полудня самого все чего-то хотел от меня, да я не понимала. Он ведь только глазами моргать может, а я уж догадываюсь, чего ему надобно... А тут совсем было отчаялась. Что-то нужно ему, да не в доме, только это и разобрала. Но что?.. Потом, как телевизор-то выключила, вспомнилась почему-то игра, ну когда только «да» и «нет» отвечают... Человек? — спрашиваю. Показывает глазами— человек, мол. Здесь, в доме? Показывает — нет. В селе живет? Молодой? Старый?.. Словом, мало-помалу и поняла, что господина декана видеть хочет. Теперь?.. Теперь, сию минуту!.. Господи, господи, уж не смерть ли свою почуял?

— Давайте я привезу господина декана, тетя Агнеш,— предложила Жофия, тем более что ей и самой было легче съездить за этим милым стариком, чем оставаться наедине с больным, который может умереть в любую минуту.— На машине быстрей обернусь.

К счастью, она застала священника еще одетым. Пирока уже было легла, но тотчас встала и с видимым удовольствием, церемонно вынула из дарохранительницы лилово-белую столу и елей. Декан взял ключи от дома с собой.

— Вы меня не дожидайтесь, Пирока, кто знает, когда я вернусь... Если будет нужно, задержусь там до утра.

Тетушка Агнеш встретила их у ворот. Она тотчас повела декана к больному, Жофия осталась во дворе. Она присела на край цементной поилки возле колодца, из которой вот уж пятнадцать лет не доводилось пить тягловому скоту, разве что какой-нибудь жаждущей птице, и взгляд ее устремился на звездное небо. Была теплая, мирная августовская ночь. Вдруг падучая звезда описала пылающую кривую по всему небосводу и пропала. Жаркий восторг охватил Жофию — когда же видела она в последний раз небо? Кажется, еще студенткой, во время летних каникул, когда пожелала работать на раскопках альфёльдского поселения времен Арпада [1]. Она жила тогда у одной ста-

[1] Арпад (?—907) — венгерский князь, вождь союза венгерских племен, обосновавшихся на территории нынешней Венгрии.

рухи, в задней комнатенке маленькой крестьянской усадьбы, но стояла такая жара даже ночью, что иной раз она до рассвета просиживала во дворе, на лестнице, ведшей в подвал, и всю ночь любовалась зарницами. Как было красиво!.. Да любовь ли это или просто навязчивая идея, если она делает человека слепым ко всем красотам жизни, природы?

«Два года из моей жизни»,— пронеслось в голове. И вдруг, в чужом крестьянском дворе, ей стало жалко этих двух лет. Какой же то был глубокий колодец! И если бы она еще видела хоть маленький, хоть самый крохотный кусочек неба из этого колодца!..

— Жофика, Жофика! — Тетушка Агнеш, словно обезумев, слепо тыкалась на темной веранде.

— Я здесь, тетя Агнеш! — крикнула Жофия и тотчас подумала: «Несчастный старик все-таки умер».

— Заговорил! — выдохнула тетушка Агнеш и, подойдя к колодцу, бессильно опустилась на край колоды.— Заговорил! Он заговорил!

— Кто заговорил?

— Хозяин мой!.. Пять лет ни словечка... и вот заговорил... «Выйди»,— сказал. Он ведь исповедаться хотел...— Тетушка Агнеш перекрестилась.— Благословенна будь, Мария, исполненная благодати...

Жофия содрогнулась.

Всю дорогу обратно декан сидел нахохлившись, уйдя в себя и не промолвил ни слова. Но когда они остановились перед его домом, легонько тронул руку Жофии:

— Может, заглянете?

Жофия заперла машину. Неслышно, чтобы не поднять Пироку, они прокрались в кабинет декана. Декан спрятал столу, елей и тут же достал бутылку коньяка и две рюмки. Разлив коньяк, угнетенно проговорил:

— Вероятно, он не дотянет до утра.— И добавил задумчиво: — Человек должен говорить, пока может... Мне семьдесят семь. Две косы. Ночью вдруг парализует инсульт, прикончит сердечный приступ... «Нет ничего столь определенного, как смерть, и нет ничего столь неопределенного, как час смерти».

У Жофии уже на кончике языка было: «Ну, полноте, что вы, господин декан»,— но она почувствовала, что сейчас это прозвучало бы неуместно.

Старый священник достал из дарохранительницы железную коробочку, поставил ее на стол, открыл маленьким ключиком, сел, но не стал ничего вынимать из нее. Заговорил с трудом, словно преодолевая внутреннее сопротивление, душевный паралич.

— Тридцать лет тому назад, в ничем не примечательный зимний день, ко мне явился вдруг викарий епископа... доктор Йожеф Эсеки и спросил, согласен ли я с тем, что судят Миндсенти [1]. Я, разумеется, ответил, что не согласен. «В таком случае мы спрячем в вашей церкви сокровища епископского дворца и кафедрального собора, дабы они не попали в руки коммунистического правительства, ибо сие равнозначно их уничтожению...» Естественно, я страшно испугался: такая ответственность! И хотя я знал, что упомянутые сокровища действительно собственность церкви, все же почувствовал в этом нечто противозаконное. Господин викарий угадал мои сомнения, ибо тут же вынул газету за тот самый день и попросил меня прочитать кусок из процесса Миндсенти.— Декан достал из железной коробки сложенный в несколько раз пожелтевший газетный лист.— Вот. Прошу вас, прочитайте, чтобы вам была понятна тогдашняя наша позиция.

Жофия стала читать отчеркнутый красным карандашом столбец:

«Председатель. Писали ли вы письмо послу США в Будапеште Чейпину от 31 августа 1947 года, в котором просили его о том,

[1] Католические священники, независимо от политических взглядов, считали, что кардинал не подлежит светскому суду.

чтобы венгерская святая корона, захваченная американскими военными силами, была переправлена не в Венгрию, а в Рим?

Миндсенти. Да.

Председатель. Какую цель вы этим преследовали? Кому принадлежит по праву эта корона?

Миндсенти. Венгерской нации, без сомнения.

Председатель. Кто дал вам право распоряжаться судьбою короны? Предъявлять на нее права? И где, по вашему мнению, следует ей находиться?

Миндсенти. В нормальные времена, во всяком случае, все мы полагаем естественным, чтобы святая корона хранилась в Будапеште, в Будайском дворце, однако в тогдашней ситуации дело выглядело иначе, святую корону, как известно, почитали утерянной, и мы по сему поводу весьма скорбели...

Председатель. Тогда мы уже знали, что корона не пропала, что она благополучно пережила перипетии войны, бесчинства нилашистов.

Миндсенти. Да.

Председатель. Сейчас я оглашу письмо под номером А/8. Оно написано вами собственноручно?

Миндсенти. Да.

Председатель (*читает письмо*): «Милостивый государь! Соединенные Штаты Америки согласились вернуть нам, и солдаты США доставили сохранившуюся нетленной в течение девятисот лет святую Десницу короля нашего Святого Иштвана. Святая корона Святого Иштвана также является значительнейшей нашей законной и исторической святыней, нашим сокровищем, она находится в руках армии Соединенных Штатов, на территории Германии, в Висбадене... Молю вас, милостивый государь, предпринять соответствующие шаги перед вашим правительством, дабы армия ваша переправила ее и передала в Риме Святейшему престолу, его святейшеству папе римскому, чей предместник пожаловал сею святой короной Святого Иштвана в тысячном году. Для нации нашей сие весьма важно... Памятуя о ценности святой короны, а также о том, что драгоценная сия святыня в ходе военных действий может оказаться в неблагоприятных обстоятельствах, народ наш был бы спокоен за нее, только сознавая, что она пребывает в Риме...» Так гласит ваше письмо... Если бы вы желали спасти эту корону для венгерской нации, а не собирались использовать против ныне существующего государственного строя, вы, очевидно, сотрудничали бы с представителями правительства. Ведь у нас действовала за границей целая организация по розыску вывезенных из страны ценностей, пока ей не помешали работать. Это было бы естественно.

Миндсенти. Об этом я не думал.

Председатель. Это было бы легальным и естественным.

Миндсенти. Я не делал шагов...»

Жофия вернула газету священнику.

— Миндсенти, очевидно, боялся, что, если святая корона вернется домой, ее переплавят и все ценности вложат в экономику.

— Или боялся еще худшего,— сказал декан.— Миндсенти, как мы знали, не признал республику. Для него единственной формой государства всегда было королевство. А коль скоро законного короля нет, то, согласно вековому венгерскому правопорядку, главою страны является примас. То есть он полагал, что вправе распоряжаться судьбою короны.

Декан еще подлил коньяку в обе рюмки.

— Словом, викарий меня убедил. Мы спустились в склеп и, поскольку пустой ниши для захоронения не было, решили, что переместим гроб с последней усопшей, ее высокопревосходительством госпожой Семереди... Все подробно обговорили, во всех деталях... Я хотел поставить вокруг церкви сторожевых, чтобы, не дай бог, нас

не застали те, кому не следует, но викарий не дозволил: пусть, мол, поменьше будет осведомленных... Ну, а если нас все же застигнут? Тут ведь без шума, без света не обойдешься? Что ж, тогда он поищет другую церковь в епархии... И рассказал, что, когда фронт приблизился, они закопали было часть эстергомских сокровищ, но каменщик проболтался. Тогда секретарь архиепископа — один! — выкопал ящик и замуровал его в другом месте.

Священник смочил коньяком пересохшие губы.

— И вот однажды в понедельник, чтобы до следующей воскресной мессы размыло следы, поздним вечером к церкви подъехала телега, запряженная двумя лошадьми, на ней прибыли два дюжих монаха — один из них был отец Рафаэль, о котором я вам рассказывал,— и старый каменщик, а под попонами солидный кованый сундук. Остановились под прикрытием церкви, с шоссе ничего не было видно, я проверил. Монахи начали рыть могилу у самой церковной стены; земля промерзла, работать им приходилось только кайлом. Каменщик вскрывал нишу в склепе.— Священник опустил голову, лбом уперся в ладони.— Стужа была немилосердная, и работа продвигалась немилосердно медленно... Сцена с гробокопателями, мурашки по коже... Ночь, фонарь, два монаха в сутанах, две лошади, из ноздрей пар... Да если бы кого случай занес туда, помер бы на месте со страху... Я уж и не за себя боялся, все молился, чтобы кто-нибудь не забрел ненароком... Затем мы общими усилиями отодвинули мраморную плиту, закрывающую склеп, подняли на веревках гроб и схоронили в новой могиле... Никогда не казались мне столь грозными слова: «Circumdederunt me gemitus mortis: Dolores inferni circumdederunt me...» [1]. С тех пор я каждый божий день прошу прощения у ее милости... А теперь приехал сын ее и желает увезти в Швейцарию...

— Вот почему вы были такой озабоченный, господин декан,— сочувственно воскликнула Жофия.

Священник кивнул и продолжал:

— На тех же веревках спустили мы в склеп сундук с сокровищами и опять поставили на место мраморную доску с надписью: «Здесь покоится супруга Калмана Семередь Семереди, урожд. баронесса Амалия Агашвари»... После того епископский викарий вынул из-под пальто крест на золотой цепи, и мы, все четверо, повторили вслед за ним слова клятвы: «Да покарает меня господь, святая мадонна и все святые господа нашего, если не сберегу я доверенную мне тайну и когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах выдам ее без ведома надо мною стоящих. Да покарает меня бог! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen»[2].— Декан достал из железной коробки маленький французский ключ на металлическом колечке.— Один из двух ключей от сундука господин викарий доверил мне, мы все обнялись, затем они сели на телегу и укатили в ночь. А я остался здесь с непосильным этим грузом... тогда еще даже не понимая полностью, сколь непосильным.

Жофия слушала, не шевелясь, пока не затекла нога; осторожно, боясь отвлечь священника, она переменила позу.

— Неделю спустя я узнал, что викарий уехал в Рим и возвращаться не собирается. И не вернулся, там и умер в 1968 году...— Декан тяжело вздохнул.— Пока он был жив, я знал, что ответственность на нем.— И он достал из коробки еще одну пожелтевшую вырезку из газеты.— Это однокашник мой по семинарии прислал мне тогда извещение о его смерти... Тяжко стало у меня на душе. «О господи, создателю, уж не свет ли целый на себе несу? — Вот сейчас его и несешь»... Сокровища эти известны несколько столетий, многие поколения ювелиров их изучали, значит, заметили уже, знали, что нет их. И о

[1] «Окружают меня муки смертные: муки ада окружают меня...» — начало католического погребального песнопения *(лат.)*.

[2] «Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь». *(лат.)*.

том догадывались, что исчезли они не во время войны, а вместе с отъездом доктора Эсеки в Рим и что он не увез, не мог увезти их с собой... Когда отношения между государством и церковью нормализовались, венгерские органы подъезжали к викарию так и эдак: откройте, мол, где спрятаны сокровища,— но он не нарушил клятву... В начале пятидесятых годов органы внутренних дел, позднее комитет по делам церкви вели розыск и ко мне наведывались не раз, все спрашивали, не знаю ли, где сокровища или хоть что-то, чтоб на след навести, но сама эта неприметная церквушка совсем не была никому подозрительна, даже склепом не поинтересовались... Эсеки верно рассчитал...

— Потому-то вы и не позволили новую церковь строить? — спросила Жофия и сама налила в рюмки коньяк.

— Потому. Я хотел ежедневно чувствовать, что сокровища у меня под ногами... Потом умер монах Эдьед... А через несколько лет ушел от нас и мастер Ференц Никличек, каменщик... Теперь вот и отца Рафаэля не стало... Изо всех, кому известна была великая сия тайна, остался в живых я один.

— Тяжелая ноша,— согласилась Жофия.

Декан вынул из коробки толстый запечатанный конверт.

— После смерти отца Рафаэля я всю эту историю записал, на тот случай, если вдруг настигнет меня внезапная смерть...— Священник осенил себя крестом и на секунду прикрыл глаза.— Избави нас, боже, от смерти нежданной!.. Чтобы не унести с собой тайну эту в могилу... Но что, ежели в недостойные руки попадет посмертное сие послание?..— С измученным видом он неподвижно уставился перед собой. Жофия смотрела на него с жалостью: священник состарился на десять лет, рассказывая о своей тайне. Мясистое лицо избороздили морщины, глаза запали и воспалились, нос вытянулся.— Пирока... но она для этого слишком примитивна, даром что всю жизнь священникам прислуживала... Да, пожалуй, и корыстолюбива... к золоту, во всяком случае, неравнодушна.

— Помните, господин декан,— горячо спросила вдруг Жофия,— однажды вы у меня спросили: неужто это так много — тридцать лет? Да, так много! Целая историческая эпоха... Вот и святую корону нам вернули! Но если даже американцы считают, что в нынешней Венгрии коронационные реликвии будут в безопасности, тогда уж и сельскому декану, Тимоту Жидани, духовному пастырю народа своего, не следует быть недоверчивее их!

Священник сосредоточенно смотрел в одну точку.

— Вы думаете? — спросил он, но как-то рассеянно.

Жофия улыбнулась.

— Ах, господин декан! Да ведь про себя вы, право же, давно все решили. Иначе мне ни за что не сказали бы! Ведь согласно клятве раскрыть тайну вы имеете право только тем, кто над вами. Вы уже давно решили про себя, хотя бы и самому себе о том не сказали, что попросите аудиенции у епископа и откроете ему тайну своих сокровищ.

Священник признательно, хотя и совершенно разбитый, взглянул на Жофию.

— Спасибо, что выслушали меня. Вы действительно... очень мне дороги... очень-очень дороги...

Высоко на холме Капталан высятся друг против друга два величественных, старинных здания: епископский дворец и собор.

На выложенной булыжником площади Жофия остановила «трабант». Декан грузно выбрался из машины, жестом попрощался с художницей и, бледный, лихорадочно улыбаясь, скрылся под сводом украшенного каменной резьбой портала епископского дворца.

Через несколько дней Жофия закончила реставрацию алтарного образа. Она смотрела на него со сложным чувством, испытывая радость и какой-то запоздалый страх,— с такой большой, такой самостоятельной задачей она еще не сталкивалась. Если бы не то паническое желание бежать, она, пожалуй, и не взялась бы.

Епископ выслушал декана, но потом случилось не так, как они себе представляли, полагая, что он тотчас поедет с ними. Нет, он сказал только, что благодарит и доложит обо всем вышестоящим лицам. Итак, рано или поздно кто-то один или несколько человек приедут за сундуком, и Жофия радовалась, что сможет показать им уже готовый алтарный образ... И хотя понимала, что в сравнении с сокровищами реставрированная картина — ничтожная малость, но все же надеялась, что как раз из-за сокровищ приезжие обратят внимание и на ее работу...

А тогда легче будет провести и проект реставрации.

Когда краски просохли, она зашла в контору кооператива и попросила председателя (Кароя Боттяни) — если найдется у него несколько человек и немного времени — поднять и закрепить святого Христофора на прежнем месте, в алтаре. Возвращаясь в церковь, прихватила несколько банок полученного от Семереди пива и положила охладиться в чашу со святой водой. Сама она уже несколько недель не пила во время работы.

На следующее утро явилось все «руководство», оснащенное лестницами, веревками. С восхищением разглядывали они словно по волшебству возрожденную картину.

— Черт побери! Как новенькая!

— Когда мы снимали ее, такую неказистую,— сказал председатель,— не думал я, что вам удастся сотворить подобную красоту. Ведь он будто живой... Только что не говорит!

— Вся эта церковь так же прекрасна! — увлеченно заговорила Жофия.— Нужно ее только высвободить от всех этих наслоений гипса, цемента и извести, которыми попортили ее столетия! Поверьте, предметы, камень, форма умеют говорить! Эта церковь сейчас все равно как царевич, заколдованный и превращенный в лягушку... или царевна... Стоит кому-то поцеловать ее, как в сказке, или просто обратить внимание, заметить ее — как она тотчас скинет с себя отвратительную лягушечью кожу и перед нами предстанет красавица из красавиц... и скажет: «Я и есть царевна из сказки... и я принесу вам сокровища...»

Мужчины осторожно, боясь попортить свежую краску, начали поднимать алтарный образ, чтобы укрепить на прежнем месте. Жофия давала им короткие указания.

Когда дело было сделано и помощники, утирая лбы, устало сошли со стремянок, Жофия угостила всех баночным пивом. Мужчины пили, одобрительно причмокивая. Жофия продолжала:

— Прав был господин декан, когда тридцать лет назад не позволил новую церковь строить! Ну, какая бы она была? Коробка и коробка — как дома массовой застройки. А ведь эта церковь — огромная ценность! Редкость!.. Ее нужно только реставрировать... то есть вернуть ей ее изначальную форму... Денег потребуется много, но дело того стоит!

— А сколько денег? — спросил председатель, тоже увлекшись.

— Пока еще точно не знаю: я как раз сейчас составляю проект. Много денег.

Председатель переглянулся со своими товарищами.

— А кто за это взялся бы?

— Я.

— Вы?..

— Я... И несколько подручных рабочих... Церковь стала бы украшением деревни. Да не только... всего комитата! От туристов отбоя

бы не было. Кооператив мог бы открыть здесь поблизости столовую, киоск, где продавались бы лепешки с пылу с жару, вино в розлив, маленький садовый ресторанчик... за год-другой все расходы и окупились бы.

— Да,— проговорил председатель, серьезно призадумавшись.— Вот только по какой графе те деньги пустить? В нашем бюджете расходы на религию не предусмотрены...

— Ну а туризм? Ведь теперь можно включить графу «расходы по туризму»! — шутливо предложила Жофия.

— Посмотрим, дорогая вы наша художница,— дольше обычного тряс ей руку председатель.— Посмотрим, что да как!

Когда все ушли, Жофия навела в своей «мастерской» порядок, сложила в ящики инструменты, краски, втащила все в ризницу. Подмела и вымыла пол вокруг алтаря, затем села на переднюю скамью, закурила и стала смотреть на Христофора. Она испытывала глубокое удовлетворение, почти восторг. Ей было приятно сидеть в тишине и прохладе церкви, в ее полумраке, глядя на переливающуюся яркими, живыми красками картину. Она чувствовала себя почти счастливой.

Вдруг она очнулась, услышав рядом астматическое сопенье. Это был декан. Он смотрел на святого Христофора.

— Знаете, Жофия, я не очень-то разбираюсь в живописи, но для моих глаз это умиротворяющее, возвышающее зрелище. Ежели один из множества святых церкви нашей столь могуч, какова же тогда мощь самого Иисуса?..

— Да,— рассеянно кивнула Жофия и немного отодвинулась, чтобы священник мог сесть с нею рядом.

— Прекрасная картина, великолепная,— сказал священник, садясь.— В воскресенье заново освятим ее.— Он склонил голову на ладони, помолился.— Я получил из Пешта письмо.

— Да? — вскинулась Жофия.

— Из Совета министров. Пишут, что приедет правительственная комиссия. В пятницу.

— И кто же в ней?

— Не написали. Только — что правительственная комиссия. В составе четырех человек... Думаю, Комитет по делам церкви, министерство, соответствующий музей...

Жофию вдруг так и обдало жаром.

— Министр не приедет? — спросила она, надеясь и трепеща.

— Не знаю. Не написали,— проговорил священник рассеянно, и Жофия была ему благодарна, что он и взглядом не напоминает ей о ее «исповеди». А декан об этом даже и не вспомнил — сейчас его занимало другое.

Таким взволнованным декан был в последний раз, вероятно, в день посвящения в сан. До самой пятницы он непрерывно обсуждал с Пирокой возможный распорядок великого дня. Священник рассчитывал, что высокая делегация выедет часов в семь, следовательно, прибудет часов в девять-десять. С рассвета оба старика были на ногах. Декан, приняв ванну, привел в порядок ногти и надел самую белую свою рубашку. Домоправительница также облачилась в чистый шелковый халат, расписанный крупными розами, и сменила стоптанные матерчатые туфли на такие же, но новехонькие, которые нещадно жали ей ноги. В фарфоровые вазы, украшавшие приемную, она поставила только что срезанные цветы и со знанием дела накрыла маленький стол — там был коньяк, черешневая палинка, белый и красный вермут и соответствующие напиткам рюмки. На маленьких блюдах разложены были «разные вкусности»: изящные сандвичи с колбасой, сыром, яйцом, сардинами; крохотные пышки с мясной начинкой, соленые печенья с тмином... В кухне стояла заправленная уже кофеварка.

Рано и наскоро позавтракав, они еще раз обсудили меню.

— Итак, на закуску грибы, фаршированные гусиной печенкой...

— Нет гусиной печенки, господин декан. Нет в селе гусей. Утки.

— ...грибы, фаршированные утиной печенкой, суп-рагу с эстрагоном, жареная утка, цыпленок в сухарях, свиная отбивная с английским гарниром, то есть строганым картофелем и вашим вкуснейшим салатом, наконец, слоеный пирог с яблоками, творожник с укропом, да чтоб побольше миндаля.— Декан невольно проглотил слюну.— Вино белое и красное, содовая со льда, кофе... сервиз поставьте мейсенский, а вносите все на серебряном подносе.

— Слушаю, господин декан! — И Пирока направилась было на кухню.

— Да, ведь будут шоферы, двое либо трое, вы им на кухне накройте.

— А то где же! — Пирока зашаркала к двери, бормоча вполголоса: — Прислуге и рассыльным пользоваться только черной лестницей.

В половине десятого, к немалому удивлению сельчан, три черных «шевроле» остановились на маленькой площади перед жилищем священника. Из машин вышло пятеро мужчин в темных костюмах, четверо из них были упитанные крепыши с холеными лицами, лет пятидесяти — поколение, которое преобладает в залах конгрессов, на отраслевых конференциях, международных совещаниях не самого высокого уровня и на парадных обедах охотничьих обществ. Пирока, надевшая по такому случаю свой золотой браслет, проводила их до двери приемной.

Секретарь епископа, молодой человек аскетической наружности, придерживал дверь, пропуская всех остальных.

— Laudeatur [1], господин декан!

Декан, взволнованно улыбаясь, шагнул им навстречу.

Секретарь, пропуская членов делегации вперед, представлял их:

— ...товарищ министр... Начальник отдела из Комитета по делам церкви... Ответственный работник Совета министров... Представитель Министерства внутренних дел...

Священник со всеми поздоровался за руку, вслушиваясь в невнятно произносимые имена и фамилии, последним пожал руку секретарю, которого знал, затем пригласил всех к совещательному столу. Все сели, и в торжественной тишине министр — энергичный, лет пятидесяти мужчина — протянул священнику конверт.

— Наши полномочия, господин декан.

Священник внимательно прочитал документ и вернул его министру.

— Благодарю вас, господин министр... Весьма рад приветствовать в скромной моей обители представителей правительства... В моей жизни этот день... я не могу даже выразить, сколь он знаменателен... Если позволите...— И, вопросительно обведя взглядом присутствующих, потянулся к бутылке с коньяком; рука его при этом тряслась. Секретарь епископа вскочил:

— Разрешите мне, господин декан!

Он разлил коньяк по рюмкам, совсем понемногу. Министр, чуть-чуть растроганный, оглядел спутников, встал, встали и остальные и со словами: «Ваше здоровье, господин декан! Благослови вас бог, господин декан!» — потянулись с ним чокнуться.

Появилась Пирока с кофе, расставила все на столе и бесшумно удалилась.

Декан уже справился с волнением.

— Я к вашим услугам, господа!

Министр смотрел перед собой, на красиво очерченных губах его блуждала растроганная улыбка.

---

[1] Да славится *(лат.)* — католическое приветствие.

— Все это прямо как в сказке,— сказал он.— Когда я еще и в самом деле был, как говорится, чистый искусствовед, я однажды побывал в епископском дворце... намеревался изучить подробно митру тринадцатого века, которую привез с собой епископ Артольф из Трансильвании, когда получил здесь епархию. И не обнаружил ее. Мне объяснили, что епископский головной убор вместе с крестом на золотой цепи и перстнем с лиловым камнем исчезли во время войны и до сих пор не найдены. Но вот они обнаруживаются... через тридцать лет, в безвестной церквушке безвестного селения.— Он перевел взгляд на декана.— Господин декан, вы совершенно уверены, что сокровища находятся в том железном гробу?

Мягко, спокойно священник ответил:

— Я их не видел, господин министр. Сундук доставили сюда закрытым. Но никаких сомнений быть не может.

Министр нетерпеливо оглядел всех.

— Тогда, пожалуй... отправимся? Вы позаботились о каменщике?

— Он дожидается нас в церкви,— ответил священник. В голове его вдруг мелькнуло: не тот ли это «большой человек», о котором говорила тогда Жофия. Что же, скоро выяснится. Он робко обвел гостей взглядом.— Могу я пригласить вас, господа, к обеду? Для меня большая честь...

Министр закусил губу и опустил глаза. Секретарь епископа неловко, с запинкой проговорил:

— Не примите в обиду, господин декан!.. Но в епископском дворце все, как вы понимаете, сгорают от нетерпения... Нынче в гостях у епископа товарищ секретарь комитатского комитета партии... товарищ председатель комитатского совета... начальник милиции комитата... комитатский...

По лицу декана скользнула чуть заметная горькая усмешка.

— Я понимаю... Разумеется...— И он тяжело встал.— Можем идти.— Старик был разочарован. Он-то представлял себе это совсем по-другому! Мелькнула мысль: надо бы сказать Пироке, пусть готовит обед на троих, да предупредить Жофию, чтобы ее не застали врасплох, если этот мужчина с обаятельной улыбкой окажется тем самым... Но ему не удалось сделать ни того, ни другого. Его усадили в огромную машину и повезли к церкви, охраняемой какими-то штатскими.

Жофия уже несколько дней жила надеждой и страхом, что встретится с тем, от кого сбежала сюда. И сознательно готовила себя к тому, что встреча состоится. Если нет... тогда ничего особенного, на сердце опять станет спокойно, быть может, уже навсегда. Но если она окажется с ним лицом к лицу — как сделать, чтобы не задрожала рука, не выступили красные пятна на щеках? Чтобы не дрогнули предательски губы, не застлало слезами глаза? Чтобы спокойно, без напряжения, с безразличной улыбкой протянуть ему руку?.. И как, чувствуя на себе его взгляд, твердой рукой отбить цемент вокруг мраморной плиты Амалии Семереди, не повредить молотком ни мрамора, ни руки?..

Она ожидала перед церковью, на самом солнцепеке. Три машины остановились поодаль, в тени высоких каштанов. Она узнала его тотчас, едва он легко выскочил из машины и огляделся с жадным любопытством. У Жофии сильно заколотилось сердце, она вытерла о край блузы ладонь, чтобы не была влажной, когда придется здороваться.

Делегация приближалась, двигаясь замедленным темпом из-за старого священника. Декан что-то пояснял им на ходу, показывая на башню. «Когда же он заметит меня?» — с трепетом ждала Жофия. И вдруг он сбился с шага, замер, Жофия увидела его ошеломленный, растерянный взгляд. Но все это продолжалось одно мгновение, никто,

кроме декана, ничего не заметил, министр быстро нагнал остальных. И даже сказал что-то. «Дипломат,— думала Жофия с завистью, с ненавистью.— Актер».

— У нас здесь редкий, весьма интересный алтарный образ святого Христофора, его реставрацию только что закончила...

— А ведь мы уже встречались!

Миклош улыбался, но Жофия уловила чуть заметную дрожь в уголках его губ.

Вошли в прохладный неф, остановились перед картиной.

— Очень красиво!

— Мастерская работа!

— Пятнадцатый век,— гордо добавил декан.

— Пятнадцатый?..

— Не только алтарный образ, вся церковь,— прихвастнул священник, ловя взгляд Жофии. Но Жофия сосредоточилась на том, как бы побороть одолевавшую ее дрожь.— У нас есть тому доказательства,— продолжал декан, обращаясь к министру; однако, поняв, что и он сейчас ничего не слышит, старик засеменил к двери склепа.

— Вот и склеп. Берите фонари, господа, и следуйте за мной.

Приезжие один за другим подходили к передней скамье, брали фонари и вслед за деканом исчезали на уходившей вниз винтовой лестнице. Министр, оставшись последним, коснулся руки Жофии.

— Я не знал, что ты здесь! — прошептал он возбужденно.— Я разыскиваю тебя уже несколько недель. Мне нужно поговорить с тобой.

— Мне тоже, Миклош,— выдохнула Жофия и, взмолившись про себя: продержаться бы еще только час! — поспешила за остальными.

Но прохлада, царившая в склепе, таинственные блики света, выжидательная тишина наполнили ее волнением совсем иного свойства. Ее целиком захватила эта минута: после тридцати лет заточения в склепе вновь являются на свет, становятся достоянием народа святыни — да какие, да сколько, на целый музей! И она не только свидетель, но и участник этого неповторимого мгновения! Умело, с профессиональной сноровкой отбивала она мраморную плиту вокруг, чувствуя, как важные гости, и Миклош тоже, завороженно следят за каждым ее движением. Как было бы прекрасно, как верно по стилю, если бы выставку этих сокровищ сначала устроили здесь, в этой церкви,— быть может, уже реставрированной!

— Помогите мне! — попросила она негромко.

Двое мужчин подскочили к ней, бережно приняли освобожденную от крепления мраморную плиту и поставили ее у стены.

Несколько человек одновременно посветили фонариками в отверстый проем, и все отчетливо увидели контур старого сундука.

— Из Швейцарии приехал господин Семереди,— заговорил декан.— Он попросил у меня ключ от склепа, чтобы помолиться у гроба матери. Я не признался ему, что он молился всего лишь перед сундуком с золотом.

— Всего лишь?! — негодующе воскликнул кто-то.

Общими силами сундук вытащили и поставили на пол.

Декан вынул из кармана ключ на металлическом колечке и осенил себя крестом:

— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

И дрожащей рукой повернул ключ в замке.

Подняли тяжелую крышку. Увидели складки красного бархата. Охваченный лихорадочным нетерпением, министр опустился перед сундуком на колени, осторожно вынул самый большой сверток, бережно размотал бархат, снял толстый слой ваты под ним, и вот в его руках засиял усыпанный драгоценными камнями епископский головной убор.

— Митра, тринадцатый век! — прошептал он благоговейно.— Даже если не думать о ее исторической значимости, если рассматривать просто как ценнейший памятник старины, то и тогда она стоит больше, чем символы королевской власти, в том числе и сама корона.

Все некоторое время зачарованно смотрели на митру, затем министр опять закутал ее в вату и бархат, положил в сундук, запер его и аккуратно вложил ключ в бумажник. И вдруг улыбнулся.

— А хорошо бы мы выглядели, если бы господин Эсеки подшутил над нами и мы обнаружили бы в сундуке лишь кучу гравия.

Нехитрая шутка пришлась очень ко времени, напряжение сразу спало. В мрачных стенах склепа гулко отдавались веселые голоса.

Министр радостно пожимал руку старому священнику.

— Мы все благодарим вас, господин декан. Спасибо! Вы сослужили неоценимую службу народу нашему, и церкви, и, не в последнюю очередь, истории искусства... Само собой разумеется, мы постараемся вознаградить вас... насколько возможно вознаградить за такое деяние...

Секретарь епископа послал одного из шоферов подогнать дожидавшийся за селом грузовик с грузчиками. Остальные допытывались у старого священника, что он чувствовал, сберегая в тайне эти сокровища, и не испытывал ли он когда-либо искушения открыть ящик и проверить, там ли они в самом деле? Декан устало отвечал им.

Наконец министр осмотрел картину и от души поздравил Жофию. Затем вызвал ее в парк. Жофия захватила с собой из ризницы папку и с сильно бьющимся сердцем последовала за ним.

В одичавшем парке Миклош огляделся.

— Соглядатаев здесь пруд пруди. Если кого-нибудь заметишь, говори о церкви.

— Я и так собираюсь говорить о церкви.

— О церкви? — спросил Миклош, пораженный.— Но ты же это несерьезно?..

— Вполне серьезно,— заявила Жофия с тихой решимостью.— Я хотела бы реставрировать церковь целиком... Мне хотелось бы остаться здесь на год... Выражусь точнее: я не хочу быть в Пеште.

— На год? — растерянно переспросил Миклош.— Почему?

Жофия опустила голову.

— Думаю, за год я тебя забуду.

Ощущая мучительную неловкость, Миклош рыл носком туфли выгоревшую траву.

— Дни проходили за днями, а ты все не подымала трубку... Я несколько раз заезжал к тебе, но тебя не было... Как-то целую ночь просидел у вас за домом, на одной из тех четырех скамей... ждал, когда у тебя вспыхнет свет... И тогда понял, что ты скрываешься от меня... И я... я учинил допрос своей совести. Чувствовал себя так ужасно... тяжкая это штука — признаваться себе в своем провале. В чем-то я очень ошибся, если не сумел удержать тебя.— И тихо добавил после тяжелой паузы: — Мне жаль.

Жофия вздрогнула.

— Жаль?!

— Существуют конфликты неразрешимые. Мертвая точка, дальше которой хода нет, а если и попытаться идти — станет еще хуже... Всегда, пока жив, буду жалеть, Жофия, что на твоем экзамене я провалился... но зато понял, что никогда уже не позволю себе ничего подобного. Если сам я не отдаю всего, значит, не имею права встречаться с женщиной, которой мало... которой я нужен — весь, целиком.

— Ты не начал бы все сначала.— Жофия не спросила, просто сказала утвердительно.

Миклош вскинул голову, его взгляд приник к измученному лицу Жофии и вдруг вспыхнул.

— Сейчас... начал бы... Сейчас я тебя... очень люблю... Но знаю: мы опять пришли бы к тому же... только на куда более низменном уровне. С недостойными оскорблениями, безвкусными ссорами.

— Да.

За деревьями послышалось тактичное покашливание, затем появился мужчина в штатском и, почтительно оставаясь на отдалении, поклонился.

— Товарищ министр... мы готовы.

Миклош тотчас повысил голос.

— Да-да, сейчас... Одним словом, церковь...— Он взял у Жофии папку, влажную от судорожно сжимавших ее ладоней, раскрыл и, листая тщательно проработанные чертежи, невольно направился в сторону церкви. Жофия растерянно следовала за ним. Другой человек, если приходится ему выбирать между работой его и любовью, после долгих терзаний наконец останавливается на чем-то одном — работе или любви. Но этот мужчина, что идет сейчас с нею рядом, попросту не может оказаться перед таким выбором. Ужасно!

— По этим чертежам нельзя утверждать с уверенностью, что церковь относится к пятнадцатому веку,— озабоченно заговорил он и посмотрел на Жофию уже просто как на партнера в дискуссии.

— На каком-то камне здесь должна быть высечена дата — именно пятнадцатого века,— упрямо сказала Жофия.

— В самом деле? На каком же?

— Пока это скрывает штукатурка... Но она объявится.

— А если нет?.. Высечешь ее сама?

— Здесь теперь бывший владелец этих мест, доктор Феликс Семереди, из Швейцарии. В детстве он видел в семейном архиве свидетельство об освящении церкви.

— Где это свидетельство? — спросил Миклош.

— Свидетельство пропало, сожжено в сорок пятом батраками. Но Семереди готов подтвердить эти свои слова письменно.

Они шли уже вдоль боковой церковной стены, с поляны доносился шум голосов.

— Я написала, кстати, здесь и о том, что за этот сундук с сокровищами вы также можете благодарить и меня,— сказала Жофия.— Не будь меня здесь, вы нашли бы его, вероятно, лишь после смерти декана.... а может, и не нашли бы вовсе!

Министр остановился, приподнял папку.

— Эти материалы достаточно убедительны? — спросил он, глядя Жофии в глаза.

— Если ты подпишешь, ни один бухгалтер не найдет оснований придраться.

— Любопытно,— невесело усмехнулся Миклош,— именно я должен устраивать так, чтобы не видеть тебя целый год.

Жофия отвернулась.

— Ступай!

— Я подпишу,— мрачно произнес Миклош и послушно зашагал к своим спутникам.

Когда все вокруг стихло — укатил, громыхая, грузовик, увозя сокровища, умчались, тарахтя, мотоциклы, скрылись, прошуршав шинами, легковые машины,— Жофия устало поплелась в церковь. На дне чаши со святой водой она увидела одинокую банку с пивом, выбила крышку, выпила.

На передней скамье, сильно сгорбившись, облокотясь о пюпитр, сидел старый священник. Его печальный взгляд был устремлен на алтарный образ, победоносно блиставший всеми красками в лучах полуденного солнца, которые снопами вливались в узкие окна. Сперва он не подал вида, что заметил бесшумно подошедшую Жофию, но потом все же заговорил:

— Когда я умру, Жофия, пусть меня не хоронят в склепе. Мне сказали, что я стану каноником, каноника же положено хоронить в почетном месте, а теперь вот одна ниша освободилась...

И такая горечь слышалась в его голосе, что у Жофии сжалось сердце. А какое изможденное, дряхлое стало у декана лицо, безнадежное, как будто смерть уже наложила на него свои стигмы!

— Зачем эти мысли о смерти, господин декан? — Жофии вспомнился вдруг их давний разговор: «У вас уже умирал кто-нибудь, Жофия? — Нет, еще не умер никто из тех, кого я любила»... Неужто он окажется первый?

— Я любил этого святого Христофора,— продолжал священник, не отводя глаз от алтарного образа.— Всякий раз, едва вступлю в церковь, на память приходило: «О господи, создателю, уж не свет ли целый на себе несу?..» — И с горечью продолжал: — «Нет, теперь ты уже ничего не несешь, сын мой...» У меня ведь такое ощущение было, будто я в почетном карауле стою. Значительным себя чувствовал. Это было смыслом моей жизни... Поначалу-то не в этом был смысл моей жизни, но потом стало именно так.— Он с грустью огляделся вокруг.— Чувствуете? Стало пусто, немо, ушла тайна.

— Я останусь здесь, господин декан,— начала было Жофия, но умолкла под гнетом его тоски. Ей хотелось ободрить его, а впору было заплакать самой. Но она знала, что останется здесь, с резцом и молотком в руках, она заставит эти камни заговорить. Неверно, будто здесь стало пусто, немо. Будто ушла тайна. Эта церковь еще многое расскажет о минувших столетиях, если однажды заговорит вновь.

■

Из месяца в месяц

ГДР

НОВЫЙ РОМАН БЕРНГАРДА ЗЕЕГЕРА

Бернгард Зеегер известен своими романами, рассказами и произведениями для телевидения. (Роман «Осенний дым» был опубликован в «ИЛ», 1953, № 3—5.) Недавно издательство «Мителъдойчер ферлаг» выпустило его новый роман — «Гармонист», сразу получивший одобрительные отклики в периодической печати.

Герой романа Тильман Руттенштайдер — плотник и гармонист — приходит в бранденбургскую деревню на берегу моря, чтобы после долгих странствий поселиться в ней. За его плечами много тяжелых испытаний, он пережил фашистский концлагерь, потерю близких людей, но сумел сохранить огромную волю к жизни и большое человеческое достоинство.

«Роман «Гармонист» можно назвать «романом становления», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Зеегер начинает свое повествование с 1932 года и доводит его до наших дней. На примере судьбы простого, мужественного человека он показывает судьбу народа, прошедшего ужасы фашизма, войны, преодолевшего послевоенную разруху, народа, занятого сейчас мирным трудом».

«Как и в других произведениях, Бернгард Зеегер говорит в этом романе простым, ясным и вместе с тем очень красочным и образным языком, — отмечает еженедельник «Зонтаг». — Люди, о которых он так живо и правдиво пишет, надолго останутся в памяти читателя... Безусловно, — заключает рецензент еженедельника, — новый роман Бернгарда Зеегера заслуживает внимания».

ЛУИЗА РИНЗЕР

Черный осел

РОМАН

Перевод с немецкого В. КОТЕЛКИНА

Вокзал, двадцать лет назад заново отстроенный на развалинах старого, опять уже слишком мал. Мы пробиваемся сквозь толпу приезжих, волокущих чемоданы, и не приезжих, которые только толкутся и разговаривают друг с другом на иностранных языках и из вечера в вечер собираются тут,— чужеземные рабочие, упорно лелеющие мечту о том, что итальянский экспресс или балканский экспресс, останавливающийся здесь на минуту, когда-нибудь подождет, пока они сядут в поезд, с уймой заработанных денег в кожаных бумажниках, и возвратятся на родину, и выстроят большой дом, и откроют большое дело там, где теперь их семья ютится в хибаре, ожидая мужчину, своего избавителя, богатого мужчину, того, кто толчется тут, свежевыбритый, в свежевыстиранной рубашке, и ждет девушку, чтобы потратить с нею свои деньги в эту ночь,— не все, конечно, но немалые для человека, от которого зависит, смогут ли его дети в какой-то калабрийской, хорватской или турецкой деревне спать на настоящей постели и ходить в настоящую школу и будет ли у них иное, лучшее будущее.

— Фрейлейн Анна, пошли бы вы замуж за турка или итальянца?

— Я? Нет. Не верю я им ни на грош. У этих чужаков другой характер. Один такой совершил нападение на продавщицу в нашем магазине.

— А ни один немец никогда не нападал на девушку?

Анна молчит.

— Фрейлейн Анна, как вы смотрите на то, что молодые немецкие социалисты хотят объединить иностранных рабочих в профсоюз?

— Как я смотрю? Они ведь и без того уже много зарабатывают, а скоро от них у нас в стране некуда будет деваться, а если вдобавок они еще и профсоюз свой организуют, то будут делать с нами что хотят, устраивать «дикие» забастовки и всевозможные беспорядки.

— Фрейлейн Анна, что, если бы эти слова услышали ваш дед или ваш отец?

— Нынче иные времена, заварух на наш век хватало, теперь нам нужен покой и порядок.

И это все, что может сказать внучка и дочь старых коммунистов. Семейный запас политического разума и фантазии исчерпан, на долю Анны выпала пустота, в которой не произрастает ничего, кроме стремления к покою. Я даже могу понять ее, я даже могу понять их всех, этих мелких неудачников, страшащихся новых катастроф,— а любое новшество может обернуться катастрофой: ведь начало многих прежних катастроф бывало таким многообещающим. Law and Order[1]. Отсиживаться в своей норе, укрыться в ней, влачить жалкое существование. Только бы не было революций, только бы не было реформ, могущих перерасти в революцию.

Окончание. Начало см. в № 7.

[1] Закон и порядок *(англ.)*.

— Сюда, вниз,— говорит Анна и показывает на широкую лестницу, ведущую в выложенную зелено-белым кафелем преисподнюю, из которой несет холодом. Поднимающиеся наверх мужчины застегивают пуговицы или затягивают молнии, принося с собой запах хлорки и мыла. Девушки поднимаются наверх свежепричесанные, надушенные, с яркой помадой на губах, нетерпеливо ждущие, что принесет им ближайшее будущее (зачем предаваться размышлениям: что имеем, то имеем).

Анна открывает качающиеся створки двери. Освещенный неоновым светом маленький вестибюль с двумя входами в туалеты для разных полов; в вестибюле, между надписями: «Для женщин» и «Для мужчин», сидит в тусклом свете пожилая женщина, рядом с нею столик, на нем мелкая тарелка с одной монетой, всегда одной-единственной, но такой, достоинство которой больше, чем указанная на картонной доске «Плата за услуги»,— безмолвный и настоятельный призыв не быть прижимистым.

— Вот она,— говорит мне Анна и, не поздоровавшись с матерью, добавляет:— Я привела тебе родственницу Клары и знакомую отца.

Эта женщина — Анна, Анна с мертвой колеи — медленно, словно по частям, поднимается и, наконец, стоит, устрашающе высокая, худущая, неподвижная. Тускло-лиловый свет и запах дезинфекции придают ей некоторое сходство с выставленным в анатомичке трупом. Я рада, что она держит руки в карманах фартука и что мне не надо до нее дотрагиваться.

— Так, значит, родственница Клары Мартин — и близкая родственница?

— По браку. Впрочем, я в точности не знаю степени родства. Но она говорит, что фамилия Клары вовсе не Мартин, она носила фамилию отца, как и ее сестра Стефания; их фамилия была Бергер или что-то в этом роде, и только при разводе Мина — это мать Клары — снова взяла девичью фамилию, ее же носят и дети, так все и осталось без изменения, даже когда их мать впоследствии сменила фамилию на фон Радвиц.

— Что я вам говорила? Моя мать все знает и все расскажет, а теперь я оставлю вас одних.

— Иди с богом,— говорит Анна, мать. Она приносит мне стул и, по старой привычке, обтирает его так, как обтирает унитазы.— Здесь не место для вас,— говорит она,— но я не могу уйти отсюда раньше полуночи, а завтра и послезавтра я тоже на работе, сейчас тут относительное затишье и только с восьми часов станет по-настоящему шумно.

Она и теперь не сидит на голом деревянном стуле больше минуты. Здесь действительно не место ни для меня, ни для нее, но здесь вполне подходящее место для такого разговора, как наш,— погребом, склепом веет от этого разговора о давно умерших, Анна думает о них беспрестанно, когда сидит тут и обтирает забрызганные крышки унитазов, спускает воду, если ее не спустили, моет раковины, собирает разбросанную туалетную бумагу, получает деньги, дает сдачу; сокрушенно покачивает головой, глядя вслед хорошо одетым женщинам, не давшим ни пфеннига на чай, или машинально ухмыляется косой ухмылкой, если ей что-то бросают на тарелку. Она, по ее словам, часто подолгу не осознает, что сидит здесь, внизу, уж очень все здесь как бы не на самом деле, говорит она. Если б только поменьше вони, если б только побольше воздуха, чтоб легче дышалось,— все остальное можно вытерпеть; зарабатывает она тут совсем не плохо.

Во всяком случае это лучше, чем расчищать развалины, говорю я, осторожно направляя ее мысли к послевоенному времени.

— Почему вам пришло в голову именно это?

— Потому что ваша дочь рассказала мне, что вам пришлось заниматься этим после войны.

— Ах, вот как, моя дочь рассказала. А больше она ничего не рассказывала?

— Она рассказала, как сгорел пастор Мак, и как ее дедушка был в лагере, в Дахау, и что ее отцу пришлось очень туго.

— Так вот, значит, что она вам рассказала,— смотрите, какая стала разговорчивая! А что еще она говорила?

— Что он был хороший человек и что нацистом он стал только для того, чтобы спасти своего отца, и что после войны от него отвернулись его бывшие товарищи.

— Она говорила, что он повесился?

— Да, говорила, но я знала об этом раньше.

Нас прерывают: пришли клиенты. Нас еще много раз будут прерывать в течение ближайших часов, я привыкаю к медленным, толчками, вставаниям Анны, к шарканью ее ног, к журчанию и плеску воды в унитазах, к безмолвным (без приветствий) приходам и уходам клиентов, к тускло-лиловому свету преисподней, к ужасающей худобе Анны, к запаху хлорки и мочи, к такому вот, то и дело прерываемому, разговору. Но как бы он ни прерывался, Анна не теряет нити, у нее цепкая память, ведь она только и делает, что предается воспоминаниям; у нее нет фантазии, только память, она превосходная хроникерша, антисочинительница, поправляющая тех, кто приукрашивает действительность или преподносит ее в мрачном свете.— Так, значит, это она вам рассказала? Но все было совсем не так, это было...

Мне нет необходимости задавать много вопросов. Однажды начав, Анна не перестает говорить. Естественно, тема номер один — ее собственная судьба, то есть судьба ее мужа. Она словно распускает передо мной вязание, как уже тысячу раз делала это перед самой собой, петли сплетаются из железно достоверных фактов, эти факты при всем желании нельзя изменить — они необратимы: Макс — сын рабочего-коммуниста, у его отца было слишком мало денег, и он не мог дать старшему, одаренному, сыну высшее образование, он был в отчаянии от того, что его семья, несмотря на явную, из поколения в поколение проявлявшуюся интеллигентность, топчется на месте, крутится как белка в колесе.— Максу еще ребенком пришлось подрабатывать разносчиком газет — он разносил ту самую «Тагеблат», которую издавал господин Нильс, социал-демократ; у Макса и времени-то не оставалось на игры,— не то что у других, у Петера Нильса и Эриха Бернхаймера, детей богатых родителей; Эриха нацисты уничтожили в Освенциме, в душегубке, он был еврей; Петера Нильса, он был совсем левый, тоже погубили, мне и самой, в общем, было не до игр, потому что приходилось подрабатывать на дому: ведь отец мой тоже был рабочим и страдал болезнью легких, та же болезнь рано свела в могилу четырех моих сестер и братьев, трудное было детство, а позже Макс работал помощником наборщика в типографии «Тагеблат», но потом господин Нильс перестал быть хозяином, нацисты отняли у него все, и с тридцать третьего или тридцать четвертого года газета «Тагеблат» стала именоваться «Фольксварте» — тогда всех заставляли писать одно и то же, это называлось идеологическим единством; потом Макс потерял работу, а его отец попал в лагерь, и тогда Макс не выдержал, они ведь долго его обрабатывали, прежде чем он вступил в партию, в нацистскую, он думал, что теперь сможет вызволить отца, но из этого ничего не вышло, они его обманули, а потом отец погиб в лагере, в Дахау, то ли от голода, то ли его забили насмерть, или он умер естественной смертью, теперь это уже все равно, ну, а потом мы поженились и появилась Анна, и однажды он запер нас, меня, себя и ребенка, в кухне, открыл газ и сказал: «Моей смертью мы смоем позор». Я была не против, мне уже все опостылело все было лучше, чем жить, чем быть днем и ночью рядом с человеком, который твердил, словно четки перебирал: «Я негодяй, я беспринципная свинья, предатель, такому надо убираться на тот свет».

Но потом, когда газ пошел полной струей, ему вдруг стало жалко малышку и он выключил газ; нам всем было плохо, нас выворачивало наизнанку, вот тогда выплеснулось наружу и еще кое-что, и вот на другой день мой Макс пришел к ортсгруппенлейтеру и объявил, что выходит из партии; причина: оба наших отца погибли от того, что побывали в гестапо, один умер в лагере, другой хоть и не там, но от последствий пребывания в лагере; Макс раскричался и все бросил им в лицо, и тут они его, конечно, арестовали, и я не знала, где он, бегала, обезумев от страха, с ребенком на руках; тогда-то Клара отыскала меня и взяла к себе, она сказала, что все устроит, и в самом деле все устроила: мой Макс снова вышел на свободу, правда, тогда мы не знали, как это произошло, теперь-то я все знаю, но это особый разговор, к этому приложила руку Мина Мартин, а Мина могла добиться у крейслейтера всего, он, видно, был полностью в ее власти, по-другому это и объяснить нельзя, она что хотела, то с ним и делала. Правда, у нас тогда голова была другим занята: сначала арест, потом ни с того ни с сего выход на волю, будто гроза пришла и ушла, мы было облегченно вздохнули, но только тут все и началось по-настоящему: моему Максу пришлось явиться к крейслейтеру и дать подписку, что он остается в партии и будет блоквартом, блокварт — это, знаете ли, верх подлости, блокварт — это тот, кто следит за всем в домах своего квартала, в общем, это шпик, блокварты были платными доносчиками, состояли на государственной службе, свиньи они были, мерзкие, бесхребетные животные, и этим пришлось заниматься моему Максу, такова была цена его свободы, но он — он никогда ни на кого не доносил, наоборот, он предостерегал людей, только кто может долго вести такую двойную игру, на всем этом мой Макс заработал язву желудка и долго проболел, а когда он вышел из больницы, то вдруг получил настоящую работу, наборщиком в «Тагеблат», которая тогда называлась «Фольксварте», но если вы думаете, что все уладилось, то вы ошибаетесь: ведь моему Максу приходилось набирать всю эту политическую чушь, лживые статьи о фюрере, о Гитлере, и о злодеях-коммунистах, и про то, что все народы только и думают, как бы напасть на наше любимое отечество, и часто, приходя домой, мой Макс говорил: «Смотри, Гитлер мечтает о войне, он затеет ее и не остановится, пока все не рухнет, а по мне, пусть все и рухнет». То, что ему, коммунисту, приходилось набирать всю эту чушь, и было наказанием, которому подверг его крейслейтер Флекман, но в один прекрасный день от Флекмана ушла кухарка, вышла замуж, и он захотел взять меня на ее место, вот тогда Макс сказал: «Теперь еще и это, что ж, поди к нему, будь кухаркой и всем прочим, делай все, что он захочет», и я влепила ему пощечину, тут оба мы перестали владеть собой и такую драку устроили, а малышка кричала так, что сбежались соседи, но я все же стала кухаркой у Флекмана и очень на этом выгадала, потому что с тех пор у нас всегда было что есть и с моим Максом уже ничего не случалось, однако если вы думаете, что для Флекмана я была еще чем-нибудь, то ошибаетесь, хотя тогда я была еще аппетитная, а не кожа да кости, но все это было для моего Макса, к тому же Флекман на меня и не глядел, у него была другая, Мина Мартин, красавица, да, это была, конечно, большая любовь, на что ему сдалась я, но все-таки мой Макс прямо умирал от ревности и, когда началась война, сразу же записался добровольцем, он на всех фронтах перебывал и домой вернулся целый и невредимый — после плена, правда недолгого; нам даже подумалось тогда: ну, вот теперь мы начнем новую жизнь; мой Макс пошел к своим бывшим товарищам, а те ему: «Предатель ты, свинья, вали отсюда, петлю бы тебе на шею», он и ушел и повесился в ивняке.

В рассказе Анны, который часто прерывался и снова продолжался с того места, на котором она остановилась, наступает продолжительная пауза: разгорается спор с пожилой дамой, утверждающей,

будто она оставила на умывальнике перстень с драгоценным камнем. И вот теперь его нет. Анна и не прикасалась к умывальнику — я тому свидетельница, приходили другие клиенты, но как раз у этого умывальника никто из них не мыл рук; поиски длятся долго, потом Анна говорит: — Вы, наверно, положили перстень в сумочку, поищите там.— Женщина возмущенно отказывается, Анна настаивает, и... вот он, перстень. Женщина вынуждена признать, что все в порядке, она бросает на Анну злой взгляд и удаляется, не извинившись, мол, она вовсе не утверждала, что Анна украла перстень, однако она задела профессиональную честь Анны, и теперь та страдает от того, что кто-то мог подумать, будто она недостаточно следит за подведомственным ей участком; некоторое время она молча глотает свой гнев, а потом, помноженный на раздражение и весь ее горький жизненный опыт, он выплескивается в одной-единственной короткой фразе, которую повторяют миллионы битых жизнью, так что она стала уже своеобразной формулой: — Эти свиньи-капиталисты, они всегда правы.

Я позволяю себе спросить, относится ли эта женщина с перстнем к разряду свиней-капиталистов.

Анна разражается пронзительным смехом.

— Знаете, она ведь делает вид, будто мы незнакомы, но она меня хорошо знает, просто мне теперь не положено ее знать; ее муж был в партии — нацистской, конечно, он был у них оратором-пропагандистом, а после войны год пробыл в лагере у американцев, для перевоспитания, как это называлось, а потом возглавил маленький филиал фирмы по производству кока-колы, а потом, а потом, а потом, а потом в конце концов стал владельцем лимонадной фабрики, которая все расширялась, так что теперь он человек богатый, а тогда, сразу после войны, когда он еще был в лагере, мы с ней вдвоем, обе — жалкие твари, ходили к американцам и все, что они нам давали — сигареты, мыло, нейлоновые чулки и консервы,— делили пополам, все, в том числе, конечно, и работу, мне, наверно, нечего объяснять вам, что̀ это была за работа, с тех пор уже четверть века прошло, она вот — богатая, а я бедная, ее муж — хозяин фабрики, мой — повесился, ее дети получают высшее образование, моя Анна работает кассиршей, вот такто; а теперь я вас спрашиваю, зачем все это было — Гитлер, концентрационные лагеря, война и столько погибших, и что повесился мой Макс, и что Эриха Бернхаймера отправили в душегубку, а Петера Нильса застрелили, и что старому господину Нильсу отбили ноги, и что уничтожили столько поляков, и цыган, и евреев, французов, голландцев, итальянцев, русских, ради чего, спрашиваю я вас, к чему все это привело, разве кто-нибудь чему-нибудь научился, получилось только, что такая вот шлюха, путавшаяся, как и я, с американцами от нужды, от той же, что и я, теперь владелица фабрики и может на меня плевать,— за это они погибли, те, в Сопротивлении, да и нацисты тоже, так зачем все это, зачем политика, зачем вообще что-либо делать для такого народа и такого человечества.

Столько горечи, справедливой или нет, словами не смягчишь, из этой горечи Анна соорудила себе жесткий панцирь, она в нем как рак в скорлупе, тут она сильна и неприступна, тут даже злоба на бывшую подружку-шлюху становится питательным источником. Может быть, от этой пропитанной горечью хроникерши, скрупулезно точной даже в ущерб самой себе, я узна́ю что-нибудь еще — например, о смерти Флекмана или о ребенке Клары, если у той в самом деле был ребенок. О смерти Флекмана ей, разумеется, известно все — ведь она до конца была подле него, была свидетельницей того, о чем не знал никто больше: как двадцатого апреля сорок пятого года, когда американцы и французы, русские и североафриканцы давно уже ступили на немецкую землю, к Флекману явились три павлина (а знаю ли я, кто такие павлины? Да, знаю, члены национал-социалистской партии с бесчисленными золотыми шнурами на плечах или где-то там еще и с золотыми

значками старых членов партии, впрочем, это не обязательно — павлином можно было стать и позже, но просто считалось, что тот, кому дозволялось носить столько золота, был из числа самых преданных).

— Так вот, трое «самых преданных» ночью тайком пришли к Флекману, я, конечно, подслушивала за дверью и услышала, как они уговаривали Флекмана скрыться вместе с ними немедленно: война-де проиграна, войне конец, фюрер, по-видимому, мертв, а враг совсем близко, так что надо удирать из охваченного пожаром дома, туда, в южный Тироль, там у верных фашистов есть тайник, там можно отсидеться и уцелеть, и так далее, и тому подобное. Потом наступила пауза, после чего Флекман громко сказал: «Господа! Я мог бы приказать, чтобы вас расстреляли по законам военного времени, но такая смерть была бы для вас слишком почетной, поэтому убирайтесь на все четыре стороны, тащите с собой куда угодно ваш позор, только сейчас же отрежьте все знаки верности фюреру, вот ножницы, так, а теперь вон отсюда», и те в самом деле отрезали знаки отличия — подчинились ему, хотя были по рангу значительно выше крейслейтера, и тут же ушли, а Флекман бросил все в печь и сжег и, точно ничего не случилось, отправился спать, потом он еще почти три недели так жил — просто оставался на своем посту; для него все утратило смысл, меня он решил отослать подальше, но я осталась при нем: нельзя ведь бросить человека в беде, и вообще мне было все равно, жить или умереть, погибнуть от нацистов, или от антинацистов, или от американцев, силы мои были на исходе, от Макса моего уже давно не было вестей, я считала его мертвым, а потом настало шестое мая, американцы находились уже в двадцати — тридцати километрах от города, и тогда к Флекману явилась депутация горожан: он ведь еще был бургомистром. Они сказали, что он должен сдать город без боя, даже принесли белый флаг и вывели Флекмана на Марктплац, поставили среди развалин — кроме них, там уже ничего не было, и вот он так стоял, и уже слышался лязг американских танков, и уже показались самые первые из них, и тут люди закричали: «Выбросьте флаг, мы капитулируем». И тогда Флекман взмахнул флагом, и все думали, что он машет американцам, а он швырнул флаг на землю, встал на него и совершенно спокойно, но громко бросил в тишину: «Какие же вы гнусные подонки!» Потом вытащил револьвер и выстрелил себе в лоб, я тотчас подбежала к нему, я видела, вот этими самыми глазами видела, как он упал на белый флаг и тот сразу стал красным от крови, и им уже нельзя было воспользоваться, чтобы сдать город, да и взять этот флаг нельзя было: ведь Флекман лежал на нем. Так и оставили его лежать на флаге и побежали навстречу американцам, а я завернула труп в полотнище, и какой-то человек помог мне оттащить его в погреб, я день и ночь охраняла его, но как-то мне все же пришлось отлучиться, и тогда кто-то вытащил труп из погреба и подвесил к флагштоку, завернутый в полотнище. Так он и висел, как спеленутый младенец, но недолго — пришли как-то люди, я этих людей не знала, сняли труп Флекмана с флагштока, оттащили в сторону и выбросили за кладбищенскую стену. Так и валялся он там как падаль, а ночью я его закопала в землю, я одна, и больше его уже никто не трогал, а теперь он даже лежит в освященной земле, среди примерных и благочестивых католиков — это Флекман-то, самоубийца, теперь на его могиле даже настоящее надгробье есть и всегда свежие цветы, хотя прошло уже целых двадцать восемь лет; сначала люди трепали языком, гадая, от кого цветы, некоторые уверяли, что от меня, и вот, мол, доказательство, что я была его любовницей, но это вздор — я ведь была только его кухаркой, да к тому же еда в последние годы не представляла для него интереса; а цветы на могиле не от меня, я знаю, от кого они, но это секрет.

Я слышу, как Анна говорит и говорит, а в паузах до меня доносится рокот и журчание воды в унитазах, и треск закрывающихся

дверей, и шарканье больших башмаков Анны, людской поток все возрастает, у Анны наступает час «пик», а меня уже немного мутит от запаха хлорки и недостатка воздуха; я прощаюсь, Анна пытается меня удержать — как, мол, приятно однажды выговориться, кому еще она про все это расскажет, кого еще это может интересовать — ведь даже собственная дочь говорит: «Да отвяжись ты, наконец, со своими старыми историями». Но я ухожу, меня уже не удержать. Анна, смирившись, отпускает меня из преисподней; сутолока на перроне вокзала кажется мне — все познается в сравнении — даже бодрящей.

О Кларином ребенке я так ничего и не узнала, может, лучше подождать, пока она сама об этом заговорит, а может, еще лучше совсем об этом не говорить.

Клара и Стефания ждали меня с ужином. Клара, принюхавшись, говорит: — Чем это от тебя пахнет, где ты была, такая вонь!

Стефания вмешивается: — Клара!

Вполне возможно, что в моей одежде застрял запах преисподней, запах анатомички, от меня разит дезинфекцией трупов, принадлежащих тому времени, которое считается мертвым.

— Значит, ты у Анны была, у Анны первой и Анны второй,— говорит Клара,— где ты их только раскопала, ты прямо как заправский репортер или детектив.

Она говорит это в шутку, но тоном, который меня задевает. Я отвечаю с обидой: — А кто, простите, завлек меня в это гнездо? Кто заманил меня этой приманкой, этими похоронами? Кто стал ворошить прошлое — вы или я?

— Ладно, оставь,— уступает Клара,— я ведь не имела в виду ничего плохого. Только вот что: тебе здесь не надо оставаться.

Это загадочная фраза, на которую Стефания реагирует с раздражением: — Тебе тоже здесь не надо оставаться, ты в любой момент можешь уехать со мной в Лондон, ты ведь, как и я, приглашена к Бернхаймерам, только ты не хочешь ехать, ты предпочитаешь мучиться тут.

— Я? Мучаюсь тут? Вовсе нет, я тут дома, я тут по собственной воле, все равно старое дерево не пересадишь на новое место, так о чем ты? Ну, а теперь поедим, не то мясо совсем пережарится. Что же рассказали тебе обе Анны?

— Ах, Клара,— говорит Стефания,— что они могли рассказать? Ты ведь хорошо знаешь шарманку Анны: мой Макс, мой Макс, и Флекман, и американцы, и могила у кладбищенской стены — эта пластинка у нее всегда крутится, неважно, слушает кто-нибудь или нет.

— Уж ты-то могла бы это понять,— не без резкости говорит Клара. Стефания молчит.

— Ну, да,— продолжает Клара после довольно мучительной паузы,— ну да. А что она рассказывала про то, как работала на американцев?

— Все.

— И что ходила на панель?

— Клара,— укоряет ее Стефания,— об этом не говорят, это сугубо личное дело ее, Анны.

— Однако Анна, как ты слышишь, говорила об этом, не так ли?

— И все равно это ее сугубо личное дело. Мы вообще слишком много говорим о вещах, которые касаются других.

— Вот как,— говорит Клара,— вот оно что.

В воздухе запахло грозою, и пока не ясно, ударит ли молния и в кого, возможно, в меня, в ту, которая на собственный страх и риск ворошит минувшее, отыскав запретный тайник, где хранятся страницы хроники, на которые не распространилась цензура сестер, и они, зная

автора этих страниц, с самого начала объявляют их не аутентичными, а апокрифичными, из области легенд, анекдотов, в общем, кривым зеркалом, искажающим изображение, между тем как мне эти страницы могут показаться подлинной историей, версия же сестер в сравнении с ними — несостоятельным притязанием на единственную и абсолютную подлинность, жалким релятивизмом. Кто знает, может быть, Клару, правдивую, но и молчавшую, мучит тайный страх, что ее историю я узнаю от других — историю, которая фактически известна всем, но в которой факты всего лишь толстая, нелепая скорлупа вокруг хрупкой драгоценной правды. А Стефания — разве ее не страшит, что на черном рынке всяческих толкований я могу узнать нечто такое, что бросит тень на ее ослепительного Петера?

Поскольку обе молча едят, пришла, видимо, моя очередь сказать что-нибудь, чтобы осторожно разрядить напряжение и избежать взрыва. Пытаюсь сделать это, заговорив о Флекмане:

— Знаете, этот доктор Флекман остается для меня загадкой, никто из вас его ни во что не ставит, но вместе с тем под занавес все готовы набросить ему на плечи горностаевую мантию.

Клара смеется своим словно в погребе звучащим смехом. Стефания опять уходит в себя, она уставилась в окно, ее взгляд прикован, возможно, к перышкам в хвосте одной из ласточек, тренирующихся для перелета на юг.

— Да,— восклицает Клара,— это верно, я терпеть его не могла — с самого детства, а уж при нацистах — тогда я его просто ненавидела, впрочем, не за то, что он был моим политическим противником, а за то, что он вел себя не как мой враг.

— Если я тебя правильно понимаю, ты не простила ему того, что он не был преступником.

— Я не простила ему, что он делал нам добро. Это ведь в общем-то вершина наглости — все так перепутать, поставив с ног на голову.— Она опять смеется, словно хочет высмеяться. Ее смех возвращает к нам Стефанию, только что витавшую в вечерних небесах. Напряжение еще не вполне разрядилось.

Стефания спрашивает: — И что же Анна рассказывала о Флекмане?

— Она рассказывала про его конец: как явились высокопоставленные нацисты и стали уговаривать его бежать, как он остался, как отказался сдать город, как застрелился, как она спрятала и охраняла его тело, пока кто-то не украл его, как похоронила потом.

— Значит, она говорит, что похоронила его.

— Разве это не так?

— Надо полагать, что так,— говорит Клара,— Анна не лжет.

— Она мне рассказывала, что труп Флекмана подвесили к флагштоку. Три дня висел.

— Что? Три дня? Ни одного часу,— говорит Клара,— такого Анна сказать не могла.

— Это рассказала я,— говорит Стефания.

— Да неверно это,— с досадой говорит Клара.

Стефания упрямо, как ребенок, держится своей версии: — Так рассказали мне, меня самой в ту пору здесь не было.

— Тогда нечего и говорить,— сурово замечает Клара.— Кто-то действительно висел три дня на флагштоке, пока в майской жаре от него не стало дурно пахнуть, но это был не Флекман, это был один доносчик.

— Но ведь,— возражает Стефания,— это мог быть и Флекман.

— Если бы это от тебя зависело,— спрашивает Клара,— его повесили бы?

Стефания молчит.

— Ну вот,— говорит Клара.— Даже я и то не пожелала бы такого.

— Что значит: даже ты?

Стефания старается вызвать спор, это ясно, но почему, для чего?

Я пытаюсь быстро перевести разговор на другую тему, на мой взгляд сравнительно безобидную: — А скажите, как, собственно, жилось Каунигерам при третьем рейхе?

— О, тем-то,— говорит Клара,— тем-то жилось совсем не плохо, к ним дружно наведывались и нацисты, и ненацисты, и полунацисты, таких вкусных тортов, как у них, ни у кого не было, и дочери их были такие аппетитные и привлекательные, и Карл умел ловчить, всегда доставал откуда-то и масло, и муку, и яйца. Дядя Вилли колдовал в своей конторе над звездами, его ничто не интересовало — так, по крайней мере, казалось. Но все изменилось, когда началось дело об отцовстве и вновь заговорили о ребенке, которого заморили голодом; такое быстро распространяется в маленьком городке, привыкшем питаться падалью, в особенности если на этот раз в наличии труп ребенка. Такой городок, у него своя мораль — нам ее никогда не понять,— очень строгая мораль, высший принцип которой: если тебе живется хорошо, значит, ты и сам хорош, а если тебе живется плохо, все убеждены, что ты ничего не стоишь, и тогда на тебя плюют. Пока тебе хорошо, тебе все дозволено, до поры до времени на все закрывают глаза, хотя эти глаза уже многое видели. Перемена произошла, когда Стефания приехала сюда на два-три дня, она хотела повидаться с дядей Вилли — когда это было, Стефания?

— В сорок втором году, в августе. Они как раз проиграли процесс, вот и опустились на самое дно, провалились в черную дыру — подняться оттуда им так и не удалось.

— Знаете, что я думаю,— говорит Клара,— я думаю, если бы тетя Берта не погибла в бомбежку, она все пережила бы: и пересуды, и всеобщее презрение, и третий рейх, и проигранную войну, и девальвацию денег в сорок восьмом, и возможное банкротство, и сегодня была бы владелицей самого большого кафе на Марктплац да еще ночного бара и борделя.

— Но, Клара,— говорит Стефания,— сейчас ей было бы около ста лет, какой уж тут ночной бар, она была бы мертва.

— Только не тетя Берта,— возражает Клара,— она процветала бы со своим борделем и не умерла бы никогда.

— Клара!

— А что? Разве далеко было до борделя? Но не будем ворошить прах тети Берты. Расскажи, Стефания, как все было, когда ты тогда зашла в кафе. Жуткая сцена, по крайней мере, так рассказывала тогда Стефания.

— Что значит «тогда»? Я рассказывала, как оно было и как оно врезалось мне в память; ведь такое не забывается.

— Ну, расскажите же!

— Но если ты думаешь, что при этом я не буду ворошить прах тети Берты, то ты ошибаешься. В этом мрачном спектакле она играет главную роль. В кафе и в самом деле царила темнота, жалюзи были спущены, и сквозь узкую щель в них пробивалась единственная светлая полоска — к ней по очереди прикладывались Мали и Берти, стараясь разглядеть, не идет ли кто из посетителей; в кафе было пусто, так пусто, что сестры-близнецы обрадовались даже моему приходу, они кинулись ко мне, я тотчас подумала, что за необычно сердечный прием, но тут выяснилось, что они просто не узнали меня, они спросили: «Что вам угодно?» А я сказала: «Кофе и шоколадный торт». Тогда они узнали меня по голосу и были разочарованы, но как-никак в кафе теперь был посетитель, хотя бы в моем лице. Помню, близняшки были в чем-то полосатом, как каторжники.

— Наверно, это из-за того, что жалюзи были спущены, а сквозь щели пробивался свет,— говорит Клара.

— В чем-то полосатом, как каторжники,— нетерпеливо повторяет Стефания. Клара молчит.— А потом,— продолжает Стефания,— хлопнула дверь в темноте за стойкой, там сидела тетушка Берта, это она удалилась с таким шумом, Берти тоже убежала, только Мали осталась. Она сказала, что шоколадного торта нет, сейчас ведь война, разве я не знаю, судя по моему костюму, наверно, не знаю, где я взяла эту материю, наверно, у Бернхаймеров, они ведь раньше изготовляли такую ткань и, должно быть, продолжают изготовлять ее в Англии, надо полагать, у меня сохранились с ними хорошие отношения; ее слова были полны яда, но мне пришло в голову сравнение со старым боксером, которому уже конец, а он вслепую все еще наносит удары. Собственно говоря, мне ее было жаль, вид у нее был плачевный, поэтому я и сказала вполне дружелюбно, что ношу этот костюм уже много лет, это мой единственный выходной, только после этого она немного успокоилась, но потом я задала вопрос, который не надо было задавать: я спросила, как они поживают. Тут Мали закричала: «Ах, оставь нас в покое, или ты пришла, чтоб унижать нас?» Она убежала, а я, ничего не понимая, собралась было уходить, но тут за стойкой что-то прошуршало — то была тетя Берта, она вкатилась словно на колесиках, чудовищно толстая, к тому же еще и в широченных верхних и нижних юбках, руки у нее были сложены на животе, белые жирные руки, она въехала как огромная кукла или как божок, потом неожиданно остановилась, словно остановился механизм, вытолкнувший ее из темноты, она оглядела меня сверху донизу и сказала: «Выглядишь ты хорошо, наверняка загребаешь деньги, знаменитость как-никак, ты, собственно говоря, замужем?» — «Нет,— ответила я.— И ты это знаешь, зачем же спрашиваешь?» — «Да, знаю,— сказала она.— Но что можно знать о такой, как ты, которая ездит за границу, там и мужа нетрудно подыскать, эмигранта какого-нибудь, ведь некоторые уехали отсюда, если только им удалось перебраться через границу, евреи и противники нацизма, одним словом, враги нации». Я ей не возражала. По правде говоря, ее стоило бы избить, но у меня перехватило дух: я была ошеломлена такой бездной злости; состояние оцепенения продолжалось до тех пор, пока на пол вдруг не упала чашка или кружка и не разбилась; тогда одна из близняшек включила свет, и на мгновение стало светло, точно загорелись прожекторы, и тетя Берта закричала: «Выключить свет!», как кричали тогда блокварты, если где-нибудь в окне не было затемнения, это считалось государственным преступлением — зажечь ночью свет; ведь этим светом можно было привлечь вражеские бомбардировщики, хотя они и без того точно знали, куда сбрасывать бомбы, по крайней мере в большинстве случаев, но для блокварта освещенное окно означало саботаж; как-то в Мюнхене вдруг обнаружили, что ярко светится одно окно, блокварт понесся наверх, долго кричал и колотил в дверь, потом взломал ее, а в комнате сидела старая женщина, уже день как мертвая.

— Расскажи про Каунигеров,— просит Клара.

— Так вот, выключили свет, и кто-то, Берта или Мали, сказал: «А вдруг они не идут, потому что тут темно — ведь создается впечатление, будто кафе закрыто». Но тетя Берта возразила: «Дура ты, они же знают, что кафе открыто, придут еще, больше им некуда идти, где еще им подадут кофе с тортом». Я невинно спросила, кого это она ждет, и тетя Берта ответила: «Наших завсегдатаев, наши клиенты нам верны». Но пока я там была, не пришел никто.

— Стефания,— говорит Клара,— расскажи подробнее,— и добавляет, уже для меня: — Ей надо это воспроизвести — так разворачивают старый гобелен с изображением битвы, кусок за куском, чтобы видны были все детали: каждая убитая лошадь и каждая брошенная сабля, каждая капля крови на песке.

— Клара, какая ты сегодня ужасная!

— Я? Обстоятельства ужасные, а не я, которая видит, какие они. Но некоторое злорадство я все же испытываю в случае с семейкой кондитеров, впрочем, это один из немногих случаев торжества справедливости, о котором я узнала благодаря черному ослу. Продолжай, Стефания. Конец этой истории почти так же прекрасен, как то, что умер Гитлер, только тут все обернулось комической стороной.

— Смерть Гитлера тоже не была трагической, если ты это имеешь в виду,— говорит Стефания,— она была просто жалкой.

— Ну ладно,— замечает Клара,— может, ты и права.

Стефания говорит, обращаясь ко мне: — После замечания Клары ты ожидаешь услышать что-то особенное, однако ничего особенного не случилось, все было комично или гротескно, но тем не менее вызывало не смех, а скорее ужас. Итак, тетя Берта, к примеру, говорит: «Мали, ты слышишь, кто-то идет, погляди в окно». Одна из близняшек подбегает к окну и припадает к узкой щели в жалюзи; шаги в самом деле слышны, кто-то, Берти или Мали, в зависимости от того, кто смотрит в щель, говорит: «Мама, обе барышни Бергмайстер (имена вымышленные, настоящих я, разумеется, уже не помню), да, обе барышни подходят». Тетя Берта говорит: «Ага, они все же идут». Снова пауза. Тетя Берта проявляет нетерпение: «Ну, так где же они?» А Берти или, может быть, Мали отвечает: «Прошли мимо». Тетя Берта: «Так, значит, прошли мимо, ну, ничего, придут позже». Две минуты спустя: «Тише, кто-то идет, Мали, Берти, поглядите!» — «Господин профессор такой-то, мама!» — «Ага, он все-таки идет за своим кофе».— «Нет, мама, он тоже прошел мимо». Тетя Берта: «Придет, никуда не денется, сейчас ведь всего четыре часа». И через две-три минуты опять: «Мали, Берти, живо!» И снова близнецы бегут к щели, в которую пробивается луч света, после чего: «Мама, господин аптекарь». Но он тоже прошел мимо, как и господин адвокат, и тот, и эта, все они, все проходят мимо. И вдруг тетя Берта валится на пол точно огромная кукла из глины и черной ваты, она так и лежит и хрипит предсмертным хрипом. Я думаю, что она умирает; хочу позвать врача, но близняшки не выпускают меня, они запирают дверь и что-то вливают своей матушке в рот, от астмы. «Это легкий обморок»,— говорят они. Но тут открывается дверь за стойкой и появляется дядя Вилли. Несколько минут он наблюдает происходящее, потом наклоняется над женой, как над испустившей дух коровой, после чего подходит ко мне и здоровается, словно все в порядке, а я ему говорю: «Дядя Вилли, она умирает!» Он мне в ответ: «Не бойся, эта не умрет». А потом шепчет мне на ухо: «Она умрет только через год, и то не естественной, а насильственной смертью». Тетя Берта и в самом деле быстро очухалась, близняшки приподняли ее и усадили, дядя Вилли подхватил ее сзади под мышки, они стали вместе поднимать ее, пока она не встала на ноги, и первое, что она сказала, было: «Но они еще придут, все еще будут здесь». Однако тут у Мали сдали нервы, и она заорала: «Никто больше не придет, ты это отлично знаешь, вот уже четыре недели никто не приходит, ни один посетитель, так оно и будет, и в этом ты виновата, ты, сука». Она бросилась на Берти, но та закричала: «Я с собой что-нибудь сделаю». Берти рванулась было на улицу, но дядя Вилли схватил ее и влепил ей пару пощечин, что оказалось действенной терапией; потом настал черед Мали разыгрывать сумасшедшую: она кинулась в пекарню и вернулась оттуда с целой горой тортов и пирожных; она несла их перед собой, как башню, но эта башня обваливалась кусок за куском, и в конце концов Мали швырнула все, что оставалось у нее в руках, матери под ноги, мало того, она стала топтать все это ногами, как раньше утаптывали кислую капусту или выдавливали сок из винограда; время от времени она поднимала с пола какой-нибудь кусочек и запихивала себе в рот. Мы остолбенели и по-

теряли дар речи. Но дядя Вилли вдруг расхохотался — расхохотался точно безумный, так что в кафе зазвенели стаканы и заплясали чашки.

— Но не от смеха, Стефания, а от того, как Мали топала ногами,— сказала Клара.

— Короче говоря,— продолжила рассказ Стефания,— стаканы звенели, чашки плясали, дядя Вилли хлопал себя по ляжке, а тетя Берта стояла между ними точно божок, Берти сидела на полу и плакала, а я думала: скорее прочь отсюда, я направилась было к двери, но дядя Вилли вынул ключ из замка, он сделал это ради Берти, так что мне пришлось остаться, пока все вновь не пришли в себя, это произошло быстро, они, словно по команде, протрезвели, Мали принесла метлу, помойное ведро и тряпку, Берти умыла распухшее от пощечин лицо, тетя Берта уселась как ни в чем не бывало, а дядя Вилли сказал: «Теперь двойную порцию водки», Берти подала ему, словно посетителю, а я стала думать, уж не померещилось ли мне все это.

— Нет,— говорит Клара,— тебе не померещилось. Я верю, что у тебя бывают такие и еще более дурные сны, но на сей раз это был не сон, я сама на другой день видела распухшее лицо Берти, и она рассказала мне, будто кто-то на них напал и ей пришлось бесстрашно обороняться. К чему она так лгала, не знаю: ведь она могла догадаться, что Стефания мне все рассказала. Но с этими кондитерами никогда не известно, чего ждать. Кстати, Стефания рассказала еще не все.

— Ах, оставь,— говорит Стефания.

— Тогда я расскажу это так, как рассказал мне дядя Вилли. Тетя Берта сказала тебе: «Как хорошо, что ты наконец явилась присмотреть за своей бедной матерью».

— Я тогда еще не была у нее,— пояснила Стефания,— я приехала к обеду, и мне не хотелось в этот час тревожить маму, так что я не понимала, на что намекает тетя Берта; я спросила: она больна?

— И милая тетушка,— продолжала Клара,— ответила (Клара произнесла скрипучим голосом тети Берты): больна, что значит — больна, с головой не в порядке, впала в детство, свихнулась, слабоумной стала, помешалась, откуда я знаю, сидит и ни слова не говорит, только и делает, что изо дня в день перебирает лоскуты материи, разве это нормально, у нее явно не все дома, а дочка разъезжает по заграницам, встречается там со старыми друзьями, с которыми ей здесь в стране нельзя встречаться среди бела дня. Тут Стефания не выдержала.

— Да, мне хотелось влепить ей пощечину, но дядя Вилли знаком остановил меня, и я осталась сидеть — сидела и смотрела, как дядя Вилли потешался над злопыхательством своей жены. Потом он мне сказал, что всегда про себя приговаривал: «Болтай, болтай, пока болтается, через год у тебя не будет языка, он сгниет, а умишко твой злой съедят черви; так что не теряй времени, злись, сколько можешь, накапливай грехи, тогда ты наверняка отправишься в ад, а я постараюсь не встречаться с тобой в чистилище».

— Да,— подтверждает Клара,— он верил в ад и в чистилище, это удивительно.

— Что же в этом удивительного? — спрашивает Стефания. И, не дожидаясь ответа, продолжает свой рассказ: — В речах тети Берты я не находила ничего забавного. Меня тревожила мама: ведь если она действительно сошла с ума, ее увезут в лечебницу, там сделают так называемый сердечный укол, и мы получим уведомление, что она умерла от заразной болезни, что из гигиенических соображений труп ее уже сожгли, а прах разрешается забрать.

— Мне известно, Стефания, что такое эвтаназия.

— Меня тревожила мама, и я невольно вслушивалась в сло-

ва тети Берты, а та говорила, что вот маму — бросили собственные дети, и поделом ей.

— Такая гнусная ложь,— говорит Клара, покачивая головой,— я бывала у нее через день.

— Тетя Берта сказала мне еще: «Яблоко от яблони недалеко падает, деревья, приносящие гнилые плоды, вырубают и сжигают». А дядя Вилли, слушая эту проповедь, громко хохотал.

— Чудесно,— восклицает Клара,— однажды черный осел все-таки сработал: год спустя не мы, а тетя Берта погибла под балками собственного, разъеденного грехами дома и сгорела.

— Клара, что это за черный осел, о котором ты так часто говоришь?

— Ах, сейчас это не имеет значения. Когда-нибудь в другой раз. Пусть Стефания расскажет, что было дальше. Бочка злобы, из которой черпала тетя Берта, еще не совсем иссякла, на дне ее оставалось вполне достаточно. Она начала с Флекмана: мол, некоторые люди (то есть мы) ведут себя по отношению к некоторым людям (то есть нацистам) так, точно они «против», и в то же время считают возможным держать в любовниках крейслейтера, хотелось бы знать, что он сказал бы насчет дружбы с теми, кто побывал в концлагере или одной ногой уже там — с преступниками, евреями, врагами нации,— одним словом, некоторые люди сидят на двух стульях, им самим место в концлагере.

— Ну, рассказывай дальше, Стефания!

— Когда тетя Берта это сказала, дядя Вилли поднялся с места, снял зеленые очки и так посмотрел на нее, что она невольно спросила: «Что с тобой? Почему ты так смотришь?» Он на это ответил: «И подумать только, что на такой я женился и мы с нею произвели на свет таких, да можно ли иметь что-то общее с этими лемурами, это же не люди, это привидения, их слова — ничто. Пошли, Стефания, уйдем отсюда, судьба уже ждет их у порога». То был намек на астрологию, тетя Берта с грехом пополам поняла его — во всяком случае, вид у нее был испуганный, но она все-таки сказала нагло: «Помалкивал бы лучше, уж ты-то у меня в руках. Астрология запрещена фюрером, ты это знаешь, я тебя крепко в кулаке держу, вот смотри, ты у меня тут, в кулаке, стоит мне его только сжать». На это дядя Вилли спокойно ответил: «Вот ведь глупая корова!» Потом он проводил меня домой. Мне было плохо, и я с трудом передвигала ноги.

— У тебя был жар,— говорит Клара,— и ты три дня во сне бредила и разговаривала с Петером.

— Я не бредила,— возражает Стефания,— но теперь у меня голова разболелась; я говорила так долго, пойду-ка в сад.

— Поди,— говорит Клара,— пройдись немного. И ты поди проветрись,— обращается она ко мне.— От тебя до сих пор несет хлоркой и клозетом, а я люблю заниматься уборкой, когда мне никто не мешает.

Я пошла следом за Стефанией в надежде, что это подходящий случай поговорить с ней о ее действительных, а не пригрезившихся встречах с Петером Нильсом. Она сидела у ручья, прямо на земле, подогнув колени, опираясь руками о землю за спиной, словно молоденькая девушка,— она сидела и смотрела в небо; когда я подошла, она не шелохнулась, я не смела заговорить с ней; может быть, ей виделся ее Петер, там, наверху, где медленно проплывали над городом окаймленные лунным светом облака. Но она не витала в облаках, она рассчитывала, что я последую за ней. Ей хотелось рассказать мне о том, о чем она не стала говорить раньше, о самом

скверном, о злейшей злобе, которую тетя Берта испытывала к Кларе, «горбатой солдатской потаскухе».

— Но,— сказала Стефания,— я не хочу рассказывать эту историю возле дома, Клара может услышать, это будет ужасно.

Мы пошли по дороге к дому для престарелых — она в этот час была пуста; мы шли между изгородями и заборами, над нами кружили летучие мыши, один раз над нами пронеслась сова или, может быть, сыч, из тех немногих, что еще остались. А ведь когда-то их было много на привокзальной аллее, только чем им теперь кормиться в окаменелом городе, откуда теперь взяться мышам, везде разбрызган яд, только здесь, вокруг дома для престарелых, осталось еще несколько лужаек с мышиными норами и с помойками, где водятся крысы. Старые люди выкидывают отбросы в окно, а не в помойное ведро, потому что в ведре можно обнаружить остатки отвергнутой ими, кое-как, без души, приготовленной пищи, а крысы бессловесны, они ничего не скажут старшей настоятельнице.

История Клары, печальная, но вместе с тем и не печальная, начинается, по словам Стефании, с самого рождения девочки и с нераспознанного и потому вовремя не вылеченного рахита, который превратил ее в горбунью, но ее особая история, та, что не могла бы произойти, если б не было рахита, развернулась позже, в сорок втором году, и началась на вокзале, где Стефания услышала ее от самой Клары; эту историю Стефания воспроизводит не полностью — она, быть может, что-то забыла, потом я услышала ее от самой Клары, чей рассказ соотносится с рассказом Стефании, как готовый ковер с узором, по которому его ткут.

У Стефании был концерт в Зальцбурге; она собиралась проехать мимо и сойти в родном городе лишь на обратном пути, но вдруг почувствовала, что должна сделать это незамедлительно.

— Итак, я сошла с поезда, сдала чемодан на хранение и отправилась в город, но Клары дома не оказалось, а соседка сказала, что Клара дежурит санитаркой на вокзале и было бы хорошо, если б я позаботилась о ней. Это звучало странно, так как Клара всегда заботилась о себе сама. Соседка больше ничего не сказала, но я почувствовала: что-то случилось. Поэтому я отправилась обратно на вокзал. Его почти весь разбомбило, на запасном пути стоял санитарный поезд с раненными на Восточном фронте. Был июнь, уже начиналась жара, погода была прекрасная — прекрасная до слез, вдоль железнодорожной насыпи цвела бузина, обуглившиеся наполовину кусты распустились и зацвели вновь, но это не утешало, впечатление было жалкое — в этом цветении была и мужественность, и безнадежность; на платформе я увидела товарный поезд и в нем солдат — не раненых, это было пополнение для Восточного фронта, солдаты толпились у открытых дверей теплушек, кому удалось найти место, тот сидел на полу, прямо на соломе, свесив ноги; выходить из вагонов запрещалось, поезд остановился ненадолго, офицеры разгуливали по перрону и молча курили, а солдаты играли на губных гармошках и распевали «Эрика, Эрика», я забыла слова, ужасная пошлость, от этого становилось еще грустнее, а рядом санитары делали свое дело, женщины и девушки в чем-то вроде формы, с нарукавными повязками и в сестринских косынках, с жестяными чайниками в руках наливали кофе в жестяные миски, которые солдаты протягивали им, все было из жести, и вся жесть была со вмятинами, тем не менее оживление царило там, где появлялись девушки, и казалось, что солдат везут вовсе не на смерть, а на праздник стрелков, такие они были веселые, и они флиртовали с сестрами, а один — никогда этого не забуду — совсем юный солдатик вылез из последнего вагона и стал рвать маки и купавки, выросшие среди мусора на железнодорожной насыпи, он рвал их очень медленно, как во сне, поэтому не сразу понял, что

офицер что-то кричит ему, а когда понял, то очень медленно влез со своими цветами обратно в вагон, я никогда этого не забуду; офицер орал на него, на этого юнца, а ведь оба ехали умирать.

— А Клара?

— Я все-таки отыскала ее в этой суете, она меня не замечала, она отчитывала двух девушек, которые несли куда-то чайник, она говорила им: «Что это вы надумали — чай ведь для раненых, немедленно несите его туда; среди живых, конечно, веселее, чем среди умирающих». Девушки повернули обратно, а одна сказала: «Ей бы только читать нам нотации». Это прозвучало дерзко, к тому же в этом чувствовался встревоживший меня подтекст. Что-то случилось с Кларой. Я побежала за ней. Она только спросила: «А тебе что здесь надо?» Любезным такое приветствие назвать было трудно, но мне сразу стало ясно, что Клара безумно устала, она осунулась, под глазами у нее были мешки, она посмотрела на меня, как зверь из логова, и еще раз спросила: «А тебе что здесь надо, именно здесь?» Я сказала, что езжу с концертами. «Ах так,— произнесла она,— с концертами; значит, и такое еще бывает — концерты!» Она произнесла это так, что я сразу стала защищаться: «Я даю концерты для солдат, для Красного Креста, выступаю даже в госпиталях, ну как, это тебя устраивает?» Она ответила: «Не о том речь, мне надо к раненым, а ты иди домой, ключ у соседки слева».— «Почему ты меня отсылаешь, дай мне побыть здесь»,— сказала я, но она не желала, чтобы я оставалась, у нее для меня не было времени, тут люди были при смерти, это не для меня. «Вот как,— воскликнула я,— значит, это не для меня, и все потому, что я выступаю с концертами, что я училась именно этому, а не уходу за больными, но я же не виновата, не каждый может ухаживать за больными и облегчать страдания умирающих, и не каждый может давать концерты, всегда ты норовишь обидеть, всегда ты не доверяешь другим, а мне и подавно». Мы с Кларой вечно спорили и спорили, но спор у нас недолгий, нам не хочется спорить, мы ведь любим друг друга, мы восхищаемся друг другом, но то, что заставляет нас спорить, засело где-то глубоко в нас, и что это такое, мы сами не знаем, дядя Вилли считал — это от неправильного расположения светил, но это опять же только слова, не больше того: одно слово подставляют вместо другого и так далее, пока снова не возникает самое первое слово, а все так и остается неясным. Однако Клара сказала бы теперь: «Ближе к делу, Стефания!» Итак, в конце концов Клара все же разрешила мне остаться, это было как бы наградой за выдержанное испытание; я не могу отделаться от ощущения, что Клара всякий раз устраивает экзамен или даже допрос, прежде чем кого-нибудь приемлет, только ты, пожалуйста, не думай, что Клара заносчива или мнит себя судьею над всеми, это вовсе не так, дело в ее личности, при ней видишь себя такой, какая ты есть, ей даже не надо ничего говорить, ей достаточно окинуть кого-то взглядом, и сразу ложь застревает в горле; это не означает, что ложь вызывает у Клары возмущение в плане морально-этическом или что-то в этом роде, просто ей представляется глупым и непонятным, как это люди могут лгать и притворяться. Забавно то, что она думает, будто все мы ее насквозь видим, оттого что она всегда такая, какая есть. В действительности же она замаскирована, да, замаскирована, по-другому и не скажешь. Мама как-то говорила, что в этом она похожа на папу, он всегда все рассказывал, даже то, что в ущерб ему самому, но при этом направлял на рисуемую им картину все прожектора, так что из-за слишком яркого света никто не мог разглядеть ни деталей, ни его самого. Но он это делал специально, поясняла мама, а Клара делает это против воли, ей хочется казаться людям такой, какая она есть, и все обязаны делать то же самое, такова ее философия: способствуй тому, чтобы все в мире было на свету, не оставляя во тьме ничего в самой себе и вокруг

себя, но при этом она забывает, что в некоторых местах и в некоторые времена должно быть темно, например ночью, и что умереть можно и тогда, когда светло и когда не уснуть оттого, что полным-полно света, как бывало в концентрационных лагерях, в нацистских да и в других тоже, это особая разновидность смерти, в средневековье всегда бывало темно в застенках и подземельях, тогда люди умирали от недостатка света, сегодня они умирают от недостатка темноты. Как ты предпочла бы умереть: на свету или во тьме?

— Откуда мне знать и как вообще приходят тебе в голову такие вопросы?

Стефания сама не знает — разве всегда надо знать, почему говорят и делают то, а не другое?

Она почти никогда не могла ничего объяснить; она вдруг видела что-то и, ухватившись обеими руками, подносила к вашим глазам. Если вы воспринимали это так же, как она, Стефания была довольна, если нет, она была разочарована и уже больше не возвращалась к данному вопросу. Она была способна только на непосредственное, сиюминутное, неограниченное и неоспоримое восприятие. Когда я пытаюсь вытянуть из нее объяснение, она словно куда-то проваливается, подобно тому как падают во сне, если кто-то неожиданно разбудит. Теперь она наказывает меня молчанием. Со Стефанией как в сказке: неудачное или не вовремя сказанное слово — и вот уже нет никакого путешествия к королевскому дворцу; вместе с тем бывает и так, что ненароком брошенное, самое обычное слово оборачивается настоящим волшебным ключиком. Жить с кроткой и сосредоточенной на самой себе Стефанией, как видно, не просто. Я пытаюсь представить себе, как сложился бы ее брак с Петером Нильсом. Возможно, Стефания, рядом с Петером, была бы приятной, радушной хозяйкой дома, матерью, бюргершей, супругой владельца типографии, устраивала бы домашние концерты, навещала бы больных, раздавала бы деньги, ходила бы с Петером на более или менее дружеские встречи товарищей по партии, совершала бы дальние заграничные поездки... Стефания внезапно посмотрела на меня так, словно почувствовала, как мои мысли ощупью пробираются к запретным дверям, касаются их ручек. Клара с ее ясным взглядом на вещи демонстрировала собеседнику сомнительность его собственной морали, Стефания же совсем выбивала у него почву из-под ног, так что он оказывался на зыбком песке и не в состоянии был сохранять равновесие. На этот раз она быстро смилостивилась и мгновенно вернула меня на разбомбленный вокзал, в людскую гущу между платформами, а из этой гущи — опять наружу, туда, где поодаль стоял санитарный поезд, где было тихо и почти темно и где я должна была или, вернее, мне позволено было ждать, пока Клара успокоит тяжелораненых, которые со стоном звали ее: «Сестра Клара!» — и затихали, когда она заговаривала с ними, словно ее голос был успокоительным лекарством, снимавшим боль; «Сестра Клара!», Клара Неласковая, Несентиментальная, Решительная, Стыдливая, Беспощадная — ее, такую, звали умирающие, не врача и не полевого священника, а сестру Клару с ее горбом — средоточием ее страданий; что же отвечала эта Клара, когда кто-нибудь спрашивал: «Я умру, сестра?»? Что отвечала она, не умевшая лгать? Я спросила ее об этом позже, и она ответила, что это не проблема, она в таких случаях говорит правду — ведь никто не может знать, умрет ли человек, впрочем, умереть — это прекрасно, это словно в медленно движущемся поезде, переезжающем границу незаметно для себя. «И когда я так говорила, они расслаблялись и уже не задавали вопросов, иногда, правда, приходилось для успокоения сделать укол».

— Собственно,— сказала мне Стефания,— только тогда, когда Клара стала «сестрой Кларой», я почувствовала, что она моя сестра, и я восхищалась ею так же, как она восхищается мною по другому

поводу, мы восхищаемся друг другом до умиления, но не хотим в этом признаться и скрываем это одна от другой, вот почему обе мы охотно смотрим в перевернутый бинокль и каждая видит другую в уменьшенном виде, но поскольку мы обе это делаем, результат получается одинаковый, вот тогда-то и возникает спор. Но в тот раз, у санитарного поезда, я увидела Клару в ее подлинном величии. Мне пришлось долго ждать ее, я присела на камень и поначалу злилась, так как она то появлялась, то снова исчезала, это было жуткое появление и исчезновение, носилки несли туда-сюда, с ранеными, с умершими, все происходило почти бесшумно, то было какое-то движение призраков, добавь к этому тихие стоны, доносившиеся из поезда, и еще запах — ветра не было, воздух напоминал тепловатую воду, пахло лизолем, йодом, эфиром, липовым цветом, бузиной, и вдруг над всем этим возобладал крепкий запах сена, словно на крестьянском дворе в мирное время, в сенокос, а еще пахло ржавым железом, и чем дольше я ждала Клару, тем сильнее пахло рельсами, и вот я уже сидела на мертвой колее и ждала товарищей по играм, а они все не приходили, и тогда я перестала ждать кого бы то ни было, даже Клару — это уже не было ожиданием, только к чему такое отступление, сказала бы Клара, ближе к делу! В конце концов Клара все же появилась — уже было далеко за полночь. Она была совсем без сил, но должна была оставаться здесь, потому что поезд уходил под утро; мы уселись на старой багажной тележке, у которой не хватало одного колеса. Ты можешь подумать, разве имеет значение, где мы сидели, но в такую ночь все имеет значение, тележка стояла косо, и каждый раз, когда до Клары доносился стон раненого, она сползала с тележки, и мы обе чуть не переворачивались, и каждый раз Клара повторяла: «Нет, сейчас без меня обойдутся». А однажды она сказала: «Я веду себя так, словно все без меня остановится; я, видно, в самом деле слишком о себе возомнила». Мы разговаривали о ее службе, о маме и о всякой всячине, нам нечего было сказать друг другу, потому что нам слишком много надо было друг другу сказать, мы курили, и вдруг Клара бросила сигарету и сказала: «Мне пора бросать курить». Я спросила: «Почему? Тебе нездоровится или ты с нервами справиться не можешь?» И тут она сказала просто и сухо: «Я ожидаю ребенка». Это прозвучало как гром среди ясного неба. От неожиданности у меня вырвалось нечто страшное. Я сказала: «Как? Ты?» Это, конечно, означало приблизительно следующее: «Как? Ты, горбунья, почти старая дева, калека, которой никогда не хотел ни один мужчина, ты ждешь ребенка? Это же абсурд, чудовищное извращение». Сказав: «Как? Ты?», я тут же поняла, какую боль причинила Кларе, слово — не воробей, разве я могла исправить положение, я даже и не пыталась, я сказала только: «Ты ведь так истощена, как же ты это выдержишь?» Эти слова могли служить объяснением моего жестокого возгласа, но Клара не нуждалась ни в объяснении, ни в извинении, она даже не вздрогнула, она давно уже мысленно перебрала все возможные реакции, поэтому ничто не могло ее теперь поразить или задеть. А может, она уже была абсолютно равнодушна к тому, что подумают и скажут о ней, во всяком случае на мое «Как? Ты?!» она ответила очень просто: «Да, я». Это прозвучало так, словно она надо мной насмехалась, словно она меня передразнивала. Это напомнило мне детскую игру, когда надо довести партнера до белого каления, отвечая, к примеру, на его: «Эх, ты, гусыня!» совершенно спокойно: «Так ведь это ты, а я кто?» Тогда первый подыскивает нечто более обидное, ну, скажем: «Эх, ты, старая обезьяна» и получает в ответ: «Так ведь это ты, а кто, по-твоему, я?» — и так далее, до тех пор, пока один из партнеров, сорвавшись, не принимает игру всерьез и не начинает возмущаться, и тут другой торжествующе восклицает: «Я выиграл, ты проиграл!» — «Как? Ты?» — «Да, я». Короче говоря,

Клара выиграла, и она молча приняла это к сведению, но затем я совершила вторую глупость. Чтобы восстановить ее попранное достоинство, я сказала: «Что же, ты, наверно, знаешь, что делаешь». Я слышала свои слова, они прозвучали так, будто я говорила свысока, будто мне хотелось соблюсти дистанцию между собой и этим неприличным и невозможным обстоятельством, но и на этот раз Клара оказалась в выигрыше, ответив удивительно просто: «Нет, не знаю». У меня перехватило горло: она не знает! Мне подумалось: может, ее изнасиловали или Клара настолько устала, что сдали нервы и она все это вообразила, однако ни в первое, ни во второе я не могла поверить. «Не знаю»,— сказала она и преподнесла мне крепкий орешек, так могла бы ответить молоденькая девушка на вопрос строгой матери: «Почему ты это сделала?» — «Не знаю», и она была бы права, потому что не она это сделала, это сделали с нею, так распорядилась судьба. Но Клара, такая благоразумная, не допускающая даже мысли о каких-либо «путях-перепутьях»[1], Клара, в мельчайших мозговых извилинах которой вспыхивают электрические искры и работает сигнальное устройство на случай, если вдруг украдкой проскользнет какое-нибудь чувство, эта самая Клара говорит: «Не знаю».— «Не знаешь, Клара?» — «Нет»,— повторяет она. «Но как же это, Клара?» — «Да, как же это? — говорит она.— Как же это — смешной вопрос ты задаешь».— «Но, Клара, пойми, я хочу сказать, что это должно иметь предысторию».— «Да,— говорит она,— это имеет предысторию, и она такая же долгая, как моя жизнь, и такая же короткая, как три месяца беременности, которые у меня позади». То была почти загадка, и я ее почти разгадала. Такая же долгая, как моя жизнь,— это означало: ей столько же лет, сколько моему горбу, столько же лет, сколько моей судьбе. А такая же короткая, как три месяца беременности,— это означало, что тот, от кого она забеременела, прежде был ей незнаком. Так оно и было. Клара мне об этом рассказала. После дежурства, мартовской ночью, она шла одна домой через парк у ручья (тогда еще были и парк и ручей), она не очень устала, никуда не спешила, была чудесная ночь в преддверии весны, почти полнолуние, а небо в облаках, становилось то светло, то темно. На Клару то накатывала грусть, то отступала: до нее дошло известие, что Эрих Бернхаймер погиб, и теперь, когда в этом уже не было сомнений, она могла это вынести и жить с этим, ведь любовь ее была безответной, поэтому какая ей разница, жил ли Эрих где-нибудь за границей и там женился или же умер, ведь не было могилы, на которую она могла бы ходить; то, что осталось от него,— это он сам, ставший ею. Потом, много позже, прогуливаясь, она вдруг остановилась, дул восточный ветер, и она сказала: «Ветер наверняка из южной Польши, из Освенцима». Дул холодный январский ветер. Дул из Освенцима. В другой раз она сказала: «Интересно, кого бы Эрих мог взять себе в жены?» Это, естественно, означало: если он на мне не женился, то не женился бы ни на ком другом. Она говорила это не из чувства ревности, которое испытывают и к покойнику,— просто она хотела сказать, что концы с концами сошлись. Ты думаешь, меня, как всегда, понесло в сторону, нет, на этот раз я рассказываю все по порядку. Итак, Клара направлялась домой, шла неторопливо, то грустила, то не грустила, то думала об Эрихе — о ком же еще, и тут позади послышались шаги, она нисколько не испугалась, ведь она не обладала фантазией, она спокойно продолжала идти, а шаги все приближались, и вдруг около нее оказался мужчина, солдат, он стал что-то говорить, но недолго, у него не было времени на разговоры, он обнял ее, и она не уклонилась от его объятий, ничего, кроме удивления, при этом не испытывая: ведь впервые мужчина так себя вел с нею, она всегда и всех отпу-

[1] «Пути-перепутья» — название известного романа Теодора Фонтане.

гивала, выставляя свои острые локти, как пики, но сейчас у нее не было ни оружия, ни щита, она предоставила незнакомцу свободу действий, когда он прижал ее к себе и поцеловал (я так полагаю, что он ее поцеловал, но Клара скорее откусила бы себе язык, чем сказала такое); во всяком случае он сделал что-то или хотел сделать что-то, что побудило Клару сказать: «Но я уродина и горбунья». И тот ответил: «Ты не уродина, а если и горбунья, так что с того?» Так сказала Клара — просто передала смысл, а текст наверняка был красочнее, потому что, когда Клара рассказывала, голос у нее изменился, ее устами говорил тот мужчина, она повторяла не его слова, а его интонацию, и я уверена, он что-то сказал про ее красивые большие карие глаза, или про ее красивые длинные руки, или про ее рот, сохранивший и теперь свою привлекательность, ты же видела? А потом (так сказала Клара) он уложил ее на траву. Вот так все и получилось. Я не сомневаюсь, что для нее этот незнакомец был как бы посланцем, понимаешь, тело чужое, а на самом деле это был Эрих, который наконец-то пришел к ней и захотел от нее ребенка. Что у тебя такой испуганный вид, разве это так уж неправдоподобно, как же еще все могло произойти, зачем бы еще Кларе (Кларе!) ложиться на траву и для чего бы еще горбатая девушка могла понадобиться незнакомому молодому человеку?

— Мне кажется, я понимаю,— отвечаю я.— А потом, что было потом?

Стефания останавливается и всматривается в темные кусты.

— Там кто-то есть? Стефания!

Мне приходится ждать, пока она в который уже раз выберется из своей отрешенности. Ее уход в страну грез совершается так же постепенно и спокойно, как и ее возвращение в этот мир. Такое бывает с конькобежцами: то они резко тормозят, да так, что изо льда искры высекают, а в другой раз, разогнавшись, катятся и катятся, пока не остановятся где-нибудь, словно их вовсе и не было на темно-зеленых ледяных просторах.

Но вот Стефания опять возвращается в этот мир и, полагая, что я в точности помню последнюю сказанную ею фразу, то есть не ее комментарий к рассказу, а последнюю фразу самого рассказа, как ни в чем не бывало продолжает: — Потом они поднялись, и он ушел, светила луна, но мужчина словно растворился, и не было слышно ничьих шагов.

Я вынуждена ее прервать: — И это тоже сказала Клара? Сказала именно так: мужчина словно растворился, и не было слышно ничьих шагов?

Мой вопрос смутил Стефанию, и она отвечает вопросом на вопрос: — А разве могло быть по-другому?

Я представляю себе, что это могло произойти совсем иначе, да, может, и произошло, но не высказываю этого вслух, я хочу дослушать ее рассказ до конца.

— А потом,— говорю я,— потом Клара забеременела?

— Да, естественно!

(Почему, собственно говоря, «естественно» — вот так, с первого раза? Но это я опять думаю про себя, не высказывая вслух.)

— Естественно. А как она к этому отнеслась?

— Как? Тоже естественно.

— Она кому-нибудь об этом сказала?

— Конечно, она сказала об этом маме, та сразу же принесла чемодан с вещами для младенца — он сохранился с того времени, когда у нее родился мертвый ребенок. Клара стирала, и гладила, и шила, давно уже она не была в таком хорошем, почти веселом состоянии. А потом она больше других была опечалена смертью ребенка.

— Мы ведь только еще на третьем месяце беременности, Стефания.

— Да, да. Так уж получилось, что это стало достоянием гласности: ведь ожидание ребенка по тем временам становилось проблемой экономической, при этом полагались специальные пособия и всякие льготы, германская мать дарила фюреру ребенка, брачного или внебрачного — это неважо; солдатом ведь мог стать с тем же успехом и законнорожденный, и незаконнорожденный, в этом и заключался истинный смысл культа матери и ребенка, но это ты и сама знаешь. Люди вели себя как обычно: сначала драли глотки, потом заговорили о другом, и только милые Каунигеры не могли утихомириться, для них Клара была солдатской потаскухой, на самом же деле они лопались от зависти: ведь дядя Вилли, старый плут, придумал отличную забаву, он сказал им, что ему известно, кто отец будущего ребенка: генерал люфтваффе, чистейшей нордической крови, отборной расы — он сказал это, чтобы напомнить Берти о ее эсэсовце, он не упускал случая уколоть ее этим, а Кларе он отвел роль душеприказчицы, и она должна была служить Берти вечным укором до самой смерти, дядя Вилли и Клара были сообщниками, их связывало странное сочетание философии с богословием, понимаешь?

Я ничего не понимаю, но делаю вид, будто понимаю, потому что не хочу, чтобы Стефания вновь оказалась на краю крыши, где она, недосягаемая, будет бродить как лунатик.

По дороге домой я тем не менее рискую задать еще один вопрос: — Стефания, а какой Клара была матерью? Я просто не в состоянии представить себе ее в этой роли.

— Какой она была? Да как все матери, поздно родившие ребенка. Что в этом может быть особенного?

В голосе Стефании слышится подчеркнутое безразличие, граничащее со злобой. Тем не менее я не перестаю расспрашивать: — А что с ней было, когда ребенок умер?

— Он умер, и все, Клара потеряла ребенка, другие потеряли что-то другое, такое было время, когда теряли, а не сохраняли.

Клара сидит на кухне, служащей столовой, у нее на носу очки в стальной оправе — так когда-то сидела ее бабушка и моя «тетя», под лампой с зеленым стеклянным абажуром, висевшей на медном кольце и на медных цепях, стол покрыт серо-зеленой клеенкой, на ней кофейная чашка без ручки. (Для меня одной и эта сойдет; кто это говорит — Клара, «тетя», бабушка?) Клара слегка наклоняется вместе со стулом вперед, она читает, но не «Католише фамилие»[1] или «Монику»[2], а ежедневную газету. Обычно она читает книги, те, что приносит из городской библиотеки, и другие, которые ей, как урок, дают прочитать молодые леваки, она читает их книги с напряжением и отвращением, но все же читает, хотя, быть может, только для того, чтобы потом заявить им: «Ничего нового тут нет, и чего вы так раскудахтались над давным-давно снесенным яйцом: господин Нильс (или Петер Нильс) говорил это еще двадцать, тридцать, сорок лет назад». Все они знают, кто такой господин Нильс и его сын Петер: легендарные фигуры, герои из левых, великомученики, а достовернейшие факты, с которыми молодежи приходится считаться, поскольку они исходят от Клары, оказываются одетыми в кольчугу истинами, от них просто отскакивают заученные фразы, зато они дружески протягивают молодым людям руки, если те задают честные вопросы и если от ответа на них зависит, как быть вопрошающему в ближайшее время. Молодые охотно вступают в беседу с Кларой, но они упрекают ее в непоследовательности: то она левее всех левых и за какую-нибудь анархическую идею готова идти на баррикады (од-

[1] «Католическая семья» *(нем.)*.

[2] Журнал для служителей католической церкви.

нажды она пошла к директору гимназии и пыталась, причем не без успеха, объяснить ему причину строптивости его учеников), то она вдруг начинает скептически смотреть на вещи и развенчивает крайне привлекательную, поверхностно усвоенную и еще не прошедшую испытание идеологию, которой они увлеклись, причем не тратит на это лишних слов, а говорит совершенно спокойно: «Эх вы, любители громких фраз, эх вы, избалованные детки богатых бюргеров, попугаи, псевдомарксисты. Да вам плевать на рабочих, вам просто хочется сыграть какую-нибудь роль, все равно какую, а рисковать вы не станете ничем, вам нужно лишь уютное гнездышко для единомышленников, это удобно, когда жаждешь самоутверждения. Вы же не знаете, каких жертв требует социализм, ничего вы не знаете». (Клара давно усвоила модную терминологию, хотя это и вызывает у нее отвращение.)

Это сказано не в бровь, а в глаз, обруганные накидываются на Клару, как свора тявкающих собак, орут на нее, высмеивают, размахивают ручищами перед ее близорукими глазами, но на следующий день являются снова. Кларе они симпатичны, она называет их «мои из библиотеки», ради них (почти только ради них) она читает ежедневно политический раздел двух газет, одной левой и одной консервативной.

В этот вечер что-то раздосадовало ее в «Тагеблат». Она решительно свертывает газету, так, что получается мухобойка, и бормочет что-то обвиняющее и осуждающее.

— Ну, Клара,— говорит Стефания,— к чему так расстраиваться, мир все равно останется таким, каков он есть.

Это одна из тех фраз, с помощью которых Клару можно привести в бешенство. Стефания знает это и хочет этого. А Клара знает, что Стефания этого хочет, но сегодня вечером она не вступает в игру. Клара говорит только: — Поздно вы пришли! — Потом зевает, не прикрыв рот рукой — тут ни возражать, ни оправдываться нечего: такая зевота подводит жирную черту под этим днем. И вот мы, согласно распоряжению, отправляемся спать.

Наутро, довольно рано, является Берти, я случайно выглядываю из окна и наблюдаю за ее «маневром» — это выглядит смешно: Берти крадется враскачку, озираясь по сторонам, словно намеревается совершить разбойничье нападение, таким способом она очень долго добирается от садовой калитки до дверей дома, там она на мгновение останавливается, потом откашливается, переминается с ноги на ногу, набирает воздух в легкие, нажимает на ручку и входит, запыхавшаяся, словно после быстрого бега, и, как при каждом своем появлении, ведет себя так, будто ей не терпится сообщить волнующую новость.

— Ты почему так рано? — спрашивает Клара. Она говорит это не дружески, а скорее деловито.— Тебе чего?

Берти ничего не требуется — только не быть одной; «папа ночью опять стучал, три раза, вот так (она стучит костяшкой пальца по столу), вот так он стучал». Она торжествующе смотрит на нас сверкающими глазами.

Клара пододвигает ей полную чашку кофе и корзиночку со свежими булочками. Берти хватает, кусает, глотает, пожирает, я наблюдаю за ней с восхищением. Диаметр пищевода у нее, наверно, такой же, как у водопроводной трубы: едва пережеванные, огромные куски без труда проскальзывают в него, Берти ест, как изголодавшаяся собака. Какая жалкая разновидность старения, невольно думаешь: а есть ли смысл так жить дальше и может ли еще иметь хоть какой-то успех метод воспитания, перенятый Кларой от дяди Вилли?

— Хочешь со мной прогуляться, Берти, и съесть порцию мороженого?

От радости она хлопает в ладоши, как ребенок-монголоид.

— Ну, подите,— говорит Клара,— только не приводи Берти ко

мне обедать, иначе она привыкнет, отведи ее назад, в дом для престарелых.

Берти тяжело и с навязчивой доверчивостью повисает у меня на руке. Несмотря на плотный завтрак, кстати для нее уже второй, она хочет мороженого. Но вдруг она меняет направление и решительно заявляет: — Хочу на кладбище, хочу побывать у бедного папы.— Я согласна и на это. Мое предложение носит откровенно корыстный характер: мне хочется услышать от Берти две-три истории из городской и семейной хроники; любопытство побуждает меня пойти на подкуп; близость Берти портит человека, рядом с нею становишься пронырливой и расчетливой, мне уже невмоготу, хочется либо отделаться от нее, либо что-нибудь из нее вытянуть.

В предобеденное время по-летнему тепло; из-за такой погоды у Берти одышка, ее не вызовешь на разговор, и я уже опасаюсь, что просчиталась, я прикидываю, какую гайку подтянуть и какой шурупчик ослабить, чтобы хоть что-нибудь шелохнулось в этом маленьком обызвествленном мозгу, в котором законсервированы зловещие факты или злобные интерпретации их. Кого боялась, кого ненавидела она больше всех? Попробуем начать с Клары. Помнит ли Берти о том, что мы уже говорили о Кларином ребенке? В какой мере ее память распространяется на настоящее?

— Берти, у Клары, между нами говоря, ведь был внебрачный ребенок.

— Откуда ты знаешь? (Значит, она забыла, что сама мне об этом рассказывала.)

— Берти, тебе наверняка об этом многое известно. Скажи, как же все получилось? Сама Клара об этом когда-нибудь рассказывала?

— Она? Так она и раскроет рот!

— Кто же тогда об этом знал?

— Мой папа.

— То есть как? Он же не присутствовал при этом, как он мог знать, если Клара ничего не рассказывала?

Берти попала в мышеловку, но что это за мышеловка, если попавшая в нее мышь не осознает этого? Мгновение она насторожена, но потом кто-то словно подсказывает ей разумную, сдобренную иронией фразу: — А разве не могло оказаться свидетелей — ведь Клара и тот мужчина были, наверно, не единственной парочкой ночью в парке, как ты думаешь?

— Значит,— говорю я,— эти свидетели узнали мужчину? Он был здешний?

— Нет.

— Вот видишь.

Но Берти упорно стоит на своем: — А мой папа все равно знал, как оно было. А может, тот мужчина приходил еще раз и разговаривал с папой.

Она смотрит на меня с торжествующим видом, и я иду ей навстречу: — Да, так вполне могло быть. А твой папа не говорил, мужчина не сказал ему, кто он?

Поскольку Берти лишена воображения, возможно, тут что-то есть, если только дядя Вилли, как утверждала Стефания, действительно не позволил себе веселой шутки.

— И кто же он был, этот мужчина, Берти?

— Генерал люфтваффе, дворянин, высокий и светловолосый, нордической расы.

— Это ты мне уже как-то говорила, Берти.

— Чего же ты тогда спрашиваешь?

— Что еще твой папа рассказывал?

— Ах, не приставай ко мне.

— Значит, больше ты ничего не знаешь? Маловато. (Я играю на

ее забавном и скандальном тщеславии, из-за которого ей хочется быть в курсе всех сплетен.)

— Ну ясно, я знаю не только это.

— Тогда расскажи.

— Папа говорил, ему всегда из Клариного гороскопа было известно, что однажды явится какой-нибудь князь или принц и захочет жениться на Кларе, но что (остальное она излагает высокопарнейшим, торжественнейшим литературным языком)... но что судьба, уготовившая ему смерть на поле брани, разлучит их.— Берти, разумеется, говорит «на славном поле брани». Больше от нее ничего не добьешься. Я полагаю, дядя Вилли получал несказанное удовольствие, преподнося своей завистливо-злобной семейке такую развесистую клюкву: высокий и светловолосый, дворянского происхождения, нордической расы, генерал люфтваффе, да к тому же смерть на поле брани — непревзойденный идеал тех времен. И именно горбатой Кларе выпала игральная кость с максимальным числом очков, именно Клара выиграла! Ничем дядя Вилли не мог сильнее уязвить своих, чем этими россказнями.

— Чего смеешься? — спрашивает Берти.

— Пойдем,— говорю я,— пойдем есть мороженое.

Но Берти желает во что бы то ни стало навестить «бедного доброго папу». Большой букет ярко-рыжих георгин все еще лежит, он, правда, немного завял от жары, но по-прежнему выглядит вызывающе роскошным. Другие венки и букеты, оставшиеся после похорон, уже совсем не имеют вида, скандально-рыжий букет затмил их. Берти в растерянности, она наклоняется над букетом, ковыряет в нем пальцем, качает головой, отчего желтая соломенная шляпка сползает ей на лоб и на глаза, так что она вынуждена выпрямиться.

— Этот букет от тебя? — спрашивает она меня.

— О нет, не от меня.

— От кого же тогда?

— Откуда я знаю?

— Так,— говорит она,— значит, от той, что рассчитывает заграбастать наследство, от мошенницы, но она за это поплатится.

Я так и не узнаю, кого Берти имеет в виду, я только вижу, что ее бьет дрожь, щеки трясутся от гнева, лицо стало темно-бордовым — того гляди, ее хватит удар. Я оттаскиваю Берти от этого дьявольского букета георгин.— Пошли есть мороженое!

Мне удается оттащить ее, но она идет, упираясь и оборачиваясь, она бормочет что-то злобное, я и не пытаюсь разобрать, что именно, достаточно того, что я должна поддерживать ее, тащить, подталкивать. Но вдруг она останавливается, совсем как упрямое вьючное животное, так внезапно и так неожиданно, что мы обе чуть не падаем. Прямо перед нами могила господина Нильса.— Они ее тебе уже показывали?

— Конечно, Берти, ну пошли же!

Она упирается, стараясь оттолкнуть меня, получается какая-то нелепая возня, так мы с места не сдвинемся, впечатление такое, словно мы повисли на невидимом проволочном заграждении.

— Внимательно присмотрись к камню,— говорит Берти,— ты ничего не замечаешь?

— А что я должна заметить?

— Значит, тебе не бросается в глаза, что памятник без креста?

— Да, да, ну пошли.

— А тебе не интересно узнать, почему всюду кресты есть и только на могиле господина Нильса креста нет?

— Меня это не интересует.

— Не может быть, чтобы тебя это не интересовало.

Ох уж эта Берти с ее примитивной хитростью, расчет ее верен, но я отказываюсь продолжать игру, я резко отдергиваю руку, и вот Берти останавливается и стоит, как манекен, а я расхаживаю взад и впе-

ред, делая вид, будто читаю имена на могильных плитах. Но голос Берти преследует меня: — Вон посмотри, там крест, и там, и везде, только здесь его нет, ну, что ты скажешь на это? — Она заинтриговывает меня, потирая при этом свои жирные, в старческих пятнах руки, кожа, покрытая цыпками, отвратительно шуршит, и это — издевка над моей страстью к информации, которая то ли будет удовлетворена, то ли нет.

— Ну? — спрашивает она наконец.

— Говори уж, а то лопнешь.

Она выпаливает, словно выстреливает дробью: — Господин Нильс был масоном.

— Вот как? А что это такое?

— Ты не знаешь? Масоны — это люди, которые в бога не верят, церковь ненавидят, священников презирают, всю власть в своих руках держат, с евреями якшаются и мировую опасность собой представляют.

Наизусть заученная фраза сорокалетней давности.

— Ага,— говорю я,— значит, господин Нильс ненавидел церковь и священников, странно только, что он так старался, чтобы приходскую церковь поскорее восстановили.

— Ха-ха, в том-то и штука, что они делают добрые дела только для вида и напоказ, чтоб их труднее было раскусить, а тайком творят зло, засели во всех правительствах, завладели всеми банками и газетами, вдобавок многие из них еще и евреи.

— Берти, Берти, в какое время ты живешь? Ты многому научилась от своего фюрера и ничего не позабыла, это, конечно, достойно всяческого уважения. Берти, я больше не могу тебя выносить, ступай домой.

Я ухожу, но тотчас вспоминаю, что Берти больна, что под ее трясущейся плотью сокрыта система закупоренных известью трубок, через которые никакая новая информация не просачивается в мозг, в эту окаменелость, навечно сохранившую отпечатки зловещих лжеучений. Я волей-неволей поворачиваю обратно. Берти все стоит на том же самом месте.— Пошли, я провожу тебя.

— В приют?

От одного этого слова ей становится плохо, не хочет она в приют.— Это не приют, это тюрьма,— говорит она,— там тебе кидают еду на стол, как корове корм, еда скверная, да еще эти ночные стуки, нет, я туда не вернусь.

— Берти, будь благоразумна, сейчас пойдем, а потом решим, что делать дальше; ведь в один миг ничего изменить нельзя, пошли, а то я оставлю тебя здесь одну.

Берти берет меня под руку, она виснет на мне, как куль, набитый тряпьем и соломой, она цепляется за меня, потеет так, что рука моя становится мокрой, она насквозь пропахла холодным пòтом, она оплывает и оседает в нарастающей жаре, сейчас так жарко, как бывает в самое жаркое время года, только бы мне дотащить ее до дома для престарелых, пока ее не хватил удар. Расстоянию, которое можно было бы преодолеть за десять минут, нет конца, оно вне времени и вне реальности, улицы пусты; Берти делается все тяжелее, а у меня все меньше сил, чтобы поддерживать ее, в моем мозгу возникают странные картины — лихорадочные, бредовые: мы с Берти уже не на этом свете, мы мертвые, мы незаметно переступили границу — разве мы идем не с кладбища? Может, мы одновременно скончались вследствие несчастного случая или от теплового удара? Ведь мертвым не сразу становится известно, что они мертвы,— так утверждают сторонники оккультизма, а разве от нас не исходит запах увядания и тления, и разве от Берти не пахнет смертным пòтом, и вот мы с нею идем, два мертвеца, Берти не знает, что она мертва, а я догадываюсь об этом, и я расплачиваюсь за все грехи моей жизни, потому мне и приходится тащить на себе это злополучное чудище, кто знает, как долго, вечно.

Или все иначе: рядом со мной не Берти, а кошмарное видение в ночном сне, мною самой призванный демон, я пытаюсь изгнать беса, творю крестное знамение, но кошмарное видение сердито говорит голосом Берти: — Что ты делаешь? Чего ты размахиваешь руками перед моим лицом? — Или самое худшее из всех подозрений: та, что вцепилась мне в руку, это я сама, мое худшее «я», моя тень. Но эту мысль я решительно отгоняю от себя. Или еще (что за утешительная выдумка): этот куль — призрак города, его зловредный дух, я его легкомысленно призвала, я его растревожила моими бесконечными расспросами, я слишком далеко зашла в моей любознательности, и теперь мне никак от этого зловредного духа не избавиться.

Но ведь это же Берти, это ее я тащу, подпираю, волоку, подталкиваю, поддерживаю, подгоняю,— Берти, взмокшая от пота, отекшая, пыхтящая, жалкая в своем падении, придавленная возрастом, но человек, все еще человек, женщина с судьбой, в которой она повинна только наполовину, только на четверть, только на сотую долю, с судьбой, отбросившей ее на самое дно, к вышвырнутым из жизни, к давно отжившим, чья смерть официально устанавливается, но никого не волнует, даже не воспринимается как облегчение. Значит, Берти Каунигер умерла, а я-то думала, что она давно уже покойница, собственно говоря, кто она такая? Бедная, глупая, старая Берти, выросшая в сумеречном кафе, в средоточии сплетен и обжорства, зажатая, как в тисках, между разжиревшей, загребающей деньги, прелюбодействующей матерью, подлым, корыстолюбивым кондитером Карлом и всех их презирающим отцом, прикованная, словно каторжник к соседу по галере, к своей сестре-близняшке, потом приученная в школе к подсказкам, списыванию, вранью, к подкупу учителей, напичканная догмами, сформулированными на гитлеровском диалекте, не удостоенная даже взглядом втайне обожаемого еврея Эриха Бернхаймера, совращенная первым попавшимся соблазнителем, случайно соответствовавшим идеалу «господствующей нордической расы», первым мужчиной, который безотлагательно, но ненадолго возжелал это до скуки пухлое тело, забеременевшая и охваченная убийственным страхом позора и поругания, которому ее подвергнет мнимо благочестивое население города, заведенная в тупик невозможностью аборта в те времена (аборт карался смертной казнью), тайком родившая по приказу матери, спрятавшая ненавистного всем ребенка, тайком совершившая, по наущению матери и по причине собственной беспомощности, медленное убийство этого ребенка, вовлеченная в судебный процесс по делу о клевете, признанная виновной, откупившаяся от наказания деньгами матери, ставшая всеобщим посмешищем и предметом всеобщего презрения, благополучно пережившая бомбежки, просто-напросто позабытая судьбой, так что надолго затянувшийся остаток ее жизни был равносилен для нее хождению незрячего по дорогам непонятного, неумолимому, неудержимому окаменению, смерти в рассрочку. Разве так должно было быть? А куда же девались тогда свобода, человеческое достоинство, милосердие? Я задаю вопросы, которых Берти никогда не задавала и никогда не задаст. Я спрашиваю об этом суд, приговоривший ее, я становлюсь то адвокатом Берти, то ее судьей, я выношу ей оправдательный приговор, обоснование которого ясно и понятно: признать невиновной из-за принуждения судьбой, которая уготовила ей жить в это время, в этом городе, в этой семье, не дав ей силы для сопротивления. Кто против такого приговора, кто ропщет? Я что-то рисую на песке, а когда снова поднимаю голову, никакого судилища уже нет, никакого свидетеля противной стороны, никакой издевающейся публики. Берти Каунигер, вы свободны, вы можете идти. Мне самой становится легче: я ведь и себя оправдала, я уже неповинна в заносчивости, жестокости, самоуверенности. Что же до Берти, то я, право, не знаю, не будет ли мой справедливый приговор оспариваться в другом месте, но это уже не мое дело.

Мы идем и идем, поворачиваем за изгородь и вдруг оказываемся перед тыльной стороной дома для престарелых; хождение по пустыне окончилось. Довольно покаяний. Я хочу втолкнуть Берти в заднюю дверь, которая открыта, но она говорит: — Нет, это запрещено, нам надо всегда входить и выходить через ворота, это контролируется.

Все же я втаскиваю ее в эту дверь — от усталости она не сопротивляется; мы в подвале, я нахожу лестницу и незаметно провожу Берти в комнату, она валится на кровать, я снимаю с нее туфли, расстегиваю блузку (на ней рваное, грязное белье), кладу ей на лоб и грудь влажные полотенца (какая ужасающе желтая грудь), опрыскиваю ее одеколоном, и она засыпает; мне, собственно, можно уйти, но я сажусь на один из двух стульев — это дачные стулья, железные, с переплетениями из зеленого пластика, дешевые и отвратительные,— оглядываю комнату, она производит самое убогое впечатление: стол с серой пятнистой клеенкой, гардероб, который не закрывается, ночная тумбочка с крохотным ночником и коробкой, переполненной всякими медицинскими снадобьями, пузырьками и пакетиками, на подоконнике маленький жестяной поднос с треснувшей чашкой, тарелкой и стеклянной банкой из-под джема, полной сахара; в нише — умывальник, над кроватью — распятие, купленное в лавочке, где по дешевке продают церковную утварь, под ним — фарфоровая кропильница розово-золотистого цвета, и надо всем и во всем — пронзительный запах противоревматической мази и французской водки, употребляемой для растираний. Мир Берти, преддверие могилы. Но одного я не понимаю: Каунигеры — не бедняки, тем более если дяде Вилли удалось найти спрятанные деньги, почему же тогда такое убожество, или история со шкатулкой, набитой деньгами, была всего лишь одной из его хитрых выдумок, или под конец им овладела алчность старого склеротика?

Я сижу и сижу, и вот я уже попалась в паутину — запуталась в сентиментальности, сострадании, тоске, отвращении и чувстве протеста. Я выхожу в коридор. И тут мне приходит в голову, что в этом доме живет мать Георга Мака. Мне хочется ее навестить, да, сейчас же, безотлагательно. Я хочу спросить у кого-нибудь, где она живет, но никого не вижу, в этот час дом словно вымер, я спускаюсь этажом ниже и возле главного входа, у раздвижного окна, наталкиваюсь на монашку средних лет с румяным от жизни на свежем воздухе лицом здоровой крестьянки, с глазами, голубизна которых словно заледенела,— ее глаза можно принять за стеклянные.

— Как это вы сюда попали? — спрашивает она строго. Я кратко объясняю ей суть дела.— Так,— говорит она,— значит, вы — родственница фрейлейн Каунигер, но я вас не знаю, вы здесь никогда не бывали, я знаю только фрейлейн Клару.

Она осматривает меня пронизывающим взглядом, словно таможенный чиновник: сейчас потребует мой заграничный паспорт и заставит заполнить таможенную декларацию да еще уплатить штраф за недозволенное вторжение через заднюю дверь.

— Сестра,— говорю я, но она меня сразу перебивает: — Я мать настоятельница, а сегодня я заменяю сестру привратницу.

Она говорит это как зажиточная крестьянка, которую случайно застали за выгребанием навоза из хлева и которая считает это унизительным для своего достоинства.

— Мать настоятельница, это очень кстати, что я могу поговорить с вами. Я была в комнате моей родственницы, она нищенская, разве финансовое положение фрейлейн Каунигер таково, что...

— Комната как у всех, в ней есть все необходимое, а если бы вещей было больше, это затрудняло бы уборку, у нас не хватает обслуживающего персонала, наши старожилы, как правило, неопрятны, они собирают всякий хлам; кроме того, наличие лишних вещей представляет собой угрозу для их безопасности, так как у них часто бывают

кровоизлияния в мозг или же они плохо видят, некоторые из них даже совсем слепы, это может привести к травмам, полученным из-за того, что у них под ногами ненужные предметы.

Она говорит, глядя в потолок, словно произносимые ею слова написаны там, наверху.

— Да,— говорю я,— это я понимаю (к сожалению, это я действительно понимаю), спасибо за разъяснение, но вы так и не ответили мне на вопрос о финансовом положении моих родственников. Я его еще раз повторяю, так как мне бы хотелось, если денег не хватает, кое-что вручить вам.

— Покойный господин Каунигер оставил нам сумму, которая обеспечивает содержание его дочери в течение десяти лет. Если же она умрет раньше, остаток суммы достанется дому для престарелых.

Значит, дядя Вилли отпустил своей дочери еще десять лет жизни — видимо, согласно гороскопу, десять лет растянутой агонии, предопределенного упадка, без возможности воспользоваться предоставленным ей временем.

— А если она проживет дольше?

— Дольше она не проживет.

Это сказано коротко и ясно, судьба Берти, таким образом, решена.

— Долголетие современного человека,— говорит настоятельница,— трудная проблема для домов, где живут престарелые, как городских, так и церковных.

Иными словами, хорошо бы, если бы эта Берти Каунигер поскорее умерла, если бы эти престарелые не жили до отчаяния долго, нам нужны комнаты для новых жильцов, более молодых, и вообще — к чему искусственно продлевать эти жизни, ведь они сводятся к серому убожеству, к неудержимому увязанию в грязи собственного распада.

Настоятельница вздыхает. За этот вздох ей, быть может, простится то, что она втайне — исключительно втайне — думает иногда про себя: Гитлер, пожалуй, был до известной степени прав, когда ввел эвтаназию,— безболезненная смерть лучше, чем такое жалкое старение. На следующей исповеди она наверняка признается в промелькнувшей у нее мысли, но от этой мысли никуда не денешься, как никуда не денешься от дьявола. Водянисто-голубая суровость ее глаз понятна — очень многое, слишком многое понятно в нашем мире.

— Скажите, пожалуйста, где живет фрау Мак?

— Комната сто два, но фрау Мак глухая, разговаривать с ней невозможно, к тому же в это время посетители не допускаются, сейчас будут развозить еду, и жильцам нельзя мешать.

— Хорошо, тогда я только взгляну на фрейлейн Каунигер.— Это разрешается. Берти спит крепко, она храпит, я меняю влажные компрессы, и она даже не просыпается. Еще десять лет ты будешь носить бремя этого тела, бедная Берти,— только для чего, для чего?

В коридорах девушки развозят тележки с едой. Как быстро это делается: остановка перед дверью, крышка с кастрюли снимается, половник опускается в кастрюлю, кучка овощей выбрасывается на тарелку, самую верхнюю в стопке, тарелка ставится на жестяной поднос, к овощам добавляются кусочек мяса, картошка, стеклянная миска со сливовым компотом; поднос, тоже самый верхний в стопке, берется в руки, локтем открывается дверь, поднос вносится, ставится на стол, машинально, брошенное мимоходом пожелание приятного аппетита, дверь захлопывается, надо идти дальше, надо спешить, обитатели дома для престарелых ждут, они сердятся, если им приходится ждать; девушки (труд их оплачивается крайне низко) торопятся, чтобы поскорее освободиться: ведь старым людям требуется много времени для приема пищи, а надо еще вымыть посуду, на это, даже если есть посудомоечная машина, уходит время.

Вот и сидят двести или триста стариков, каждый наедине с самим собой, в своей клетке — исключение составляют несколько супруже-

ских пар; перед каждым миска с кормом, каждый может есть, как ему нравится: чавкать, чмокать, пускать слюни, рыгать, вынимать и класть рядом с собой на стол вставную челюсть, если она чересчур жмет или, наоборот, плохо держится, несъедобное выбрасывать за окно крысам, бездомным собакам, кошкам; потом в двух- или трехстах животах начинается ставший мучительным процесс пищеварения, вялая перистальтика кишок, дурно пахнущие газы, тяжелый послеобеденный сон, безрадостное пробуждение, слабая надежда, что кто-нибудь придет навестить, хождение в часовню при доме,, слабое утешение от веры в кого-то; потом вечерняя прогулка в саду, традиционный обмен жалобами на то, что сердце сдает, разговоры о расширении вен, о распухших ногах, вздутых животах, о недоброжелательности, черствости дочерей, сыновей и внуков, которые совсем не приходят и только ждут своей доли в пустячном наследстве, потом ужин, может быть, со стаканчиком пива или лекарственного чая, снотворное, выпрошенное у врача против воли настоятельницы, потом, слава богу, телевизор, пока еще хоть что-то можешь и хочешь видеть, а после всего этого — ночь, бессонная для тех, кому не дали снотворного, появление призраков из щели между стеной и кроватью: если бы я тогда не... если бы я тогда по-другому... зачем я так поступила, почему я не сделала того-то и того-то, почему я вдруг очутилась здесь, почему дети не оставили меня жить вместе с собой, со мной у них не было бы хлопот, я могла бы еще кое в чем помогать им, надо надеяться, что государство не урежет пенсию, иначе это скажется на нашем питании, никто не думает принести мне фрукты, приносят только цветы, а они сразу же увядают, для них и подходящей вазы нет, настоятельница ругается, я боюсь ее, у нее такие суровые глаза, ревматизм мой обостряется, откуда-то дует, но откуда, одеяло давит или это астма, мне так тяжело, наверное, этой ночью я умру, и звонка нет, до сих пор они не провели нам звонки, у них, видите ли, нет на это денег, я умру одна, как собака в лесу, боже мой, помоги хоть ты, кто-то зовет кого-то в коридоре, нет, показалось, о, мой мочевой пузырь, мочевой пузырь, мне больше ничего нельзя пить вечером, я слишком устала, чтобы подняться с кровати; если бы только у меня был ночной горшок, они не разрешают, кто будет его выносить, говорят они, беготня с полными ночными горшками по дому — это мерзость, да, конечно, но что поделаешь, придется встать, туалеты так далеко, хоть бы мне никто не встретился по дороге, хоть бы я смогла умереть, вы, души несчастных, помогите. Конец жизни, сбор урожая — вздох, отзывающийся по всему дому, но кто услышит его, кто, кроме тех, которые его испускают, а уж те-то знают, что никто его не услышит, разве только этот вздох пробьется сквозь звукопоглощающую стену, отгораживающую эту землю от неба, и будет услышан там снаружи, наверху.

За мной вниз по лестнице в облаке из ароматов капусты и постельных испарений, запахов воска для натирки полов и французской водки, предназначенной для растираний, следует мрачный призрак, прячущий голову в этом облаке,— он не хочет, чтобы видели, что у него череп мертвеца, который как бы ухмыляется отвисшей челюстью, давая мне понять, что я сама породила его моим опрометчивым вопросом, не будет ли моя собственная старость такой же, как у тех, кто там, внутри.

Я устремляюсь к выходу, мать настоятельница кивает мне, может быть, хочет что-то сказать, но я не хочу ничего слышать, мне только бы вырваться за ворота, на волю, я бегу по ухоженному саду так, что гравий под ногами разлетается во все стороны, я останавливаюсь только на другой стороне улицы, откуда дом для престарелых уже не виден, чувствую, что спасена; видимо, призрак боится уличного движения, это домашний призрак, приютский призрак.

Клара, поджидавшая меня, спрашивает:— Где ты была так долго?

Она говорит это с ударением, так, будто тычет в меня острием но-

жа, которым режет мясо. Она требует от меня полного отчета о том, что было до обеда, и спокойно выслушивает мои жалобы на дом для престарелых.

— Сейчас в городе строится новый дом,— говорит она,— значительно дальше от центра, в зеленом массиве, там будет больше удобств, но это будет стоить дороже, кто сможет себе позволить такое; у тех, кто живет в старом доме, пенсии хватает лишь на то, что им дают, многие из стариков и старух за всю свою жизнь никогда не жили так хорошо, и уже сейчас они говорят, что новый дом расположен слишком далеко, в пригороде, в зеленом массиве, да, но к чему большинству из них эта зелень, им хочется бывать в городе, смотреть на людей, ходить в церковь, вот попробуй угодить им.

— Да, да,— говорю я,— словом, в нашем обществе лучше не стареть.

— Так ведь это и не обязательно,— подхватывает она, и в ее голосе слышится нотка торжества,— можно устроиться иначе.

— Знаешь ли ты — ну, конечно, ты знаешь,— что дядя Вилли заплатил за Берти на десять лет вперед.

— Хм, дядя Вилли рассчитывал, что она проживет лет пять, не больше, но даже самый лучший астролог может ошибиться в определении даты смерти, поэтому я заплатила за десять лет вперед,— так оно верней.

Она смеется своим будто из погреба доносящимся смехом, это никогда не означало, что она приглашает посмеяться вместе с ней, наоборот, такое ощущение, будто она смеется над тем, что только она одна может понять и найти смешным, будто от этого смеха перед твоим носом захлопывается дверь.

— Дядя Вилли и тебе что-нибудь предсказал, Клара?

— Конечно, многое, в том числе и сколько лет я проживу, однако он добавил при этом: «Не верь мне, Клара, я лгу, просто мне хочется поскорее встретиться там с тобой, с кем же иначе я буду разговаривать, все прочие чересчур глупы». Чего он только не сочинял, дядя Вилли, даже я порой попадала впросак с его историями. Как-нибудь расскажу тебе, какую несусветную чушь он преподнес своей милой семейке насчет отца моего ребенка. Впрочем, не сомневаюсь, кто-нибудь тебя уже проинформировал об этом. Но правду знаю только я, и я тебе ее расскажу, потому что ты умеешь понимать иронию судьбы. А теперь надо поесть, сейчас придет Стефания, она все еще причесывается, она часто причесывается, точь-в-точь как мама, без конца — то волосы щеткой приглаживает, то взбивает, сверху вниз и снизу вверх, укладывает их то так, то эдак, а в конце концов получается та же прическа, что у мамы: у них обеих одинаково красивые волосы.

Когда, наконец, Стефания спускается вниз, волосы у нее заплетены в толстую косу, которая переброшена на грудь через левое плечо.

— Как душно,— говорит она извиняющимся тоном,— узел такой тяжелый, и от него затылку жарко.

— Да, да,— поддакивает Клара,— смотри только, чтобы коса в суп не попала.

— Мы были на кладбище, Берти и я, видели могилу господина Нильса. Берти открыла мне тайну: господин Нильс был масоном. Это правда?

— Он входил в масонскую ложу, но я никак не могла понять, какой это имело для него смысл, он ведь не был атеистом и не питал ненависти к церкви, он многое критиковал, это верно, но он молился вместе с Петером, когда тот был ребенком.

— Только странные то были молитвы,— говорит Клара словно про себя.

— Да, очень странные,— подтверждает Стефания,— он их сам сочинял, а однажды очень рассердился на Петера, когда тот сказал, что религия не что иное, как попытка несчастного человечества перело-

жить осуществление своих чаяний на плечи всемогущего отца, который-де все может сделать,— с людей, таким образом, снимается обязанность политической активности, и это разумно, пока сознание человека отличается незрелостью, но это становится неразумным с того момента, когда люди созревают для сознательной политической деятельности, тогда нужно отвергать бога и всякую религию, противостоять им. Когда он это сказал, отец строго поглядел на него и заметил: «Петер, Петер, если ты начнешь так рассуждать, ты погибнешь для людей, своего Маркса ты не понял, ты болтаешь, как глупейший материалист». Тут они сцепились, это был единственный раз, когда между ними разгорелся жаркий спор. Позже Петер понял отца.

— Ты больше не будешь есть? — спрашивает Клара.

Стефания говорит, что она не голодна, но ей хотелось бы выпить крепкого кофе.

Клара отставляет полупустую тарелку и начинает варить кофе. Стефания накрывает Кларину тарелку другой, чтобы еда не остыла. Крохотные знаки внимания. И все же соединяющий их мостик очень хрупок: одно неудачно брошенное слово, намек на то, что считается табу,— и на какое-то время по этому мостику уже нельзя ходить.

— Ты и в самом деле хочешь после обеда еще раз сходить в дом для престарелых? — спрашивает меня Стефания.

— Да, наверно.

— А может быть, ты поедешь со мной?

— С тобой? Куда?

— К маме на могилу, в деревню. Я наняла машину.

— Ты сама водишь?

— За рулем она не рассеянна,— говорит Клара,— и к тому же едет не спеша, она еще в Англии привыкла к осторожной езде.

— А ты, Клара?

— А у меня мои «библиотечные дети».

Стефания за рулем, на голове развевается тонкий шарф серого шелка — такая важная дама, собственно, к ее облику больше подошел бы старинный «роллс-ройс» с высокими колесами, баранку она крутит играючи, едет спокойно и уверенно, хотя я подозреваю, что она все же не так сосредоточенна, как полагает Клара. Мы уже миновали все еще дышащий зноем город и едем по сельской местности — то поднимаемся на холм, то спускаемся с холма, холмы с пасущимися на них коровами, холмы с полями уже убранной пшеницы, холмы с уже возделанной пашней; с одной стороны фиолетовые пласты земли, с другой — коричневые, дорогу окаймляют кусты рябины с ослепительно красными гроздьями, а сентябрьское небо сверкает голубизной, все это еще есть, все это осталось со времен нашего детства, меня вдруг охватывает тоска по родному, по чему-то, что вовсе не было таким прекрасным, когда оно было моим. Мы едем опустив стекла, ветер затрудняет разговор, но нам совсем не до разговора, со Стефанией хорошо помолчать.

Деревня, которую мы проезжаем,— настоящая крестьянская, и кладбище тоже настоящее крестьянское — старые, покосившиеся от ветра железные кресты и жестяные венки, скорбящие мраморные ангелы на детских могилах, источенные непогодой могильные камни со множеством надписей, сохранившихся с прошлого столетия, но уже малоразборчивых, новые надгробья с эмалевыми портретами умерших в виде медальонов, все ярко и пышно и повсюду выращенные крестьянами подсолнухи, астры, шиповник, а через кладбищенскую стену перекинулся дикий виноград, зеленое вперемежку с бургундским красным, настоящий крестьянский сад, веселый островок, олицетворяющий примирение с небытием.

— Вон там она лежит,— говорит Стефания. Бело-серая мраморная плита вмурована в кладбищенскую стену. Стефании приходится

поднять завитки дикого винограда, как поднимают занавес, чтобы можно было прочесть надпись. Вильгельмина Мартин. И больше ничего. Только Мина, без дат рождения и смерти, Мина вне времени — так хотела Стефания.

— Но разве твоя мать не носила фамилию мужа, разве здесь не должно быть выбито: Вильгельмина фон Радвиц?

— Она ею никогда не была,— отвечает Стефания.

— Как, разве она не была замужем за судьей? Ведь его звали фон Радвиц.

Стефанию раздражает моя глупость — к чему употреблять ничего не значащие слова?

— Этот фон Радвиц никогда не существовал,— говорит она.

Я не возражаю, но на меня находит легкое сомнение, сначала оно касается сознания Стефании, а потом — моего собственного. Как же тогда факты? Разве они потеряли цену? Это сомнение, как снег и как пепел, падает на все, что мне приходит на память,— прохладный снег, мягкий серый пепел, кому мешает, что, по мнению Стефании, этот фон Радвиц не существовал, разве он для меня существовал, разве для кого-нибудь он существовал, выходит, что Стефания права. Однако чуть позже самой Стефании придется признать его существование — только в виде призрака, безголового, но с горшком розовых гиацинтов в руке, а позже — слепого и парализованного, медленно умирающего, совершенно отощавшего, похожего на скелет пришельца. А то, что от него жена забеременела,— это тоже из области фантазии?

— Почему на камне не обозначено имя ребенка?

— Какого ребенка? Ах, того, мертворожденного, он похоронен там, где хоронят детей.

Мертворожденный ребенок. Плод насилия над собой, плод супружеской измены, на которую Мина пошла с судьей, хотя она никогда никого не любила, кроме Флекмана. Мертворожденный ребенок — я усматриваю в этом логику судьбы: ребенок, зачатый призраком, не мог жить, то было маленькое привиденьице, то была ошибка природы, он никогда не существовал.

А что это за горшок розовых гиацинтов, который претендует на столь значительную долю реальности среди сплошного тумана недостоверностей?

— Однажды, совсем не подготовленные, мы столкнулись с этим отвратительным горшком с гиацинтами, он вдруг очутился на нашем столе, в комнате бабушки, где мы бывали только по праздникам, и вот на столе, покрытом кружевной скатертью, появился горшок с розовыми гиацинтами, а на софе восседал наш постоялец, тогда асессор участкового суда, в черном костюме, а рядом с ним, на некотором расстоянии,— мама. Бабушка принесла бокалы для вина, хотя наш постоялец всегда был трезвенником, она разлила вино, нам налила тоже, а постоялец сказал: «Выпейте за здоровье помолвленных». Помолвленные — это были он и мама. Клара спросила: «Что все это значит?» Постоялец ответил: «Это значит, что у вас наконец (он поправился и сказал: «Наконец снова») будет отец, что в этом доме воцарится порядок, что вы получите достойное христиан воспитание, что моя жена сможет жить соответственно своему общественному положению». Тогда Клара сказала незабываемые слова: «Никакой отец нам не нужен, в этом доме есть порядок, жить соответственно нашему общественному положению мы можем и без вас — и уже давно, короче говоря, вы мне не по душе». С этими словами она вышла.

— А ты, Стефания?

— Я видела мамины глаза, они молили меня, почти бесстыдно умоляли о сострадании. Тогда я взяла бокал и сказала: «Ну ладно, если уж чему быть, того не миновать, выпьем за здоровье помолвленных». Я осушила бокал одним глотком, и мне, конечно, стало плохо,

мне пришлось выйти за дверь. Розовые гиацинты стояли на столе только до вечера, потом горшок упал на пол и разбился. Клара поймала кошку и заставила ее прыгнуть через стол, вот она и столкнула горшок на пол, и мы со спокойной совестью могли сказать: «Это сделала кошка, честное слово». Таким образом, был устранен горшок, но не свадьба и не замужество. Свадьбу они справили незаметно — отправились в какое-то паломничество, а вернулись уже мужем и женой. Как следствие этого в спальне появилась новая мебель, она была ужасная, это было как нашествие динозавров, они чуть было не разрушили дом, одна дверь сорвалась с петель, мебель пахла свежим столярным лаком, во всем доме стоял запах склада, где хранятся свежевыкрашенные гробы, слава богу, скоро судья переехал с мамой в дом, унаследованный им от какого-то дяди, тот дом разбомбили, и мебель сгорела, и Берти об этом жалела, она с удовольствием получила бы ее в наследство.

— Как же ваша мама перенесла этот брак?

— Да никак.

— То есть?

— Она его просто игнорировала.

— Как же ей это удавалось?

— Она словно бы отсутствовала, она не принимала брак во внимание, но это пришло к ней не сразу, вначале она очень страдала — много позже она говорила мне об этом. Она вышла замуж в двадцать втором году, Флекмана тогда объявили без вести пропавшим, она не верила этому, но нужда была слишком велика, надо было что-то делать, как-то кормить нас: ведь у нашего отца не было ни пфеннига, он умер и не оставил ничего, вот она и вышла замуж за судью, а потом вернулся Флекман, и она сбежала от своего судьи, но Флекман отослал ее обратно: он был совсем беден, и у него было чувство долга и чести, маму он любил — он ведь так и не женился и не заводил других любовных связей, сколько бы ему их ни приписывали, однако принять к себе в дом замужнюю женщину он отказался.

— Может, у него уже тогда были честолюбивые замыслы и он не мог позволить себе никакого скандала?

Стефания словно не слышит. Она продолжает рассказывать: — Через пять лет бабушка стала вязать вещи для маленького, мама тогда жила уже в другом доме, и Клара сказала: «Этого нам еще только не хватало». Ночью, когда никто не видел, мы распускали вязанье и перепутывали клубки шерсти, но что толку — бабушка молча продолжала вязать, она вязала и вязала, и Клара сказала: «Она вяжет пуповину, ничего, пуповина еще обмотается вокруг его шеи», вот что сорвалось у Клары с языка, только это не значит, что она так думала, Клара никогда не была злой, и все-таки страшно даже сказать: ребенок родился мертвый, а Клара плакала потом неделями. Но мы вместе с тем и радовались: раз ребенок родился мертвый — это значит, судьба покарала судью, а не маму.

— То есть как это?

— И ты еще спрашиваешь! Он воспользовался маминым бедственным положением и принудил ее к браку, хотя знал, что она любит другого, разве это не означает, что он соблазнил ее, склонил к измене?

— Но она ведь могла сказать и «нет», а сказала «да», иными словами, вышла замуж, чтобы дать вам обеспеченную жизнь, не так ли?

Этого мне не следовало говорить, я знала, что этого мне не надо было говорить, но я тем не менее сказала — по примеру Клары: ведь она тоже упорно отстаивала правильную оценку событий. Стефания разгневана, она даже белеет от безмолвного гнева, и этот ее гнев мгновенно обледеневает, как замерзает водопад на ледяном ветру, он застывает. Надо подождать, пока настанет оттепель.

Бросив меня на произвол судьбы, Стефания переходит от одного ряда могил к другому. Что ж, я тоже отправляюсь своим путем, в ином направлении, там я нахожу других Мартинов, похороненных рядом. Но где же мертворожденный ребенок? Среди детских могил одна — безымянная и заброшенная, жалкое подобие памятника, растрескавшийся камень, уже наполовину провалившийся в землю. Я пропалываю сорняки, срываю на лугу за кладбищем целую охапку клевера и кладу ее на могилу, наверняка ту самую. Я чувствую, что Стефания издали наблюдает за мной. Бывают минуты, когда она представляется мне злой, бессознательно злой, как обитающая в глубине озер рыба, которая пугается тени ныряльщика и защищается, нападает на него, ничего не подозревающего, снизу. Бывают и другие минуты, когда безмолвная потерянность ее взгляда столько может поведать о ее навеки неисцелимом горе, что мне хочется попытаться ее полюбить. Но потом ее тихие, чересчур мягкие движения, движения благородной аббатисы, внушают мне тайный страх, и я чувствую, что Стефания — чужой мне человек, что она вообще чужая «здесь» и что она придерживается правил поведения, действующих «там», но неприменимых к событиям, которые происходят «здесь», и находятся во взаимосвязи друг с другом, и должны следовать одно за другим, в то время как «там» они совершаются одновременно и повторяются тысячекратно, и им не нужно через узкое отверстие проникать в сознание и утрачивать при этом свои наиболее яркие краски. Стефания слишком многого хочет от нас, а, возможно, мы слишком многого хотим от Стефании. В любом случае она мне чужой человек, и, вероятно, столь обожаемая мною когда-то Мина тоже оказалась бы мне чужой, если бы я увидела ее сидящей за столом, играющей разрезанными на куски платьями,— мне как-то рассказала об этом Клара, а некоторое время спустя Стефания, сжалившись надо мной, возобновила разговор и описала это подробно и по-своему.

Совершенно ясно, что хоть она и рассердилась на меня, но мысленно не прекращала разговора со мной, поэтому она просто продолжает прерванный рассказ: — Ты должна знать, что он бил ее каждый раз, как она выходила без него из дома и возвращалась домой; он бил ее, но ее невозможно было удержать, тогда он еще служил и потому взял в дом прислугу — она была его родственницей, о чем долго никто не знал, он платил ей, чтоб она следила за мамой, как следят шпики, некоторое время это было для мамы единственным развлечением.

— Развлечением?

— Да, ей нравилось удирать от этой особы. Мама стала изобретательной и очень хитрой, она научилась петлять как заяц и откровенно высмеивала эту шпионку.

— Но я не понимаю: почему вашей матери нельзя было выходить из дому?

— Как же ты не понимаешь: Флекман ведь был в городе.

— Значит, она ходила к нему?

— Нет, что ты! То было однажды и никогда больше не повторялось. Но они встречались ежедневно, это могло происходить и по воле случая, однако не было случайностью, они встречались среди бела дня, на улице, на виду у всех любопытных, немного прогуливались, поверяя друг другу свою любовь, и все, но, конечно, для них все было как прежде, а поскольку так продолжалось из года в год — и при нацистах, и во время войны,— это было вызовом всему городу, бесшумным, но постоянным скандалом, впрочем, скоро уже никто, кроме Каунигеров, не решался проронить об этом ни слова, ведь мама и Флекман были прекрасной парой; он стал изящным, с элегантной осанкой, и даже отвратительный мундир выглядел на нем менее отвратительно, чем на других, а их любовная история была такой романтичной и такой целомудренной, что это импонировало обывателям,

сами-то они на такое не способны, вместе с тем они чувствовали свое превосходство над этой несчастной парой и старались ее охранять, короче говоря, эта история занимала их воображение целых два десятилетия. Но что я, собственно, хотела сказать?

— Что судья бил вашу мать.

— Да, он бил ее, мы видели зеленые и синие пятна на ее руках и плечах, он колотил ее.

— И она это терпела?

— Она как будто отсутствовала.

— А ты, а Клара?

— Мы жили отдельно от нее. Клара была совершеннолетней и могла жить где хотела, и она уже хорошо зарабатывала закройщицей у Бернхаймеров, а из-за меня разгорелась борьба, но Клара обратилась в суд по делам опеки и рассказала, что творится в том доме; это было большим позором для судьи, дело о побоях, естественно, замяли, но я все-таки получила разрешение оставаться у бабушки и у Клары, мама этому обрадовалась.

— Почему же тогда ваша мать не подала на развод? При таких обстоятельствах ее наверняка признали бы невиновной и расторгли бы брак.

— Почему, почему, не на всякое «почему» имеется «потому».

— Это трудно понять.

— А тебе и не надо понимать, никому не надо этого понимать. Как было, так было.

И опять, в который уже раз, закрываются ворота, Стефания становится недоступной, хотя на этот раз не уходит от меня. Ей теперь хочется заглянуть в маленькую сельскую церковку, но мы доходим только до крошечной часовенки перед нею, пристроенной к фасаду. Там, в нише, за решеткой, выставлены черепа мертвецов, каждый череп аккуратно размещен на двух перекрещенных бедренных костях или костях рук, принадлежавших одному мертвецу или разным; черепа выглядят как произведения искусства, словно они сделаны из старой слоновой кости, их даже отполировали (чем полируют черепа мертвецов и кто этим занимается?), есть среди них и детские черепа, один совсем маленький, наш взгляд задерживается на нем, потом Стефания говорит упрямо: — Это, скорее всего, кошачий череп. Пойдем, уже поздно.

Сейчас совсем не поздно, но если Стефания говорит, что поздно, значит, так оно и должно быть. Поэтому мы едем в сторону города, но на подступах к нему Стефания вдруг поворачивает на юг. Куда же мы едем?

Я что-то не припоминаю этой местности. За эти дни для меня воскресли из небытия многие городские кварталы, но эта местность не вызывает у меня никаких воспоминаний, и тем не менее именно она наверняка сохранилась с былых времен, сохранился этот пустырь возле сортировочной станции, расположенной за городской чертой, все еще за ней, город расширился во все стороны, но только не в эту — уж больно безотрадна эта местность.

— Сортировочную станцию скоро снесут,— говорит Стефания.

Вдруг мы останавливаемся и выходим из машины в месте, ничем не примечательном, разве только своей уродливостью. Вдоль заросшей сорняком железнодорожной насыпи стоят покосившиеся бараки.

— Вот здесь,— объясняет Стефания,— в этом бараке жила Дора Лилиенталь до отправки в Терезиенштадт, и здесь скрывался Петер.

Тут, по крайней мере, двадцать таких бараков, это груды прогнивших балок, ржавая жесть, осколки стекла, остатки железных печек, обломки дверных и оконных рам, все поросло бузиной и крапивой, неизбежными спутниками разрушения человеческих жилищ, и как только Стефания может узнать то, в котором обитала Дора Лилиен-

таль? Тем не менее она без колебаний направляется к какой-то куче развалин.

— Здесь была дверь,— объясняет она,— тут я стояла, а Дора не хотела открывать, хотя знала мой голос, она уже не доверяла никому — каждый мог притвориться, и только Кларин голос оставался для нее подлинным; Клара приходила два раза в неделю, привозила Доре поесть и еще что-нибудь необходимое, ведь Доре нельзя было выходить из дома; Кларе тоже опасно было сюда приезжать, но она и не думала об опасности. Так вот, Дора не хотела меня впускать, потому что Петер не хотел, чтобы я знала о его побеге: ведь если я ничего не буду знать, мне легче будет вынести допрос, если случится,— так он рассуждал. Он как раз вернулся из Испании с гражданской войны и скрывался сначала у своего отца, а потом в других городах, но они напали на его след, я догадалась об этом, когда Дора, изменив голос, сказала мне через закрытую дверь: «Убирайтесь ко всем чертям, я больна». Она хорошо усвоила говор плетельщиков корзин, так что это прозвучало правдоподобно. Я ответила: «Дора, это же я, я знаю, что Петер здесь». Наконец, из страха, что кто-то меня услышит, она все же открыла, но то и дело повторяла, как одуревший попугай: «Здесь никого нет, кроме меня...» Она продолжала это повторять и после того, как я увидела Петера; он лежал, завернувшись в одеяла, на полу в кухне и спал, а Дора все повторяла: «Здесь никого нет, здесь только я одна». Петер не слышал меня, я присела рядом с ним; там, где сейчас железная труба, тогда стояла маленькая печка, она не топилась, было холодно, тринадцатое ноября, одиннадцать часов ночи, и там, спиной ко мне, лежал Петер, а тут, где сейчас этот камень, сидела Дора и молилась по-еврейски, и начался дождь, капли его стучали по жестяной крыше — ток, ток, ток, Дора сказала: «Вот так уже третий день», и вдруг мы услышали шаги, кто-то постучал сначала три раза, потом два и, наконец, один раз, и Дора сразу открыла, и кто же это был — мама, она сунула Доре что-то, будто даже я не должна была этого видеть, она не обратила на меня внимания и сразу же ушла, не сказав ни слова,— видно, все у них было условлено заранее, прямо как в сказке: самое главное, чтобы никто не сказал ни слова, все должно было идти как по писаному; была полночь, Дора разбудила Петера, тот сразу проснулся, вскочил на ноги и спросил: «Ты получила его?» А Дора ответила: «Да, вот он». И я увидела: это был паспорт, Дора передала его Петеру, и тут он увидел меня, не обрадовался, а только рассердился и сказал: «Немедленно уходи!» А я ответила: «Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел». Он сказал, что я сумасшедшая. Но потом все же разрешил мне его проводить. Дора помогла ему надеть на спину мешок с провиантом, и мы пошли, мне не разрешалось говорить ни слова, и только там, далеко от барака, где тогда начиналось болото, он остановился — дождь шел не переставая, было холодно, и вдруг послышались какие-то звуки, это мяукал котенок, он подбежал к нам, и Петер сказал: «Возьми его с собой». И зашагал дальше, и почти сразу же возле него остановился грузовик; ясно, так было условлено заранее, я увидела, как Петер садится в машину, а потом его уже не было, я взяла котенка, и он оставался у Клары: брать его с собой в концертные турне я не могла.

От рассказа Стефании (она говорила о Петере, забыв о «своей» мигрени), такого необычно скупого, такого лишенного запаха, безжизненного, мрачнеет день и, хотя светит солнце, становится холодно, как при солнечном затмении, наступает ночь, поднимается ветер, идет дождь; Стефания стоит на улице далеко от города, она держит в руках мокрого котенка, она видит задние огни грузовика, исчезающего за поворотом дороги, и, хотя Петер сказал: «Мы еще встретимся, Стефания», она-то знает, что встречи не будет. Позже Клара рассказала, что Стефания пришла домой только под утро, промокшая до нитки, но это была не дождевая вода — в туфлях у Стефании была тина,

а в волосах куски камыша, от нее пахло водорослями, ее руки были в царапинах. Клара говорит, что котенок оказался умный, он не хотел умирать, но обо всем этом, говорит Клара, никогда не говорилось,— короче, Стефания вернулась, принесла с собой котенка, и оба они продолжали жить.

— Когда Петер сказал: «Мы встретимся», сам он верил в это, Клара, я хочу сказать, мог он верить в это?

— Может, то было пророчеством, Стефания в это верит, ведь он не сказал, где и когда они встретятся.

Этот разговор с Кларой, однако, состоялся позже. А пока я все еще сижу со Стефанией у железнодорожной насыпи.— А что это был за паспорт, ты слышишь меня, Стефания,— паспорт, который принесла твоя мать?

Стефания меня не слышит, она сидит, как сидел бы в музее восковых фигур слепок с ее фигуры, удивительно похожий, но холодный, как лед; если до него дотронуться, а я делаю это, он в самом деле холодный, мне становится страшно, хотя я уже имею опыт, относящийся к такому ее состоянию. Это продолжается, слава богу, недолго, Стефания приходит в себя, она озирается по сторонам, как человек, который сошел с поезда и не сразу узнает свою станцию, а потом она встает, будто ничего не случилось, и отвечает на мой вопрос, заданный восемь или десять минут назад: — Паспорт был фальшивый, его изготовил Флекман, ведь у Петера вообще никакого паспорта не было, его давно лишили всякой возможности выезда из страны, новый паспорт был выдан на другую фамилию.

— Но, Стефания, почему Флекман хотел ему помочь, он же был его политическим противником?

— Политическим, политическим, ну и что из этого? Ты же не знала Флекмана.

Ответ недостаточно ясный. Меня так и подмывает сказать: «Понимаю, да, я понимаю, что этот Флекман, обуреваемый порочной манией величия, обреченный на то, чтобы постоянно уподоблять это величие вылетающей из ствола пуле, за которой не угонишься, этот Флекман мог стать только провинциальным героем, но однажды, впервые в жизни, в ту ночь, когда он предоставил фальшивый паспорт своему политическому противнику, он догнал самого себя, напрягая все силы, безрассудно отметая все границы, установленные умом, самосохранением, чувством порядка, уголовным кодексом, клятвой верности фюреру и партии, элитарной идеей самопожертвования во имя великого целого, во имя рейха; это прыжок на высоко натянутом канате, своего рода сальто-мортале без сетки, которое (удачно или неудачно) дает основание считать себя причисленным к замечательной когорте героических авантюристов и наконец-то получить от нее долгожданное признание за артистическое выполнение такого трюка, свидетельствующего о невероятном мужестве».

Но все это я не высказываю вслух, ибо, как камешек во рту, ощущаю предостережение, причем сама знаю, что́ ошибочно в моей интерпретации: тут была замешана Мина Мартин, была замешана любовь, ее и Флекмана, эта всеми водами несчастий дочиста вымытая любовь.

Стефания ждет, что́ я скажу: ей очень нужно, чтобы я разобралась в том, что тогда произошло.

— Судя по всему, ваша мать пошла к Флекману и попросила его помочь.

Не говоря ни да, ни нет, Стефания отвечает рассказом о новом визите Мины к Флекману, рассказом о помощи в беде, которая, как выразилась Клара, самым бесстыдным образом перевернула с ног на голову нравственные, соответствующие разуму устои, так что черное перестало быть черным, белое — белым, а ненавистный коричневый цвет нацистского мундира Флекмана на какое-то мгновение, изъятое

из времени, засиял, как серебряные доспехи архангела Михаила (это иронические слова Клары).

— А как все происходило тогда, когда поступки, продиктованные трезвым умом, переплелись с безумием?

— Очень просто: во время одной из почти ежедневных и на удивление открытых встреч Мины Мартин с Флекманом, на виду и на слуху всех проходящих мимо, он предупредил ее, что Петер Нильс в городе, что его ищет гестапо, пока еще не здесь, но со дня на день они явятся сюда и тогда уже мешкать не станут, поэтому Петер должен немедленно переправиться за границу. «Но,— сказала Мина,— ты же знаешь, что у него нет паспорта». Это была явная просьба, понять которую Флекман вначале отказался, а потом он счел невозможным выполнить ее — не из соображений политической морали, а по техническим причинам, дело в том, что он никогда никому не выдавал паспортов, никогда не наклеивал на них фотографии, никогда не подделывал паспорта; у него не было ни одного знакомого специалиста, который мог бы это сделать, просто прежде в этом не было необходимости. «Ты можешь это сделать»,— сказала Мина. «Но я не стану этого делать»,— сказал он, а она только поглядела на него, и тогда он послал ее домой за фотоснимком Петера, она не нашла ни одного, но у Клары, которую часто высмеивали за коллекционирование фотографий (нечто вовсе не соответствовавшее ее натуре, бог знает, почему она этим занималась), нашлась одна фотография, сделанная еще до войны в Испании, она как раз годилась для паспорта, с нею Мина пошла, нет, побежала к Флекману ночью, в старую виллу Бернхаймера; Флекман между тем все подготовил, он действительно отличался невиданной ловкостью и смелостью — он просто выправил себе новый паспорт, так как свой вроде бы потерял, а когда с ним болтал чиновник паспортного стола, его вызвали к телефону, это было подстроено, он сказал, что отлучится на минутку, и якобы по ошибке сунул паспорт в карман, потом он вернулся, а где же паспорт, исчез куда-то, кто мог заподозрить крейслейтера, конечно, ему выдали новый, а тот, что он похитил, остался незаполненным, то была смелая авантюра. Может быть, у чиновника и закралось подозрение, но кто отказал бы Флекману в тайной услуге; одни любили его, другие были ему обязаны, поскольку он помогал им в трудных ситуациях, третьи боялись его из-за неподкупности, которой он отличался. Между прочим, пока чиновник ходил за вторым паспортом, Флекман прихватил еще и печать, и круглый штемпель. Конечно, все могло сорваться, однако до того, как это обнаружилось бы — если бы обнаружилось,— Петера и след простыл бы; кроме того, в тот момент об этом и думать не следовало, а то развеялись бы колдовские чары, охранявшие Флекмана. Потом он наклеил как положено фотографию на паспорт, часы показывали одиннадцать, мама передала Доре Лилиенталь (конечно, через Клару), что Петер получит паспорт в полночь, а тот (при помощи друзей-антифашистов) договорился, что грузовик прибудет в половине первого. Все было сделано точно.

— Флекман так и остался вне подозрений?

— Да, остался. Он прикасался к паспорту только в перчатках, так что никто не нашел бы отпечатков его пальцев, настолько он все-таки соблюдал осторожность, но, конечно, это мало помогло бы, если бы у паспортиста возникло подозрение, однако для этого не было оснований, я полагаю, что потом никто не интересовался паспортом, фальшивым или подлинным, когда расстреливали того, у кого его нашли. Для Флекмана же эта маленькая мера предосторожности была только частицей великолепно разыгранного спектакля.

Но что уже не было игрой,— говорит Стефания,— так это сцена на вилле у Бернхаймера, то была настоящая сцена. Когда мама ждала в комнате у Флекмана, пока паспорт будет готов, она заметила старый сундук и не из любопытства, а от волнения, чтобы чем-нибудь

отвлечься, открыла его, и он оказался набитым старыми игрушками: тут были плюшевые медведи, петрушки, мячи. Эти вещи могли принадлежать только Эриху. Почему Флекман сохранил их, поселившись на вилле? Кто даже переложил их нафталиновыми шариками? Когда Флекман с паспортом в руках вернулся, мама захлопнула крышку сундука, а Флекман произнес показавшиеся тогда загадочными слова: «Поживем — увидим, кто знает, чьи дети и внуки когда-нибудь будут играть этими игрушками».

Ничьи дети этим не играют, сундук вместе с домом сгорел в бомбежку, а изгнанникам так и не пришлось возвратиться (пожалуйста, не рассказывай Кларе про этот сундук).

Слова Флекмана «поживем — увидим» могли оказаться пророческими, может, уже тогда он не верил в долговечность третьего рейха, но об этом трудно судить, ведь тогда Гитлер достиг своего апогея или был близок к тому. А может, Флекман всегда понимал, что живет и умрет во имя проигранного дела.

— Если во имя этого он жил и умер,— говорит Стефания,— то он не был политическим деятелем, он был безумцем. Ты только представь себе: он и мама тогда смеялись! Мама рассказала мне об этом много позже, незадолго до своей смерти, и, когда рассказывала, снова смеялась, причем в последний раз перед своей смертью.

— А над чем же они тогда смеялись?

Мне приходится долго ждать, пока Стефания продолжит свой рассказ.

— Над собственным безумием. Нацистский крейслейтер, выдавший фальшивый паспорт врагу государства,— это само по себе безумие, а потом он спросил маму: «Как мы его назовем, ведь его нужно назвать как-то иначе». Так священник спрашивает при крещении, как будет наречен новорожденный младенец. И мама ответила очень просто: «Эрих Флекман». Он возразил: «Ты сошла с ума, ты бы еще и имя мое взяла». (Его звали Артур.) Но она сказала: «Флекман — хорошая фамилия, потому что она твоя, а имя «Эрих», оно здесь витает в воздухе, оно лежит там, в сундуке; оно покоится в гробу, ожидая воскрешения. Вот ты и воскреси его». И тогда Флекман действительно вписал в паспорт Петера: «Эрих Флекман», а дату рождения проставил — двенадцатое ноября, почему двенадцатое ноября, спросила мама, ведь Петер родился в начале марта, а Флекман чуть было не написал — тысяча девятьсот тридцать седьмого года, и тут внезапно у них обоих сдали нервы и оба стали смеяться и никак не могли остановиться, пока не закатили друг другу пощечину, чтобы опомниться, а потом — но этого мне не надо было бы рассказывать, ты и сама можешь себе все представить; ведь у них было так мало времени, то было последнее их объятие в этой жизни, первая и последняя супружеская измена за годы маминого брака с судьей, хорошо, что судья не знал, что она была ему почти верна, это было бы для него слишком большой честью, а потом она бежала всю дорогу, до самого барака, одна, под проливным дождем; в полночь она была здесь.

Я, уподобляясь Кларе в ее стремлении к точности, хотела бы узнать подробности, существенные детали, например, неужели судья ничего не знал о ночном похождении своей жены, разве тогда Анна Бредель не жила в одном доме с Флекманом, и разве она ничего не слыхала, и действительно ли вскоре после этого гестапо пошло по следам Петера, добрался ли он до границы, и удалось ли ему дать о себе знать, и стало ли позже о нем известно что-нибудь, но я чувствую, что это запретные вопросы, по крайней мере сейчас запретные.

Мы все еще сидим на куче мусора, там, где когда-то был порог барака Доры Лилиенталь, порог, на котором стояла совершившая и подвиг, и измену безумная женщина, порог, который, уходя на смерть, переступил юный политический беглец, порог, через который эсэсовцы потом волокли старуху-еврейку и через который дважды в неделю

бесстрашно перешагивала горбатая девушка ночью, в любую погоду, совсем одна, с корзинкой, полной снеди и прочих необходимых Доре вещей, до тех пор, пока кто-то не раскрыл этот тайник и не выдал его, видимо, по каким-то причинам не донеся на Клару.

— А котенок, Стефания?

— Я же тебе говорила, он сначала был у Клары.

— А потом?

— Потом его взяла к себе мама, а потом, а потом, а потом кошка умерла, потому что все кошки когда-нибудь умирают, ну что тебя так интересует эта кошка?

Это должно прозвучать как шутка, но это звучит как угроза. Итак, больше никаких вопросов о кошке. Но от Стефании можно ждать любой неожиданности.

— Кошку,— говорит она вдруг,— пристрелил господин Нильс.

Мне это известно, но я молчу, выжидаю, может, Стефания расскажет мне больше, чем знает Клара. Мне приходится строго следить за собой, чтобы не задать какой-нибудь вопрос некстати и тем самым не дать ей возможности отказаться от дальнейших показаний и, оскорбившись хотя бы тенью назойливости, удалиться в звездное пространство. Я даже отвожу от нее взгляд, быть может немного чересчур пристальный из-за моего любопытства, и устремляю его в даль, которая вне подозрений, в небо на западе, окрашенное над городом дымчатой зеленью тумана, в который вкраплены медно-красные лучи заходящего солнца, отражающиеся в сотнях окон. Только когда Стефания чувствует, что мое внимание рассеивается, а мое присутствие ощущается не более чем присутствие крапивы, растущей поодаль, она начинает рассказывать, но говорит она вовсе не для меня и ее рассказ — не воспоминание о давно минувших временах, это выглядит так, будто Стефания наклоняется над краем бочки с водой и там, где каждый видит лишь свое отраженное прошлое, она видит настоящее, кажущееся ей столь же неоспоримо реальным, как спящему кажется реальным приснившееся во сне яблоко, которое он, однако, не может съесть даже и во сне; упрямое нежелание Стефании считать прошлое прошлым действует гипнотически, она, не долго думая, делает меня безмолвной соучастницей своих фантасмагорических экспериментов со временем, делает меня очевидицей их, так что я почти готова поклясться, что присутствовала при том, как она, возвратившись после долгого пребывания в Лондоне, навещает маму, которая с той поры, как дом судьи разбомбило — разбомбило до основания, «стерло с лица земли» (говорит Стефания с выражением экстаза в глазах), живет в Кларином доме (бабушка уже умерла, и прах ее вместе с прахом других Мартинов покоится на сельском кладбище), судья еще жив (но жить ему осталось недолго), они оба занимают угловую комнату на втором этаже (в этой комнате для гостей сейчас поселилась я), туда и входит Стефания, мама сидит у окна, спиной к этому почти полностью парализованному после двух ударов скелету в черном костюме (он, став еще более упрямым, не желал носить ничего, кроме черного костюма, и с яростью отвергал любой другой, так что пришлось его перехитрить и сшить второй, в точности такой же, как первый,— даже протершиеся на острых коленях места, которые он мог потрогать руками, пришлось искусно скопировать, потому что отсутствие их могло бы вызвать его подозрение, только после этого старый костюм можно было заменить новым, их нужно было часто менять, часто отдавать в чистку, потому что судья сажал на них пятна и еще потому, что у него недостаточно хорошо работал мочевой пузырь; в общем, прямо с порога Стефании ударил в лицо запах аммиака, но мама, видно, уже не обращала на это внимания, она привыкла). При появлении Стефании судья выплывает из своей дремоты и требует подать ему катарактные очки, без них он слеп, он поминутно роняет их или теряет между складками разложенного у него

на коленях одеяла, и Мина никак не может их найти, если не хочет их найти, потому что она больше не в состоянии выносить его вечно подозрительный взгляд, она не находит их и сейчас, а Стефании, которая хочет нагнуться, чтобы поднять очки с пола, подает знак.

«Это только Стефания»,— говорит она ему. Это «только» удовлетворяет его, ибо оно гарантирует ему возможность без помех продлить прозябание рядом с женщиной, которую несколько десятилетий назад он навсегда купил за наличные. Он снова засыпает. Мама сидит за столиком у окна, перед ней множество пестрых лоскутков правильной четырехугольной формы, они разложены как карты для пасьянса, а на коленях у нее (наконец мы доходим до сути) устроилась кошка, которая, когда Стефания ее гладит, широко раскрывает и поднимает на нее свои желтые печальные глаза, ее шерсть клоками остается в руке Стефании.

«Постарела она»,— говорит мама.

«Прошло больше двенадцати лет»,— говорит Стефания.

«А сколько живут кошки?» — спрашивает мама.

Стефания отвечает: «Это зависит от обстоятельств».

Мама продолжает: «Она больше не гуляет сама, мне приходится выносить ее в сад по нужде, пользоваться ящиком она не хочет, ей хочется сидеть здесь, вот и все».

«Вот и все»,— вторит ей Стефания.

Они с мамой смотрят друг на друга, потом Стефания спрашивает: «Ты предпочла бы другую, помоложе?» А мама говорит: «Другой не может быть, как тебе в голову пришло спросить, предпочла ли бы я другую».

«Вот и хорошо»,— говорит Стефания.

После некоторой паузы мама опять говорит: «Я не хотела бы видеть, как она мучается».

«Она не будет мучиться,— говорит Стефания,— дай ее мне».

Но тут случается непредвиденное. Мама начинает плакать, хотя в этот момент должна была бы заплакать Стефания, но она не плачет, давно уже больше не плачет, просто она пошлет кошку туда, где Петер и где она снова встретится с нею. О чем, собственно, плачет мама? Ведь не из-за неизбежной смерти кошки и не из-за собственной предстоящей кончины (она прожила еще долго после того дня, целых десять лет, и была крепка здоровьем вплоть до мгновенной смерти от разрыва сердца), она не оплакивает и свою судьбу заключенной, ибо давно уже не в заключении — защищенная слепотой и неподвижностью старика, она совершает дальние поездки в тех платьях, которые Флекман дарил ей, в тех платьях, остатки которых лежат теперь перед ней, разрезанные в виде карт для пасьянса, кроме того, она принимает гостей, Флекман по нескольку раз в день приходит к ней, тогда старик пробуждается ото сна, но он слишком глух, чтобы слышать, как разговаривают любящие, к тому же они говорят на каком-то чужом, неведомом ему языке, нет, она плачет не о себе, это уже позади, отчего же она так плачет? «Бедная Стефания»,— говорит она сквозь слезы.

Удивленная Стефания спрашивает: «Почему же бедная?»

«А кошка?» — говорит мама.

«Но, мама, мы ведь никогда не забудем ее».

В этом слове как бы заложено бессмертие кошки и всякого другого живого существа, и мама, истинная мать своей дочери, мгновенно понимает, какое великое утешение ей дано, она бережно поднимает кошку с колен и кладет ее на руки Стефании.— Только смотри, чтобы она ничего не почувствовала: она ведь такая умная.

Стефания уверена, что кошка понимает, куда их ведет дорога, хотя самой Стефании эта дорога еще не ясна. Она нерешительно стоит на улице и размышляет, найдется ли поблизости ветеринар, она решает, что спросит об этом Клару, но вдруг ей приходит в голову:

чужому этого делать нельзя, только один человек на свете может это сделать — господин Нильс. Он сейчас бургомистр города, но Стефания рискует потревожить его, ее сразу же пропускают, и, хотя они не виделись целый год, первый его вопрос, как и следовало ожидать: «Ты принесла мне кошку?»

«Да, я принесла ее тебе, чтобы ты избавил ее от мучений».

«Я?»

«Ты знаешь, что это за кошка».

Он знает.

«Да,— говорит он,— она действительно стара, ей больше двенадцати лет».

«Да,— вторит ему Стефания.— Тогда, в тридцать седьмом, двенадцатого ноября, ей, наверно, было около полугода, она была такая маленькая и полумертвая от голода».

Наступает пауза, во время которой мимолетно, но зримо возникает образ Петера с рюкзаком за спиной, уходящего в дождь, вот он вскакивает на подножку грузовика и исчезает в темноте.

«Но как это осуществить?» — спрашивает господин Нильс.

«Надо сделать укол, так быстрее всего».

«Нет, Стефания, я не могу, не требуй этого от меня».

Стефания испугана: ведь феноловым уколом умерщвляли тогда душевнобольных в стационарах и «недочеловеков» в лагерях до тех пор, пока немецкие химические заводы производили этот яд, а они делали это почти до самого конца войны, ибо их продукция была «важной в военном отношении», так это называлось. Производство яда было важным в военном отношении.

«Боже мой,— восклицает Стефания,— и как только я могла это позабыть».

«Вашей кошке,— говорит господин Нильс,— надо выбрать другую смерть, более пристойную. Подожди здесь минутку».

Он сразу же возвращается, говорит какой-то своей сотруднице, что ненадолго отлучится, и они уходят, бургомистр и элегантная Стефания со старой, облезлой кошкой на руках; люди, которые встречаются им по пути к ручью, оборачиваются и смотрят им вслед.

Господин Нильс и Стефания беседуют о Лондоне, об оставшихся там Бернхаймерах, о концертах Стефании, предстоящих в эту зиму, о восстановлении города, о предложении Клары расширить на средства города детский дом, созданный ею после войны для детей, оставшихся сиротами (это предложение будет одобрено).

Но как все это ни интересно, это только видимость беседы.

Наконец они у ручья.

«Ты хочешь ее утопить?» — с ужасом спрашивает Стефания.

«О нет,— говорит господин Нильс,— о нет, она умрет прекрасной смертью, положи ее вон на тот камень, подойди ко мне и смотри, что я сделаю.— Он вытаскивает из кармана револьвер.— Согласна?»

Стефания отвечает «да», не совсем понимая, что говорит. Кошка спит, покорная и доверчивая, она знает свою судьбу.

Господин Нильс спускает курок, и кошка мертва. Но прежде чем она падает в воду, Стефания вскрикивает, кидается к ручью, хватает кошку и крепко прижимает к себе. Господину Нильсу приходится вырвать кошку у нее из рук, потом он забрасывает ее далеко, и течение быстро уносит ее прочь. Стефания дрожит.

«Зачем же так,— спрашивает она,— зачем же так?»

«Почему нет?» — спрашивает господин Нильс.

«Но разве ты не видел?» — говорит она.

«Ты о чем?»

Он этого не видел, а это было так явно: Петер в горах, его настигает пуля, он падает и катится в ущелье, а горы неродные, может быть, Пиренейские или Абруццкие, горы в чужой стране, огромные голые горы.

Но она ничего не говорит господину Нильсу об этом, пусть уж он сочтет ее истеричкой: нельзя так вести себя из-за кошки (даже такой, как эта), ведь Стефания мужественно переносила более жестокие удары.

«Разве ее смерть не была почетной?» — спрашивает господин Нильс.

«Да, да, почетная смерть. Такая редко выпадает кошкам».

«И мгновенная, такая, которая редко выпадает людям»,— добавляет господин Нильс.

Стефания не может рассказать ему про увиденное ею, позже это покажется наваждением ей самой, да, именно так: ведь уверовать в то, что она видела смерть Петера, значило бы признать, что он мертв. Думать же, что (и это тоже возможно) в Петера стреляли и не попали или что его слегка ранили, означало бы жить в состоянии крайней неуверенности, в ожидании невозможного, представлять себе смерть Петера как нечто грядущее, а не давно минувшее, настолько давно, что эта смерть уже перестала быть реальностью и никогда не будет реальностью, потому что этой смерти просто не может быть.

Кошка плывет вниз по течению, и Стефании остается лишь надеяться, что она не застрянет в каком-нибудь прибрежном кустарнике, который может помешать ей достичь места, где ручей впадает в реку, а река в море, где она уже перестанет быть кошкой, а превратится в темное пятно, заметное только промышляющим ночами рыбакам. Это она может сказать господину Нильсу, это он понимает, он говорит: «Бесстрашная моя девочка». Впрочем, именно тогда господин Нильс сказал: «Стефания, ты станешь богатой женщиной, на всякий случай я составил завещание, но тебе придется немного подождать, я проживу еще лет десять, мне это необходимо, я должен успеть выстроить новую народную школу и новую больницу, дом для Клариных сирот, поселок для фабричных рабочих» (фабрика — все та же, когда-то она принадлежала Бернхаймерам, потом ее восстановили; и она кормит значительную часть городского населения, называется она до сих пор «Суконная фабрика Бернхаймера», хотя Бернхаймеры ее продали, когда после войны ее возвратили им с компенсацией).

— Представь себе,— говорит, обращаясь ко мне, Стефания,— они дали компенсацию за Эриха, которого убили в газовой камере, компенсацию за такое. Не хватает только, чтобы господину Нильсу предложили компенсацию за то, что они расстреляли его сына.— Стефания произносит это довольно тихо, но я слышу в ее голосе истерические нотки, из темной воды вновь и вновь поднимаются пузыри, опять и опять игла со скрежетом касается все той же поврежденной бороздки, и я задаю себе вопрос: может быть, Стефания все-таки чуточку помешанная? В ее прекрасных спокойных глазах вдруг вспыхивает такой огонь безумия, а ее нежный голос вдруг становится таким резким, в нем столько тревожащих, невысказанных обвинений и проклятий, что невольно чувствуешь себя виновной, а защититься нечем. Это неправда, думаю я, что Стефания «преодолела» то время, как принято сейчас выражаться. Она страдает, ее страдания стали хроническими, она к этому привыкла. Чтобы объяснить это состояние, Клара нашла сравнение: «Стефания страдает, как человек, перенесший ампутацию, не от раны, а от того, что нет ноги, от того, что воздух там, где она была раньше и где она должна быть, а в воздухе — боль».

— Теперь,— говорит Стефания, поднимаясь с кучи шлака, на которой сидела,— теперь тебе известна также история с кошкой, ну как, довольна? — Но теперь нам надо поскорей домой. Клара ждет, а с нею ждет и Берти; Клара, приготовляя ужин, ждет, что кто-то отведет Берти в дом для престарелых, Стефания оставляет возле дома взятую ею напрокат машину, она хочет отвезти Берти домой, нам кажется, что Берти это понравится. Но мы просчитались, Берти вцепляется в стол и стул, как будто мы пытаемся оторвать ее силой. Что же произошло?

Ничего, просто она хочет поужинать здесь, ей опять не хочется в приют, ведь папа... (одного взгляда Клары достаточно, чтобы Берти съежилась в комочек), настоятельница устроила ей сцену за то, что она сбежала утром без предупреждения (настоятельница употребляет выражение «сбежала», словно речь идет о собаке), а вернулась полубольная, что подумают в городе, если старые и больные обитатели приюта станут при попустительстве начальства разгуливать по такой жаре одни, кто, спрашивается, будет в ответе, если пострадает репутация дома и ордена, кто же, уж, разумеется, не выжившие из ума старики, а настоятельница, конечно же она.

— Вообще-то она права,— говорит Клара,— она права, как всегда в подобных случаях правы такие люди и такие учреждения. И тебе действительно надо предупреждать, когда ты куда-нибудь уходишь. Это такое дело, в котором ты можешь пойти на уступки, но, по-моему, доводы настоятельницы идиотские, хотя ее и можно понять. Ты должна внешне подчиняться режиму в доме, Берти; каждый подчиняется какому-нибудь писаному или неписаному распорядку, а думать про себя ты можешь что захочешь, хотя бы: «Поцелуй меня в...»

— Клара,— говорит Стефания,— не будет она думать это про себя, а просто скажет это настоятельнице. Так что не надо программировать такое.

Клара смеется. А если она скажет ей это в лицо?

Неожиданно Берти говорит ясным и деловым тоном: — Если я скажу ей это в лицо, она подумает, что я рехнулась; это опасно, хотя, может, это даже и к лучшему — в свое время это спасло Макса Бределя, вы знаете? Однажды, когда его арестовали американцы, потому что при нем не оказалось никакого удостоверения личности, он выразился очень просто: «Можете поцеловать меня в задницу». При этом оказался американец, понимавший по-немецки, и он сказал: «Этот человек невменяемый, нормальный не рискнул бы так выразиться». И они отпустили Макса.— Моменты просветления наступают у Берти крайне редко, они — как молния: после того, как она отсверкает, темный известковый ландшафт становится еще темнее.— Но в приют я не пойду, не хочу я, не пойду я.

Стефания обещает ей прогулку в автомобиле и мороженое, только тогда ее сопротивление ослабевает, и ее удается погрузить в машину, что дается нелегко, потому что Берти тяжелеет, как будто она — мешок с картошкой.

— Какая ужасная старость,— говорит Клара.

— Да,— говорю я.— И я спрашиваю себя, виноват ли человек в том, что его ждет такой жалкий конец.

— Виноват или не виноват, какая тут взаимосвязь, кто это может знать, этим распоряжается черный осел.

— Опять этот осел. Объясни мне, наконец, кто это или что это?

— Кто и что? Если бы я только знала. Не знаю я, вот и говорю о черном осле.

— А почему именно о черном осле?

— Ах, это целая история.

— Ну, расскажи мне ее.

— Как я могу рассказать, если я ее не знаю.

— Клара, говори же разумно.

— Для этого недостаточно одного разума. Если уж ты непременно хочешь услышать эту историю, пожалуйста, но мне известно только ее начало.

— Пусть так.

— Не так уж это много. Жил-был когда-то маленький черный осел впрочем, я не знаю, был ли он действительно маленький, но он сидел на моем детском стульчике и спал вместе со мной в моей детской кроватке, так что, наверно, он был маленький, его можно было ощупать, с ним можно было поговорить, его можно было попросить

о чем-нибудь, и он в большинстве случаев помогал. Но потом, когда он уже не мог прыгать выше головы, он взял да и смылся, на меня он махнул рукой раз и навсегда.

— Существует ли он еще?

— А мне это совершенно все равно. А теперь перестань, наконец, говорить об этом, об этом не говорят. Если ты обязательно что-нибудь хочешь спросить, спроси о чем-нибудь другом, о чем можно говорить.

— Ну хорошо, тогда расскажи о твоем детском доме для сирот.

— О моем детском доме для сирот, ну, что тут рассказывать.

— А Стефания говорила мне об этом.

— Что же, например?

— Что во время войны ты начала собирать беспризорных детей.

— Верно.

— Клара, рассказывай сама, не заставляй меня клещами вытягивать из тебя каждое слово.

— Ну, что тут рассказывать, я собирала детей, заботилась о них, сначала их было несколько здесь, в доме, но так не могло продолжаться долго, мне дали барак, благотворительная организация давала деньги, господин Нильс давал деньги, американцы отпускали продовольствие, мама шила одежду и белье, в конце концов я уже не могла справиться с этим, вот и построили дом для сирот вместе с детским садом. Так что это совсем не «мой» дом для сирот.

— Клара, какой же ты странный человек.

— А что тут странного?

Больше из Клары ничего не вытянуть. Она вызывает к себе уважение, но я не могу сказать ей об этом. Она держит мои чувства на значительной дистанции и вдобавок за решеткою.

— Клара, сегодня Стефания рассказала мне историю о кошке и о том, как господин Нильс пристрелил ее. Ты веришь, что Петера расстреляли?

— Значит, она рассказала тебе о том, что ей увиделось, как она выражается. Ты можешь верить ей на слово. Правда, у нее слишком богатая фантазия, только что это такое — фантазия? У меня, например, ее совсем нет. Что из этого? Я вижу предметы. А что видит Стефания? Тоже предметы. Стефания часто не видит того, что вижу я; она спотыкается о стул, потому что просто его не видит, или, скажем, я говорю: «Ты видела такого-то, он только что прошел мимо?» — а она отвечает: «Нет, здесь никто не проходил». Зато я, в отличие от нее, не вижу того, что видит она. Я никогда не споткнусь о ее стул, поскольку он сделан из иного материала, о ее стул не споткнешься, зато я спотыкаюсь о ее представления, когда она что-то видит и об этом говорит (раньше она так делала): «Смотри, Клара, вон идет такой-то». (А он уже давно умер.) Тогда от страха я спотыкаюсь, внутренне, так сказать. Раньше я думала, это у нее патология, и потащила ее к психиатру, я ведь тебе об этом уже рассказывала, но он в нее влюбился, и только, вот и весь результат. Все влюблялись в Стефанию, а она этого не замечала; она, наверно, даже не заметила, что сам господин Нильс хотел на ней жениться, когда Петера уже давно не было в живых.

— Откуда ты это знаешь, она сама тебе про это рассказала?

— Ты видела кольцо, которое она носит? То, что с изумрудом? Это ведь обручальное кольцо. Господин Нильс подарил его своей жене, а она умерла вскоре после рождения Петера. Я, как уже говорилось, лишена фантазии, но я умею думать, мне кажется, я понимаю, что для него означало во второй раз подарить это кольцо. Он, надо полагать, что-нибудь сказал ей при этом, но она, наша лунатичка, скорее всего пропустила это мимо ушей, и таким образом все кончилось ничем.

— Клара, вы никогда не получали никаких известий о смерти Петера?

— Никогда. Он исчез с лица земли. Есть только догадки, но стоит ли гадать, если это ни к чему не приводит. Такая уж у Стефании судьба — не знать ничего определенного, точно так же как моя судьба — знать все определенно, только это и ничего больше. После войны американцы и русские обнаружили в Освенциме картотеку узников, немцы ведь с чрезвычайной аккуратностью все регистрировали. Было по три фотографии каждого узника: одна — анфас, одна — в профиль слева и одна — в профиль справа; там были также указаны фамилии, дата и место рождения, день прибытия в лагерь и день смерти. День прибытия Эриха в лагерь и день его смерти отделяли друг от друга всего два месяца, так что, слава богу, ему недолго пришлось мучиться. Я могла бы поехать в Освенцим и нашла бы там его прах, мне рассказывали, что немцы...

— Клара, не говори все время «немцы».

— Ну, хорошо: надзиратели концлагеря высыпали свежий пепел из печей в торфяную трясину, это было в Биркенау, в лагере смерти, рядом с Освенцимом, представь себе, он назывался Биркенау, это звучит так же прекрасно, как майское утро и майские хороводы, а прах Эриха — в торфяной трясине, и когда ворошат ее палкой, над нею вздымается серый пепел еще и сегодня, вот так выходит на свет то, о чем я знаю определенно.

После таких слов не может быть и речи о продолжении разговора.

На другой день я спрашиваю Стефанию, откуда Кларе известно, что Эрих погиб в Освенциме. Об этом узнал господин Нильс, он не мог успокоиться, пока Клара не обрела свою «определенность».

— Но я не понимаю, Стефания, почему Эрих не уехал в Англию вместе со своей семьей. Ведь евреи не оставались по своей воле в гитлеровской Германии, в особенности если вся семья выехала и жила уже где-нибудь в другом месте.

— Может быть, ему казалось, что это слишком жалкий выход из положения — бежать. Или же в нем был слабо развит инстинкт самосохранения.

Я больше не задаю вопросов.

— Дора тоже могла бы бежать, Бернхаймеры хотели ее взять с собой, они все подготовили, но нет, Дора осталась. Не спрашивай меня, почему она, если уж осталась, так плохо спряталась, бараки плетельщиков корзин — не мышиная нора, зачем же упорно отсиживаться в укрытии, которое рано или поздно будет обнаружено? На этот счет у Доры не было никаких иллюзий.

— Ты мне рассказывала, что Дора Лилиенталь после ее неудачного выступления стояла у окна и призывала огонь на город и на себя.

— В этом городе было немало отчаявшихся.

— Но Эрих Бернхаймер, юный и одаренный, да еще и с уцелевшими деньгами своих родителей, разве он не смог бы сделать карьеру и в Англии?

— О да, он мог бы стать коммерсантом по экспорту и импорту текстиля, как его отец, почему бы нет, он мог бы дослужиться и до должности государственного секретаря Соединенных Штатов, как эмигрант Киссинджер.

Ирония Стефании — острый серп, одним-единственным взмахом серпа она скосила все карьеры на этой земле, как сухую траву. В это мгновение я понимаю, что она в глубине души приняла смерть обоих молодых людей. Умерев такими юными, с еще невинными душами, они избежали всеобщего растления, раз и навсегда; их доброе имя осталось незапятнанным в памяти Стефании и человечест-

ва, тут уж больше не приходится опасаться ни коррупции, ни разочарования, Стефания может быть спокойной: мертвые абсолютно удовлетворяют ее потребность в безупречной чистоте. Я на момент задумываюсь над тем, что Стефания может рассматривать эту совершенную безупречность как свое творение: она заплатила за это сполна, она согласилась с этим; слова протеста, желание перечеркнуть эти ранние смерти были бы осквернением чистых образов и возвратом к грязной обыденности.

Догадываясь об этом, я допускаю крамольную мысль, что Стефания эгоистична на свой чудовищный и поистине хищнический лад: мечте своего детства о мире, полном безупречных, гордых и страстных душ, она приносит в жертву плоть, и кровь, и земную действительность. Правда, жертвовать-то она жертвует, но и она сама и я, пожалуй, хотели бы знать, не отбросила ли бы она все свои хрупкие мечты ради того, чтобы соединиться с Петером Нильсом во плоти, совсем по-земному, даже еще и теперь, если бы было возможно вернуть его. Но что есть, то есть: Петер мертв, Эрих мертв (мне давно уже стало ясно, что и Эрих любил ее), прекрасные юные умершие остаются прекрасными и умершими, а Стефания носит траур и десятилетия спустя, этот траур по сути своей — торжество, но такое, которое причиняет боль, и даже таинственные уходы туда, где она, возможно, встречается с Петером, и Эрихом, и Миной, и господином Нильсом, не смягчают неутолимой боли, затаившейся в каждой клеточке ее тела и души.

— Стефания, как получилось, что нашли Дору? Это как-то связано с розысками Петера?

Стефания отвечает крайне резко, так, словно мой вопрос означает неприкрытое и умышленное оскорбление или даже обвинение: — Нет, одно с другим никак не связано.

С тем я и остаюсь.

Потом уже я узнаю от Клары, что через три дня после бегства Петера гестаповцы прочесали весь город. На этот раз дошла очередь и до бараков, где жили у железнодорожной насыпи корзинщики, но то, что схватили Дору, было чистейшей случайностью: ведь искали мужчину, искали Петера Нильса, его и никого больше, никто не называл имени Доры в связи с Петером Нильсом, и хотя корзинщики что-то могли знать или о чем-то догадывались, но они, безусловно, молчали. Эти люди только по видимости безропотно подчинялись государству (оно именовалось тогда рейхом — какое расточительно пышное, какое магическое слово, обозначавшее всего лишь административный аппарат), на самом деле эти люди у железнодорожной насыпи были сплошь анархистами, они заботились о бедной, старой и ставшей бесправной еврейке, ни разу не поинтересовавшись, что привело эту даму (она и в лохмотьях осталась дамой) сюда, к железнодорожной насыпи, они учили ее плести корзины. Дора обучилась этому ремеслу и занималась им, как и все остальные, у нее были такие искусные руки. И вот когда гестапо явилось на этот раз, Дора сидела вместе со всеми и плела дно корзины, она предъявила удостоверение личности, тоже поддельное, двое гестаповцев уже уходили из барака, как вдруг один, с самого начала всматривавшийся в лицо Доры, сказал: «Это же еврейская рожа, я ее знаю, эту я где-то видел раньше, давай-ка заберем ее с собой, предосторожность не помешает, я не могу допустить, чтобы такая рожа ускользнула». А другой гестаповец сказал (обо всем этом корзинщики рассказали Кларе): «Если бы она была еврейкой, у нее в удостоверении значилась бы звезда Давида и ее звали бы Сара Анна Гербер, а не просто Анна Гербер; буквы «J»[1] тоже нет в удостоверении, чего тебе надо, оставь ее, это совсем не наше дело». Но тот, что все еще всматри-

[1] Начальная буква немецкого слова «Jude» — еврей.

вался в лицо Доры, закричал: «Даю голову на отсечение, я знаю еврейскую рожу, конечно, я знаю тебя, еврейская свинья», так тогда обращались к евреям (но, Клара, ведь я это знаю!), «ну вот, теперь я вспомнил, ты — эта самая Лилиенталь, ты обучала игре на рояле, ты же в самом деле еврейская свинья». Дора окаменела, а одна корзинщица сказала: «Оставьте ее, она глухая и не в своем уме, она вас совсем не понимает», но тут эсэсовец ударил корзинщицу по лицу, подскочил к Доре и хотел ее схватить, а Дора, как тигрица, бросилась на него, корзинщики рассказывали, она вдруг вскочила и буквально кинулась на него, так что он, не успев отразить неожиданный удар, повалился на пол, и Дора уже готова была броситься на второго, но ее одолели и скрутили ивовыми ветками — они лежали тут повсюду, они были под рукой — и увели, она кричала что-то по-еврейски, крики ее звучали так жутко, что один из эсэсовцев заткнул уши. Двое других потащили ее через порог и железнодорожную насыпь и втолкнули в полицейскую машину, она колотила кулаками в дверь и в железные стенки, и она не переставала кричать на всем пути к городу, и когда машина остановилась перед ратушей, она кричала так, что сбежались люди, теперь она кричала по-немецки: «Боже праведный, господи, боже мой, бог отмщения, явись, восстань, судия земли, сокруши богоотступников, тех, что топчут твой народ и уродуют твое наследие, они думают, что господь этого не видит, неужели же бог Иакова не видит, что делается, как долго еще, о боже, ты позволишь этим грешникам жить, о, господи, ниспошли огонь на землю, уничтожь нацистское отродье, отмсти за меня, отмсти за народ твой». И так далее в том же духе. На ее крик сбежался весь город, площадь была полна людей, все стояли тихо, никто не насмехался, никто не встал на сторону нацистов, это был сомкнутый строй, по крайней мере в этот единственный раз город занял позицию, и к этому принудила его Дора, но вместе с тем никто не отважился хоть слово сказать против Гитлера и против гестапо, никого не нашлось, кто крикнул бы: «Если вы ее увезете как преступницу, увезите и меня вместе с нею», этого никто не сказал, меня в тот день не было в городе, но я совсем не уверена, что я, если бы была там, прокричала бы эти слова, ведь даже Георг Мак, пастор, антифашист, ничего не сказал, никто не видел его среди столпившихся у машины. Затем опять явились эсэсовцы и стали разгонять народ, люди один за другим начали расходиться, и площадь опустела, и в конце концов на ней осталась только машина с зарешеченными окнами, в которой сидела Дора Лилиенталь, она больше не кричала, и тут появился крейслейтер Флекман собственной персоной и остановился около машины, и ни одна душа не знает, что он ей говорил, освободить ее в этот момент он никак не мог. Возможно, он сказал ей, что ее отправят в один из лагерей для переселенцев на востоке, тогда это говорили высылаемым евреям, цыганам и гомосексуалистам, политические в это не поверили бы, коммунисты и социал-демократы знали, что их ждет, но другие, те верили или хотели верить, им говорили чтоб они взяли с собой столько вещей, сколько смогут унести, вот они и тащили с собой домашний скарб, кухонную и столовую утварь, одеяла и всякие детские вещи: ночные горшки и игрушки. Все это потом находили в лагерях, я видела кинофильм, заснятый американцами.

— Клара, я ведь тебе еще не рассказывала: несколько лет назад я побывала в Освенциме, я видела там кучи жестяной посуды, попорченной и проржавленной, детские игрушки, ночные горшочки, и детскую обувь, и что-то еще, и отрезанные женские волосы, седые, каштановые, рыжие белокурые, черные, я видела их целую кучу, то были остатки, большей части их уже не было, их продали текстильной фабрике в Верхней Баварии, там из них делали суровое полотно, мы носили его потом под воротниками пальто.

— Я знаю. А из выбитых золотых зубов делали украшения для жен нацистов, а из жира, вытапливаемого из трупов,— мыло, но только для простонародья, нацистские бонзы пользовались французским мылом, все это я приняла бы за страшную сказку, если бы не выплыла эта история с женщиной-комендантом одного лагеря, эта женщина сделала открытие, что из человеческой кожи пергамент получается почти столь же высококачественный, как из свиной, вот и стали изготовлять из этого пергамента абажуры для ламп, этот бизнес процветал. После войны, когда все это стало известно (разве поверят в это внуки и правнуки тех, кто жив теперь и жил тогда?), я выпорола из одежды все суровое полотно и сожгла все абажуры. Только что от этого толку? Какой толк от того, что мы нагромоздили поверх газовых камер три десятилетия, переполненные национальными добродетелями? Вина остается виной. Но спроси-ка добропорядочных христиан, веруют ли они в то, что повторяют в «Символе веры»: «Верую в Иисуса Христа, грядущего со славою судити живым и мертвым». Спроси их, верят ли они, что именно их не будут судить, и спроси их, знают ли они, что им зададут вопрос: «Каин, где брат твой Авель?» Да что уж говорить о христианах, они не верят ни в одно слово из своего кредо. Разве тогда они молчали бы? Разве они не должны были бы кричать если не из элементарной человеческой порядочности, то хотя бы из страха перед судом божьим? Разве не должны были бы кричать хотя бы священнослужители, все, а не только двое-трое? Разве сам папа... Но оставим его. Иногда я страстно желаю, чтобы с христианами случилось то, что произошло с иудеями. Но как просто было обнаружить еврея — и как трудно опознать христианина. Не следовало ли при крещении выжигать на каждом крест, как выжигают тавро на коровах, чтобы знать, кому они принадлежат, и горе тому, кто изменит заповедям? Только о чем я тут веду речь? Чего только не проповедовали после войны, сколько было готовности к покаянию и благих намерений! А что из этого вышло?

Клара описывает правой рукой большую дугу, очерчивая часть города, которая открывается нашему взору: заново отстроенный, вылизанный дочиста, продезинфицированный, правовернохристианский, богатый, прилежный, приветливый, охраняемый милой жестокой полицией город.

— Если даже,— говорит Клара,— им удастся в значительной степени очистить от газа воздух и воду, трупный яд, поражающий их заскорузлую совесть, останется, и они будут погибать от него постепенно, потихоньку, даже сами того не замечая, потому что их мозг тоже отравлен. Считается, что умирают от рака или от инфаркта, однако это неверно, умирают от своих собственных неврозов, а это значит — от грехов, в которых они не раскаялись. Но попробуй скажи им про это, скажи с кафедры, или в исповедальне, или со страниц книги, или на приеме у врача, на приеме у психотерапевта, они ведь бегают на такие приемы, у нас в городе трое психотерапевтов, представь себе, и они делают свой бизнес, да еще и больничные кассы платят за то, что человеческую совесть направляют по ложному следу, вот и получается, что в болезнях теперь повинны родители и школьные учителя, или муж, или жена, в общем, все общество введено в заблуждение, всегда виноваты другие, только кто откровенно скажет, как все обстоит на самом деле, кто скажет, что грех представляет собой нечто похожее на своего рода вирус, весьма опасный для организма, кто должен сказать об этом, если врачи и священнослужители сами ничего не понимают, что такое грех, ведь они сами утратили веру. Что ты на меня так уставилась? Ты считаешь, что я, атеистка, проповедую как заправский пастор? А знаешь, я часто думаю: бомба огромных размеров, огромных размеров пламя, чистилище для всего зараженного человечества, очищение. И тогда земля будет голой, и холодной, и чистой, как зимнее утро или

как луна. Не будут больше люди ложиться костьми, не будет больше ложь носиться в воздухе, ты только представь себе, как это было бы прекрасно!

— Клара, Клара, Кассандра!

— Как на холодной, чистой Луне,— повторяет она в экстазе.

— Как на Луне, прежде чем на ее поверхность ступила нога первого американца,— говорит кто-то.

Мы даже не услышали, как по лестнице спустилась Стефания. Клара ведет себя так, словно она попалась, когда говорила неправду, когда по небрежности позволила себе совершить правонарушение, отклониться от правильного пути и это отклонение чуть было не стало порочным.

— Я иду в магазин,— говорит она вполголоса, надевает свою шляпку, берет сумку и собирается уходить.— Я иду в магазин,— повторяет она уже у двери, и на этот раз твердым голосом.

— Да, иди,— отвечает Стефания, словно Клара ждет ее разрешения уйти.

— Я иду на базар,— говорит Клара, и вот уже в ее голосе звучат упрямые нотки. «Я иду на базар» — сейчас это надо понимать так: мы — дети, порожденные виной и смертью, но что это может значить по сравнению с таким чудесным сентябрьским днем, тихо струящийся свет которого, свет от света, очищает нас и щедро одаряет надеждами, полными милосердия.

Качая головой, Стефания смотрит вслед уходящей Кларе. Ах уж эта Клара. Время от времени на нее находит такое, и тогда она просто не может иначе, и тогда она собственными зубами выдергивает нитки из хирургических швов, какую бы боль ей это ни причиняло. И тогда опять открывается рана. И никаких сроков давности не существует.— Но о чем вы, собственно, беседовали?

— О городе, с которым Клара в состоянии войны.

— Клара со всем миром в состоянии войны. Только ты не принимай на веру ее слова, когда в них столько пессимизма. На самом деле она влюблена в жизнь. Мне бы ее способность надеяться и ее силы. Все же о чем вы беседовали, не о Доре ли, по-моему, о ней, я слышала, вы часто называли ее имя, у меня обостренный слух, учти.

— Да, мы говорили о Доре. Если тебе известно, то скажи, пожалуйста, что сказал ей Флекман, когда стоял около полицейской машины. Но, по всей вероятности, ты этого не знаешь. (Это вызов невинный, но действенный.)

— Нет, почему же, хорошо знаю, мама мне рассказывала про это, только до сих пор никого, кроме тебя, не интересовало, о чем там говорилось. Впрочем, они вообще ничего не говорили, за исключением одной фразы, сначала они только смотрели друг на друга сквозь решетки, потом Флекман вытащил из кармана трубочку и передал Доре. Она посмотрела на эту трубочку и вернула ему ее, вот тогда-то она и произнесла одну-единственную фразу: «Это пригодится вам. Желаю вам умереть более легкой смертью, чем моя, да поможет вам бог». И тут появились гестаповцы, и машина тронулась в сторону Мюнхена, оттуда отправлялся поезд на Терезиенштадт.

— До вас дошли какие-нибудь известия о ней?

— А откуда мы знали бы, что она добралась туда? Мы получили уведомление о ее смерти. Дорино благое пожелание, обращенное к Флекману, осуществилось для нее самой: ей выпала на долю совсем легкая, прекрасная смерть, об этом рассказали трое, которые живыми вернулись оттуда, такое, между прочим, тоже случалось иногда, кто-то оставался в живых, и вот они рассказали, что для еврейских девочек в лагере Дора была как мать, а когда она умерла в сорок первом году, это была благостная смерть в кругу скорбящей

семьи, смерть куда более благостная, чем смерть Флекмана,— в общем, каждому выпала подобающая ему кончина. Ты не собираешься пойти сегодня к Берти и навестить старую фрау Мак?

— Собираюсь,— говорю я Стефании. Собиралась ли я, говорила ли я Стефании, что собираюсь, не помню, быть может, это как раз то, что мне действительно хотелось сделать, правда, мне кажется, что я и часу не смогу обойтись без этого сентябрьского света, этого света, который ласкает кожу и теплой росой омывает глаза. Как можно променять его на серый, спертый воздух, наполняющий тот осыпанный пеплом дом, в котором смерть бродит как старый усталый пес, безразлично обнюхивающий отбросы.

— Ты пойдешь со мной, Стефания?

Нет, она не пойдет со мной.

Я не спешу, я еще мешкаю, прежде чем выйти из дома, потом иду окольными путями, говоря себе, что меня никто не заставляет идти в дом для престарелых. Но я-то знаю, что сделаю это, хотя и не сразу. Однако что же это такое, из-за чего я не в силах забыть, что все окольные пути не приведут меня никуда, кроме дома для престарелых? Что же это такое, что держит меня, в конце концов случайно оказавшуюся в этом городе, в своих когтях, как ястреб дрозда? Как это могло случиться, что я утратила свою свободу, и ради кого? Разве есть у меня теперь еще какая-нибудь свобода, кроме свободы отказа от сопротивления? Я пытаюсь не придавать значения этому обстоятельству: ну, и что же тут такого, что я зайду ненадолго к Берти и потом совсем на минутку загляну к матери Георга, всего лишь две ни к чему не обязывающие беседы перед песочными часами, быть может, я что-нибудь узнаю от матери Георга из того, что мне еще неизвестно, ведь я любознательна, меня всегда одолевает любознательность, желание знать людей, знать человека, но как можно беседовать с глухой женщиной?

В конце концов я все же оказываюсь у ворот дома для престарелых, там дежурит молодая сестра, она говорит, что фрейлейн Каунигер куда-то вышла, ее смешит мое озадаченное лицо, которое выдает, как плохо я знаю Берти, ведь я даже не представляю себе, как быстро она оправляется от потрясений.— А вот фрау Мак дома, она никуда не выходит, она глухая и упорно отказывается от слухового аппарата, который ей подарил приход в память о ее сыне (какой дорогой подарок, какая дешевая попытка откупиться, думаю я, но не говорю этого вслух). Впрочем, стучаться к ней бесполезно, она все равно ничего не услышит, так что просто входите, она всегда сидит лицом к двери, чтобы никто не застал ее врасплох.

Не так-то просто открыть без стука чужую дверь, ведущую в комнату чужого человека, ведь в сущности это проявление нескромности и дерзости, правда невольной, но подобное может позволить себе разве что врач или тюремный надзиратель.

Фрау Мак сидит в кресле, спина у нее такая же прямая, как спинка кресла, а ноги стоят так же строго параллельно, как деревянные ножки кресла. Она сидит, как пригвожденная. Она повязалась платком, как это делают старые крестьянки, ведь, как потом она мне рассказала и показала, у нее после пожара в церкви совсем не осталось волос, они совсем перестали расти, часть волос сгорела, часть выпала. Она держит руки на коленях и, когда я вхожу, что-то быстро прячет в карман, это четки, почему она их прячет, может, для того, чтобы по крайней мере это осталось ее тайной и ее неотъемлемой собственностью, ведь в этом доме жильцам не оставляют ничего своего. У нее совиные глаза, которые она широко раскрывает при моем появлении, словно это поможет ей слышать меня. Но глаза эти подернуты пленкой, они напоминают глаза слепых, они могут оказаться и стеклянными, они почти неподвижны, даже движения век почти незаметны, кто знает, что видят эти глаза, в которых нет ни малейшего следа

удивления или любопытства, а только безысходная, безбрежная даль пустынного ландшафта.

— Надеюсь, я вам не помешала, фрау Мак?

В ответ ни слова. Я подхожу ближе и повторяю свой дурацкий вопрос.

Мне кажется, что пустыня ее глаз просыпается, словно от дуновения легкого ветерка, который вздымает волнами зыбучие пески. Однако в ответ ни слова.

Но меня это не смущает, я чувствую, что фрау Мак меня прекрасно понимает, пусть не слышит, но видит или угадывает внутренним чутьем. Я вынимаю из кармана листок бумаги и пишу: «Я родственница Клары Мартин и ребенком играла с вашим сыном Георгом».

Я подношу к ее глазам записку, она читает, в этом нет сомнения, потом говорит без доброжелательности, но и без недоброжелательности:— А что вы хотите?

Я наклоняюсь к ее уху и говорю:— Мне очень хотелось бы узнать побольше о вашем сыне.

Поняла ли она? Она пристально смотрит на меня, а потом говорит:— Садитесь, вам незачем кричать, когда вы отчетливо произносите слова, я могу прочитать их по губам.

Итак, я прошла проверку и пока что меня приняли. Возможно, это опять слово «Клара» сделало меня достойной доверия.

— Вас прислала Клара?

— Нет.

— Вы помните моего Георга?

— Очень смутно.

— Почему же тогда вы хотите что-нибудь узнать о нем?

— Я была в приходской церкви и видела там мемориальную доску.

— Без нее мы бы с удовольствием обошлись,— говорит она жестко.

— Я могу себе это представить, фрау Мак, потому-то я и прикрепила под нею листок, на котором написала, что не американские бомбардировщики убили пастора, а фашисты, развязавшие войну, с которой удалось покончить при помощи американских бомбардировщиков.

Она внимательно слушает меня, однако сейчас в ее взгляде сквозит недоверие. Она наверняка размышляет, во что могут вылиться мои слова и мой визит, она чует ловушку, каждый вопрос может оказаться ловушкой. Отвечать на вопрос — значит подвергать себя опасности, отдавать себя на произвол собеседника, ведь каждый может извратить даже самый правильный и даже самый правдивый ответ. Печальный опыт подобного рода у нее есть. Я даю ей время осознать, что кажущаяся ловушка — в действительности не что иное, как корзинка для собирания малых истин.

— Да,— наконец говорит она, и это, очевидно, последнее звено длинной цепи вызванных осторожностью размышлений,— да, мой Георг.

Потом из-за выреза платья она вынимает почерневшую серебряную цепочку, на которой висит маленький туго зашнурованный кошелек. Она открывает его и извлекает что-то вроде бесформенного медальона, черного, невзрачного и малоприятного на вид. Она протягивает его мне, чтобы я посмотрела на него, но не прикасалась к нему. Я не понимаю, что это, собственно, такое.

— Это,— говорит она,— это все, что у меня осталось от моего Георга, я нашла это на церковной площади на том самом месте, где он сгорел, я побежала туда еще во время налета, а потом мне в волосы полетели искры, и кто-то, это был ризничий, оттащил меня в сторону, с тех пор... (Она снимает платок, на ее черепе ни волоска, огонь сделал свое дело, волосы погублены до корней, на этой красной, сплошь

из шрамов состоящей поверхности никогда больше не вырастет ни один волосок, она снова повязывается платком.)

Теперь я внимательно рассматриваю то, что она носит как амулет на шее: это кусочек металла, сплавившегося с тем, что, как утверждает фрау Мак, является осколком кости. Прямо-таки мощи. Она снова кладет их в кошелек, закрывает его и опять прячет в вырезе платья. Я потеряла дар речи, она угадывает это и отмечает с удовлетворением. Кто в подобный момент подобным образом молчит, тот, наверно, заслуживает доверия.

— Вы из газеты? — спрашивает она.

— Нет.

— Тогда, наверно, с радио или телевидения?

— Тоже нет, почему вы так думаете?

На протяжении последующего часа я узнаю, что после войны к ней приходило множество журналистов, немецких и иностранных, им хотелось что-нибудь узнать о ее сыне, антифашисте, пасторе-мученике. Она всем им сообщала необходимые сведения, отчасти потому, что тогда еще была более разговорчива, отчасти потому, что это давало ей возможность говорить о сыне, но прежде всего потому, что разговоры о нем приглушали ее боль материнской гордостью за него. Она неустанно сообщала необходимые сведения, всегда одни и те же, ведь во веки веков ничего уже не изменится в том, что произошло и как произошло. Но когда потом фрау Мак прочла в газетах и журналах, что она якобы говорила (преподавательница гимназии перевела ей даже сообщения иностранных газет), ее охватил ужас. Чего только они не сделали из ее простого сурового рассказа, как все извратили, как надушили елеем.— Разве я это говорила, да не говорила я такого, это совсем неверно, таким сын мой вовсе не был, не был он оперным героем, и вообще не был он героем, таким, о котором можно было бы написать: «Живой факел, с молитвой на устах принявший смерть», «Павший при героическом исполнении обязанностей», «Сгоревший в огне зажигательных бомб на ступенях алтаря с молитвой на устах» (даже факты искажены), «Герой веры», «Пастор — участник Сопротивления», «Пламенный пример для молодого поколения» (автор наверняка очень гордился тем, что обнаружил убийственное двойное значение слова «пламенный»).

Фрау Мак, не вставая, подтягивает к себе выдвижной ящик столика и вытаскивает оттуда кипу газет, пожелтевших и зачитанных, сорок пятого — сорок шестого годов.— Вот прочтите это,— говорит фрау Мак.— Это статья из «Тагеблат», которая снова так называется, после того как четырнадцать лет она именовалась «Фольксварте».— Статья напечатана в черной рамке, как извещение о смерти. Я читаю:

«3 апреля 1943 года умер пастор городской общины Георг Мак. Это — извещение о смерти, хотя тот, о чьей смерти извещается, погиб три года назад такой гибелью, которая стала известной далеко за пределами нашей страны. К чему же тогда это новое извещение? Потому что мы никогда не должны переставать извещать о такой смерти. Среди народа, позволившего одурманить себя национал-социалистской идеологией, среди народа преступников или, по крайней мере, трусливых приспешников, в том числе и внутри католической церкви, в атмосфере всеобщей духовной развращенности нашелся в нашем городе человек, бросивший вызов в лицо дьяволу. Десять лет он был пастором в нашем городе, десять лет, каждый день вновь и вновь рискуя своей жизнью, он поднимал голос против фашизма, а там, где он был вынужден молчать, он молчал на свой лад, достаточно понятный властям. Его проповеди придавали нам силы однако его самого трижды приводили в гестапо. Только особому покровительству человека, память которого мы также не боимся почтить в этой связи, он был обязан своим спасением: господину доктору Артуру Флекману, бургомистру нашего города.

Когда пастор городской общины Мак умер, служа богу и молясь ему, захваченный врасплох упавшими с неба бомбами, поглощенный огнем, дым от этой чистой жертвы свечой взвился к небесам. Нас же когда-нибудь спросят: «Каин, где твой брат Авель?»

Статья подписана буквой «N». Я думаю, что за этим скрывается Нильс. Я думаю также, какой странный, посвященный католическому пастору некролог написал атеист и член масонской ложи. Все это, по-видимому, было не так просто, как думается Берти.

— Очень хорошо,— говорю я, возвращая фрау Мак газету.

— Да, да, очень хорошо,— вторит она сухо.— А теперь почитайте вот это. Газета датирована пятьдесят третьим годом, это тоже страница из «Тагеблат».

Заголовок: «Начинаем ли мы забывать?»

«Исполнилось десять лет со дня смерти пастора нашего города Георга Мака, погибшего во время налета американских бомбардировщиков 3 апреля 1943 года. Он был одним из немногих честных людей нашего города, которые противостояли дьявольскому режиму, нацистским правителям. Не щадя себя, подвергаясь смертельной опасности, он двенадцать лет подряд проповедовал — сначала капелланом, потом пастором — дух свободы и человечности против бездуховности фашизма. Если тогда в нашем городе не угас светоч духа, то этим мы обязаны ему, спокойному, серьезному человеку; он, несмотря на хрупкое телосложение, сумел противостоять всесильному злу, которому трусливо подчинились миллионы немцев. Тем не менее складывается впечатление, что мы склонны предать забвению этого человека, а также и всю катастрофу фашизма. Это подтверждается тем обстоятельством, что ни город, ни община до сих пор не нашли времени и средств, чтобы поставить памятник этому борцу Сопротивления».

— Да, да,— говорит фрау Мак,— памятник, его собирались поставить на Марктплац, там, где теперь водружена лошадь или что-то вроде этого, считается, что это в современном духе; говорится, что это лошадь, но это что угодно, только не лошадь, да все равно, в любом случае памятника моему Георгу там нет, сколько ни говорил и ни писал об этом господин Нильс, он умер и ничего не добился. А теперь прочтите вот это:

«3 апреля 1963 года.

Двадцать лет назад при налете американских бомбардировщиков на наш город погиб наш пастор Георг Мак. Церковь превратилась в пламя. Застигнутый врасплох в церкви, пастор заживо сгорел на церковной площади. Он был в нашем городе одним из немногих борцов Сопротивления третьему рейху. Более десяти лет назад было решено поставить ему памятник. До сих пор это не сделано. Не установлено даже скромной мемориальной доски. На героев тех лет нет больше спроса. Жертвы фашизма, очевидно, воспринимаются сегодня лишь как помехи для нашего общественного сознания, которое, в эйфории экономического чуда, отрицает собственное прошлое, словно истории фашизма не существует вообще. Но если мы забываем нашу собственную историю, то она не забывает нас. Общество, которое страшится своего прошлого и предает его «забвению», оказывается в положении человека, который отстраняет от себя сознание своей вины, но расплачивается за это собственным здоровьем: тень, наличие которой не желают признавать, рано или поздно появляется, но это уже невроз. Наше общество экономического чуда — общество невротиков. Нежелание хранить память о пасторе-антифашисте является явным симптомом коллективного невроза в тяжелой форме. Какая же потребуется новая катастрофа, чтобы излечить это общество посредством шоковой терапии?»

И эта статья без подписи, господин Нильс уже не может быть ее автором. Фрау Мак не знает, кто написал эту статью. Она снова складывает газеты в кипу (есть еще много других, но она утверждает, что во всех сказано более или менее одно и то же) и убирает их в выдвижной ящик.

— А потом,— говорит она,— понадобилось еще десять лет, прежде чем почтили память моего Георга, хотя бы в приходской церкви города, да и памятник съежился до размеров маленькой доски — торжество было жалкое, епископ не присутствовал, бургомистр куда-то уехал по делам, впрочем, каждому ясно, почему он уехал: ведь когда-то он был нацистом, приспешником нацистов, он тогда был совсем молоденький, но и теперь утверждает, что нам требуется твердая рука, стране нужны покой и порядок, он, как говорят люди, неофашист, только я в этом плохо разбираюсь, сегодня вообще трудно понять, чего в действительности хотят отдельные партии. Пожилых людей бургомистр вполне устраивает, ибо он не собирается ничего менять, а молодые настроены критически, даже католическая молодежь против него, состоялось уже несколько демонстраций, так что его кресло качается. Потом был скандал при освящении мемориальной доски: явилась делегация коммунистов с большим венком, перевязанным красной лентой, а теперешний пастор не захотел пустить их в церковь, тогда начали скандировать лозунги, вся молодежь собралась, между прочим, там была и Клара Мартин, да еще и впереди всех, и все кричали:

Пожрать нам охота,
Не наша забота —
Духовная пища,
Глупцов уж не сыщешь.

Тогда пастор вызвал полицию, и она явилась с дубинками — это было самое простое решение вопроса: торжеству пришел конец. А в газете сообщили только о том, что установлена мемориальная доска. И теперь — теперь можно спокойно забыть моего Георга, кто-то выполнил свой долг, уже не надо мучиться угрызениями совести, деньги на мемориальную доску пожертвованы, теперь она там, достаточно высоко, чтобы никто не мог прочесть, что на ней написано, да и кому охота ради этого сворачивать шею. Так уж оно бывает, таков человек: ему надо иметь возможность забыть. Для меня же то, что написано на доске, означает медленную смерть. Как угасает память горожан о моем Георге, так угасаю и я, мы умрем вместе. На моих похоронах священник скажет: она была матерью пастора, сгоревшего в бомбежку. Вот все и миновало; пастор мертв, мать его мертва, а мне порой думается, боже, прости мне эти слова, все кончено навсегда, и все было напрасно — и жизнь, и смерть, и вообще все, что происходит, все просто проваливается в какую-то глубокую черную дыру, и не слышно, чтобы там, внизу, что-то было. И вот теперь я спрашиваю вас: во имя чего в тридцать пять лет умер мой муж, он был учителем и хорошим человеком, и ради чего суждено было сгореть моему Георгу, который для меня все. Да, если бы знать, что это делалось ради чего-то, тогда уж пусть, но так...

Из ее широко раскрытых глаз вдруг потекли слезы; сначала в уголке левого глаза появилась одна слеза — она отыскала одну из многих морщинок, которые проходят от строгого прямого носа мимо рта к морщинистой шее; потом слеза покатилась за слезой, исчезая в вырезе платья, и, наконец, это уже целый поток — женщина плачет навзрыд, с застывшим лицом; она предлагает миру водопад слез; пусть видит его кто хочет, только пусть никто не пытается его остановить, он должен быть. Настало время выплакаться после долгих лет изнурительной засухи.

Я уже слышу в коридоре гуденье лифта и стук качающейся двери — это начинают развозить пищу; ее привозят и ставят каждому

на стол независимо от того, хочет ли он есть или нет, видит он, или только чувствует запах еды, или осязает ее, спит он или плачет, и даже тому, кто отвергает пищу, ее ставят на стол и оставляют. Вот она, бодрящаяся, но раздражительная молоденькая, свежая девушка с жестяным подносом в руках.— Приятного аппетита! — Ее взгляд падает на мокрое от слез лицо: — Ах, что ж это такое, что сегодня стряслось, фрау Мак, может, нам плохо?

— Нет, нет, мне хорошо, спасибо.

Девушка, чрезвычайно довольная тем, что ей не надо распутывать какую-то печальную историю, быстро исчезает за дверью. Только бы никаких лишних забот, работа в доме для престарелых и без того не сахар и не мед, к тому же еще и мало платят, и вместо надбавки — пустые обещания, ну, конечно, с какой стати тут растрачивать себя даром, а теперь дальше, к следующему, что же все-таки случилось с фрау Мак, сколько я работаю здесь, в доме, ни разу не видела, чтобы она плакала, сидит всегда точно пригвожденная или на кол посаженная, не говорит ни словечка, делает вид, что глухая, а ведь сегодня, к примеру, она меня сразу поняла, как она плакала, просто удивительно, откуда в таком высохшем теле взялось столько влаги для слез.

И вот уже распахивается следующая дверь: ага, господин такой-то, вот вам хороший супчик, этот, по крайней мере, не разучился смеяться, приятного аппетита.

А фрау Мак вытирает слезы, медленно, рукавом блузки. Я протягиваю ей свой свежий носовой платок, она отказывается взять его; эти слезы ее сугубо личное дело, ее законная собственность.

— Однако,— говорит она неожиданно крайне официальным тоном,— я вам надоела, пожалуйста, не задерживайтесь, у вас есть дела поважнее, чем сидеть и слушать хныканье старой женщины.

Казалось бы, это конечная точка, но я чувствую, что это лишь пауза, промежуток между двумя главами. Она не может найти перехода — надо ей помочь.

— Фрау Мак, в то время я тоже многое потеряла, поэтому я рассуждаю о горе не так, как слепой рассуждает о свете, поэтому я, быть может, вправе кое-что сказать вам: то, что кажется столь бессмысленным, тем не менее не лишено смысла, вы ведь и сами это знаете, не так ли?

Эта фраза, которой отводилась роль мостика в разговоре, которая вовсе не претендовала на интеллектуальность и утешительность, оказывается ключом к мрачной, очень мрачной одиночной камере, где полно всяких орудий пыток. Фрау Мак немного приоткрывает ее дверь.

— Дело ведь не только в смерти и в забвении,— говорит она.— Самое скверное, действительно скверное — это мысли. Сидишь тут день за днем, год за годом и, что поделаешь, все время думаешь. Хочется что-то прочитать, но не читаешь, хочется помолиться, но не молишься, только все думаешь и думаешь.

Она умолкает и удивленно осматривает меня, словно очнувшись после гипноза.— И чего я вдруг рассказываю вам, совершенно чужому человеку, такие вещи, что это со мной стряслось, извините, но то, что я делаю, просто никуда не годится.

Я молчу, только смотрю на нее в безмолвном ожидании. Я знаю, теперь для нее уже нет пути назад, и она сама это знает — ведь ее так и тянет рассказывать, ведь ей надо хоть однажды выговориться, а то, что я «совершенно чужая», это как раз хорошо, ибо разговор со мной — это почти монолог. И вот черная дверь открыта, распахнута настежь.

— Самое скверное, ах, это так скверно, просто передать невозможно, как это скверно. Дело в том, что я до сих пор не знаю, дейст-

вительно ли мой Георг хотел стать пастором. Он был таким тихим ребенком, таким послушным и таким смирным, воспитывался без отца, для меня он был всем на свете, я всегда думала, что лучше меня матери быть не может, я только для него и жила и работала, я ради него отказалась еще раз выйти замуж, я не хотела размениваться, мое чувство должно было принадлежать ему одному безраздельно, я должна была посвятить себя своему сыну целиком, но в этом уже была ошибка, я могла выйти замуж за аптекаря, и мне надо было сказать самой себе, что это было бы хорошо для моего Георга, сама я при своей крошечной вдовьей пенсии никогда не смогла бы оплатить его университетское образование, а если бы я снова вышла замуж, я смогла бы это сделать, но я и помыслить не могла о том, чтобы рядом со мной был другой мужчина, я просто закрывала глаза на будущее, я водила моего маленького Георга за руку, мы вместе ходили в церковь и на могилу отца Георга, и когда я держала в своей руке его маленькую ручку, все было хорошо, а когда он прижимал свое личико к моему лицу, я чувствовала себя счастливой, и я думала, что мой Георг тоже счастлив, а однажды я его спросила, кем он хочет стать, и он ответил: «Не знаю, мама», тогда я сказала: «А ты не хочешь стать пастором?» — и он ответил: «Если ты этого хочешь, мама, то с удовольствием». Потом он поступил в духовную семинарию — обучение там не стоило ни пфеннига, он был таким хорошим учеником и таким хорошим сыном, всегда немного слишком ласковым, но таким старательным, потом мы отпраздновали с ним его первую мессу, а вечером я его спросила: «Ты счастлив, Георг?» — и он ответил: «Мама, я живу на земле не для того, чтобы быть счастливым». Боже мой, как я тогда была глуха и слепа, я подумала, что это слова будущего святого, но теперь-то я знаю, что́ они значили: «Как я могу быть счастлив, ведя ту жизнь, которую ты с твоей эгоистичной лжелюбовью выбрала для меня?» Но как я могла тогда это понять? Я видела, что он не был счастлив, но я думала: он такой серьезный — это у него от меня, он так серьезно относится к своему служению — это у него от отца, да и время ведь не такое, чтобы быть веселым, тем более пастору, тут требуются и серьезность, и самопожертвование. А сама я чувствовала себя при этом необыкновенно счастливой, я кормилась его несчастьем, я понемногу съедала собственного ребенка и все для того, чтобы я, мать пастора, чувствовала себя счастливой, я не хотела видеть, что мой Георг жертвовал собой ради меня, а он, он молчал, он ни разу за все эти годы не заговорил об этом, он совершенно замкнулся, все таил в себе, но́ если бы кто-то пронзил его душу, она истекла бы кровью, которая хлынула бы из нее вместе с водой, как бывает при ранении в грудь, но никто этого не сделал, так мы и жили рядом друг с другом год за годом, я готовила ему такие вкусные блюда, комнаты так и сияли чистотой, а алтари всегда были так празднично украшены, и бедняков я посещала, о, какой хорошей матерью пастора я была, такой я была хорошей, столько благости я взвалила на моего Георга, что он задыхался под этим бременем, смерть была для него избавлением от меня, он мог бы убежать подальше от бомб, как другие, которые были рядом с ним, но не захотел, он предпочел сгореть, а если он потом все же побежал, то от физической боли — ему, слава богу, не пришлось долго мучиться. Теперь вам понятно, что это такое — сидеть здесь и постоянно думать одно и то же: герой Сопротивления, искавший опасности оттого, что он несчастлив, так несчастлив, что готов был погибнуть,— даже огонь, упавший с неба, для него желанней жизни. Правда, потом я думаю иначе: а все же он был героем Сопротивления. И еще я думаю: счастлив он был или нет, но он был хорошим пастором, а это самое главное. Но потом вдруг снова: а кто знает, что такое — хороший пастор, а может, дело совсем в другом. Ах, уж это кружение мыслей, какой-то заколдованный круг.

Когда фрау Мак произносит последние фразы, я вдруг слышу, как кто-то сопит и пыхтит за дверью, и вот уже дверь без стука открывается: это Берти. Она входит, глупая корова, сопя, вся в красных пятнах.— Так, так, значит, ты здесь, отчего же ты не зашла ко мне и чего тебе здесь надо, хотела бы я знать, что это ты тут обсуждаешь с фрау Мак?

— Берти, немедленно отправляйся к себе в комнату, ты слышишь?

— С какой стати?

Взгляд Берти останавливается на маленьком подносе, стоящем на столе.

— Вы не будете есть, фрау Мак? — восклицает она.

Я выталкиваю Берти из комнаты, как неодушевленный предмет, и закрываю за ней дверь, но она снова открывает ее и жалобно говорит: — Ты ко мне не зайдешь, мне ведь так одиноко?

— Ладно, зайду, но при условии, что ты немедленно уйдешь.

— Бедная Берти,— говорит фрау Мак,— бедная Берти, это я сейчас так говорю, но когда-то я говорила по-другому.

— Фрау Мак, может быть, вы все же съедите хоть что-нибудь?

На этот раз она действительно не слышит меня, занята чем-то, что целиком поглощает ее внимание: ее широко раскрытые глаза ищут в комнате, и на полу, и на всей земле какую-то опору, они не находят ничего, кроме амулета, который ее подагрические руки неожиданно с дрожью извлекают из разреза платья и сжимают, тощая морщинистая шея вздувается, сонная артерия пульсирует, как при высокой температуре, под кожей словно извиваются змейки, которым нет выхода. Что-то происходит, что-то рвется наружу, мне хотелось бы уйти или по крайней мере не видеть всего этого, мне не хочется быть свидетельницей таких потрясений, однако я не могу отвести от нее взгляда, против моей воли и вопреки разуму это зрелище захватывает меня. Наконец таинственный процесс обрывается — бьют часы, один-единственный раз, очень громко, это не церковные колокола, в комнате часов тоже нет, это скорее похоже на удары большого гонга, но в доме нет гонга, я так, видно, и не узнаю, что это были за удары, но они принесли избавление; фрау Мак заговорила, чары развеялись.

— Однажды,— говорит она совершенно спокойно и просто,— однажды я сказала про Берти: «Эта эсэсовская потаскуха, эта детоубийца». Мой Георг услышал это, он не произнес ни «да», ни «нет», только посмотрел на меня и потом сказал: «Дальше».— «Что дальше?»— «Дальше, выговорись до конца».— «Ну, что ж: эта детоубийца, и ее мать-прелюбодейка, и тетка, та самая Мина Мартин,— проститутка, содержанка Флекмана, а эта лицемерная горбунья Клара, нагулявшая брюхо неизвестно от кого, а этот Флекман, дьявол, который всех нас провел, разыгрывая из себя этакого доброго нациста, и весь этот погрязший в разврате, изолгавшийся город». Мой Георг все выслушал и сказал: «Стань на колени!» — «Что, мне стать на колени, с чего это вдруг?» — «Говорю тебе, стань на колени! — И повторил еще раз: — Стань на колени!» Меня так испугал его взгляд, что я не посмела воспротивиться. «Так,— произнес он,— а теперь повторяй все, что ты только что сказала, живо!» — «Да ты что, господь с тобою, обезумел ты, что ли?» — «Ты сейчас повторишь: «Я назвала Берти Каунигер потаскухой и детоубийцей», живо, быстрей, не вставай с колен, ты на исповеди, понятно?» Я хотела подняться и выйти из комнаты, но он загородил мне дорогу и молча указал на пол, тогда я опустилась на колени и сделала то, чего он хотел, я исповедалась ему, а когда я кончила исповедоваться, он сказал: «Ты забыла один свой грех». При этом он не сказал ни «мама», ни «мать».— «Что же это за грех, мой Георг?» — «Покайся в гордыне, лицемерии, заносчивости, живо!» Я

это сделала. «И еще в одном грехе покайся!» — «В каком же, Георг, в каком?» Тогда он бросил на меня ужасающий взгляд и сказал: «Мне ты можешь в нем не исповедоваться, скажи о нем своему судии, только немедленно». Я сказала, что признаю себя виновной во всех грехах, которые мой сын, пастор, находит во мне. Но он продолжал ждать. Тогда я начала плакать от страха, и наконец он сказал: «Ты не ведаешь об этом грехе, но однажды ты узнаешь о нем и тогда покаешься. Absolvo te[1]. Иди, но за мир в твоей душе я не ручаюсь». Потом мы никогда больше не говорили об этом грехе, но на следующий день, в церкви, когда я причащалась, он помедлил и посмотрел на меня так, что я готова была подняться со скамьи причастников и уйти, но какой это был бы скандал. Позже, когда я принесла ему завтрак, он взял меня за руку и сказал: «Бедная мама, на свете так много лишних жертв». Так мы и дожили до третьего апреля сорок третьего года.

Снова открывается дверь, на этот раз угрюмо-приветливая девушка входит, чтобы забрать поднос.

— Ай-ай-ай, фрау Мак, что видят мои старые глаза, мы совсем ничего не ели, так больше нельзя, а то мне придется сказать об этом матушке настоятельнице и дяде доктору.

Но даже это до глупости свежее дитя отчего-то вдруг начинает запинаться, что-то в этом помещении присутствует такое, что изгоняет ее взмахами крыльев и захлопывает за нею дверь, отделяя ее от того, до чего она еще не доросла.

Мне тоже здесь нечего больше делать, все прочее — это дело самой фрау Мак. Я встаю, но она меня удерживает, она берет мою руку в обе свои жесткие подагрические руки, влажные от пота, выжатого из нее тяжестью признания, она так долго жмет мою руку, что меня охватывает смущение, ведь благодарность, которую она безмолвно выражает, относится не ко мне, случайному и скорее малоприятному посетителю; как всегда, когда мне доводится быть причиной или свидетельницей чьей-либо исповеди, я ощущаю вдруг неодолимую потребность в свежем воздухе и холодном душе, потому что я тоже труслива, на свой лад. Поэтому я расстаюсь с фрау Мак, как только ослабевает ее рукопожатие, и спешу уйти, прежде чем она снова дотянется до меня всеми своими корнями, невидимыми, неосязаемыми.

В коридоре меня поджидает рок в лице Берти. Вот она стоит, «бедная Берти», эсэсовская потаскуха и детоубийца, стоит как огромная толстая корова, она что-то жует, видно, кто-то ей что-то сунул, может, неприветливая розовощекая девушка дала ей булочку, к которой не прикоснулась фрау Мак, Берти быстро запихивает остаток себе в рот и жует, но поскольку булочка, видимо, жестковата и в ней мало изюма (это я заметила еще раньше, как трудно справиться с ними шатким челюстям стариков, только кого это волнует, привозят, какие есть), она не может проглотить ее сразу, поэтому она жует и жует и действительно выглядит при этом как жвачное животное, и, поскольку на это Берти затрачивает все свои силы, она не может еще и глазам своим задать работу и, вытаращив их, смотрит прямо перед собой. «Бедная Берти». Я останавливаюсь перед нею, словно нас разделяет загородка в коровнике. Ну вот, она заглотала последний кусок.

— Я пойду с тобой,— говорит она обнадеживающе и берет меня под руку. Я делаю попытку освободиться от нее. От этой утраты свободы, из-за этих водорослей, из-за этих корней, обвивающихся во-

[1] Оправдываю тебя, разрешаю тебя (формула отпущения грехов у католиков).

круг меня, постепенно пришел конец моему терпению, я уже больше не могу, я стряхиваю с себя Берти.

— Ты по крайней мере могла бы поинтересоваться, устраивает ли меня то, что ты пойдешь со мной.

В ее взгляде полное недоумение и страх.

— Ну ладно, так и быть, пойдем.

Берти сияет.

Куда же нам пойти? Клара запретила мне приводить Берти с собой. Положение спасает сестра у ворот: — Вы куда, фрейлейн Каунигер, вам нельзя уходить, сейчас придет доктор, будет осмотр. В крайнем случае, вам можно выйти в сад, но не очень далеко, чтобы я могла вас позвать, когда подойдет ваша очередь.

Берти и этому рада, ей лишь бы на волю, лишь бы не оставаться одной. Бедная Берти. Вот она, переваливаясь с боку на бок, семенит возле меня, конечно, она снова взяла меня под руку, и делает она это как-то нахально, словно пытается проникнуть в тебя, словно втихую совершает кражу со взломом, насилие, от которого ломаются кости. Тупое отчаяние, подобно злокачественной опухоли растущее в ней, не осознаваемое ею самой, воспринимаемое ею не иначе как ненасытная потребность в еде и в людях, вызывается желанием заполнить пустоту существования — это разновидность отчаяния, когда уже ничем нельзя помочь; оно раздражает меня, передается мне, я вдруг спрашиваю себя: а почему бы и мне не остаться здесь — тогда я смогу на все махнуть рукой, перестану делать усилия, предамся утешительному безумию, которое снимет с меня всякую ответственность раз и навсегда.

— И чего тебе надо было от этой фрау Мак,— спрашивает меня Берти,— она ведь совсем рехнулась, не разговаривает ни с кем, никуда не выходит, даже на мессе не появляется, чего только не говорила ей по этому поводу мать настоятельница, но она глухая, а слуховой аппарат взять отказывается, не берет его — и все тут, и в церковь не ходит, представляешь, она, мать пастора.

— Берти, не очень налегай, я тебя не дотащу.

Тщетная просьба. Берти не внемлет. Я чувствую, как во мне постепенно нарастает раздражение. Какое мне дело до этой Берти, по какому праву она обращается со мной как со своей собственностью, как паук с запутавшейся в паутине мухой, которую можно по желанию съесть сразу или попридержать, и по какому праву эта мать пастора мучила меня своей исповедью, и по какому праву все эти люди вешают на меня, как вериги, свое прошлое, ведь отныне мне придется таскать их на себе, а какое все это имеет ко мне отношение? То, что я сама добивалась всех этих рассказов и исповедей, мне и в голову не приходит. Как у слона в зоопарке, чье душевное спокойствие кажется неисчерпаемым, десятилетиями накапливавшаяся в глубинах чрева и спинного мозга злость вдруг прорывается наружу, когда он начинает размахивать хоботом и шевелить ушами из-за какой-нибудь мухи или из-за вонзившейся в кожу колючки, а потом разражается оглушительным трубным гласом, от которого шарахаются глупые посетители зоопарка, так и у меня страшный гнев постепенно прорывается через многоступенчатую систему сознания и выплескивается на поверхность. Меня так и подмывает дать Берти пощечину, а может, и удушить ее, потому что Берти — совсем не Берти, это превратившаяся в дурацкий комок жира глупость всего города, это вопиющая, непроходимая, зловещая тупость, которая, как корова, пораженная болезнью мозга, безостановочно кружит вокруг самой себя, то и дело оглядываясь на собственный хвост, вертится по кругу, ни к чему не приходя, ничему не научившись, даже не догадываясь, что такое человек и чем он может стать, даже не предполагая, что это значит, когда бог, преисполнившись ужаса и сострадания, снисходит к нам, лемурам.

— Сегодня ночью,— говорит Берти,— папа снова стучал.

— Так,— отвечаю я сердито,— и почему же он стучит?

— Хочет забрать меня к себе,— отвечает Берти просто, и вот я уже обезоружена, Берти нетрудно вести со мной игру, потому что мысли об убийстве породили во мне чувство вины, которое требует искупления добротой.

— Куда забрать, Берти?

— В мир иной.

— А ты боишься смерти, Берти?

— Смерти? Нет, ее нет, а вот жизни я боюсь, долгих лет жизни. Я ведь сама понимаю, что старею, думаешь, не понимаю? Хоть бы я уж перестала понимать. Я ведь каждый день молюсь: папа, возьми меня к себе. Он каждый раз стучит трижды, сначала я думала: мне осталось еще три часа, потом — еще три дня, потом — еще три недели, а теперь я думаю: еще три месяца или еще три года. А теперь я хочу пить, ты ведь мне обещала мороженое, я хочу мороженого.

Поток снова прервался. Берти, на мгновение познавшая благо ясного разума, вновь погружается во мрак. Самое лучшее, что еще может с ней произойти,— это безболезненное умирание.

— Пойдем побыстрее поедим мороженого! — Она клянчит, как ребенок, как собака.

— Но ведь с минуты на минуту придет доктор.

— Да, да, но сначала поедим мороженого.

Теперь она меня тащит и подталкивает. Мы составляем странную упряжку, люди на улице смотрят нам вслед. На противоположном тротуаре тележка с мороженым, слава богу, значит, не придется идти в город. Я покупаю Берти мороженое в бумажном стаканчике, она вылизывает его своим длинным языком и съедает даже вафлю, которую другие обычно выбрасывают.

— Хочу еще.

И со второй порцией она расправляется в одно мгновение.

— Но теперь, Берти, нам надо вернуться, доктор вот-вот придет.

— Доктор,— говорит она,— он придет, да, он придет, он обычно говорит: «Ну, как мы себя сегодня чувствуем, покажите язык, прекрасно, а кровяное давление, бум, бум, все нормально, все в порядке», раз — и нет его, и это называется медицинским обходом. Зато у начальства совесть спокойна, все делается для престарелых, а доктор кладет деньги в карман ни за что. Дерьмо все это. А чего ты хотела от фрау Мак? Знаешь, что она мне напоминает: черную свечу, которую твоя тетя всегда зажигала в грозу. Ты больше пугалась черной свечи, чем грозы.

— Ты это еще помнишь?

— Я помню все, что было тогда. В самую сильную грозу Стефания выбегала из дому и хлопала в ладоши, когда ярко сверкала молния.

— В самом деле?

— Слушай, что я тебе скажу: она всегда была не в себе, а теперь эта история с мертвым Петером — это тоже ненормально.

— Ах, Берти, не стоит затевать этот разговор.

— Да, да, тебе хорошо говорить, тебе легко, ты ведь не сидишь в карусели.

— В какой еще карусели?

Она описывает указательным пальцем все более и более сужающиеся круги вокруг своей головы и вдобавок еще подражает жужжанию осы.

— Это я,— говорит она, проникаясь смиренным духом самопознания, которое меня трогает.

И все же я рада, что вдруг раздается голос юной сестры: — Фрейлейн Каунигер, медицинский обход!

— Будь здорова, Берти,— говорю я,— до свидания!

— Ты тоже будь здорова, но почему ты говоришь «до свидания»? Ты ведь никогда больше не придешь ко мне.

Это ее последние слова, последний взгляд, вполне ясный, она поворачивается и, не оглянувшись, захлопывает дверь со стуком, который означает конец. Теперь уже я — та, что чувствует себя одинокой. Напоследок Берти проявила выдержку и чувство собственного достоинства. Бывают ведь непредвиденные победы и неожиданные поражения. Я медленно бреду от дома для престарелых до Клариного дома; сентябрьское небо утратило частицу своего сияния.

Клара приготовила еду, Стефания уже сидит за накрытым столом, она в виде исключения пришла вовремя.

— Сегодня вечером я уезжаю,— говорю я, сама смущенная и удивленная внезапностью своего решения. Сестры не протестуют, это даже обидно: что́ я сделала, что́ упустила, если они совершенно равнодушно отпускают меня?

— Я была в доме для престарелых,— говорю я,— Берти чувствует себя вполне прилично.

Это известие не производит никакого впечатления.

— Я была и у фрау Мак.

— Да?

— Вы ее хорошо знаете?

— Я — нет,— говорит Стефания.

— Разумеется, я знаю ее,— говорит Клара,— и она тоже по-иному представляла себе свою старость. У матерей пасторов, как правило, в преклонные годы спокойная жизнь.

— А у нее разве нет? Спокойнее, чем она, жить просто невозможно.

— Ты так считаешь? — Кларин голос полон мягкой снисходительности, но ее пронизывающий взгляд впивается мне в глаза.

— Да, конечно,— отвечаю я,— у нее ведь, как у всех, свое горе, она никак не может забыть сына.

Клара говорит: — Значит, она рассказала тебе об этом! — Она подчеркивает «об этом», и я понимаю, что она имеет в виду нечто вполне определенное.

Я спрашиваю: — Она и с тобой говорила об этом?

— Она — нет.

— Кто же тогда?

— Тот, на ком для нее свет клином сошелся лет пятьдесят тому назад.

— Но, Клара, как можно помнить то, что было сказано полстолетия назад?

— Уж будто время что-нибудь значит,— отвечает Клара и смахивает эти полстолетия, словно высохший лист.— Когда мы еще были детьми, Георг сказал мне, что его мать хочет сделать из него священника, а он не желает, просто жалко обижать мать, жалко отказывать ей — ведь это мечта ее жизни. С одной стороны, это была жалоба, но, с другой стороны, тут было и иное: ему хотелось совершить нечто великое, хотелось стать мучеником, святым, поэтому он все-таки хотел стать пастором, и такая возможность ему представилась. Так что он согласился не только, чтобы осуществить мечту матери,— нечего ей и воображать такое. Он знал, чего хотел. Ради матери он не стал бы пастором, он стал им вопреки самому себе, он выстоял, но в сорок третьем году, видно, настало время, когда испытание, которому он себя подверг, должно было кончиться, я всегда ждала, что случится какая-нибудь катастрофа, я только не могла себе представить какая.

— Клара, если ты знаешь, что он стал пастором не только по воле матери, тогда пойди, пожалуйста, к фрау Мак и скажи ей это.

— Нет. Что это меняет в ее представлениях? Во-первых, Георг сам принес себя в жертву. Во-вторых, мамочка преспокойно смотрела, как он жертвует собой, она ошибается только в том, что думает, будто

он сделал это ради нее. Он сам себя уложил на другой жертвенник, который ей не дано видеть, потому что для этого в ней слишком мало благочестия.

Клара снова смеется своим будто из погреба доносящимся смехом.

— Слишком мало благочестия,— повторяет она.— Если бы только матушка услышала, что она недостаточно благочестива! Она считает себя самой благочестивой из всех престарелых пасторских матерей.

— Нет, Клара, ты заблуждаешься — ведь можешь заблуждаться и ты; она вовсе не самодовольна и не уверена в своей правоте, она сожалеет и раскаивается, я бы даже сказала: она в чистилище.

Клара невозмутима. Она говорит: — Пусть и сидит там, где ей больше нравится.

— Что ты имеешь против нее, Клара?

— Не люблю я этого.

— Чего «этого»?

— Когда люди так драматизируют свои переживания, как она.

— Однако...

В разговор вдруг вмешивается Стефания: — Георг был слишком красив для пастора.

Клара смотрит на нее с удивлением. Снова между обеими что-то происходит, чего я не понимаю, безмолвно скрещиваются и тут же опускаются шпаги, наступает короткая мучительная пауза, глава «Георг Мак и его мать», по-видимому, исчерпана. Никогда ничего я не услышу об этом. А многого не узнаю и вовсе, если уеду сейчас. Кто, например, столь вызывающе положил на могилу дяди Вилли букет рыжих георгин, кто эта, как говорила Берти, гоняющаяся за наследством мошенница, почему Георг Мак был слишком красив, чтобы быть пастором, как это Стефания отправляется в царство мертвых, кто на самом деле был отцом Клариного ребенка, не была ли Мина Мартин под конец помешанной и что собой представляет Кларин «черный осел»? Я уже жалею, что бросила фразу об отъезде. Нельзя ли взять ее обратно? Когда отходят вечерние поезда?

У Клары, которая сама никуда не ездит, расписание поездов всегда под рукой — это из-за поездок Стефании. Она надевает свои очки в стальной оправе и проглядывает расписание.

— Одиннадцать часов двадцать минут, скорый поезд.

Как-никак она выбрала самый поздний из всех подходящих поездов и тем самым пресекла всякие разговоры о более раннем отъезде.

— Что ты собираешься делать после обеда? — спрашивает Стефания.

— Не знаю.

— Тогда тебе придется довольствоваться моим обществом, потому что у Клары дежурство в библиотеке. Если хочешь, пойдем прогуляемся.

Ее слова ведут обратно на ту долгую, узкую, пыльную дорогу, которая кончается еще до того, как на нее ступишь.

— Если не хочешь, не надо,— говорит Стефания.

— Нет, почему же,— говорю я,— если у тебя не найдется более интересного занятия.

— Боже мой,— говорит Клара,— кончайте эти китайские церемонии, идите, пока солнце не село. И глазом не успеешь моргнуть, как стемнеет.

— Ох уж эта Клара,— говорит Стефания,— как она умеет нагнать на людей страх. «И глазом не успеешь моргнуть, как стемнеет», говорит она, и вот уже видно, как выпархивают летучие мыши.

Клара усмехается.— И не забудь еще про сентябрьские туманы, которые по моему велению подымутся из ручья ровно в пять, они обеспечат вам простуду, если вы не будете слушаться. А теперь идите, у меня дела.

Мы уходим, как двое детей, которым сказали: «Идите, прогуляйтесь хорошенько». Однако дети друг другу чужие, им друг другу нечего сказать. Я могла бы теперь задать все вопросы, которые меня интересуют, но у меня нет больше желания задавать их, мое любопытство исчерпано, я устала.

Наконец Стефания сама начинает разговор. Она говорит: — Не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь еще, поэтому хочу тебе напомнить о твоем обещании.

— Ты имеешь в виду дату на могильном камне?

— Я думала, ты уже об этом забыла. Люди всегда все быстро забывают. Так они устроены. Завидую я тем, кто способен забывать. У меня ужасно хорошая память. Клара говорит, я изобретаю прошлое. Но она не понимает. Потому что я вспоминаю не то, что она. Я — как мама. Как-то ей пришлось заполнять формуляр, где требовалось указать место рождения, но она его не знала, она сказала: «Это не важно, зато я знаю, что там была яблоня, которая приносила яблоки двух сортов, мой отец привил золотой пармен боскопу». Бабушка говорила, что так оно и было. Судья расценил это как проявление начинающегося слабоумия, и мама сразу же сообразила, что ей это выгодно: он будет считать ее слабоумной, она сможет уйти в свою собственную действительность, а его действительность, такую убогую, оставить без внимания. И вот она стала давать на его вопросы сплошь абсурдные и странные ответы. Он, например, спрашивал: «Что сегодня на обед?» А она отвечала: «Когда солнце будет на ущербе?» Он говорил: «Ты хочешь сказать, луна на ущербе». Она отвечала: «Нет, солнце на ущербе: если бывает полнолуние, то должно же быть полносолнцие, полусолнцие, солнечный серп». Когда она начинала говорить такие вещи (такой вздор!), он, словно старик учитель, принимался объяснять ей, что может быть, и чего не может быть, и почему это так, а не иначе, но постепенно стал замечать, что она просто не слушает его, потом он сообразил, что она насмехается над ним, так оно и было, но речи ее становились все более безрассудными — а она проявляла в этом отношении настоящее мастерство, она стала почти поэтессой,— и у него появилось подозрение, что она на самом деле рехнулась, этого он страшно боялся: ведь тогда пришлось бы поместить ее в лечебницу, а по правилам третьего рейха это означало, что ее умертвили бы, чего он ни за что не хотел, потому что не мог без нее обойтись, ведь по-своему он любил ее, как любил свой дом, и старую, отвратительную мебель, и свои понемногу накопленные деньги, и свои привычки, и свой собственный нос; из страха каким-нибудь образом потерять маму — то ли из-за Флекмана, то ли из-за нацистского государства — он буквально держал ее взаперти. Ей разрешалось выходить из дома только вместе с ним, по воскресеньям, в церковь, там у них были свои места, табличка с фамилией над скамьей для молящихся, и когда эта скамья сгорела вместе с церковью, мама рассмеялась, и она объяснила ему, почему смеялась, и он избил ее, он вообще ее бил, она призналась мне в этом только перед смертью, когда я узнала про это, мне захотелось вырыть его из могилы, чтобы он умер еще раз, но мама говорила: «Я совсем ничего не чувствовала, это не имело значения». Она сказала: «Если то, что происходит, не считать действительным, то оно перестает существовать, просто-напросто нужно уходить от действительности, которая тебе не подходит, в какую-нибудь другую, которую создаешь сама». А однажды она сказала: «Когда он стал меня бить, я поняла, что ниже опуститься нельзя, и с той поры со мной уже ничего не могло случиться, потому что, когда я это поняла, я поднялась на самую большую высоту». Она говорила: «Стефания, если жизнь тебя так унижает, что ты сама начинаешь считать себя не более чем позорным пятном на этой земле, вот тогда ты становишься свободной и обретаешь мир, ты и представить себе не можешь, как это прекрасно — быть свободной от всего». Так она говорила, а он,

тупица, считал ее сумасшедшей. Но она не всегда была такой смиренной, поначалу она бунтовала, конечно на свой кроткий, но и дерзновенный лад, ведь то, что она делала со своими лоскутками, было вызовом, и если бы судья не отличался таким чудовищным тщеславием, ограниченностью и отсутствием всякого воображения, он должен был заподозрить, что эти обрезки материи что-то означают и что мама прямо у него на глазах обманывает его с Флекманом. Ведь все эти лоскутки были остатками платьев и шарфов, которые на протяжении десятилетий дарил ей Флекман, и когда она сидела перед ним и делала вид, что раскладывает из них, как из карт, пасьянс, то она мысленно была с Флекманом, еще раз получала это платье или тот шарф, наряжалась для него, уезжала с ним далеко и любила его, и все это прямо перед тупым взором высоконравственного судьи. Когда потом он ослеп и его разбил паралич, для нее это было к лучшему, но мученичество ее продолжалось, потому что он не отпускал ее от себя ни на шаг, ей постоянно приходилось сидеть рядом с ним, выполняя то одно, то другое его распоряжение, а он не оставлял ее в покое — то и дело спрашивал: «Который час?» Тогда она остановила все часы в доме и, когда он спрашивал, отвечала наобум. Сама она перестала замечать время, ее время истекло в тысяча девятьсот сорок пятом году, а новое не началось. Мама сказала, что и я тоже должна так поступать и жить вне времени, тогда я обрету мир, она сказала, это такое ощущение, словно живешь на дне морском и смотришь снизу вверх, как наверху пересекаются пути кораблей, а тебе до этого никакого дела нет. Но я так не могу, это трудно, значительно труднее, чем кажется, это целая революция. В начале моих занятий с Дорой на рояле стоял метроном, но недолго, я не могла играть, когда он тикал, я до сегодняшнего дня иногда вижу его во сне, он видится мне поразному, но я мгновенно узнаю его, иногда это гроб, стоящий вертикально, его крышка то открывается, то закрывается, иногда это напольные часы, такие были у твоей тети, маятник широко раскачивается, выходит за рамки корпуса, и ломает все на своем пути, и становится все больше и больше, и раскачивается все шире и шире, а в другой раз сначала это часы, а потом я вдруг вижу, что маятник — это палка, нет, скорее, топор или что-то похожее, а часы — это человек, размахивающий топором, и вдруг часы превращаются в гильотину и кто-то говорит: «Она рубит голову времени». Я даже во сне говорю, что это чепуха, время нельзя измерить и ему нельзя отрубить голову, оно ничто, и я пытаюсь остановить маятник, или топор, или палку, но он бьет меня по руке, и я понимаю: время — это все же что-то осязаемое, о да, что-то осязаемое, очень долго длящееся, вечное, что никогда не кончится.

Стефания говорит несвязно, словно разрезает свою речь на сотни кусочков. К тому же она говорит так тихо, что там, где ручей на стрежне журчит громче, кое-что не долетает до моего слуха, иногда ветер относит в сторону целую фразу, а иногда низко над нами пролетает вертолет. Однако в самом главном этот рассказ запечатлевается в моей памяти, очень цепкой, если только что-то производит на меня глубокое впечатление. Но мы обе устали, я — напряженно вслушиваться, а Стефания — рассказывать, так что мы рады возвратиться к Кларе.

Клара — это после долгого и тихого монолога Стефании отчетливо звучащий голос, дающий ответы на вопросы, это средоточие земной реальности. Я совсем ничего не имею против того, что у Стефании «ее» мигрень и что последний мой вечер здесь мы проведем вдвоем с Кларой. Сомнения нет: у нас с Кларой родство душ, проявляющееся в упорном отстаивании точности и правды, и обе мы рискуем обжечь себе на этом пальцы и язык.

Пока я упаковываю саквояж и прибираю в комнате, Клара готовит ужин, она возводит небольшой шатер уюта среди всех этих сомнений, и когда потом мы с нею сидим и пьем кофе, я вдруг неожиданно для самой себя говорю: — Клара, с тобой я могла бы жить — не хочешь переехать ко мне?

Она улыбается чуть криво.

— Ты меня не знаешь,— говорит она,— где появляюсь я, там нарушается спокойствие. Мама как-то сказала: «Ты такая маленькая, но у тебя такая длинная, заостренная тень». Мама могла обидеть. Но она права, я в самом деле отбрасываю длинную, заостренную тень, тут уж я ничего не могу поделать. Долго ты меня не выдержишь, не заблуждайся на этот счет; ты видишь лишь то, как я старательно готовлю еду и мою посуду, но это лишь маскировка, в мои планы входят перевороты, ты и представления не имеешь, какие революции у меня на уме. Я хуже моих «библиотечных детей», запрограммированных левыми взглядами и бравирующих этим, я подлинно подрывной элемент, желающий изменить не обстоятельства, а самих людей.

Она смеется глубоким гортанным смехом.

— Однако,— говорит она,— то, что ты приехала сюда, уже хорошо, я хочу сказать, хорошо и для тебя, такой паноптикум странных людей и странных воспоминаний трудно найти где-нибудь еще. Но может быть, ты вовсе не видишь в этом ничего занятного и для тебя это — всего лишь жутковатая прогулка по подземному кладбищу?

— Нет, Клара, я встретилась не со скелетами, я столкнулась с живыми людьми, с живыми воспоминаниями. Вы воскресили их для меня, дали им плоть и кровь.

— Воскресили не всех,— говорит Клара,— сон моих мертвецов мы не нарушим; ведь это мертвецы, превращенные в пепел.

По моему взгляду она видит, что я ее не поняла: кого еще, кроме Эриха Бернхаймера, она может иметь в виду, говоря во множественном числе. Она поясняет: — А ребенок — его ведь тоже сожгли. Между прочим, его отец тоже умер.

Поскольку она заговорила об этом по собственному желанию, я рискую задать вопрос, который так долго и так строго запрещала себе задавать: — Ты знаешь, кто он?

— Да, а как же? Или ты тоже считаешь, что это был сказочный принц, а может быть, святой дух? Ты наверняка и выдумке дяди Вилли поверила бы. Он выдумал это для забавы, чтобы позлить своих, он изобрел даже пытки, которым подвергал их любопытство. Раз за разом он понемногу приподнимал завесу над своими выдумками, в которых каждый из них усматривал разоблачения: генерал люфтваффе, граф с несметными богатствами, вдовец, герой войны, кавалер Железного креста с дубовой веткой, и мечами, и бриллиантами, и бог знает что еще дядя Вилли насочинял, и этот генерал хотел жениться на мне по любви, потому что я напоминала ему покойную мать, которая тоже была горбунья, но я, я не захотела выйти за него замуж, а потом он пал на войне, погиб, разумеется невиданно героической смертью, пал, естественно, под градом пуль на Восточном фронте, ребенку он оставил неслыханное наследство и указание, что сын его будет носить графский титул. Во все это они верили, представь себе, и одно время всякие люди, которые раньше шипели у меня за спиной, обзывая «солдатской потаскухой», старались завязать со мной знакомство, а когда я в конце концов высмеяла их и рассказала им правду, они подумали, что я хочу скрыть от них наличие и происхождение огромных денег, чтобы им ничего не досталось.

— Ну, а правда, Клара, какова она?

— Правду, всю правду знает, быть может, только черный осел. А мне известно вот что: отец моего ребенка был унтер-офицером, судя по знакам различия, если в ту ночь я успела разглядеть, а до войны он работал мясником. Что ты так вздрагиваешь, видишь, какие вы все,

это было тебе проверкой: мясник, унтер-офицер, какая неудача! Граф, генерал, богач — вот это было бы другое дело. Но мясника ничуть не трогало, что я горбатая, а меня ничуть не трогало, что он мясник, его прислал мне черный осел, и этот мясник был славным молодым человеком, он дал мне свой адрес на всякий случай, я порвала записку и прямо у него на глазах бросила ее в ручей, но он рассердился и написал еще две записки со своим адресом. И он сказал, что у него серьезные намерения и что он вернется, но он не вернулся, потому что вскоре после этого погиб в бою, мне это известно, потому что дядя Вилли запросил, соответствует ли действительности его фамилия, номер полка и домашний адрес, все соответствовало действительности, все было очень просто и очень неромантично. Да и разве у меня это могло быть по-другому?

Я могла бы возразить ей с полным правом, что нахожу ее историю совсем не простой и отнюдь не лишенной романтики, хотя она считала, что в этой истории нет ничего таинственного. Если бы не Клара рассказывала мне свою историю, я могла бы допустить, что особа, задавшая такой вопрос, намеренно вызывает меня на спор, чтобы я подтвердила ее значительность, в которой сама она совершенно уверена. Но Клара всегда думает то, что говорит, у нее не бывает задних мыслей, она не прибегает к уловкам. Просто-напросто она не считает собственную персону в чем-то значительной, а то, что с нею происходит,— чем-то примечательным. Ей кажется, что она играет в открытую, как на сцене, что всем дано видеть и понимать ее, не в ее натуре загадывать или разгадывать загадки. Все, что ей непонятно в собственной судьбе и в судьбе человечества, она давно уже вложила в короткую формулу: черный осел. Тем самым, как она полагает, необъяснимое не объяснено, но названо и, таким образом, ограничено и упорядочено. Все мрачное в мире вложено и уложено ею в эту маленькую странную формулу и тем самым уже не несет тайной угрозы. В общем, каждый успокаивает себя как может.

— Но,— продолжает Клара свой рассказ,— ребенок оставался у меня недолго, и, собственно говоря, я всегда думала о нем как о ребенке, взятом взаймы, часто он смотрел на меня так, словно хотел сказать: «Боже мой, куда я попал и кто ты такая?» И я тоже смотрела на него и думала: «Кто ты, собственно, такой?» Поэтому меня не удивило, что ребенок так же неожиданно исчез, как и появился. Тебе наверняка уже рассказывали, что он утонул в ручье. Как это произошло, я не знаю, потому что я ни на минуту не выпускала его из виду и по моей просьбе вдоль ручья поставили высокий забор, а калитку всегда запирали, перелезть же через забор ребенок никак не мог — это исключено. Я была в доме, и вдруг мне принесли малыша, он был уже мертв. Но это, как и все прочее, произошло давно, давным-давно, так что я могла бы даже начать свой рассказ так: «Жил-был...» Часто мне кажется, что это только сон, но тогда и все остальное только сон и ничего более.

— Нет,— говорит кто-то громко, это Стефания, которая стоит на лестнице,— ничто не сон, все явь.

— Да, да,— говорит Клара,— или то, что ты считаешь явью.

Клара говорит сухо, но с оттенком враждебности, а Стефания отвечает с непонятной злостью: — Что сон, а что явь, это решаешь ты, ты ведь все знаешь, ты ведь все знаешь лучше меня.

Спор идет только о словах — так кажется, но злость, с какою он ведется, показывает, что здесь налицо два способа жить, противоречащих друг другу и отстаивающих свое право на существование. Мне, правда, думается, что борьба ведется стеклянными мечами за обладание сотканным из тумана знаменем. Но и самим сестрам, видимо, не совсем по себе от этого многократного возобновления старой и нелепой борьбы, обе они вскоре сдаются, разлад быстро утомляет их, и вот уже опять заключено перемирие. Однако противники еще не мо-

гут спокойно разойтись, они стоят, не спуская глаз друг с друга: Клара смотрит снизу вверх, Стефания сверху вниз, со ступеньки, на которой стоит, она первая делает попытку изменить позу и поворачивается с намерением подняться по лестнице, по той, что ведет на крышу и дальше, в ночное небо, все дальше и дальше, прочь с этой земли, но потом она решает все же спуститься к нам. Клара тем временем тоже успокоилась; она отправляется на кухню — чуть позже выясняется, чем она там занята: готовит мне на дорогу еду, два толстых бутерброда, и это всего лишь на час езды в поезде.

— Клара стареет,— говорит Стефания.

— Пошли,— говорит Клара. Она шагает в направлении вокзала, у нее есть цель, у нее всегда есть цель — она просто-напросто ставит перед собой какую-нибудь цель, поэтому она у нее и есть,— протискивается через бурлящую, болтающую на четырех языках, страдающую тоской по родине толпу иностранных рабочих и не менее страдающих тоской по родине местных жителей, на привокзальную площадь; какой-то молодой итальянец дотрагивается до ее горба, она чувствует это и оборачивается; юноша смущенно, но весело говорит: — Porta fortuna [1], фрау,— и она смеется: — Если мой горб хоть на что-то годен, пусть он принесет тебе счастье, малыш! — Стефания же не терпит прикосновений, она изо всех сил старается стать выше и тоньше, столь пышущая здоровьем плоть и кровь — это для нее чересчур, она издали любит все это и издали проникается ко всему этому мягким, холодноватым состраданием. Большего от нее и ждать нельзя — слишком велика ее боль. Однако мужчины смотрят ей вслед, невзирая на ее возраст, они охотно помогли бы красавице донести тяжелый чемодан, если бы он у нее был, они несли бы и ее газеты, и ее сумочку, они принесли бы ей палку, если бы она ее кинула, как кидают собакам, но Стефания не удостаивает вниманием этих попрошаек.

И вот мы стоим на перроне, и теперь имеют значение только железнодорожные пути и сигналы. Через несколько дней Стефания уедет, и тогда Клара будет стоять здесь одна и, одинокая и решительная, вернется в свой дом, уже предназначенный к сносу.

— Что ж, всего хорошего.

— Но поезд придет только через двадцать минут,— говорю я.

— Какое это имеет значение, я еще с той поры не выношу ожидания на вокзалах.

— Не забудь про свое обещание,— говорит Стефания.

— Вы обе ведете себя так, словно мы никогда больше не увидимся,— говорю я.

— Такое путешествие,— бросает Клара перед уходом,— такое путешествие совершают только раз в жизни.

[1] Приносит счастье *(итал.)*.

КОТЕЛКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (род. в 1938 г.)

Советский переводчик с немецкого и английского языков. В его переводах публиковались романы «Тени в раю» Э. М. Ремарка (совместно с Л. Черной, «ИЛ», 1971, № 10—12), Ф. Й Дегенхардта «Бикфордов шнур» (совместно с И. Зильберманом, «ИЛ», 1976, № 1—2), Артура Хейли «Колеса» (совместно с Т. Кудрявцевой).

ПЬЕР МЕРТЕНС

Автостоп

Вы, конечно же, понимаете, сказала она, что так больше продолжаться не может, дальше тянуть нельзя, пора как-то с этим кончать, и чем скорее, тем лучше, почему бы даже не сегодня, ведь мы обещали друг другу так поступить в день, когда с нами это случится,— вы понимаете это, не правда ли?— «чтобы не зачеркивать прошлого, чтобы сберечь его», сказали вы, и вы повторяли это всякий раз, когда мы спокойно рассуждали о том, что рано или поздно мы к этому придем: «не будет ли у нас даже преимущества перед другими,— говорили вы,— перед теми, кто не знает, что так всегда и случается»; вы понимаете, как и я, что мы с этим ничего не можем поделать, никто не виноват, я бы не хотела причинять вам боль, поверьте мне, только терпение мое на исходе, да-да, это так, пожалуйста, поймите меня, приезжайте сейчас же...

Это стрельба с дальнего прицела. Надо было записаться в «отсутствующие абоненты». Я не должен был давать ей возможности связаться со мной по телефону, этим оружием она владела виртуозно, как подводным ружьем.

Не мешкая, он положил под подушку десяток писем, три-четыре фотографии, выбранные наугад, на случай, если она потребует их все вместе, на что она вполне была способна: ведь она просила у него их однажды, но больше всего его пугала мысль, что она могла найти их сама и спрятать, ведь пока можно перечитать какие-то фразы и посмотреть на лицо, не все еще потеряно, да, не все еще потеряно.

Что за прихоть поселиться при въезде в греческий квартал, новый способ сыграть в бесприютную, в изгнанницу, не двигаясь с места, напрасно она об этом твердила, напрасно что-то изображала, все го-

© Jacques Antoine, 1977.

ПЬЕР МЕРТЕНС — PIERRE MERTENS (род. в 1940 г.).

Бельгийский писатель и журналист; лауреат бельгийской премии «Россель» и «Бельгийско-канадской премии» 1975 г. Основные произведения: «Индия или Америка» («L'Inde ou L'Amérique», 1970), «Вечер выпускников» («La fête des anciens», 1972), «Добрые услуги» («Les bons offices», 1975), «Прибежище» («La Terre d'asile», 1978).
На русский язык переводится впервые.
Предлагаемый рассказ взят из сборника «Некрологи» («Nécrologies», Bruxelles, Editions Jacques Antoine, 1977).

ворило об обратном, тогда как он действительно не отсюда, «мой нежный и гадкий янки», говорила она иногда, именно я, и только я один, всегда буду чужим в этой стране. Чтобы добраться до нее сейчас, нужно проехать всю дорогу Кот-де-Неж и повернуть в сторону Утремона. В субботу во второй половине дня по этой дороге, наверное, все владельцы маленьких вилл едут за город на природу. «Seafood», «Submarine pizza» [1]. Здесь скоро откроется «McDonald's Hamburger» [2]. Километры проезжаешь почти шагом вдоль этих пищевых фабрик. «Daddy please drive carefully» [3], «Воззвание к донорам». На лужайках Хилл-парка бегают ручные белки — встретить здесь можно только мужчин, которых не удалось приручить к дому. А Марлен стоит атаковать сразу, прежде чем она разозлится. Как, бывало, он скрывал раздражение, которое она в нем вызывала!

«Бойкот почтовому индексу!», «Декада пожарников!», «Поддержим капиталовложениями канадскую молодежь!»

Добравшись до Ван-Хорна, он вдруг захотел заглянуть в мастерскую Джо. Только убедиться в том, что скульптор работает: это успокоило бы его немного, хорошо бы застать друга в момент, когда тот работает над барельефом, он охотно посидел бы молча несколько минут в мастерской.

Мастерская закрыта. Он обходит ее со всех сторон. Прижавшись лбом к стеклу, он видит на столе записку. Разобрать можно только слова «Дорогой Джо», и внизу страницы подпись «Сьюзен». Он смутился: удивительно, что Джо может быть чьим-то «дорогим Джо», Джо какой-то Сьюзен. Но с болью чувствует, что все будет удивлять его сегодня, что его ждет много сюрпризов, от которых ему уже не прийти в себя...

В сущности неважно, что текста письма не разобрать. И едва ли это имеет значение для адресата. Может быть, его и написали в основном для того, чтобы в начале прозвучало «Дорогой Джо», на редкость банальные и все же такие важные слова, а то, что отделяет их от подписи, само сообщение, хотя, вероятно, и полно смысла, но в конечном счете всего лишь дополняет их?

Наверное, нескромно выхватить взглядом именно эти слова. Но как можно было их не увидеть? Как их было не заметить между пенковой трубкой и пачкой импортных «Житан»: они сами бросались в глаза.

Вот и сам он оставляет Джо другую записку: «Свяжись со мной на днях...», не для того ли, чтобы убедить себя, что завтра можно будет в самом деле еще связаться с ним по телефону и что Джо будет тут, доступный для всех? Есть в городе кварталы, где в почтовый ящик подкладывают настоящие бомбы. «Доверие работникам почты! Бойкот почтовому индексу!»

На углу улицы Бедфорд у фотографа Ван Дейка люминесцентная вывеска в виде палитры. При ее красном свете иной раз можно выхватить из темноты заголовок на первой странице газеты, которую пешеходы разворачивают на переходе: «В 87 лет от удара кулаком...»

---

[1] «Дары моря», «Пища с морской снедью» *(англ.)*.
[2] «Макдональд хамбургер» *(англ.)* — название бутербродных.
[3] Папа, езди, пожалуйста, осторожнее *(англ.)*.

«Marco Polo Steaks», «Artificial Limbs», «Orthopedic Appliances», «Funeral Directors» [1]. Покидаем Утремон. «Если ты замерз и устал, набери 282-02-55, помощь, надежда, понимание». «Канадские инвалиды сделают вам запасные ключи».

Одна улица, другая, и вот он в Греции. Единственный длинный бульвар, нескончаемый, как коридор, пестрота реклам: «Hellenic Grocery», «Sparta Leather», «Apollo Gaz» [2], «Парикмахерская Анджело». В кино «Акрополь» афиша комедии нравов из жизни лакедемонян-садомазохистов. Гигантская обнаженная женщина на цветной пленке топчет карлика в костюме.

У меня есть время, чтобы заправиться в гараже «Парнас».

Он снова нажимает педаль, и его «шевроле» на этом отрезке пути смог бы обойтись без водителя, он поведет его легким движением кончиков пальцев с закрытыми глазами... Так думают, когда цель уже близко. И только чудом он заметил девочку, которая, стоя на тротуаре, пыталась остановить машину. Может быть, взгляд привлекли ее рыжие волосы? Сначала он не понял, что ей было надо, он только заметил ее вытянутую худую руку, машинально он повернул голову налево, чтобы проследить за ее жестом, и вновь увидел ее в зеркальце в тот момент, когда машина замедляла ход: девочка бежала следом и догнала его, когда он ставил машину у тротуара и опускал стекло.

— Скорее, мсье, моя подруга упала и не может подняться,— сказала она. Второй раз за сегодняшний день его призывают на помощь, а он неохотно идет навстречу. Девочка запыхалась, раскраснелась, она едва говорит, но не выглядит перепуганной.— Это случилось на баскетбольной площадке,— прибавляет она. Она и не подумала спросить, знает ли он этот район. Она уже направляется туда, где это произошло, а ему еще нужно выключить зажигание и выбраться из машины. Девочка говорила ровным голосом и казалась очень хладнокровной. Вот она исчезла в просвете зеленой изгороди, пахнущей кошачьей мочой; теперь он устремился за ней, но боится, что не сумеет ее догнать. И все же он знает, где находится баскетбольная площадка, хотя он там никогда не был, он видел ее из окон комнаты Марлен, жаль, что он не занимается никаким спортом со времен колледжа, но сколько раз наблюдал он из окон спальни Марлен этот край баскетбольной площадки, одну из корзин и теннисные корты, которые видны по другую сторону ряда итальянских тополей; он подумал: надо бы мне прийти сюда как-нибудь, чтобы войти в форму, мне было бы полезно, хотя никогда неизвестно, что тебе полезно, а что нет, но вот то, что вредно, отчего будешь себя чувствовать плохо, всегда знаешь заранее, да, конечно, она хладнокровная, какая еще может течь кровь в этих сероватых венах, выделяющихся на хрупкой шее, на висках, на худых кулачках; у него было такое чувство, что он знает наизусть этот тщедушный силуэт, это побледневшее от волнения лицо (неужели он все-таки испугался?), но он думает также, что не сумеет добраться до этой проклятой баскетбольной площадки и *придет слишком поздно.*

Когда он выскользнул наконец из лабиринта пешеходов, отделявших виллы Блумфилда от бунгало улицы Эрабль, выскользнул настолько быстро, что греческий квартал, казавшийся сначала бесконечным, очутился позади, его вдруг занесло на баскетбольную площадку— «на арену», подумал он вдруг, «на арену»... Не сразу заметил он двух девочек, ту, которая остановила его на авеню Салоник и «ее жертву»,

[1] «Бифштексы Марко Поло», «Протезы», «Ортопедическая обувь», «Специалисты по похоронам» *(англ.).*

[2] «Греческая бакалея», «Спартанская кожа», «Газ «Аполлон» *(англ.).*

только почему «жертву»? Ему трудно вывести их на чистую воду, они определенно поджидали его по ту сторону стойки с баскетбольной корзиной, той, которую нельзя увидеть из окон спальни Марлен, он почти забыл ее, «женщину его жизни», убежденный, что так любят только раз, любят безнадежно, с предчувствием утраты, тогда зачем все эти летние воскресенья, которые проводил он словно на одном дыхании, в каком-то солнечном экстазе с ней, будущей чужой, только знакомой, с соискательницей забвения, нет ничего проще и ничего труднее, чем забыть, поди знай, почему то, что сделать так просто, настолько тягостно и кажется абсолютно новозможным вначале; без сомнения, речь шла для него и об оставшихся воскресеньях этого влажного и жаркого лета, которое царило в «прекрасной провинции», когда те, у кого достаточно долларов, те, кто не подбирает выпавшие из кармана на тротуар один-два доллара, предпочитают уехать на озеро Джордж в округе Уоррен, штат Нью-Йорк, в «страну лета», как говорят по всем программам федерального телевидения, словно действительно существует где-то страна, в которой можно собрать все лето мира, а между тем мне бы следовало туда поехать, потому что я был там хорошо принят, я уже забыл, какого цвета небо в Колумбии или Рочестере, ностальгия у меня, в силу обстоятельств, возникает повсюду, но там, по крайней мере, я был хозяином положения, а что касается всех этих воскресений... нет, бывали и хорошие, сколько их было всего, хороших воскресений, четыре или пять, не более пяти, ну, может быть, десять, да, десять раз он мог видеть Марлен после того, как любил ее, видеть Марлен перед тем, как они занимались любовью и после того, мог видеть, как поднималась она с постели нагая, «свежая», думал он, как эти свежие «дары моря» с незапоминающимися названиями, которые они ели летом прошлого года или раньше, ну да еще было одно лето в Кадакесе, и я мог видеть ее, она возвращалась с рыбной ловли и бежала в ванную по белым и черным плиткам пола, как по огромному кроссворду, в ванную, где она всегда запиралась, где она запирается еще и для того, чтобы обдумать свои пакости, да, она лежит там, в ванне, неподвижно, волосы ее в песке, песок даже во рту,— может, и это важно, кто знает?

Однако нет, при его приближении она пошевелилась, и он смог увидеть, что другая, та, что остановила его на дороге, а сейчас стоит рядом с «жертвой» и о чем-то говорит ей, нагнувшись, как ему кажется, на каком-то иностранном языке, возможно, они обе гречанки,— эта другая, ему кажется, смеется, зажимая рот рукой, как бы украдкой... Нет-нет, они разыгрывают шутку, а может, я ошибаюсь? В главном никогда нельзя быть уверенным, ну вот, видно, она отделалась лишь небольшой царапиной, та, первая, все-таки заставила ее, просто глупое пари, поди узнай!

Сейчас он выяснит все до конца, рывком он хватает пострадавшую девочку, потом поднимает ее уже бережно, и, пока он несет ее на руках, как носят утопленника, что она позволяет, не оказывая ни малейшего сопротивления, ему вдруг кажется, что девочка и он принимают участие в спектакле, он видит себя как в зеркале, но это не он, это как будто кто-то другой стоит в центре «арены», посыпанной толченым кирпичом, над которой в окнах домов отражаются итальянские тополя, окна приближаются и как будто сдвигаются над куполом цирка, и среди этих окон он должен найти окна Марлен; летом, да, это было, конечно, летом он сидел на подоконнике, свесив ноги над водосточной трубой, и читал роман Джеймса Хедли Чейза, а Марлен за его спиной ходила по квартире нагая до самого вечера, до тех пор, пока на улице не свежело, время от времени он ловил свое отражение в оконных стеклах справа и слева и размягченно улыбался, и вот он должен принести себя в жертву каким-то детским проказам, он

видит себя со стороны, видит, как он идет с девичьим телом на руках, этот бесценный груз кажется ему подношением мертвому идолу, и пока он стоит там, держа на руках эту девочку, эту «жертву несправедливой судьбы», у него и сейчас такое чувство, будто до него долетает шум толпы с авеню Салоник, шум, который усилился минуту тому назад из-за двухголосой сирены полицейской машины и рожка торговца мороженым, шум абсолютно безличный, но действующий на него так, как если бы он только что вытащил голову из воды или как будто его с этим ребенком на руках незаметно взяли «с тыла» и зажали в кольцо, пока они были заняты друг другом, их окружили и отрезали всякое отступление к бульвару, к прилегающим улицам. Я никогда не знал, откуда может прийти опасность, я всегда позволял подстеречь себя, как ребенка. Он никогда не знал имени своих настоящих врагов, и он наверняка погибнет, не сумев их вовремя распознать. Он старается проникнуть взглядом сквозь деревья, следит за окнами, откуда в него, безоружного, кто-то целится...

Он ставит ребенка на землю, проверить, может ли девочка держаться прямо, и замечает насмешливый огонек в ее глазах, хотя он уже видел, что другая, стоявшая все время в стороне, просто смеялась исподтишка, маленькая злюка, дрянь, он понимает, что его разыграли, что она сейчас засмеется, и это на всю жизнь, как смеялась она, та, другая, еще недавно, подумал он: «еще недавно», но мог бы сказать себе: «как она смеялась летом», всегда было приятно слышать, как она смеется, даже когда, запрокинув голову и расправив плечи, она закатывалась совершенно невыносимым смехом и смеялась над ним, над его «неисправимым отсутствием фантазии», над его «непростительной серьезностью», где она только взяла эти выражения по два с половиной доллара за пару, он хочет, однако, для очистки совести убедиться, что девочка может сгибать колено, что она может поставить одну ногу, потом другую, спуститься по лестнице, с одной ступеньки на другую, да, может, он устраивает сеанс перевоспитания, девочка держит в сжатой ручке обертку от Barkin Robbins, мороженого с «ароматом дикой вишни»,— в первые же дни мая на улицах Утремона появляется продавец мороженого родом из Сицилии и осуществляет свой ежедневный маршрут через весь греческий квартал; в жаркие дни он стоит обнаженный, удивительно красивый, этот мерзавец согласен говорить только на своем собственном языке, чего-чего, а языков здесь хватает, хотя он мог бы сделать небольшое усилие, в субботу после обеда, когда она отдыхает, раздаются звуки рожка на улице Блумфилд, потом поход навстречу Адонису сливочного мороженого и выбор для нее в зависимости от настроения смеси, заставляющей ее, когда она просыпается, вздыхать, словно девчонка-лакомка: кофе-мокко и миндаль, ром, кассис и жареные фисташки, каждый раз он выдумывает новый сорт, по крайней мере, в этом никогда не было разочарований, а между тем девочка утверждает, что у нее еще болит локоть, к счастью, локоть защищен рукавом шерстяной кофточки, нет ничего более трогательного, чем шерстяные вещи, защищающие детей от холода, от опасностей существования, и та голубая кофточка с кожаными пуговицами, которая так удивительно молодила Марлен и вызывала в нем мысли об ее отрочестве, она сама об этом времени никогда ему не рассказывала, прошлое в самом деле для нее не существует, а он постепенно сам себя изничтожил своими рассказами, она же ему ничего не поверяла из того, что касалось непосредственно ее, все секреты, все свои маленькие и жалкие тайны, которые он бесстыдно ей поверял, умирали у ее ног — так затихают волны на берегу моря, она ничего ему не отвечала, как будто он обращался не к ней, ожидая, когда его вспышка красноречия иссякнет и он умолкнет наконец совсем...

Не боясь показаться смешным, играя до конца свою роль, он хо-

чет узнать, не нужно ли маленькую пострадавшую отвезти домой, но ее родители, сообщает вторая, та, которая не переставала дурачиться, вернутся только вечером, не может ли, наоборот, он остаться с ними, подождать до вечера их возвращения, нет, ему это трудно, это даже почти невозможно, спешит он добавить для себя, как если бы его только сейчас разоблачили, но в крайнем случае они могут его уведомить, «если что-нибудь не в порядке», да, они знают хорошо его адрес, не так ли? Он живет у мадемуазель Марлен Уайтлоу, да, они хорошо его знают, один, нет, много раз они видели его, когда он направлялся к ней, видели их вместе, они видели его фамилию на почтовом ящике, Марлен очень красивая, считают они необходимым добавить, эти чудовища, нет, не нужно ей звонить, предупреждает он почти с угрозой, во всяком случае сегодня, они могут обратиться в полицию и в конце концов дойти до ближайшей аптеки на углу улицы Блумфилд...

В этот момент он решает взглянуть на них повнимательней, как если бы он смотрел на них в первый и в последний раз, как если бы он был уверен, что больше никогда их не увидит,— так запечатлевают в памяти черты женщины, которая вас покидает, матери, которая умирает, он смотрит вначале внимательно на ту, что постарше, на это лицо цвета прогорклого масла, на ту, которая пристала к нему на авеню Салоник, чтобы позвать, потребовать или попросить, ей достаточно взглянуть огромными глазами, они поглощали все ее лицо, все, на что она смотрела, гибло в их головокружительной бездне, с помощью одних только глаз она могла исцелить и причинить боль, потом он посмотрел на вторую, от подружки ее отличала только неуклюжесть, алиби ей могла бы служить ее инертность; как бы ни называлось то, что эти девчонки совершили после полудня, их поступок все равно смахивает на преступление, и у них теперь будет тайна; такие полупрозрачные на вид, без нимба тайны на челе, они тем не менее осуществили свой заговор, пока в первый раз в жизни, они занялись темной, подозрительной деятельностью, они не сумели его обмануть, они ничего не поняли, а он неизвестно почему хотел бы, чтобы это длилось еще очень долго. Отныне все на этой земле будет казаться ему чужим, он удивляется воцарившейся тишине, за медными облаками движется и уплывает куда-то рыжее солнце, ветер, предвестник нежданной бури, заставляет шелестеть тополя, ему захотелось, чтобы на соседних теннисных площадках возникли игроки и чтобы они сыграли по-своему этот спектакль, «маленькие девочки и он»; в кульминационном моменте этой пьесы они должны прервать партию и замереть в оцепенении с протянутой к невидимому мячу ракеткой... ему хотелось бы, чтобы их заметили, его и этих девчонок, из отдаленных окон и задумались бы о значении этой встречи, этой дружеской беседы. Зачем только они затеяли эту совсем несмешную шутку, организовали этот маскарад, который так плохо скрывает их наивную глупость, они, наверное, сами не знают, да и он тоже никогда этого не узнает, но ему хочется еще повременить, чтобы он мог *посвятить себя полностью этому,* есть такие помехи, которыми хочется страстно наслаждаться, и свидания, которых хотелось бы избежать, однако он слишком рассеян, отрешен, не может сосредоточиться на том, что происходит сейчас, в эту минуту этой субботы почти нереального лета, один в центре города, который горожане покинули, сдав его без боя, да, он должен был бы по возможности хладнокровно, без надежды на возвращение приготовиться к этой игре, так как все-таки это была игра, и какой бы у нее ни был смысл, она не могла его оставить безучастным,— наоборот, игра увлекла его целиком, нет, он сейчас пойдет к ней, не будет медлить ни мгновения, и как только он принимает решение, мрачная ностальгия овладевает им, и это чувство, кажется, больше не оставит его.

«Мне жалко с вами расставаться»,— говорит он наконец. Но нужно сказать что-то еще. «Я должен идти...» — уточняет он, и это звучит фальшиво, в таком случае ему надо было бы давно ускользнуть, а сейчас действительно уже слишком поздно. Что может вывести его из этой ржаво-кирпичной дельты, куда он попал, завороженный зовом сладкоголосых сирен; вокруг того места, где он стоит, можно было бы начертить мелом магический круг, чтобы обозначить границу, которую ему трудно пересечь, не мог же в конце концов он равнодушно предоставить девочек самим себе — умел ли он когда-нибудь отличать главное от второстепенного? И он ощущает это как продолжение старой обиды, которую затаила Марлен, она часто упрекала его за то, что он «всегда где-то витает», в ту минуту, когда он смотрел на нее, а она обращалась к нему; потом вдруг на середине фразы останавливалась, пока он не осознавал пропасть молчания, лежавшую между ними, и тогда он спрашивал о причине этой паузы. «Я слушал тебя...» — уверял он виновато вопреки всякой очевидности. «Да, конечно! Только будем считать,— отвечала она,— что мне нечего добавить...»

Но если он уйдет отсюда, где благодаря ему несчастья не произошло, где ничего вообще не случилось, где рана оказалась вымышленной, не произойдет ли здесь и в самом деле какой-нибудь беды, хотя бы потому, что его уход откроет шлюзы времени, угрожающего плотине, ограждавшей двух бледных и неловких детей от реального мира: искупимо ли это? С самого начала не нужно поддаваться, попадаться в ловушку. Но раз уж они подловили его, надо довести дело до конца. Он не выполнит долга ни в том, ни в другом случае. Ничего не поделаешь. Никаких угрызений совести. Он отступает, пятясь, будто вырываясь из каменного мешка, спасается бегством, он выходит на сквер, который не узнает. Сквер пуст или скорее кажется ему пустым. Он думает, что, если вокруг все держится вертикально, то только по привычке, еще мгновение — и все рухнет, никто, кроме него, не видит, что этот мир сейчас разобьется на куски, трещины заметны только ему, пораженному незримым ударом, ему, игрушке в руках беззвучно свершающегося Апокалипсиса. Еще мгновенье — и все исчезнет.

Сквозь невидимую трещину в сквер входит пара. Он не пошевелился. Он смотрит, как они движутся в его сторону, он ошеломлен этим, как привидением. Он смотрит на них, не понимая, что может объединять этого мужчину и эту женщину. Вот это и есть настоящее, та правда, которой лишили его эти испорченные девчонки. Сколько времени длилось беспамятство, состояние, которое он имел слабость перепутать с внезапным исцелением? Вот главное в этом рассказе. Его занесло на извиве памяти, и вся судьба его рухнула за этим поворотом. Он ощущал себя на острове в безбрежном океане.

Когда наконец он открывает дверь квартиры и говорит: «Я попал в аварию...»— Марлен здесь нет, она не слышит его. Комнаты никогда не были так пусты, со стен сняты репродукции Сезанна, Руссо (Таможенника), Мондриана, она могла бы, по крайней мере, оставить мне Мондриана и фотографии, где мы отдыхали в Кадакесе. На их месте на потемневшей известке стен белели четырехугольники, если бы я должен был нарисовать все это, то написал бы картину именно так: белое на белом, белое на бывшем белом. И ничего, кроме мебели. А на столе записка: «Вы пришли слишком поздно. Я больше не могла Вас ждать. Может, Вы решили избежать последнего разговора. Я Вас даже не виню. В первый раз я не сержусь на Вас за Вашу трусость. Я предупредила привратницу, что отказываюсь от квартиры. Будьте любезны, уходя, не забудьте возвратить ей ключ».

В окне он замечает двух маленьких девочек, которые неуклюже бегут по тротуару, впереди та, что постарше, убийца, думает он, за ней маленькая пострадавшая, которой никак не нагнать первую, теперь он видит, что она немного хромает, в самом деле хромает. Ему представляется, что наступит вечер, и, может быть, из греческого квартала придет человек, который позвонит в дверь Марлен Уайтлоу с намерением поблагодарить его: «Моя дочь сказала мне, мсье, что вы были настолько любезны...» Но отец обнаружит только запертую деревянную дверь, в противном случае благодетель мог бы ответить: «Вам сказали удивительно точно, мсье, я действительно был любезен».

Потом, когда я садился за руль «шевроле» и включал зажигание, те две девочки поравнялись с машиной на тротуаре. Как если бы они опять решили обратиться ко мне. Как будто все начиналось снова.

Они задумчиво смотрят мне вслед. Может, они что-нибудь сделали с мотором, положили сахару в бак, с них станется. Может, они собрались здесь торчать до тех пор, пока я не поверну за угол, где меня ждет страшная авария, которую они нафантазировали для меня.

Перевод с французского О. ТИМАШЕВОЙ

АЛЬБЕР ЭГПАРС

Возвращение в Шатейон

Едва я вышел из гостиницы, над спящим городком зарядил дождь. Восемьсот километров проехал я, лишь бы снова увидеть Шатейон, и вот знойное, засушливое лето разразилось ливнями и грозами, словно только и ждало моего приезда. Во влажной духоте ночи рушились отвесные струи, стремглав опережали меня с дробным назойливым топотаньем, будто мчались полчища крыс. Я шагал по безлюдным улицам в поисках собора, но темнота сбивала с толку, и никак не удавалось припомнить дорогу, по которой шел я, когда впервые попал в Шатейон. В тот давний вечер поистине чутье привело меня к обветшалой башне желтого камня, воздвигнутой в самом сердце города, который потом приукрасила таинственная работа памяти и о котором я так стосковался.

АЛЬБЕР ЭГПАРС — ALBERT AYGUESPARSE (род. в 1900 г.).

Бельгийский писатель — поэт, прозаик, критик; член Королевской Академии языка и литературы. Автор романов «День за днем» («D'un jour a l'autre», 1940), «Никудышное поколение» («Une génération pour rien», 1954), «Дурной возраст» («Le mauvais âge», 1959), «Добряк Симон» («Simon-la-Ponté», 1963) и др.

На русский язык переведены его романы «Час правды», «Мы идем за своей тенью», рассказы и стихотворения.

Новелла «Возвращение в Шатейон» («Retour à Chateillon») взята из сборника «В потоке дней» («Le portage des jours», 1972).

Я пробовал вспомнить нехитрый план Шатейона и ясно представил себе чертеж великаньей игры в «классы», но не узнавал ни одной улицы и среди ночи, как лунатик, брел наугад по вымершему городку. Порою какой-нибудь пес, потревоженный звуком моих шагов, скрывался в тупике, тесном, словно туннель.

Я сворачивал в одну улицу, потом в другую, и то передо мной, то позади меня моталась моя тень, отражаясь в зеркале мокрой мостовой, а дождь не переставал, и понемногу я вымок до нитки. И поневоле думал с досадой: надо ж было, потратив целый день на дорогу ради того, чтобы увидеть Шатейон, сразу угодить под такой ливень.

Первые проблески зари уже окрасили небо и карнизы крыш. Я шел по широкой улице, обсаженной платанами, и тут меж ветвей, за косыми завесами дождя сверкнул ярко освещенный вокзал. Осталось прошагать еще сотню метров, перейти по мосту через канал, где дрожали отраженные огни, и вот я у дверей гостиницы. Вхожу. За перегородкой в круге света от лампы склонилась над столом хозяйка и что-то пишет или проверяет счета — она одна бодрствует в еще спящем доме. На миг подняла голову и, явно узнав во мне постояльца, вернулась к своему занятию.

У себя в номере я вдруг ощутил смертельную усталость. Вытянулся на кровати и понял, что болен. Одиночество и тишина показались невыносимыми. Я обливался потом, меня сносило по стремнине лихорадки, захлестнуло тяжелым сном — и снилось, что опять я брожу по улицам Шатейона. Опять я увидал под понурыми деревьями на площади Карно громадный фонтан Нептуна, белизну гладкого мрамора, изъеденную золотистыми пятнами ржавых потеков. Вновь прошел крытым рынком, потом вдоль казармы, потом набрел на кинотеатр, где крутили с опозданием на полгода фильмы, которые я уже видел в Париже. Ноги сами несли меня верной дорогой к собору. Вспоминались названия бульваров и площадей. Все оживало, все становилось просто, обретало наконец истинные краски. Но стоило проснуться — и живые образы расплывались; подлинный облик Шатейона, его запахи, его дома и улицы таяли, и, придавленный лихорадкой, я снова погружался в тяжелый сон.

Назавтра меня словно зажало в тиски, не хватило сил подняться. Прошел час, и наконец я решил позвонить горничной. Дверь приоткрылась, на пороге встала высокая тоненькая девушка, она чуть склонила голову, лицо на удивленье серьезное, строгое. Она слегка подалась вперед, держась за ручку двери, словно иначе упала бы, и тихо, терпеливо ждала. Я попросил позвать врача, и она сказала просто:

— Я позову доктора Феррана, пока он еще не ушел к себе в клинику.

Полчаса спустя Виолетта привела врача. Он неторопливо выслушал меня, прижимая стетоскоп то к моей груди, то к спине, задержался на одном месте, на другом. По лицу у меня струился пот, лихорадка с новой яростью набросилась на меня. Наконец доктор Ферран выпрямился, и я с удивлением увидел, что Виолетта все еще здесь.

— Грипп,— сказал доктор, пряча стетоскоп в чемоданчик.— Как у всех по этой мерзкой погоде. Полежите пять дней, и все пройдет. Выписываю вам микстуру. Виолетта о вас позаботится. Можете на нее положиться, лучшей сиделки не сыскать.

Он захлопнул чемоданчик, понимающе улыбнулся девушке и спросил словно бы нерешительно:

— Значит, не жалеешь, что бросила клинику? Нет? Что ж, тем лучше.

На пороге он приостановился, обернулся к Виолетте:

— Раз уж так, я не настаиваю. Проследишь за температурой. Не забудь.

И вот я пленник этого городка, номера в ветхой гостинице, злобного, беспросветного дождя, бьющего в окно, а заодно пленник моло-

дой женщины по имени Виолетта, чей ясный взгляд сияет передо мною, даже когда я закрываю глаза. Надо протянуть пять дней, сто двадцать часов жизни потеряны, брошены в пропасть, куда скатываются частицы вечности. Я совсем пал духом.

Когда врач ушел, Виолетта села подле моей кровати.

— Не горюйте, не беда. Через неделю вы про это и не вспомните. Вот бы мне такое счастье — пять дней не вставать с постели! Спать, читать, отдохнуть... это ж наслаждение!

Ее глаза блеснули грустно и восторженно, засветились мечтой о праздности, надеждой на нежданные каникулы. И вдруг она встала, будто осознав неловкость положения, и, как бы оправдываясь, заговорила о других постояльцах, о том, что надо еще навести чистоту в пяти номерах, потом с живостью предложила сбегать в аптеку. Я попросил принести мне газеты, книги. Она обернулась за считанные минуты, поставила на столик возле меня микстуру, положила пачку газет и романы, которые я ей назвал. Меня очаровала эта готовность услужить в самых будничных мелочах.

Трижды в день Виолетта приносила мне поесть, и всякий раз, как ей случалось проходить по длинному, протянувшемуся вдоль всего этажа коридору, она приоткрывала мою дверь и одаряла меня ясной, нежной и печальной улыбкой.

Так я застрял в провинциальном городишке, где никто посторонний не задерживался дольше чем на ночь, и эта вынужденная остановка выбила меня из привычного ритма жизни. Я увяз в застойной недвижности этого захолустья, меня затягивало безделье: я читал, понемногу писал да болтал с Виолеттой — больше по вечерам, когда она бывала свободна. Грипп — мерзость, но он помог мне открыть подлинный облик этой девушки, такой нежной и уязвимой, искренней и непосредственной. Она говорила, и порой глаза ее гневно темнели. Исповедь то лилась, то прерывалась, и поневоле я все глубже вникал в эту судьбу, в которой клочки несмелых признаний выдавали неожиданную горечь.

Очень быстро Виолетта перестала быть существом безличным, всего лишь прислугой. Стоило ей заговорить о себе, о своем детстве, которое прошло в деревне, о давно умерших родителях — и она преображалась неузнаваемо, это была женщина, которая много пережила, испытала и тяготы и жестокие страдания. Когда же она умолкала, лицо ее затуманивалось уже знакомой мне печалью и обретало достоинство, какого обычно и не думаешь встретить в служанке.

Все началось очень просто. В тот вечер, как и в предыдущие вечера, Виолетта зашла меня навестить, но, едва затворив дверь, прислонилась к стене и как-то вся поникла — опустились плечи, бессильно свесились руки вдоль тела, а в глазах горела мольба, безмолвный зов израненной души. Я растерялся, предложил ей сесть; она повиновалась. Какое-то время тишину в комнате нарушал только негромкий предвечерний говор захолустного городка, нескончаемый шум экипажей, что проезжали под запыленными платанами бульвара. Сумерки сгущались, и я велел зажечь свет, но Виолетта не послушалась и вдруг в полутьме заговорила, стала рассказывать о своих несчастьях — негромко, отчетливо, без лишней горячности, но я тотчас понял: ничто ее не остановит.

Какая сила побуждала эту девушку довериться мне, случайному проезжему человеку? Жажда хоть какого-то отклика на вопросы, на которые она не находила ответа, потребность избавиться от терзавших ее демонов? С первых слов Виолетта призналась, что несчастна, и рассказала, почему решилась пойти в услужение. Я спросил, может, она рассчитывала на лучшую плату? Она запротестовала. Нет, нет. Она и сама не знает, что ее толкнуло на такой шаг. Может быть, просто больше не хотелось изо дня в день иметь дело с больными. Она ни за что не посмела бы признаться доктору Феррану, как раскаива-

ется она в том, что променяла работу в его клинике на место прислуги в «Терминюсе». «Прислуга, прислуга»,— с отвращением повторяла Виолетта. Она взяла с меня слово, что я не выдам ее хозяйке: мадам Ламарк вовек не простит горничной, если узнает, что та жаловалась постояльцу. По правде сказать, прибавила девушка, мадам Ламарк, когда нанимала ее, прямо сказала, что работа будет нелегкая.

За три года службы в «Терминюсе» у Виолетты не было ни одного свободного воскресенья. А на неделе, в день, когда полагалось бы ее отпустить, хозяйка всякий раз находит для нее какое-нибудь неотложное поручение — что-то зашить, сбегать за покупками, доставить с вокзала багаж. В остальные же дни не дает горничной ни часу передышки до глубокой ночи.

В гостинице, дело известное, всегда работы по горло. Ежедневные обязанности Виолетты расписаны до самомалейших мелочей. С утра, прибрав в номерах, надо помогать на кухне чистить овощи, потом с официантами накрывать на стол. После обеда — штопать, гладить и пересчитывать белье, начищать столовое серебро. Хозяйка все проверит и наверняка заметит малейшую небрежность. Недоверчивым пальцем проведет по ребру каждого стола и стула, приподнимет каждый коврик. От ее глаза ничто не ускользнет. «Виолетта, вы забыли протереть краны умывальника в пятнадцатом номере. Виолетта, в двенадцатом не вымыта ванна. На стенках грязь». И все это правда.

Виолетте только и удается передохнуть, когда мадам Ламарк уходит к себе проверять счета. И вовек от нее не дождешься приветливого слова, ни улыбки, ни доброго взгляда. Хозяйка понапрасну время не тратит. Поздней ночью, когда Виолетта пытается уснуть на раскладушке в каморке, что отведена ей в конце коридора, владелица «Терминюса» все еще ходит по кухне, смотрит, нет ли где непорядка.

Чем дольше я слушал Виолетту, тем ясней понимал, что такое участь служанки. Подневольный труд до конца жизни, разве что вдруг выручит чудо — замужество или наследство от кого-то из дальней родни. И опять мне представились вымершие улицы Шатейона, его пустынные площади — царство тишины и скуки, и пересохшие фонтаны, и однообразные ряды облезлых домов. Опять я вдыхал этот запах копоти, угарных головешек, гниющей листвы, поднимающийся в ясное небо, где истекает кровью раненое облако. Неизбывное уныние захолустья.

Почему же Виолетта не уходит из «Терминюса»? В Шатейоне есть и другие гостиницы. Пытаясь оправдать девушку, я говорил себе, что ей недостает ловкости, она просто не умеет вырваться из рабства. Каждому сужден свой ад, выбирать не дано.

Покончив с жалобами,— да и жаловалась ли она? — Виолетта прибавила со вздохом:

— А я-то надеялась, что мадам Ламарк меня хоть немножко полюбит.

Но голос ее не дрогнул ни единой ноткой злобы или горечи. Она казалась отрешенной, словно и не о ней речь. В ее рассказе возникала не та Виолетта, что сидела у меня в комнате, но загнанная, обездоленная служанка, жертва самовластной, бессердечной хозяйки. Истово, чуть ли не назойливо разматывала она нить своей жизни, задерживаясь на мелочах, каждый пустяк вырастал в ее глазах до размеров события, и, слушая этот однообразный перечень унижений и несправедливостей, я не проникся сочувствием, напротив, ее трагедия казалась мне все ничтожней. Правда жизни бледнела, растворялась в словах. Я знал, Виолетта не лжет, но ее судьба меня мало трогала. Так уж устроен наш мир, его не переделаешь. Да и что общего у меня с этой несчастной горничной?

Мсье Ламарка Виолетта видела только на исходе дня. Поздними вечерами хозяева гостиницы ужинали вместе со служащими в углу столовой. Ужин был единственной короткой передышкой после тяже-

лого труда, затем все укладывались в постель, кроме хозяйки, которая возвращалась к своим счетам. Утром, ни свет ни заря, ее супруг отправлялся на рынок. А потом весь день, летом ли, зимой ли, проводил у плиты: ведь Шатейон не знает мертвого сезона — зимой гостиницу заполняют лыжники. Мсье Камиль с Виолеттой приветлив и внимателен, а потому его супруга злится и ревнует. И непрестанно придирается к девушке.

Всему Шатейону известно, что мадам Ламарк раньше, как и Виолетта, служила в «Терминюсе» горничной, но ухитрилась женить на себе хозяина. Рассказывают, что она стала его любовницей еще прежде, чем умерла та, кого и по сей день называют «мадам Камиль». Так ли, эдак ли, но когда надо управлять гостиницей, распоряжаться кассой, вести записи, следить за служащими и принимать постояльцев, без женщины не обойтись. В один прекрасный день она сделалась хозяйкой и, желая утвердить свою власть, сразу дала это почувствовать всем, кто очутился у нее под началом. Она злая, ей приятно, что ее все боятся, уверяла Виолетта. Так уж оно всегда бывает.

Виолетта говорила о хозяйке враждебно и презрительно. Раз уж мадам сама сколько лет пробыла горничной, конечно же она изучила все маленькие хитрости, как сплутовать или увильнуть от работы. Старые служащие один за другим уволились, ушли из «Терминюса» кто куда. Мадам даже своей былой подружке не давала спуску. После ее ухода как раз и наняли Виолетту. И тотчас Виолетта поняла, что с хозяйкой они не поладят.

С хозяином дело другое, но он, хоть и относится к Виолетте по-хорошему, не смеет показать это при жене. Если и скажет за столом приветливое слово, мадам вмиг на него накинется, корит, попрекает прилюдно — мол, нечего любезничать с прислугой, не умеешь, мол, блюсти свое достоинство, и мсье Камиль сразу замолчит, лишь бы не разгорелся скандал.

— Жоржетта — она прислуживает хозяйке — мне рассказывала, вечерами у себя в комнате мадам и мсье часто из-за меня ссорятся. Она ему не прощает, что он со мной добрый. Говорит, я проныра, стараюсь вскружить голову Люсьену, его сыну от первого брака: у мсье Камиля сын военный, служит в Меце. Хозяйка не любит Люсьена, об этом догадаться нетрудно. Да, Люсьен мне пишет, и я ему отвечаю, но его письма очень учтивые, я их вам покажу — те, которые у меня остались, и вы сами увидите, в нашей переписке нет ничего худого. Кроме меня, Люсьену никто не писал, только от меня он и знал, что делается дома. По-вашему, это преступление?

Назавтра в тот же час Виолетта опять пришла ко мне в номер и снова принялась рассказывать мне свою жалкую повесть, убогую жизнь служанки. Мадам, мсье Камиль, Люсьен, Жоржетта. Опять и опять возникали те же действующие лица. Она изливала передо мной накипевшую на сердце горечь, спрашивала совета, обращала меня в своего наперсника и духовного наставника. Порой, прерывая рассказ, она пылко заклинала меня верить: каждое слово ее — чистая правда.

Виолетта призналась, что любит Люсьена. Из Меца он писал ей длинные влюбленные письма, полные планов на будущее: она дала ему адрес сестры, чтобы хозяйка не раскрыла их секрет. Сестра каждую неделю посылала Виолетте пачку газет и в них вкладывала письма Люсьена. Однажды, тайком от Виолетты, хозяйка обшарила ее каморку, будто бы искала то ли потерянное, то ли украденное кольцо, и наткнулась на письма Люсьена.

К концу обеда разразился скандал. Мадам швырнула письма на стол, чуть не в лицо Виолетте, и накричала на нее как на уличную девку. Ловко это было подстроено. Никто не вступился. Хозяин закурил сигарету. Жоржетта, официанты и кухарка молча уткнулись в тарелки, не смели даже обменяться взглядом. Мадам встала из-за стола, тотчас поднялись и остальные. О пропавшем кольце уже и речи не

было. О нем никогда больше речи не было. Заново складывая газеты, Виолетта обнаружила, что не хватает пяти писем, самых нежных, каждое слово в них она знала наизусть. Она перепугалась.

От хозяйки можно было ждать чего угодно. Когда недели через две Люсьен вдруг перестал писать Виолетте, она сразу поняла, как воспользовалась мадам своей находкой. Она уж постаралась очернить Виолетту — и напрасно та предостерегала Люсьена, он поверил клевете, даже не попробовал выяснить, есть ли в хозяйкиных россказнях хоть на грош правды. Настойчивые письма девушки оставались без ответа. И она покорилась, тоже перестала писать, и вновь ей пришлось задыхаться в немом одиночестве. Ничто не заменило ту первую любовь, при воспоминании о Люсьене сердце Виолетты и по сей день переполнялось блаженной мукой. Когда она говорила о нем, глаза ее сияли нежностью и губы дрожали, так сильно было ее чувство.

Виолетта не открыла мне ничего нового: с ней приключилось то же, что со всеми молодыми служанками, которые нравятся сыновьям хозяев и угрожают планам великолепного будущего, какие с поистине муравьиным терпеливым усердием строит каждое семейство для своего отпрыска.

Часа через два Виолетта устала говорить, утерла слезы и сказала, что ей пора спать и очень глупо было с ее стороны утомлять постояльца своей болтовней. Потом, как всякая женщина, которая только что выплакалась, она подошла к умывальнику, погляделась в зеркало, напудрилась, провела кончиками пальцев по щекам. А уже на пороге вдруг испугалась своей чрезмерной откровенности и снова взмолилась, чтобы я не выдал ее хозяйке.

Накануне моего отъезда, едва войдя ко мне в номер, Виолетта стала продолжать повесть своей жизни с того места, на котором остановилась вчера, и с тем же обилием подробностей, отчего ее жизнь каждый раз поворачивалась новой стороной. Я сказал ей, что завтра вечером мы уже не увидимся, и она словно бы нисколько не удивилась. Будто заранее примирилась с мыслью о разлуке. Помолчала минуту и опять заговорила как заведенная, словно непременно хотела покончить с начатым делом, и в этом глухом бормотанье передо мною снова прошла длинная цепь обид и разочарований. Лишь в последнюю минуту, уже уходя, она как будто вернулась к действительности:

— Значит, решено? Вы уезжаете? И завтра вечером мы больше не увидимся? А я-то думала, вы еще побудете здесь несколько дней, пока совсем не выздоровеете! Вот вы уедете, и мне уже вовсе не с кем будет поговорить. Вы не знаете, как это тяжко, когда ты совсем одна! Я-то думала, вот нашла друга, он мне поможет бежать из этого дома, а вы уезжаете!

Она застыла на месте, затуманенным взором глядя мне прямо в глаза, бог весть какой помощи она от меня ждала. Не подозревал я раньше, что в ослеплении, свойственном простым душам, она глубоко, затаенно мечтала о том, как я спасу ее от рабства. И вот она стоит, подавленная, на пороге ночи, в коридоре, полутемном и тихом, потому что последние постояльцы давно улеглись. Как сказать ей, что я ничем не могу ей помочь? Я отвернулся: пусть не прочтет по моему лицу, сколь я бессилен. Не забыть мне, какое отчаяние внезапно проступило в ее печальном взгляде.

Сознание, что я не в силах изменить судьбу Виолетты, бесконечно угнетало меня; я мало знал ее, но с первого же дня меня покорила естественность, мягкость и простота этой девушки. Я понимал: в нескончаемой борьбе с хозяйкиными кознями Виолетте не победить, на поддержку Люсьена или чью-либо еще ей надеяться нечего,— но у меня не хватало мужества ей это сказать.

Назавтра в семь утра я уезжал из Шатейона; Виолетту я больше не видел — в этот час она была на кухне, раскладывала по тарелкам завтрак.

Десять лет минуло после того безрадостного пребывания в Шатейоне, и вот однажды, на пути в Италию, я вспомнил о Виолетте. Меня взяло любопытство — что-то с ней сталось? — и я решил остановиться на ночь в «Терминюсе». Мысленно я снова увидел тот гостиничный номер и Виолетту, сидящую у моего изголовья, темные озера ее огромных глаз и горькие слезы, струящиеся по щекам; и опять за чуть слышными в полутьме невнятными словами в этом юном голосе звучали боль и страстное отчаяние.

Нескончаемо долго умирал знойный день, длинные полосы света и тени протянулись вдоль дороги и словно замерли в неподвижности. Вокзал. Мост через канал, створы шлюза. Главная улица. Городской сад, птичья суета в листве деревьев. Шатейон ничуть не переменился, только теперь он залит солнечным светом, и в воздухе — привкус пыли и запах бензина. Я поставил свою машину возле гостиницы и вошел. И в столовой с высоким потолком, и в баре тоже все осталось по-прежнему. Рассыльный перехватил у меня чемодан, проводил до стойки, где мне дали ключ от номера, потом пошел впереди меня к лифту.

С той минуты, как я решил заехать в Шатейон, я непрестанно думал о Виолетте, о печальной девушке, которую на несколько дней свел со мною случай и которая в неодолимом порыве излила передо мной душу. За десять лет столько всего произошло, сущая нелепость — воображать, что я снова встречу Виолетту в «Терминюсе»; Виолетта уже замужем, наверняка уехала из Шатейона, быть может, возвратилась в родную деревню.

Я спустился в столовую. Проходя мимо стеклянной перегородки, я заметил, что за нею восседает уже не мадам Ламарк, а другая владелица: она крупнее, выше, но тоже вся в черном и так же склонилась над счетами и книгами. Во время обеда я изредка поглядывал на нее, и понятней стало, почему я не с первой минуты заметил, что эта женщина, поглощенная своими записями, не мадам Ламарк. Черное платье и весь облик, вплоть до привычки почесывать карандашом в волосах, были те же, что у прежней хозяйки «Терминюса». Это сходство показалось мне вполне естественным, и я не придал ему значения.

Час спустя я шагал по старому городку — хотел снова поглядеть на фонтан Нептуна и на романский портал собора. Теплынь, запах дремлющих платанов, отзвук моих шагов по плитам тротуара — ничто в этот вечер не напоминало моих блужданий под проливным дождем десять лет назад и странного чувства, с каким я тогда, как во сне, проходил улицу за улицей. Я обошел вокруг фонтана из белого мрамора. Скудно освещенная площадь Карно была безлюдна, только и признаков жизни что смех, доносящийся из баров, бормотанье радио да призрачные голоса телевизоров за закрытыми ставнями. Столько счастливых жизней соединилось здесь, а мне по-прежнему чего-то не хватает. И опять Шатейон оказался бы в немилости, если бы не спасительное мерцанье несчетных звезд над головой.

Я вернулся в гостиницу, а желание снова увидеть Виолетту не утихало. В глубине коридора появилась горничная — немолодая и на редкость некрасивая. Я подумал, быть может, завтра утром станет полегче на душе. И когда проснулся поутру, первая моя мысль была о Виолетте. Я позвонил. Но завтрак мне принесла не Виолетта, а та же пожилая горничная. Я спросил, что сталось с Виолеттой, она словно не поняла.

— Мадам Виолетта? Да она давно уж на ногах. Всегда раньше всех встает, а ложится последняя. Покуда мсье не вернется с покупками, она присматривает за девушками на кухне. Уж она за всем уследит. Кто-кто, а наша мадам никому роздыху не даст.

Мне почудилось, будто я слышу Виолетту; в голосе этой женщины звучали та же усталость, та же печаль и уныние, которых, каза-

лось, никакими силами не рассеять. Да, наивны были мои ожидания, понял я, услыхав, что через год после первого моего приезда хозяйка «Терминюса» умерла и мсье Камиль женился на Виолетте. Когда надо заправлять гостиницей, без женщины не обойтись, а на это способна была одна Виолетта. У мадам Ламарк она прошла хорошую школу. Это я уже понимал. Едва Виолетта стала хозяйкой, она тотчас забыла, каково ей приходилось прежде на ролях прислуги, и в черствости и алчности превзошла прежнюю свою госпожу.

— Она еще хуже, мсье, еще хуже,— прибавила старая горничная еле слышно, будто испугалась своей смелости.

Когда я расплачивался перед отъездом, я вовсе не стремился, чтобы меня узнали. Виолетта почти и не взглянула на меня, и я втайне этому порадовался. Я говорил себе: она давным-давно меня забыла, в лучшем случае я для нее теперь лишь досадное воспоминание о том, как легкомысленно она доверилась чужому человеку. Зачем же напоминать ей о той исповеди, о ее ребяческом отчаянии, дать понять, что для меня настоящей Виолеттой была и навсегда останется молодая девушка, униженная, беспомощная, которую я когда-то пытался утешить? Я подхватил чемодан и чуть ли не бегом бросился к своей машине, которая ждала меня под еще сонными платанами.

Перевод с французского НОРЫ ГАЛЬ

■

Из месяца в месяц

ДАНИЯ

«ШЕСТНАДЦАТЬ ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ»

Издательство «Гюльдендаль» выпустило роман «Шестнадцать дней в сентябре». Его авторы, Биби и Франц Берлинер, рассказывают о том, как складывается жизнь тысяч и тысяч датских семей, о сложном взаимодействии мира юности с окружающим миром.

В центре повествования — судьба пятнадцатилетней девочки. Пия — старшая в семье. Ее мать одна растит еще двоих детей от разных отцов. Пии приходится нелегко. Она не очень ладит со своими сестренками, за которыми должна постоянно присматривать, ибо днем мать на работе, а вечера проводит вне дома. В надежде устроить свою жизнь мать Пии заводит все новые и новые знакомства. Пия тяжело переживает это, и когда та знакомит ее со своим очередным приятелем, Пия убегает из дому...

Все ведет к тому, что Пия неизбежно должна попасть в число тех, кого называют неудачниками, социально неперспективными, несостоявшимися личностями. Эти определения, пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк», в гораздо большей степени характеризуют само несправедливо устроенное общество, в котором живут «неудачники», чем ту группу молодежи, которая не находит себе применения в капиталистической Дании и которую общество попирает ногами.

От романа веет суровым реализмом. Однако, несмотря на то что авторы рисуют далеко не отрадную картину датской действительности, позиция Биби и Франца Берлинер — по-настоящему жизнеутверждающая. По мнению критиков, авторы воздают должное сегодняшней молодежи, верят в ее будущее. Не случайно у романа будет продолжение: мы узнаем о дальнейшей судьбе героини, о взглядах повзрослевшей Пии на общество, в котором она выросла, и главное — будет ли она с теми, кто пытается изменить это общество.

Вполне закономерно, что роман «Шестнадцать дней в сентябре» стал одним из произведений — победителей на конкурсе Северных стран «Лучшая книга для юношества-80».

ПИТЕР УСТИНОВ

Крамнэгел

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗАРАХОВИЧА

1

Город торчал из пустоты брошенными вставными челюстями. Не было никакой видимой причины, почему его следовало построить именно там, а не где-нибудь еще,— ни большой реки, ни укрытия гор, ни хотя бы морщинки на земной поверхности. Наверное, здесь просто сбросил свой заплечный мешок какой-то усталый пионер, или, возможно, как раз на этом месте пала лошадь, и из такого вот невзрачного зернышка вырос Город — как дерево или как болезнь.

Трудно было сказать: то ли он рос слишком быстро, чтобы обзавестись пригородами, то ли он из них одних и состоял — в конечном счете выходило одно и то же. Как обычно и бывает в городах подобного рода, испятнавших веснушками огромное плоское лицо Среднего Запада, здесь продавалось несколько больше подержанных автомобилей, чем на них могло найтись покупателей, а вечерами, несмотря на пуританские нравы, призывно — как проститутка, шепчущая вслед проходящему мимо клиенту,— манили и подмигивали исполосованные очи реклам. Затем все небо озарялось адским огнем — знамением столь же ясным, как звезда, сзывавшая мудрецов в Вифлеем, и гласившим, что в электрическом оазисе посреди нефтяной и пшеничной пустыни мутным ключом бьет жизнь и в одиночестве нет резона.

Днем же все выглядело иначе. Становились заметными трогательные потуги на стиль — как будто всю историю прокрутили ускоренным темпом, словно ленту на магнитофоне, а всю эволюцию втиснули в жалкие полстолетия существования Города. Законодательное собрание — ибо Город был столицей штата, хотя и не самым большим скоплением в нем домов и людей,— размещалось в сносной имитации Парфенона, тогда как местный арсенал был решен в стиле средневекового форта, усовершенствованного фабрикантом игрушек. Источником вдохновения для проектов наиболее почтенных небоскребов послужили, без сомнения, органные трубы; их опасные высоты были усеяны горгульями, а нижние этажи изобиловали мозаиками в стиле прерафаэлитов, скрывавшими за подчеркнутым внешним благолепием дьявольский подтекст. Короче говоря, это был Город, ничем не отличимый от многих других, Город, который его обитатели, находившие поэзию и просвещенность там, где чужаки не видели ничего, кроме серости и скуки, считали великолепным местом, здесь можно жить и растить детей, невзирая на

ПИТЕР УСТИНОВ — PETER ALEXANDER USTINOV (род. в 1921 г.).

Английский писатель, драматург, режиссер, киноактер. Внучатый племянник русского художника А. Н. Бенуа. Окончил Лондонскую театральную студию. Автор пьес «Ни проблеска надежды» («No Sign of the Dove», 1953), «На полпути к вершине» (поставлена Московским театром им. Моссовета) и др., романов «Проигравший» («The Loser», 1961), «Неизвестный солдат и его супруга» («Unknown Soldier & His Wife», 1967), «Уважаемый Я» («Dear Me», 1977; автобиографический роман). Лауреат нескольких премий «Эмми» (присуждаемых в США за лучшие телепередачи и программы), лауреат международной премии ЮНИСЕФ за 1978 г. Снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в известном советским зрителям фильме «Спартак» («Оскар» 1961 г. за лучшее исполнение мужской роли).

Роман «Крамнэгел» вышел в 1971 году («Krumnagel». New York, New American Library, 1971).

марихуану, расовые мятежи, студенческие беспорядки, весьма высокий уровень убийств и, что еще хуже в глазах моралистов, весьма высокий уровень изнасилований.

Человека, призванного бороться с этими проявлениями зла и оберегать от них сограждан, звали Крамнэгел. У него было много друзей и много врагов, которые, вполне естественно, часто оказывались одними и теми же людьми, ибо Крамнэгел занимал пост начальника полиции. Это был огромный детина, высокий и одновременно массивный, с тем достаточно внимательным взглядом широко раскрытых глаз, который считается умным, когда встречается у собак, и который своей агрессивной настороженностью производит куда менее обнадеживающее впечатление даже на самых наивных, когда встречается у людей. Беспокойный взор Крамнэгела смягчался, однако, его твердой решимостью быть доступным, человечным, приятным. Он поощрял критику, однако никогда не прощал ее. Он беспредельно верил в простого парня с улицы, однако придерживался самого низкого мнения о нем. Он был американцем, и американский образ жизни так же неотъемлемо вошел в его кровь и плоть, как неотъемлемо вписался в его мысли и в угол его служебного кабинета за креслом свернутый американский флаг.

— Отличный день, начальник! — крикнул ему мистер Половски, мужской портной, стоявший в дверях своей лавочки. Мистер Половски был гражданином Америки в первом поколении и потому искал поддержки в общении с людьми — чем более обыденном и менее вызывающем на спор, тем лучше.

— Да вроде ничего себе,— откликнулся Крамнэгел, следуя мимо него по тротуару

— Для вас особенно,— заискивающе подхватил мистер Половски, и стекла его очков сверкнули в лучах удивительно яркого солнца.

Крамнэгел, может, и услышал его слова, но вовсе не подал виду. Мистер Половски вернулся в свою лавочку, готовый в разговорах со знакомыми придать этому эпизоду особое значение.

Да, уж сегодня-то Крамнэгел мог бы и проехаться в своем черном, украшенном золотой звездой полицейском автомобиле — либо за рулем, откинувшись на спинку сиденья, привалившись боком к дверце, опершись локтем на раму открытого окна и барабаня пальцами по крыше; либо, пренебрегая своей властью и положением, как и подобает истинному демократу — подле положенного ему по штату шофера, однако он предпочел идти пешком.

— Замечательный человек во многих отношениях,— сообщил мистер Половски своему подмастерью.— Правда, неприятный, но все равно замечательный — вы только представьте себе: идет пешком! — да и вообще, где сказано, что начальник полиции должен быть приятным?

Поскольку подмастерье не был большим эрудитом, то он не знал, потому и не ответил.

— Для сентября отличный денек, а, Барт?— окликнул Крамнэгела мистер Массульян из дверей своей лавки. Заведение было из тех, где уже уцененные вещи распродаются с еще большей скидкой, так как хозяин вынужден срочно спустить весь свой товар, чтобы не вылететь в трубу, но почему-то в результате этих распродаж он неизменно остается в большом выигрыше.

— Да вроде ничего себе,— промычал Крамнэгел, продолжая жевать резинку.

— Все-таки отличный!— вынимая изо рта окурок сигары, упрямо повторил Массульян, как будто ему возражали. Больше всего на свете Массульян боялся, что последнее слово будет не за ним. Умение завершить беседу на своих условиях внушало ему чувство уверенности в себе, даже если собеседник уже был вне пределов слышимости.

— Все-таки отличный! — повторил он еще раз после того, как Крамнэгел окончательно скрылся из виду.

Подходя к гостинице «Гейтуэй-Шератон» — новейшей из жемчужин в венце городского гостеприимства,— Крамнэгел пытался поймать свое отражение в витринах, чтобы окончательно удостовериться, что у него все в порядке.

— Ну как оно, начальник?

— Гм...

— Слушайте, начальник, я тут получил кой-чего новенького — а у нас что, опять неприятности?

Мистер Бун, владелец полусерьезного книжного магазина, где полные собрания сочинений Эсхила, Исаака Ньютона и Германа Гессе стояли корешок к корешку с

трехтомной историей онанизма всех веков и народов, поднял над головой номер журнала, на обложке которого возлежала обнаженная девица.

— Я сегодня не на службе, Байрон, могли бы и знать.

— Заходите в любое время, начальник, если что понадобится, в любое время, днем и ночью.

— Ладно, увидимся.

Швейцар в дверях отдал ему честь. Он отдал честь швейцару. Глаза их на миг встретились. Они посмотрели друг на друга с симпатией и недоверием. Очутившись в вестибюле среди гостей, Крамнэгел окинул тревожным взглядом газетный киоск, кафетерий, застекленный закуток «Подарки пионера», стол проката автомобилей.

— Разрешите вас проводить, начальник? Это в Бизоньем зале.

— Я знаю где. Я ищу миссис Крамнэгел.

— О, извините.

Как раз в этот момент в автоматически раскрывающихся дверях появилась Эди. С такой внешностью она имела бы большой успех в эпоху немого кино: нос пуговкой, чуть водянистые глаза, надутый ротик и невинный взгляд, не лишенный приятного намека на извращенность.

— Привет.

— Привет, Эди, ты опаздываешь.

— Нет, приятель, это ты рано пришел. Я никогда не опаздываю. Я — жена полицейского, не забывай об этом.

Крамнэгел и не думал забывать. Он всегда об этом помнил, хотя и не без некоторого неудовольствия, поскольку до брака с ним Эди уже побывала замужем дважды — и каждый раз за полицейским.

Электронные часы под средневековый глокеншпиль на небоскребе фирмы жевательной резинки «Бичнат» пробили двенадцать.

— Вот видишь! — воскликнула Эди, игриво ткнув серебристым ноготком в кончик его носа.

— Ладно, ладно, ты права,— вздохнул Крамнэгел.— Бывает и так. Ну, хорошо, пошли.

Бизоний зал — главный банкетный зал гостиницы — был оформлен в современном стиле, однако в нем стояли изрядно мешавшие официантам настоящие крытые фургоны, почтовые кареты и чучело бизона. Из окон зала открывалась величественная панорама. В хорошую погоду были видны не только окрестности Города, но и лежащая за ними прерия. Когда чета Крамнэгелов появилась на пороге, в зале мгновенно вспыхнули аплодисменты. Один из присутствующих сразу же ринулся вперед, как бы в порыве миролюбия.

— Мы долгое время враждовали, Барт,— вы уж извините, Эди,— но я первый хочу сказать вам, что глубоко польщен оказанной мне честью — приглашением сюда, и я специально отменил важнейшую консультацию, чтобы успеть. Город не был бы Городом без вас, Барт... и Эди... А ведь именно его мы и любим, наш Город, и во имя него и трудимся, не так ли?

— Разумеется, Арни,— ответил Крамнэгел.— Я и сам не сказал бы лучше.— Эта взаимная демонстрация дружелюбия вызвала одобрительный смешок зрителей.— Да нет, серьезно,— продолжал Крамнэгел,— у нас с вами были разногласия, ну и что — у кого их нет? Вот и у нас с Эди тоже были разногласия, сплошные разногласия.— (Смех.) — Но это же не значит, что я ее не люблю, верно? — Он так прижал ее к себе, что она чуть не завопила от боли. Однако ей удалось выдавить из себя вместо вопля вымученную улыбку, адресованную присутствующим в зале женщинам, умиравшим от зависти.— Я не хочу сказать, что люблю вас, Арни...— (Смех.) — Я, пожалуй, один из тех редких чудаков, которые считают, что мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины — женщинами.— (Снова смех, переходящий в аплодисменты, по мере того как слушатели осознавали всю глубину высказанной мысли.) — Но я вас, Арни, очень ценю, всегда ценил и буду ценить, и — как знать? — если мне когда потребуется проверить черепушку, я сразу смекну, к кому обращаться.

Арни Браггер, самый уважаемый в штате психиатр, протянул Крамнэгелу руку, и огни фотовспышек запечатлели момент великого примирения.

Стук молоточка известил сановную публику о том, что пора обедать. Банкет начался.

Перебрасывавшиеся тарелками официанты придавали залу некое сходство с футбольным полем во время тренировки. У входа на кухню, как тренер на краю площадки, стоял метрдотель, все отмечая в уме, прикрикивая на тех, кто покидал поле с пустыми тарелками в руках, подбадривая тех, кто возникал в дверях с новыми блюдами. Крамнэгел почти не прикасался к еде. Он с отвращением думал о том, что ему предстоит произнести речь. Как и большинство тех, кто считает себя человеком действия, он был ленив, и ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем развалиться в кресле и смотреть по телевизору боевики, отождествляя себя с сыщиком.

Его, пожалуй, легко было понять, поскольку ему выпало несчастье возглавлять городское полицейское управление в тот период американской истории, когда единственным видом преступности, борьба с которым приносила успех, были вымышленные преступления на телеэкране. Эти преступления обладали еще и той особенностью, что раскрытие любого из них не требовало более двадцати семи минут благодаря непреклонным законам коммерции, оставлявшим три минуты на рекламу продукции оплативших передачу фирм. Крамнэгел вздохнул. Трудный выдался год. Пресса не прекращала его травить. В свободном демократическом обществе пресса вечно цепляется к должностному лицу, особенно если все ее органы принадлежат одной и той же семье. Ну, в самом деле, он-то чем виноват, если по делу об убийстве Рэбника, по делу о таинственной смерти шести братьев Пенаполи (в том числе и пресловутого мафиозо Ананасного Джо), по делу об обезображенном трупе наследницы фабриканта лейкопластыря — труп нашли в выброшенном почтовом мешке,— по делу ветерана войны, забитого до смерти его же собственным ножным протезом, по делу свихнувшегося «зеленого берета» [1], который взорвал рейсовый самолет и до сих пор шастает на свободе (об этом писали крупнейшие газеты страны),— по всем этим делам так до сих пор никого и не арестовали? Да и что толку арестовывать преступников в наш непостижимый век научной экспертизы? Вот взял он недавно бандита, требовавшего выкуп за похищенного им человека. Взял с поличным, как раз в тот момент, когда бандит пытался получить выкуп. Железное, казалось бы, дело. И что же вышло? В зале суда появился представлявший преступника Арни Браггер и до того заморочил судье голову своей психоаналитической обструкцией — три дня речь только и шла о Фрейде, Юнге и Теодоре Рейхе,— что под конец несчастный богобоязненный судья и измотанные присяжные передали подсудимого на короткий срок под наблюдение врачей, а затем отпустили на все четыре стороны. Браггеру, правда, не пришлось долго доказывать, что его клиент действовал в состоянии временного умственного расстройства, поскольку тот потребовал, чтобы деньги за выкуп положили в металлический контейнер и бросили на дно бассейна, и был взят полицией, как только вынырнул из воды с этим контейнером в руках; но его дело представляло собой лишь один пример из многих сотен дел, в которых Браггер обманул если не правосудие, то справедливость, прибегая к смеси фантастического нахальства, высокопарных, велеречивых фраз об Америке (этой беспредельно гибкой и расплывчатой абстракции) и призывов к простым, без выкрутасов, добродетелям и болтая благодаря неисчерпаемым запасам природной энергии часами ни о чем с неподдельной искренностью и глубокой увлеченностью.

Размышляя об этих проблемах, Крамнэгел перехватил взгляд Браггера и виновато улыбнулся. Браггер же не только с готовностью улыбнулся в ответ, но даже подмигнул, что сразу заставило Крамнэгела задуматься над тем, какие мысли о нем самом сидят в голове у этого мерзавца.

На банкете присутствовали все, кто что-то значил в этом мире. Губернатор штата — Дарвуд Макалпин, человек умеренный и осторожный, сохраняющий устойчивость в любую бурю. Его мать, Элис Хокомер Дарвуд, унаследовала два огромных состояния — от своей матери, Найоби Хокомер из рода пивных королей (на этикетке фамильной продукции изображен Рип Ван Винкль и надпись: «Ради пива «Хокомер» стоит проснуться»), и от отца, Линкольна Дарвуда, запатентовавшего первый в истории рубчатый резиновый каблук для мужских ботинок. («Гордитесь — вас хранит от падения Двойной Захват Дарвуда».) Немалые деньги достались губернатору и от его отца, а в придачу к ним — вечно моложавая физиономия здоровяка спортсмена с неизменной презрительной миной. Губернатор принял место, отведенное ему в обществе с ранней

[1] «Зеленые береты» — солдаты отборных подразделений вооруженных сил США, обученные ведению специальных операций. Многие из них заслужили печальную славу садистов и убийц, пополняющих после демобилизации ряды уголовников. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

юности, принял безропотно и без тени протеста, и сейчас, на пороге наступавшей в его жизни долгой осени, не выказывал ни довольства, ни огорчения выпавшей ему судьбой, поскольку она была столь же органической частью его самого, как и его собственная кожа. Он беспредельно верил в демократию, наделявшую правом голоса даже самых бедных и черных, но позволявшую им отдавать голоса лишь за самых богатых и белых. Он верил в нее потому, что не имел ни желания, ни способности занимать свой мозг раздумьями о какой-либо другой вере. И вообще занимать он умел лишь гостей, что и делал непрерывно и, казалось, без устали.

Сейчас с губернатором беседовал мэр Города, Отис Калогеро, грек по происхождению, человек недостаточно либеральный, чтобы угодить либералам, и недостаточно консервативный, чтобы угодить консерваторам; недостаточно продажный, чтобы угодить мошенникам, и недостаточно узкомыслящий, чтобы угодить ханжам. Иначе говоря, он был олицетворением известного явления нашего времени — политик, побеждающий на выборах лишь потому, что никто не настроен против него столь же решительно, как против других кандидатов. Отнюдь не лучший из людей — просто наименьшее зло.

Именно такие события и используют большие люди, чтобы переговорить с другими большими людьми о взаимно интересующих их вопросах, с хозяйской гордостью отметил про себя Крамнэгел. Но вдруг, несмотря на свою центральную в сегодняшней церемонии роль, он по какой-то необъяснимой причине рассердился. Жена Крамнэгела оживленно болтала с его заместителем Алом Карбайдом, и Крамнэгелу казалось, что, слушая его, она смотрит на его губы, как бы угадывая слова. Почему это она не может смотреть ему в глаза, как все нормальные люди? Ощутив на себе взгляд мужа, Эди неожиданно повернулась, радостно подпрыгнула в кресле и послала ему несколько быстрых воздушных поцелуев. Крамнэгел выдавил из себя улыбку, а Ал Карбайд подмигнул ему точно так же, как только что перед ним Арни Бреттер. В конце концов, решил Крамнэгел, это его день, и в мире, черт побери, полно дружелюбия, проникавшего даже в черные души замов и психиатров. Снова застучал молоточек, и мэр попросил монсеньора Фрэнсиса Ксавьера О'Хэнрэхэнти, президента католического университета Тернового венца, возвести благодарственную молитву.

— О, боже,— сказал монсеньор, как бы проверяя экзаменационную работу, в которой бог опять допустил ту же ошибку, что и в прошлый раз.— О, боже, ты являешь нам чудо своей всеобъемлющей мудрости и своей вездесущности, и нет предела нашему унынию, когда ты покидаешь нас, ты являешь нам красоту и чудеса индустриальной мощи нашей великой страны, в которой дочери твои и сыновья могут славить тебя под сенью конституции, согласно со своими верованиями и взглядами. Горстка твоих детей возносит тебе сейчас хвалу за щедрость этого стола и молит тебя благословить наш чудесный штат, и наш Город, и особенно его полицейское управление...

Взгляды всех присутствующих обратились к Крамнэгелу, и он явственно ощутил, как бог, благословляя, прикоснулся к его лбу полицейской дубинкой, и покраснел.

— Наше полицейское управление, под руководством его начальника Бартрама С. Крамнэгела, всегда старалось идти путем благочестия и улучшить жизнь в нашем Городе. Господи боже наш, помоги же ему в этом важном, воистину всепоглощающем деле. Освяти незыблемость семьи, отцов утверди в их отцовской власти, матерей в их материнской любви и научи детей наших чтить тебя в стенах нерушимой крепости американского дома.

Мэр взглянул на часы. Всем ведь предстояло возвращаться на службу в свои заведения. Монсеньор заметил его взгляд и успокаивающе кивнул. В конце концов, ему ведь тоже предстояло возвращаться на службу в свое заведение, как и всем остальным.

— Да пребудут с полицейским управлением нашего Города гнев твой и благость твоя: гнев — дабы покарать злодеев, а благость — как бальзам для заживления ран, нечаянно наносимых современной жизнью. Да смягчит его карающую десницу милосердие, а милосердие да будет сочетаться с твердостью стали. Аминь.

Некоторые неумные личности позволили себе захихикать, поскольку как раз в этот момент официант уронил высокую стопку тарелок, но в большинстве своем присутствующие сохраняли завидную выдержку, устремив к богу все свои помыслы. Мэр поднялся из-за стола.

— Спасибо вам, монсеньор,— сказал он.— Чудесная была молитва, и если она не получит отклика сверху, значит, что-то неладно с нашим спутником связи.

Аудитория тепло встретила его слова: хотя поведение почти каждого зиждилось на краеугольном камне благочестия, существовало все же общепринятое мнение, что для своего же собственного блага Всевышний должен идти в ногу со временем. Глубже всего, пожалуй, подобные настроения укоренились в душе именно монсеньора О'Хэнрэхэнти, поскольку он, как частенько говаривал сам, «служил в местном рекламном агентстве, обслуживающем небесную клиентуру», а в качестве вспомогательного двигателя торговли всегда держал про запас кладезь анекдотов о грешниках и детях; анекдоты эти успешно сводили веру до уровня дозы слабительного.

— Ну что ж, все мы — люди занятые,— оживленно продолжал мэр.— И все знаем, по какой причине здесь собрались. Мы здесь собрались сегодня для того, чтобы почтить великого полицейского, великого гражданина и великого американца.— (Раздались аплодисменты. Крамнэгел нервно ткнул ножом в стол, чувствуя, что похвала, хотя, может, и заслуженная, все же несколько чрезмерна. Мэр покивал головой, потеребил свой серебряный, словно рыбья чешуя, галстук.) — Мне нет нужды объяснять, о ком я говорю.— (Смех в зале. Все взгляды устремились на Крамнэгела. Эди в экстазе запрыгала в кресле.) — Это Бартрам С. Крамнэгел.— (Снова аплодисменты. Мэр заговорил отвратительно слащавым тоном, как будто вдруг наступило рождество, и липкая лава любви к ближнему потекла в зал.) — Мы с вами знакомы уже много лет, Барт... не стоит уточнять, сколько именно, а то мы оба лишимся работы.— (Смех, переходящий в аплодисменты. Ничто не ценилось в этом кругу так, как умение человека весело взглянуть на себя со стороны. Крамнэгел кипел от ярости. Мэр был старше его на год и знал об этом. И не имел никакого права на грязные намеки. Но Крамнэгел выдавил из себя непринужденную улыбку, рука его поднялась в приветственном жесте.) — И все эти годы вы, конечно, трудились — может, один я и знаю как,— чтобы сделать полицейское управление нашего Города лучшим во всем штате.— (Жидкие аплодисменты, но, господи ты боже мой, что это еще за сомнительный комплимент?)—Хотя я и должен отметить, что при правлении моего предшественника — демократа Сеймура Фензи — уровень преступности был чуть-чуть ниже, чем сейчас. Впрочем, возможно, его правление отличалось такой серостью, что одна только боязнь скуки отпугивала организованную преступность подальше от нашего Города.— (Смех среди гостей-демократов.)

— Преступности было меньше, потому как населения в Городе было меньше, вот почему! — выкрикнул с места Крамнэгел.

Губернатора передернуло. Неужели до этого тупицы совсем не доходит ирония?

— Причины мне хорошо известны, Барт,— громко выкрикнул мэр, улыбнувшись.— Но вот вряд ли широко известно то, что Барт Крамнэгел явился на вербовочный пункт всего лишь через двадцать минут после того, как узнал о нападении на Пирл-Харбор...— (Тьфу ты, опять он про это.) — ...пришел добровольцем, чтобы снова начать все с самой нижней ступеньки ради служения родине.— (Восторженное одобрение в зале. Но прежде чем мэр продолжил речь, раздался громкий голос некоего Реда Лейфсона, самочинного учредителя наблюдательного комитета в составе одного человека, ведущего несколько радио- и телевизионных программ и колонку в газете; светясь улыбкой, он сидел в своем инвалидном кресле-каталке.)

— Так что же случилось? Почему его не призвали?

Мэр обменялся с Крамнэгелом почти неуловимым взглядом.

— Дело ведь не в этом, Ред, дело в самом поступке, а что вышло потом, вряд ли уж так важно,— твердо заявил мэр.

— Разве я не имею права знать? — спросил Ред, резко подчеркивая слово «я».

Гад ползучий. Вернулся с войны без обеих ног, отчего впоследствии сложилось мнение, которое сам Ред не только не пытался рассеять, но, напротив, всячески поддерживал, будто он потерял их во время особо опасного и героического парашютного десанта при выполнении заведомо самоубийственного задания глубоко за линией фронта. Ред всегда тщательно избегал уточнения, с какой именно стороны линии фронта это происходило, что, пожалуй, было и к лучшему.

— Барта не пропустила призывная комиссия...

— По состоянию здоровья?

— Не только,— продолжал мэр.— Один из моих предшественников, мэр Касбэк...— (Мэр, заметьте, выбрал одного из своих покойных предшественников.) — ...так вот, Фил Касбэк рассказывал мне, что специально обращался с ходатайством к военным властям, чтобы Барта оставили на его посту, как человека, крайне необходимого стране во время войны.

— Но ведь он тогда еще не был начальником полиции.

— Нет, сэр, не был, но все понимали, что когда-нибудь станет им.

Ред добродушно улыбнулся. То, что он перебил мэра, не вызвало ни замечаний, ни какой-либо реакции вообще. Реда боялись в Городе. Он устанавливал свои собственные правила и, когда это его устраивало, придерживался их.

Крамнэгел весь кипел. За каким чертом понадобилось этому треклятому мэру ворошить прошлое? Кому какое дело, что он хотел пойти добровольцем? Этак еще всплывет и то, что его не взяли из-за геморроя,— хорошенький будет материал для газет. И не опровергнешь — все ведь зафиксировано в хранящихся где-то документах. А, чтоб их...

— Безустанная борьба, которую Барт ведет с растущей волной преступности и правонарушений еще с тех давних пор, когда он был молодым полицейским с многообещающим будущим, хорошо известна и отражена во многих документах, ставших частью официальной истории,— продолжал мэр. (Вот-вот, снова он об этих паршивых документах.) — И если количество убийств все же возросло — семьдесят шесть в позапрошлом году, девяносто одно в прошлом году и пятьдесят четыре за первые шесть месяцев этого года,— то возросло и количество произведенных полицией арестов. Проблемы эти хорошо известны нам всем, но если кому и понятно, как их решать, то это Барту. После разгрома организованной преступности в Чикаго многие семьи мафии стали искать прибежище в других местах — на наши головы свалились банды Перилли и братьев Пенаполи,— и я откровенно скажу то, о чем нечасто говорят вслух: Чикаго очистили от преступности *за счет* других городов. Вот уж действительно: проделали великую патриотическую работу по очистке! Взяли и вытрясли в окно ковер коррупции, нисколько не беспокоясь о том, куда с него полетит грязь! — (Раздались аплодисменты, но мало кто заметил, что мэр ни слова не сказал о ныне здравствующих семьях мафии, остановившись лишь на бандах Перилли и Пенаполи, оказавших полиции конкретно ощутимую помощь, истребив друг друга под корень.) — Кто придумал «полицейского-ловушку», как любовно окрестил его сам автор? Барт Крамнэгел.— (Крамнэгел глубокомысленно кивнул.) — Полицейские, загримированные под женщин, наркоманов, хиппи и извращенцев, проникают и сейчас в уголовные шайки, свободно вращаются в преступном мире, сея панику, подозрения и страх среди правонарушителей. Кого первого осенила мысль привлечь дежурных педагогов, переводящих школьников через дорогу, чтобы они записывали номера подозрительных машин, нарушающих правила движения? Барту Крамнэгелу. Мы помним его любимый лозунг: «Полицейским становятся с пеленок» и благодарим его за дальновидность, за гражданскую доблесть, за высокое чувство ответственности и патриотизма.— (Аплодисменты.) — А теперь разрешите мне предоставить слово губернатору нашего великого штата, моему старому другу, чудеснейшему человеку и отменному политику — а такое сочетание не часто встретишь, вы уж мне поверьте...— (Смех, аплодисменты.) — ...Дарвуду Х. Макалпину.

Поднявшись из-за стола, губернатор вперил взгляд в потолок, как бы предавшись каким-то туманным, но забавным воспоминаниям. Затем раздался его красивый шуршащий голос, столь изысканный и сдержанный, но и не лишенный, однако, призвука огрубелой шероховатости, с каким рвется плотный дорогой пергамент, что было вызвано в основном регулярным употреблением «мартини».

— Господин мэр,— начал он.— Отис. Для человека, которому приходится следить за общей картиной жизни нашего великого штата и у которого обычно нет времени вдаваться в частности, сегодняшний банкет является чудесным событием. Он ничем не уступит самым роскошным и великолепным банкетам, на которых мне довелось бывать, и я обязательно хочу поблагодарить прекрасных руководителей и хозяев отеля «Гейтуэй-Шератон интернэшнл» за их умение работать и за оказанную нам любезность.— (Аплодисменты.) — Я хочу поблагодарить и присутствующего здесь монсеньора за просто восхитительную молитву, одновременно и благочестивую, и мудрую, и... политически грамотную.— (Смех в зале, сигнал к которому подал сам велеречивый монсеньор.) — Мне, разумеется, нет нужды приукрашивать наши с вами отношения, господин мэр, отношения всегда теплые, сердечные и приятные даже в тех случаях, когда некоторые разногласия во мнениях подвергали их испытанию если не кислотой, то... ну, скажем, по меньшей мере хорошо очищенным виски.— (Сей пассаж в «народном стиле», исполненный неразборчивым говором местных старожилов, вызвал несколько восторженных воплей, а две-три воодушевленные сладким рейнвейном души затянули гимн штата: «Там, где колюшка плывет, там, шиповник где растет, там, ребята,

место для меня». Губернатор поднял руку, жестом сдерживая шум.)— Но сегодня мы собрались главным образом, чтобы почтить начальника полиции Крамнэгела. Мне не хватает ни красноречия, ни знаний, чтобы добавить что-либо к дани уважения, воздан-ной этому отличному полицейскому офицеру. Но я хочу сказать одно: в наши дни студенческих беспорядков, бросающих школу и дом недоучек, общего упадка родительского авторитета и всеобщего поругания тех норм личной порядочности, которым нас учили как основам христианской этики наших предков, мы ни в ком не нуждаемся так сильно, так остро, так воистину отчаянно, как в умелых, крепких и строгих полицей-ских.— (Вызванные этими словами аплодисменты переросли в грандиозную овацию: вся горечь, накопившаяся в родительских душах из-за домашних неурядиц, выплеснулась в горячее одобрение жесткого курса.) — Начальник полиции Крамнэгел, вы — олицетворение полицейского того типа, который нам особенно нужен... Родившись в скромной семье, проведя детство на улицах Города, вы, Барт, могли бы пойти и по кривой дорожке, на которую свернул кое-кто из друзей ваших детских игр, но, влеко-мый не обещаниями наград, а одним лишь скромным огоньком, горящим в вашем сердце, огоньком, зажженным стремлением приносить пользу, вы избрали путь служе-ния общественному благу, народу, свету справедливости и богу. Вы поступили пра-вильно, когда были маленьким американским мальчиком. Вы поступаете правильно сейчас, будучи взрослым, зрелым американцем.

Под одобрительный рев присутствующих дружеские руки подвели Крамнэгела к губернатору.

— Приветственный адрес, который я сейчас держу,— сказал губернатор,— вы-разит куда лучше, чем мои слова, все, чем мы обязаны этому человеку. С чувством глубокой гордости вручаю я вам этот... этот прекрасный документ. Пусть многие и многие годы он напоминает вам о сегодняшнем дне.

Рукопожатие губернатора потрясло Крамнэгела своей мужественностью — на-стоящий нокаут, а не рукопожатие. Крамнэгел глянул на адрес. «Да будет сим извест-но...» — начинался он витиеватым, под средневековье, стилем. Буквица была ярко рас-крашена, а по бокам вились гирлянды из лавровых листьев, наручников, дубинок и пат-ронов; солнечный диск венчал силуэт Города, из которого броско, как подпись под старомодной политической карикатурой, выступали слова: «за службу». Крамнэгел с трудом разбирал буквы: зрение изменило ему. Аплодисменты начали отдаваться в его голове звуком какого-то электронного инструмента, эхом биения сердца, кошмаром.

— Господин губернатор... сэр,— начал он чисто машинально.

— Погодите минутку.

— Что такое?

— Погодите минутку,— заговорил рядом с ним новый, совсем другой голос, не-сомненно принадлежавший кому-то из членов губернаторской свиты. Незнакомец курил сигару из совсем молодого табака, от дыма которой Крамнэгела едва не затошнило, и дышал отвратительным табачным перегаром.— Губернатор еще не кончил говорить.

— Что такое?

Дышавший табачной вонью рот придвинулся к уху Крамнэгела.

— Губернатор будет говорить еще.

— А-а...

У Крамнэгела помутилось в глазах, как у боксера, уже неспособного даже найти на ринге свой угол.

— Позвольте мне также,— продолжал губернатор,— вручить вам вместе с адре-сом еще один символ глубочайшего уважения и признательности, переданный мне минуту назад, символ уважения всех сотрудников полицейского управления и призна-тельности ваших начальников — два билета первого класса для кругосветного путе-шествия — вам и вашей очаровательной супруге!

В зале раздался рев, в котором смешались чувства самые разнообразные,— так, пожалуй, взревела бы толпа, выиграй Рокфеллер «кадиллак» в грошовой благотвори-тельной лотерее. К Крамнэгелу мгновенно вернулась ясность мысли, в крови заиграл адреналин, и он заметил, как Ал Карбайд, крадучись, пробирается на свое место, хлопая на ходу в ладоши. Это он, должно быть, передал губернатору билеты. Крамнэ-гела охватила слепая ярость, резко контрастировавшая с морем улыбавшихся лиц, которые жадно ждали его ответа.

— Господин губернатор... Господин мэр... О, да, и монсеньор, простите, пожа-луйста...

Несмотря на гнев, Крамнэгел говорил мягким, смиренным, заискивающим голосом. Только опыт и выучка заставляли его держать себя в руках. Боксер услышал гонг и выпрыгнул на ринг, устремившись в верном направлении и приняв боевую стойку. Противник не должен догадываться, что нанес ему жестокий удар.

— Если мне и удалось сделать в жизни что-то хорошее, то я хочу за это поблагодарить всех, кто прямо или косвенно связан с полицейским управлением, тех, чьими стараниями стало возможным... Конечно... конечно же... чудесное испытываешь чувство... когда тебя ценят... Нет такого человека на благодатной божьей земле, чтобы он хорошо работал, если его работу не ценят... И плевать я хотел, если кто другой думает иначе! — (Монсеньор кивнул, как бы мрачно удивляясь справедливости этого наблюдения, а слушатели оценили его самобытную прямоту.) — И вот еще что. Не родился на земле такой парень, которому по плечу делать все одному... то есть не родился еще парень, способный жить без помощи... но вам, ясное дело, никто помогать не станет, если вы сами не умеете помогать другим... Не знаю, понятно ли я говорю... но... но мне очень во многом помогла моя мать, моя мама...— (Стоило лишь ему произнести это слово, как в зале воцарилась задумчивая тишина и многие губы, даже те, что стискивали сигары, свело в натянутые улыбочки.)— Я вряд ли скажу что-нибудь новое, ну да, по мне, так лучше старое, но правдивое, чем новое, да фальшивое... Моя мама... ну, что я могу сказать, я, сдается мне, только потом уже понял, каких жертв ей стоили заботы о нас всех... нас ведь было трое... все были сыты, одеты, бога чтили... И если я стал тем, кем стал, что ж...— (Сама бессвязность его речи была достаточно красноречива.) — Отец...— (Тут он улыбнулся с вымученным восторгом, и все присутствующие немного расслабились, поняв, что самый священный предмет уже отступает на пропахший лавандой задний план.) — Отец... он был строг, но, ей-богу, всегда справедлив. Если он ловил нас на драке или, так сказать, на неправде, его ремень тут же выпрыгивал из брюк, что гремучая змея, а мы сразу шагали к дровяному сараю, не дожидаясь повторного приглашения. Да, он был строг, но он научил нас отличать белое от черного.— (Двусмысленность последней метафоры несколько омрачила всю радость мазохистских воспоминаний Крамнэгела, и в зале раздалось покашливание, которого он, впрочем, не понял.) — Должен я также сказать и о своей чудесной жене, миссис Крамнэгел... Встань, поклонись, Эди...— (Готовая вот-вот прослезиться, Эди встала и поклонилась.) — Не знаю никого другого на белом свете, кому бы так повезло, как мне. Я нашел Эди сразу вскоре после того, как ее муж — да, да, я назову его имя, он ведь был моим другом, товарищем моим, и погиб, выполняя свой долг... прости, Эди, но я обязан это сказать... Чет Козловски был отличным полицейским, одним из самых лучших полицейских всех времен, и где бы ты сейчас ни был, Чет, я хочу, чтобы ты знал, что таких, как ты, теперь уже не бывает. Несмотря на горе утраты, Эди сочла возможным... что ж, даже если я и не мог заменить ей Чета... она согласилась стать миссис Крамнэгел... Благослови тебя господь, Эди.— (К этому моменту Эди заливалась слезами так, что была уже не в состоянии реагировать.)— Ну, вот, а что касается полицейского управления, то я просто хочу, чтобы вы знали, что я до последнего вздоха... повторяю, до последнего вздоха буду бороться за то, чтобы наша полиция была самой лучшей и самой толковой во всем штате... и, даже более того: во всем, черт побери, мире! — (Вот это выдал! Естественно, грянули аплодисменты. Теперь Крамнэгел перешел на более мирный тон, как обычно — исключительно по соображениям благозвучия — поступает большинство ораторов, если подобный переход оправдывается реакцией аудитории.) — Я знаю, что наша работа подвергалась критике.— (Он взглянул на этого калеку паршивого, Реда Лейфсона, усмехавшегося в своем кресле на колесиках, и ответил ему усмешкой на усмешку.)— Вот, например, дело Тэда Морасаки, молодого американца японского происхождения, страдающего дефектом речи. Его приметы совпадали со словесным портретом и фотороботом молодого филиппинца, которого разыскивали федеральные власти за торговлю наркотиками. Он остановил патрульную машину, чтобы что-то спросить у полицейского — все вы, наверно, помните этот случай,— и полицейскому показалось, что он опознал разыскиваемого, поэтому он, значит, попросил его предъявить документы... ну, парень полез в карман за водительскими правами, а полицейский решил, что тот полез за оружием, и поэтому выстрелил первый... Вы, наверно, помните похороны... Я послал венок лично от себя, полицейское управление выставило почетный караул... Мы получили благодарственное письмо от родителей паренька — просто чудеснейший человеческий документ. Так что вот: я никоим образом не оправдываю действий этого патрульного. Он получил

выговор и был переведен из уголовной полиции в полицию нравов. Вот как решительно я отреагировал, но все же позвольте вам кое-что сказать: когда человек лезет в карман, а у вас есть основания считать, что в кармане у него револьвер, то вам некогда миндальничать. Либо он, либо вы, а разбираться будем в участке.

— Или в морге,— приятным голоском сказал Ред Лейфсон.

— Еще один случай,— продолжал Крамнэгел, не обращая на него внимания.— Молодой человек по имени Касс Чокбэрнер, отличный парень и хороший американец с безупречным армейским послужным списком, собрался, значит, жениться и зашел в ювелирный магазин Зиглера, что на перекрестке улиц Монмут и Седьмой, чтобы купить кольцо. Он, значит, заплатил за покупку — дело это было давно, в сороковых годах,— и тут увидел, что к остановке подходит его автобус — в те времена, значит, маршрут пригородного автобуса проходил по Седьмой улице — это было еще до того, как ее сделали односторонней. Ну, так вот, он бросил на прилавок деньги, схватил кольцо и выбежал из магазина. Постовой увидел, как он выбегал из магазина, выстрелил и уложил его наповал. Этим постовым, дамы и господа, был я — и, доложу я вам, нагорело мне тогда по первое число. Я, конечно, глубоко сожалел о случившемся, просто крайне сожалел, но что же прикажете в таких случаях делать? Когда на твоих глазах из ювелирного магазина вылетает молодой парень — который, может, только что пришил хозяина,— тебе некогда разбираться, на автобус он спешит или нет, да и вообще, если у парня есть монета, чтобы ходить по ювелирам, то ведь в голову не придет, что он бежит на автобус, верно? А если он преступник и подбежит хозяин магазина к дверям и увидит, что постовой не принял никаких мер, только приказал парню подойти к нему и ответить на пару вопросов, то где потом этот постовой окажется?

— Вы, помнится, говорили, что хозяин-то был убит,— опять перебил его Ред.

— В глубокой луже, вот где,— продолжал Крамнэгел,— так что когда вы критикуете полицейского за ошибку, совершенную при исполнении служебных обязанностей, всегда помните, что эту ошибку он совершил в какую-то тысячную долю секунды, когда на колебания и сомнения нет времени. И думайте о том, сколько жизней спасено, сколько преступников задержано или уничтожено, потому что полицейский сумел принять верное решение! — (Лицо его посуровело.) — Преступник — это человек, преступивший закон, человек, который не чтит ничего, кроме своих преступных талантов, не опасается ничего, кроме собственных нервов, и думает лишь о том, как преуспеть.— (За долгие годы выступлений перед новобранцами Крамнэгел отработал четкие формулировки.) — Мне безразлично, как, каким путем и какими средствами мы выиграем войну с ним, но мы вышли на бой, чтобы победить, и как перед богом, именно этого мы — чтоб им всем... прошу прощения...— добьемся!..— (Аплодисменты.) — Плевать мне, если я убью или покалечу злостного гомосексуалиста. Плевать мне, если я оборву карьеру торговца наркотиками, раз я защищаю этим невинных детей и спокойствие наших улиц. И поэтому я так восхищен и тронут этим отличным, художественно выполненным приветственным адресом, всеми великолепными словами, которые в нем написаны, и его прекрасным оформлением. Он, разумеется, будет висеть на самом почетном месте в моем скромном доме. — (Крамнэгел насупился.) — Разумеется, я очень признателен и за билеты в кругосветное путешествие тоже, но, по-моему, здесь у нас еще столько работы... а мир никуда не денется... и я в самом деле считаю, что нельзя мне покидать поле боя в такой горячий момент.— (В зале начали переглядываться. Может, здесь заговор, чтобы убрать его в отставку? Среди присутствующих стали раздаваться непроизвольные возгласы симпатии и одобрения.) — И если бы не Эди... Вот что я вам скажу, друзья любезные: я поеду, если мэр даст мне слово, что, когда я вернусь, мое место останется за мной.

Мэр моментально вскочил на ноги.

— Это же банкет в вашу честь, Барт! Да никому и в голову не приходило даже думать о вашей отставке! А теперь вот, ей-богу, пришло.

— Вы тут упоминали про то, сколько нам с вами лет...

— Да что вы, Барт, право... Я же пошутил! Шуток вы никогда не слышали, что ли?

— Шутки я слышал. Только бывают разные шутки.

— Вот как? Но, право же, мы достаточно давно знакомы, чтобы...

Крамнэгел посмотрел на своего заместителя.

— К тебе, Ал, это не относится, сам понимаешь.

Улыбка сползла с лица Ала Карбайда. Только сейчас до него дошло, что слова Крамнэгела могли относиться к нему.

— Ну, ладно, ладно, я поеду, поеду, чтобы доставить всем удовольствие, но... ненадолго!

Поднялся со своего места губернатор.

— Я только хочу сказать, что вернусь к себе в резиденцию, вынеся из этого примечательного события память о том, с какой чудесной силой горит в сердце этого человека пыл служения своему делу. В наш век малодушия и неверия встреча с таким человеком воистину вдохновляет, и я еще раз хочу поблагодарить вас, Барт. Старые уроки не забываются, сэр.

Раздалось еще несколько разрозненных хлопков, и все гости поднялись со своих мест, думая уже совершенно о другом.

2

К тому моменту как Крамнэгел появился в своем кабинете с табуреткой и молотком в руках, намереваясь прибить приветственный адрес к стене, он уже выпил немного больше, чем следовало. По этой, видимо, причине он и вогнал гвоздь себе в палец и завопил, изрыгая ругательства, пока жена не напомнила ему, что он — взрослый человек, страж порядка и всем гражданам пример. После банкета Крамнэгел вернулся из гостиницы в полицейское управление пешком, по пути обсасывая про себя все подробности достославного события; мозг его застилала мутная пелена, оставленная вином, пить которое он не привык, и, с усилием продираясь мыслями сквозь нее, он пытался решить, удался его триумф или нет. Ему казалось, что прохожие теперь вели себя менее дружелюбно, чем до банкета, но это, наверное, просто давала себя знать мания преследования, дремлющая в душе каждого человека. Добравшись до своего кабинета в управлении, он попытался сделать вид, что работает, но раза два засыпал за столом, причем один раз проснулся от собственного храпа и увидел усмешку на лице стоявшего рядом и разглядывавшего его Ала Карбайда — а не проскользнуло ли в этой усмешке ехидное удовлетворение? «Ты уже стар, отец Бартрам,— сказал юнец» [1]. «Ну, покажу же я им» — и снова отключился на минутку. Нет, это не возрастное, все, должно быть, от этого гнусного пойла — калифорнийского бургундского.

Управление он — человек, всегда засиживавшийся допоздна,— покинул в тот день рано. В коридорах толпились переодетые женщинами полицейские, последними мазками приводившие в порядок косметику, прежде чем выйти на панель, соблазнительно семеня ножками и скрывая под платьицами натренированные мышцы, готовые молниеносно выполнить прием каратэ. Другие полицейские по-мужски грубовато пошучивали, натягивая на коротко остриженные головы хипповые парики, да так, чтобы кудряшки скрывали выбритые до синевы мордастые лица. В вестибюле Крамнэгел неожиданно столкнулся с кучкой типичных ветхозаветных евреев, белых, как сметана, в бархатных воротниках, густо обсыпанных пылью и перхотью, в больших черных шляпах; спускавшиеся на щеки пейсы придавали им какой-то болезненно-невинный вид.

— Это еще что за чучела, черт побери? — поинтересовался Крамнэгел.

— Сержант Волински.

— Постовой Джегер.

— Лейтенант Сайвертс.

— Сайвертс? — зарычал Крамнэгел.— Что вы здесь устроили за чертовщину? Бал-маскарад прямо в управлении?

— Это А. С. П., капитан.

— А. С. П.? — вскричал Крамнэгел.— Господи, да я напрочь забыл о нем! А знаете, ребята, что скажу? Вы смотритесь на все сто! Здорово, ей-богу, здорово! Да какого черта я все время тебя поминаю, господи, скажи мне, Христа ради?

«А С. П.» означало «антисемитский патруль», новое изобретение Крамнэгела (а, может, на самом деле, Ала Карбайда?), явившееся следствием отчаянных просьб руководителей городской еврейской общины. По улицам Города, смутно напоминая восседающих на непомерно больших мотоциклах валькирий, носились орды возбужденных юнцов, одетых в черную кожу, украшенную знаками различия времен войны 1914 года, и избивали раввинов прямо под стенами иудейской богословской школы.

[1] Перефразированная строка стихотворения Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес».

Неожиданное столкновение с более спортивной породой святых людей должно было внести смятение в их ряды. Кудахтая от охватившего его восторга, Крамнэгел вывалился на улицу и позволил отвезти себя домой в патрульной машине. Коктейль из алкоголя с интригами — все это вино за обедом, да потом пара банок пива в управлении, да стакан «бурбона» [1] с Алом Карбайдом, чтобы показать, что он на Ала камня за пазухой не держит, да потом еще три-четыре стакана «бурбона» с лейтенантами Армстронгом, Кьюликом и Перри, чтобы камень на Ала лежал за пазухой и у них,— возымел свое действие, и Крамнэгела снова пришлось будить, когда машина затормозила возле его дома.

И вот теперь он уже сидел в пижаме, которую шутки ради подарила ему жена,— пижаме в тюремную полоску, с номером на груди и с надписью: «Меня разыскивают... в кровати» на спине. Палец его был щедро забинтован, и он уплетал уже третью порцию размороженного и разогретого ужина, специально приготавливаемого для телезрителей, чтобы тем не приходилось отрываться от экранов. Крамнэгел и не отрывался — он внимательнейшим образом смотрел программу новостей, шедшую по одному из семи каналов. Он уже посмотрел на себя по трем другим каналам и был разочарован. Слишком много места было уделено тому, как он мямлил вначале, а самые боевые куски его речи не показали, изображение на экране было таким темным, что зубы губернатора, вручавшего приветственный адрес, сверкали, как фары приближающегося потока машин. Камера показывала улыбающиеся лица всякой мелкой сошки, присутствие которой на банкете не заслуживало объяснения. О Крамнэгеле комментаторы говорили безразличным голосом и без тени похвалы.

По четвертому каналу выступал со своей версией последних известий Ред Лейфсон. Хотя, согласно опросу телезрителей, его программа не принадлежала к основным источникам новостей и информации, она была единственной, которую смотрели абсолютно все. Крамнэгел поджидал ее с опаской, и недовольство начало накапливаться в его душе задолго до начала передачи. К тому моменту, как Ред появился на экране, улыбаясь из своей инвалидной коляски (выглядел он при этом как топорно сделанная гипсовая статуя из тех, что стоят в парках), а рядом трясся в потоке небесной пыли маленький глобус (что должно было изображать его «мир»), Крамнэгела уже охватила ярость.

Ред Лейфсон увещевал китайское руководство так, будто его взгляды имели вес в Пекине; затем он дал понять, что Соединенные Штаты лет на пять отстали от русских в освоении космоса. Никто понятия не имел, откуда он берет свои данные, да и берет ли он их откуда-то вообще,— главное заключалось в том, что к его словам прислушивались в Городе так же внимательно, как если бы это были слова кого-нибудь из членов сената США, сказанные, впрочем, с не более весомым основанием. Ред свирепо обрушился на ставшие почти повседневным явлением примеры коррупции, нещадно критикуя членов Верховного суда, небрежно принимавших крупные подношения в обмен на ничтожные услуги; генералов, финансово заинтересованных в программах по культурному обслуживанию войск; не обошел он никого, вплоть до рядового церковного миссионера, оказавшегося на поверку хозяином борделя в Сайгоне, который поставлял клиентам по телефонным вызовам сифилитических проституток. Программу свою Ред вел тоном разящего благолепия: «Мне-де от всего рассказанного еще больнее, чем вам самим». И если бы Реду Лейфсону сказали, что манипуляция информацией является разновидностью злоупотреблений, он прорычал бы в ответ, что свобода печати подвергается угрозе то ли со стороны явных, то ли со стороны тайных коммунистов, то ли со стороны «новых левых», хотя, кто они такие, он себе толком и не представлял.

А вот освещение спортивных новостей носило у Реда Лейфсона характер менее противоречивый — хотя бы потому, что здесь результаты легче подвергались проверке, зато Лейфсон чувствовал себя вправе советовать спортсменам уйти из спорта, если в данном сезоне им не везло. Он анализировал результаты их недавних выступлений, сопровождая свой комментарий демонстрацией диапозитивов, изображающих спортсменов в действии и заведомо подобранных так, чтобы они выглядели возможно более нелепо. Затем Ред вновь напяливал на себя маску добродушного дядюшки и задавал вопрос вроде: «Не пора ли опустить занавес над спортивной карьерой Холли Шметечека в сборной университета Тернового венца? Разумеется, опускать занавес не всегда приятно, Холли, но зрители-то валом валят с трибун во время ваших выступлений.

[1] Американское виски.

Так не лучше ли, старина, поставить точку сейчас и выжать из толпы хоть какие-то аплодисменты, пока их еще можно выжать вообще?»

Политика, спорт, а о банкете пока ни слова. Местные новости. Еще один раввин, избитый налетчиками, отважно бормочет в луже крови банальные фразы о необходимости прощать обидчиков. Полицейские волокут одуревшего от наркотиков негра, только что убившего своего брата из-за того, что они с ним никак не могли решить, где сидеть в закусочной,— его мать, закатив глаза, шныряет из стороны в сторону так быстро, что камера не поспевает за ней. Член преступного синдиката, представший перед судом по обвинению в жульнических махинациях с городским бюджетом и оправданный, повторяет с размеренностью метронома, что ему нечего добавить к словам судьи,— его сияющий от восторга адвокат сообщает репортерам, что клиента ждет продолжительный отдых на Багамских островах. Полицейские вышвыривают группу хиппи с территории университетского городка — окровавленных, ободранных, шатающихся юнцов, падающих под градом ударов; хриплые выкрики сержантов, поднятые руки тех, кто пытается закрыть лицо, стыдясь быть узнанным, настороженное ухо и пытливый взгляд послушно выдрессированного пса — лучшего друга человека, готового по команде на человека наброситься. Шум, беспорядок, полная бессмысленность происходящего, смерть, столь же необъяснимая, как и сама жизнь,— экран дергался нервным тиком очередной дневной порции местных новостей.

— Ага, наконец-то он дошел до дела, сукин сын! — завопил Крамнэгел.

— Уж коль мы заговорили о делах полицейского управления, было бы несправедливо обойти молчанием одно из тех прекрасных событий общественной жизни, которые все еще способны напомнить нам о днях, ушедших в прошлое,— промурлыкал Ред Лейфсон.— Гостей поили то ли калифорнийским, то ли мозельским, потчевали то ли бифштексом, то ли телятиной, а чествовали то ли Барта Крамнэгела, то ли дыры в структуре нашего полицейского управления, где их не меньше, чем в мишени, по которой упражняются в стрельбе агенты ФБР.

— У-у, сволочь!

— Будем откровенны. Мы услышали много интересного. Начальник полиции Крамнэгел пошел записываться добровольцем в морскую пехоту через полчаса после нападения на Пирл-Харбор. Армия, право же, потеряла хорошего человека, отказав ему по причинам, которые мои сотрудники...— (Он рассмеялся, заглянув в лежавшую перед ним бумажку.) — Но эти причины никак — ну, просто никак — не подлежат огласке. Остается лишь пожалеть, что полицейское управление не получило в его лице работника столь же ценного, сколь потеряла армия. Давайте смотреть правде в глаза, Барт: что-то не так уж много уголовников попадает сегодня в тюрьму. Аресты вроде вышли из моды. А скольких насильников сумело задержать бравое подразделение переодетых в баб полицейских? Ей-богу, очень даже интересно наблюдать полицейских, прогуливающихся по улицам в столь живописном виде, за который нормальный человек загремел бы за решетку как извращенец. Я, право, не хочу сказать, что все это способствует росту престижа полиции в глазах общественности, я всего лишь хочу сказать, что картина уж больно впечатляющая — да и слухи ходят, что некоторые из ваших сотрудников получают от этого ух какое удовольствие... но где же аресты? А как обстоят дела с этим вашим последним всплеском фантазии — с патрулем, переодетым в школяров хедера? Сколько им удалось сцапать потенциальных гаулейтеров и кровопийц? Сколько, а? — Ред даже присвистнул.— И не говорите! Эти ваши идеи, Барт, должно быть, великолепно звучат в стенах вашего кабинета. Может, они даже сохраняют какой-то блеск при проведении инструктажа. Но почему же, черт побери, они так жалко выглядят на практике, а? Нет, Барт, мне не отвечайте, мне отвечать не надо. Ответьте Городу!

— Свинья, сволочь, погань проклятая! — завопил Крамнэгел, выключая телевизор и срывая с телефона трубку. Дежурным по управлению оказался лейтенант Армстронг. Крамнэгел, у которого от ярости начали дергаться веки, приказал тому смотреть в оба за машиной Реда Лейфсона и следить, куда бы Ред ни ехал.

— Чтоб всю машину увесить штрафными квитанциями, как рождественскую елку игрушками.. любое нарушение, самое мелкое, немедленно оформлять протоколом... техническое, любое другое.. чуть что — сразу привлекай по статье... По всем статьям, ясно? Если он действительно наколется на чем-нибудь серьезном, то просто прекрасно... Знаю, что сам не водит, но это неважно... Да, Марвин, раз уж мы все равно о нем Разыщи по архивам сведения о том, как этот дешевый христопродавец потерял свои

ноги... Это он так говорит, а я тебе говорю, что он либо в лифте застрял, либо на него наскочил официант с тележкой, когда он в какой-нибудь гостинице подглядывал из коридора в замочную скважину...— Он заревел во все горло: — Плевать мне где, пусть тебе хоть в Форт-Нокс [1] придется вламываться! Но чтоб материал лежал у меня на столе!

Крамнэгел повесил трубку. Чувствуя, что после беседы с Армстронгом он успокоился и немного пришел в себя, он включил телевизор снова, но теперь уже на другую программу, чтобы не нарываться больше на мистера Лейфсона.

«Мы же были дружками, помнишь, Сидни? Помнишь, как мы на рыбалку ездили, а, Сид? Вдвоем, только ты и я... Ездили на рыбалку, рыбку удили...»

Раздался выстрел, за которым последовал шум падающего тела. Устроившись в кресле-качалке поудобнее, Крамнэгел на ощупь, как слепой, потянулся к банке с пивом, уже целиком с головой погрузившись в новую передачу и напрочь забыв о Лейфсоне.

Ближе к концу фильма в дверях появилась Эди. Мешанина из напитков подействовала и на нее. Свою прическу она превратила в заросли дикого кустарника, откуда отдельные пряди падали ей на глаза. Наряд ее состоял из черных прозрачных пижамных брючек и черного прозрачного балахона, ее запястья и щиколотки украшали выпушки из искусственного меха. Сквозь балахон просвечивал усыпанный звездами лифчик, подхватывавший грудь, оставляя обнаженными соски. Эди курила вставленную в мундштук из слоновой кости сигарету.

— Привет, любовничек,— прохрипела она.

— Тс-с-с! Он сейчас так промахнулся, господи ты боже мой!

— Кто промахнулся?

— Лем Крэддокс.

— Это еще кто, черт его дери?

— Частный детектив. Китайцу, значит, трепанул, а старику, значит, ничего не сказал, вот он и...— Крамнэгел взглянул на жену и присвистнул.

— Секса не желаете? — осведомилась она.

— Ты вся такая аппетитная, что прямо так бы и съел,— ответил супруг, снова поворачиваясь к экрану.

Эди давно уже привыкла и к нему, и ко всем его повадкам. Замужество за тремя полицейскими даром не прошло. Подойдя к проигрывателю, она поставила пластинку. Музыка с настроением. Под такую музыку хорошо раздеваться. Она зажгла палочку благовоний, и густой виток голубого дыма начал подниматься вверх анемичной коброй. Она пригасила свет. Крамнэгел впился в экран, от души надеясь, что Крэддокс успеет произвести арест, прежде чем ему самому придется исполнять супружеские обязанности. Но Крэддокс все медлил. Крамнэгел разрывался от нерешительности. Он взглянул на часы, и вдруг экран заслонила волнующаяся тощая грудь Эди, и прямо перед его лицом очутились губы, влажные, как мостовая в дождливый вечер. Эди зажмурила глаза в предвкушении экстаза. Передний зуб был испачкан помадой, и от нее пахло спиртным.

— Ну, давай же, давай,— прошипела она.

Ничего не оставалось делать, кроме как повиноваться, но Крамнэгел был далек от мыслей о позорной капитуляции. Он атаковал полураскрытый рот с такой яростью, что голова жены упала прямо в его подставленные руки, тем самым вновь открыв экран для обозрения. Крэддокс лез в дом через чердак. Тьфу, черт, похоже, что самое важное-то он и пропустил. На кой ляд нужно Крэддоксу переться через чердак, когда в доме есть нормальные двери? Хотя... постой-ка... неужто китаец?.. Из приоткрытых век Эди брызнул предупреждающий зеленый луч, Крамнэгел виновато зажмурился и потянулся рукой к обнаженной груди. «Так, Макмайкл, значит, хотите поиграть? — спросил Крэддокс жестко, приглушенным голосом.— Ну что ж, раз вы так желаете...»

Послышался шум схватки, но у Крамнэгела не хватило мужества открыть глаза. Жаль, что он не успел сделать звук погромче.

Минуту спустя он услышал, что по телевизору уже идет рекламный ролик — женский хор восхвалял достоинства ментолового дезодоранта. Так он теперь никогда и не узнает, кто был убийцей. Тьфу, черт!

Проснулся Крамнэгел в половине пятого утра и осторожно выбрался из постели.

— Ты куда собрался, любовничек?

[1] Хранилище золотого запаса США.

— В сортир.

— Да, другого такого романтика на всем белом свете не сыскать, чтоб тебя разорвало! — не на шутку рассердилась проснувшаяся Эди.

— Что я такого сказал?

Она запустила в него подушкой.

Крамнэгел шагнул было обратно к кровати, но потом передумал и включил телевизор. Шла ночная рекламная передача, в которой диктор всю ночь болтал с усталым шимпанзе, пытаясь прославить товары тех фирм, которым оказалось не по карману более подходящее для рекламы время.

— Выключи,— пробормотала она, снова засыпая.

Оставив телевизор включенным, он отправился в уборную.

Три часа спустя они пили кофе, который молча заварил он сам

— В чем дело, крошка? — спросил он.

Эди начала плакать. Крамнэгел подлил себе в кофе молока.

— Конечно, я понимаю,— попытался он утешить жену.— Ночью у меня не очень-то получилось, но все будет по-другому, как только мы доберемся до Азии. Наверное, они правы: я действительно перетрудился, надо отдохнуть, не нервничать... А то уже очень выходит тяжело для тебя... хотя, видит бог...

— Что он видит? — резко спросила Эди, промокая глаза салфеткой.

— Бог видит, что ты была замужем за полицейскими и раньше и должна понимать...

— «Чет Козловски, где бы ты ни был, я хочу, чтобы ты знал: таких, как ты, теперь уже не бывает»,— жестоко и нагло передразнила его голос Эди, а затем перешла на свой обычный раздраженный тон:— Чет Козловски был педераст.

— Не смей! — поднялся он из-за стола.

— Это правда, черт побери, и все тут!

— Не смей так говорить о моем друге! — прорычал Крамнэгел.

— О, вот оно что?

Крамнэгел рухнул на стул. Женщине не требуется много воображения, чтобы выставить мужчину импотентом, если она хочет причинить ему боль, или гомосексуалистом, если она хочет ударить еще больнее.

Теперь атмосфера накалилась до того, что, несмотря на раздражение, Крамнэгел счел своим долгом попытаться разрядить ее.

— Да-а,— сказал он.— Видел я как-то в книжке картинку Тадж-Махала. Прямо как в сказке. Чудесная работа.

— Мы не поедем в Тадж-Махал,— хмуро буркнула Эди.

И ничего не попишешь. Подождав минуту, Крамнэгел накрыл ее руку своей тяжелой огромной ладонью.

— Есть же и другие места,— сказал он отважно.— На этом паршивом Тадж-Махале свет клином не сошелся.— Поскольку реакции на его слова не последовало, он спросил:— По какому маршруту мы поедем?

— У меня все записано.

— Ну и отлично.

Еще одна бесконечная пауза. Затем:

— Что отлично?

— То, что у тебя все записано. Так мы хоть будем знать, куда едем. Чтоб никаких там неожиданностей. Нет, правда, я даже предвкушаю удовольствие от нашей поездки.

— Но ты же говорил...

— Забудь, что я говорил. Что у нас там — Греция? В Грецию едем, да? Колыбель нашей цивилизации, это уж точно... Желудь, из которого проросла наша конституция И Италия, а? Былая слава Рима! Помнишь тот фильм — «Мантия»? Как раз про это. І. Израиль! И Аравия!

На этом известные ему страны кончились. Не сумев больше ничего придумать, он по зрелом размышлении поднялся из-за стола.

— Куда ты?

— В душ.

3

Прежде чем встать на стезю своих великих приключений, Крамнэгел позаботился о том, чтобы перед отъездом нанести ряд визитов с целью «прояснить,— как он это

сформулировал,— отношения». И пригласил в дешевую бифштексную Ала Карбайда. Как ни старался Крамнэгел скрыть неприязнь к своему заму, одного вида этого худого серого лица с кружевом вен на висках и с глубокими впадинами щек, подергивающего носом и прищелкивающего зубами, заглатывая лук со сметаной подобно какой-то истеричной рыбе тропических широт, было достаточно, чтобы пробудить в нем чувство чисто животного отвращения. Чтобы человек хотел — и мог! — поглощать целые горы пищи с упорством обжоры и постоянством сластолюбца и при этом оставался жилистым и крепким, как стальной трос,— нет, здесь явно что-то не так!

— Ну, так как бы ты руководил нашей полицией? — спросил Крамнэгел, обескураженный направлением, которое принял их разговор.

Ал улыбнулся и ответил тихо:

— Мне вряд ли пристало говорить о том, как бы я вел себя на твоем месте, Барт.

— Это почему?

— Да потому, что оно твое место, а не мое.

— Когда-нибудь оно может стать и твоим.

— Есть большая разница между «может» и «станет».

Крамнэгел умолк.

— А если я тебе прикажу отвечать? — спросил он наконец.

Ал лишь шире раздвинул рот в улыбке, обнажив больше зубов, чем обычно свойственно улыбающемуся человеку.

— Так приказ это или нет, а, Барт? Я же сейчас не на службе.

— Послушай, я просто хочу знать, что я, по-твоему, делаю не так.

— С какой стати я должен считать, что ты что-то делаешь не так, Барт?

— Да с такой, Ал, что нормальный человек не может не подозревать, что он что-то делает неправильно, вот с какой! — повысил голос Крамнэгел.

Немного поразмыслив, Ал Карбайд начал рассудительно:

— Ну, ладно, начальник. Скажу. По-моему, ты неправ в том, что слишком много требуешь с подчиненных.

— То есть заставляю их работать вовсю? — От такой славы Крамнэгел и не думал отказываться.

— Нет. Я о другом. По-моему, ты не можешь требовать, чтобы они играли роли хиппи, шлюх, раввинов и бог знает кого еще. Они — не актеры, они — полицейские. И работают они плохо только потому, что от них слишком многого хотят.

— Что же ты предлагаешь?

— Одеть их в подходящую одежду. Ну, такую, какую они сами носили бы вне службы. И не назначать больше парней изображать из себя раввинов только потому, что подошла их очередь, и не требовать от полузащитников нашей футбольной команды убедительно разыгрывать из себя девочек на панели. Да вот, пожалуйста, тебе конкретный пример: только в прошлый вторник мне пришлось снять с антисемитского патруля сержанта Ламберта, когда тот уже выходил на дежурство. Выходил потому, что никто не решился взять на себя ответственность исключить его из списка — ведь список подписал ты, Барт. Вот такие вещи и выставляют наше управление на посмешище.

Крамнэгел почувствовал себя достаточно смущенным, чтобы тут же ринуться в атаку.

— Почему это Ламберту было неугодно выходить на дежурство в составе антисемитского патруля, как всем другим? — поинтересовался он.— Что он вообще имеет против антисемитского патруля? Уж не антисемит ли сам? Почему это Ламберт не пожелал переодеваться раввином?

— Потому, что сержант Ламберт — негр,— мягко объяснил Ал.

Крамнэгел на секунду прикрылся пивной кружкой.

— Что ж, может, ты и прав,— вздохнул он.— Может, нам и впрямь надо попробовать что-то другое. Но ведь эти патрули-ловушки мне вроде как собственные дети, Ал. Дай им время встать на ноги, они, может, еще и сработают. Давай проявим хоть немного веры, Ал. Ей-богу, ведь в этом и есть вся жизнь — в вере, правда?

— Конечно, конечно. Я ведь выкладываю тебе свои мысли только потому, что ты меня заставил, Барт. Я знаю, что патрули — твое детище. Я ничего общего с ними иметь не хочу — то есть я хотел сказать, что не претендую ни на какую от них славу. И не только потому, что я ее не заслужил, но и потому, что с помощью твоих патрулей мы так никого ни разу и не задержали. Нет, не верю я в них.

— Все, кончил? — прошипел Крамнэгел. Уж чего-чего, а подобного несогласия со стороны подчиненных он не терпел.

Теперь настала очередь Ала Карбайда рассердиться. Глаза его блеснули пронзительной холодной голубизной.

— Нет, не кончил,— сказал он очень тихо.— Чем мы вообще занимаемся в этом нашем полицейском управлении? Боремся с организованной преступностью или устраиваем цирк?

— Что такое?

— Вопрос, Барт, всего-навсего вопрос. Ты же поощряешь вопросы. Так за кем же мы охотимся, кого ловим: какого-то извращенца, разгуливающего в женском платье, гомика, свихнувшегося от одиночества, сопливого прыщавого дурня в кожаной куртке со свастикой или организованных преступников, настоящих гангстеров, тех людей, которые раскланиваются и с тобой, и со мной, когда мы встречаем их в приличных домах, которые посылают нам поздравительные открытки к рождеству?

— Ну, знаешь! — завопил в ярости Крамнэгел, но тут же, прежде чем продолжить тираду, внимательно огляделся по сторонам и понизил голос: — Слыхали мы такие разговорчики, Ал, всю жизнь слыхали, пока карабкались к верхушке дерева сами... так болтать можно только по молодости, и только по молодости можно слушать этот треп без того, чтобы не психануть.

— Ты стал такой уж старый, Барт? — спросил Ал, спросил, как ударил.

— Я достаточно стар и достаточно молод для своей работы — и не в возрасте здесь дело, Ал, а в том, что лучше меня полицейского в округе нет!

Ал промолчал.

— Идеалы! — фыркнул Крамнэгел.— Мы живем в мире, который не мы придумали, Ал. Организованная преступность не нравится мне так же, как и тебе — даже еще больше не нравится,— но она реальность, жизненный факт... все равно что мой кабинет в управлении — дали мне, значит, комнату в один прекрасный день, а я ее, между прочим, не обставлял, взял с мебелью, какая там была... Может, мне эта дерьмовая мебель и не нравится, но это мебель, с которой мне приходится жить.

— Как начальник полиции ты обладаешь достаточной властью, чтобы сменить мебель, которая тебе не нравится, Барт.

— Но дело в том, что именно эта мебель мне и нравится,— решительно отпарировал Крамнэгел.

— И организованная преступность тоже?

— Я просто выбрал неудачный пример, вот и все. С каждым может случиться.— Он вдруг заговорил напряженным шепотом: — Я слежу за ними — и когда настанет время, когда все нужные факты будут у меня в руках, я врежу им так, что они даже не поймут, что на них свалилось.

Ал нахмурился.

— Может, ты и следишь за ними, Барт... Мне трудно сказать...

— Раз я сказал, что слежу,— взорвался Крамнэгел,— значит, так оно и есть!

— Но меня беспокоит то, что они даже не считают нужным следить за тобой, а гуляют себе, как будто полиции вовсе нет.

Крамнэгел понизил голос и заговорил как заговорщик — с лукавым удовольствием:

— А я именно того и добиваюсь. Я не хочу их настораживать. Я дождусь, пока марихуану не начнут разводить на каждом подоконнике и пока в каждом дворе не начнут выращивать это паршивое зелье, и только тогда на них обрушусь, но не раньше. Как только они почувствуют себя в полной безопасности, вот тут-то я их и возьму.

К тому времени уже может оказаться поздно, Барт. Съезди-ка в любой другой город нашего штата — везде ведь думают, что наше управление уже куплено на корню, да и статистические данные по преступности и наркомании не в нашу пользу — нам этими данными не прикрыться.

— Пусть так и думают... пусть все так думают... это поможет нам в конечном счете накрыть всех разом.

Ал пожал плечами и помолчал немного, но улыбка больше не появлялась на его лице.

— У тебя на все есть ответ, Барт.

— Припиши это моему опыту, Ал.

— Позволь задать еще один вопрос, начальник. Наша полиция действительно куплена?

Крамнэгел грохнул кулаком по столу и, с видимым усилием сдерживая гнев, прошипел голосом, в котором отчетливо прозвучали угроза и неприязнь:

— Тебе бы следовало быть умнее и не задавать таких вопросов.

Ничуть не дрогнув, Ал Карбайд в упор уставился на Крамнэгела пристальным взглядом бледно-голубых глаз.

— Я спросил, потому что должен знать наверняка, начальник. Говорим ли мы об одних и тех же людях, когда говорим об организованной преступности?

— Мы говорим о преступном синдикате,— невнятно буркнул Крамнэгел.

— Имена, Барт, имена...

— Имена ты знаешь не хуже меня...

— Джо Тортони... Милт Роттердам... Бутс Шиллигер...

— Да,— нервно согласился Крамнэгел.

— Судья Уайербэк... его честь мэр Города,— продолжил Ал.

— Ты, знать, совсем с ума спятил,— вспыхнул Крамнэгел.— Ума в тебе не больше, чем в сборщике хлопка.

Он расплатился, и они покинули ресторанчик, не сказав друг другу больше ни слова.

В непродолжительной беседе с мэром Крамнэгел постарался тщательнейшим образом объяснить свою болезненную реакцию на упоминание о возрасте, ни на секунду не опускаясь до извинений. Мэр же отнесся к этому происшествию легко.

— Никто из нас не безупречен, Барт, как говаривала мне моя старая мать-гречанка.

Крамнэгел счел замечание мэра неприличным, поскольку он сам — хотя и не обладая достаточной наглостью, чтобы считать себя безупречным,— ни на минуту не допускал мысли о том, что хоть в чем-то может оказаться небезупречным. И умеет же эта скотина мэр сыпать ему соль на раны!

— Какой порядок вы предусматриваете на время моего отсутствия? — спросил он.

— Ну, тут все очень просто,— ответил мэр.— Существуют же установленные правила на случай вашего отсутствия, вашей болезни, неспособности исполнять свои обязанности, экс-сетера экс-сетера [1].— (В устах мэра латынь почему-то прозвучала как «сетера» в отставке.) — Согласно им, ваш пост — временно, разумеется,— занимает ваш заместитель. В данном случае — Ал Карбайд.

— Мы только вчера с ним вместе обедали, господин мэр.

— Очень мило.

— Да. Он думает, что мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы искоренить организованную преступность.

— Какую такую организованную преступность? — Мэр был само изумление.

— Именно об этом я его и спросил,— поспешно заверил Крамнэгел.

— Шайку Перилли? Или братьев Пенаполи? Но это ведь древняя история. Какая же у нас сейчас организованная преступность?

— То-то и оно... Я вот тоже не знал и спросил, значит, о чем это он... Я прямо, как вы сейчас, господин мэр, сказал ему: «Назови имена».

— А он?

— А он и назвал,— осторожно сказал Крамнэгел.

Мэр раскурил сигару и посмотрел на Крамнэгела сквозь табачный дым.

— Следует ли мне знать его мнение, кто они? — так же осторожно спросил он.

— Как сказать... Может, я просто выношу сор из избы...

— Вы — начальник полиции, Барт. А я — мэр. Не вынося сора из избы, мы не сможем руководить.

— Ну, ладно... в общем, он назвал Джо Тортони...

— И кого же еще? — улыбнулся мэр.

— Бутса Шиллигера.

Улыбка на лице мэра сразу съежилась.

— Милта Роттердама.

Теперь мэр больше не улыбался совсем.

— И судью Уайербэка.

---

[1] Искаженное латинское «ex cetera» — «и так далее».

Мэр моргнул. Затем рассмеялся.

— Удивительно, что в такую компанию Ал не зачислил и меня,— пошутил он.

— Ну, он так далеко еще не зашел,— в тон ему рассмеялся и Крамнэгел.

Как раз в это время загудел на столе селектор.

— Да? — нажал на кнопку мэр.

В динамике забился консервированный голос его секретарши:

— К вам мистер Роттердам, сэр.

— Попросите его подождать.— Мэр выключил аппарат.— Что ж, Барт, извините, но... дела. Наслаждайтесь путешествием и передайте мои наилучшие пожелания миссис Крамнэгел.

Пожав мэру руку, Крамнэгел покинул кабинет.

Не успел он скрыться за дверью, как мэр тут же включил аппарат внутренней связи.

— Мистер Роттердам ждет приема один?

— Нет, сэр, с ним мистер Тортони.

— Проводите их через кабинет казначея Харкера, хорошо? Я не хочу, чтобы они наткнулись на Крамнэгела.

— Хорошо, сэр.

Отойдя к окну, мэр прищурил глаза и глубоко затянулся сигарой, размышляя о том, что Ал Карбайд — человек толковый и стоящий и что такого человека всегда безопаснее иметь союзником, нежели врагом.

Крамнэгел же тем временем выходил на улицу, восторгаясь собственным умением — как хитро он сумел подложить Алу Карбайду свинью — и удивляясь своей удаче: он ведь сам оказался свидетелем того, что Милт Роттердам ждал приема у мэра. Сей факт может оказаться весьма весомым, прими дела определенный оборот. Да, хороший подвернулся козырь. Жизнь ведь штука тонкая: никогда не знаешь, что сгодится.

Вернувшись в управление, он вызвал Карбайда к себе, но не сказал ему ничего, только велел установить наблюдение за Роттердамом.

— Есть на него факты? — поинтересовался Ал.

— Нет, просто интуиция... И еще: узнай-ка фамилию и всю подноготную секретарши мэра — маленькая такая, рыженькая, лет двадцати пяти...

— Мэрилин Шопенгауэр.

Крамнэгел окинул Ала холодным взглядом.

— Узнай,— повторил он, как будто и не слышал слов Ала, и затем покинул управление.

Он был в восторге от проницательности, с какою сумел направить этого поганого умника по столь опасному пути, на котором он неизбежно свернет себе шею. Чем ближе честолюбивый Ал докопается до истины, тем больше вероятности, что мэр и вся шайка запаникуют, а на кого ставить в открытой войне между мэром и законом, Крамнэгел уж как-нибудь разберется.

Он, разумеется, оценивал других, исходя из того, как реагировал бы на события сам: ведь мало кто из людей способен на большее. В его уме враждующие стороны были четко разложены по полочкам, и неспособность представить себе возможность компромисса между одинаково сильными врагами, ничего не видящими в войне, кроме убытка, а в мире, кроме прибыли,— иными словами, компромисса меж разумными деловыми людьми,— была в общем-то своеобразным проявлением цельности его натуры. По меньшей мере, именно так он оценивал конфликты, в которых не участвовал лично.

Его третья — и последняя — встреча несомненно была самой трудной из всех. По правде говоря, она была назначена еще до того, как Крамнэгел узнал о предстоящем путешествии. Отменять же ее сейчас ему не хотелось: он нуждался в закреплении публичного рукопожатия, имевшего место на банкете. Крамнэгел отправился к Арни Браггеру. Арни, хотя и подтвердил время встречи, оказался у себя дома не один. В его кабинете, уютно устроившись в кожаном кресле, сидел Мервин Шпиндельман, адвокат и близкий сотрудник Арни, человек, уже начинавший пользоваться общенациональной известностью благодаря своему фиглярству в зале суда, в результате чего он все больше и больше времени проводил за пределами Города, затуманивая те вопросы, которые должен был прояснять, с помощью стиля столь же выспреннего, сколь и педантичного. Складывалось впечатление, что каждый свой процесс он рассматривает как спортивное

состязание, в котором сам он выступает в роли чемпиона, его клиент — в роли мяча, а судья — в роли рефери, которого можно и надуть.

Только что вышел из печати третий том его автобиографии, скромно озаглавленный «Привычка побеждать», и сейчас он надписывал экземпляр на память Крамнэгелу: «Начальнику полиции Крамнэгелу, который иногда бывает моим оппонентом, но никогда — врагом».

Крамнэгел поблагодарил его.

— Мы ведь все вас любим,— небрежно бросил Шпиндельман, легко похлопывая его по плечу.— Я специально задержался у Арни, чтобы лично вручить вам книгу.

Однако уходить Шпиндельман и не собирался.

Крамнэгел нахмурился. Эту привычку он обрел давным-давно, еще в школе, дабы показать учителям, что всерьез трудится над решением данной ему задачи. Поэтому и сейчас, когда он не знал, что следует сказать или сделать, он хмурился. Арни усмехнулся и покачал свой бокал так, чтобы в нем застучали друг о дружку льдинки.

— Чему же мы обязаны честью такого визита — при этом мы, разумеется, просто счастливы видеть вас.

Крамнэгел посмотрел ему прямо в глаза с внезапной и обезоруживающей прямотой.

— Дайте мне передышку, Арни,— сказал он.

— Передышку? — откровенно изумился тот.

— Вы думаете, так легко осуществлять правопорядок?

— Одну минуту,— перебил его Шпиндельман.— Если разговор примет тот оборот, который, как я подозреваю, он и примет, я хочу сразу оговорить, что он ведется строго неофициально.

Адвокат за работой!

— Разумеется,— согласился Крамнэгел.— Что, по-вашему, мне очень хочется, чтоб все знали, как я к вам ходил милости просить?

— Просить милости? — вскричал Шпиндельман.— Но вы отнюдь не пришли сюда просить милости. Вы пришли, как пришел бы любой уважающий себя полицейский, по-дружески попросить не мешать лишний раз вынесению обвинительного приговора, чтобы дать вам возможность показать себя в лучшем свете.

— Не себя, Шпиндельман,— пылко заверил Крамнэгел.— А полицейское управление, дело правопорядка — и не только здесь, не только в нашем штате, черт побери, а во всей, черт побери, стране, если на то пошло! Неужели вы сами не видите, что у нас творится? Стоит нам арестовать кого-нибудь по более серьезному поводу, чем вожденье автомобиля в нетрезвом виде, как на следующее же утро в зале суда появляется один из вас или вы оба и затуманиваете всем мозги. У этого маниакального убийцы было, понимаете ли, трудное детство! А этот насильник страдал импотенцией в результате полученной на войне контузии! У вас все расписано! Местные судьи — они ведь не бог весть какие мудрецы, и вы их просто забалтываете, а потом что выходит? И маньяк-убийца, и бандит, изнасиловавший ребенка, отправляются в психиатрическую лечебницу под наблюдение и в скором времени снова гуляют на свободе как исцеленные. Исцеленные до следующего преступления!

Арни Браггер жестом дал понять Шпиндельману, что он тоже хочет принять участие в споре, и заговорил очень мягко, почти таинственно.

— Барт,— замурлыкал он,— понимает ли кто-нибудь из нас мир, в котором мы сейчас живем? Да и существовало ли когда-либо поколение, способное понять свой мир?

— При чем здесь это?

— Сто пятьдесят лет назад матросов на флоте протаскивали под килем за мелкие провинности, а крестьян вешали за украденную овцу.

— Кому, черт побери, придет сегодня в голову воровать овец?

— Барт, окажите мне любезность, выслушайте меня, я ведь пытаюсь вам сказать нечто весьма важное. Я хочу сказать, что времена меняются. Раньше за все карали смертью. Тюрьмы были набиты битком. Это были решения, продиктованные необходимостью. Постепенно, очень медленно, по мере того как росло уважение к человеческой жизни, мы стали ограничивать применение наказания смертью только теми случаями, которые, на наш взгляд, действительно заслуживали их: убийства, похищение людей... Но много ли мы прошли — и достаточно ли быстро? *Любое* ли преступление заслуживает наказания, если состояние, в котором оно было совершено, являлось

временным отклонением от нормы и это отклонение излечимо? Ведь убийца способен на убийство лишь в определенные моменты, а в другие времена он может быть прелестным парнем. Возникает вопрос: должны ли мы судить его на основании случайного отклонения или исходя из совокупности всех его действий? А если мы способны вскрыть корни его проблемы и превратить его в надежного члена общества, смеем ли мы тогда наказывать его за то, что является его болезнью? Вы же не пошлете человека за решетку только за то, что он страдает насморком или, что еще хуже, за то, что он когда-то страдал насморком!

— Вот, пожалуйста, сейчас вы как раз и делаете со мной то же самое, что всегда делаете с судьями!

— Но вы понимаете, о чем я?

— Нет.

Арни улыбнулся.

— Нет,— повторил он,— не понимаете, потому что и у вас, и у суда существуют свои — весьма жесткие — точки отсчета. Не думаю, что вы вообще смогли бы существовать, действовать, не имей вы устава. Вы не можете мыслить и действовать иначе, нежели исходя из представления, что мир статичен, а время — неподвижно. Но это отнюдь не так, Барт.

С улицы донесся странный звенящий звук. Арни подошел к окну и, раздвинув портьеры, выглянул на улицу.

— Скажите, пожалуйста, что это, по-вашему, такое? — спросил он.

— Психи, одно слово,— ответил Крамнэгел.

Улицу пересекала группка моложавых на вид, одетых в желтые балахоны буддистов. Наголо бритые мужчины и женщины медленно шли через дорогу, звеня колокольчиками, они напевали, не обращая ровно никакого внимания на нетерпеливые гудки автомобилей. Арни и Крамнэгел провожали их взглядом, пока они не достигли противоположного тротуара и не расположились на полупустой автостоянке с намерением помолиться.

— Для вас эти люди, насколько я понимаю, всего лишь нарушители правил уличного движения и не больше? — спросил Арни.

— Разумеется. И на этой автостоянке им тоже делать нечего. Она принадлежит фирме «Леверетт корпорейшн».

— Ну да. Ничего другого в данной ситуации вы не видите. И то, что их может посетить божественное озарение, вам глубоко безразлично.

— Да вы что, никак и впрямь принимаете всерьез всю эту чушь собачью? — удивился Крамнэгел. Ему никогда не приходило в голову, что Арни Браггер может руководствоваться мотивами иными, нежели эгоизм и личная неприязнь.

— Я принимаю всерьез все, в чем есть привкус тайны, Барт. Значит, я принимаю всерьез абсолютно все в этой жизни. И даже — при чрезвычайных обстоятельствах — полицейское управление и органы юстиции. Самую же великую тайну представляет собой человек. Человек, Барт! И я отношусь к нему серьезно.

— Но, я надеюсь, вы проводите грань между законопослушными гражданами и правонарушителями?

— Нет, не провожу. Абсолютно никакой.

— Вы что, рехнулись?

— Барт, вы помните дело Бострома? Бросивший школу парень, арестованный за немотивированные убийства год или два назад?

— Еще бы не помнить! Уж не хотите ли вы сказать, что были правы, спасая Холлама Бострома от газовой камеры?

— А вы были правы, что не возбудили дела против его отца?

— Его отца? — переспросил Крамнэгел в полном недоумении.

— Да, его отца. Разве вы не помните? Я ведь раскопал всю его подноготную: мать — проститутка из городка Пеория в штате Иллинойс, а отец — полковник американской армии.

— Ну, мало ли что скажет проститутка!

— А если это правда?

— Ну, можно ли винить офицера за то, что он завалился под куст со шлюхой? Да еще в такой дыре, как Пеория! Тогда уж всю армию надо сажать на губу!

— Но что, если результатом столь снисходительной терпимости явился маленький монстр вроде Холлама Бострома? Тот полковник, по всей вероятности, добропо-

рядочный, богобоязненный гражданин и отец — как раз того сорта, что вы воспели в своей речи, Барт,— когда он дома и когда его держат в узде жена, проповедник и мундир. Но стоит ему попасть в служебную командировку в Пеорию — и дело обстоит совсем иначе, и вот вам последствия. Разве это справедливо?

— Я и не говорю, что справедливо. Я просто говорю, что лучшей системы, чем существует, все равно еще не придумали... Но и фактора случайности тоже не исключишь... Все мы только люди, в конце концов.

— О, вот вы как теперь заговорили! — встрепенулся Шпиндельман.— И именно поэтому вы и пришли к нам требовать головы, а то и двух, выражаясь жаргоном французской революции, чтобы укрепить репутацию своего управления,— именно потому, что все мы только люди!

— Вы переворачиваете мои слова наизнанку!

— Переверните их обратно!

— Вы отлично знаете, чего я, черт побери, хочу, Шпиндельман, и вы, Арни, тоже. Я всего лишь прошу передышки для своего управления.

— Иными словами, вы хотите получить один-два судебных приговора, не сталкиваясь с обычной оппозицией с нашей стороны,— уточнил Шпиндельман.

— Можно сказать и так, если хотите...

— Но разве есть дела, которые больше заслуживают такого отношения, чем другие?

Наступило молчание.

— Ехали бы вы оба в какой-нибудь другой город и оставили бы наши заботы нам...

Шпиндельман расхохотался. Арни лишь улыбнулся в ответ на жалобные слова Крамнэгела.

— Послушайте, Барт.— Арни снова как бы рассуждал вслух о тайнах бытия. В словах его зазвучали нотки понимания и сочувствия.— Есть у вас хотя бы малейшее представление о той черной ночи, которую переживает сейчас род человеческий, и особенно эти наши Соединенные Штаты именно потому, что мы — самые богатые, самые сытые, глубже всех отравленные чувством вины, самые уязвимые? За последние пятьдесят лет,— продолжал он,— наш образ жизни претерпел больше изменений, чем за предшествующие пятьдесят тысяч. Пространство сжалось, а местами и совсем исчезло. Можно по душам беседовать с людьми, находящимися за тысячи миль, и смотреть при этом им в глаза. За нас решаются все сложные задачи, требующие умственного труда. И нам не остается ничего, кроме как наслаждаться. А это ведет к лености души, Барт. Естественно или неестественно, но все это произошло слишком быстро. Современный ребенок уже просто не успевает усвоить, что к чему; ему даже не приходится задумываться над тем, что из себя представляла жизнь раньше, до того, как она вошла в русло рационализации,— ему нет в том нужды. Он уже не способен представить себе существование без современной техники и современных приборов. Более того, история его утомляет. Жизнь в обществе учит его смотреть только вперед и видеть впереди лишь Космонавта, Супермена и других ницшеанских героев, в одиночку выигрывающих межпланетные битвы в комиксах. Даже если он окажется вне общества — история все равно не заинтересует его. Не история, а предыстория человечества овладеет тогда его воображением: жизнь в пещерных коммунах, где можно спать с любой подвернувшейся под руку самкой, воровать ради пропитания и напрочь забыть о том, что такое чувство ответственности. И природа отнюдь не остается безучастной ко всей этой сумятице, к этому вторжению в эволюционный процесс, к наглому вызову, брошенному структуре бытия,— нет, она реагирует, реагирует быстро — взрывами, катаклизмами, катастрофами, безумной и бессердечной какофонией, действиями, не поддающимися объяснению: бессмысленными убийствами по пустяковому поводу, размножением, представляемым как часть дьявольских усилий по поддержанию формы, о возможных последствиях которых почти никто не задумывается, бредовыми маниями и страннейшего характера склонностями, как будто наивысшим выражением честности является нагота, а существование половых органов люди открыли вот только-только. И весь этот новейший вселенский грохот озаряется дергающимся стереотипным и монотонным светом расплавленного наркотиками воображения.— Арни замолк. Затем добавил медленно: — Мне ненавистно все, происходящее с нами, Барт. Ибо я не понимаю, что с нами происходит. Я ненавижу то, чего не понимаю, если чувствую, что мне следовало бы это понимать. Здесь, видимо, и лежит различие

между мною и вами, Барт. Вы думаете, что понимаете. А я знаю, что не понимаю. Поэтому и пытаюсь понять. А вам и пытаться не приходится.

— Боже ты мой, да позволь я себе думать так, как вы, я б не смог произвести больше ни одного ареста,— ответил Крамнэгел.— Не говоря уже о том, что я просто спятил бы.

Арни печально улыбнулся:

— Вот поэтому, надо полагать, вы и стали полицейским, а я — психиатром.

Крамнэгел не был настроен идти на компромисс.

— Не знай я, что вы — психиатр,— заявил он,— точно бы решил, что вы еще дурнее тех шальных буддистов, которые незаконно вперлись на автостоянку «Леверетт корпорейшн».

— Наши мнения всегда формируются нашими способностями и нашими темпераментами, Барт. Вы — максималист. Вам подавай все сразу. Если в январе вы произвели пятьсот арестов, то в феврале вам хочется улучшить показатели.

— Так ведь оно и естественно.

— Пожалуй, да — для вас. Но если мне удалось разобраться хотя бы в единственном мотиве или в комплексе мотивов поведения одного пациента в январе, я едва ли могу надеяться на подобную удачу в феврале.

— Знаете, что с вами неладно, Арни? Вы просто паршивый пессимист.

Арни больше не улыбался. Казалось, он боролся с обуревавшими его противоречивыми чувствами. Наконец, он заговорил снова:

— У меня был сын, Барт.

Шпиндельман встрепенулся, но Арни успокоил его быстрым движением руки.

— А я и не знал,— сказал Крамнэгел, чувствуя, что разговор вот-вот коснется какой-то трагедии.

— Поскольку наша беседа носит доверительный и неофициальный характер, я не вижу для вас необходимости помнить о ней впоследствии...

— Я сразу же забуду о ней,— тихо пообещал Крамнэгел.

— Но прежде, чем я расскажу вам... Послушайте, Барт, в чем, на основании вашего опыта, вы видите основные источники детской преступности?

— Я бы сказал, в развалившихся семьях, в отсутствии контроля со стороны родителей.

— Да, да... Вечные клише. Условный рефлекс. Всему виною развалившиеся семьи.

— Ну есть, наверное, и исключения.

— Еще бы им не быть. У нас вот была семья просто идеальная. Бернард — мой сын, его мать и я были в наилучших отношениях. Все было как надо. Любовь, привязанность, чувство юмора, взаимное уважение — все, что хотите. Если и встречаются благословенные семьи, то наша семья была именно такой. Он играл в футбол, как молодой бог, был обручен с милой девушкой, все само шло ему в руки. Но потом...— Голос Арни оборвался.— Потом... Возможно, и чересчур стабильное воспитание имеет свои пороки... Наверное, юноша чувствует себя слишком примитивным, не вписывается в общую картину... А страдания и бунтарство обладают, наверное, в сегодняшнем обществе терапевтическими свойствами — не знаю. В общем, в один прекрасный день он просто исчез. Ушел из дому — вот и все. И не спрашивайте меня больше ни о чем, я все равно больше ничего не знаю.

— Где же он сейчас? — спросил Крамнэгел, обескураженный столь неожиданно оборвавшимся рассказом.

— Не знаю.

— Но он жив?

— Кто же знает?

— Но это смехотворно. Вы можете найти парня. Полиция объявила розыск?

— О, разумеется. Несколько лет назад. Еще до того, как мы перебрались в Город. Все это произошло в Омахе, штат Небраска, когда я работал в тамошней больнице.

— То есть он просто вот так взял и испарился?

Арни кивнул.

— Но теперь,— спокойно вымолвил он,— теперь я, пожалуй, не хочу уже знать, жив он или умер. Если он захочет вернуться, пусть сделает это сам, по доброй воле и по собственному желанию, если он на них еще способен. Я вынужден заключить, что он оказался вне общества. И вот что я хочу вам сказать, Барт: все, что я в своей

жизни делаю,— это просто молчаливый призыв к нему... призыв вернуться... уразуметь, что я не филистер... что я отчаянно пытаюсь понять мир, который я так щедро подарил ему... и что, если он захочет упитанного тельца, телец ждет его, ему стоит лишь попросить... но если — что весьма вероятно — он предпочел бы, чтобы телец остался живым... Что ж, я соглашусь и на это...— Помолчав немного, Арни добавил с мучительным усилием: —Так что, Барт, вы теперь и сами понимаете, что не к тому обратились за помощью.

— Ну, этого я не пойму,— начал было Крамнэгел.

— Я помогу вам только в одном случае: если вне общества окажетесь вы.

Крамнэгел лишь покачал головой.

Стремясь разрядить атмосферу, Шпиндельман бурно ворвался в разговор:

— Вот вам ирония судьбы, Барт, ирония и полный парадокс. Я — плохой отец и всегда был плохим отцом. Детей я не понимаю, никогда не понимал и не пытался понять. Их незрелость нагоняет на меня тоску. Вечно несут чушь да еще пробуждают в женщинах все самое худшее. С полным на то основанием могу сказать, что детей я ненавижу. И тем не менее у меня их четверо — исключительно по недосмотру. Ну, сейчас им уже за двадцать, так что они становятся более или менее сносными людьми. Однако я никогда не уделял им своего драгоценного времени ни на секунду больше, чем требовалось. Я считал нужным предложить им лишь одно — мой собственный пример. И, видимо, этого хватило. Ховард уже кончает юридический, Эрнест там же на втором курсе, Лютер собирается поступать туда же, а Сильвия... Ну, Сильвия — девушка. Она обручена с Лайонелом Уэйнфлэшем, одним из самых толковых парней в фирме «Левинс, Коннор, Якобович и Лехман». Нельзя, Барт, просто никак нельзя осложнять дело любовью, заботой, вниманием — всей этой личностной дребеденью. Нельзя — это роковая ошибка. Держите свои чувства при себе и тратьте их только на женщину, с которой крутите в настоящий момент. А начни вы только размазывать нюни, как масло на бутерброде,— наличете беду, и поделом вам будет. Половиной всех своих бед люди обязаны тому, что не умеют контролировать свои эмоции разумом. Все думают, что запасы человеческой доброты и терпения беспредельны. Но это отнюдь не так. И все верят, что принадлежность к роду человеческому обязывает их беспокоиться почти что обо всем на свете. И это отнюдь не так. А хуже всего то, что каждый считает себя личностью исключительно значимой и глубокой. Какое заблуждение! Большинство людей вообще стóят не больше, чем те химические вещества, из которых они состоят. Посмотрите на себя, Барт, на ревностного служаку-полицейского. Ну что вы печетесь о репутации полицейского управления? Что оно, черт его дери, сделало для вас хорошего, чтобы заслужить такое участие с вашей стороны? Что оно вообще вам дало, кроме неприятностей, головных болей да еще, наверное, и язвы в придачу?

— Есть ведь еще и долг,— запротестовал Крамнэгел.

— Чушь собачья! — рявкнул Шпиндельман, вспыхнув.— Несете чушь, как испорченный патефон! Долг? По-вашему, вы так выкладываетесь только ради престижа наших органов правопорядка? Да на самом деле они для вас то же самое, что для неграмотного индейца племени чероки его тотемный столб. Очнитесь, Барт, и поймите, наконец, пределы своих возможностей. Вы принесете гораздо больше пользы, если перестанете надрываться в погоне за результатами и станете относиться ко всему легко. Плывите по течению, Барт, и вы переживете всех ваших врагов. Только так и можно выжить. Вы заработаете себе куда больше друзей, переводя старушек через Главную улицу Города, нежели хладнокровно пристрелив мелкого воришку в гетто.

— А вы сами? — пылко спросил Крамнэгел.— Вы что, хотите, чтобы я поверил, что вам все равно, выиграете вы судебный процесс или нет, что вам плевать, как вы будете выглядеть в глазах публики?

— Я — дело другое,— любезнейшим образом ответил Шпиндельман.— Потому, что я и вправду — редкого ума человек, блестящий юридический талант. Это слова не вашего покорного слуги, это слова литературного обозревателя из толидской «Блэйд», я же просто вынужден согласиться с ним. Я знаю, что репутация создается на безнадежных делах, хотя деньги делаются совсем на других. Но чем лучше моя репутация, тем гуще приток монеты. Следовательно, хотя моя защита убийцы-психопата не приносит мне ни гроша сама по себе, она как потенциальный магнит притянет ко мне в конечном счете не одну кругленькую сумму. Мне, видите ли, Барт, не приходится плыть по течению потому, что я один из тех, кто поднимает волну. А теперь, после

всех этих откровений, наша беседа возвращается на официальную стезю. Мне нечего скрывать. Я не скрываю ничего, даже своего успеха.

Крамнэгел допил водичку, образовавшуюся из растаявшего на дне стакана льда. Ему стало ясно, что визит окончен, и он от души пожалел, что вообще пришел сюда.

— Помните, что́ я сказал вам, Барт,— промолвил похоронным голосом Арни.— Не о сыне, а о вас.

— Как же, ждите дольше,— ответил Крамнэгел.

— Когда вы уезжаете? — весело спросил Шпиндельман, крепко хлопнув Крамнэгела по плечу.

— Собирались завтра. Прививки для Европы уже сделали: там, говорят, воду не дезинфицируют. Но отложили отлет до вторника.

— Почему же?

— Завтра тринадцатое. А я тринадцатого числа ничего не предпринимаю. Это у меня всю жизнь.

— Типичный случай хронической триакайдекафобии,— мрачно произнес Арни.

— Это что еще за чушь такая? — осведомился Крамнэгел.

— Иррациональный страх перед числом тринадцать.

Крамнэгел прямо задохнулся:

— Есть такая болезнь?

Арни не спеша кивнул.

4

Когда гигантский самолет взмыл над Городом, на Крамнэгела снизошло хорошее настроение. В салоне все еще звучала легкая музыка, а нервы современного человека реагируют на сигнал не хуже, чем условные рефлексы цирковой собаки. Крамнэгел знал, что должен сейчас чувствовать себя отдыхающим богачом, душа которого раскинулась на покое в гамаке безупречно стерильной роскоши, и он повиновался, проверяя при этом, правильно ли откидывается его кресло и достаточно ли оно уютно, и отвечая на дежурную улыбку стюардессы такой же дежурной улыбкой. Затем он помог Эди опознать с воздуха различные общественные здания и даже с беспокойством заметил пробку на одном из ведущих в город шоссе. (О чем только этот чертов Ал думает?.. И где патрульный вертолет?) Откинувшись в кресле, он выпил в качестве аперитива «мартини», поскольку до обеда оставалось всего лишь три часа, и задремал, пока Эди читала «Снежную гусыню», стремясь разобраться в британском характере.

Полет протекал без происшествий, и казалось, ему не будет конца. Беспокойный сон, в который погрузился Крамнэгел, вылился в какое-то сюрреалистическое видение, охватывавшее его жизнь и дела. Снилось ему, что он произносит беззвучную речь на большом банкете, но никто из присутствующих не слушает его. Гости стояли группками, их сигары дымились, как деревья в горящем лесу, сквозь клубы дыма продирались официанты с подносами, высоко поднятыми над головой. Потом прямо по банкетному столу, как по облачку, прошла группа буддистских монахов, неся на плечах паланкин, на крыше которого зазывно и с непристойной энергией жестикулировала обритая наголо Эди, сверкая обнаженной грудью. Вдруг Крамнэгел понял, что он догола раздет, и нечаянное его открытие спровоцировало, казалось, истерическую овацию зала. Ноздри его носа зашевелились, учуяв легкий запах жвачки, и он проснулся, увидев прямо перед собой склонившееся лицо стюардессы.

— Могу я быть вам чем-нибудь полезной? — спросила она.

Поспешно окинув себя взглядом, Крамнэгел обнаружил с еле уловимой смесью досады и облегчения, что полностью одет.

Он не пропустил ничего из того, что предлагают в самолете: ни напитков, ни орешков на маленьких подносиках из гофрированной жести, ни обеда, ни ужина, ни мягких тапочек, ни маски на глаза, чтобы удобнее было спать. Не пропустил он даже фильма, хотя фильм попался из тех, что вряд ли способны собрать аудиторию, если аудитория не сидит в самолете и ей все равно некуда деться. Несмотря на усталость, Эди заметно оживала по мере приближения к цели. Сообщение пилота об огнях Белфаста, мелькнувших в разрывах между облаками, вдохновило ее настолько, что она всадила ногти в веснушчатое запястье супруга и спела ему прямо в ухо «Улыбку ирландских глаз», компенсируя живостью некоторую фальшь исполнения.

Храня верность традиции, Лондон был совершенно не виден, пока самолет не снизился почти что до самой земли,— тут город вдруг оказался прямо под его крыльями. Крамнэгел восторженно взревел.

— Вот ведь сукины дети! — орал он, разглядывая в окно ползущие по дорогам машины.— Нет, как тебе это нравится? Ты посмотри — да они же все едут не по той стороне! Бог ты мой, да я бы здесь за один вечер выписал столько квитанций, что мог бы спокойно удалиться на покой!

Он пытался поделиться своим изумлением с другими пассажирами, но все они, видимо, уже бывали за границей раньше и потому либо не обращали на него внимания, либо просто снисходительно кивали в ответ.

Мелкий дождичек встретил их у трапа и проводил до дверей иммиграционного контроля. Крамнэгелу не очень понравилось то, что к гражданам стран Британского содружества явно проявлялось отношение более благосклонное, но чувства свои он держал при себе, заморгав, однако, от первого столкновения с запахом английского дезинфектанта — тем самым неистребимым и свирепым запахом, который на веки вечные пропитал бесчисленные холодные коридоры и мрачные лестничные клетки, темно-коричневым запахом, который сразу кажется ближайшим родственником спитого чая.

Хотя Крамнэгела об этом не спрашивали, он сам заявил работнику иммиграционной службы, что он — начальник полиции. Англичанин — с длинными спутавшимися соломенными волосами до плеч — молча протянул ему обратно паспорт после того, как его еще более длинноволосый коллега вместе с ним тщательно изучил документ.

— Как это вам, ребята, позволяют носить такие длинные волосы?— спросил Крамнэгел.

— У нас свободная страна,— ответил англичанин, открывая паспорт следующего пассажира.

Столь откровенная нелюбезность и нежелание пожертвовать хотя бы секунду, чтобы проявить дружелюбие — не просто вежливость, а именно дружелюбие,— допекли Крамнэгела.

— Боже, храни королеву,— монотонно буркнул он, как бы произнося пароль.

Работники иммиграционной службы и тут не обратили на него никакого внимания.

— Вы, парни, что, флотские офицеры? — поинтересовался Крамнэгел у таможенника.

— Таможенные и акцизные чиновники, сэр,— ответил тот таким тоном, как будто последнее слово было еще неприличнее первых, а все вместе звучало просто непристойно. Говорил он столь манерно, и голос его был столь полон туманных намеков на инсинуацию, что казалось, его списали на нынешнюю должность из кордебалета по инвалидности.

— Ну-ну, так что же мы имеем заявить? — поинтересовался он.— Если, конечно, что-нибудь имеем заявить вообще,— съязвил он, не удержавшись.

— Мы — американские граждане, понимаете? — начал Крамнэгел.

— Неужели? — выдохнул таможенник в наигранном изумлении.

Эди отважно улыбнулась, но таможенник лишь возвел взгляд к небесам и заговорил, не глядя на них:

— Нет, мне почему-то и не думается, что у нас есть что-либо такое, о чем стоит заявить разорившимся британцам, или все-таки есть? То есть зачем это нам тратиться на ерунду? То есть зачем нам это делать, когда в мире есть много неразвитых стран, все еще жаждущих получить наши устаревшие пушки? То есть... Ведь все обстоит именно так, не правда ли? — И таможенник изобразил на чемодане загогулину своим нежно-голубым мелком.

— Немедленно прекратить, Майтлэнд-Кливер! — раздался голос его старшего коллеги, человека со впалыми щеками, выросшего за его спиной эффектно и бесшумно — прямо как сотрудник М. И.-5 [1].

— А, так, значит, сегодня я уже Майтлэнд-Кливер? — прошипел таможенник.

— Немедленно прекратить, Майтлэнд-Кливер,— повторил старший таможенник почти тем же тоном, что и в первый раз, добавив, пожалуй, выразительности.

— Еще только вчера я был просто Ронни.

— Майтлэнд-Кливер! — выкрикнул на этот раз таможенный чиновник значительно более высокого ранга. Лицо его исказила ухмылка столь же грозная, сколь и фальшивая.

— Искренне надеюсь, что вам не причинили никакого излишнего беспокойства,—

[1] Британская контрразведка.

обратился к Крамнэгелам старший таможенник. Сочетание слов «излишнее» и «беспокойство» — явление, безусловно, исключительно британское, но Крамнэгелам не дано было понимать подобные несоответствия, да и в страну они ведь попали только-только.

— Что за дела с этим парнем? Уж не гомик ли? — Эди дернула его за рукав и вызывающе огляделась по сторонам.

— Он несколько перетрудился и устал, скажем так,— тактично заметил старший таможенник.— Я надеюсь, вы разбираетесь в наших деньгах, не так ли, сэр?

— Да, у нас есть брошюрка с объяснениями.

— О да, в ней вы найдете все подробности, сэр. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и приветствовать вас и миссис Бэрроуз на земле Соединенного Королевства.

— Миссис Бэрроуз? Это еще кто такая, черт ее дери?

— Но ведь вы мистер Бэрроуз? Особо важное лицо?

— Ничего подобного.

— Нет-нет, как же,— упорно стоял на своем человек из М. И.-5. Его не так-то легко было сбить со следа.— Компания «Джерико стил»?

— «Джерико стил»? Господи Иисусе, да будь я из «Джерико стил»...

— Уинкуорт! — Таможенный чиновник еще более высокого ранга подошел к ним все с той же свирепой ухмылкой на лице и небрежным жестом удалил незадачливого деятеля из М. И.-5, который отошел, нервно теребя свой не успевший побывать в употреблении мелок.

— Итак, мистер и миссис..? — Он не договорил фразу, дав прозвучать в ней вопросу.

— Крамнэгел.

— Очень рад. Очень, очень рад. Позвольте мне воспользоваться случаем и приветствовать вас и миссис... на земле Соединенного Королевства.

— Нас уже приветствовали.

— Что ж, в наши дни излишнее приветствие никак не повредит, не так ли, сэр? Я имею в виду, что во всем теперь чувствуется недостаток любезности, сэр, не правда ли? Вежливость — toujours [1] вежливость, как принято среди культурных людей, чудеснейшая вещь, чудеснейшая во всех отношениях, сэр.

— Вы что, так ничего из багажа и не откроете?

— Зачем же беспокоить вас, да еще сразу по прибытии в страну, сэр? То есть ведь если вы перевозите что-то незаконное, я все равно ничего не найду, если только вы мне сами не поможете, не так ли? Но если вы такой человек, который способен на перевозку чего-то незаконного, то вы вовсе не такой человек, чтобы помогать таможеннику, верно?

— Так что же вы тогда вообще здесь делаете?

— А что мы все здесь делаем?

— Ну, мы вот приехали посмотреть Великобританию.

— И за сколько же дней, позвольте вас спросить?

— За три дня.

— Разве вы сумеете за три дня увидеть здесь больше, чем могли бы почерпнуть за те же три дня из хорошо иллюстрированной книги, не покидая своего дома?

— Раз уж нам дали билеты...— оправдываясь, произнес Крамнэгел.

— О, это меняет дело,— сказал таможенник.— Такова человеческая природа, — не правда ли, сэр? — исследователем которой — вряд ли есть необходимость пояснять это — я являюсь. Да, таков человек! Дайте мне билеты на казнь через повешение, и я безусловно вынужден буду пойти на это зрелище хотя бы из чувства вежливости. Вот мы и снова вернулись к вопросу о вежливости — toujours вежливость. Все дороги рано или поздно заставляют нас снова возвращаться к ней.

— Билеты на казнь через повешение? Это у вас что, публичное зрелище? — трагическим голосом спросил Крамнэгел.

— Весьма вероятно, что мы вернемся к подобному положению дел. Весьма. Общественность все время высказывается то «за», то «против» этого. В поисках средства устрашения, учитывая ничтожно низкое количество убийств в нашей стране, общественность готова на все что угодно. Будучи исследователем человеческой природы, о чем я уже имел честь сообщить, я просто изумлен тем, что у нас так мало

[1] Всегда *(франц.)*.

убийств. Имея возможность наблюдать общество в разрезе, я не могу не прийти к выводу, что убийство как способ времяпрепровождения следует скорее поощрять, нежели осуждать.

— Да вы с ума сошли! — завопил Крамнэгел.

— Toujours вежливость, сэр, не устану я повторять.— И он зачиркал мелком по чемоданам.

— Клодсли! — раздался теперь голос самого старшего таможенника.

Клодсли, на лице которого появился оттенок меланхолии, достойной испанского монаха, ответил, что сию минуту идет. Меланхолию сиова сменила свирепая ухмылка, напрочь стершая выражение философской самоуглубленности и заставившая чету Крамнэгелов спешно пройти дальше, в то время как за их спиной массивный человек в пальто из верблюжьей шерсти начал возмущаться и кипеть:

— Меня зовут Бэрроуз, и я...

— О, разумеется, сэр, будьте любезны, откройте, пожалуйста, ваши чемоданы. Да, пожалуйста, все до одного.

— Все они здесь психи как на подбор, все до одного,— сообщил Крамнэгел жене, когда они сели в такси.— Двое хиппи в иммиграционной службе, гомик и пара чокнутых в таможне — н-да, вот было бы здесь работенки Арни Браггеру! А возьми это такси — как тебе нравится ехать стоя, Эди? [1] Мы, должно быть, едем со скоростью десяти миль в час и к тому же не по той стороне дороги. Сколько, он сказал, стоит проезд до города?

— Четыре фунта,— ответила Эди.

— Это сколько будет в настоящих деньгах?

— Даже не соображу. Долларов десять? Какая разница? — Она схватила Крамнэгела за руку.— Ведь мы в Англии, понимаешь? В Англии, откуда отплыли отцы-пилигримы!

— И ничего нет удивительного, что отплыли, раз здесь такие таможни.

Когда такси затормозило у гостиницы «Лексингтон Тауэрс», филиала гостиничного концерна Фрискина из города Де Мойна, штат Айова, дверцу машины открыл швейцар в форме солдата времен Гражданской войны между Севером и Югом.

— Это еще что за чучело? — изумился Крамнэгел и полез в карман за бумажником.

— Рядовой Гражданской войны,— отчеканил лупоглазый кокни.— А зачем — не пойму. Работа, понимаете ли, новая, вчера только мне обломилась. Видно, значит, чтоб приезжающие были как в своей тарелке. Наша гостиница — дочернее предприятие от отелей «Фрискин». И в начальниках — сплошные янки, как и во всех британских заведениях, кроме пакистанских ресторанчиков. Пожалуйте к портье, и тут же ваш багаж доставят вслед за вами. Если что нужно — не стесняйтесь, спросите. Мы здесь для того, чтобы обеспечить вам комфорт и уют в атмосфере непринужденной и со вкусом организованной роскоши. Чаевые только при отъезде, спасибо, и очень было приятно вас обслуживать. Что вся эта галиматья означает — можете не спрашивать, мне ее просто пришлось вызубрить из фирменного проспекта.

— По-моему, все это звучит очень мило,— сказала Эди, чуть кивнув с королевским величием.

— Сколько? — спросил таксиста Крамнэгел.

— Восемь колов,— ответил тот душевно и с сердечной теплотой.

— Что такое кол?

— Фунт.

— Вы же вроде сказали четыре.

— Четыре — в один конец. А мне еще вернуться надо.

— Но мы-то с вами обратно не едем.

— То-то и оно. Мне придется ехать пустым.

— Что-то я вас не пойму. С какой стати вам вообще ехать обратно? В городе пассажиров нет, что ли?

— Я аэродромный таксист. Конторы у нас, видите ли, разные. Мне пассажира, который не в аэропорт, брать нельзя. Нестоящее дело. Лицензию отберут.

— Дайте ему шесть,— посоветовал швейцар.

---

[1] В лондонских такси вместо переднего сиденья для пассажиров устроено большое пустое отделение для багажа.

— Да? — Все еще сомневаясь, Крамнэгел тем не менее отсчитал шесть однофунтовых бумажек. Уже было поздно, и шел дождь. Эди озябла.

Как только Крамнэгелы скрылись в дверях, таксист протянул швейцару однофунтовую бумажку.

— Очень мило с вашей стороны.

Следующие два дня Крамнэгелы провели в строгом соответствии с программой, заранее разработанной Эди. Стояли в благоговейном восторге перед памятником Альберту[1] и, казалось, слышали, как по сердцу столицы грохочут маршем римские легионы. Провели несколько минут в парламенте, прислушиваясь к волнующей дискуссии по поводу власти на местах и жилищного строительства, которая открыла им глаза на то, как действует конституционная демократия, еще более почтенная, нежели их собственная. Осмотрели бриллианты короны и темницы Тауэра и обошли в сопровождении гида Хэмптон-Корт. Третий, и последний, день Эди оставила для своих дел. На американской военно-воздушной базе где-то в Хартфордшире служил ее сводный брат майор Батт О' Фехи. Крамнэгел не питал к нему особой симпатии — именно, может, потому, что они были очень друг на друга похожи. Выпивка служила обоим необходимой стартовой площадкой для запуска механизма светского общения, хотя Крамнэгел предпочитал напитки помягче, вроде пива — ничто не доставляло ему такого наслаждения, как со вкусом рыгнуть,— а майор О' Фехи предпочитал виски как более быстрое средство доставки в то состояние эйфории, которое только одно и способно принести наслаждение людям, слушающим, ничего не слыша, и говорящим, ничего не говоря.

Начался этот третий день просто ужасно. Уверенный в своих способностях следопыта, Крамнэгел взял напрокат машину, дабы самолично разыскать базу ВВС США. В прокатном бюро оказался свободным лишь крохотный автомобильчик британского производства, которому изрядно досталось за его рабочую жизнь. Коробка передач вела себя так, будто ее всю ночь продержали в густо засохшем к утру клее. Сцепление не сцепляло. Двигатель временами вдруг начинал нести как одуревшая лошадь, потому что педаль газа застревала в полу. Каждый раз при включении тормозов кресло водителя либо прыгало вперед, либо отскакивало назад — в зависимости от настроения.

Пытаясь найти дорогу, чтобы выбраться из Лондона, Крамнэгел раз шесть осаживал мотор, потому что никак не мог понять, включена ли скорость, а если включена — то какая.

К тому времени, когда они достигли пригородов, Крамнэгел уже был вне себя от гнева и обрушился на Эди, сидевшую рядом с картой на коленях.

— Что я такого сделал, чтобы бог меня покарал этой задрипанной колымагой! — вопил он.— И все из-за того, что тебе загорелось свидеться с этим треклятым... Он ведь даже и не настоящий тебе брат, если на то пошло! Если б он хоть был... Если бы вы с ним поддерживали хоть какие-нибудь родственные отношения, я бы еще мог понять, но проехать целых пять тысяч миль только для того, чтоб посмотреть на паршивого майора Батта О' Фехи,— это, знаешь ли, слишком даже для родственных чувств.— И поспешил добавить: — Вот ведь кретин!

Эди сидела среди этой бури и либо вообще отказывалась отвечать на вопросы мужа, где они находятся, либо холодно отвечала, даже не заглядывая в карту.

— Слушай, ты хочешь добраться до этого своего паршивого майора или нет? Я ведь, знаешь ли, всего-навсего шофер, и не жди от меня ничего большего. Ты мне только скажи, куда ехать, и я направлю туда наш роскошный лимузин. Я, может, предпочел бы провести сегодняшний день в Виндзорском замке, или на Эдинбургском фестивале, или где еще, ну да уж что поделаешь. Может, у тебя и в Париже есть родня или мне все-таки удастся взглянуть на Эйфелеву башню?

Эди вышла из положения, заревев — сначала тихонько, затем громко и отчаянно. Теперь в камень обратился Крамнэгел, выдавая обуревавший его душу гнев лишь стилем езды, который достиг апогея в небольшой деревушке. Эди завопила, увидев мчавшийся прямо на них грузовик.

— Какого черта? — воскликнул Крамнэгел.

— Ты едешь не по той сто...

[1] Принц-консорт королевы Виктории.

Далее имело место бурное столкновение интересов между огромным восьмиколесным грузовиком, перевозившим часть дома, и маленьким автомобильчиком. К счастью, когда они столкнулись, грузовик еле двигался, а Крамнэгел успел нажать на тормоза, но авария все равно произошла изрядная. Автомобильчик — вернее, его составные части, разбросанные по дороге,— напоминал обломки игрушек, выброшенные злостным баловником из детской коляски.

Водитель грузовика оказался родом откуда-то с севера и изъяснялся усеченным телеграфным стилем, да к тому же с таким акцентом, что Крамнэгел не понимал ни слова. Однако слов понимать и не было надобности: по интонациям говорившего было достаточно ясно, что тот считает Крамнэгела идиотом по меньшей мере и, вероятно, еще кое-кем похуже.

Крамнэгел соображал медленно, поскольку все еще был настолько перепуган, что даже побледнел. Эди сидела привалившись к дверце и закрыв глаза. Крамнэгел весьма патетично объяснил появившемуся полисмену:

— Я, значит, американец, и напрочь забыл, что вы здесь ездите не по той стороне.

Полисмен оказался весьма расторопным, кто-то неизвестный принес Эди горячего чая, и шофер грузовика постепенно успокоился.

Было быстро решено, что местное такси доставит Эди на авиабазу, а Крамнэгел пообедает пока в закусочной, затем, как он выразился, «проглотит фильмишку», а вечером они встретятся в той же закусочной и тем же местным такси вернутся обратно в Лондон.

Уезжая, Эди благодарно чмокнула Крамнэгела, а тот чмокнул ее в ответ. Приехала аварийная машина и взяла на буксир остатки прокатного автомобиля. Толпа разошлась. Крамнэгел остался в полном одиночестве в поселке Уинкуорт-Трэвис.

5

Поселок был типичный — медленно, веками накапливавшаяся импровизация, внезапно распятая на магистральном шоссе, которое безжалостно прорезалось сквозь тихий сельский уют не без сопротивления со стороны поселка, обозначившегося в виде головокружительных поворотов опасных пешеходных переходов и хорошо замаскированных въездов с боковых улочек. Все здесь казалось Крамнэгелу удивительным и самобытным, особенно потому, что транспортные проблемы волновали его куда больше, нежели романская архитектура. Стоя на углу, он как зачарованный следил за мрачно-торжественной дисциплиной дорожного движения, временами нарушаемой каким-нибудь романтиком шоссе, плюющим на дорожные знаки с той уверенностью в себе и не знающей преград напористостью которые создали в этой древней стране в более славные времена высокую репутацию пиратству. Подгоняемый непреодолимой жаждой общения, Крамнэгел подошел к молодому полисмену, который по-совиному выглядывал из глубин своего шлема и останавливал время от времени без особого усердия поток машин, чтобы дать перейти улицу пешеходам.

— Наше вам,— приветствовал он полисмена.

— Простите, сэр?

— Чего нового?

— Нового? Извините, сэр.

С этими словами полисмен мужественно пересек улицу перед самым носом у машины, чтобы помочь на переходе группке мамаш с колясками. Крамнэгел снова почувствовал, что ему не уделяют достаточного внимания. В глубине души он ведь считал, что предпочтение должно отдаваться ему, а не каким-то пешеходам.

— Итак, сэр, вы что-то здесь ищете? — вернувшись на тротуар, спросил полисмен.

— Я тоже полицейский,— объявил Крамнэгел.

— Да, та еще работенка,— отреагировал на его слова полисмен.— Я вовсе не намерен заниматься ею всю жизнь.

— Не намерен? — переспросил Крамнэгел, с трудом разбирая акцент собеседника.— Что же может быть лучше для мужчины?

— Я увлекаюсь архитектурой.

— Архитектурой? — Крамнэгел не поверил своим ушам.

— Да. Ну, строительством домов.

— Я знаю, что такое архитектура,— заявил Крамнэгел.

— Я всегда увлекался ею. А вы откуда родом? Из Канады?

— Из Канады? Из США — из Соединенных Штатов Америки.

— Да? — Слова Крамнэгела, казалось, не произвели на молодого полисмена никакого впечатления. И почему вдруг Канада? С какой стати этот юнец вспоминает сперва о Канаде и только лишь потом о Соединенных Штатах?

— Я начальник полиции. На меня больше тысячи человек работает.

— О, но в таком случае вас вряд ли можно считать полицейским,— заметил юноша.— Вы скорее кабинетный работник.

— Ни черта подобного! — возмутился Крамнэгел.— Да я почти все время с парнями на улицах, а бумагами в моей конторе занимаются другие. Я никогда не забываю, что начал службу простым постовым — как вы сейчас. Да, сэр, был и я когда-то новичком, совсем зеленым, с самых азов начал...

— Простите.

Юноша снова остановил движение, и колонна школьников, подобно гигантскому крокодилу, поползла по шоссе. Пока болтающая и смеющаяся масса детей переливалась через узкое шоссе, раздосадованный Крамнэгел шагнул в сторону. Поведение юного полисмена не пришлось ему по душе — более того: общение с ним никак не помогло борьбе с охватившим Крамнэгела весьма странным чувством одиночества, к которому он не привык и которое в его возрасте было малоприятным. Все равно как если бы часть его души, никогда ранее признаков жизни не подававшая, часть души, существование которой люди в большинстве своем осознают еще в детстве,— та самая, что заставляет детей часами простаивать у окон, уткнувшись носом в стекло,— вдруг неожиданно проснулась и начала его терзать. Дома он привык к известности, его уважали, знали и боялись. Не обязательно было и форму надевать — его и так узнавали. Он всегда ходил с высоко поднятой головой — даже тогда, когда ничего не случалось. Он привык к тому, что люди ощущают его присутствие, привык замечать их реакцию краешком глаза, и этого было ему достаточно для сохранения душевного равновесия. Он жил этим постоянным напоминанием о пройденном пути, позволявшем ему тешить свое тщеславие и гордиться своим скромным происхождением: ведь, если посмотреть, чего он достиг, скромность происхождения выглядела не чем иным, как маркой качества его личности.

Здесь же, в этом поселке, который настолько погряз в своих косных заботах, что вовсе не замечал его августейшего присутствия, Крамнэгела вдруг охватило предчувствие беды, какой-то ужасной ошибки, как случается иногда во сне. Никто даже не смотрел на него. То ли все они здесь напрочь лишены наблюдательности, то ли в проявляемой ими враждебности скрывался какой-то умысел. О, разумеется, когда он обращался к ним, вели они себя вполне любезно, но то была любезность, в которой не чувствуется признания. Ему даже стало не хватать Эди — отнюдь не по причине глубокой к ней привязанности, но потому, что во всей округе она была единственным человеком, знавшим, кто он такой.

Крамнэгел остановился перед памятником жертвам войны — скромным маленьким обелиском с выгравированным сбоку пальмовым листом. Обелиск был воздвигнут в память восьми человек, павших во время войны 1914—1918 годов. О погибших же в последнюю войну — ни слова, как будто люди перестали поминать павших, сбившись со счета. Из церкви за памятником вышел на улицу священник с профессионально-угрюмой улыбкой на лице. Крамнэгел стоял неподвижно, как в засаде, и, когда священник поравнялся с ним, сказал:

— Доброе утро.

— Доброе утро,— удивленно ответил священник.— Хотя... разве сейчас утро? — И взглянул на часы.— Пожалуй. Но с натяжкой, конечно.

— Почему на этом камне нет имен павших в прошлую войну?

— Разве нет? О, боже, а я и не замечал. Большое спасибо, что обратили внимание. Подумать только! Однако, с вашего позволения...— Священник приподнял шляпу и поспешил прочь.

— «Подумать только»,— передразнил его Крамнэгел.— Господи ты боже мой!

Постепенно недоумение и растерянность, вызванные столь оскорбительным безразличием к нему со стороны захолустного поселка, начали перерастать в гнев — вернейший союзник всех тех, кому не дано умение понимать. Так что Крамнэгел, привлеченный «легким ленчем», обещанным вывеской, появился в дверях «Кафе Тюдоров» в том настроении, которое лишает человека какой бы то ни было восприим-

чивости. Его флирт с историей начался с того, что голова его вошла в соприкосновение с балкой, приведя тем самым в действие истерический колокольчик, прекративший возвещать его появление в зале, только когда он сел за столик и снял пиджак.

— Какого дьявола вы не уберете эту балку?— спросил он официантку.

— А, никак американец пожаловал? Ну, тогда ничего странного, что вы ее не оценили,— ядовито ответила она.

Крамнэгел с неудовольствием отметил, что от платья ее несло чем-то прогорклым, и в изумлении уставился на ее кружевной чепец — слабую попытку придать кокетливый вид ссохшейся головке с редкими волосами, недовольно поджатым ртом и ханжеским выражением лица.

— Вот именно! В точку попали. Я американец, и ваша балка мне никак не понравилась.

— Что ж, она находится на этом месте с тысяча пятьсот восьмого года и, надо думать, имеет полное право находиться там и далее. Тем более что мы все равно не можем ее снять.

— Это еще почему?

— Охраняется государством. Как и почти весь поселок. Историческое место. Здесь было сражение.

— Сражение? Здесь? — Крамнэгел что-то не помнил, чтобы немцы высаживались в Англии во время мировых войн.

— Да, сражение. Там, где сейчас кладбище, под принцем Рупертом коня убило.

— Под принцем Рупертом? — Напрягши свои умственные способности, Крамнэгел перебрал все когда-либо виденные им фильмы.— Когда это было?

— Девятого октября тысяча шестьсот сорок седьмого года. Он был гнедой.

— Кто?

— Конь.

— Вы-то откуда, черт подери, все это знаете? — Крамнэгел больше не мог выносить столь педантично-детальную лекцию, да еще от женщины.

— Нет надобности грубить мне,— остерегла его официантка, и ее холодные глаза школьной учительницы сверкнули за стеклами очков.

— Я и не грублю. Где еще в этом поселке можно пообедать?

— В «Гнедом коне и голове принца».

Крамнэгел поднялся со стула.

— Но только там больше не готовят обедов.

— Я ведь вас спрашивал, где можно пообедать,— со вздохом напомнил ей Крамнэгел.

— Вам же будет лучше, если перестанете перебивать и дадите мне договорить. Обедов там больше не готовят, но раньше готовили. Вот приехали бы вы перед прошлым ноябрем, там бы и пообедали. И очень вкусно к тому же.

— Но я приехал не перед прошлым ноябрем. Я сейчас приехал. И я хочу знать, где в этом поселке можно пообедать.

— Здесь. Но у нас вы получите только легкий обед.

— Ну, ладно, пусть будет легкий. А потом я съем легкий ужин или два для компенсации.

— Но вы должны взять себе в толк, что легких ужинов мы не готовим.

— Хорошо, тогда я обойдусь и тяжелым.

— Мы вообще не подаем ужинов. Если желаете поужинать, вам придется идти в «Гнедого коня и голову принца».

— Сейчас или до прошлого ноября?

— До прошлого ноября они не готовили ужинов.

— Даже легких?

— Никаких. А вот сейчас готовят легкие.

— Послушайте, сударыня,— взмолился Крамнэгел,— тот мост мы перейдем, когда доберемся до него. Просто скажите мне, что у вас есть.— И он тяжело плюхнулся на стул.

— Дежурный суп. Яичный салат. Паровой пудинг на нутряном сале.

— А что еще?

— Больше ничего.

— Как, это все?

— Все.

— О, боже!

Официантка глянула на него так, будто он самым неподобающим образом нарушил приличия.

— Какой у вас дежурный суп?

— Просто суп. Без названия.

Крамнэгел, выражаясь его же собственным языком, начал закипать.

— Но он же сделан из чего-то конкретного, а не просто из одной горячей воды. Должен же он быть из чего-то, черт его возьми.

— Сожалею, но сегодняшнего супа я еще не видела.

— О, господи! В этом проклятом меню всего три блюда, и если уж вы тут работаете, то могли бы знать, что делается на кухне. Ну, яичный салат —это ладно, это еще можно догадаться: салат, в котором яйцо, так, что ли? Паровой пудинг... Десерта я не ем, так что мне... То есть наплевать мне, значит. Так что остается суп. Можете вы узнать, из чего он, или я уж слишком многого хочу?

— Из чего бы он ни был,— последовал ледяной ответ,— другого у нас нет, значит, не важно, из чего он, потому что именно его вы и получите. А что вы не едите сладкого, так все равно придется платить за него. Раз стоит в меню, значит, мы обязаны подавать, хотите вы того или не хотите. Ну, так как, узнавать вам, из чего суп, или просто подавать?

Крамнэгел уселся поудобнее.

— Просто дайте мне пива.

— У нас нет лицензии на торговлю спиртным. Если хотите пива, идите в «Гнедого коня и голову принца».

— Вот те на,— буркнул Крамнэгел и снова встал из-за столика.

— Но они открывают только в половине шестого.

— То есть я даже треклятого пива не могу...

Официантка торжествующе кивнула.

Крамнэгел снова сел. Он чувствовал себя униженным до того, что чуть не плакал.

— Тогда принесите, пожалуйста, супа, только горячего.

— Горяченького захотели, да? — произнесла официантка, принимая к сведению его просьбу и каким-то образом сделав так, что она прозвучала как непомерная претензия.

За соседний столик уселись две пожилые дамы и сразу заговорили заговорщическим шепотом. Вслед за ними вошла мрачная пара — высокий лысый человек, порезавшийся во время бритья, и с ним весьма крупная женщина. За весь обед они не промолвили ни слова. Затем пришли отец с сыном — уже немолодые, и было слышно лишь хриплое старческое дыхание отца, да сын что-то басовито бубнил. Если бы не стук ложек о тарелки, решил Крамнэгел, можно было бы подумать, что ты — прямо в церкви.

Суп отказался раскрыть тайну своего происхождения. Невозможно было даже угадать, что было написано на этикетке консервной банки, из которой его извлекли. Он представлял собою горячую непрозрачную жидкость коричневого цвета. Яичный салат оказался не чем иным, как разрезанным на две половинки крутым яйцом с синюшным оттенком по краям, торжественно-похоронно возлежавшим на листьях салата, тронутых золотистой желтизной осени. Сие приглашение к чревоугодию дополнялось двумя иссохшими ломтиками огурца и несколькими дольками свеклы. Все вокруг Крамнэгела поглощали пищу с прилежанием диккенсовских детей из работного дома, вкладывая в каждое движение неописуемую изысканность. Запихнув салфетку за ворот рубашки, старик отец заталкивал листья салата себе в рот лихорадочно трясущейся рукой, роняя листики то на скатерть, то себе на брюки, и тогда его пожилой сын перекладывал их обратно на тарелку отца с элегантным проворством фокусника. Крупная дама разделила каждую половинку яйца частей на восемь, прежде чем рискнуть отправить его в рот, который широко не раскрывался, а был лишь приоткрыт для принятия пищи крошечными кусочками. Далее дама деликатно и очень долго разжевывала их, чтобы потом проглотить с видом явного неудовольствия. Высокий мужчина ел с безупречной аккуратностью, располагая еду на своей тарелке так, чтобы каждый лежавший на ней кусок соответствовал куску, отправляемому в рот.

Крамнэгел следил за этим молчаливым трудолюбием со все возраставшим чувством беспокойства. Общее молчание действовало ему на нервы. Видеть пожилых дам, не повернувшись к ним, он не мог, поэтому он повернулся и уставился на них.

Они ответили ему снисходительным взглядом, как бы жалея его, и жалея потому, что он казался чужаком, не посвященным в тайны английской сельской гастрономии.

Откуда-то из-за пределов тишины выплыли их улыбки; тиканье часов напоминало биение сердца. У Крамнэгела даже дух перехватило.

— Да что у вас тут — ни радио нет, ни чего такого... а?

Он сам удивился тому, как громко прозвучал его голос. Пожалуй, он просто утратил уже ощущение нормальной громкости. Худой человек перестал жевать и поднял голову, как почуявшее опасность животное. Затем быстро улыбнулся, словно успокаивая умалишенного.

— Да, у меня есть радио. Дома,— объявил он каким-то особо высоким стаккато.

— Неужели она не действует вам на нервы? Эта тишина тягучая?

Старик прохрипел что-то вопросительное. Его сын пробормотал в ответ что-то успокаивающее, одновременно подбирая с пола листики салата. Пожилые дамы — одряхлевшие жрицы сего престранного культа — лишь улыбнулись печально. Высокая дама сложила свой малюсенький рот так, что он стал казаться шрамом на общественном сознании, и с сосредоточенностью мистика вперила взор в кружевные занавески. С неожиданной напыщенностью зашипели часы и нехотя, с паузой пробили два раза — как будто откуда-то издалека донесся колокольный звон. Крамнэгел попросил счет и поинтересовался, хватит ли для уплаты одного фунта. Не удостоив его ответом, официантка сказала, что с него пятьдесят семь новых пенсов. Крамнэгел оставил на столе фунт. Забрав его нетронутый пудинг, официантка ушла на кухню, сосчитала в уме до трех, затем вернулась в зал и подала пудинг старику.

Крамнэгел направился в кино, надеясь хоть там увидеть что-то знакомое.

Не ему не везло. Привыкнув к темноте, он увидел королеву, принимавшую парад какого-то почетного караула в сопровождении нескольких мужчин, которые едва ли что видели из-за лезших им в глаза белых перьев. Королева упорно улыбалась, офицеры же из-за трепыхания перьев выглядели абсолютно безучастными к происходящему. Какие-то плохо одетые, но симпатичные женщины приседали в реверансах, когда королева обращалась к ним, и толпы детей размахивали флажками, как бы повторяя заранее отрепетированные движения.

— Ерунда собачья! — громко сказал Крамнэгел. Услышать собственный голос было все равно что встретить старого друга. Его высказывание никого не задело, поскольку в зале он практически сидел один.

Проскакал на пони член королевской фамилии, имени которого Крамнэгел не разобрал; в озаряемом фотовспышками темном холле какой-то гостиницы сделал мрачное заявление о состоянии платежного баланса страны премьер-министр. По всей видимости, это были самые свежие и наиболее животрепещущие новости из жизни Британии на сегодняшний день.

После киножурнала в зале вспыхнул свет, и под музыку тридцатых годов на экране замелькали рекламные диапозитивы местных компаний — на более светлых из них отчетливо выделялись отпечатки пальцев,— а по пустому залу продефилировала одетая в гусарский костюм девушка, неся в руках поднос со сладостями. Вокруг ее ничего не выражавших глаз растекалась тушь. Крамнэгел окинул ее взглядом и улыбнулся, но у нее, казалось, не хватало энергии даже на то, чтобы улыбнуться в ответ. Крамнэгел окинул взглядом ее фигуру — фигура была объемистая. Один из сетчатых чулок порван. «Женщины»,—вздохнул Крамнэгел и принялся насвистывать, отчего сразу почувствовал себя более или менее прилично. Он даже припомнил слова некоторых песенок и начал напевать их, притоптывая в такт музыке. Развлечение, разумеется, не бог весть какое, но оно давало Крамнэгелу теплое чувство встречи с чем-то давно знакомым, и за это он был признателен.

Фильм попался английский и грешил вседозволенностью и неизбывным английским провинциализмом. Он был поставлен по мотивам бестселлера одного молодого местного уроженца, и действие разворачивалось в окрестностях Дарлингтона. Критики всегда узнают жизненность и достоверность, если встречают их в произведении: так произошло и в данном случае, хотя мало кто из них имел пусть даже туманное представление о жизни в окрестностях Дарлингтона. И посему они не знали удержу в похвалах блестящей наблюдательности авторов фильма, хотя Крамнэгел этой блестящей наблюдательности, естественно, не заметил — по нему, актеры с равным успехом могли говорить на суахили.

Временами, когда действующие лица разговаривали помедленнее, Крамнэгелу удавалось разобрать слова. Вот, например, когда девушка в дешевой косынке на голове

сказала, прижавшись спиной к стене муниципального здания: «Сегодня никак нельзя, голуба, я нездорова», Крамнэгел все понял и даже объявил во всеуслышание:

— Времени жалко на такое дерьмо!

Секс он понимал и принимал, но жизнь была для него сущей неразберихой. «Какое отношение это имеет к любви, так его растак?» Конечно, то, что девушка должна заниматься любовью — на то и кино, но с какой это стати камера должна ловить ее в столь неудобный момент жизни, как будто для этого нет рекламных коммерческих роликов, которые обходятся с подобными проблемами тактично и со вкусом. Что же до ее юного компаньона, то его во всей красе показали в государственном венерологическом диспансере. Поскольку роль доктора играл хорошо известный местный комик, остальные пять-шесть зрителей буквально сотрясались от хохота.

— Блевать от этого хочется! — выкрикнул в темноту Крамнэгел.

С юношей сурово поговорил отец, пригрозив вышибить из него дух, если он еще раз подцепит гонорею,— так, во всяком случае, понял его слова Крамнэгел. А в следующей сцене достойный родитель уже катался по кровати с огромной бабищей.

И снова аудитория — как бы мала она ни была — зашлась от смеха.

Камера оператора прошлась по ряду грязных, запущенных домишек, зацепившись за освещенное окно в одном из них. В этой комнате, раскрыв в приступе страсти рот, лежала с волосатым рабочим-итальянцем мать героя фильма, благочестивая ханжа-фанатичка, не выпускавшая из рук Библии. И все это для того, чтобы показать, что в нашем мире распутство плодит распутство. Круг замкнулся. Вернулись к исходной точке. Распад семьи. Ей-богу, фильм прямо для Арни Браггера и ему подобных. Чушь собачья.

Выходя из кино, Крамнэгел объявил кучке людей, изучавших развешанные у входа кадры из фильма:

— Надо быть последним психом, чтоб ходить на такое дерьмо. Одно слово — грязь!

К его изумлению, этого оказалось достаточно, чтобы заставить колебавшихся принять решение. Они сразу же выстроились в очередь за билетами.

— И что это за паршивая страна такая? — вслух поразился Крамнэгел.

А люди поглядывали на него сочувственно и откликались на его возмущенный взгляд виновато-непристойными улыбочками. Крамнэгел пошел своей дорогой; события этого дня окончательно вывели его из равновесия.

(Продолжение следует)

Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО

Из «Последних стихотворений»

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

«Самый удивительный поэтический гений Франции».

«Мы до сих пор не способны постичь его завораживающий опыт».

Первое из этих высказываний о Рембо принадлежит современному прозаику и поэту Жоржу-Эмманюелю Клансье и взято из его популярной во Франции книги, посвященной французской поэзии; второе — Жану Руссело, видному поэту и автору нескольких авторитетных историко-литературных работ.

Судя по многочисленным статьям, комментированным изданиям и монографиям, попытки постичь этот «завораживающий опыт» не прекращаются по сей день. Такой пристальный интерес к поэту, умолкнувшему сто с лишним лет назад, объясняется не только необычайной яркостью его дарования. Еще в 1947 году Луи Арагон с полной уверенностью сказал, что развитие французской поэзии XX века прошло «под знаком определяющего влияния Рембо», и если Арагон прав, то без учета этого влияния трудно понять многие сложные явления в поэзии нового времени.

А между тем создано Артюром Рембо совсем немного (все его «собрание сочинений» вмещается в одну небольшую книгу), причем создано в возрасте от шестнадцати до девятнадцати лет, после чего наступило полное, ни разу не прерываемое молчание. Его дальнейшая жизнь с ее бродяжничеством и приключениями, как бы она ни казалась привлекательной для романистов, ни в чем и никак не была связана с литературой. По словам одного из его биографов, Рембо умер дважды: как поэт — в 1873 году, как человек — в 1891-м, в возрасте тридцати семи лет. Этот человек, безуспешно пытавшийся обрести в Африке материальное благополучие и умерший после ампутации ноги на больничной койке в Марселе, имел с поэтом Рембо общее только одно: имя. Такая биография не могла не поражать читательское воображение, когда поэзия Рембо дошла, наконец, в XX веке до широкого читателя.

Поражало в Рембо и другое: его необычайно быстрое поэтическое созревание. После нескольких написанных по-латыни стихотворных упражнений на заданную тему, после трех-четырех подражательных французских стихотворений шестнадцатилетний Рембо, сын набожной провинциалки из города Шарлевиля и покинувшего семью офи-

---

АРТЮР РЕМБО — ARTHUR RIMBAUD (1854—1891).

Французский поэт. Публикуемые переводы осуществлены по полному собранию сочинений Рембо. Библиотека Плеяды. Издательство «Галлимар» (Rimbaud. Œuvres complètes. Bibliothèque de la Pléiade. Editions Gallimard. 1965).

«Стихи», «Последние стихотворения», «Озарения», «Одно лето в аду» полностью впервые будут опубликованы в книге, выпускаемой издательством «Наука» (серия «Литературные памятники»).

цера, обретает поэтический голос, не похожий ни на один из голосов, когда-либо звучавших во французской поэзии. И сразу же после первой пробы пера этот примерный ученик шарлевильского городского лицея обрушивается в своих стихах на религию, на буржуазную мораль, на ханжество и лицемерие окружающей его среды, отдавая все свое сочувствие обездоленным и угнетенным.

За этим последовали антивоенные стихи, созданные во время франко-прусской войны, и стихи, вдохновленные безоговорочно принятой им Парижской коммуной, когда он становится, по выражению Жана Руссело, «революционным поэтом в политическом смысле слова».

То, что было написано Рембо до 1872 года, объединено в современных французских изданиях в одном разделе, носящем название «Стихи», и многое из этого раздела, хотя далеко не все, переводилось на русский язык. («Париж заселяется вновь» и «Пьяный корабль» известны у нас в нескольких переводах.)

Затем в творчестве Рембо наступает перелом, заметный даже по внешним признакам: если стихи первого периода, несмотря на частые и смелые нарушения канонов классической поэзии, в общем еще связаны с нею, то в большей части стихов, созданных весною и летом 1872 года, это уже не нарушение канонов, а явно намечающийся разрыв с ними. Меняется ритмика, рифмы чередуются с ассонансами или совсем отсутствуют, и, что важнее всего, внешний мир как бы отходит на второй план, оставляя странное и причудливое отражение в душе поэта, охваченной сумятицей чувств.

По мнению некоторых французских критиков, этот перелом связан с глубоким потрясением Рембо, трагически воспринявшего поражение Парижской коммуны.

Среди стихов второго периода, выделенных во французских изданиях в самостоятельный раздел под названием «Последние стихотворения», есть одно, выпадающее из общей интонации стихотворение («О сердце, что для нас...»), которое, видимо, подтверждает это мнение: крик вселенского бунтарства обрывается словами полной растерянности.

Сам Рембо вполне отдавал себе отчет в том, что его поэзия приняла какое-то новое направление: когда им было создано «Одно лето в аду», то в главе, названной «Алхимия слова», он пытается осмыслить и объяснить поэтику «Последних стихотворений».

«Я,— говорит Рембо,— льстил себя надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов изобрел такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств».

«Я писал молчанье и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновенья». (Вслед за этими словами приводятся стихотворения «Слеза» и «Добрые мысли поутру».)

«Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов». (Идут фрагменты «Песни самой высокой башни» и «Праздника голода» и стихотворение «Волк под деревом кричал».)

«На радостях моя экспрессивность приняла шутовской и до предела туманный характер». За этими весьма самокритичными словами следует «Вечность» (как и некоторые другие стихотворные цитаты, в несколько отличном от первоначальной редакции виде). Завершает «Алхимию слова» стихотворение «О замки, о смена времен».

Поэтика «Последних стихотворений» Рембо с ее непредсказуемой ассоциативностью и ассоциативной образностью, видимо, оказала значительное влияние на дальнейшее развитие французской поэзии. Недаром в книге Клансье в главе, посвященной Рембо, из стихов первого периода полностью приводится одно стихотворение, из «Последних стихотворений» — четыре; в известной антологии Пьера Сегерса «Золотая книга французской поэзии» — три стихотворения первого периода и целиком «Алхимия слова»

Вместе с тем большая часть этого раздела, включающего 19 названий, у нас ранее не переводилась, и наиболее характерные, чаще всего публикуемые во французских антологиях стихи отсутствовали в наших изданиях.

«Последние стихотворения» еще не были последним словом в творчестве Артюра Рембо. За ними последовали «Озарения» и «Одно лето в аду», где поэтика Рембо претерпевает дальнейшие изменения. Здесь уже нет деления на стихотворные строки, но применяемый в этом случае термин «стихотворения в прозе» носит, на мой взгляд, условный характер: скорее, это верлибр, записанный в виде прозы. Два стихотворения из «Озарений», сохраняющие разбивку на строки и открывающие для французской поэзии верлибр в его современном обличье, ритмически очень близки к «прозе» как «Озарений», так и отдельных глав «Одного лета в аду». Ассоциативность поэтического мышления становится еще сложнее и прихотливее.

■ ■ ■

Игрушка хмурых вод, я не могу, не смею
— о неподвижный челн, о слабость рук коротких! —
ни желтый тот цветок сорвать, ни этот кроткий,
что с пепельной воды манит меня, синея.

На ивах взмах крыла колеблет паутину.
Давно на тростниках бутонов не находят.
Мой неподвижен челн, и цепь его уходит
в глубины этих вод — в какую грязь и тину?

■ ■ ■

О сердце, что для нас вся эта пелена
Из крови и огня, убийства, крики, стон,
Рев бешенства и взбаламученный до дна
Ад, опрокинувший порядок и закон?

Что месть для нас? Ничто!.. Но нет, мы мстить хотим!
Смерть вам, правители, сенаты, богачи!
Законы, власть — долой! История — молчи!
Свое получим мы... Кровь! Кровь! Огонь и дым!

Всё — в пламя мести, и террора, и войны!
Кусаться научись, мой разум! Пробил час
Республик, царств, границ — преграды сметены!
Империи, войска, народы, хватит с нас!

Кто будет раздувать вихрь яростных огней?
Мы будем! И все те, кто нам по духу братья.
К нам, романтичные друзья! О рев проклятий!
Работать? Никогда! Так будет веселей.

Европа, Азия, Америка — все прочь!
Наш марш отмщения сметает вехи стран,
Деревни, города... Нас всех поглотит ночь!
Вулканы взорваны. Повержен Океан...

Конечно, братья мы! О да, мои друзья!
К нам, незнакомцы чернолицые! За мной!
О горе, я дрожу... О древняя земля!
На вас и на меня обрушен пласт земной.

Нет ничего! Я здесь. Как прежде здесь.

Слеза

Вдали от птиц, от пастбищ, от крестьянок,
Средь вереска коленопреклоненный,
Я жадно пил под сенью нежных рощ,
В полдневной дымке теплой и зеленой.

Из этих желтых фляг, из молодой Уазы,
— Немые вязы, хмурость небосклона —
От хижины моей вдали что мог я пить?
Напиток золотой и потогонный.

Дурною вывеской корчмы как будто стал я.
Затем все небо изменилось под грозой.
Был черный край, озера, и вокзалы,
И колоннада среди ночи голубой.

В песок нетронутый ушла лесная влага,
Швырялся льдинками холодный ветер с неба...
Как золота иль жемчуга ловец,
Желаньем пить объят я разве не был?

Убогая мечта

(Из цикла «Комедия жажды»)

Быть может, ждет меня
Старинный Город где-то,
И буду до рассвета
Там пить спокойно я
И смерть приму за это.

Утихла б боль моя,
Будь денег хоть немного,—
На север мне дорога
Иль в южные края?
О нет! Мечта убога

И множит счет потерь,
И пусть я снова стану
Скитальцем неустанным —
Не будет мне открыта
Корчмы зеленой дверь.

Добрые мысли поутру

Под утро, летнею порой,
Спят крепко, сном любви объяты.
Вечерних пиршеств ароматы
Развеяны зарей.

Но там, где устремились ввысь
Громады возводимых зданий,
Там плотники уже взялись
За труд свой ранний.

Сняв куртки и без лишних слов
Они работают в пустыне,
Где в камне роскошь городов
С улыбкою застынет.

Покинь, Венера, ради них,
Покинь, хотя бы на мгновенье,
Счастливцев избранных твоих,
Вкусивших наслажденье.

Царица Пастухов! Вином
Ты тружеников подкрепи! И силы
Придай им, чтобы жарким днем
Потом их море освежило.

Празднества терпения

1. Майские ленты
2. Песня самой высокой башни
3. Вечность
4. Золотой век

Майские ленты

В сплетеньях светлых веток лип
Угас охотничий призыв.
Однако мудрых песен стаи
В кустах смородины порхают.

Пусть кровь смеется в наших венах.
Лоза с лозой сплелись невинно.
Красиво небо, словно ангел.
Лазурь сливается с волною.
Я выхожу. Коль солнце ранит
Меня лучом, в траву я рухну.

Терпеть ли, предаваться ль скуке
Так просто! Прочь, мои невзгоды!
О, пусть трагическое лето
Меня к своим коням привяжет,
И пусть из-за тебя, Природа,
Не столь ничтожным, одиноким
Умру я. Чтоб не умирали
Повсюду в мире Пастухи.

Хочу, чтоб временами года
Был истомлен я. Голод, жажду
Тебе, Природа, я вручаю.
Корми, пои меня, коль хочешь.
Ничто меня не обольщает.
И никому я не желаю
Дарить улыбку. Пусть же будет
Свободною моя беда.

Песня самой высокой башни

Молодости праздной
Неуемный пыл,
С чувством сообразно
Я себя сгубил.
Время б наступило,
Чтоб любовь царила!

Сам себе сказал я:
Хватит! Уходи!
И не обещал я
Радость впереди.
О, не знай сомненья,
Дух уединенья!

Так терпел я много,
Что не помню сам;
Муки и тревога
Взмыли к небесам,
И от темной жажды
Вены мои страждут.

Брошенное поле
Так цветет порой
Ароматом воли,
Сорною травой
Под трезвон знакомый
Мерзких насекомых.

О душа, что нищей
Стала от потерь!
Лишь один всех чище
Образ в ней теперь.
Но молитвы, где вы
Для Пречистой Девы?

Молодости праздной
Неуемный пыл,
С чувством сообразно
Я себя сгубил.
Время б наступило,
Чтоб любовь царила!

Вечность

Ее обрели.
Что обрели?
Вечность! Слились
В ней море и солнце!

О дух мой на страже,
Слова повтори
Тьмы ночи ничтожной,
Зажженной зари.

Людей одобренье,
Всеобщий порыв —
Ты сбросил их бремя
И воспарил.

Ведь только у этих
Атласных костров
Высокий Долг светит,
Нет суетных слов.

Надежды ни тени,
Молитв ни на грош,
Ученье и бденье,
От мук не уйдешь.

Ее обрели.
Что обрели?
Вечность! Слились
В ней море и солнце!

Золотой век

Звуча в тишине
И с ангельским схожий
— А речь обо мне,—
Стал голос чуть строже:

Ты видишь, их тьма —
Вопросов, сомнений,
Что сводят с ума,
Таят опьяненье.

Признай эту башню
Веселья и света:
То волны и пышность
Семья твоя это!

И стал он петь песню
Веселья и света,
Был видим так ясно,
— И пел я с ним вместе,—

Признай эту башню
Веселья и света:
То волны и пышность,
Семья твоя это!.. и т. д...

И вот в тишине
Он, с ангельским схожий,
— А речь обо мне,—
Звучать начал строже;

И пел он потом,
Тот голос прекрасный;
Немецкий в нем тон,
Но пылкий и страстный.

Мир грешен всегда.
К чему удивляться?
Живи! А беда
Пусть прочь удалится.

О замок! О свет!
Как жизнь твоя свята!
Какой тебе век,
О царственный блеск
Высокого брата? и т. д...

Я тоже пою:
О хор величавый!
Вас, братья, молю,
Овейте мою
Жизнь чистою славой... и т. д...

Юная чета

В окне простор зелено-голубой;
Почти нет места: сундуки, шкатулки...
Снаружи вьется кирказон по стенке,
И десны обнажает домовой.

Конечно же, интриги духов это —
Расходы, беспорядок, старый хлам.
И фея африканская приметы
Здесь оставляет — сетки по углам.

Приходит — недовольный вид у крестной —
И остается, спрятавшись в буфет...
Отсутствует чета, но несерьезно,
И ничего особенного нет.

Молодожена ветер здесь дурачит
В его отсутствие — все время и всегда.
И даже водяные духи скачут
Над сводами алькова иногда.

А ночью... О! Медовый месяц ночью
Сорвет улыбку их, прольет он медь
На небосвод... Но крыса зубы точит,
И дело с ней придется им иметь —

Коль огонек блуждающий и бледный
Не вспыхнет вдруг, как выстрел в тишине.
О привиденья в белом Вифлеема,
Храните синеву у них в окне!

Праздник голода

Голод мой, Анна, Анна,
Мчит на осле неустанно.

Уж если что я приемлю,
Так это лишь камни и землю.
Динь-динь-динь, есть будем скалы,
Воздух, уголь, металлы.

Голод, кружись! Приходи,
Голод великий!
И на поля приведи
Яд повилики.

Ешьте
Битых булыжников горы,
Старые камни собора,
Серых долин валуны
Ешьте в голодную пору.

Голод мой — воздух черный,
Синь, что рвется на части,

Все это — рези в желудке,
Это — мое несчастье.

Появилась листва, сверкая;
Плоть плодов стала мягче ваты.
Я на лоне полей собираю
Фиалки и листья салата.

Голод мой, Анна, Анна,
Мчит на осле неустанно.

■ ■ ■

Волк под деревом кричал
И выплевывал он перья,
Пожирая дичь... А я,
Сам себя грызу теперь я.

Ждет салат и ждут плоды,
Чтоб срывать их стали снова.
А паук фиалки ест,
Ничего не ест другого.

Мне б кипеть, чтоб кипяток
Возле храма Соломона
Вдоль по ржавчине потек,
Слился с водами Кедрона.

■ ■ ■

Прислушайся к вздохам
И крикам в ночи
Обвитых горохом
Зеленых тычин.

Луной залитые,
Средь дымки и снов
Мелькают святые
Минувших веков.

Вдали от калиток,
Стогов и оград
Пить тайный напиток
Святые хотят.

Не праздничный это
И не астральный
Туман до рассвета
Из ночи печальной.

И все же они
Остаются, конечно,
В тумане том грустном
И побледневшем.

■ ■ ■

О за́мки, о смена времен!
Недостатков кто не лишен?

О замки, о смена времен!

Постигал я магию счастья,
В чем никто не избегнет участья.

Пусть же снова оно расцветет,
Когда галльский петух пропоет.

Больше нет у меня желаний:
Опекать мою жизнь оно станет.

Обрели эти чары плоть,
Все усилья смогли побороть.

Что же слово мое означает?
Ускользает оно, улетает!

О замки, о смена времен!

■

Критика

Т. МОТЫЛЕВА

АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКОГО РОМАНА

Размышления о нескольких книгах

Широко известная пьеса Бертольта Брехта «Карьера Артуро Уи», где в сатирически-гротескной форме представлено восхождение гитлеровской клики, кончается словами: «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада». Слова эти, звучавшие неоднократно со сцены разных стран мира, в переводе на различные языки не утратили своей тревожной остроты, и не зря они стали крылатыми.

Передо мной три тома ежегодника «Замлюнг» (Sammlung — общий сбор, собирание сил), который выходит в ФРГ, во Франкфурте-на-Майне. Его редактор, педагог и публицист Уве Науман, писал во вступительной статье к первому тому: «Поводы для выпуска этого ежегодника в ФРГ сокрушительно актуальны. Здесь в 1978 году все еще бойко торгуют нацистскими писаниями и значками. Старые нацисты повсюду устраивают «товарищеские встречи» и насаждают свои человеконенавистнические традиции. Неофашистские банды множат бесчинства: пачкают стены, здания и памятники, проводят учения на военный лад, провоцируют демократическую общественность... Все это настоятельно напоминает, что анализ и преодоление фашизма — не единовременный акт, результаты которого можно было бы сдать в архив как нечто «завершенное». Вечно вчерашние живут и сегодня, и не только вдали от нас, в обличье пиночетовских палачей».

Отсюда и вытекают задачи, которые ставят перед собой авторы «Замлюнг» — писатели, журналисты, преподаватели средней и высшей школы, работники театра и кино, ученые-литературоведы ФРГ, ГДР, Австрии, США. Они хотят обобщить, критически изучить опыт антифашистской литературы и искусства, чтобы мобилизовать этот опыт для борьбы против фашизма и неофашизма в их современных разновидностях.

Те, кого Уве Науман метко назвал «вечно вчерашними», действуют и в области литературы... если можно назвать их сочинения литературой. Об этом говорит, обращаясь к конкретному примеру, Иост Херманд (США) в статье «От горячей войны к холодной». Низкопробные изделия беллетриста-антисоветчика Конзалика вышли в ФРГ и других странах общим тиражом в 42 миллиона экземпляров. В Бремене группа учителей и юристов попыталась было добиться запрещения одного из наиболее ядовитых военных романов Конзалика, как книги, наносящей ущерб воспитанию юношества. Однако местные судебные инстанции земли Северный Рейн — Вестфалия отказались утвердить этот запрет с такой мотивировкой: «Государство жизненно заинтересовано в пробуждении у молодежи готовности к обороне». Яснее и не скажешь.

Три вышедших тома «Замлюнг» богаты материалом и мыслями, их содержание не сводится к одной полемике. В сущности, впервые немецкоязычная антифашистская литература обсуждается, анализируется столь широким фронтом, коллективно, дискуссионно: в ходе интенсивного обмена мнениями встают и проясняются спорные вопросы. Что такое, собственно, современный фашизм? И каковы наиболее действенные пути противостояния ему средствами искусства?

Поводом к спору стала, например, статья крупного прозаика Мартина Вальзера «Наш исторический долг». Фашизм гитлеровского образца, утверждает Вальзер, был «отпадением от истории», он принадлежит прошлому и не может возродиться. Однако потенциально существует, и может оказаться опасным, фашизм в более широком смысле — те задатки жестокости, склон-

ность к асоциальному поведению, какие присущи, по мнению писателя, чуть ли не всем людям.

Многие, естественно, не согласились с ним. Публицист, редактор журнала «Тат» Эмиль Карлебах оспорил тезис Вальзера о фашизме как «отпадении от истории». Какая история тут имеется в виду? Та, которая представлена именами Томаса Мюнцера, Карла Либкнехта, Эрнста Тельмана, или та, носителями которой являются Крупп, Тиссен и их нынешние наследники? Корни фашизма не в природе человека, а в природе капиталистического строя... Говоря о фашизме, напомнил прозаик Август Кюн, нельзя забывать о «господах, стригущих купоны, о тех, кто в свое время развязывал и подкармливал коричневую чуму». «Антикоммунизм,— пишет Кюн,— был и есть повсюду важнейшим элементом фашизма, а если этот элемент сегодня рядится в демократические одежды, то тут нужна особая бдительность ко всему, что исходит сверху и справа...»

Еще в 30-е годы получил известность фотомонтаж Джона Хартфильда «Миллионы стоят за мной» На переднем плане фигура Гитлера с рукой, вытянутой в нацистском приветствии, а позади толстый господин без лица — он сует фюреру пачку банкнот. И об этой, и о других работах Хартфильда вспоминалось на страницах «Замлюнг». Однако для авторов, пишущих там, бесспорно, что задачи нынешней антифашистской литературы никак не сводятся к повторению элементарного тезиса о связях фашизма с интересами монополистического капитала. Понятие «фашизм» многомерно: литература, искусство могут исследовать не только социальные, но и идеологические, и психологические его аспекты с тем богатством оттенков, которое доступно именно художественному познанию. А ведь высший предмет искусства, напоминает публицист Оскар Нойман,— «это неповторимое, не равное самому себе порождение природы и общества: человек».

У антифашистской литературы свои традиции, свой — накоплявшийся в течение десятилетий — «золотой фонд». «Замлюнг» внимательно и с чувством благодарности изучает творчество ее зачинателей — Г. Манна, Б Брехта, а также лучшие книги современных прозаиков ГДР разных поколений. «Анна Зегерс,— говорит романист Герд Фукс [1],— описывала не фашизм, а фашистов, и антифашистов, и тех, кто не хотел быть ни тем, ни другим. Она описала или, вернее, воссоздала действительность фашистской Германии столь тонко, столь дифференцированно, что целая библиотека книг о фашизме не могла бы заменить сделанного ею».

«Замлюнг» не ограничивается, конечно пропагандой опыта старых мастеров. В центре внимания ежегодника — современная проза ФРГ. Нельзя сказать, чтобы там выходило мало книг о гитлеровской Германии Напротив, таких книг, как подсчитал Уве Науман, за годы 1979—1980 вышло не менее шестидесяти: тема вызывает любопытство читателей, для издательств это — доходная статья. Но с каких позиций изображена в большей части этих книг жизнь третьего рейха? Критики «Замлюнг» откровенно говорят о типичных недостатках расхожей беллетристики, претендующей (иногда и не без оснований) на то, чтобы считаться антифашистской. Иной раз на первый план выступают отдельные, частные аспекты гитлеровского режима, которые не исчерпывают его сути: общий климат жестокости, расовый террор, социальные, классовые отношения остаются в тени. Иной раз, и даже часто, население гитлеровской Германии рисуется как однородная масса, покорно принимающая фашистскую диктатуру и все ее преступления; кое-где, особенно в глухой провинции, оно так и было, но можно ли вовсе умалчивать о противниках фашизма, о его жертвах внутри самой немецкой нации? А уж если говорить об антифашистском подполье, то можно ли (как это часто делается) вовсе умалчивать о заслугах и подвигах коммунистов?

В разных формах, в разной степени присутствует во многих книгах то, что авторы «Замлюнг» называют «беспомощным антифашизмом»,— взгляд на фашизм как на некое стихийное бедствие, иррациональное, и непостижимое, а следовательно, и непреодолимое... Критик Р. Ярецкий, склонный к некоторому социологическому ригоризму в оценке художественных произведений, ставит в упрек современной литературе ФРГ то, что она в изображении гитлеровского режима ограничивается «подвластными лицами, оставляя без внимания власть имущих, исполнителей главных ролей». Можно было бы, правда, заметить, что у виднейших прозаиков ФРГ есть в этом плане и немалые заслуги,— стоит вспомнить хотя бы фигуру нераскаявшегося военного преступника Юдеяна, с таким мастерством очерченную В. Кёппеном («Смерть в Риме»[1]), или типы коммерсантов, заводчиков, нажившихся на войне и фашизме, в произведениях Г. Бёлля. Впрочем, и Р. Ярецкий резонно говорит о том, что ни один роман не может охватить столь сложное социальное явление, как фашизм, в его «тотальности». Иногда даже и небольшая повесть, где преступления гитлеризма отображены в неполном, частичном, но впечатляющем ракурсе, может сильно воздействовать на сознание и совесть читателя.

«Замлюнг», как правило, имеет дело с литературой только немецкоязычной (исключение составляют литераторы и художники. эмигранты из Чили. которым здесь охотно предоставляется трибуна). Однако чтение всех трех томов — при всем уважении к авторскому коллективу, к тому, что этот коллектив сделал и делает,— наталкивает на мысль, что антифашистская литература заслуживает внимания и как явление интернациональное,— говорим это не в укор ежегоднику. а скорей в подкрепление его идейных позиций. Даже если оставить в стороне тот вклад, который вносят в развитие антифашистской литературы писатели СССР и других социалистических стран (помимо ГДР), стоит присмотреться ближе к судьбам антифашистской темы за пределами ФРГ — в ли-

[1] Роман Г. Фукса «Мужчина на всю жизнь» опубликован в «ИЛ», 1981, № 3.

[1] Роман опубликован в «ИЛ», 1965, № 10.

тературах западного капиталистического мира.

Актуальность этой темы в международном масштабе подтверждается недавними и зловещими фактами. Что уж там открытая продажа нацистских значков или слеты недобитых гитлеровских вояк! В наши дни правоэкстремистские, профашистские, парафашистские группировки в ФРГ, Италии, Испании, Франции все чаще прибегают к кровавому террору, похищению людей, взрывам бомб, влекущим за собой человеческие жертвы. В международный политический словарь вошел термин «еврофашизм» — термин явно неточный, потому что почитатели и последователи бесноватого Адольфа, воинствующие антикоммунисты, расисты, милитаристы имеются и за океаном, и не только в Чили.

Реалистическая литература — сейсмограф высокой чуткости. Она не только отражает, но и предвосхищает. И конечно, сигнализирует. Нельзя считать случайностью, что в течение 70-х годов в разных странах Запада вышли новые значительные произведения художественной прозы, в которых обращение к фашистскому прошлому несет явственный подтекст тревоги за будущее.

И тут напрашивается любопытное сопоставление. Первая волна подъема международной антифашистской литературы приходится на тридцатые годы. После гитлеровского переворота мировое общественное мнение было потрясено, литература по-своему отозвалась на это потрясение. На разных языках появились романы (или пьесы), где фашизм осознавался как угроза, нависшая надо всем миром, и рисовался в условных или вовсе фантастических формах (яркий пример тому — «Война с саламандрами» К. Чапека). Видные немецкие писатели в ту пору обращались то к жизненно достоверным картинам гитлеровского рейха, то к художественному иносказанию: Л. Фейхтвангер вслед за «Семьей Опперман» опубликовал роман «Лже-Нерон», у Б. Брехта за пьесой «Чихи и чухи» последовал цикл «Страх и отчаяние в третьей империи», а потом и «Карьера Артуро Уи», прозрачная в своей аллегоричности. Происходило как бы первичное накопление неслыханно чудовищного жизненного материала; воспроизведение реальных фактов по свежим следам сочеталось, чередовалось с особо заостренными и остраняющими способами художественного обобщения, позволявшими ощутить всю жуткую противоестественность, античеловечность этих фактов.

Современный антифашистский роман решительно предпочитает художественную достоверность, нередко даже с прямым уклоном в документ. Факты фашистского варварства — в их немецком или итальянском варианте — вроде бы всемирно известны, уж сколько о них писалось! Но влияние сил, желающих предать эти факты забвению, все же нельзя недооценивать. Писатели разных стран вспоминают о фашистском прошлом, напоминают своим читателям о том, о чем забывать нельзя. И вместе с тем исследуют, раскапывают и такие реалии не столь давнего прошлого, которые не так уж широко известны, пытаются осмыслить и обобщить их в свете исторического опыта минувших десятилетий — опыта национального или всемирного. Художественное повествование нередко сочетается у них с публицистикой, взаимодействует с ней.

Таковы, например, три произведения, поразному значительных. Это — дилогия английского прозаика Ричарда Хьюза «Лисица на чердаке» и «Деревянная пастушка» (вышедшая в 1968—1973 гг., а в русском переводе в 1979 г.). Это роман итальянской писательницы Эльзы Моранте «История»; еще в 1975 г. он был подробно разобран на страницах «Иностранной литературы» в статье Ц. Кин «Одна литературная сенсация». Это, наконец, роман американца Уильяма Стайрона «Софи делает выбор» (1979), с последними главами которого читатели нашего журнала познакомились совсем недавно (1981, № 1).

Дилогия Р. Хьюза (умершего в 1976 году) в сущности представляет начало задуманного автором цикла романов «Удел человеческий». В самом этом названии — заявка на серьезное историческое обобщение. Хьюз повествует о судьбах различных наций, о событиях, оказавших влияние на судьбы мира. И повествует, конечно, в первую очередь о собственной стране, о своей нации. Одна из главных тем незаконченного цикла — закат собственнической «старой Англии» с ее патриархально-респектабельными традициями, и в этом смысле произведение Хьюза отчасти сопоставимо с «Сагой о Форсайтах». Но романист видит Англию в контексте международной жизни и нередко вместе со своими персонажами отбывает за границу, главным образом в Германию. Больше того: основной исторический стержень действия обоих романов — восхождение германского фашизма. Иначе говоря — то, из чего выросла вторая мировая война (о ней должна была идти речь в тех частях цикла, которые Р. Хьюз не успел написать).

По жанру неоконченный цикл Хьюза представляет не эпопею (как говорилось в нашей критике), а скорей всего роман-панораму. Тут нет единой атмосферы действия, нет строгого соблюдения сюжетных связей. Разветвленность сюжета, прихотливое чередование эпизодов (подчас вовсе необязательных) возведено в своего рода принцип. Умный и ироничный повествователь намеренно монтирует политическую хронику с картинами частной жизни многочисленных персонажей, соединяя то, что кажется несоединимым «Похоронный звон в Америке... Удар колокола раздался 29 октября 1929 года — в день, когда на нью-йоркской бирже крах достиг своего апогея. И в этот же день маленькому Гилу Уэйдеми исполнилось три года (хотя никакого торта по этому поводу ему не дали, ибо у него болел живот)».

Иной раз кажется, что автор нарочно освобождает себя от того, чтобы установить взаимодействие событий, а тем более от того, чтобы установить какую-либо

Т. МОТЫЛЕВА
АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКОГО РОМАНА

иерархию важного и менее важного. Мельчайшие инциденты в жизни действующих лиц, их семейные и материальные неурядицы, увлечения, болезни, выздоровления, рождественская идиллия в английском поместье и драма бедного священника, умирающего от туберкулеза,— и это и многое другое сосуществует, подчас причудливо контрастирует на страницах обоих романов. И лишь постепенно проступает внутренняя логика, организующая (до некоторой степени) все это пестрое единство.

Главный герой, молодой английский аристократ Огастин, движется по страницам неторопливо развивающегося повествования как некий «человек без качеств», скорей свидетель событий, чем их участник. Он внушает известные симпатии личной порядочностью, своим, пусть смутно выраженным, нежеланием участвовать в поддержании того социального уклада, который превратился в исторический нонсенс; но мало-помалу Огастин расхолаживает читателя своей пассивностью, отсутствием какой бы то ни было цели в жизни. Его странствия — в Германию, затем во Францию, США, Канаду, Марокко — в какой-то мере служат внешней скрепой между частями дилогии. А потом личность Огастина и вовсе отодвигается на задний план, подолгу выбывает из действия. В сущности дело совсем не в нем. Автора занимают проблемы гораздо более широкого масштаба.

Для Ричарда Хьюза бесспорно, что со времени окончания первой мировой войны капиталистическое общество (не только английское) расшатано в своих основах. Симптомом глубокого кризиса этого общества становится и всеобщая стачка в Англии в 1926 году, и «похоронный звон» на нью-йоркской бирже, и в еще более очевидной форме — торжество фашизма в Германии. И по мере развертывания действия политическая история приобретает все более заметный перевес над мотивами «частной жизни».

Надо сказать, правда, что именно в бытовых сценах (особенно английских) Р. Хьюз выступает как опытный, искусный прозаик, знающий цену и живому диалогу, и метко выбранной детали; а о жизни политической он нередко говорит в тоне газетной хроники, обобщенно-публицистично. Иногда же эта хроника оживляется эпизодами не слишком хорошего вкуса (скажем, в характеристике Гитлера непропорциональное значение приобретают сексуально-патологические мотивы). Однако в целом оба романа привлекают не только щедрым обилием материала, но и широтой, трезвостью авторского взгляда.

Писатель видит (хотя бы в общих чертах) переплетение экономических, политических факторов, которые привели к установлению фашистской диктатуры в Германии; видит он и то, кому оказался крайне нужен безродный ефрейтор, обещавший «искоренить марксизм». Мимоходом брошено замечание: «Если пушки Круппа способствовали созданию второго рейха, то золото Круппа сделало немало для создания третьего». Однако, с другой стороны, Хьюз судит о Германии отчасти именно как британский буржуазный интеллигент, кровно привязанный, как бы то ни было, к устоям и традициям своей страны. Вот сумел же премьер Стэнли Болдуин управиться с бастующими горняками как истый джентльмен, вернуть их в шахты чинно-благородно, без единого выстрела, привив им «иммунитет против континентального вируса революции»! Иное дело немцы — они, по мысли автора, лишены чувства меры, в них Хьюз акцентирует пагубную склонность к насилию, к жестокости.

В «Лисице на чердаке» молодой Огастин, приехавший погостить к баварским родичам, покидает Германию в полном смятении. Деспотический нрав барона фон Кессена, который сажает провинившихся сыновей-подростков на цепь, как собак; религиозная экзальтация юной Мицци фон Кессен, которая, ослепнув, дает родителям упрятать себя в монастырь кармелиток; богемные нравы декадентствующих художников Мюнхена и «пивной путч» Гитлера — все это в наивно-испуганном представлении Огастина как бы сливается в единую картину одичания, духовной деградации страны, потерпевшей поражение в первой мировой войне. Эти мотивы озверения, повального фанатизма, которому, по мысли автора, сильно подвержены немцы как нация, широко развертываются во втором романе, особенно в последних его главах, повествующих о кровавой расправе Гитлера с Рёмом, Штрассером и другими его бывшими сподвижниками летом 1934 года. Автор не скупится на колоритные подробности, рисуя картины этой поистине палаческой акции. Устами разнообразных персонажей (особенно устами «сверхинтеллектуала», видного немецкого юриста Рейнхольда Штойкеля) он разъясняет: да, Гитлер человек невежественный, ничтожный, психически неполноценный, но он угадал, «чего хочет Германия»; он, быть может именно в силу полной аморальности, сумел привлечь на свою сторону и «средние слои» бюргерства, и «чернь», деморализованную безработицей и нищетой. В силу всего этого, по мысли романиста, и смог Гитлер варварским способом истребить соперников, оспаривавших у него влияние на массы, не вызвав в стране никакого сопротивления... Однако, показывая начальный период гитлеровского господства, Ричард Хьюз вовсе обходит тот факт, что уже в этот период были арестованы, замучены или заключены в концлагеря многие тысячи рабочих — коммунистов и социал-демократов,— были физически уничтожены или принуждены эмигрировать лучшие силы демократической и либеральной интеллигенции. В том изображении Германии 1933—1934 гг., которое дано Хьюзом, вовсе не нашлось места для немцев подлинно передовых — для тех, кто шел за свои убеждения в тюрьму или на эшафот. И в этом смысле талантливый английский романист серьезно погрешил против исторической истины.

Вообще говоря, в широкой панораме, созданной Хьюзом, преобладает взгляд «с в е р х у»: о социальных, политических проблемах времени говорят и судят лица, принадлежащие к привилегированным слоям общества,— пусть даже они и способны иной раз, как Огастин, проявлять уважение или сочувствие к трудящимся.

С иных художественных позиций написан большой роман Эльзы Моранте «История», завоевавший широкую популярность в Италии, переведенный и на другие западноевропейские языки. Здесь сделана примечательная попытка показать годы господства фашизма «с н и з у» — с точки зрения обездоленных и угнетенных. Действие начинается в 1941 году. Жизнь мелкого городского люда, бедноты римских окраин, тех, кому в годы войны пришлось переносить голод, бомбежки, болезни, скученную жизнь во временных общежитиях-бараках, постоянные муки страха и террор чернорубашечников, воссоздана наглядно, взволнованно, иногда с налетом мелодраматизма, но так или иначе в художественно общедоступной и впечатляющей форме. Это обеспечило книге Моранте небывалый успех у массового читателя.

Роман в оригинале называется «La storia» — История с большой буквы, история в широком смысле слова. Автор хочет не просто рассказать о жизни и гибели учительницы Иды Манкузо, ее маленького сына Узеппе и взрослого сына Нино, о горьких судьбах многих других жителей Рима, но и осмыслить ход новейшей истории, итальянской и мировой. Однако скажем сразу: та историко-публицистическая хроника, которая предпослана каждой главе,— самое уязвимое, что есть в книге. Тут выражена, гораздо более однозначно, чем в самом повествовании, весьма нехитрая мораль: угнетенные всегда страдают, угнетатели всегда наживаются и торжествуют, на смену одним формам гнета приходят другие. В таком взгляде на историю, и примитивном, и по существу глубоко неверном, отражено недовольство многих рядовых итальянцев теми социальными порядками, которые установились в стране после разгрома фашизма. Но есть тут и отголоски расхожей пессимистической философии, которая пользуется немалым влиянием на Западе и меньше всего служит интересам угнетенных.

К счастью, образная система романа несет в себе смысл, который несравненно глубже и богаче воззрений, высказываемых писательницей в публицистической форме. Трудящиеся и угнетенные отнюдь не представлены в романе как монолитная безликая масса: на многофигурном полотне, созданном Моранте, у каждого человека своя судьба, своя мера ответственности, свой способ участия в исторических событиях. В пестрой толпе действующих лиц есть и боевые партизаны, есть и коммунист по прозвищу Джузеппе Второй, борющийся мужественно и отважно, до конца. А есть, с другой стороны, и среди фигур первого плана былые участники антифашистского движения, которые после войны поддались разочарованию, ушли в левацко-анархический авантюризм; романистка вполне объективно показывает всю бесперспективность и гибельность избранного ими пути. И в самой беспощадности, с какою представлены в романе фашисты, их черные дела, в том гневе, с каким романистка говорит о Муссолини, «лицедее», доведшем страну до национальной катастрофы, о Гитлере, «некрофиле», готовом уничтожить все живое на земле, отозвалась, по-своему, мятежная энергия народа. Сколь бы ни была противоречива авторская концепция, роман Моранте обогатил антифашистскую литературу.

Любопытно сопоставить художественную трактовку феномена «фашизм» в больших повествованиях Р. Хьюза и Э. Моранте. Сила обоих английских романов отчасти в интеллектуальном начале, в настойчивых попытках анализа. Сила итальянского романа — в эмоциональной взволнованности авторского видения. Хьюз показывает гитлеризм в его истоках, старается объяснить причины его возникновения (чрезмерно подчеркивая при этом, правда, особенности национального характера немцев, рассматриваемых как нерасчлененное целое). Моранте показывает трагические результаты хозяйничанья фашистов в ее стране, передает и ненависть значительной части итальянского народа к диктатуре Муссолини (но допускает некий крен в сторону внеисторической идеи неискоренимости зла). Вместе с тем оба произведения убедительно и сильно демонстрируют преступный, античеловеческий характер фашизма: уже в этом их высокая актуальность.

Необычайно ответственный замысел лежит в основе романа Уильяма Стайрона «Софи делает выбор». Это антифашистский роман, где взаимодействуют два времени — послевоенные годы и годы второй мировой войны. И взаимодействует исторический опыт трех стран: США, Польши, Германии.

Напомним: в дни второй мировой войны солдаты США направлялись в Европу, не зная толком, с кем и во имя чего им предстоит сражаться. Среди солдат был и юный Стинго, герой романа Стайрона, лицо отчасти автобиографическое. Очевидна сверхзадача романа: сказать американцам ту страшную правду о фашизме, которой они не знают или которую знают плохо.

Здесь не стоит пересказывать содержание этой книги — она была подробно проанализирована в послесловии Г. Злобина к публикации последних глав в нашем журнале. Отметим лишь то, что наиболее существенно. По своей идейной проблематике роман «Софи делает выбор» тесно связан с более ранним произведением того же автора, «Признания Ната Тернера» (1966); образ неграбунтаря, лидера мятежа черных рабов в Виргинии в 1831 году, был обрисован там с горячим сочувствием. Уильям Стайрон — убежденный противник расизма во всех его разновидностях, таким выступает он и в новом романе. Логикой сюжета гитлеровская практика геноцида соотносится и с рабовладельческими нравами Юга США, и с антисемитизмом, имеющим глубокие корни в прошлом панской Польши. Расовый гнет, расовая ненависть, по мысли автора,—важный аспект фашизма, хотя и не исчерпывает собой его сути.

Среди эпизодических персонажей романа — крупный предприниматель, один из хозяев «И. Г. Фарбен», который приезжает в Освенцим, чтобы вытребовать даровую рабочую силу из числа заключенных. В этом лощеном немце угадывается типичный пред-

---

Т. МОТЫЛЕВА
АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКОГО РОМАНА

ставитель того класса, которому гитлеровский режим был угоден и выгоден.

В рассказах Софи Завистовской, польки, пережившей Освенцим (куда она попала во время облавы, в сущности случайно), встает перед изумленным Стинго картина чудовищных зверств. Писатель, конечно, воспользовался документальной литературой о нацистском терроре в Польше. Но и читатель, знакомый с этой литературой (и даже читатель — позволю себе личное признание,— побывавший после войны и в Освенциме, и в Бухенвальде, и в Дахау, и в Саласпилсе), не может не быть мучительно взволнован, читая описание поездки арестованных — женщин, детей, больных — в переполненном вагоне из Варшавы в Освенцим, а потом сцену «селекции», когда часть узников направляется в лагерь, на работы, а остальные — в филиал Освенцима, Биркенау, где их ждет газовая камера и крематорий.

Трагическая судьба Софи, которая, несмотря на возможность спокойной жизни в США, делает «выбор» в пользу смерти, глубоко мотивирована. Софи могла бы простить себе, что она, по юному неведению, перед войной помогала отцу технически готовить рукопись, содержавшую проект «очищения» Польши от евреев. Она могла бы простить себе, что в дни оккупации побоялась примкнуть к подпольщикам. Но та особо рафинированная нравственная пытка, которой Софи подверглась в момент «селекции», когда ей было предложено самой выбрать, которого из двоих детей оставить в живых, оказалась свыше ее сил. Образ крохотной дочки, которую отправили на смерть вместе с ее плюшевым мишкой, неотступно стоит перед взором матери. С таким воспоминанием нельзя жить.

Самою логикой сюжета выносится авторский приговор фашизму как системе варварского насилия над людьми и народами. И заостряется мысль Стайрона о личной вине всякого, кто так или иначе, прямо или косвенно, хоть мало-мальски причастен к фашистским преступлениям.

Проблема личной ответственности за преступления гитлеровского режима особо важна для литератур обоих германских государств. Известно, что над этой проблемой очень серьезно, с возрастающей глубиной, размышляют писатели ГДР — об этом свидетельствуют новые произведения Германа Канта, Макса Вальтера Шульца, Кристы Вольф. К этой проблеме неоднократно обращались и продолжают обращаться и лучшие писатели ФРГ.

Рольф Хохгут давно завоевал международную известность как драматург (в частности, автор антифашистской драмы «Наместник», а теперь и автор острополитической пьесы «Юристы»). В 1978 г. он опубликовал свой первый роман «Любовь в Германии».

Это — произведение оригинальной структуры. В нем чередуются главы повествовательные и публицистические. В основе сюжета лежит подлинное происшествие, сюжет несложен. В некоей деревне гитлеровской Германии, в самый разгар войны, поляк-военнопленный Станислав Засада полюбил лавочницу, жену летчика, находившегося на фронте, Паулину Кроп. Она ответила ему взаимностью; возникла тайная связь, которая очень скоро перестала быть тайной для односельчан. По законам гитлеровского рейха иностранец-пленный, вступивший в интимную связь с немкой, карался смертной казнью через повешение, а женщина — заключением в концлагерь. В соответствии с этим законом Засаду повесили, а Паулина была арестована, попытки мужа спасти ее от заключения в концлагерь оказались безуспешными.

Словом, горькая и по-своему трогательная история. Оба любящих проявили немало благородства и преданности друг другу — Хохгут рассказывает об этом немногословно, не умиляясь; тем острее воспринимает эту историю читатель. Автор придерживается правды факта, но, естественно, дает некоторую волю и художественному воображению, старается проникнуть во внутренний мир своих героев, передает их разговоры и затаенные мысли.

Публицистические главы по-своему необходимы: Хохгут не хочет ограничиваться рамками одного трагического казуса, а исследует этот казус в широком историческом контексте. Он щедро цитирует подлинные документы из истории третьего рейха: высказывания фашистских лидеров, законы и официальные распоряжения, страницы из трудов историков,— подобные же документы привлекаются и как материал для эпиграфов к каждой главе. Книга насыщена историческими фактами и размышлениями автора о том, в каких условиях, по какому стечению причин могла совершиться варварская расправа с двумя людьми, абсолютно порядочными и никому не сделавшими зла. Рольф Хохгут описывает и свое путешествие на место действия романа, свои разговоры с лицами, которые помнят «эту неприятную историю» (а иногда начисто забыли о ней). Так единичный случай нацистского варварства поднимается на уровень высокой типичности: в одном частном случае как бы просвечивает вся подлая, античеловеческая суть гитлеровского режима. Попутно Хохгут вводит в контекст публицистических глав свою полемику с бывшим нацистским военным юристом Фильбингером, который еще сравнительно недавно возглавлял местное правительство земли Баден-Вюртемберг и должен был оставить свой пост вследствие протестов прогрессивных деятелей культуры— в не малой степени вследствие непримиримой борьбы, которую вел с ним Р. Хохгут.

Публицистические главы книги тесно сплетены с повествовательными: автор то и дело переходит от судьбы своих героев к судьбам Германии и событиям второй мировой войны. Трагическая история Станислава и Паулины дает писателю повод задуматься над степенью вины тех немцев, которые были проводниками гитлеровской политики или подчинялись ей. Он настаивает на том, что к определению этой вины надо в каждом случае подходить дифференцированно. У каждого бывшего подданного гитлеровского государства — своя мера ответственности. Хохгут показывает, что иные рядовые члены нацистской партии, вступившие в нее под нажимом, чтобы не потерять работу или избежать репрессий, лично не участвовали в преступлениях режима. Зато иные видные военные деятели, чиновники, судьи могли лично и не состоять в этой пар-

тии (как не состояли в ней двадцать маршалов вермахта), но запятнали себя злодеяниями, по которым не может быть амнистии ни при какой давности срока.

Так же дифференцированно подходит писатель и к оценке поступков тех, от кого зависела судьба обоих любящих. Многие жители деревни знали об их связи — но молчали. А вот соседка, которая помогала фрау Кроп в лавке, безусловно виновата: у нее было письмо Паулины к возлюбленному, она могла бы сжечь это письмо, чтобы оно не попало в гестапо. Но она покорно выдала письмо властям — так в руках душегубов появилась важная улика. Строгим нравственным судом судит Хохгут гестаповского чиновника, под наблюдением которого происходила казнь Станислава. По изуверской воле нацистских «законодателей» повесить пленного мог только пленный той же национальности. Было очевидно, что молодой интеллигентный поляк, которого вынудили взять на себя обязанности палача, не справится со своей «работой» и что Станиславу предстоит медленная, крайне мучительная смерть. Врач, присутствовавший при казни, настаивал, чтобы обвиняемый был расстрелян и таким образом избавлен от предсмертных мук. Однако чиновник-гестаповец хотел во что бы то ни стало соблюсти букву закона: кому положено быть повешенным, не имеет права быть расстрелянным.

В публицистических экскурсах Р. Хохгута есть и моменты спорные и вызвавшие споры. Рецензент ежегодника «Замлюнг» поставил ему в упрек, что суть фашистской диктатуры на многих страницах романа как бы затемнена психопатологическими мотивами: в самом деле, там часто встречаются выражения «безумцы», «больные», «коллективная паранойя» и т. д. Однако подобные термины, которые действительно попадаются нередко, имеют у Хохгута значение по преимуществу метафорическое, их не надо принимать буквально. Говоря о возвышении ближайших приспешников Гитлера, будь то Геринг или Геббельс, писатель достаточно ясно дает понять, что они примкнули к фюреру по соображениям корысти и карьеры, а не в силу помрачения ума. Тут к месту вспомнить слова шекспировского Полония: «Если это и безумие, то в нем есть своя система». Хохгут серьезно задумывается над природой нацизма, над его историческими истоками; он убедительно говорит, например, о том, что завоевательная, авантюристическая политика Гитлера, оказавшаяся катастрофической для его страны, коренится в традициях германского империализма, в агрессивных действиях Вильгельма II. Есть основание не соглашаться с Хохгутом там, где он необычайно высоко оценивает вклад Англии, в частности личный вклад Черчилля, в разгром третьего рейха. Но Хохгут, с другой стороны, с вполне оправданной иронией отзывается о попытках британских властей «умиротворить» гитлеровский режим, поладить с ним. «Если даже человек, приведший Англию к победе в 1918 году, Ллойд Джордж, поехал в Оберзальцберг, чтобы навестить Гитлера и публично воздать ему хвалу, то никто не смеет осудить какого-нибудь булочника Шульце за то, что он в порыве слепой веры аплодировал Гитлеру: как мог бы он догадаться, что слепая вера в политике — всегда глупость?» И даже в финале главы «Одиссей 1940», содержащей прямую апологию Черчилля, писатель призывает современников задуматься, «какие воззрения, настроения, ценностные критерии, государственные границы существовали бы в сегодняшней Европе, если бы вторая мировая война завершилась оккупацией Лондона войсками Гитлера, а не взятием Берлина Красной Армией!».

На фоне тех значительных, по-разному крупномасштабных, произведений мировой антифашистской прозы, о которых шла здесь речь, роман Луизы Ринзер «Черный осел»[1] (1974) может показаться — на первый, поверхностный взгляд — книжкой малосущественной, слишком камерной, узкой и по охвату жизненных фактов, и по вопросам, которые в нем поставлены. В самом деле. Тут нет ни международной широты вйдения, свойственной, например, повествованию Р. Хьюза, ни тех трагически конкретных картин жизни обездоленных, какими изобилует «История» Э. Моранте, ни пронзительной остроты психологического конфликта, на котором строится роман У. Стайрона, ни откровенной публицистичности и документальности, присущих книге Р. Хохгута «Любовь в Германии». И все же роман Луизы Ринзер занимает нас, держит в напряжении, заставляет размышлять. У него свое художественное лицо. Луиза Ринзер могла бы отнести к себе французское изречение: «Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана».

Героиня, от лица которой ведется рассказ, приехала в провинциальный городок на похороны дальнего родственника, встретилась с давно забытыми сверстницами, среди которых прошло ее военное детство, и через несколько дней уехала — только и всего. Но попутно она узнала многое, чего раньше не знала. История былых знакомых и неблизких родичей становится хроникой города. А сам этот город, говорит автор,— «крохотное зеркало, отразившее историю нашего века, и сам по себе маленький мир, судьба которого что-то значит».

Вот так: крохотное зеркало века. Тут, пожалуй, есть преувеличение — но есть и доля истины. Маломасштабность повествования с первых же страниц мотивирована и оправдана: в микрокосме одного городка, и даже одной бюргерской семьи, проявились по-своему хотя бы некоторые, но немаловажные стороны немецкой истории XX века со всем, что в ней было позорного и скорбного.

«Черный осел» — роман-расследование: важное место в сюжете занимает сам процесс отыскания истины, опроса свидетелей сопоставления их показаний. Что происходило с действующими лицами в годы фашизма, как держался, как проявил себя в

[1] Публикуется в «ИЛ», 1981. № 7, 8.

Т. МОТЫЛЕВА

АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКОГО РОМАНА

эти годы каждый из них? Нельзя считать случайным, что в литературе ФРГ — именно в литературе гуманистического, реалистического направления — немало романов-расследований; советским читателям памятны и «Энгельберт Рейнеке» П. Шаллюка, и «Групповой портрет с дамой» Г. Бёлля. Раскапывая вместе со своими персонажами факты не столь давнего прошлого, писатели противопоставляют эти факты тем «отбеливающим справкам», которые влиятельные учреждения их страны неоднократно выдавали бывшим нацистам или полунацистам, большим и малым преступникам или соучастникам преступлений.

Своеобразие романа Л. Ринзер в немалой степени в том, что в центре действия по преимуществу женские судьбы, домашний мирок. Тут и крупных преступников вроде бы нет, и лиц, участвовавших в политической жизни, тоже нет, а если они есть, то они стоят на далекой периферии повествования. Однако по ходу действия раскрываются ненаказуемые преступления, позорные дела. И раскрываются они лишь постепенно, нить показаний-воспоминаний раскручивается неторопливо — нам как бы дается время для того, чтобы подумать и вынести собственные суждения.

У Л. Ринзер нет таких резко драматических обличительных сцен, как, например, эпизод «селекции» в романе Стайрона или описание казни Станислава у Хохгута. Наиболее впечатляющий, остроконфликтный момент повествования — пожалуй, сцена ареста старой учительницы музыки Доры Лилиенталь. Нелепая жестокость этого акта столь очевидна, столь вопиюща, что обыватели города, обычно покорные нацистам, тут явно сочувствуют жертве, провожают Дору взглядами, выражающими уважение и жалость.

Вообще же в романе «Черный осел» один из главных обвиняемых, если не самый главный,— это именно та аморфная, безликая обывательская масса, которая сначала так легко ко всему приспособилась, а потом так легко обо всем забыла. С вполне справедливым гневом говорит о трусости, о равнодушии этих людей престарелая фрау Мак, мать подвижнически погибшего пастора-антифашиста.

Надо сказать откровенно: в «зеркале» романа Ринзер решающие события истории страны все же отражаются лишь в самых общих контурах и иногда несколько замутненно. О пасторе Маке, как и о Петере Нильсе, который сражался в Испании за правое дело, мы узнаем лишь из скупых воспоминаний персонажей — мы можем дорисовать их облик разве только силою собственного воображения. И о варварстве, царившем в третьем рейхе в те самые проклятые годы, мы тоже узнаем лишь косвенно и частично. Возможно, что такой аспект изображения прошлого входит в авторский замысел. Ведь тут показан не фашистский режим сам по себе, а скорей, если можно так выразиться, его инфраструктура: та среда, которая пассивно поддерживала его господство. А ныне эта же среда также пассивно поддерживает «покой и порядок», установленные в городе новым бургомистром: когда-то он по молодости лет был всего лишь «попутчиком» фашистов, а теперь «он, как говорят люди, неофашист».

Яркое воплощение косной мещанской массы — Берти Каунигер, жадная собственница, в течение долгих лет обманывавшая и обкрадывавшая старого отца, родившая ребенка от связи с неким «нордическим» мерзавцем, а затем хладнокровно уморившая свое дитя. Она, конечно же, всегда стояла и стоит вне политики. (Хотя в свое время записалась в нацистскую партию.) На расспросы о концлагерях, уничтожении евреев и прочих неудобных материях она отвечает вяло и как бы нехотя: «Ничего мы не знали... Все это надо наконец забыть». Эта формула незнания-забвения приобретает здесь программный смысл. Не знают того, чего **не хотят** знать, забывают о том, что **хотят** забыть. (С подобными же ответами, кстати сказать, сталкивался и Рольф Хохгут, когда он вел расследование «казуса» Станислава и Паулины.)

Романистка судит Берти справедливо-суровым судом, карает ее уродливой дряхлостью, унизительным и ненасытным обжорством, горьким одиночеством. И несколько странными, не идущими к делу кажутся слова повествовательницы о «бедной глупой Берти», которая, мол, в сущности, не виновата, она стала такою, какою сделала ее «судьба». Такая неожиданная попытка списать явную подлость за счет всесильной «судьбы» никак не вяжется с неоспоримым приговором этой отталкивающей особе, который вынесен самою силой художественного изображения. Берти, со всем ее душевным уродством, запоминается именно как типический пример моральной деформации, какой подверглись в годы фашистской диктатуры многие немецкие обыватели. Ведь «лживость заразительна, и можно лгать молчанием», говорится в романе по другому поводу.

С. Аверинцев, автор главы «Литература христианского направления» в недавно вышедшем, очень ценном коллективном труде «История литературы ФРГ», дает сжатую характеристику творчества Л. Ринзер и, в частности, говорит о ее «наблюдательности в анализе нетривиальных психологических ситуаций». Это верное замечание вполне можно отнести и к роману «Черный осел». Писательницу и в самом деле интересует то, что несколько необычно, во всяком случае небанально, что в какой-то мере выламывается из слишком строго понятой типичности. Такой необычной и в то же время психологически убедительной фигурой остается в памяти читателя Клара — горбунья и чудачка, белая ворона в мещанской среде, угловато-резкая и благородная поборница правды.

Иной раз именно «нетривиальность» характера и судьбы человека позволяют автору найти новые краски или оттенки в художественном обличении фашизма. Пусть Макс Бредель, сын коммуниста, замученного в концлагере, очерчен лишь пунктиром — нас способна взволновать трагическая участь этого рабочего парня, которого нацисты обманом вынудили вступить в их партию, прельщая надеждой на спасение арестованного отца, и который покончил с собой, когда понял, что непоправимо опозорен.

Более сложный казус — доктор Флекман. Из рассказов и воспоминаний разных лиц вырастает образ человека по-своему незаурядного, одаренного, честолюбивого, склонного к романтической позе. Быть может, именно позерство, фразерство и сделало его податливым по отношению к реакционному культу «сверхчеловека». Были ли среди приверженцев гитлеровской диктатуры, особенно на первых порах, лица интеллигентные, образованные, строившие себе иллюзии относительно фюрера и его исторической миссии? Да, были, это подтверждается фактами германской истории и даже истории литературы. Луиза Ринзер, быть может, первая попыталась воплотить в романе разновидность нациста, о какой в художественных произведениях еще не говорилось. А мог ли влиятельный нацистский деятель в единичном, именно единичном, случае помочь человеку, преследуемому властями рейха? Наверное, мог; тот эпизод, где рассказано, как Флекман в угоду любимой женщине достал подложный паспорт для беглеца-антифашиста, не вызывает у нас сомнения. Ведь не все гитлеровцы были такими уж законченными, непрошибаемыми извергами, для Флекмана этот широкий и рискованный жест был своего рода романтической авантюрой. Не вызывает сомнения, в смысле психологической достоверности, и эффектное самоубийство бургомистра Флекмана перед приходом американских войск—и этот поступок вполне «в образе». Сомнительно другое: та итоговая оценка этой личности, которая мало-помалу складывается в романе. И Клара, и ее сестра Стефания склонны посмертно амнистировать Флекмана: «Он никогда ни с кем не расправлялся», «Был нацистом, а зла не делал». Но разве Флекман не был причастен к преступной гитлеровской системе — и как крейслейтер (окружной руководитель), и потом, как бургомистр,— разве не был он, уже по занимаемому им положению, прямым соучастником зла? Да, был, хотел он этого или не хотел. Здесь писательнице, и ее любимой героине Кларе, до некоторой степени изменяет та суровая ясность нравственных критериев, которая, вообще говоря, в высокой степени свойственна им обеим.

Особое место Клары среди персонажей романа оттеняется образом «черного осла», о котором она упоминает неоднократно и каждый раз на иной лад. «Черный осел» — своего рода символ, он неоднозначен и слегка загадочен, как и полагается быть символу. Что это — память, которая никогда, ни при каких обстоятельствах не должна подчиняться давлению извне? Или — совесть, дающая человеку нравственный ориентир и в настоящем, и в оценке событий прошлого? А иногда может показаться, что «черный осел» — это вместе с тем и остаток непонятного, необъяснимого в человеке, то, что уклоняется от истолкования по строгим законам логики. В самом выборе черного ослика, непритязательной детской игрушки, в качестве образа-лейтмотива в романе, где говорится о серьезных и печальных предметах, есть и некоторый оттенок чудачества, субъективного произвола — что, в общем, вполне естественно в художественном повествовании, тем более в повествовании камерного масштаба. Так или иначе, этот символ-лейтмотив заостряет мысль об ответственности человека за совершаемые им поступки — какие бы внешние силы ни управляли им; заостряет ту самую мысль, которая лежит в основе многих лучших произведений современной литературы на антифашистскую тему. Тема эта далеко еще не исчерпана.

◆

Из месяца в месяц

ФРГ

АВТОБИОГРАФИЯ ЛУИЗЫ РИНЗЕР

Луиза Ринзер в своих произведениях нередко использовала автобиографический материал. Так, самый первый роман писательницы, «Стеклянные кольца», рассказывал о событиях ее детства. «Тюремный дневник» — о временах фашизма.

Теперь издательство «Фишер» выпустило, наконец, «настоящую» автобиографию Ринзер, озаглавленную «Обнять волка». «Впервые 70-летняя писательница выступает совершенно открыто», — замечает рецензент.

Автобиография доведена до 1950 года. Многие читатели смогут наконец удовлетворить свое любопытство, убедившись в существовании у их любимых героев реальных прототипов. Но для Ринзер главная цель, конечно, не в этом. Книга рассказывает прежде всего о внутренней жизни писательницы, о психологии творчества, об особенностях преломления в литературном произведении реальной жизни.

Писательница как бы позволяет нам заглянуть в свой рабочий кабинет, демонстрирует материалы, использованные в автобиографии: письма, дневники, статьи, книги, старые фотографии, документы. Иногда Ринзер лишь комментирует их «с деловитостью историка или филолога», иногда анализирует себя словно бы со стороны.

Для этой работы характерна открытость формы: писательница не стесняет себя ни хронологией, ни делением на главы. Ринзер размышляет на политические, литературные, религиозные темы, рассуждает о любви и смерти, вине и ответственности. Главное для писательницы — «жизнь, которую она принимает со всеми ее крайностями и противоречиями», отмечает рецензент.

◆

О. ТИМАШЕВА

КОНТУР ЛИЦА

О современной франкоязычной литературе Бельгии

Полтора века назад древние земли Фландрии и Валлонии, многократно опустошавшиеся войсками иностранных завоевателей, стали свидетелями восстания против голландского господства: над брюссельской ратушей взвилось старинное черно-желто-красное знамя герцогства Брабантского, ставшее национальным флагом Бельгии.

С культурной традицией этой страны мы знакомы давно и не поверхностно. Национальное начало, так сильно проявившееся у Шарля Де Костера и Мориса Метерлинка, дополняется в нашем воображении сюжетами брейгелевских картин, жанровой тематикой «малых голландцев», натюрмортами Снейдерса, иконописными лицами Мемлинга и Ван Дейка, гимном здоровой и пышной плоти на полотнах Рубенса, наконец, интригующей символикой картин Рене Магрита и Поля Дельво. Традиция изобразительного искусства в Бельгии сильна и глубока. Мощные импульсы одной из ярчайших культур Возрождения и по сей день питают творчество писателей и художников.

Бельгийский прозаик Альбер Эгпарс писал: «После первого форума поэтов в Кнок-ле-Зут (1952) журналисты и писатели провозгласили Бельгию землею поэзии и поэтов». С бельгийскими поэтами мы познакомились, прочтя небольшую антологию, изданную у нас в стране в 1965 году, но некоторые имена (Констан Бюрнио[1], Морис Карем, Анри Мишо) встречались нам и прежде на страницах периодической печати.

[1] Подборка стихов К. Бюрнио опубликована в «ИЛ», 1980, № 9.

Наши дети любят стихи Мориса Карема. Да и взрослые тоже сумели почувствовать его своеобразный поэтический мир:

Железный шлем,
Деревянный костыль —
С войны король возвращался домой.
Солдаты пели,
Глотая пыль,
И пел с ними вместе король хромой.

(«Возвращение короля». Перев. М. Кудинова)

Разных по мироощущению бельгийских стихотворцев объединяют темы мира и труда, любви к человеку, трагической невозможности мгновенно сделать его жизнь счастливой. Одни авторы тонко чувствуют природу и передают в стихах специфику бельгийского ландшафта. Другие ироническим взглядом следят за тем, что происходит вокруг. Третьи погружаются в мечту, откуда не всегда можно найти дорогу обратно в действительность.

Поясняя сложность образной системы бельгийской поэзии, позволим себе привести один парафраз. Курзал бельгийского курортного городка Кнок-ле-Зут, в котором каждые два года собираются участники международного форума поэтов, оформлен известным бельгийским художником XX века Рене Магритом. На его панно изображены полуаллегорические-полумифические фигуры: дерево с проросшим в стволе носом, одиноко стоящее в пустыне; русалка «наоборот» (голова рыбы, ноги женщины); дверь, открытая в темную ночь. Смысл фигур неясен, туманен, «закрыт». Но есть в этих панно общая идея, показывающая единство замысла. Странные фигуры выполнены на фоне голубого неба, по которому плывут облака, будто подхваченные ветром с Северного моря. Они создают впечатление движения воздуха и света, которое безусловно сродни музыке и поэзии, звучащим в этом зале. Ощущение свежего ветра испытывает каждый его посетитель, и, может быть, поэтому страшные громадные фигуры не производят гнетущего впечатления. Они воспринимаются как символ встречи с неведомым, с неизмеримым пространством.

Я море, я земли и неба кровь,
я ветра грудь, я лоно ностальгии,
я скважина, пробитая в скале,
я шепот, крик, безумье и причуда...—

(Перев. Арго)

ТИМАШЕВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор ряда работ по французской и современной бельгийской (франкоязычной) литературе.

пишет Эдмон Вандеркаммен в лирическом стихотворении «Песни моря».

Прославший мрачным алхимиком поэтического слова, Анри Мишо еще более сложно передает свое впечатление при взгляде на море в стихотворении в прозе «Дамба»:

Прожив месяц в Онфлёре, я еще не видел моря, врач предписал мне не выходить из номера.

Но вчера вечером, устав от такого отшельничества, я воспользовался туманом и выстроил дамбу, уходящую в море.

На конце ее я свесил ноги и взглянул на море, которое глубоко дышало подо мною.

Справа послышался шорох. Рядом сидел человек, раскачивая ногами, он глядел в море. «Теперь,— сказал он,— когда я уже стар, я хочу вытащить из него все, что я отдал ему за долгие годы...»

(Перев. В. Козового)

При всей странности и неожиданности некоторых образов нельзя отрицать, что они помогают нам освоить действительность. Чувство дали, простора и пространства, запах соленого ветра, описания разбушевавшейся стихии метафорически выражают неукротимость человеческой мечты, ее дерзания.

Если современных бельгийских поэтов мы знаем хотя бы по именам, то сегодняшние бельгийские прозаики (за определенными исключениями), честно говоря, знакомы нам в меньшей степени. Есть мнение, что бельгийского романа как такового не существует вообще, поскольку самые видные писатели издаются в Париже и порой их рассматривают в русле традиции французской культуры (Жорж Сименон, Франсуаза Малле-Жорис, Юбер Жюэн). Это верно лишь отчасти. Некоторые бельгийские романисты действительно устремляются во Францию с тем, чтобы пробить себе дорогу к широкому читателю с помощью крупного издательства. Тех же, кто печатается в Бельгии, европейская критика обычно записывает в категорию писателей-регионалистов, вкладывая в это определение пренебрежительный оттенок. Регионалист-де узко мыслит, сосредоточивая внимание лишь на своей провинции. Однако внутренние проблемы Бельгии, реальная жизнь ее провинций раскрываются именно в региональной литературе. В эпоху больших городов человек нуждается в воспоминаниях о корнях своих, о мечтах прародителей, о природе родного края. Жизни Арденн посвятили свои романы Юбер Жюэн и Жюль Жиль, Андриен Жанс и Жан Туссёль, крестьянам Фаня — Роже Жийяр, долине Мааса, ее преданиям — Эмиль Тервань и Фридерик Кизель. Все эти авторы пытаются глубоко осмыслить проблемы бельгийской провинции, вопросы классовой борьбы, религии и морали. А главное, по справедливому замечанию бельгийского писателя Жака Анрара, даже самые стилистически изощренные прозаики этой группы, такие, например, как Юбер Жюэн, отличаются тем, что «верят в жизнь и верят в человека. Невозможно любить землю, не любя тех, кто на ней живет».

В 1973 году книге Шарля Плизнье «Фальшивые паспорта» была присуждена Гонкуровская премия. Начиная с этого момента отношение к бельгийским романистам в Европе стало меняться. Столица Франции признала существование в Бельгии ее собственной национальной франкоязычной литературы.

Определенную роль в становлении бельгийского романа сыграла премия Виктора Росселя, учрежденная в 1938 году для поощрения национальных литературных дарований. Лауреатами ее стали Луи Дюбро, Даниэль Жиллес, Франц Вейерганс, Шарль Парон, Ирен Стесик, Пьер Мертенс и другие. Естественно, что произведения бельгийских писателей оказывались значительными только тогда, когда в них звучала социальная проблематика.

Художественное воплощение социальной темы в современной бельгийской словесности отличается от ее реализации в литературах других так называемых малых европейских стран. О бельгийской самобытности — правда, в связи с поэзией символистов — писала еще в начале XX века М. Веселовская, переводчица и литературный критик: «У бельгийцев национальный путь к Голгофе творчества отмечен несколькими этапами; первым из них, самым положительным и кропотливым, является план колоритной обстановки — обилие живописных деталей, причем писатели, по примеру знаменитых фламандских художников, обнаруживают изумительную наблюдательность, способность глубоко изучать жизнь, как внешнюю, так и внутреннюю, которая граничит иногда с простым, хотя и художественно выполненным фотографированием. Это умение обрисовывать колорит... вложено в бельгийскую душу прародителями искусства, художниками вроде Теньера, Рубенса, Йорданса, Брейгеля»[1]. И писатели XIX столетия (Лемонье, Экоуд), и писатели XX века (Метерлинк, Гельдерод, Бюрнио, Этпас) любят изображать «кермессы» (ярмарки), трапезы, интерьеры комнат. Поклонники Жоржа Сименона и детективных романов вообще знают, какую большую роль играет умение обращаться с незначительной, казалось бы, деталью, поставить ее на место, заставить заблестеть. Сименону, мастеру точного слова, социального штриха, присуще чисто бельгийское, с нашей точки зрения, умение всматриваться в вещи, окружающие миллионера и маленького человека, несущие печать их внутреннего мира.

Создатель образа инспектора Мегрэ родился и провел молодость в Льеже, послужившем источником вдохновения не одному бельгийскому писателю. Как и для них, для Сименона родной город много значил. Даже если действие его романа происходит за границей, он, по собственному признанию, все равно пишет атмосферу Льежа.

Книги Сименона конца 70-х годов («Я вспоминаю», «Родословная», «Такой, как все», «Следы», «Ветер с севера, ветер

[1] М. Веселовская. Молодая Бельгия. М., 1907, с. 9—10.

с юга»), представляющие собой постепенно разворачивающиеся воспоминания самого автора, говорят нам именно о Бельгии. Герои их, по-видимому, очень близки к своим жизненным прототипам. Рассказывая о матери, например, Сименон рисует портрет женщины, плоть от плоти буржуазной среды провинциального Льежа. На память приходит замечание писателя-регионалиста Жака Анрара: «Именно географически точные произведения становятся в конце концов универсально значимыми».

Другой хорошо известный у нас в стране бельгиец — Даниэль Жиллес. Его романы «Плата за присутствие» (1954), «Купон 44» (1956) и «Под сенью благодати» (1958) опубликованы на русском языке[1]. В первых двух он изобразил нравы правящей верхушки бельгийского общества 40—50-х годов. В третьем рассказал о губительном влиянии католицизма на формирование и становление человеческой личности. Все три романа раскрывают неприглядные стороны буржуазной морали.

Писатель эпического склада, участник движения Сопротивления, Жиллес в последние годы заинтересовался историей второй мировой войны. В 1976 году он выпустил роман «Фестиваль в Зальцбурге», который открыл его эпопею «Пятая заповедь».

Углубляясь в историю, стремясь рассказать об участии Бельгии во второй мировой войне, Жиллес ищет в ней специфику национального развития страны. Антивоенная тема тесно сопрягается у него с проблематикой социальной, политической, с нравственными исканиями героев. Череда исторических событий показана писателем хронологически точно, порою документально. Жиллес использует высказывания политических деятелей, газетную хронику, рисует персонажей, принадлежащих к разным слоям общества. Но главные действующие лица романов: связанные родством члены двух аристократических родов из Австрии и Бельгии — фон Розегт и де Меллери. Писатель явно симпатизирует им, показывая, насколько они корнями вросли в национальную почву в отличие от буржуа, всегда готовых ради материальной выгоды продать родину. В 80-е годы XX века, когда давно написаны «Форсайты» и «Будденброки», разоблачена моральная несостоятельность семей, подобных Буссарделям и Резо, это может, пожалуй, показаться немного наивной попыткой идеализировать аристократию. Однако нельзя забывать, что писатель вышел сам из этой среды и ищет своих положительных героев среди них. Вместе с тем реалисту Жиллесу не изменяет чувство меры: он остро ощущает и передает трагикомизм некоторых переживших свой век персонажей. Вот старый барон фон Розегт, знавший еще двор Франца Иосифа. Он пишет мемуары, слушает по радио то Гитлера, то французские и английские комментарии его выступлений. Но душа его успокаивается, когда радиостанция Вены передает вальсы Штрауса. Ему чудится в них протест против фашизма. Покинутая родственниками бабушка Гранни фон Розегт, доев засохший кекс и допив остатки вина, умирает в пустой квартире, сидя в кресле перед портретом когда-то влюбленного в нее офицера старой императорской гвардии.

Страшные события войны заставляют среднее поколение фон Розеггов и де Меллери оставить свои дворянские гнезда, розарии, коллекции фарфора. С некоторой долей иронии, но и с симпатией изображает их Жиллес в военных эпизодах. Они выдержанны и по-своему мужественны, как Ростовы, покидающие Москву. В романе «Кровавое пятно» жена сенатора де Меллери из неудачливой любовницы модного пианиста превращается в деятельную, самоотверженную женщину, не раздумывая спешащую во время бомбежки на помощь беженцам. Иным в этой книге выглядит и ее муж, казалось бы совсем погрязший в интрижках с молоденькими девушками. Одним из первых он обвиняет короля Леопольда в измене интересам бельгийской нации.

Война формирует и характеры молодых героев. Чуткий, нежный и капризный младший сын четы де Меллери Донат вступает в ряды бельгийской армии. Правда, ему суждено попасть в плен уже на второй день войны. Благородно и прекраснодушно, ни секунды не колеблясь, позволяет юноша солдатам вверенного ему подразделения бежать домой. Но позволить бежать себе он не может: «дворянство обязывает!», хотя и неотступно думает о недавно обретенном счастье — молодой жене Лоранс.

Жиллес романтизирует духовную близость любящих. Благодаря любви Лоранс пуля не задела Доната. Благодаря самоотверженности и любви Ренаты фон Розегт остается в живых Фридл де Меллери.

Тема любви и веры связана у писателя и с образом коммуниста Люка, старшего сына семейства де Меллери. В молодости он решительно порвал со своей средой, женившись на «безродной» коммунистке и став коммунистом сам. Воодушевленный (как ему потом покажется, в основном эмоционально) высокими идеями интернационализма, Люк принимает участие в национально-революционной войне испанского народа против фашизма («Рожденные умереть»). В начале эпопеи мы находим его на больничной койке госпиталя Барселоны в тяжелый момент: Люк не щадил своей жизни, но теперь сомневается в правильности избранного пути. Сознание поражения революционных сил, спад энтузиазма — это все отрицательно воздействует на психику Люка, терзающего себя вопросом, не бессмысленны ли борьба и сопротивление. Вернувшись в Брюссель, он «по инерции» посещает митинги и собрания, пытается писать статьи для коммунистической прессы, но, как замечает его жена, в душе остается аристократом, для которого коммунизм — пожалуй, лишь новая вера, сменившая христианство, как бы «духовный довесок» к сладкому, гармоничному бытию в лоне дружной и внешне добродетельной семьи. В мыслях он все чаще и чаще видит себя среди своих элегантных, всегда прекрасно выглядящих братьев и сестер. «Хорошо иметь веру угольщи-

[1] «Плата за присутствие». М., Изд. иностр. лит., 1959; «Купон 44». М., Изд. иностр. лит., 1960; «Под сенью благодати». М., Изд. иностр. лит., 1962.

ка»,— неоднократно повторяет Люк, вспоминая интербригадовца, который, как и он, прошел через все ужасы войны и тем не менее убежден, что сражался не зря. «Почему,— рассуждает Люк,— любовь и вера так тесно связаны между собой? Если я сомневаюсь в коммунизме, значит, я не люблю свою жену?» Коммунисты, «люди строгого действия», по выражению Хемингуэя, смущают его, как они смущали Роберта Джордана в романе «По ком звонит колокол». Люк не во всем согласен с ними, но кого он может им противопоставить? На этом размышления писателя пока обрываются.

В «Бранденбургском наблюдателе» (1979) Даниэль Жиллес возвращается к своему любимому герою Донату де Меллери, пропавшему без вести в четвертом томе эпопеи. Донат ищет самого себя, хочет нравственно определиться. Разлука с Лоранс для него мучение... Тем временем друзья вовлекают его в политику, и он сначала исподволь, а потом все более сознательно начинает интересоваться тем, что происходит вокруг. В плену Донат знакомится с французскими офицерами и впервые чувствует, что такое интернациональная солидарность.

В романе «Ночная Лоранс» (1981) Донат настолько духовно окреп, что уже не мыслит жизни без борьбы за освобождение Бельгии от немецких захватчиков. Он создает группу Сопротивления, которую называет именем жены — «Лоранс». Группа занимается сбором сведений о передвижении немецких войск, о планах командования, налаживает связь с английской радиостанцией, вещающей на Европу, устанавливает контакты с французским движением Сопротивления для проведения совместных операций. Писатель недвусмысленно подчеркивает, что основное ядро во всех группах Сопротивления на территории Бельгии и Франции составляют коммунисты. Это признают даже самые аполитичные герои романа. Вместе с Донатом в Сопротивление включается Лоранс и его родные братья Брис и Люк де Меллери.

Иными словами, сам жизненный материал подсказывает писателю поиски положительного идеала в прогрессивных движениях уже как будто ушедшей в прошлое, но крепко связанной с современностью эпохи.

Франсуаза Малле-Жорис, член Гонкуровской Академии, ныне живущая во Франции, широко известна и за пределами Бельгии. У нас в стране ее знают по рецензиям и критическим статьям. С момента опубликования дилогии «Вал монахинь» и «Красная комната» (1951—1955), рассказавшей о стоической борьбе женщины за свои моральные принципы, к Малле-Жорис пришла слава писательницы со смелым и безупречным пером. Поклонница Пушкина, Рильке, Томаса Манна, она предстает критически острой в романе о «добрых миллионерах» «Ложь» (1956); мудрой и искренней в романе «Хотела бы я играть на аккордеоне?» (1961) — воспоминании о детстве, проведенном в Антверпене; философичной, но несколько растерянной в книге-исповеди о жизни, времени, искусстве «Письмо самой себе» (1962); наблюдательной и парадоксальной — в романе из жизни монпарнасской богемы «Царствие небесное» (1958). Действие романа «Аллегри» (1976) происходит в Париже, в наши дни. Речь в нем идет о непонятной для обывателя привязанности молодой женщины к арабскому мальчику. «Мне всегда хотелось объяснить своему читателю, что между людьми есть что-то хрупкое, неосязаемое, недоступное взгляду со стороны,— сказала писательница в одном из интервью.— Это «что-то» не может быть вписано ни в какую «нормальную» структуру человеческих отношений». Ставя своих персонажей иногда в двусмысленные ситуации, Франсуаза Малле-Жорис отстаивает их нравственную чистоту.

Что пишет Франсуаза Малле-Жорис в последнее время? В 1978 году вышел ее исторический роман «Жанна Гюйон», посвященный монахине, сыгравшей видную роль в истории церкви конца XVII — начала XVIII века. Писательнице удалось воссоздать облик живой, умной, образованной женщины, ищущей бога в земных делах и борющейся за чистоту веры. Жанну Гюйон не сожгли на костре, как Жанну Д'Арк (другая эпоха), но она долго страдала сначала в тюрьме, а потом — до конца жизни — под домашним арестом у себя в замке. Роман этот — попытка воздать должное женщине, чье мужество, по мнению автора, было недостаточно воспето...

Начинала Франсуаза Малле-Жорис как поэт. И сейчас она часто пишет стихи, которые кладет на музыку Мишель Гризолья, а исполняет известная французская эстрадная певица Мари-Поль Бель, подруга писательницы. Как-то в интервью Малле-Жорис призналась, что ее воображение давно манила среда поклонников эстрадной и поп-музыки, она хотела понять, что заставляет этих юношей и девушек смеяться и плакать, доходить до экстаза во время концертов. Так родился замысел романа «Дикки-король» (1980) — о модном певце, сначала подхваченном волной искусственно раздуваемого успеха, а потом ею же потопленном. Тема замены идеала идолом-шансонье у современной западной молодежи, по замечанию одного из критиков, композиционно решена как картина Иеронима Босха. Наплывающие друг на друга описания гала-концертов, поп-фестивалей, бьющихся в истерике партеров, скандальные рассказы в прессе об увлечениях «короля», мгновения реальной жизни Дикки — все это сложилось в фантасмагорические видения, действительно напоминающие картины фламандского художника...

Любопытно, что Франсуаза Малле-Жорис связана с бельгийской литературой еще и семейными узами: ее мать — Сюзанна Лиляр, популярная в Бельгии эссеистка и драматург. Прекрасно рассказала она о фламандском городе в автобиографической книге «Детство, проведенное в Генте» (1976). Это необычное по форме социологическое эссе начинается как «физиологический очерк» (описание улиц и домов Гента, воскресной и будничной

О. ТИМАШЕВА
КОНТУР ЛИЦА

одежды, семейных обедов, праздников), а заканчивается попыткой установить этические принципы. В одной из глав второй половины книги писательница собирает все «таинственное», в другой — все «святое», в третьей — все «чудесное», полагая, что эти категории являются компонентами нашего сознания, или, как она часто выражается, «души».

Многое в ее давнем эссе «Чета» заставляет вспомнить о «недоразумениях» «Второго пола» Симоны де Бовуар: супружеская пара рассматривается вне исторического времени и вне социальных категорий. Однако Сюзанна Лиляр, обобщая интересные наблюдения над семейной жизнью Абеляра, Рубенса, Гюго (здесь ее эссе читается как роман), анализируя эти, как ей кажется, идеальные браки, стремится найти постоянные величины, способствующие гармонии двух полов, чтобы предложить их современному обществу в качестве панацеи от далеко зашедшей сексуальной революции. При всей спорности многих положений ее развернутого исследования следует отметить, что сам текст покоряет эмоциональным обаянием, напряженностью повествования, ясностью суждений.

Говоря о современном бельгийском романе, нельзя не упомянуть о творчестве Доминик Роллен. Еще в 1936 году она начала писать в манере, характерной для возникшего в 60-х годах «нового романа». По ее мнению, этот жанр, как чуткий механизм, должен реагировать на малейшие изменения внутренней жизни, стараться их зафиксировать. Для того чтобы показать, как это делает сама Доминик Роллен, обратимся к одной из характерных для нее книг — «Письмо старому человеку» (1973)[1]. Рассказчица пишет письмо отцу, представляя его то в недавнем прошлом, то в мире детства. Временные планы смещаются: от описания немощей, болезней отца, смерти матери она неожиданно переходит к тому времени, когда родители были здоровыми, цветущими людьми, погруженными в житейские хлопоты.

Доминик Роллен детально описывает предметы обстановки в доме, где живет ее семья, и все его обитатели становятся как бы продолжением окружающих вещей: рисунок обоев и пятна на них, ручки кресел, отполированные ладонями, и дверные ручки, посуда и ее щербинки, кровати и их примятость, одежда и ее изношенность — все оживает и начинает говорить. Действия по существу нет, есть диалоги предметов, сцементированные воображением писательницы. Но где же сам человек, где его духовное наполнение? Кого любила страдающая дочь? Тень вещей, предмет обстановки, призрак бытия? Местами проза становится ритмичной, как стихотворение. Часто используется прием перечисления — оно тоже становится частью действия, потому что автор хочет найти «утраченное время» в том ритме, в котором оно проносится в памяти.

Кажущийся увлекательным при кратком пересказе, этот роман, подобно многим образцам «нового романа», все же труден и, пожалуй, скучен при чтении. Он как слабая пьеса, поставленная в хороших декорациях. Бутафория отвлекает внимание своей кажущейся значительностью, а движения нет, актеры словно отступили за предметы, уравнялись с ними в правах.

Давно полюбил советский читатель Альбера Эгпарса[1]. Распад буржуазной семьи, власть денег, извращающая человеческие отношения, стали темой его романа «Час правды». Морально противостоять власти золота совсем не просто. Писатель сочувствует изгнанникам из мира богатых, хотя и не обязательно выводит их в мир борьбы против сильных мира сего. Пробным камнем внутреннего бунта, неусмиренности героев Эгпарса часто становится отношение к событиям, происходившим в 30-е годы в Испании. И в романе «Час правды», и в других книгах («Потерянное поколение», «Мы идем за своей тенью») звучит волнующая писателя тема национально-революционной войны против фашизма в далекой от Бельгии стране. Интерес к ней многое преображает в человеке.

В романе «Мы идем за своей тенью», где речь идет о замкнутой жизни провинциальных землевладельцев, Эгпарс через образ, не занимающий в книге сюжетно значительного места, утверждает идеал, которому остается верен: все, что связано с Испанией, озарено для него особым светом — светом иной, неординарной, героической жизни, в которой были сопротивление и борьба. Спокойное, размеренное повествование меняется, когда на страницах романа появляется испанская девушка Мерседес: «Не было на свете родника более живого, более чистого, чем Мерседес. Каждый день он погружал руки и окунал лицо в ее распущенные волосы, точно в темную пьянящую воду. Мер-се-дес. На ходу он громко произносил ее имя, словно желая услышать в нем шум дождя, легкий немолчный плеск. Мер-се-дес. Зов сердца, жажда, чудо».

В сборнике рассказов «Дни, проведенные вместе» (1973)[2] испанская тема возникает снова — то в романтическом, то в реалистическом оформлении.

Герой рассказа «Sin novedades»[3] — французский революционер-профессионал, приехавший в Испанию, чтобы передать деньги, собранные бельгийскими профсоюзами для восставших рабочих Астурии. Действие происходит в 60-е годы. Автор скрещивает внутренние монологи революционера и следящего за ним полицейского. Они как бы сходятся в незримом поединке, конец которого неясен.

Тема утраченных иллюзий юности звучит в рассказе «Возвращение в Шатейон»[4]. Болезнь задержала героя в захолустном бельгийском городке, где за ним ухажива-

[1] Все книги Доминик Роллен 70-х годов, включая ее последний роман «Дом, которому нет конца» (1980), повествуют о доме, семье, близких.

[1] На русский язык переведены его романы «Час правды», М., «Прогресс», 1972; «Мы идем за своей тенью», М., «Художественная литература», 1974.

[2] Несколько рассказов Эгпарса опубликованы в книге «Рассказы бельгийских писателей». Составление и предисловие. И. Шкунаевой, М., «Прогресс», 1968.

[3] Sin novedades — ничего нового, никаких новостей *(исп.)*.

[4] Рассказ публикуется в этом номере журнала.

ет прелестная, трогательная и наивная, прилежная и работящая девушка. Увидев ее годы спустя, герой разочарован: девушка превратилась в свой антипод, существо вульгарное и отталкивающее. Провинциальный быт показан здесь автором с дотошностью «малых голландцев», великих мастеров жанровых сценок.

В последние годы Эгпарс много занимается историей бельгийской литературы, пишет статьи, монографии.

В беседе с советским литературоведом Д. Затонским швейцарский драматург Ф. Дюрренматт однажды сказал: «Кого интересует быт маленькой страны? Нью-йоркские, парижские, московские реалии могут быть важны сами по себе. Они вроде символа чего-то существенного, значительного для всей нашей действительности. Но не реалии бернские, нёвшательские или брюссельские» [1]. Отсюда, по мнению Затонского, к которому мы присоединяемся, в литературе так называемых малых стран «часты параболы, иносказания, смещения перспектив, опосредование жизни». Конечно, реальные отношения могут при этом присутствовать, но в метафорически претворенном виде.

Со времен Метерлинка и Гельдерода в Бельгии существует устойчивая традиция готической фантастики. К ней обращаются и изготовители массовой литературы, нарочито эксплуатирующие читательское чувство страха, и писатели-романтики — Марсель Тири, Жан Рэй, Томас Ауэн, Жерар Прево, Анн Риштер, Жюльен Севери. Эти последние часто пользуются юмором, иронией, отклонение от принципа правдоподобия в их произведениях минимально. Абсурдной может быть только завязка, а действие развивается логично, как в обычной жизни.

С судьей Барнабе из рассказа Жюльена Севери «Приключения судьи» случилась страшная история. Накануне выхода на пенсию он решил омолодиться, вновь стать юным. Но для этого надо проделать путь, равный эволюции живого мира. И он становится амебой. В конце рассказа мы видим в комнате судьи на полу «желеобразное пятно, подсыхающее в лучах заходящего солнца».

Марсель Тири написал волнующую новеллу «Расстояния». Герой ее, пожилой человек, узнает, что его дочь, уехавшая в Америку в свадебное путешествие, погибла. Но открытки, которые она писала ему каждый день, продолжают поступать по почте. Создается иллюзия, что дочь еще жива. Мастерски, психологически тонко излагает автор романтическую историю, вызывая в читателе чувство сопереживания, подлинное волнение. Может возникнуть вопрос: где же здесь фантастическое?

Томас Ауэн, занимавшийся проблемой фантастического в бельгийском романе, писал в книге «Живая литература» (1975): «Что считать фантастическим? Влечение к запретному? Недоступному? Может быть, фантастическое — это мечта? Сила, власть, любовь, неуязвимость, победа над врагом? А может быть, это сигнал из неизвестного мира?.. А может быть, совпадение, предчувствие, извещение, пришедшее неизвестно откуда? Отчего некоторые встречи кажутся важными, неожиданно значительными, тогда как внешне их ничто не отличает от других таких же встреч?»[1]

Раздумья Томаса Ауэна представляют собой, конечно же, рассуждения художника, каковым он и является, а не теоретика. Но надо признать, что он перечислил наиболее часто вспоминаемые в фантастических новеллах примеры так называемого сверхъестественного в жизни. Это «сверхъестественное» (в случае, если оно не превращено в самоцель) придает определенную тональность произведению, стилистически его окрашивает. Не напоминают ли такие книги живопись Магрита и Дельво?

Многие современные бельгийские писатели обращаются в своих романах к жизни и проблемам чужих стран. Разумеется, конкретная творческая судьба каждого из авторов может объяснить нам особый интерес к той или иной зарубежной теме. И все же внимание к тому, что происходит за пределами родной страны, безусловно, отличительная черта литературы Бельгии, неудовлетворенной своим «микромиром», его порою обывательскими интересами и настроениями, внутренним положением в стране.

Характерным примером преломления иностранной темы в бельгийском романе может служить книга Пьера Мертенса «Прибежище» (1978). Главный герой ее Хайме Моралес, или Жэм, как его зовут на французский лад,— чилийский эмигрант, живущий в Брюсселе. «Звучит неизбежный вопрос: «Извините за нескромность, к какому лагерю вы там принадлежали?» — спрашивающие обычно употребляли прошедшее время, как будто ни одна из партий не сохранилась после одиннадцатого сентября 1973 года. «Я — сторонник Альенде»,— отвечал он согласно формуле, которую избрал для себя, сойдя с борта самолета в Европе».

Мертенс знакомит нас со своим героем, когда тот, подавленный, угнетенный морально, попадает в Европу, где одни совсем не понимают, а другие, наоборот, «понимают все», что произошло в Чили. Настойчивые вопросы бельгийских журналистов и интеллигентов, «которые все знают и все читали», раздражают Моралеса, в особенности если эти люди пытаются рассуждать, как нужно было вести себя там, в Чили, чтобы правительство Альенде осталось у власти.

Автор показывает все расширяющийся круг эмигрантов из Латинской Америки, среди них — люди, относящиеся к разным социальным слоям и политическим партиям, но их притягивает друг к другу родной язык, общие проблемы, воспоминания о близких, наконец, стыд за то, что происходит на родине. В Бельгии их многое удивляет, заставляет задуматься. «Я был на вы-

[1] Д. Затонский. В наше время. М., «Художественная литература», 1979, с. 309.

[1] «Lettres vivantes...» Br., Adrien Jans, 1975, p. 146.

О. ТИМАШЕВА
КОНТУР ЛИЦА

борах,— говорит один из латиноамериканцев,— мне хотелось показать дочери спектакль местной демократии. Самое любопытное, что у людей, которые пришли голосовать, не было счастливых лиц. Нельзя, глядя на них, сказать, что они реализуют какое-то особенное право. Я подумал, что мне нечему завидовать».

Героя романа вряд ли можно назвать революционером, хотя автор и говорит, что последний год, выйдя из тюрьмы, он скрывался в подполье. В книге мало подробностей о жизни Моралеса. На приеме у бельгийского врача в ответ на простой вопрос: «Есть ли у вас дети?» — он молчит. Все, что случилось с ним в прошлом, словно отгорожено стеной внутренней боли, воспоминаниями о пытках и страданиях, от этой новой, другой жизни, которой он живет в Бельгии.

Моралес пока ничего не предпринимает, у него нет ни определенного занятия, ни планов. Пьер Мертенс, по-видимому, намеренно избрал период внутренней перестройки своего героя, чтобы к концу романа подвести его к той черте, за которой надо принимать решение, действовать. Здесь, в Европе, он встречается с тем же врагом, которому пытался оказать сопротивление в Чили. «Нет, кроме шуток,— сказал один из друзей Жэма,— ты знаешь, что ДИНА действует в Брюсселе? Слух прошел давно, но потом разговоры утихли. Но ДИНА повсюду, и нет никаких гарантий, что ее здесь нет. Будь осторожен, Жэм». Вскоре Жэму в самом деле пришлось убедиться в том, что следует быть осторожным. Ему сообщили, что его знакомый из чилийского посольства, человек умный, широких взглядов, хотя и лояльный по отношению к режиму Пиночета, покончил жизнь самоубийством. С первой же минуты Моралесу ясно, что никакого самоубийства не было, что произошло обыкновенное убийство и в данном случае, как и во многих других, действовала, конечно, ДИНА.

Жена дипломата и ее дочь пробуждают в нем желание заботиться о них, и Жэм Моралес занимается с девочкой родным языком: «Завтра будет новый день... Колумб открыл Америку... Одни приходят, другие уходят, такова жизнь... Почему вы едете в дальние страны, когда у вас есть свой дом?» Этой фразой на уроке испанского языка заканчивается роман «Прибежище».

«Прибежище». Это Европа, которая может дать приют людям, бегущим от фашистской диктатуры. Но чем можно заменить родину?

Без преувеличения скажем, что слово «Чили» для прогрессивного человечества в 80-е годы звучит так же, как звучало слово «Испания» в 30-е годы. Решительный подъем передовых сил, надежды на демократическое обновление и здесь и там были предательски задушены. Временная победа сил реакции сказалась в некоторых случаях отрицательно на социальной жизни и духовной практике европейских стран. Вот, очевидно, почему всякая попытка западного интеллигента правильно осмыслить эти события вызывает наше законное внимание. Пьер Мертенс не представляет себе, так же как и Жиллес и Эгпарс, бельгийской реальности вне ее связи с тем, что происходит в «горячих» точках планеты или, иначе говоря, вне связи с демократическим национально-освободительным движением эпохи.

Примечательной особенностью современной бельгийской литературы является интерес к рассказу — жанру динамичному и лаконичному, позволяющему быстро, непосредственно и порой точнее, чем роман, отразить изменения, происходящие в жизни страны, в психологии людей. Рассказы писали Метерлинк и Гельдерод, Франц Элленс и Констан Бюрнио, их пишут Альбер Эгпарс и Даниэль Жиллес. Среди новеллистов молодого поколения обратил на себя внимание Пьер Мертенс — его сборники «Уровень моря» (1970) и «Некрологи» (1977) свидетельствуют о высокой требовательности автора к литературной форме, о серьезных поисках.

Пьер Мертенс в жанре рассказа разрабатывает вечную тему любви, исследует глубины человеческой души, ищущей гармонии и покоя. Лирический по тональности «Автостоп»[1] написан как внутренний монолог героя, размышляющего о причинах несостоявшегося свидания с любимой женщиной. Название рассказа многозначно: в реальности — это обычная, хотя и неожиданная, остановка машины по сигналу «автостоп», в подтексте «автостоп» — крушение надежд, психологически трудное торможение душевного порыва. Название оправданно и с точки зрения литературной техники: «автостоп» — как кнопка магнитофона, с помощью которой можно резко и в любом месте остановить движение ленты и раскрутить ее обратно. Этим объясняется частая смена временных планов.

Рассказы Мертенса очень современны. Современны в том смысле, в котором могут быть современны машина, самолет, светящаяся реклама — все, что передает горячечное состояние сегодняшнего города, где, как ему порой кажется, осталось лишь одно прибежище — любовь.

Когда и сегодня, вопреки очевидности, звучит вопрос: «Существует ли бельгийская литература?» — бельгийские авторы вынужденно защищаются. Жаль, что они в таком случае больше говорят о стилистических особенностях и литературной технике, чем о национальной действительности, о причинах возникновения и характере тех или иных животрепещущих проблем. Литературу Бельгии и в прошлом[2] и сегодня отличают исторически определенные черты.

Разумеется, эти краткие заметки о литературе Бельгии не могут дать объемного ее изображения. Это всего лишь набросок, «контур лица». Мы надеемся, что, всматриваясь в него, можно увидеть и те формы, в которых эта литература живет и развивается.

[1] Рассказ публикуется в этом номере журнала.

[2] Бельгийской литературе XIX — начала XX века посвящена книга Л. Г. Андреева «Сто лет бельгийской литературы». М., Издательство Московского университета, 1967.

Культура и современность

«СЛУЖИТЬ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ»

По страницам периодики индейцев США

В 60—70-е годы в периодике США появились непривычные названия: «Аквесасне ноутс», «Вассаха», «Тунда таймс» и другие. Это газеты и журналы, издаваемые индейскими издательствами.

Тонкий ручеек индейской прессы, просочившийся в сложную идеологическую и культурную жизнь страны, необычен уже своим появлением: он исходит от наиболее неимущего и угнетенного меньшинства США. Около 150 племен, то есть примерно около миллиона индейцев, разбросанных по городским землячествам и резервациям США, находятся в неравноправном в сравнении с другим населением экономическом положении, и у каждого племени свои конкретные проблемы. Индейская пресса, стремящаяся к финансовой и административной независимости от государственно-монополистической машины, существует, как правило, только на средства своих подписчиков. И хотя речь идет всего лишь о двух-трех англоязычных газетах и журналах, претендующих на роль общеиндейских (не считая десятка мелких газет областного значения), в последние десятилетия эта продукция стала фактором общественной жизни страны. Вопреки внутренней политике правительства, преследующей активистов индейского движения, равнодушной к нуждам племен, сегодня со страниц индейской прессы раздается голос коренных американцев, ратующих за национальное и культурное самоопределение, и звучит он не благодаря поддержке всемогущих филантропов, а в силу объективной логики классовой борьбы.

Становление индейской журналистики было процессом долгим и нелегким. Еще с первой половины прошлого столетия индейскими литераторами предпринимались попытки создать свою, индейскую газету. Однако уже первая и наиболее известная из них, «Чероки Феникс» (1828), пережила лишь несколько выпусков и вскоре была запрещена местными властями, поскольку выступила в защиту прав соплеменников на землю. Современная индейская пресса продолжает эту традицию. Она остро ставит проблемы экономического, политико-административного самоопределения индейских общин и выживания народной культуры в империалистическом обществе. Так, один из номеров газеты «Чероки уан фезер» в 1979 году был посвящен целиком протесту против проекта постройки плотины Теллико, принятого администрацией Картера, которая грозит затопить семь уникальных древних поселений этого племени, а заодно и ряд памятников истории США. Ирокезская «Аквесасне ноутс» своими публикациями выступает против милитаризации страны, против опасности радиоактивного заражения резерваций юго-запада США. Она не только откликается на события локального характера, но и обличает геноцид и колониальные притязания империализма в странах Латинской Америки, на Филиппинах Индокитае.

Позиция индейской периодики не всегда последовательна, носит подчас максималистский характер, как бы претендуя на то, что пресса — суть «голос правды об индейском народе». Однако следует помнить, что подобная позиция противостоит морю лжи об индейской культуре; она объясняется действительно отчаянным положением индейцев США, когда в условиях нарастающей реакции всем — и белым, и цветным — приходится четче определять свое социальное лицо.

Состояние современной культуры своих собратьев индейский поэт, прозаик и журналист Джеральд Визенор характеризует в романе «Тьма в медвежьем сердце Сент-Луиса» как «сраженье слов в плену у стражей слов» — борьба идет и за художественные ценности, и за сохранение народа как такового.

Только в 70-е годы индейская литература, наконец, была включена в университетские программы, а индейская интеллигенция пополнила собой писательский мир. Но, как пишет журнал «Индиэн хисториэн»,

«большей частью, однако, курсы эти читаются в рамках «этнических исследований», а не по англоязычным литературным кафедрам. Другими словами, по-прежнему существует нежелание считать литературу «коренных американцев» серьезной литературой...

Правда сегодня тратится больше чем когда-либо денег на индейцев. Но в то же время деньги эти расходуются на большое количество служащих, клерков, на административные нужды. И старая песня звучит по-прежнему...»

Важная роль в деле объединения сил индейской культуры принадлежит калифорнийскому издательству «Индиэн хисториэн пресс», созданному в 1964 году на базе Индейского исторического общества. Издательство поставило перед собой задачи:

«Сохранять и приумножать лучшее в культуре коренных американцев...

Пропагандировать и распространять культуру, стремиться к повышению благосостояния американских индейцев.

Рассказывать о культуре древнейших народов Америки, сохранять философию, гуманистические ценности и языки индейских народов».

Основной печатный орган издательства, журнал «Индиэн хисториэн», по этому же поводу писал:

«Без собственных писателей, художников, историков и поэтов народ неизбежно погибнет. «Индиэн хисториэн» упорно стремится сделать все возможное, чтобы этого не случилось».

«Индиэн хисториэн» предоставляет свои страницы историко-литературной полемике — так, Дэвид Бир в статье «Антииндейские настроения в раннеколониальной литературе» на основе анализа сочинений XVII века делает вывод, что «индейцы уже в этот период не меньше пострадали от пера пришельцев, чем от войн с ними»; журнал публикует забытые очерки Вашингтона Ирвинга о семинолах, подборки стихов индейских поэтов Дуэйна Ниатума, Нормана Х. Рассела, Ланса Хеисона.

В 1975 году индейские ученые впервые приняли участие в международном конгрессе по историческим наукам, проходившем в США. В материалах о работе конгресса «Индиэн хисториэн» особое внимание уделил выступлениям советских ученых.

Частым гостем на страницах индейской прессы стал известный публицист из племени сиу, автор ряда книг по проблемам индейской культуры Вайн Дилория. Событием для журнала явилась его статья «Американский индеец и его обязательства, цели, программы: необходимость пересмотра». Дилория пишет:

«Мы погребены под призраками прошлого... Мы стоим сегодня, конечно же, на распутье, а сердце Америки тверже гранита. Глубокое заблуждение считать, что последние десятилетия просветили американское общество в индейских проблемах. Мы просто заполнили средства массовой информации банальными сведениями о нашем народе, которые уводят общество и нас в том числе в прошлое, к примитивным представлениям об индейцах. Если мы хотим вернуться к современности, нам следует соединиться и действовать так, чтобы факт нашего существования был признан. И прежде всего нам следует иметь мужество взглянуть в лицо нашей разноголосице и делать то, что нужно именно сейчас, невзирая на последствия».

«Индиэн хисториэн пресс», возглавляемое Рупертом Косто из калифорнийского племени каушйа, объединяет таких уже довольно известных индейских историков и этнографов, как Би Медисин, Альфонсо Ортис, Джек Нортон, Дональд Гринде — автор недавно вышедшей книги «Ирокезы и создание американской нации». Издательством выпущено уже свыше 20 книг, среди которых — автобиография эскимосского художника Джозефа Сенунгетука «Возьмите или отдайте столетие. Хроника эскимосской семьи», сборник легенд дакотов, документальное исследование Джанет Генри о неравноправии в системе образования «Американские индейцы и учебники», исторический роман «Тсали» Дентона Р. Бедфорда.

Растет вклад в американскую науку индейских историков и этнографов. Так, этнографам-чероки удалось воссоздать редкий вариант мифологического предания о происхождении своих предков. Большое внимание уделяет журнал восстановлению правды о прошлом индейцев. Например, в статье Дентона Р. Бедфорда «Битва у Большого Болота» убедительно доказано, что «блистательная победа» английских поселенцев над племенем наррагансетов, многие обстоятельства которой доныне оставались в забвении, была не чем иным, как предательской резней.

«Индиэн хисториэн» и газета того же издательства «Вассаха» («Призыв») непримиримы к любым проявлениям расизма буржуазной «массовой культуры».

Даже беглый перечень заголовков публикуемых ими статей свидетельствует о том, как активно они отражают на своих страницах повседневную борьбу индейцев США: «Делавары против правительственной политики расселения индейцев», «Индейцы: каков цвет вашей психологии?», «Идут суды над участниками волнений в Вундед Ни», «Подвержены ли антропологи расизму?», «Экономические войны вокруг резерваций», «Образование — нереализованные посулы».

Руководитель издательства Руперт Косто ведет в газете постоянную рубрику «Откровенно говоря». Вот как он характеризует современное положение индейцев:

«Важнейшее значение имеет наша связь с профсоюзами, они — наши естественные союзники. Существуют также в стране силы, с которыми мы можем быть солидарны, особенно с фермерством и сельскохозяйственными рабочими... Однако наибольшая наша сила — в укреплении и единстве всех индейских

племен. Поддержка каждого в любом вопросе, защита каждого часто приводили к победе».

С калифорнийской «Вассахой» успешно соперничает в популярности ирокезская «Аквесасне ноутс», выпускаемая на севере штата Нью-Йорк близ резервации мохауков. «Там, где гнездятся куропатки» — так переводится с ирокезского языка название газеты. Адресованная, согласно подзаголовку, «всем исконным и коренным народам» (такая терминология, по мысли редакции, отражает историко-культурную общность между индейцами США и народами Латинской Америки, сходство их политического положения), газета сознает свою роль активного воспитателя индейцев, причастность к народам, борющимся за свободу. Каждый выпуск газеты начинается обращением к читателю:

«Что она значит для тебя? Мы надеемся, многое. Когда ты закончишь читать ее, приступай к действию: каждая страница взывает к тебе, независимо от того — индеец ты или нет. Это твоя газета и твое будущее».

Еще одиннадцать лет назад в своей книге «Кастер платил за ваши грехи» Вайн Дилория посвятил целую главу сатире индейцев, где заметил, что народ, не утративший способности смеяться,— не вымирающий народ. «Аквесасне ноутс» уделяет большое внимание сатире и юмору. Так, в одном из ее номеров предлагается провозгласить национальный праздник США День благодарения Национальным днем траура на том основании, что он стал источником слишком многих страданий для индейцев. Пародируя исторически сложившуюся в США колониалистскую и расистскую практику отношений с индейцами, вроде покупки земель за пригоршню побрякушек, введения системы резерваций, предоставляемых обычно на бросовых землях, политики культурного геноцида, авторы этой газеты предлагают приступить к политике того же образца, но «с индейской точки зрения». Вот как, по их мнению, это может выглядеть:

«Соединенные Коренные Американцы с гордостью сообщают о приобретении у белых штата Калифорния и объявляют его открытым для индейского поселения. СКА купили Калифорнию у трех пьяниц, обнаруженных в окрестностях Сан-Франциско. СКА сочли их полномочными представителями всех белых Калифорнии. Пьяницы охотно подписали купчую, написанную на языке сиу, и продали Калифорнию за три бутылки вина, одну бутылку джина и четыре ящика пива».

Леман Л. Умник, новый Управляющий Бюро по делам европеидов (БДЕ) только что провозгласил следующие принципы новой политики.

«Индейцы со всей щедростью предоставляют белым право на четыре больших резервации (по 10 акров каждая) в следующих районах: Долина Смерти, солончаки Юты, пустыри Южной Дакоты и Юкон на Аляске. Эти резервации будут оставаться принадлежностью белых «до тех пор, пока солнце светит и травы растут» — другими словами, пока индейцы не потребуют их обратно.

В том случае, если вы обладаете достаточной компетентностью, вы можете занять место управителя в одной из резерваций, подчиненных БДЕ. Кандидат на эту должность, естественно, не должен иметь никакого образования, не должен владеть английским, должен быть деспотом, заручиться доказательствами своей бесчестности и свидетельством о невежественности. Кроме того, в белых мы не нуждаемся.

Вопиющие пережитки белого варварства должны быть, конечно, запрещены. Белым запрещается отправление их языческих религиозных культов и в обязательном порядке предписывается присутствовать на индейских обрядах. От каждого племени должны быть выделены миссионеры для обращения резервационных белых в истинную веру. Церкви предполагается превратить в туристические парки и музеи или же срыть до основания, а кирпичи и орнаменты распродать в качестве сувениров».

Согласно статистике, проведенной самой газетой, «Аквесасне ноутс» сейчас читают примерно 100 000 человек — другими словами, с момента появления в 1969 году она является быстрее всего «растущей» индейской газетой. Редакция объясняет это актуальностью целей, достижению которых служит газета:

«Мы активно растем. Это, как нам кажется, происходит оттого, что мы служим конкретным целям: донести до своего читателя то понимание и восприятие мира, которое едва не оказалось забытым представителями Запада (то есть американцами и европейцами) и которое поэтому неизбежно выпало из поля зрения других печатных органов».

Симптоматично, что выразителем подобных взглядов являются ирокезы — народ наиболее значительный из всех индейцев в американской истории. Из его недр вышел легендарный Гайавата, борец за идею всеобщего мира между племенами, и индейский пророк-реформатор конца XVIII века по имени Прекрасное Озеро, предложивший в целях культурного самосохранения своего народа особый социально-этический кодекс. Именно ирокезский вождь Донехогава, личный друг президента США У. Гранта, составлял текст капитуляции генерала Ли — завершающий документ Гражданской войны. Именно ирокезы неоднократно обращались в ООН с просьбой предоставления им статуса независимой нации.

Постоянно в центре внимания газеты проблемы народного образования. Вождь ирокезов, Сакоквенонквас сетовал в одном из номеров на трудности сохранения родного языка:

«В Аквесасне мохауков всего шесть тысяч, но из них, быть может, только две дюжины способны говорить по-мохаукски свободно, а ведь здешние мохауки

были лучшими носителями языка среди всего народа».

На соседней странице того же номера сообщается об экспериментальном курсе обучения индейских детей, предпринятом в резервации Каттараугус, штат Нью-Йорк, где обучение ведется с учетом основ народного языка, этических и религиозных представлений, индейской истории.

«Ноутс» является также пропагандистом индейской поэзии и народного искусства. Газета старается привлечь внимание общественности к народному ирокезскому самодеятельному коллективу «Белые корни мира», разъезжающему по США с пропагандой народной индейской культуры.

Самые прочные перспективы выживания для индейской культуры — в сфере художественного слова. Мысли о том, что литература, художественный образ — это акты моральных суждений о мире, что они являются средством самосохранения людей, что посредством слова способен человек говорить с миром,— эти идеи постоянно высказываются на страницах книг и эссе, составляя основу прозы индейских писателей современности: Наварра Скотта Момадэя, Хаймийостса Сторма, Лесли М. Силко и Джеральда Визенора.

Одним из самых насущных вопросов в жизни индейцев, всегда стремившихся к гармонии с природой, является экологический. Это связано с народными представлениями индейцев о неприкосновенности земли как матери всего живого. Современное давление военно-промышленного комплекса США на резервации в целях «выкачивания ресурсов» и превращения их в придаток государственно-монополистической машины усугубляет их тревогу за будущее.

Индейское население США на протяжении многих лет жило под угрозой исчезновения как этническая общность и сейчас вынуждено бороться за элементарные принципы человеческого существования. Естественно поэтому, что взгляд на буржуазную действительность, формулируемый индейской литературой и журналистикой, отличается ее кардинальным неприятием. Так в проблемной статье «Философия» «Акwесасне ноутс» пишет:

«Традиционные цивилизации нашей земли являются очень древними, они заключают в себе способы и средства выживания, накопленные человечеством на протяжении всех времен... Вывод, который нам предстоит сделать, связан не только с перспективой развития, но с попытками достичь решения общечеловеческих проблем.

Как следует нам относиться к той социальной несправедливости, которую постоянно порождает все больший рост технократии в нашем обществе?

Когда житель Нью-Йорка пьет утренний кофе, он тем самым поддерживает систему эксплуатации земель, занятых под производство этого кофе в странах Латинской Америки, в то время как люди там голодают. Когда житель Лос-Анджелеса поворачивает выключатель, он потребляет электроэнергию, добытую из угля и воды, отнятых у резерваций индейцев Аризоны. Технический прогресс сопровождается ростом социальной несправедливости по отношению к ряду народов. Нам хотелось бы выступить в защиту социальной справедливости, за объединение человека со средой и природой, против расхищения земли, животного мира, природных вод — и истребления людей... Мы хотели бы призвать другие народы к решению этой задачи. Она — самая насущная».

Индейская журналистика играет ведущую роль в борьбе индейцев за свое этническое, экономическое и культурное выживание. Позиция, характерная для индейских газет и журналов, в силу их особой близости к жизни и нуждам своего народа, отличается большим радикализмом по сравнению с официальной прессой, зависимой от государственной машины, а круг рассматриваемых проблем — большей конкретностью и широтой.

Просматривая страницы современных индейских газет и журналов, можно обнаружить наивность политической мысли, отдельные проявления левацкой психологии, внутреннюю противоречивость, что объясняется исторически сложившимися причинами, вызванными длительным экономическим и политическим рабством индейцев. Думается, что главное все же не в этом, а в том, что индейская интеллигенция интенсивно ищет пути к единению со всеми демократическими силами как внутри страны, так и во всем мире.

А. ВАЩЕНКО

◆

Публицистика

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ

Ю. КАГРАМАНОВ

ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

По поводу некоторых новейших идеологических трансформаций на Западе

Накануне 1981 года в Париже вышла книга, наделавшая немало шуму. Еженедельник «Нувель литтерэр», например, представил ее как гвоздь сезона. Книга называется «Французская идеология». Автор — Бернар-Анри Леви, знаменосец так называемых «новых философов». Основной ее тезис: идеологическая система, господствующая во Франции на протяжении вот уже более столетия, в своей глубинной сущности есть система, родственная фашизму.

Группа философов, с 1976 года выступающая под общей вывеской «новые философы»,— это вчерашние «новые левые», которые расстались со своим политическим радикализмом, но не расстались с нигилизмом, а перенесли его в область метафизики. На свой лад они ужились с буржуазным обществом и прижились в нем. Фигура «нового философа» стала привычной деталью идеологической сцены: вечный фрондер, чье амплуа состоит в том, чтобы вести себя вызывающим образом, «разоблачать» и отрицать все то, что не соответствует его собственным понятиям, вынесенным из майско-июньских дней 1968 года, кульминационных дней так называемой студенческой революции.

В своей новой книге Леви обращается к одному драматическому моменту в истории Франции, по его утверждению, проливающему свет на подлинный характер современного французского общества. Речь идет о государственном перевороте, совершенном маршалом Петеном сразу после того, как Франция потерпела поражение в войне с гитлеровской Германией. Леви всячески подчеркивает то, с какой легкостью удалось предателям-вишистам покончить с Третьей республикой, со всеми демократическими традициями, которыми тогда так гордилась Франция. В его изображении это было нечто вроде верхушечного переворота: не понадобилось даже вмешательства каких-то молодых энергичных башибузуков, как то имело место в Германии. Достаточно было явиться полузабытому, ветхому маршалу, и по одному мановению его слабеющей длани республика рухнула, уступив место режиму фашистского типа.

Леви утверждает, что Гитлер вовсе не требовал от Франции, чтобы та последовала «германскому примеру», что инициатива фашистского переворота исходила от его французских единомышленников. Притом она будто бы не встретила у французов практически никакого сопротивления. Посмотрите, говорит Леви, не подал в отставку ни один префект, ни один высокопоставленный военный (генерал де Голль — единственное исключение), ни один посол, аккредитованный где-нибудь в почтительном отдалении от оккупированной нацистами Европы. А почему? А потому, дескать, что фашизм как бы таится где-то на самом дне «французской идеологии» и достаточно внешнего повода, чтобы он, так сказать, распрямился и вышел на поверхность. Таким поводом и явилось поражение Франции в 1940 году. Вчерашние «добрые французы» вдруг, в один прекрасный день, превратились в добровольных, от чистого сердца коллаборационистов или, во всяком случае, в абсолютно пассивных зрителей. Но о ком все-таки речь? А обо всех, ответствует Леви. Все партии, все политические группировки, дескать, оказались или прямыми пособниками, или потатчиками петенизма.

Позвольте, возмутится осведомленный читатель... Не позволю! — кричит Леви, желая упредить любые возражения.— Все! Фашизм, «структурированный как бессознательное», давно и прочно укоренился на французской почве.

Наш «новый философ», наделенный особой зоркостью, видит его ростки букваль-

но всюду. Особый счет у него к интеллектуалам. «Петенизм,— пишет Леви,— отечественная, вполне оригинальная версия фашизма, обязанная не столько Шопенгауэру и Ницше, сколько Жозефу де Местру, Гобино, Барресу и Моррасу. Но это были лишь наиболее откровенные предтечи петенизма. Если копнуть глубже, то петенистами окажутся, например, Анри Бергсон или Поль Валери. А если копнуть еще глубже, то... все». И выходит, нет принципиальной разницы между такими писателями, как Луи Селин и Анри де Монтерлан, запятнавшими себя коллаборационизмом, и теми французскими интеллектуалами, а таких было большинство, кто нашел свое место в рядах Сопротивления.

Задуманная как инвектива, книга Леви на деле представила собою извет. За поднятой им пылью совершенно скрылись очертания исторических реальностей. Что в определенных обстоятельствах Капитал, ничтоже сумняшеся, делает ставку на фашизм, в один день перечеркивая все либеральные свободы,— это давно и хорошо известно; Леви здесь ломится в открытую дверь. В социально-психологическом плане феномен почти моментального «опосороживанья» — если употребить метафору известной пьесы Эжена Ионеско,— охватившего некоторую часть французского общества, возможно, не привлек еще к себе того внимания, какого он заслуживает. Для того чтобы в нем разобраться, нужен объективный подход, нужен всесторонний анализ конкретной исторической обстановки. Нельзя не учитывать того состояния растерянности, шока, в какое поверг французов молниеносный разгром считавшейся дотоле победоносной французской армии. Факты, однако, говорят о том, что и в этих условиях немало демократов и патриотов, и в первую очередь коммунисты, сумели не потерять головы, проявили твердость, принципиальность буквально в первые же часы после прихода к власти Петена. Леви несправедлив, огульно обвиняя все буржуазно-демократические группировки в сотрудничестве с вишистами. Леви кощунствует, когда таковые же обвинения он возводит против «партии расстрелянных», как назвали в те годы партию французских коммунистов за то, что она внесла наибольший «взнос» кровью в общее дело борьбы против фашизма. С другой стороны, Леви абсолютно безоснователен, когда он пытается объединить противостоящие друг другу идеологии в рамках некоей единой идеологической системы, называемой им «французской идеологией».

Можно было бы пройти мимо клеветнической выходки Леви, если бы за ней не стояла целая концепция, отвечающая весьма широко распространившемуся умонастроению.

Расширительное употребление термина «фашизм» замечалось уже за «новыми левыми». У «новых философов» оно получило теоретическое «обоснование» в виде учения о власти и о насилии. Несмотря на некоторые различия, существующие между ними, все «новые философы» сходятся в том, что власть как таковая — любая власть — есть зло и всякое ее применение следует расценивать как насилие. Перефразируя евангельское выражение, можно сказать, что для них «нет власти аще не от лукавого». С такой точки зрения фашизм рассматривается как предельное выражение «власти вообще» и вместе с тем как ее логическое завершение. Тем самым понятие это лишается реального исторического содержания, ибо на самом деле фашизм есть определенная форма господства монополистического капитала, а не что-то еще иное.

Но учение «новых философов» о власти было бы всего лишь перепевом анархизма, если бы они ограничились сферой политики и не перенесли его в сферу культуры. Согласно «новым философам», как раз в сфере культуры набирается жизненных соков чудовище, именуемое властью. Все начинается с безобидных по видимости вещей: родительского поучения, первого школьного урока и т. д. «Структура власти» пронизывает тело культуры наподобие кровеносной системы, и нельзя «разоблачить» увенчание — политическую власть,— не затрагивая капилляры, то есть авторитеты скромнейшие и в то же время наиболее устойчивые, выверенные всем опытом истории человечества. «Новые философы» объявляют неприемлемым самый принцип наставничества, какие бы формы он ни принимал. В любом наставлении, пусть даже оно исходит от любящего учителя или заботливых родителей, они видят зародыш «репрессии».

У «нового философа» вызывает истерику любая позиция превосходства, какие бы ни были у нее основания и какими бы целями она ни была связана. «Новый философ» не смог бы выговорить презрительных слов о «сладостной власти» гения — скорее откусил бы себе язык. Как раз к гениям у него наибольшие претензии, в особенности к «господам мыслителям» (как нарек их «новый философ» Андре Глюксман). Власть мысли, с его точки зрения,— особо значительная и в то же время наиболее коварная. Именно она, философская мысль — точнее, так называемая классическая философия,— объявляется им конечной виновницей того взрыва насилия, свидетелем коего, во всех его разнообразных проявлениях, стал XX век. Оказывается, в каждой складке ее скрывалась «репрессия»; все ужасы «тоталитаризма», все негативные последствия прогресса науки таились за ее тройными умозаключениями — она несла их в себе, как туча — дождь, который рано или поздно должен пролиться.

По отношению к классической философии «новый философ» выступает как суровый и неподкупный обвинитель. Или, скорее, как следователь, этакий комиссар Мегрэ от философии. Вооружившись лупой, он тщательно обследует уставленные книгами полки: откуда пошла скверна, кто первым применил «интеллектуальное насилие», первым усвоил этот недопустимый менторский тон? Стоп. Вот оно! Афины. V век до н. э. Этот назойливый Сократ взял себе за правило промывать мозги своим согражданам, а те по неосторожности развешивали уши, вместо того чтобы показать, что они своим умом крепки. Правда, некоторые «новые философы» отказываются признать Сократа виновным: дескать, он все-таки не столь-

ко учил, сколько вопрошал. Зато вина Платона не вызывает у них никаких сомнений: Платон был систематиком, доктринером, в его учении «авторитаризм» выступает во всей своей отталкивающей наготе. Дальше — больше: «так называемое» Просвещение было не чем иным, как всесторонним идеологическим обоснованием террора. О Фихте или Гегеле и говорить нечего: эти уже готовы для службы если не в гестапо, то, на худой конец, в какой-нибудь зондеркоманде.

Каким же образом думает «новый философ» спастись от преследующего его кошмара власти? Прежде всего он стремится разрушить вокруг себя все, что ему по силам разрушить,— разорвать, где это возможно, «предательские» тенета «традиционной культуры». Основная мишень его нападок — школа, и в первую очередь высшая школа, это, по его убеждению, наиболее «склеротическое» звено «традиционной культуры». В отличие от «нового левого», однако, «новый философ» не ставит себе целью штурмовать цитадели политической власти. Он скорее пессимист, ибо считает, что власть неодолима в высших своих инстанциях, что «князь мира сего» (то есть олицетворение светской власти) вечен (по крайней мере, такова точка зрения Леви, высказанная им в его предыдущих книгах и статьях; к ней так или иначе близки и все остальные «новые философы»). Все, чего он добивается,—это расчистить для себя и своих единомышленников некоторое жизненное пространство, создать или расширить «зону свободы» где-то на периферии буржуазного общества — некое Дикое поле, где нет никаких верстовых столбов и где культура не имеет, так сказать, оседлого характера. Одна из основных «свобод» состоит в том, что здесь можно кричать что угодно и как угодно громко — чтобы ведущие оседлое существование слышали и содрогались.

«Новые философы» непосредственно выступают от имени маргинальных (как их называют западные социологи), то есть не «включенных» жестким образом в социальную систему, слоев: изгоев всякого рода безработной (и зачастую никогда не работавшей) молодежи, неустроенных иммигрантов и т. п. В той или иной степени эти слои проникнуты психологией люмпенства. Но последняя в нынешних условиях не является чем-то строго локализованным социологически: как показывают факты, элементы люмпенского сознания получили весьма широкое распространение в буржуазной среде. Правомерно сказать, что «новые философы», поборники вечного и по сути безнадежного бунта, выразили определенную сторону буржуазного сознания. Метафорически здесь кое-что проясняет известная притча о тени, изменившей своему хозяину. В эскападах «новых философов» заявила о себе улица с ее «бессвязным галдежом» (Салтыков-Щедрин), стихия толпы, непосредственность пляжа, выплеснувшаяся за поставленные ей пределы (напомним, что один из самых популярных лозунгов студенческой революции 1968-го был: «Мостовые — под пляж!»). Это от нее, «толпы одиноких», исходят постоянные у «новых философов» крики о непризнании каких бы то ни было властей и о нетерпимости в отношении любого рода насилия. Уточним: «организованного» насилия. Почему-то исчезает из виду проблема насилия «неорганизованного», каковое непременно пробивает себе дорогу там, где всякие, как говорится, внешние рамки перестают иметь место. (Примером тут могут служить некоторые фестивали поп-музыки, различные общины хиппистского типа и т. п.) По пословице: кто первым палку взял, тот и капрал.

Конечно, для «истэблишмента» (употребим здесь этот американский термин) в некоторых отношениях было бы лучше, если бы криков ие было. Но, во-первых, таков уж кризис, поразивший вдоль и поперек буржуазное общество, что нельзя не считаться с той негативной энергией, которая в нем, обществе, скапливается, а можно только попробовать как-то ее канализовать. «Новые философы» — один из тех громоотводов, через которые она уходит в землю. Во-вторых, и это особенно важно, стрелы «отрицания», столь щедро выпускаемые «новыми философами», летят не столько в адрес властей предержащих, сколько в совсем иную сторону. Ведь «новые философы» считают капитализм неуязвимым, а значит, фактически мирятся с его существованием. Зато они пытаются дискредитировать ту структуру знания, структуру культуры, которая объективно, сообразно с логикой своего развития, нацеливает как раз на ликвидацию капитализма.

Попытка «новых философов» опорочить принцип наставничества основана на софизмах. Это не значит, что нет никакой связи между школой как таковой и всеми теми негативными явлениями, на которые указывают «новые философы». Не зря, видимо, было сказано, что «битву при Садовой выиграл немецкий школьный учитель»[1]. Но если следовать логике «новых философов», пришлось бы сделать такого рода умозаключение: битва при Садовой ускорила становление империалистической, милитаристской Германии — значит, немецкие школьные учителя только затем и нужны были, чтобы воспитывать солдат и вообще исправных «винтиков» рейха. Выявление конкретных форм «альянса власти и знания» у «новых философов» подменяется огульным охаиванием самого принципа школы, воспитательного идеала, в основу которого положена дисциплина ума и тела.

Тем самым «новые философы» пытаются подорвать гуманизм — систему взглядов на человека, немыслимую вне школы (в самом широком смысле слова), вне задач формирования и переделки человека. Томас Манн (между прочим, тоже кое-чем обязанный немецкому школьному учителю) устами одного из героев «Волшебной горы» обратил внимание на эту сторону дела. «Истори-

[1] Битва при Садовой (1866) между австрийцами и пруссаками продемонстрировала явное военное превосходство Пруссии.

Ю. КАГРАМАНОВ
ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

ческая связь между гуманизмом и педагогикой указывает... и на их психологическую связь. Не следует снимать с гуманиста обязанность воспитывать людей, ее просто нельзя отнять у него, ибо только он может передавать молодежи идеи человеческого достоинства и красоты»[1]. «Новые философы» весьма откровенно заявляют, что являются противниками гуманизма, «разоблачаемого» ими как «наука о господстве». Но в наше время единственно жизнеспособный гуманизм, и это признают они сами,— марксистский гуманизм. В чисто философском плане именно марксизм является наследником (преодолевшим, однако, ее ограниченность) классической философии, столь антипатичной для «новых философов». Неудивительно поэтому, что именно марксизм оказывается основным объектом их нигилистической критики — и не только тогда, когда они прямо указывают на него как на свою мишень, но и тогда, когда они нападают на авторитеты «вообще», на власть «вообще» и тому подобное.

Что касается прямых антимарксистских, антикоммунистических выпадов «новых философов», то их отличает специфическое сочетание мнимофилософской «высоты» с крикливостью, обычно характерной для антикоммунистических инсинуаций западной бульварной прессы. Вот за это «новых философов» жалуют средства массовой информации: в печати, на радио и телевидении для них всегда открыты двери, какими бы шокирующими ни казались подчас их выходки. А так как «новые философы» умеют играть на некоторых струнах, отличающих «толпу одиноких», то они имеют рыночный успех, какой редко выпадает на долю профессиональных философов. Отдельные их книги выходят тиражами, необычайно большими для такого рода литературы. Притом это товар, предназначенный не только для внутреннего рынка, но и для экспорта: «новых философов» много переводят в других западных странах. По ним, в частности, судят о том, какие эволюции совершают расстроенные ряды, оставшиеся от молодежного движения протеста (высшей точкой которого были события мая — июня 1968 года в Париже). С другой стороны, их сочинения преподносят как «новое слово» философии, сказанное с учетом последних достижений различных наук.

В первую очередь здесь имеют в виду структуральные исследования, где французы являются неоспоримыми лидерами: достаточно привести имена К. Леви-Стросса, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж. Моно, Р. Барта. Структурализм достиг определенных, иногда весьма значительных успехов в отдельных областях гуманитарных и не только гуманитарных наук. Леви-Стросс и Фуко, например,— это, без преувеличения, два гиганта, каждый в своей области (первый — этнологии и так называемого мифологического мышления, второй — в некоторых разделах психологии и истории культуры). Но даже в тех, более или менее ограниченных, областях специальных наук, где он принес определенные плоды, структуральный подход страдает односторонностью, неспособностью познать предмет исследования в его движении, историческом становлении. Тем более безосновательны участившиеся за последнее время попытки прямых выходов из области структуральных исследований в область философии. Сами ученые-структуралисты от них обычно воздерживаются, зато, например, большую «смелость» проявляют в этом отношении «новые философы», отчего их считают околоструктуральным течением[1]. Впрочем, для полноты картины добавим, что «новые философы» во многих отношениях далеки от структурализма; им, например, чужд свойственный последнему дух позитивной научности. В то же время они разделяют некоторые представления экзистенциальной философии, этого постоянного оппонента структурализма.

Структуральным исследованиям в большой степени обязан Париж своей репутацией «мозгового центра» западного мира, как бы компенсирующей по видимости утрачиваемое им значение центра искусств и литературы (парижские издатели сетуют на то, что в других западных странах падает интерес к новинкам французской художественной литературы; зато их утешает растущий спрос в тех же странах на выходящую во Франции литературу научного и идейно-философского характера). Еще один источник таковой репутации — повышенная активность в идеологической сфере; лишь внешне она бывает связана со специальными научными исследованиями. Едва не каждый год появляется какая-нибудь сенсационная новинка: «новые философы», «новые романтики», «новые экономисты», «новые правые». В условиях, когда происходит истощение основного «пласта» буржуазной идеологии — либерализма — равно как политической и как социально-философской доктрины, получают широкий резонанс те или иные «новые идеи», подчас весьма радикальные на вид.

Последний по времени «сюрприз»: беспрецедентное идеологическое контрнаступление, предпринятое под знаменами самой откровенной реакции. «Новые правые» (новинка 1979 года) выступили как один из отрядов неоконсерватизма — движения, охватившего западный мир во второй половине 70-х годов. Их программа, однако, выделяется своим экстремизмом, своей агрессивностью и в то же время методично-

[1] Т. Манн. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3, с. 91.

[1] Культурное уравнительство, назовем его так, «новых философов» пытается обрести теоретическую опору в самом принципе структуры. Структура — это некая всеобъемлющая сеть, где нет никаких «узелков», никаких пространственно-временных «центров», никаких «точек отсчета». Этим определяется, так сказать, регистр интересов структурализма: «неторопливое развертывание бытия» (Леви-Стросс), «гул онтологической непрерывности», «фоновый шум, непрерывное бормотание природы» (Фуко). Ошибка начинается там, где структура, вместо того чтобы остаться полезным методологическим инструментом, возводится в ранг универсальной категории, подменяющей собой все другие категории, такие, как форма и содержание, сущность, причинность и т. д.

стью, претензиями на теоретическую основательность. Расплывчатые идеалы неоконсерватизма приобретают у «новых правых» четкость очертаний, вызывающих самые зловещие ассоциации.

Во многих отношениях «новые правые» выглядят антиподами «новых философов». Но так же, как и антиподы, первые связаны со вторыми одними и теми же силовыми линиями. Начать с того, что для «новых правых», как и для «новых философов», «точкой отсчета» стал май — июнь 1968 года: движение это возникло как реакция на события тех дней, и большинство его адептов вышло из той же студенческой среды, что явилась тогда питомником незадачливых «революционеров». Только вот в отличие от «новых философов», как и ранее «новых левых», «новые правые» целое десятилетие, вплоть до 1979-го, прозябали в неизвестности: несколько клубов и «теоретических семинаров», два-три журнальчика (ежеквартального типа) с небольшим тиражом — таково было их скромное поле деятельности. Как и почему они вдруг выступили из тени на яркий свет — особый вопрос. Сейчас лишь обратим внимание на то, что их выступление имело весьма широкий резонанс во всех странах Запада, как и во многих странах «третьего мира».

За один только год (лето 1979 — лето 1980) во Франции вышло в свет по меньшей мере шесть или семь книг, пропагандирующих взгляды «новых правых». В прессе («от Рейкьявика до Буэнос-Айреса», как похваляются они сами) появилось огромное количество статей, посвященных «новым правым», многие из которых тоже прямо или косвенно пропагандируют их идеи. Что касается книг, то почти все они представляют собой сборники. «Новые правые» исполнены корпоративного духа, характерного для эпохи государственно-монополистического капитализма, и предпочитают коллективные выступления. Любят коллективные псевдонимы: сначала это был интригующий Клуб настенных часов, потом и вовсе загадочная «Майастра». Впрочем, пристрастие к такого рода коллективности можно объяснить и тем, что среди «новых правых» не выпупилось титанов мысли (хотя задачи, которые они ставят перед собой, как мы увидим, поистине титанические, притом именно в области мысли). Несколько ученых мужей второй величины, несколько не снискавших большой известности литераторов — вот «сливки» движения. Наиболее известные лидеры «новых правых»: молодой философ Ален де Бенуа, не так давно удостоенный «Гран при» Французской Академии за эссеистику, и немолодой писатель Луи Повель, зарекомендовавший себя главным образом как поборник возрождения оккультных наук. С недавних пор Повель сделался директором «Фигаро магазин» (издаваемого бывшим коллаборационистом Эрсаном), благодаря ему превратившегося в рупор «новых правых».

Но расшифруем псевдонимы. Клуб настенных часов — основная из организаций «новых правых», названная так потому, что ее члены одно время собирались в зале, где висели старинные настенные часы. Майастра же, как нам объясняют,— образ из румынской мифологии, «легендарная птица, в сгустившихся сумерках испускающая боевой крик, чтобы внушить человеку веру в его судьбу» (в Париж эта птица залетела в виде изваяния, автором которого является известный румынский скульптор К. Бранкузи).

О чем же вещает «в сумерках» новоявленная «Майастра»? О том, что пришло время перечеркнуть идеалы демократии и вместе с ними всю ту, столетия отнявшую, работу мысли, которая их подготовила, вернуться, на ином уровне, ко временам патриархальным с их «простыми и ясными» понятиями. На место демократии ставится идеал аристократии, общества, построенного по принципу иерархии, где сильные властвуют над слабыми и где каждый «знает свое место».

Нет, «новые правые» не выдвигают никакой конкретной политической программы. Они отдают себе отчет в том, что в настоящих условиях политические требования, выдвинутые с подобных архиреакционных позиций, не могут найти сколько-нибудь широкой поддержки. Они отнюдь не отказываются от политической борьбы, но откладывают ее на будущее. Первоочередную свою задачу они видят в том, чтобы утвердиться на ниве культуры: перепахать ее всю, от края до края, и только потом выступить с политическими требованиями. «Новые правые» брезгливо отворачиваются от существующих крайне правых партий и организаций (в большинстве западных стран весьма малолюдных и пока что не имеющих практически никаких шансов прийти к власти), порицают путчизм за его неэффективность, констатируя тот очевидный факт, что никакие белые генералы или черные полковники не в силах предотвратить наступление демократических сил, разве что задержать его на некоторое время. С точки зрения «новых правых», чтобы опрокинуть буржуазную демократию, надо прежде подготовить почву, создать соответствующую атмосферу, что потребует длительных усилий.

«Новые правые» замахиваются на революционную и демократическую традицию, начиная от самых ее истоков, и на все то, что с нею так или иначе связано. Их взгляды во многих отношениях означают возвращение на позиции идеологов феодальной реакции конца XVIII — начала XIX века. Эти последние на другой день после того, как совершилась Великая французская буржуазная революция, принялись лихорадочно мозговать, отчего произошла революция, что подвигнуло послушный доселе народ штурмовать Бастилию. Вольтер и Руссо были для них слишком близкие и очевидные мишени, корни «несчастья» должны были уходить куда-то глубже. Их искали исключительно в сфере идей: Галлер утверждал, что история приняла «дурной оборот» по инициативе Гоббса; Жозеф де Местр — что это произошло раньше, из-за Лютера и Кальвина; Бональд — что еще раньше, из-за Гуса, Виклифа, поздних францисканцев и кого-то

Ю. КАГРАМАНОВ
ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

там еще. «Новые правые», нисколько не меньше, чем де Местр или Бональд, питающие неприязнь к якобинцам (они, например, заявляют, что комиссары Конвента 1793-го, ликвидировавшие контрреволюцию в Вандее, были ничем не лучше клики Пол Пота), «смотрят в корень» еще глубже: оказывается, история приняла «дурной оборот» уже тогда, когда варварские племена Европы приняли христианство. Ведь именно в недрах христианского мира впоследствии зародилась — хотя бы и вопреки христианству — идеология просвещения и прогресса.

Следовательно, чтобы исправить «ошибку» истории — так считают «новые правые»,— надо вернуть утраченную невинность: восстановить «матрицу культуры», характерную для варварских племен. Иначе говоря, надо вернуть культуре ее первоначальную «естественность», освободив ее от позднейшего рационалистического конструирования (дальше мы увидим, что это означает конкретно). Такая задача, уверяют «новые правые», не есть что-то нереальное, ибо «матрица», о которой идет речь; «не позади нас, она внутри нас» и надо только суметь вызвать ее к жизни. Европе, пишет Бенуа, следует возродить в себе изначально ей присущий «дух леса» — дух язычества и многобожия — и со всей решительностью изгнать «дух пустыни», занесенный извне, означающий монотеизм и рационализм.

Такую вот «смену духов» «новые правые» представляют не только как возвращение назад, но и как «прыжок вперед». Графы и виконты, выступавшие как идеологи феодальной реакции без малого два столетия назад, были плоть от плоти старого общества и, прикипев, как говорится, к нему душой, пытались отстоять обреченные историей, траченные молью порядки. Все новое, всякое движение вперед вызывало у них отвращение. «Новые правые» хотели бы «теоретическим путем» привести к возрождению на иной базе — капиталистического способа производства — некоторых надстроечных структур так называемого традиционного общества. Иначе говоря, они представляются первопроходцами, колумбами в своем роде, только такими, которых ждут впереди не неведомые земли, а только уже известная Индия.

Вопросам теории «новые правые» придают, на сегодняшний день, первостепенное значение. «Шаг вперед в области теории равен двум шагам вперед в области практики»,— заявляет Бенуа в своей книге «Взгляды правых». Объявляя марксизм, как и следовало ждать, своим врагом № 1, «новые правые» в то же время принимают его в некотором отношении как образец для подражания. А именно марксизм производит на них впечатление своей «полнотой и стройностью», о которых писал В. И. Ленин. К. Маркс, по словам Бенуа, создал всеобъемлющую «стратегическую сеть», позволяющую ответить на любые вопросы, осветить любые темные уголки истории. Правые же ничего не смогли ему противопоставить, кроме своего постоянного брюзжания. Пришла пора «бросить вызов» марксизму, а заодно и либерализму, по всей линии теоретического фронта, опираясь на «последнее слово» западной философии и специальных наук; не отсиживаться в обороне, как то делали до сих пор консервативные идеологи, а наступать, непременно наступать.

Можно, конечно, подивиться бестрепетности лидера «новых правых», выступающего в поле, хотя бы и со товарищи, для таких исполинских свершений. Только вот их претензии никак не соответствуют скудости теоретического содержания их выступлений. Обрывки «давно отброшенных» (Маркс) теорий феодальной реакции, а также экзистенциализма и некоторых других современных буржуазных философских учений — вот на чем базируются их идеологические концепции. Центральное понятие их философии: «принцип различия», повелевающий рассматривать объекты социальной жизни взятыми в их особенности, единичности и, следовательно, пренебрегающий моментом абстракции. Отсюда «новые правые» выводят лозунг провозглашаемой ими «культурной революции»: «право на различие».

Видимо, «новые правые» сами не переоценивают своих теоретических возможностей; оттого они широко привлекают к участию в своих «теоретических семинарах» и сборниках специалистов, в первую очередь в области науки. Последние в своих выступлениях зачастую приходят к некоторым выводам довольно общего характера, а «новые правые» уже дают им определенное толкование. В сборнике «Возрождение Запада?», выпущенном под их эгидой, в заключении сказано, что «эволюция наук, интуиция искусств и откровение религий» будто бы обнаруживают сейчас «удивительную конвергенцию» — разумеется, в направлении, желательном для «новых правых». На самом деле никакой «удивительной конвергенции» нет, а есть просто подталкивание в определенном направлении разномастной группы авторов, собранной по тому или иному поводу. В том же сборнике «Возрождение Запада?», например, первая глава написана Повелем, последняя — Бенуа (вступление и заключение от имени «Майастры» скорее всего написаны ими же), а между ними выстраиваются авторы, во взглядах которых есть заметные нюансы — кто-то придерживается умеренно неконсервативных взглядов, кто-то, похоже, вообще смутно представляет, зачем его пригласили в данную компанию. Тематика здесь чрезвычайно многообразна: генетика и психология, теория информации и пути искусства, рекомендации по некоторым практически-теоретическим вопросам: энергетики, демографической политики и т. д. Но Бенуа и Повель, как два фельдфебеля на флангах прусской шеренги (времен линейных боевых порядков), следят за тем, чтобы этот пестрый строй двигался в заданном направлении.

Роль ударной силы в сциентистском арсенале «новых правых» отводится биологии. Проблемам биологии и так называемой биосоциологии почти целиком посвящен сборник «Политика живого» и многие статьи в других изданиях. Поскольку часть из них написана специалистами, они и оценены могут быть

только специалистами. Имеются заключения видных биологов, начиная с Ж. Моно: в изданиях «новых правых» данные современной биологии представлены односторонне либо вовсе искажены. Но даже если бы таких заключений и не было, совершенно ясно, чего «новые правые» ждут от биологии и что они намерены «взять» у нее, даже если она этого в себе и не заключает: им нужны аргументы, которые бы позволили дать биологическое истолкование явлениям общественной жизни. «Новые правые» не поддерживают откровенно вульгарные теории, приравнивающие человеческое общество к животному царству: такие теории слишком уязвимы для критики. Но они стремятся приблизить первое ко второму насколько это возможно, насколько такое приближение сохраняет видимость солидного научного обоснования.

Прежде всего такое стремление обнаруживается в их концепции человека.

Для современной западной мысли проблема человека является центральной. Советский философ Ю. Н. Давыдов указал на следующий важный ее аспект: в современном буржуазном обществе человек оказывается зияющей брешью, через которую природная стихия устремляется, так сказать, внутрь цивилизации. В так называемых традиционных обществах, в огромной степени зависевших от «внешней» природы, люди, однако, достигли высокой степени овладения своей телесной природой. Таков, условно говоря, позитивный пример — эллин с присущим ему чувством формы, пластичностью. Таков (скорее негативный пример) средневековый человек, привыкший подавлять свои естественные побуждения. Можно привести множество других примеров из антропологии, демонстрирующих, как глубоко человеческая природа «обработана» культурой. Современное же буржуазно-индустриальное общество являет собой картину прямо противоположную: максимум овладения «внешней» природой и минимум индивидуального контроля над собственными «витальными» влечениями. «Теоретический симптом этого обстоятельства (который отнюдь не тождествен верному осознанию последнего) — фрейдизм... а практический — его широкое распространение в странах капиталистического Запада, где он играет роль «единственно современной» религии»,— пишет Давыдов [1].

Структурализм на свой лад «возвращает» человека природе (только природе структурированной, математически рассчисленной), видя в нем кирпичик мироздания, по какому-то недоразумению возомнивший о себе невесть что. Структуралисту кажется, что он видит человека насквозь: вот механизм желания, вот механизм речи, вот структура бессознательного и т. д., и нигде никакой «ниши», никакого «командного пункта», где бы могло найти себе место гордое этическое «я». Отсюда вывод: человек, каким его представляли себе гуманисты, «умер». Осталась на его месте марионетка, приводимая в движение очень понятными ниточками.

От этой сборной фрейдистско-структуралистской модели человека отталкиваются «новые философы». Для них «я» по сути сведено к желанию. Последнее понятие является одним из центральных в их философии. Отнюдь нельзя сказать, что философам прошлого понятие желания было неведомо (в частности, Платон и Спиноза писали о нем весьма красноречиво). Но они всегда связывали его с какой-то определенной целью, а у «новых философов» оно самоцельно и самоценно, иначе говоря, оно у них то же самое, что каприз. Желание, во всяком случае невинное желание (какие желания следует считать невинными, «новый философ» не уточняет), требует удовлетворения скорейшего и возможно более полного. Подавлять желание опасно: власть над самим собой, над собственным телом — зародыш власти над другим, «власти вообще» (вот где, оказывается, самый исток реки, именуемой фашизмом!).

Увы! — бедный «новый философ» с его неприкаянным желанием чувствует себя в обществе, как в заколдованном лесу, где все полно подстерегающих его опасностей и ловушек, порою вполне безобидных на вид. Оказывается, даже выразить желание посредством речи не так-то просто, ибо логически последовательная — да что там! — просто грамотно построенная речь есть не что иное, как утонченное «орудие репрессии» на службе власти. Придать желанию определенное направление — значит прямиком лезть в капканы, расставленные властью. И наоборот, непредсказуемое желание, по мысли «нового философа», есть средство десоциализации, средство борьбы с властью. «Новые философы» К. Жамбе и Г. Лярдро в своем недавно законченном трехтомнике «Онтология революции» договорились до того, что необходимо, дескать, десексуализировать желание, что только индивид, сумевший изжить в себе сугубо плотские влечения (не подавить их — упаси бог! — а именно изжить), может быть по-настоящему «свободен». Идеал Жамбе и Лярдро: «ангел», некое антропологическое новшество, эфирное создание, живущий промеж людей печальный дух изгнанья. Таково пока что «последнее слово», сказанное «новыми философами» в этой области (интересно, каким будет следующее?).

Итак, «человек умер». Осталась «толпа одиноких», о которой легче сказать, чего она лишена, нежели назвать какие-то ее отличительные признаки. Вот эскиз, вышедший из-под авторитетного пера Мишеля Фуко: «Это человеческое лицо, растерзанное смехом; это возвра-

[1] Неомарксизм и проблемы социологии культуры. М., 1980, с. 346.

Ю. КАГРАМАНОВ
ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

щение масок; это рассеивание глубинного потока времени, который ощутимо увлекал человека и силу которого человек угадывал в самом бытии вещей...»

«Новые правые», со своей стороны, заявляют, что не поддерживают структуралистско-«новофилософского» тезиса о «смерти человека». Они предлагают смотреть на человека с человеческой точки зрения. Но как?

Некогда Жозеф де Местр писал, что он не знает, что такое человек, что, дескать, можно быть французом, или испанцем, или шведом, можно быть аристократом, или землепашцем, или ремесленником, можно даже быть персом, но нельзя быть человеком. Это та плоскость мысли о человеке, куда возвращаются «новые правые». Полемические строки де Местра писались тогда, когда человек впервые громко заявил — в скрижалях ли «Декларации прав человека и гражданина», в симфониях ли Бетховена — о своей «самости» и универсальности. Вот этого человека, однажды исполнившегося сознания своих возможностей, «новые правые» хотели бы «умертвить» нисколько не меньше, чем «новые философы».

«Новые правые» хотели бы навязать «дифференцированный» взгляд на человека — кавычки ставлю потому, что, с их точки зрения, люди примерно так же отличны друг от друга, как, скажем, волки отличны от овец. С одной стороны, утверждается, что человечество не может обойтись без вождей, без «делающих историю» героических личностей. Тут ставятся в пример герои истории и мифологии: Ясон и Леонид, Ланселот и Роланд и рядом с ними Прометей и Фауст (для приличия, а также потому, что нельзя ведь вызвать к жизни роландов, не прибегая к фаустовской магии). С другой стороны, получает развитие мысль Шопенгауэра, что человек имеет много общего с домашними животными. Доказательства? Как и домашнему животному, человеку свойственно продолжать насыщаться и после того, как голод уже утолен. Есть и другие, столь же «важные» параллели. Словом, для характеристики взглядов «новых правых» на человечество метафоры «пастыри и стадо» либо «волки и овцы» оказываются весьма точными.

Можно, однако, подвести некоторый общий знаменатель в отношениях «новых правых» к человеку, к какому бы разряду они его ни причислили. Он состоит в том, что они хотели бы «освободить» его от будто бы обременяющего его «избытка» культуры, вернуть человека к его «естественным» кондициям, то есть к такому элементарному уровню культуры, когда еще не порвана пуповина, связывающая его с природой. Современный человек говорят «новые правые», сделался чересчур чувствительным, он разучился переносить тяготы, разучился и радоваться по-настоящему; чтобы вернуть эти утраченные способности, ему следует прислушаться к голосу крови, напоминающему о том, что он не так уж далеко ушел от своих животных предков. Иначе говоря, «новые правые» «возвращают» человека в лоно природы, только не той, какую имеют в виду «новые философы», а иной. Для «новых философов» (как и ранее для «новых левых») природа — стихия, томящаяся и алчущая, заявляющая о себе изнутри человека как желание. «Новые правые» подходят к ней с другой стороны: они видят ее скорее целенаправленной, организованной, целомудренной. Вероятно, она такова и есть: пчелиный улей, паук, плетущий свою паутину, зверь, терпеливо выхаживающий детеныша,— это что-то достаточно далекое от непосредственного «алкания». Из чего, однако, вовсе не следует, что человеку должно воскресить в себе бестиальность, хотя бы и в таком, более или менее позитивном, смысле [1].

Апеллируя к биологии, «новые правые» пытаются возродить идеи де Местра и Бональда об «органических началах», на которых будто бы должно покоиться общество, подвести под эти идеи сциентистскую базу. Будто бы мир человека требует к себе того же отношения, что и мир животных и растений: где что растет, пусть так там и растет. Общий для неоконсерватизма идеал «укорененности» получает у «новых правых» крайнее выражение: человек должен быть жестким образом привязан к определенному месту — так будет лучше для него самого (вот тебе, бабушка, и Юрьев день!). Критикуя современное западное «массифицированное» общество, уподобляемое им огромному караван-сараю, где сталкиваются «путешественники без багажа», Бенуа требует возродить в полном объеме «чувство места» и при этом опирается на работы известного австрийского биолога К. Лоренца, показавшего, сколь важен «инстинкт территориальности» для животного. Действительно, чувство места, топографически и социально,— вещь немаловажная и для человека (или даже особенно для человека), что в наше время стало как никогда ясно. Но у «новых правых», превративших его в величину, безотносительную ко всему и вся, оно служит лазейкой, через которую протаскивается мысль о том, что каждый должен «знать свое место», каждому надлежит там именно куковать, где однажды ему указал жребий.

А следом проступают контуры основанного на «органических началах» общества: иерархическое устройство, почитание всех и всяческих авторитетов, смирение, страх перед наказанием. Это проект долгосрочный, подчеркивают «новые правые»; чтобы провести его в жизнь, надо перевоспитать существующее общество сверху донизу. Начинать надо сверху: должны быть созданы специальные школы, из стен которых

[1] Румынский философ Людвиг Грюнберг, отвечая «новым правым», пишет: «...следовало бы помнить, что человеческая культура есть не только «продолжение» природы, но и антиприрода, так как человек живет в мире ценностей, который очерчивает ему другой тип бытия». (Журнал «Румынская литература», 1980, № 1, с. 100).

вышла бы новая аристократия, способная заменить существующие, не справляющиеся со своими задачами «элиты». Точнее, это уже второй этап их программы, первый состоит в том, чтобы создать поколение учителей нового типа. Школе должна быть возвращена монастырская строгость; новые задачи, стоящие перед ней,— не столько образовательные, сколько воспитательные. От новых аристократов потребуются в первую очередь «характеры», а не что-либо иное. Разумеется, тут меньше всего имеются в виду бальзаковские утонченные аристократы периода упадка. Если тут нужен образец, то «новые правые» предлагают его: это крепковыйные дружинники, окружавшие варварских конунгов, еще не «испорченные» ни контактами с развратным Римом, ни премудростями христианства. Бенуа прямо заявляет, что от новых аристократов потребуются не столько «мозги», сколько «позвоночники» (для полноты картины добавим, что «новые правые» не исключают и евгенического, то есть селективного, метода выведения «породы господ»).

Таков парадоксальный по форме и зловещий по сути план, вынашиваемый «новыми правыми»: возродить «органическое», то есть иррациональное, средствами рационалистического конструирования, сознательным путем вернуться к полусознательному, мобилизовать «мозги», способные воспитать «позвоночники».

Выступая за столь радикальное «обновление» на уровне культуры, «новые правые» ничего не предлагают изменить на уровне базиса: капиталистический способ производства должен остаться таков, каков он есть, со всем тем, как пишет «Майастра», «позитивным», что он в себе содержит, включая «индивидуальную инициативу, рентабельность и риск». Подобное «разведение» экономики и культуры вообще характерно для неоконсерватизма. С другой стороны, свою культурную программу «новые правые» пытаются оправдать не только требованиями биологии, но также и требованиями «современной техноструктуры»: современная индустрия и средства связи представляют собой системы и подсистемы растущей степени сложности; это налагает растущую ответственность на обслуживающий их персонал. Отсюда выводится необходимость моральной дисциплины в том виде, в каком ее представляют себе «новые правые». Действительно, современная техника такова, что «некачественная» человеческая единица, оказавшаяся за пультом управления, порою в состоянии вывести из строя сложнейшие системы жизнеобеспечения. Из этого, однако, еще не следует, что приспело время возродить моральный и правовой порядок времен Арминия или Хлодвига.

Впрочем, «новые правые» находят и более близкий пример, до некоторой степени соответствующий их идеалу того, как должно сочетать технические системы с системами «человеческой взаимозависимости»: это японская модель капитализма с характерным для нее корпоративным коллективизмом и элементами патриархальности. (с точки зрения «новых правых», главное, чего ей на сегодняшний день недостает,— это самурайского духа). А примером того, как не надо строить общественные отношения, является для них американская модель. Соединенные Штаты не нравятся «новым правым» тем, что там нет «корней», нет традиций, заслуживающих этого имени, в американцах их отталкивает свойственный тем внешний эгалитаризм и чисто бытовой рационализм (в самих США определенная версия неоконсерватизма критикует некоторые стороны «американизма» примерно с тех же позиций). Отсюда нередкие у «новых правых» антиамериканские филиппики. В сборнике «Возрождение Запада?» некий Жан Амадо даже берет на себя смелость утверждать, что главная опасность, грозящая капиталистической Европе, исходит не от Востока, а с противоположной стороны — от Соединенных Штатов, мало-помалу превращающих ее в своего вассала как в экономическом, так и — что, по мнению автора, особенно важно — в идеологическом и культурном отношениях. Мысль сама по себе здравая, но у «новых правых», отнюдь не забывающих о так называемой «западной солидарности», она представляет собой скорее полемический перебор. В том же сборнике, например, помещена (как бы «для баланса») статья отставного генерала П. Галлуа, где утверждается, что Западная Европа не сможет обойтись без американского «ядерного зонтика». Следует также помнить, что «новые правые» выступают за самостоятельность Западной Европы с крайне реакционных позиций.

Американский путь, считают «новые правые», ведет капитализм к гибели; только Западная Европа обладает «концептуальной энергией», благодаря которой ее еще можно предотвратить. По своим геополитическим воззрениям «новые правые» — европеисты и одновременно европоцентристы. В этом плане они многим обязаны последнему из крупных идеологов феодальной реакции Гобино (выступившему в середине XIX века). Согласно Гобино, ход европейской истории был предопределен еще в дохристианские времена общей для европейцев «этнической ситуацией», физическими и психологическими достоинствами, в той или иной мере отличавшими варварские племена. Но Гобино особо превознес древних германцев, «арийцев» (это у него национал-социалисты позаимствовали теорию «превосходства арийской расы») [1], а «новые правые» «уравняли в правах» с германцами другие варварские племена, в частности кельтов, и выдвинули этническую

[1] Читатель вправе удивиться, почему это вдруг француз (граф де Гобино был француз) пустился в прославление «арийских кровей». Здесь надо иметь в виду, что раньше принято было думать, будто аристократия во Франции состоит из потомков завоевателей-франков, то есть германцев, тогда как остальное население — галло-римского происхождения; сам Гобино, между прочим, считал себя потомком викингов.

Ю. КАГРАМАНОВ
ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

«матрицу» (как они говорят, пользуясь современным лексиконом) в качестве идеологической базы европеизма. Далее, они в основном разделяют утонченный расизм Гобино, выпячивавшего специфические, реальные или мнимые, качества отдельных рас с тем, чтобы отделить их друг от друга непреодолимыми барьерами. При таком подходе западным европейцам оставляют такую их «специфику», как «право» быть мировым лидером, учить и вести за собой других.

Стратегия «новых правых», рассчитанная, как они сами пишут, на десятилетия (вольно же им считать, что в их распоряжении такая масса времени!), предусматривает, собственно, два различных, но взаимосвязанных направления удара. Первое из них — это выработка универсальной наукообразной теории, которая могла бы полонить умы так называемой интеллектуальной элиты. Второе — овладение, посредством той же элиты, органами массовой информации. Правящий класс должен был бы тогда убедиться в жизнеспособности «новых правых», в том, что их идеи «работают». Соответственно варьируется тактика. Когда они адресуются к элите, «новые правые» излагают свои идеи обстоятельно и откровенно. Другое дело, когда они выходят на широкую публику. В этом случае они начинают ловчить: ратуя за аристократию, не отвергают демократию; не нападают на принцип равенства в открытую, но подставляют на его место «эгалитаризм», которому противопоставляют свое «право на различие»; проповедуют расизм под видом борьбы с расизмом и т. д.

Аристократизм, утверждает, например, Повель в широко разрекламированном сборнике «Правые сегодня», есть не что иное, как «чувство различий и укорененностей, связывающих каждого данного человека с той историей, которая является для него своей, каждый народ с определенной культурой и каждую культуру с определенной психологией». Выходит, что речь идет о чем-то общедоступном — была бы только добрая воля. Повель хитрит. В изданиях, не предназначенных для широкого читателя, «новые правые» без обиняков пишут, что аристократическое устройство есть господство аристократии, каковая, по их словам, немыслима без существования рабов. Но чтобы попытаться воскресить психологическое рабство, нужна, фигурально выражаясь, такая дудочка, которая могла бы чем-то заворожить слушателей и увести их из XX века назад, куда-то в плюсквамперфектум (давнопрошедшее время). И вот «новые правые» разрабатывают свой, приноровленный к сегодняшним запросам репертуар демагогических посуловуловок. Здесь и апелляция к «духу», и поучения на тему о том, что такое счастье, и прочее.

Порицая современный Запад за его «низменный материализм», «новые правые» становятся в позу поборников духовности. Западное общество, по словам Бенуа, превратилось почти что в один сплошной желудок, а надо, чтобы на первом месте был дух, на втором — сердце, а желудок лишь на третьем. Бенуа лукавит. Если уж изъясняться метафорически, первое, что отличает образцовое, по его понятиям, общество, это толстокожесть; а где у такого общества было бы сердце и все прочее, не столь уж и важно. Что касается вопросов «желудка», то есть экономики, то «новые правые», никоим образом ими не пренебрегая, хотели бы лишь изгнать их из идеологической сферы, чтобы те, кого они предназначили на роли рабов, как можно меньше пеклись о таких «низменных» сюжетах, как удовлетворение своих материальных потребностей. Это для них, для бедных, предназначены «педагогические» рекомендации «новых правых» о том, что необходимо-де воспитывать в себе «презрение к богатству». Лейтмотив публицистических выступлений Повеля: забота о материальном благополучии лишь отвлекает человека от его истинных потребностей. Много ли надо человеку для счастья? Оказывается, совсем немного. Надо лишь научиться довольствоваться тем, что есть, радоваться тому, что «послал бог». Не нужно жадничать, гоняться за химерами, не нужно равняться на других — и счастье само дастся в руки.

«...Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого». Нет, это написал не Бенуа и не Повель. Это мечта Великого инквизитора, созданного фантазией Ивана Карамазова, в свою очередь созданного Достоевским. Но здесь предвосхищена «формула счастья», которую «новые правые» хотели бы навязать миллионам новоявленных рабов — вместе с чувством страха и преклонения (еще раз процитируем Великого инквизитора) перед «десятками тысяч великих и сильных».

Собственно, теоретические претензии «новых правых» следует рассматривать скорее как курьез. Потуги выработать доктрину, которая стала бы противовесом революционной, марксистской мысли, неким ее негативом, самое отношение к теории, как бы дублирующее марксистское,— все это не более чем обезьянничанье. Но идеология «новых правых» в состоянии пробить себе дорогу не благодаря своей теоретической убедительности, доказательности, а благодаря своей пригодности, иначе говоря, нельзя исключать той возможности, что она может оказаться адекватной потребностям государственно-монополистической структуры. В большой мере это зависит от того, каков ее, так сказать, демагогический потенциал. «Новых правых» может вывести вперед не столько «наука», сколько искусство манипулирования, на что указал, в частности, Жильбер Вассерман в журнале французских коммунистов «Франс нувель», особо подчеркнувший то обстоятельство, что наиболее подверженным манипулированию может оказаться молодое поколение, не успевшее в достаточной мере выработать в себе критическое отношение к идеям подобного рода.

Зорко присматриваясь к тому, как складывается идеологическая конъюнктура, «новые правые» стремятся обратить себе на пользу то направление в массовом сознании, определившееся в последние годы на Западе, которое лишь условно можно назвать «неоконсерватизмом» (в отличие от неоконсерватизма без кавычек, теоретического). Его смутные идеалы среди прочего заключают в себе и нечто позитивное: можно ли оспорить, сколь необходимо для человечества дорожить традициями, «корнями», сколь важно ставить общественные интересы выше личных, не пренебрегать авторитетами и т. д.? Все эти позитивные, хотя и весьма абстрактные, пожелания у «новых правых» слиты в некую амальгаму с идеями архиреакционными архиохранительными, такими, какие еще совсем недавно не имели ни малейших шансов собрать сколько-нибудь широкую аудиторию.

Кто же вдруг решил «подключить» «новых правых» к системам массовой информации? Очевидно, те самые силы, которые добиваются реабилитации маршала Петена (иногда не прямо, а косвенно, под видом, например, «демифологизации» Сопротивления) или ратуют за ревизию идеологического наследия национал-социализма. Если после второй мировой войны идеи, вызвавшие к жизни Освенцим и Орадур, были подвергнуты почти единодушному остракизму, то сейчас участились попытки восстановить их в правах гражданства: дескать, сами по себе эти идеи были не так уж плохи или даже прямо-таки хороши, беда была в том, что они попали в плохие руки Гитлера и компании. Это стыдливый, «респектабельный» вариант апологии национал-социализма. Откровенные его последыши, не мудрствуя лукаво, заявляют, что Гитлер только тем был плох, что проиграл войну.

Но вернемся к «новым правым». Как и следовало ждать, буржуазно-либеральная пресса порицает их в достаточно резких выражениях. «Снова... ощущаем мы на себе дыхание зверя»,— так характеризует их вылазку французский публицист Жорж Урден в своей книге «Ответ «новым правым». Но вот что любопытно: та же либеральная пресса с большой готовностью предоставляет свои страницы для выступлений «новых правых». Разумеется, это делается во имя «свободы печати», хотя в иных случаях о ней почему-то забывают. Более того, создается впечатление, что некоторые вполне либеральные, вполне респектабельные издания ищут только повода, чтобы лишний раз пригласить на свои страницы «новых правых», дать им высказаться еще и еще. Редакторы при этом делают строгие лица и заявляют о своем «решительном несогласии», но почему-то ограничиваются самым минимальным комментарием к словоизвержениям «гостей», занимающим порою несколько полос. Как тут не вспомнить героя пьесы Ионеско: сначала он неприязненно прислушивается к реву носорогов, а потом вдруг замечает. «Их пенье не лишено приятности, немного резко звучит, но есть в нем какая-то своеобразная прелесть». Беранже (так зовут героя) все-таки нашел в себе силы противостоять повальному «носороженью», чего, между прочим, нельзя сказать об авторе пьесы. Эжен Ионеско, который так любит красиво рассуждать о значении культуры, о таинствах искусства и о трансцендентности,— один из первых и пока немногих французских интеллектуалов, открыто солидаризировавшихся с «новыми правыми».

Вариант «носороженья», выдвинутый «новыми правыми»,— свой, особенный, от всех других отличный. «Новые правые» не хотят поэтому, чтобы их сравнивали с фашистами. Президент Клуба настенных часов Иван Бло заявил, например, что он не помнит, чтобы фашисты некогда руководствовались теми же идеями, кои ныне проповедуют он сам и его коллеги. Конечно, идеология «новых правых» не тождественна идеологии фашизма двадцатых — тридцатых годов. В отличие от последнего, «новые правые» не заигрывают с социализмом, не афишируют свой расизм, а, напротив, вуалируют его, предпочитают национализму европеизм и терроризму — сциентизм. Есть и другие отличия. И все же состав идей в том и в другом случае имеет чрезвычайно много общего. Общими являются уже теоретические источники: Гобино, определенным образом истолкованный Ницше, превратно понятый Вагнер и т. д. Отсюда ряд основных начал, разделяемых «новыми правыми» и «старым» фашизмом: культ силы, варварской простоты и «целомудрия», «вождизма» и расовой чистоты. Даже конкретные образы — образцы у них одни и те же: шеястые Зигфриды и щекастые Брунгильды (имеющие некоторое отдаленное отношение к героям вагнеровских музыкальных драм), что красовались на плакатах третьего рейха,— служат идеальным примером и для «новых правых».

Конечно, «новые правые» не вышли на тот уровень бесчеловечности, который навсегда обеспечил гитлеризму место у позорного столба истории. Но ведь господа Бенуа, Повель и иже с ними еще не носороги. Они только задались целью вырастить носорожье племя. Сумей они это сделать, кто знает, как далеко пошли бы новоявленные зигфриды, какие новые гекатомбы могли бы они придумать, какое насилие учинили бы над культурой. Ведь и приход к власти фашистов, хватавшихся за пистолет при слове «культура», подготовили люди куда как культурные. Заметим, что их французская национальность дает «новым правым» как бы некоторую фору (сравнительно, например, с их западногерманскими коллегами) в борьбе за умы и сердца: не на французах лежит вина за преступления фашизма, за них несет ответственность, во всяком случае в первую очередь, их зарейнский сосед (петенизм, что бы там ни кричал Леви,— все-таки производное от гитлеризма). Франция же, напротив, славна своими демократическими традициями. Сами «новые правые» полагают, со своей стороны, что как раз демократические традиции составляют «вину» Франции перед миром. Здесь, в Париже, некогда был зажжен светильник Просвещения, здесь в одно «роковое» утро Ка-

---

Ю. КАГРАМАНОВ
ЕЩЕ О НОСОРОГАХ

миль Демулен призвал народ идти на штурм Бастилии, имевший неисчислимые последствия... Долг французов, заявляют «новые правые»,— «искупить грех», исправить допущенные «ошибки». Между прочим, в 1814 году роялисты уже пытались это сделать, удалив из пантеона прах Вольтера и Руссо и выбросив его на свалку.

Подведем кое-какие итоги. «Новые философы» и «новые правые» выступили с диаметрально противоположных позиций — в рамках буржуазной идеологии и, уже, одного «мыслительного пространства». Те и другие поставили одну задачу — создавать новый ландшафт культуры, но представили разные модели. «Новые философы» хотели бы по возможности все выровнять, чтобы везде одинаково сквозило. Идеал «новых правых»: сильно пересеченная местность, где, однако, отовсюду ясно просматриваются господствующие высоты. Эгалитаризм в первом случае и аристократизм во втором — два разных варианта нигилистического отношения к «традиционной» гуманистической культуре, к живому — подчеркиваю: живому, живущему в настоящем — историческому прошлому (тем и другим «ничего не жаль»). Только у «новых философов» нигилизм представляет по сути альфу и омегу их мировоззрения, а у «новых правых» это этап на пути к реставрации, на новой основе, архаических порядков.

Выступление «новых философов» и «новых правых» — яркое свидетельство размывания либерализма — идеологии, господствующей в капиталистическом мире, и возникновения в результате этого полярных, внутри определенных границ, движений и течений. При всей их полярности, однако, «новых правых» и «новых философов» связывает род сообщничества. Разумеется, речь идет не о сознательном сообщничестве, но об объективно складывающихся отношениях. Автор статьи о «новых правых» в американском журнале «Сатердей ревью» совершенно справедливо заметил, что «их («новых правых») путь был вымощен «новыми философами». Антикоммунизм «новых философов», их стремление дискредитировать марксизм «изнутри» (как если бы они, в бытность свою «новыми левыми», и впрямь являлись марксистами) сыграл на руку именно правым, «новым» и старым. Далее, все то ценное, что «новыми философами» было втоптано в грязь: принцип авторитета, институт школы, этика долга, конструктивное, целеполагающее теоретическое мышление,— «новые правые» поторопились поднять и присвоить, превратив в орудие для достижения своих зловещих целей. Наконец, старческая разуверенность (молодых!) «новых философов» во всем и вся выигрышным образом оттенила «оптимистическую» позицию «новых правых», которые хотели бы выглядеть хранителями секрета некоего «эликсира молодости», заявляя, будто они одни «не опускают рук» перед проблемами, одолевающими сегодня человечество.

В то время как на сумеречном — для буржуазного мира — небосклоне загорается «звезды апокалипсиса», как кто-то назвал «новых философов», утробный голос новоявленной «Майастры» сулит «возрождение» на выбранном ею — сумеречном же — пути, означающем нисхождение к началу, продуманное сползание в туман варварства.

И последнее. Шумная круговая, во все стороны, пальба, которую «новые философы» ведут «по фашизму», опять-таки облегчает «новым правым» их наступательные действия. Инсинуации вроде «Французской идеологии» Леви создают аберрацию в оценках, мешают увидеть, откуда исходит реальная угроза фашизма. А угроза — вот она, тут как тут. В ее контурах есть нечто хорошо знакомое, есть и незнакомое — или, вернее, нечто «из другой оперы». Но ведь это маловероятно, чтобы фашизм мог возродиться в том же самом черно-коричневом варианте, что вызывает сегодня дрожь отвращения у всех порядочных людей. Боа-констриктор имеет обыкновение сбрасывать кожу. Иваны бло, не помнящие родства, тем особенно и опасны, что их могут принять не за тех, кем они являются.

◆

ДЖЕНЕТ БРУИН

ГОЛОСА ХИРОСИМЫ

Сидзуко Такаги и Кадзуэ Миура встретились в день праздника танабата — он считается в Японии днем благоприятных предзнаменований,— по преданию, в этот день в небесах воссоединились две одинокие звезды. Для двух этих женщин праздник танабата не мог стать днем по-настоящему благоприятных предзнаменований. Обе они были жертвами взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму двадцать два года назад. Хорошо зная, что в Осаке есть еще сотни и сотни женщин, которые молчаливо несут такое же, как они, бремя физических и моральных страданий мучительной тревоги за здоровье детей, страха за будущее человечества, Сидзуко и Кадзуэ твердо решили найти способ связаться с ними.

С помощью организаций сторонников мира им удалось получить через неофициальные каналы — «в нарушение правил» — список жителей Осаки, имеющих официальное свидетельство о том, что они — жертвы атомной бомбардировки. Они посещали в больницах и домах женщин, пострадавших от атомного взрыва, и сумели уговорить многих из них прийти на первые собрания. Эти встречи, на которых было пролито немало слез, должны были дать выход тем тягостным чувствам, которые были глубоко спрятаны в течение долгих двадцати двух лет. К сентябрю 1967 года, после огромной подготовительной работы, после многих проб и ошибок, начала свою деятельность Женская секция Осакской ассоциации жертв атомной бомбардировки.

Весть о создании секции, где можно найти сочувствие, понимание, поддержку и конкретную помощь, быстро распространилась, и все больше и больше жертв атомной бомбардировки стало прибегать к ее услугам. Власти города Осака, сознавая, сколь необходимы эти услуги, предоставили Женской секции служебное помещение и небольшую ежегодную субсидию для оплаты консультантов (которые сами являются уцелевшими жертвами атомного взрыва), проведения исследований и публикации их результатов. За прошедшие годы несколько сот пострадавших во время взрыва атомной бомбы обращались в секцию, чтобы посоветоваться с консультантом о своих личных проблемах и получить информацию о полагающихся им пособиях и льготах.

А поскольку государственные власти сплошь и рядом утаивают такую информацию и зачастую отказывают в пособиях, секция вела с ними многочисленные затяжные юридические битвы от имени своих клиентов. Эти юридические сражения оказались необходимыми — люди, пострадавшие от атомного взрыва, до сих пор ни от кого не получили заверений об обязанности хоть в какой-то мере и форме компенсировать причиненный им ущерб. В настоящее время секция при содействии юристов изучает закон о мерах по оказанию помощи жертвам Хиросимы и Нагасаки и рассматривает вопрос о возможности возбуждения судебного дела против властей. Их цель — добиться, чтобы закон обеспечивал людям, пережившим атомный взрыв, подлинную защиту, равно как и юридическую основу их реальных прав на мирную жизнь.

Многие из пострадавших пишут теперь воспоминания, призванные стать не только историческими документами, но и предостережением о последствиях, которыми чревато применение ядерного оружия и само его существование. Это — их вклад в борьбу за сохранение жизни на Земле, их тревожит, что в последнее время на страницах пе-

---

ДЖЕНЕТ БРУИН — JANET BRUIN.

Американская журналистка (живет в Швейцарии), редактор печатного органа, издаваемого Международной женской лигой «За мир и свободу» («Pax et Libertas»).
Статья «Голоса Хиросимы» получена редакцией в рукописи.

чати не появляются материалы об ущербе, причиняемом ядерными взрывами, и об их отдаленных последствиях. Возможно, речь идет о преднамеренном заговоре молчания, имеющем целью оправдать создание огромных запасов ядерного оружия и скрыть от людей всего мира правду о действительной опасности его применения.

В ранней юности я прочла несколько сильных, впечатляющих книг и статей об ужасах атомных взрывов, но сейчас такого рода информацию встречаешь редко. Во время моего пребывания в Японии одна приятельница рассказала мне об активных действиях Женской секции и устроила встречу с ее членами.

По дороге в Осаку я пыталась представить себе, какой меня ждет прием. А что, если мое американское гражданство навлечет на меня их накапливавшийся годами справедливый гнев? Да и может ли человек, жестоко пострадавший от атомного взрыва, не испытывать горьких чувств?

«Хибакуса». Жертвы атомной бомбы. Приемная консультантов: восемь обращенных в мою сторону лиц, каждое освещается в момент знакомства застенчивой, мягкой улыбкой. Из многочисленных бесед, впоследствии состоявшихся у меня с этими женщинами, я поняла, что гнев их обращен сегодня уже не к тому, что случилось с ними более трети века назад, их тревожит продолжающееся накопление и совершенствование смертоносного оружия, жертвами которого могут стать все люди земли.

Женщины охотно согласились рассказать мне о пережитом.

— Ведь мы — единственное доказательство губительных последствий применения ядерного оружия,— говорили они,— и хотя нам мучительно рассказывать о своих несчастьях, это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы предупредить людей о нависшей над человечеством страшной угрозе, усугубляемой гонкой вооружений. Если это поможет отвратить угрозу всеобщего уничтожения, значит, наши страдания все же не были напрасными.

6 августа 1945 года... За две недели до этого дня Сидзуко Такаги уехала из Осаки, чтобы поступить в открывшийся в Хиросиме новый женский колледж. Ей исполнилось семнадцать лет, она была полна молодого оптимизма и жажды знаний. После того как закончилось утреннее собрание, она поднялась в один из лекционных залов. Вдруг ослепительная вспышка света «ярче тысячи солнц» и чудовищный взрыв непоправимо поломали всю ее жизнь.

Здание колледжа обрушилось, ее придавило тяжелыми деревянными балками. Она сумела выбраться из-под обломков, вся в крови, израненная осколками стекла, которые впились ей в лицо, шею и руки. Через несколько мгновений после того, как огненный шар коснулся земли, повсюду запылали пожары. С помощью подруги ей удалось убежать от быстро надвигавшейся стены огня на летное поле аэродрома; добравшись до него, она потеряла сознание. Если бы до наступления темноты она не пришла в себя, ее тело, как и тела других бесчисленных жертв атомного взрыва, облили бы керосином и сожгли на погребальном костре из человеческой плоти, разожженном посреди этого поля.

Но она смогла отползти прочь и несколько последующих дней, сама едва живая, оказывала первую помощь пострадавшим, которых помещали под сооруженными на скорую руку навесами.

— Пострадавшие все прибывали, а медикаментов не хватало,— вспоминает она.— В мою задачу входило выбирать червей из гноящихся ран и смазывать палочкой, смоченной растительным маслом, обожженные участки тела у сотен людей, получивших такие тяжелые ожоги, что их не спасло бы даже самое лучшее медицинское обслуживание...

Врачи были уверены, что Кадзуэ Миура умрет от таинственной болезни, которая стала причиной смерти стольких людей, находившихся в районе взрыва. Восемнадцатилетняя телефонистка Кадзуэ работала в помещении хиросимской телефонной станции, когда в каком-нибудь полукилометре от этого здания взорвалась атомная бомба. Среди тех, кто находился так близко от эпицентра взрыва, уцелели считанные единицы, можно полагать, что Кадзуэ осталась в живых просто чудом; Женская секция назвала ее «национальным сокровищем на службе мира».

Кадзуэ не может без содрогания вспоминать, как она выбиралась из здания после взрыва.

— Все было залито кровью; и молодые и старые в ужасе кричали «мама!». Я пристала к безмолвной процессии искалеченных существ, пробирающихся через мертвую пустыню, в которую превратился цветущий город. Ошеломленные, потерявшие дар речи люди изнемогали от жажды; пытаясь утешить плачущих детей, сама я не могла произнести ни слова от слез.

Ее отец, брат и сестра, по-видимому, погибли в момент взрыва, а мать умерла несколько дней спустя от лучевой болезни. Кадзуэ, у которой тоже обнаружили симптомы этой болезни, выкарабкалась, хотя и продолжала страдать от кровотечений из носа от анемии. Она переехала к своим сестрам, жившим в Осаке. Впоследствии она вышла замуж, через некоторое время у нее родился мертвый ребенок. Потом она родила еще двоих детей: сына, который, по-видимому, здоров, и дочь, у которой развилась анемия, понижено давление, расшатана нервная система.

— Моя семья каждый год отмечает день памяти всех наших погибших родных,— рассказывала Кадзуэ,— но моей дочери стали ненавистны любые напоминания о бед-

ствии, причинившем всем нам столько горя. А когда ей было четырнадцать лет, она задала мне вопрос, который я так страшилась услышать: «Мама, зачем ты родила меня? Ведь ты — жертва атомной бомбы, ты не должна была производить меня на свет». Я давно ожидала этого вопроса, но,— продолжала она,— сколько я ни готовила себя к нему, ничто не смогло смягчить жестокого удара, причиненного ее словами. Я ответила, что много думала, прежде чем решиться на этот шаг.

«А что бы ты стала делать, если бы я заболела лейкемией?» — спросила у нее дочь. «Я бы ничего не смогла поделать»,— честно ответила несчастная мать.

— Это был самый горький момент в моей жизни,— сказала Кадзуэ, сдерживая слезы.— Подумайте только, моя дочь, родившаяся через много лет после войны, к которой она не имела никакого отношения, оказывается такой же ее жертвой, как я! Кто бы мог предположить, что это страшное оружие, примененное якобы против военных объектов, подвергнет мукам ада поколения людей, еще не родившихся на свет?!

Так сложилась судьба Кадзуэ Миуры — одна из судеб женщин, которым случилось жить в «стратегических военных районах» в тот момент, когда было принято решение применить самое страшное оружие, какое только знала мировая история. Кем бы ни были эти женщины в 1945 году — маленькими девочками, девушками-подростками, студентками, матерями, работницами,— никто из них никогда не держал в руках ружья, не летал на военном самолете, не участвовал в военных действиях...

Фумико Нонака собиралась уехать в Осаку накануне 6 августа, но из-за вызванных войной перебоев в работе железнодорожного транспорта билеты на поезда не продавались. Смирившись с неизбежным, она погожим утром в понедельник отправилась на работу в бригаду, трудившуюся в центре Хиросимы. Буквально через несколько секунд после ее прибытия одна из работниц показала на пролетавший у них над головой самолет — бомбардировщик «Т-29», но никто не думал, что он таил такую жуткую угрозу. Бомбардировщик сбросил свой смертоносный груз, Фумико потеряла сознание...

— Клочья одежды и лоскуты кожи свисали с моего тела наподобие поджаренных сушеных трепангов,— рассказывает она.— Должно быть, меня отвезли на пункт первой медицинской помощи. Лицо распухло так, что меня нельзя было узнать, шея и руки были сильно обожжены, я ничего не видела. Муж разыскивал меня по всем временным госпиталям и, узнав мое обручальное кольцо, крикнул мне в ухо: «Ты — Фумико?»

Да, это была Фумико, и она осталась в живых, как и еще примерно 370 000 японцев, 60 000 корейцев и граждан двадцати других стран, находившихся в момент взрыва в двух городах, на которые были сброшены атомные бомбы. После атомных взрывов на них обрушились ужасные болезни, зачастую неизлечимые. Лейкемия, рак, анемия, рубцы в результате ожогов, разрастание щитовидной железы, помутнение глазных хрусталиков, незаживающие шрамы и язвы, «симптомы слабости как следствие атомного облучения», нарушения в генетическом механизме, внезапная смерть от инфекции...

У Сидзуко Такаги содержание лейкоцитов в крови в течение нескольких лет было ниже 3000 при норме 7000—8000. Только через двадцать с лишним лет тридцать восемь багровых шрамов у нее на лице стали менее заметны. Злокачественная анемия, опухоли, появившиеся в связи с пониженным мышечным тонусом, мучительные воспаления уха, боли в ногах, не покидающая тревога за судьбу детей...

Потеря зрения у Фумико Нанаки была временной, но следы ожогов остались на всю жизнь. Она много раз и подолгу лежала в больницах, где ей пришлось перенести сложнейшие пластические операции. Все расходы по лечению она оплачивала из собственного кармана: меры по оказанию государственной помощи жертвам атомной бомбы принимались с большим запозданием, большинство пострадавших еще долго понятия не имели, могли ли они рассчитывать на какую-то помощь. Фумико Нанака, чье лицо и руки покрылись келоидными рубцами, не могла нормально есть и заняться лечением поврежденных зубов, пока ей не сделали операцию,— пришлось разрезать сросшиеся уголки рта...

Теруко Накагава была в 1945 году четырнадцатилетней школьницей. Бомба взорвалась сразу после того, как ученицы ее школы прочли общую молитву о ниспослании счастья и благополучия.

— Меня задел летящий осколок стекла, и тут же я оказалась под обломками школьного здания,— рассказывает она.— Каким-то образом удалось спастись, но через две недели начались муки лучевой болезни. Врачи могли сказать лишь одно: причина этих симптомов — взрыв «бомбы нового типа». У меня вылезли волосы, десны кровоточили, все тело покрылось нарывами, температура поднялась выше 40 градусов. С тех пор я постоянно страдала малокровием, а несколько лет тому назад заболела раком...

Не меньше страданий, чем неизлечимые физические недуги, подорвавшие их здоровье и обезобразившие их внешность, причиняют уцелевшим жертвам атомных взрывов невидимые миру раны скорби по погибшим близким. Статистика приводит данные о количестве погибших и пострадавших, но она бессильна рассказать о горе в связи с утратами, которое испытали те, кому довелось уцелеть.

9 августа Тосико Накамура, мать шестерых детей, прибиралась в бомбоубежище, вырытом на склоне холма неподалеку от ее дома в Нагасаки. Вдруг полыхнуло зарево — выбравшись из укрытия, она увидела картину бедствия. Крепкие бамбуковые пальмы сломало взрывом, их стволы были раскиданы по земле; могучие камфорные деревья лишились листвы и стояли голые, с поломанными ветвями. Все вокруг, в том числе и ее дом, было объято пламенем.

— Я не могла даже близко подойти к дому, он пылал как факел, мне ничего не оставалось, как бежать прочь вместе с несколькими похожими на привидения фигурами, вынырнувшими из моря огня. Когда я вернулась туда назавтра, остатки моего дома все еще тлели. Мысль о том, что под ними, возможно, погребена вся моя семья, едва не свела меня с ума. Я побывала у родственников и только тут узнала от них, что мое лицо обожжено и покрыто черными струпьями; впрочем, я не придала этому никакого значения. Единственное, о чем я думала,— как оказаться вместе с моими детьми. На третий день,— продолжала Тосико свою скорбную повесть,— я вернулась на пепелище и принялась раскапывать развалины. Из-под обгоревших обломков показалось что-то белое и круглое. Проходивший мимо солдат сказал, что это череп мужчины лет тридцати — сорока. «Значит, это череп моего мужа»,— подумала я. Бережно подняв череп обеими руками, я положила его на камень. Один за другим я выкопала еще шесть черепов, рядом с которыми нашла значки моих детей в виде бабочек. Я сожгла останки моих близких, положила пепел в каску и крепко прижала ее к груди. Слез у меня не было...

Одинокая, потрясенная пережитым, больная, убитая горем, готовая наложить на себя руки, она, как сомнамбула, бродила по улицам города, останавливаясь у досок объявлений в тщетной надежде прочесть уведомление о том, что кто-то из ее родных остался в живых. Она до сих пор не оправилась от потрясения и горя, пережитого ею в результате того рокового мгновения.

Медленно погибали от лучевой болезни одиннадцать родственников Тойоко Фудзикавы, умерших на протяжении нескольких недель. После взрыва атомной бомбы Тойоко и ее муж вернулись домой, она с поврежденным бедром (взрывной волной ее сбросило с холма), а он, казалось бы, целым и невредимым. Через две недели у него обнаружилась лучевая болезнь.

— Врачи не имели понятия, как ее лечить,— говорит Тойоко.— Единственное, что они могли посоветовать,— это поместить больного в прохладное место дома и кормить его свежими продуктами. Я заботливо ухаживала за ним, но даже то лечение, которое рекомендовали врачи, стало невозможным, его рот так ужасно распух, что он больше не мог есть. Неделю спустя он умер. Тогда я стала ухаживать за семьей моего дяди. Все члены его семьи заболели и лишились рассудка. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Один за другим они умерли у меня на глазах.

Шли годы, по мере сил эти женщины старались приспособиться к своему новому положению. Болезни, физическая немощь, социальная дискриминация, бедность — в большинстве случаев она была предрешена потерей кормильцев, снижением собственной работоспособности — отравляли их существование, не позволяя окрепнуть надежде на что-то лучшее. Статус жертвы атомной бомбы сплошь и рядом становился для женщин, желавших выйти замуж, непреодолимой помехой к браку.

Теруко Накагава страстно мечтала о замужестве, но в течение всего ее десятилетнего пребывания в Хиросиме каждый раз, когда ее знакомили с возможным женихом, тот отвергал ее, как только узнавал, что она — жертва атомной бомбы. Впоследствии она, правда, встретила доброго, душевно близкого ей человека, они поженились. При его поддержке Теруко старалась забыть о прошлом, но рак жестоко напомнил о нем...

Другие женщины, такие как Кияко Тадзима, приняли решение не выходить замуж. В 1945 году ей было всего два года, и в памяти у нее не сохранилось страшных историй. Она была тогда еще слишком мала и не знала, что в результате взрыва бомбы она осиротела и была удочерена семьей, жившей на острове неподалеку от Нагасаки. Знала только, что страдает рядом физических недостатков: частичной потерей зрения вследствие помутнения хрусталика, жестоким малокровием и общей слабостью, вызванной болезнью сердца.

И вдруг в двенадцатилетнем возрасте ей вручили свидетельство о том, что она является жертвой атомного взрыва.

— Когда я получила свидетельство и узнала, что я — приемыш, меня как громом поразило,— говорит она.— Ведь до этого мне было лишь известно, что я очень болезненная и даже не могу участвовать в школьных экскурсиях. Это было страшное потрясение — узнать, почему у меня такое слабое здоровье.

Она сумела закончить неполную среднюю школу, но сил для того, чтобы продолжать свое образование или поступить на постоянную работу, у нее уже не было. Достигнув «брачного возраста», она трезво оценила свои перспективы и сознательно обрекла себя на одиночество. В 1978 году она подверглась операции: ей удалили злокачественную опухоль. Благодаря заботам подруг из Женской секции Кияко все же в какой-то мере справилась с отчаянием. Их поддержка стала для нее жизненной опорой, которая помогает ей отодвигать черные мысли о своей «непохожести на других», ненужности, оторванности от людей.

Фумико Нонака оказалась жертвой атомной бомбы, уже будучи замужем, но впоследствии муж оставил ее. Келоидные рубцы обезобразили ее красивое лицо, шею и руки, здоровье ее настолько ослабло, что она не могла рожать детей. Ее муж сблизился с другой женщиной, и та родила ему сына. В обмен на обещание, что он уйдет от той женщины, Фумико вызвалась вырастить этого ребенка как своего собственного. И хотя муж не сдержал своего обещания, она относилась к мальчику с самозабвенной любовью и подняла его на ноги, несмотря на ужасную нищету.

— Если бы не мое лицо, из меня получилась бы замечательная гейша,— шутит она. Лишившись средств к существованию, Фумико пошла работать поденщицей — эту

работу она получила в рамках правительственной программы трудоустройства беднейших граждан Японии. Хотя зачастую Фумико с трудом удавалось подняться с постели, ей приходилось помногу часов подряд заниматься тяжелой работой, чтобы прокормить себя и ребенка. Сейчас она больше не работает и получает специальные пособия, которые стали выплачивать только после активного вмешательства Женской секции.

Для многих женщин, потерявших мужей во время атомных бомбардировок, новый брак отнюдь не обязательно означал, что всем их трудностям настал конец. Тосико Накамура вышла замуж за человека, который обещал ей свою помощь, но бросил ее, узнав, что она ждет ребенка. Нужда заставила ее заняться шитьем, но детская одежда, которую она шила, вызывала у нее невыносимые воспоминания о ее погибших детях. Скитаясь вместе с родившейся дочерью из города в город, она работала прислугой, жила в ужасных условиях, страдая от болезней, доставшихся в наследство от времен атомного взрыва.

— Когда я пришла за карточкой страхования здоровья жертвы атомной бомбы,— говорит она,— чиновник язвительно заметил, что я, мол, счастливица, потому что благодаря карточке получу все, что мне понадобится. Его слова привели меня в ярость. Я швырнула карточку на пол и крикнула: «Зачем мне эта карточка?! Лучше отдайте мне моего мужа! Отдайте мне моих шестерых детей!»

В настоящее время Тосико получает пенсию, которая, наконец, была назначена ей несколько лет тому назад после того, как Женская секция уведомила ее, что она имеет право на нее по закону о получивших ранения и увечья или лишившихся близких в результате войны.

Нередко черствость окружающих, непонимание трагичности их положения обрекали тяжко пострадавших женщин на дальнейшие невыразимые страдания. Например, родственники Тойоко Фудзикавы со стороны мужа объявили ее виновницей его смерти и изгнали ее, бездетную, из дома. Она вышла замуж вторично и решила родить. Ее первый ребенок появился на свет мертвым.

— Никто тогда не знал о пагубных последствиях облучения для плода, зато молва уверяла, что выкидыши и мертворожденные бывают у тех, кто болен сифилисом,— с горечью рассказывала она.— Людей предупреждали, чтобы они не ели и не мылись вместе с женщинами, у которых были выкидыши или рождались мертвые дети, и мои соседи перестали со мной общаться. Только после медицинской проверки на реакцию Вассермана я смогла представить доказательства того, что у меня нет этой болезни.

Впоследствии Тойоко родила дочь. Однако постепенно и со все возрастающей тревогой она убеждалась, что история ее страданий повторяется вновь в судьбе девочки, которая нуждается в постоянном врачебном надзоре.

Мало-помалу стала заявлять о себе трагическая правда о воздействии радиоактивного излучения на второе поколение, то есть на детей женщин, пострадавших от атомного взрыва. В ту пору, когда у большинства этих женщин начали рождаться дети, вопрос о последствиях облучения для здоровья потомства еще даже не был поставлен. До недавнего времени мы обладали лишь отрывочными сведениями, но факты накапливаются, и картина теперь ясна. У большинства женщин, подвергшихся облучению во время беременности, дети погибли. В числе немногих младенцев, выживших в утробе матери, оказывались микроцефалы и умственно отсталые. Почти все женщины — жертвы атомной бомбы, забеременевшие в первые пять лет после облучения, либо имели выкидыши, либо родили мертвых детей.

Трудно вообразить себе такое: оружие, примененное много лет назад, в годы войны, убивает или калечит ребенка в мирное время! И тем не менее исследования показывают, что эти дети часто заболевают лейкемией и анемией; многие из них страдают умственной отсталостью, размягчением костей, а также целым рядом других тяжелых недугов. Из всех бед, которые свалились на женщин, пострадавших от атомных взрывов, нет худшего несчастья, чем гнетущее беспокойство за жизнь, здоровье и счастье «нисей хибакуса» — второго поколения жертв атомной бомбы. Они считают, что, каким бы тяжким страданием ни подвергла атомная бомба их самих, это ничто по сравнению с той жестокой долей, которая была уготована их детям.

Десятилетняя Сумико Минэ попала в Нагасаки после взрыва атомной бомбы — она надеялась отыскать здесь своего брата. Когда она вернулась в родную деревню, у нее появились симптомы лучевой болезни, и несколько лет после этого она была очень болезненна.

— Я считала, что мне не следует выходить замуж, но мои родные и друзья переубедили меня,— запинаясь, рассказывает она,— и я вышла-таки замуж. В 1958 году у меня родился сын, а в 1959 году — дочь.

Ее семья переехала в Осаку, и здесь на Сумико одно за другим обрушились страшные бедствия. В 1967 году от производственной травмы погиб муж, оставив ее одну с двумя малолетними детьми. В 1972 году умерла от лейкемии дочь Джанко. Осталась единственная радость в жизни — сын Кен'ичи, в котором она души не чаяла.

В 1974 году у Кена обнаружились симптомы болезни, которая была диагностирована как ревматизм. И только после того как учитель навестил Кена в больнице и, узнав о том, что в детстве его мать подверглась облучению в Нагасаки и что его сестра умерла от лейкемии, настоял на повторном обследовании, был поставлен верный диагноз: лейкемия. Кену оставалось жить совсем немного. Несмотря на сердечную поддержку школьных товарищей (они подарили ему тысячу бумажных журавли-

ков — в знак их общей надежды на его выздоровление); несмотря на переливания крови, которую самоотверженно отдавали ему друзья; несмотря на заботливый уход любящей матери и на свою собственную неистовую волю к жизни, Кен'ичи Минэ умер 6 августа 1975 года в возрасте семнадцати лет.

Борьба Сумико с жизнью, обрушивавшей на нее удар за ударом и отравившей ее сознание чувством собственной вины, становилась непереносимой. Ее терзали неотвязные вопросы: «Зачем я вышла замуж?», «Зачем я родила этих несчастных детей?», «Зачем мне теперь жить?» Членам Женской секции пришлось проявить немало терпения и понимания, чтобы утвердить в ней желание жить и избавить ее от мыслей о самоубийстве.

Женщины, которые пережили атомную бомбежку и впоследствии родили детей, в большинстве своем до сих пор, как и Сумико Минэ, терзаются сомнением, правильно ли они поступили, став матерями. Их неотступно преследует страх за своих детей, которых, как им теперь известно, может в любой момент поразить смертельная болезнь.

Смерть Кен'ичи Минэ через тридцать лет после ядерной бойни усилила тревогу тех, кому удалось уцелеть в ней, за здоровье и счастье второго поколения жертв атомной бомбы. Сидзуко Такаги было известно о восьми случаях смерти от лейкемии в одной только Осаке среди детей, уцелевших свидетелей атомных взрывов. Гибель Кена потрясла ее особенно сильно: у нее самой был сын — ровесник Кена.

В том же 1975 году Сидзуко Такаги получила возможность рассказать об этой трагедии людям всего мира: ее выбрали представлять Женскую секцию в японской национальной делегации, посланной в Организацию Объединенных Наций. Вооружившись петициями со множеством подписей, которые собирали по 6 и 9 числам каждого месяца, Сидзуко встретилась с Генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом, с представителями различных государств при ООН, с американскими конгрессменами. Она выступила с призывом заключить обязательное для всех международное соглашение о запрещении разработки, производства, хранения, испытания, применения, распространения и размещения ядерного оружия, с тем чтобы никогда впредь драгоценная жизнь ребенка не оборвалась от взрыва ядерной бомбы в годину войны или в результате ядерного облучения в мирное время.

«Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были достаточно страшным оружием, но ведь это — сущие игрушки по сравнению с куда более разрушительной военной техникой сегодняшнего дня,— заявила она.— Со времени окончания второй мировой войны состоялись буквально тысячи встреч и заседаний, посвященных переговорам о разоружении; я могла бы добавить, что переговоры эти велись недемократично, без учета миролюбивых устремлений всего человечества. Всерьез они не приблизили нас к запрещению ядерного оружия. Качественное и количественное «усовершенствование» этого оружия грозит нам уничтожением. Ведь оно вполне может быть пущено в ход — по ошибке, вследствие безумия или сознательно. Покуда государства не договорятся о скорейшем разоружении, не начнут тратить те 400 миллиардов долларов, что ежегодно расходуются на вооружение, на охрану здоровья и повышение благосостояния народов всего мира и не научатся разрешать свои конфликты мирным путем, будет существовать реальнейшая возможность того, что все, созданное трудом человечества за его долгую историю, окажется уничтоженным в течение нескольких минут».

Словно от имени обращенной в пепел Хиросимы прозвучал голос женщины, призвавшей единственно разумно подойти к проблеме обеспечения мирного будущего для нашей планеты. Ее заявление придало особый вес призыву неправительственных организаций, входящих в систему ООН, и Конференции неприсоединившихся стран созвать специальную сессию ООН, посвященную этой проблеме.

Японцы — жертвы атомных бомб — с большим оптимизмом ожидали открытия Специальной сессии Организации Объединенных Наций, посвященной разоружению, которая состоялась в 1978 году: ведь ее созыв знаменовал собой новый этап в деятельности ООН в области разоружения. На этот раз в штаб-квартиру ООН направился сын Сидзуко Такаги, самый молодой член делегации японских неправительственных организаций.

С его помощью в Организацию Объединенных Наций было доставлено двенадцать с половиной тонн бумаги с двадцатью миллионами подписей японцев под призывом широко распространить во всем мире информацию об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и о страданиях жертв атомных взрывов, объявить применение ядерного оружия вне закона, как преступление против человечества, заключить соглашение о полном запрещении ядерного оружия. Сидзуко Такаги видела и слышала выступление сына, передававшееся по телевидению из Нью-Йорка.

Это были счастливейшие минуты в ее жизни. Ее сын обратился с речью к многотысячному собранию людей со всего света. «Меня зовут Нобухико Такаги,— прогремел его голос, усиленный микрофоном.— Я прибыл из Японии, чтобы потребовать запрещения ядерного оружия».

Особенно громко прозвучали голоса протеста против ядерного оружия во время Международного года ребенка. «Ни одному ребенку в мире не может быть гарантирована мирная жизнь, покуда на свете больше солдат, чем врачей и учителей, и покуда в ходе гонки вооружений создается все более смертоносное оружие»,— заявила Кадзуэ Мируя, бабушка троих внуков, незадолго до своей смерти от рака желудка в

апреле 1980 года. В своем последнем заявлении, которое как бы явилось ее духовным завещанием, она предостерегала: «Мы должны положить конец этому безумию, потребовав немедленного запрещения ядерного оружия. Мы должны незамедлительно принять действенные меры, чтобы добиться полного и всеобщего разоружения. Если мы не сделаем этого, под угрозой окажется само будущее человечества».

Настоятельный призыв Кадзуэ Миуры был подхвачен ее соратницами. Сидзуко Такаги, встав с больничной койки (после операции по удалению осколков стекла, остававшихся у нее в тканях шеи со времени взрыва бомбы), отправилась вместе со своей дочерью Йосико в Копенгаген на всемирную конференцию, проводившуюся неправительственными организациями, входящими в систему ООН. Она призвала женщин всего мира сделать борьбу за мир и разоружение своей первоочередной задачей.

«До тех пор, пока 600 миллиардов долларов, ежегодно расходуемых ныне на вооружение (обратите внимание, как возросла эта цифра за несколько последних лет.— Д. Б.), не будут переассигнованы на образование, обеспечение всеобщей занятости, здравоохранение и социальное обеспечение, женщины не добьются равноправия и не достигнут значительных успехов в своей борьбе»,— заявила она участницам форума, собравшимся со всего света.— Женщины, само предназначение которых — давать жизнь и оберегать жизнь, внесут свой вклад в мобилизацию масс на борьбу за предотвращение третьей мировой войны.

Казалось бы, ни один здравомыслящий человек, осведомленный о трагедии Хиросимы и Нагасаки, не должен стоять в стороне и допускать возможность дальнейшего применения ядерного оружия. И тем не менее администрация США, как известно, готовится к «ограниченной и продолжительной ядерной войне»; пытаясь примирить нас с безумием подобной стратегии, нам внушают, будто ядерную войну можно удержать в ограниченных рамках, будто ее можно выиграть и притом остаться в живых. Все это делается вопреки предостережениям многих военных специалистов, которые утверждают, что идея ограниченной ядерной войны несостоятельна и что стоит только раз прибегнуть к ядерному оружию, как вспыхнет мировой пожар. Вместе с тем производятся подсчеты, согласно которым потери в ядерной войне составят сотни миллионов человек, несмотря на официальные заверения, будто планируются только удары по военным целям. Новая перспектива радиоактивного заражения хрупких жизненных систем планеты чревата неизбежным несчастьем для тех, кто чудом смог бы остаться в живых.

Слишком долго мы мирились с тем, что нашим будущим распоряжаются «эксперты», которым совсем не дороги наши интересы. Вопрос о ядерном оружии настолько важен, что его нельзя оставлять в ведении тех генералов, для которых война — профессия; фабрикантов оружия, которых обогащают их смертоносные изделия; тех политиков, многие из которых исходят из того, что война и производство оружия — залог экономического процветания их стран. Мобилизация международных сил, положившая конец войне во Вьетнаме, вселила надежду в сердца людей, переживших взрыв атомной бомбы. Они убеждены, что у нас еще есть время и мы сумеем совместно потребовать, чтобы правительства начали переговоры о разоружении, на которых настаивают многие государства — члены ООН. «Наши потенциальные возможности воздействовать на общественное мнение и оказывать коллективное давление на правительства велики,— уверенно заявляют жертвы атомной бомбы,— но если мы станем молчать, это лишь увеличит опасность ядерной катастрофы. Таких жертв, как мы, больше не должно быть!»

Следующая Специальная сессия ООН, посвященная разоружению, состоится в 1982 году. Несколько ранее, в том же 1982 году, будет проведен в Вашингтоне приуроченный к Международному женскому дню Всемирный конгресс женщин «За разоружение и мир», который созывается по инициативе Международной женской лиги «За мир и свободу». Собираюсь присутствовать на нем.

Выражаю глубокую признательность Тацуро Кониси, познакомившей меня с членами Женской секции, и Джунджиро Хирацука. Обе они оказали мне неоценимую помощь по части перевода, устного и письменного. Без их содействия эти заметки не могли бы появиться на свет.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

◆

В. ПЕРЕХВАТОВ

ЭФИОПСКИЙ БЛОКНОТ

В Эфиопии я побывал дважды. В 1966 году работал там переводчиком на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Ассабе. Многое из того, что тогда пережил, стерлось в памяти, остался какой-то калейдоскоп нищеты и богатства, красоты и убожества — контрастов, свойственных застойной эфиопской монархии. И еще до сих пор вижу перед собой грустные глаза и понурые головы людей, с которыми вместе прожил тот тяжелый, изнуряющий год. Правительство в очередной раз хотело ограничить их права, набросить на профсоюзы законодательную узду, и рабочие решили бастовать. Они пригласили и нас, советских специалистов, примкнуть к ним, но полиция ультимативно напомнила, что мы — иностранцы и не имеем права вмешиваться во внутренние дела империи. Так вот, мы с утра вынуждены были поехать на стройку, а наши сотоварищи — эфиопские рабочие остались в поселке, построились в колонны и пошли. Встретил их ружейный залп, потом другой. Стреляли без предупреждения, как в дичь. Я до сих пор испытываю чувство горестного бессилия, когда вспоминаю, как пришли к нам эти ребята, уже сломленные, с опущенными головами и тихими голосами, как будто речь шла об обычном деле, попросили досок на гробы. В Данакильской пустыне доски — большой дефицит, у нас же были их целые залежи — от ящиков с оборудованием. А хотели ребята, видимо, своих братьев похоронить с честью — в гробу, тогда гиены не доберутся до трупов. Конечно, мы не отказали...

И вот я здесь опять. На этот раз в составе делегации советских писателей — москвича Владимира Амлинского и алтайца Эркемена Палкина. Для Эфиопии прошедшие 15 лет в социальном плане оказались равными столетиям. Хайле Селассие I, маленький сухой старец, внешне полусонный, но с твердым и гипнотическим взглядом, который выдавал себя за 225-го потомка легендарных царя Соломона и царицы Савской, оказался неспособным оплатить счет истории. Народ восстал, и армия, которую обучали, чтобы держать под прицелом хижины, объявила войну дворцам. Сам царь царей почил в бозе, и могилу его знает только горный ветер...

Из аддис-абебского аэропорта машина плавно летит по ровной дороге, и мимо, как и тогда, бегут лачуги, виллы, цветы, эвкалипты. Бог мой, те же улицы, даже еще грязнее, те же лавки и магазины, прохожие, солдаты — и одеты так же, как в те давние времена, но все-таки нищих гораздо меньше, почти не видно попрошаек-детей. И уж совсем непривычно — тут и там видны революционные лозунги, портреты Маркса, Энгельса, Ленина.

Мы поселились в отеле «Гийон», одном из самых старых и комфортабельных в Аддис-Абебе. Он примыкает к бывшему императорскому дворцу. По преданию, именно здесь, у минерального источника, разбил когда-то шатер император Менелик II. Место ему так понравилось, что тут на склоне горы Энтото, близ деревушки Финфини, повелел он основать столицу крепнувшей тогда империи. Место очень красивое. Тихо. Тенисто. Покойно. Старый минеральный источник снабжает отель горячей водой, питает бассейн. Рядом течет ручей. Видно, как женщины стирают белье.

Прошло несколько дней, и внешние впечатления стали блекнуть. Их заслонило то, что пришло через встречи с людьми, впечатления от этих встреч. На нужный лад настроил нас визит в столичный муниципалитет. Похожее на раскрытую книгу, торжественно стоит над городом его красивое здание из стекла и бетона. Нас принял Феллеке Аберра, член исполкома городского Совета. Небольшого роста, с курчавой бородкой, красивым интеллигентным лицом, мягкими манерами и тихим голосом — облик его никак не вязался с

тем, что он говорил. А он говорил о власти, а также о крови и смерти, которые ей сопутствуют.

— Раньше Аддис-Абебой управляла малочисленная группка богатеев, имевшая в городе доходные дома и земли. Прокладка коммуникаций, административная и жилая застройка осуществлялись так, чтобы собственники земли извлекали из этого наибольшую прибыль. Развитие города шло уродливо и хаотично. Что изменила революция?

— По типу ваших Советов в Аддис-Абебе были созданы ассоциации городских жителей — кэбэле [1], всего около 300, они объединяются в 25 высших кэбэле. Во главе всей пирамиды стоит городской Совет. Образуется четкая структура, в основе которой лежит принцип демократического централизма. При этом социально враждебные революции элементы — крупные собственники и владельцы национализированных предприятий — лишены права избираться в исполнительные и административные органы. Все доходные дома национализированы, излишки земли в городе — тоже.

Ущемленные революцией собственники объявили новой власти беспощадную борьбу, начав кампанию террора, беспрецедентную в истории страны. На стенах зала заседаний мы видели портреты руководителей органов городского управления, павших от рук контрреволюционеров. Их сотни. Некоторые не успели проработать на своем посту даже дня. Комитеты защиты революции и народная милиция сбили волну террора.

— Новая власть сейчас крепка как никогда,— спокойно сказал Феллеке Аберра.

Действительно, порядок в городе полностью восстановлен, хотя до сих пор сохраняется комендантский час. За все время нашего пребывания в Эфиопии мы не слышали ни единого выстрела, разве что на сцене театра. Как-то мы вышли из отеля после полуночи. Гуляли около гостиницы и даже заговаривали с патрулями. Полицейские, узнав, что мы из Москвы, теплели, интересовались, какая на севере погода, можно ли послать сына учиться в СССР, как нам нравится Эфиопия, и советовали — на всякий случай — по ночам из номера не выходить. У входа в кинотеатры и государственные учреждения, глядя, как обыскивают посетителей и как те реагируют на обыск — как на что-то излишнее и надоевшее,— убеждаешься, что меры безопасности уже изжили себя. Вопрос «кто — кого» решен окончательно, жизнь вошла в нормальное русло.

По рекомендации Феллеке Аберра мы посетили несколько типичных кэбэле. Первым было кэбэле 08, далеко не образцовое, но активное и популярное. Во главе его стоит бывший учитель Бенема Лекаса, застенчивый и обаятельный молодой человек. Во многом благодаря его усилиям на месте бывших трущоб (обитателям их силами кэбэле построили новые жилища) вырос этот районный административный центр. Территория около гектара огорожена забором из листов гофрированного железа. У ворот, как и у всех кэбэле, вышка с часовым. За забором просторный двор, вокруг которого расположились неказистые одноэтажные строения.

Одна из построек оказывается детским садом, и около сотни ребятишек (матери которых на работе или на курсах по ликвидации неграмотности), завидев гостей, шумной ватагой выбегают нам навстречу. Детей нормально кормят, старших готовят к поступлению в школу, учат петь, рисовать. Детишки чумазые, но бодрые, веселые, носятся туда-сюда, поют, танцуют. Бенема Лекаса объясняет назначение строений: медпункт; склад — кэбэле закупает у крестьян зерно и распределяет среди жителей своего района; библиотека — книг немного, но они есть, и ими можно пользоваться бесплатно; зал заседаний — в разных его углах видны группы взрослых людей, преимущественно женщин — учатся читать, писать, считать; народный магазин — в нем, минуя посредников-торговцев, можно купить товары первой необходимости гораздо дешевле, чем в городе; молодежный комитет. В аппарате кэбэле занято 40 человек (как правило, бывших безработных), которые трудятся в интересах самой многочисленной и самой нуждающейся части населения своего района. Именно в них зерно новой жизни, и не случайно в самых толковых, в самых энергичных руководителей кэбэле прежде всего метила контрреволюция — новую жизнь хотели убить в зародыше. Простые граждане решительно и дружно встали на защиту своего детища. Мы узнали, что сменные группы добровольцев круглосуточно охраняли в течение всех лет террора бывшего учителя Бенема Лекасу.

Сразу обращает на себя внимание, что кэбэле — первичные центры городского самоуправления (как и крестьянские ассоциации в сельских районах) — стали основным звеном кампании по ликвидации неграмотности. Кампания эта является, пожалуй, главным завоеванием эфиопской революции. Вообще просвещение для Эфиопии — дело сравнительно новое, и история его не выходит за пределы нашего века. Во времена монархии политика в области просвещения служила не столько национальному развитию, сколько закабалению народа. Накануне революции грамотные едва составляли 7 процентов населения. При этом 50 процентов школьных мест было сосредоточено в Аддис-Абебе, 40 процентов — в других городах, остальные — в сельской местности. А ведь там проживало более

[1] Кэбэле — не только ассоциация городских жителей, но одновременно и низшая административно-территориальная единица. *(Прим. автора.)*

90 процентов населения, и крестьяне, как ни странно, платили особый налог «за просвещение». Совершенно естественно, что при невежественном населении большинство демократических преобразований рискуют остаться на бумаге. Поэтому ликвидация неграмотности является первейшим шагом любой народно-демократической революции.

В 1979 году, с упрочением народной власти, кампания по борьбе с неграмотностью, рассчитанная на 8 лет, развернулась по всей стране. В первый год ожидалось вовлечь в нее 1,3 млн. человек, а вовлекли 5,4 млн., во второй год — 6 млн. В нынешнем году — еще миллион человек. Школьные классы созданы и функционируют по всей стране, в деревнях и на промышленных предприятиях, в армии, милиции, даже в тюрьмах. Вот уж воистину — вся страна села за парту, обеспечивая свое собственное будущее. Мы видели десятки самых различных «классов», и, глядя на бедных, часто изможденных людей, думали, что воистину тернист путь к знаниям. Но, значит, есть и высокие цели, высокие надежды, если люди избирают его.

В эфиопской культуре, в частности в эфиопской живописи, стоит особняком яркая фигура Афеворка Текле. Судьба щедро одаривала его славой: награды, почести, хвалебные отзывы, зарубежные выставки. Он дважды приезжал с экспозицией своих картин в Советский Союз. У нас о нем много писали и хорошо знают его творчество. После революции Афеворк Текле подарил народу виллу-студию «Альфа», а сам переехал в скромный трехкомнатный коттедж на окраине Аддис-Абебы. Нельзя сказать, чтобы в эфиопской столице шло бурное жилищное строительство, но в пригородах горожане среднего достатка получают от муниципалитета скромные земельные наделы (по закону любой житель имеет право на земельный надел и кредит в банке на строительство дома) и строят коттеджи на 3—4 комнаты. Эти новые районы распространились уже на значительную площадь и, боюсь, скоро съедят все свободные городские земли. Чисто внешне дом Афеворка Текле ничем особым не отличается от соседних строений — разве что огорожен глухим высоким забором, за ним маленький внутренний дворик. Во дворике изящная беседка и многочисленные скульптуры, выполненные самим хозяином, расставленные тут и там. Наша встреча проходила в гостиной, просторной, со вкусом оформленной комнате. Здесь все продумано Афеворком, весь интерьер говорит о прекрасном вкусе художника. Дом этот — одна из лучших и самых насыщенных его композиций.

Наши хозяева, эфиопские писатели, в избытке проявляли свое гостеприимство, но радушие и тепло, с которым принял нас знаменитый мастер, превзошло все ожидания. И он объяснил причину:

— Русские играют особую роль в моей судьбе, творческой судьбе. Их внимание к моему творчеству — как до революции, так и после — было мне надежной и верной опорой. Думаю, что ваша аудитория в массе своей сочувственно отзывается на мои эстетические идеалы. Поэтому-то русские и занимают особое место в моем сердце. Мой дом — ваш дом. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь так же легко и свободно, как я чувствую себя на вашей родине.

Трогательная и интересная встреча с Афеворком вместо часа, отпущенного программой, длилась четыре часа. Он показал нам свои любимые картины: «Цветок Маскаля», «Мать-Эфиопия» и «Гора Семьен». Говорил, что первые две вскоре после революции вызвали непонимание — некоторые считали, что это слишком красиво и изысканно, «буржуазно». Сейчас голоса критиков звучат уже глуше. Но Афеворк не передает свои основные картины в Национальный музей, полагая, что для этого еще не наступило время.

— Есть разные проявления героизма,— уточняет Афеворк.— Солдат во имя родины жертвует жизнью на поле брани. Художник готов терпеть и лишения, и несправедливость, чтобы оставить народу плод своего труда и вдохновения. Таков художник-патриот.

Афеворк считает, что музей пока еще не может гарантировать безопасность своих экспонатов.

— Недавно, заметил он,— злоумышленники украли золотую медаль императора Теодроса, которая представляет большую художественную и историческую ценность. А еще до революции «Цветок Маскаля» американцы пред-

Афеворк Текле.

лагали 750 тысяч долларов, а за «Мать-Эфиопию» — 200 тысяч. Так что мои картины тоже могут соблазнить грабителей.

Мы засыпали Афеворка вопросами: каких мастеров старой школы он любит, какова его эстетическая программа, как относится к современным течениям в живописи, чем руководствуется в своем творчестве.

Вот вкратце что он ответил:

— Художник появляется не сам по себе. Он творит во многом на основе опыта предшествующих ему мастеров. Я считаю, что моя творческая работа уходит своими корнями прежде всего в национальную почву. Рисунки в старых манускриптах, изделия народных умельцев, вся наша художественная культура всегда завораживали меня, порождали сильный творческий импульс. Получив классическое художественное образование в Европе, я долгое время изучал искусство народов Африки. Я стремился совмещать его с традицией старой реалистической школы, которую очень люблю. Я восхищаюсь мастерами эпохи Возрождения, особенно Микеланджело. Я люблю работы средневековых японских и китайских мастеров, русскую иконопись, в частности работы Андрея Рублева, мне близки по духу Хокусаи, Сикейрос, Ороско, Тамайо, Жорж Брак, Пикассо, Кирико, Ренато Гуттузо, я очень интересуюсь русской классической школой — работами Айвазовского, Репина, Иванова. Все это мне бесконечно нравится, и в то же время — это стихия искусства, моя художественная среда. Я в ней живу. В работе же следую двум заповедям: первая — стремиться выразить на полотне все чувства, которые мной владеют в настоящий момент, вторая — выразить их понятно.

Когда я экспериментирую с цветом, меня зачастую упрекают в абстракции. Но ведь для меня-то игра цвета всегда реалистична, связана с жизненными впечатлениями, конкретными ассоциациями.

Я пытаюсь следовать национальной художественной традиции: добиться максимальной выразительности рисунка, потом усилить ее цветом и при этом сделать предельно символичной. Я целиком принимаю эту традицию, пропуская ее, естественно, через себя. Думаю, что мои витражи в «Доме Африки» и другие крупные работы могут это подтвердить. Они глубоко символичны...

Сейчас меня особенно увлекает старая, как сама живопись, проблема — гармония линий и цвета. Из хаотического мира, который меня окружает и который меня насыщает, я стараюсь на своих холстах, в меру отпущенного мне таланта, создать какой-то порядок, некое ритмическое движение жизни, каким я его понимаю.

Заговорили о красоте и трагедийности. Афеворк Текле считает, что в искусстве они всегда стоят рядом — одна вырастает из другой.

— Мы, художники, слуги красоты. И когда нам удается создать что-то по ее законам, мы испытываем удовлетворение, не выразимое никакими словами. Мне кажется, что страдание — необходимый элемент творчества и, более того, его двигатель.

Беседовать с умным и талантливым человеком всегда интересно. Но все-таки о художнике лучше всего говорят его картины. Последние работы Афеворка Текле, прежде всего «Эфиопия строит будущее», красочны, насыщены пафосом революции, зовут в завтрашний, лучший мир.

— Материя преобразуется,— сказал Афеворк,— исчезает со стола еда, с годами исчезает и человек, который ее потребляет. Но то, что создает художник,— бессмертно, потому что он своим трудом одухотворяет материю.

Афеворк Текле, хотя и очень рельефная, далеко не единственная колоритная фигура в панораме эфиопской художественной жизни. Алле Феллеге Салям, Абдурахман Шериф, Гебре Христос Деста и ряд других перебрасывают мост в современность от безвестных мастеров древности, создавших дворцы и стелы Аксума, замки Гондара, неповторимые церкви Лалибелы.

Сейчас государство уделяет культуре большое внимание: заканчивается строительство нового здания Национального музея, перестроена работа учебных заведений, готовящих специалистов в области музыки, хореографии и изящных искусств.

Абдурахман Шериф, директор художественной школы, сказал, что она фактически преобразована в художественный техникум с отделениями живописи, скульптуры и дизайна. Ныне подготовлено уже 200 специалистов, которые обслуживают народное хозяйство, сферу агитации и пропаганды или стали «свободными художниками». В зале муниципалитета мы побывали на закрытии выставки трех выпускников школы — Асеффы Йешававорка, Исаласа Сахлю и Ысейе Гебре Медхына. Очень интересная и представительная выставка. На закрытие ее съехался цвет эфиопской интеллигенции: художники и писатели, театральные деятели, педагоги, журналисты, музыканты, актеры и просто поклонники изящных искусств. Состоялось обсуждение. Спорили, хвалили и ругали. Говорили о частностях и обобщали до исторического масштаба. Другими словами, на таких выставках ключом бьет жизнь, идет поиск истины.

Хорошее впечатление производит и музыкальная школа Аддис-Абебы. Чистое современное здание. Какая-то в нем приподнятая чарующая атмосфера. Ученики и учителя настроены торжественно, словно даже священнодействуют. Всюду очень молодые люди. Директор музыкальной школы выглядит просто мальчиком. Революция в Эфиопии ассоциируется с молодостью. Это прежде

В. ПЕРЕХВАТОВ
ЭФИОПСКИЙ БЛОКНОТ

«На отдыхе».

«Крестьянин».

Работы выпускников художественной школы Аддис-Абебы.

всего порыв молодых, надежда в кратчайший срок преобразовать страну, вырвать ее из тисков вековой отсталости.

После нескольких лет сравнительного затишья культурная жизнь в Аддис-Абебе начинает оживляться. Театры работают даже с перегрузкой: днем спектакли, вечером — кино. Тесфайе Гессесе, поэт, драматург, директор Национального театра, пригласил нас к себе. Мы приехали пораньше, вошли за невысокую ограду во дворик-сад, который красиво вписывается в центральную площадь Аддис-Абебы, расположились за столиками кафе и слушали рассказы нашего гида об истории театра. Само здание, оказывается, начали строить еще итальянцы в период оккупации Эфиопии. При бегстве они прихватили с собой и рабочие чертежи. Идея строительства на этом месте Национального театра созрела значительно позже. Так или иначе, это сейчас одно из любимых мест в городе. Зрительный зал всегда полон, хотя билеты дорогие — 3—5 быров (при месячной зарплате рабочего, не превышающей обычно 100 быров). По вторникам и четвергам цена билетов 1 быр — чтобы шире открыть двери театра школьникам и людям с низким доходом. Что идет? Чаще всего классика. Шекспир. «Ревизор» Гоголя, ну и современные вещи, в том числе эфиопских авторов... В этом месте рассказ был прерван треском автоматных очередей. Мелькнули всякие нехорошие мысли. Я быстро оглянулся по сторонам — за оградой по тротуару спокойно и чинно гуляли люди, никаких признаков беспорядков. Потом двери служебного входа распахнулись и оттуда выскочили на солнышко несколько хохочущих молодых людей в униформе и с автоматами.

Не буду томить читателя — тут из дверей появился Тесфайе Гессесе. Оказывается, в театре идет пьеса Бырхану Зарехуна «Пароль», посвященная народной милиции, ну и там, естественно, стреляют.

Пробираемся в зал. Спектакль уже подходит к концу. Провокаторы, которые действуют в подразделении, к нашему появлению разоблачаются и обезвреживаются. Кругом ликуют, рукоплещут. За кулисами слышна стрельба. Взыскательному зрителю происходящее на сцене могло бы показаться довольно наивным, но зал в целом реагирует бурно и одобрительно.

«Пароль» посвящен важной проблеме — взаимоотношениям представителей национальных групп в отрядах народной милиции. Пьеса поставлена в театре около года назад самим Тесфайе Гессесе. С успехом шла два месяца. Потом труппа уехала в провинцию. Сейчас опять в Аддис-Абебе. На сцене эту вещь сменит «Ревизор» Гоголя в переводе Асеффа Гебре Мариама, генерального секретаря Союза писателей Эфиопии. «Пароль» — вещь актуальная, как и все, что пишет Бырхану Зарехун, как, впрочем, и все, что пишут и другие популярные драматурги, прежде всего Тес-

файе Гессесе и Айяльнех Мулату. Их пьесы ставятся в театре, но чаще всего — на радио. Сквозная тема — революция. Как человек воспринимает ее и как участвует в ней.

Другой популярный в Аддис-Абебе театр — Патриотический. Руководит им выпускник нашего ГИТИСа (как много мы встречали наших выпускников!) Гетаччэу Абди. У театра свой современный оркестр, две фольклорные хореографические труппы и одна драматическая. Мы были у Гетаччэу дважды — на обычном развлекательном представлении, когда играл оркестр третьей дивизии и пел очень популярный в Эфиопии Теляхун Гессесе, а во второй раз — на встрече-дискуссии с эфиопской общественностью. Естественно, после официальной части был концерт.

Как и в Национальном театре, здесь самым примечательным казалось не столько искусство исполнителей, сколько реакция зала — шумная и непосредственная, какая-то домашняя.

Одним словом, несомненно, что культурная жизнь в Аддис-Абебе активизировалась. Период выжидания для интеллигенции кончился. Большинство ее представителей сознательно включается в процесс социальных преобразований и ищет свое место в революции. В художественной литературе тоже оживление — создано государственное издательство «Кураз» — «Огонек», активно работает частное издательство «Книжный центр Эфиопии». В нем уже вышло несколько повестей и романов, которые расходятся большими тиражами.

Привлекает внимание роман Быркану Зарехуна «Волна» — первая часть революционной трилогии. В нем речь идет о положении в предреволюционной Эфиопии, особенно в провинции Волло, о засухе и страшном голоде, унесшем сотни тысяч жизней. Трагедия эта сыграла роль взрывателя, приведшего в действие заряд огромной силы. Революционная волна смела прогнивший режим и установила народную власть. Вторая и третья части трилогии рассказывают о развитии революции, о борьбе с ее врагами, о процессе радикальных преобразований в эфиопском обществе.

Очень популярно и творчество Бэалю Гырма. Его повести «За горизонтом», «Зов красной звезды», «Писатель» так или иначе посвящены революции. Выделяется повесть «Зов красной звезды» — о периоде белого террора и мобилизации народных сил на борьбу с контрреволюцией. Написанная легко и увлекательно, она, как и работы Быркану Зарехуна, на мой взгляд, вполне могла бы быть представлена советскому читателю.

Самое интересное, как нередко бывает, откладывается почему-то на конец. Так и у нас были на исходе две напряженные недели, и уже «горела» поездка в Авашский заповедник и курортное местечко Содэри, к радоновым источникам, а встреча с товарищами из Комиссии по организации партии трудящихся Эфиопии (КОПТЭ) еще не состоялась. А ведь без нее знакомство с Эфиопией оказалось бы неполным. И вот встреча назначена на 10 утра в штаб-квартире КОПТЭ, бывшем здании парламента. Рассчитана она примерно на час. Мы встали рано, упаковали вещи, загрузили их в новенький «датсун», который к вечеру должен был перенести нас к живописным берегам реки Аваш: там дикая природа, яркие, как будто искусственные цветы, мартышки буквально все рвут у тебя из рук, а в мутной воде, которой местные крестьяне наполняют свои пузатые двуручные кувшины, говорят, водятся крокодилы.

Наши хозяева — молодые люди: бывший мэр Аддис-Абебы, заместитель заведующего орготделом КОПТЭ Алему Абебе (выпускник московской Ветеринарной Академии), Тесфайе Таддесе, главный редактор центрального органа КОПТЭ — газеты «Трудящийся» и поэт и драматург Айяльнех Мулату (выпускник МГУ), заведующий сектором культуры в идеологическом отделе КОПТЭ.

Эфиопия проходит через важный этап своей истории — создание авангардной партии трудящихся. Практический опыт и задачи национально-демократической революции поставили вопрос о сплочении в рамках партии всех передовых общественных сил, причем не путем механического объединения разрозненных марксистских кружков и групп, а именно путем сплочения испытанных на фронтах революции бойцов-единомышленников, преданных идеям социализма. Наши хозяева и рассказывали, как это происходит практически, как вырабатывается платформа для профессиональных объединений в сфере культуры, науки и образования.

А потом мы стали задавать нашим хозяевам вопросы. Вот главные из них:

Вопрос: Как КОПТЭ относится к проблеме частной торговли?

Ответ: Это наше слабое место. Торговцы бешено обогащаются. У нас, в Эфиопии, ходит даже такой анекдот: «Торговец говорит соседу: «Если мы так богатеем при социализме, то что же будет при коммунизме?» Основная товарная масса у нас находится в руках крестьянства (сельскохозяйственные продукты) и государства (промышленные товары). Весь вопрос в том, как наладить обмен, чтобы избежать частного посредничества.

У нас есть кооперативное объединение, которое скупает у крестьян сельскохозяйственные продукты, и есть кооперативное объединение по сбыту крестьянам промышленных товаров. Но дело в том, что, даже если работа объединений безупречна, на рынке частный торговец может дать крестьянину за его товар больше, чем кооперативное объединение. Вот конкретные примеры трудностей: вдруг образовался дефицит сахара. Тогда его стали продавать только через народные магазины кэбэле, и по-

---

требитель вздохнул с облегчением. Сейчас то же со спичками. Официальная цена на них пять сантимов, но в магазинах их почти нет, а на улицах с рук продают по 25 сантимов за коробок. И пока наши попытки более жестко диктовать цены приводили лишь к тому, что спички исчезали из оборота.

Одна из главных задач текущего дня — создание единой снабженческо-сбытовой кооперации, в отделениях которой крестьянин мог бы свободно продавать продукты своего труда или обменивать их на промтовары, а горожанин покупать продукты по низким ценам. И кооперацию нужно не просто создать, а повсеместно наладить ее эффективную работу.

Далее, государственные промышленные товары не продаются частным торговцам — только потребительским ассоциациям. В каждом кэбэле есть свои народные магазины, где эти товары, как и сельскохозяйственные продукты, можно купить по ценам ниже, чем у частников. Эти магазины играют огромную стабилизирующую роль. Они уже спасли революцию от многих трудностей. Наряду со сбытовыми кооперативами в деревне они могут служить главными рычагами в организации эффективной розничной торговли. КОПТЭ через свой отдел общественных кооперативов и кооперации постоянно держит эту проблему в поле зрения. Так что торговец сейчас уже не всесилен. Его скорее можно сравнить с раненым зверем, который, однако, может еще немало навредить перед своей смертью.

Выравнивается положение и в сфере внешней торговли. Мы начали с нуля, а сейчас государство контролирует около 70 процентов импортно-экспортной торговли. Конечно, пока частник хозяйничает в розничной торговле, нас ждут трудности и сюрпризы. Частник не идет на сотрудничество. Но эту проблему мы рано или поздно все-таки решим.

В о п р о с: А каково положение крестьянства? Ведь этот класс больше всего выиграл от революции. Сколь активно он сейчас поддерживает ее?

О т в е т: Вклад крестьян в революцию огромен. Начнем с того, что крестьянин кормит революцию. Сейчас страна в основном удовлетворяет свои нужды в сельскохозяйственной продукции, и год от года положение улучшается. Крестьянин действительно больше всего выиграл от революции — он получил землю, которой у него не было. Но ведь он кровью и потом возделывал эту землю и больше всего страдал при прежнем режиме. Как бы там ни было, но, по ленинскому определению, аграрный вопрос есть стержневой вопрос любой демократической революции, и мы решили его. Сейчас мы берем курс на модернизацию сельскохозяйственного производства. И мы знаем верный путь — путь кооперации. В стране ширится создание производственных кооперативов. Но это создает и свои трудности. Контрреволюция пытается отпугнуть крестьян от кооперативного движения. Вокруг этого вопроса развертывается острая идейная борьба. Здесь важно не перегнуть палку. Осторожно и последовательно вести работу, ориентируясь прежде всего на естественные стимулы, на принцип добровольности. В любом случае сейчас крестьянин твердо стоит за революцию, прекрасно понимая, что по сути это прежде всего была крестьянская революция.

В о п р о с: О занятости молодежи. На улицах еще встречаешь изредка и детей-попрошаек, и слоняющихся молодых людей, перебивающихся случайными заработками. Что делается для их включения в нормальную жизнь?

О т в е т: Проблема молодежи уходит корнями в решение основных экономических проблем. Филантропическими мерами улучшить положение нельзя. Стратегия эфиопской революции состоит в том, чтобы быстро развивать экономику. Но параллельно мы решаем и весь комплекс социальных проблем.

После революции только из Аддис-Абебы было направлено в детские дома около десяти тысяч подростков. Ведь накануне революции на перекрестках и у церквей околачивались толпы нищих малолеток. Мы унаследовали от старого режима убогую «академическую» систему просвещения. Школьники не получали профессионально-технических знаний и выходили в жизнь не подготовленными к практической работе. А ведь сельское хозяйство и промышленность должны поглощать основную массу молодежи. Нельзя же всем поступить в университет или получить работу в административном аппарате. Естественно, часть молодежи оставалась на улице. И выходило, что, с одной стороны, мы приглашали квалифицированную рабочую силу из-за рубежа, а с другой — не могли занять собственную молодежь. Мы на ходу перестраиваем структуру школьного образования, делаем упор на его политехнизацию. Но диспропорция еще долго будет давать о себе знать: избыток образованных людей — с одной стороны, и нехватка квалифицированных рабочих, технических специалистов — с другой. Но стоит сказать, что картина быстро меняется к лучшему, выросло число профессиональных курсов, стала заметна профессиональная ориентация школьных программ.

Вместо часа наша беседа заняла добрых три. Три часа заинтересованного и откровенного разговора, который помог нам лучше понять то, что мы увидели своими глазами: Эфиопия энергично освобождается от пут старого мира. Успешно завершив первый этап революции, приступает к строительству нового общества. Мы уезжали, веря, что терпение и труд, которые тысячелетиями отличали народы Эфиопии, будут им в этом надежно помогать и сейчас.

◆

Наши публикации

Н. ПРОЖОГИН

ДОСТОЕВСКИЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ

В один из августовских дней 1862 года из вагона поезда, прибывшего к перрону флорентийского вокзала, вышли два путешественника, говоривших между собой по-русски. На привокзальной площади они, очевидно, взяли извозчика и попросили отвезти их в какую-нибудь недорогую гостиницу в центре города. Извозчичья коляска обогнула старинную церковь Санта Мария Новелла и, выехав вскоре на улицу Торнабуони, остановилась перед пансионом «Швейцария». Регистрируя вновь прибывших, «портьере» с трудом, буква за буквой, переписывал их сложные для итальянца фамилии.

Путешественников звали Достоевский и Страхов.

Это посещение Флоренции Достоевским относится к его первой заграничной поездке. Еще 26 июня (8 июля нов. стиля), находясь в Париже и изнывая от тоски по русской жизни, он писал в Петербург, также собиравшемуся тогда за границу Страхову: «Еще, голубчик Николай Николаевичь: Вы не поверите как здесь охватывает душу одиночество. Тоскливое, тяжелое ощущение! <...> Что-то будет дальше, как спущусь с Альпов на равнины Италии. Ах кабы нам вместе: Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую Венецианку в гондоле (А? Николай Николаевичь?). Но... «ничего, ничего, молчанье!», как говорит, в этом же самом случае. Поприщин»[1].

[1] Здесь и далее в тексте писем сохранены орфография и пунктуация подлинника. *(Прим. автора)*

Достоевский уговаривал Страхова — философа и литературного критика, с которым в тот период он был идейно близок,— встретиться в Женеве и, кончая письмо, приписал: «Прощайте. Впрочем лучше: до свидания. Быть того не может, чтоб мы за границей не встретились! Я никогда не простил-бы себе этого». Но завершает все же словом «прощайте», хотя многозначительно написанным по-итальянски: «Addio».

Они действительно встретились в Женеве. Через Альпы проехали перевалом Монсенис, ночевали в Турине, оттуда поехали в Геную, далее пароходом до Ливорно, а из него — поездом во Флоренцию. Однако заграничные достопримечательности мало занимали Достоевского, погруженного в свой духовный мир, связанный с Россией и русской жизнью. Недаром за границей ему постоянно мерещился Петербург. То, что Турин своими прямыми улицами напомнил Петербург, еще понятно. Но даже Арно во Флоренции вызвал у него в памяти Фонтанку! Правда, теперь путешествие скрашивало присутствие рядом соотечественника, с которым можно было отвести душу, так что впоследствии оба вспоминали о днях, проведенных во Флоренции, не без удовольствия.

«Жить здесь нам было недурно»,— писал Страхов и подчеркивал, что они «не делали ничего такого, что делают туристы». Ни разу не навестили Кашине — городской парк, излюбленное в то время место прогулок флорентийцев и приезжих, предпочитая чтение новинки французской

ПРОЖОГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1928 г.).

Журналист-международник, член редколлегии, редактор газеты «Правда» по отделу международных проблем. Кандидат юридических наук. Выступает также с публикациями материалов о русской культуре за рубежом.

литературы — романа В. Гюго «Отверженные». Однажды пошли в галерею Уффици, «но так как <...> не составили никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до Венеры Медицейской». Зато «прогулки по городу были очень веселы <...>».

В другой раз, обращаясь мысленно к Достоевскому, Страхов вспоминал о вспыхнувшем во время одной из таких прогулок споре — споре очень русском, больше того — очень «достоевском»: «<...> когда мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг другу руку и расстались. <...>А впрочем,— помните ли вы хорошенько, в чем было дело? <...>Вы находили непростительным, что я часто приводил наши рассуждения к выводу, который простейшим образом можно выразить так: *но ведь нельзя же, чтобы дважды два не было четыре.* <...>Вы говорили, что <...> очевидно люди, которые говорят *дважды два не четыре*, вовсе не думают сказать именно это, а, без сомнения, разумеют и хотят выразить что-то другое. <...> По самой сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание, <...> движется по одним и тем же логическим законам, и, следовательно, самое глубокое заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо».

Вечерами друзья сходились в гостиничном номере, и «всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина <...> (которое на этот раз было малым чем крепче пива) <...>». Об этих вечерних разговорах за стаканом, очевидно, легкого тосканского кьянти вспоминал и Достоевский. Оказавшись в 1868 году вновь в том же городе, он писал Страхову: «А помните как мы с Вами сиживали по вечерам, за бутылками, во Флоренции (при чем Вы были каждый раз запасливее меня: Вы приготовляли себе 2 бутылки на вечер, а я только одну и выпив свою, добирался до Вашей, чем конечно не хвалюсь)? Но все-таки те 5 дней во Флоренции мы провели не дурно».

Было, впрочем, в этом городе место, привлекавшее Достоевского, хотя оно и не упоминалось ни в его письмах, ни в воспоминаниях, относящихся к 1862 году, почему и оставалось неизвестным исследователям жизни и творчества писателя. Лишь недавно в сборнике «Достоевский. Материалы и исследования» опубликован его автограф, свидетельствующий, что, живя тогда во Флоренции, он посещал «Научно-литературный кабинет Дж. П. Вьёсё».

Однако в этой, существующей и ныне библиотеке с читальным залом при ней сохранился не один, а три автографа Достоевского, два из которых, таким образом, до сих пор остаются у нас неизвестными. Я обнаружил их несколько лет назад в архиве «Кабинета Вьёсё», как обычно сокращенно называют в Италии эту библиотеку.

Но вначале остановимся на том, что представляет собой сам «Кабинет Вьёсё», сыгравший заметную роль в новой истории Италии. Вернемся и к первому из трех автографов Достоевского — это позволит уточнить и дополнить уже опубликованные о нем сведения.

Основатель флорентийской библиотеки, Джованни Пьетро Вьёсё (Онельа — ныне Империа, 29 сентября 1779— Флоренция, 28 апреля 1863) родился на севере Италии в семье эмигранта из Женевы. В первые годы самостоятельной жизни занимался торговлей, по коммерческим делам посетил многие страны, в том числе и Россию. Не получив систематического образования, будучи самоучкой, он, однако, проявлял живой интерес как к общественным наукам, так и литературе, и уже в молодости собрал неплохую библиотеку.

В 1819 году Дж. П. Вьёсё обосновывается во Флоренции — в то время столице великого герцогства Тосканского, а в следующем открывает там «Научно-литературный кабинет», носивший с самого начала его имя. Впоследствии он приступает и к изданию журналов, из которых наиболее важную роль в развитии общественно-политической мысли в Италии сыграли «Антолоджиа» («Антология») и «Аркивио сторико» («Исторический архив»). Позже Антонио Грамши отмечал, что Вьёсё сумел создать вокруг себя «центр интеллектуальной пропаганды по организации и «конденсации» руководящей интеллектуальной группы итальянской буржуазии Рисорджименто <...>».

Для нашей темы немаловажно то обстоятельство, что Вьёсё придал своей культурно-просветительской деятельности совершенно необычную для Италии того времени форму. Будучи представителем нового класса буржуазии, чуждый духу придворного патернализма, не имевший ничего общего с меценатством в традиционном смысле этого понятия, он и во Флоренции, сохранявшей еще многие черты феодализма, причудливо переплетавшиеся с просвещенным абсолютизмом, вел свои дела на знакомой и близкой ему по духу коммерческой основе. Так, Вьёсё выплачивал гонорары авторам издававшихся им журналов, но и взимал плату за пользование библиотекой. Понимая, какую выгоду может принести привлечение к числу читателей последней многочисленных иностранцев, приезжавших, а часто и подолгу живших во Флоренции, он стал выписывать из разных стран, включая Россию, книги и периодические издания (до пятидесяти названий газет и журналов).

Большой интерес представляет составленная сотрудниками «Кабинета Вьёсё» картотека имен наиболее известных лиц — итальянцев и иностранцев, пользовавшихся услугами библиотеки в течение более чем стапятидесятилетней истории ее существо-

вания и оставивших свои записи в регистрах. С этой картотекой меня познакомил служащий библиотеки Маурицио Босси, любезно приславший затем фотокопии записей, сделанных рукой Достоевского.

Регистры «Кабинета Вьёсё» — это большого формата книги типа канцелярских. В верхней части каждой страницы типографским способом по-итальянски напечатано: «Мы — нижеподписавшиеся, вступаем в члены Научно-литературного кабинета Дж. П. Вьёсё». Отметим, что сама эта формула указывает на необходимость собственноручной подписи читателей. Рядом с типографским текстом, как правило, проставлены от руки год заполнения и номер страницы, которая ниже делится на три вертикальные графы. В первую вписан месяц, во вторую — число. Третья графа отведена для подписей читателей и пометок, как-то: их адреса и оплаченное время пользования библиотекой.

Подпись Достоевского впервые появляется в регистре № 5 на странице 273. Она относится к 16 августа 1862 года. Рукой писателя по-французски написано: «Теодор Достоевский» и ниже — «Внесено 20 фр <анков>». Последнее несколько раз перечеркнуто, как не соответствующее принятой форме, и уже другой рукой, видимо, служащего, также по-французски, помечен срок пользования библиотекой: «Оплачена 1 неделя». Левее тем же, судя по почерку, служащим записан адрес Достоевского во Флоренции: «Гостиница Швейцария № 20».

Из воспоминаний Страхова известно, что гостиница-пансион «Швейцария» находился на улице Торнабуони — одной из центральных во Флоренции. Теперь мы можем уточнить: гостиница эта была расположена на углу улиц Торнабуони и Виньа Нуова. Номер же комнаты свидетельствует, что Достоевский жил на втором (по принятому у нас счету — на третьем) этаже.

До 1873 года «Кабинет Вьёсё» помещался в палаццо Буондельмонте на площади Санта Тринита, которую пересекает улица Торнабуони, на расстоянии одного квартала от пансиона «Швейцария», в нескольких минутах ходьбы от него.

Эта запись позволила также при первой ее публикации датировать пребывание Достоевского во Флоренции периодом с 15—16 по 21 — 22 августа (с 3 — 4 по 9 — 10 августа ст. стиля). Следует, однако, оговориться, что нам неизвестно точное число дней, проведенных им в этом городе. Сам Достоевский, как мы читали в его письме, называл пять дней. Страхов писал, что они прожили там «с неделю».

...В апреле 1867 года Ф. М. Достоевский со второй своей женой Анной Григорьевной выехали из Петербурга за границу, где пробыли в общей сложности более четырех лет.

«Пребывание Достоевского за границей — «вторая его ссылка», которая в минуты особенной «тоски по родине» кажется ему более тяжелой, чем первая,— определяет этот период биографически,— отмечал составитель и комментатор первого издания его писем А. С. Долинин.— В письмах часто звучит тема: о мучительной, «*вынужденной*» жизни на чужбине, «с глазу на глаз с женой», болеющей тоской по родине. Когда петербургские приятели, осторожно намекая на падение таланта, усиленно зовут его в Россию и удивляются, зачем он так долго живет в ненавистной ему Европе, тогда к этой теме, как бы в оправдание, присоединяются еще две: боязнь кредиторов и болезнь.

Дрезден, Женева, Вевей, Милан, Флоренция и снова Дрезден — главные остановочные пункты в эти страннические годы,— продолжает Долинин.— И Достоевский действительно проводит эти годы в глубочайшем одиночестве, чужой среди чужих, занятый исключительно собою, своими мыслями и планами, по-видимому совершенно не связанными с условиями места, избранного на данное определенное время».

«Занятый исключительно собою...»? Очевидно, как всегда, когда речь идет о Достоевском, дело обстояло куда сложнее, нежели это можно выразить суммарно. И все же, перечитывая его корреспонденцию, нельзя не разделить удивления комментатора: «Особенно поражают письма из Милана и Флоренции — до чего в них мало ощущается Италии».

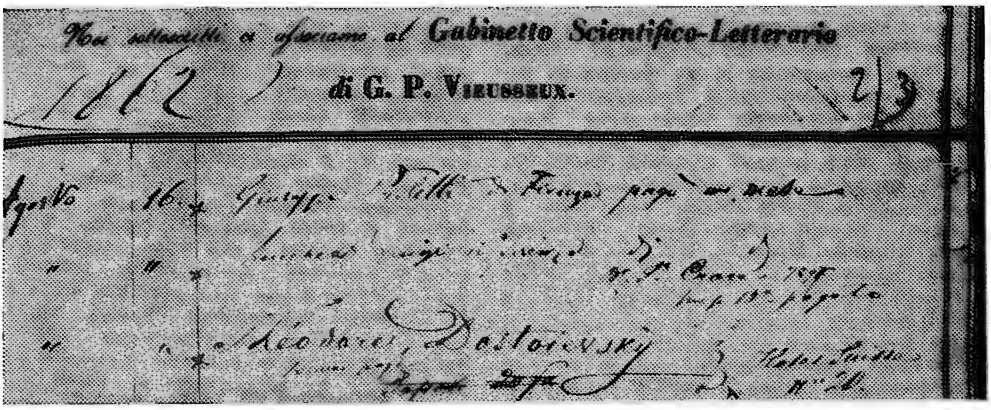
...Когда в мае 1868 года в Женеве в возрасте трех месяцев умерла дочь Достоевских Софья, супруги переехали в местечко Вевей, также расположенное на берегу Женевского озера. Но память о недавней потере преследует их и здесь. «К осени,— пишет жена писателя,— нам стало ясно, что необходимо во что бы то ни стало изменить наше тяжелое настроение, и в начале сентября мы решили переехать в Италию и на первый случай поселиться в Милане <...>

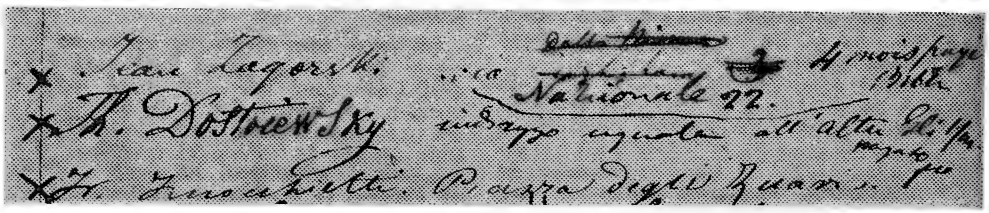
Перемена обстановки, дорожные впечатления, новые люди (ломбардцы-крестьяне, по мнению Федора Михайловича, с виду очень похожи на русских крестьян <!>)— все это повлияло на настроение Федора Михайловича, и первые дни пребывания в Милане он был чрезвычайно оживлен <...>».

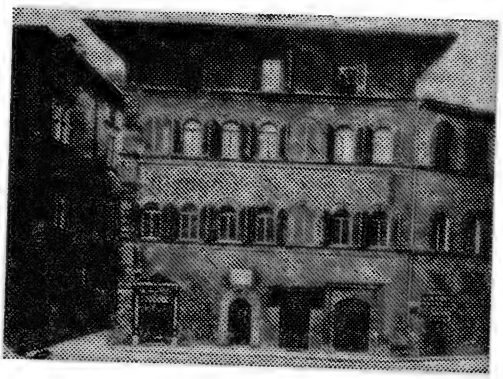
Но оживленное настроение продолжалось недолго. Осень в Милане выдалась дождливая и холодная. Не меньшей причиной тоски, вновь охватившей Достоевского, выглядит, по воспоминаниям его жены, и то обстоятельство, что в миланских «читальнях не имелось русских газет и книг, и Федор Михайлович очень скучал, оставаясь без газетных известий с родины. Вследствие этого,— продолжает она,— прожив два месяца в Милане, мы решили переехать на зиму во Флоренцию».

Как видим, слова «вследствие этого» относятся не только к миланскому климату, но и к отсутствию «газетных известий с родины», что и побудило к переезду во Флоренцию. Видимо, Достоевский вспомнил, что там, в известном ему по предыдущей заграничной поездке «Кабинете Вьёсё», он сможет, наконец, найти русские газеты и книги.

Н. ПРОЖОГИН
ДОСТОЕВСКИЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ







На снимках:
Записи Ф. М. Достоевского в регистрах «Кабинета Вьёсё».
Дом на улице Гвиччиардини с мемориальной доской, посвященной Ф. М. Достоевскому.
Палаццо Буондельмонте на площади Санта Тринита, в котором помещался «Кабинет Вьёсё».

Во Флоренцию, ставшую с 1865 года временной столицей Италии, Достоевские приехали в конце ноября, по всей видимости в самых последних числах месяца. Анна Григорьевна даты не уточняет. Но последнее из дошедших до нас писем, отправленных Федором Михайловичем из Милана, датировано 9 ноября (28 октября ст. стиля), а первое из Флоренции — 23 (11) декабря.

На следующий день, 24 (12) декабря, он пишет Страхову:

«Теперь сижу во Флоренции уже недели с две, и кажется долго придется просидеть, всю зиму по крайней мере и часть весны. <...> Теперь Флоренция несколько шумнее и пестрее, давка на улицах страшная. Много народу привалило как в столицу; жизнь гораздо дороже чем прежде, но сравнительно с Петербургом все-таки сильно дешевле.— И все-таки все мечты мои устремлены к Вам, в Россию, в Петербург <...>».

«Во Флоренции, к нашей большой радости, нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами, и мой муж ежедневно заходил туда почитать после обеда,— вспоминала А. Г. Достоевская.— Из книг же взял себе на дом и читал всю зиму сочинения Вольтера и Дидро на французском языке, которым он свободно владел».

Действительно, в регистре № 7 «Кабинета Вьёсё» на странице 111 под датой 17 декабря (5 декабря ст. стиля) 1868 года его рукой по-французски написано: «Г-н Теодор Достоевский, улица Гвиччиардини, № 8, на втором этаже». Здесь же библиотекарем, также по-французски, отмечено: «Оплачен 1 месяц пользования биб <лиоте>кой».

«Все, что <...>у Вас в Петербурге делается до меня отчасти доходит: имею Русский Вестник, Зарю и читаю Голос, который здесь в Библиотеке получается»,— сообщал Достоевский в одном из писем.

Но остановимся на особенностях этой не публиковавшейся ранее записи. В своей фамилии букву «в» Достоевский обозначает латинским «w», а не «v», как в 1862 году, что должно быть связано с иной, чем прежде, латинской транскрипцией фамилии в его паспорте. Слово «улица» написано по-итальянски. В названии же ее допущена ошибка. Улица носит имя знаменитого флорентийского историка XVI века. Достоевский вставил в это имя лишнее «h», написав «Guicchiardini» вместо «Guicciardini», из-за чего оно в произношении превращается в Гвиккиардини».

Сопоставляя время приезда во Флоренцию с датой записи, можно заключить, что Достоевским понадобилось около трех недель, чтобы подыскать себе скромную квартиру (опять-таки на третьем, по принятому в России счету, этаже).

Дом № 8 по улице Гвиччиардини, которая находится на левом берегу Арно и ведет от понте Веккио — Старого моста к дворцу Питти, известен во Флоренции по имени его владельца как «дом Фабриани». Замечено, что Достоевский предпочитал селиться в угловых зданиях. «Дом Фабриани» (как и гостиница-пансион «Швейцария») не представляет в этом отношении исключения, выходя боковой стороной на узенькую, как щель, улочку, через которую переброшена арка. На лицевом фасаде этого старого, внешне ничем не примечательного здания с непременными во Флоренции зелеными ставнями-жалюзи теперь висит мраморная мемориальная доска с надписью, гласящей, что здесь на рубеже 1868—1869 годов Федор Михайлович Достоевский завершил роман «Идиот».

Добавим, что здесь же Достоевский вынашивал не осуществленный затем замысел романа «Атеизм». Именно с этим замыслом было связано упоминавшееся Анной Григорьевной чтение им произведений Вольтера и Дидро, бравшихся на дом, очевидно, из того же «Кабинета Вьёсё». Сам Достоевский в письме к А. Н. Майкову от 23 (11) декабря 1868 года, извещая, что успел к сроку закончить работу над «Идиотом», и как всегда жалуясь на «проклятых кредиторов», писал: «Здесь же у меня на уме теперь 1) Огромный роман, название ему *Атеизм* (ради бога между нами), но прежде чем приняться за который мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных».

В конце того же письма Достоевский приписал: «Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду Boboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галлереях! Боже я присмотрел Мадону в креслах в 63-м году, смотрел неделю и только теперь увидел. Но и кроме нее сколько божественного. Но все оставил до окончания романа. Теперь закупорился».

Сад Боболи, вход в который — в нескольких шагах от «дома Фабриани», находится за дворцом Питти и примыкает к нему (а не «окружает» его, как писала Анна Григорьевна). Когда выяснилось, что жена писателя вновь ожидает ребенка и доктор предписал ей прогулки, они стали каждый день ходить в этот сад: «Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье».

Картину Рафаэля «Мадонна в кресле» Достоевский «просмотрел» во время своего первого пребывания во Флоренции, то есть в 1862, а не в 1863 году, как он по ошибке написал в письме.

Работа над романом «Идиот», застарившая его «закупориться», была завершена с запозданием на десять дней «против назначенного последнего срока», в конце января 1869 года. Об этом мы знаем из его письма от 6 февраля (25 января) к племяннице С. А. Ивановой. «Здесь во Флоренции климат может быть еще хуже для меня, чем в Милане и в Вевее: падучая чаще,— жаловался Достоевский.— Два припадка сряду, в расстоянии 6 дней один от другого и сделали <...> то, что я опоздал эти 10 дней. Кроме того, во Флоренции слишком уж много бывает дождя; но за то, когда солнце,— это почти что рай. Ничего представить нельзя лучше впечатления этого неба, воздуха и света. 2 недели было холоду, небольшого, но по подлому, низкому устройству здешних квартир мы мерзли

Н. ПРОЖОГИН

ДОСТОЕВСКИЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ

эти две недели, как мыши в подполье.— Но теперь по крайней мере я отделался и свободен, и до того меня измучила эта годичная работа, что я даже с мыслями не успел сообразиться. Будущее лежит загадкой: на что решусь — не знаю. Решиться-же надо. Через три месяца,— 2 года как мы за — границей. По моему это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьозно и без преувеличения. Я не понимаю русских за границей. Если здесь есть такое солнце и небо и такие — действительно уж *чудеса искусства,* неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет, а главное — русские и родина, без чего я жить не могу».

О «чудесах искусства» во Флоренции сам Достоевский упоминает мимоходом. Но о том, что именно «приводило в восхищение» Федора Михайловича, писала Анна Григорьевна. Это кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий с «Вратами рая» Гиберти («Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться»). И еще: две картины Рафаэля в галерее Питти и статуя Венеры Медичи в Уффици, до которой они со Страховым не добрались в 1862 году и которая теперь признавалась им «гениальным произведением».

Закончив работу над «Идиотом», Достоевский возобновил посещения «Кабинета Вьёсё». Об этом свидетельствует третья, также неизвестная у нас запись, сделанная им в том же регистре № 7 на странице 120 и датированная 2 февраля (21 января ст. стиля) 1869 года. На этот раз она ограничивается лишь подписью во французской транскрипции: «Т<еодор> Достоевский». Рядом библиотечный служащий приписал по-итальянски: «Адрес тот же, что прежде <...> м<есяцев> оплачено». Многоточием в угловых скобках я отмечаю здесь непередаваемый в русском переводе артикль множественного числа «Gli» и следующий за ним неразборчивый знак, судя по всему — цифру, обозначающую число оплаченных месяцев пользования библиотекой. Артикль показывает, что, несмотря на стремление Достоевского как можно скорее уехать из Флоренции, он внес плату за срок, исчислявшийся как минимум двумя месяцами. Или только собирался так сделать, а потом, учитывая стесненное материальное положение, ограничился месячной платой? Ниже приписки библиотекаря и его же пером поставлен еще один знак, который может быть прочитан как цифра «1» с добавленной к ней буквой «о» — окончанием итальянского слова «uno», то есть опять-таки «один».

Как бы то ни было, после завершения работы над романом «Идиот» Достоевский с женой остаются во Флоренции еще на несколько месяцев. «Засел я во Флоренции единственно потому, что *все* не хватало денег на переезд»,— писал Федор Михайлович.

Жизнь во Флоренции тяготила Достоевского с каждым днем все более. Даже «божественное» искусство больше его не радовало. Похоже даже, что именно восхищавшие ранее флорентийский собор, картины и скульптуры в галереях теперь в сочетании с идеей нового романа «Атеизм» дали писателю новую пищу для размышлений о причинах «загнивания Запада», наступившего, по Достоевскому, в Европе, Италии в конце XV и начале XVI столетия, «когда Папа исказит Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся, западном человечестве»,— как писал он из Флоренции Майкову. Быть может, не случайно, что наряду с «Папством» и в одном ряду с ним Достоевский поставит в число признаков «опоганивания» и «искусство храмов», и Рафаэля, и «поклонения Аполлону Бельведерскому»...

Очевидно, слово «опоганившееся» Достоевский употребляет в его этимологическом смысле — от «поганый», то есть «языческий», но учитывает и новое, приобретенное им в русском языке ругательное значение. Точно так же, заостряя, усиливая, он к «исказит Христа» добавит отсутствовавшее в тексте — «окончательно».

Все эти филиппики связаны с предложениями Майкову — поэту, как известно, скорее тихому — сюжетов для поэм из русской истории, в которых упор должен быть сделан на близкую уму и сердцу Достоевского идею о вселенской миссии православия, призванного, как он глубоко в это верил, спасти человечество. Поэмы должны были кончаться «фантастическими картинами будущего» («фантастическими» явно в смысле «вымышленными», «сочиненными», но отнюдь для него не неправдоподобными) с «померкшей истерзанной и оскотинившейся Европой, с ее цивилизацией». «Я-бы не остановился тут *ни перед какой фантазией*..» — заявлял он.

Впрочем, добавлял: «Вы считаете меня в эту минуту конечно за сумасшедшего <...> Но я разгорячился». Однако не остывает: «Помилуйте Аполлон Николаевичь! да ведь эти поэмы, все мальчики в школах будут знать и учить наизусть. Но заучив поэму, он заучит ведь и мысль и взгляд, и так-как этот взгляд верен, то на всю жизнь *в душе* его и останется. <...> И потому — это не просто поэмы и литературное занятие,— это наука, это проповедь, это подвиг».

Должны ли мы воспринимать подобное выражение мыслей Достоевского дословно? Очевидно, да. Они подкрепляются и его художественными произведениями. И все-таки нельзя возводить их в абсолют, видеть в них выкристаллизованную идею писателя. Не только потому, что, как он сам пишет в том же письме, «<...> обо всем этом надо говорить лично, а не писать, ибо в письме ничего понятно не передашь». Но и потому, что о «Европе» им говорились и еще будут сказаны слова в иной тональности, нежели звучащая здесь анафема. Достаточно вспомнить знаменитую речь, посвященную памяти Пушкина: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! <...>»

О том, как понимал Достоевский кризис, вызванный противоречиями буржуазного общества, проявлявшимися в Западной Европе его времени в несравнимо большей

степени, нежели в России, которыми она тогда только «заражалась», как и о видевшихся ему путях выхода из этого кризиса, написано много и, без сомнения, будет еще писаться. Углубление в эту тему увело бы слишком далеко, и мы коснулись ее лишь постольку, поскольку она оказалась связанной с Флоренцией.

Упоминание Рафаэля в контексте письма к Майкову может показаться на первый взгляд под пером Достоевского неожиданным. Ведь «<...> Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал Сикстинскую Мадонну»,— отмечала Анна Григорьевна, причем на этот раз не в «Воспоминаниях», предназначавшихся для читателей, а в своем личном дневнике. И во флорентийской галерее Питти им была особо выделена картина Рафаэля «Мадонна в кресле». Да и покидая Италию, он с женой остановится «от поезда до поезда» в Болонье только для того, чтобы посмотреть в местной Пинакотеке рафаэлевскую «Святую Цецилию». «Федор Михайлович очень ценил это художественное произведение, но до сих пор видел лишь копии, и теперь был счастлив, что видел оригинал. Мне стоило большого труда, чтобы оторвать мужа от созерцания этой дивной картины, а между тем я боялась пропустить поезд»,— возвращалась к Рафаэлю Анна Григорьевна в «Воспоминаниях».

И все же, по-видимому, Рафаэль оказался у Достоевского в числе признаков «опоганивания» не только под влиянием вновь овладевшего им во Флоренции мрачного, нервного состояния. В романе «Бесы» рафаэлевская мадонна поминается как «царица цариц». Но писатель замечает у той же мадонны «скорбь в улыбке», видя уже в этом вековечном для него образе «следы» своей дисгармоничной эпохи.

Если при этом Достоевский заключал, как можно понять из его высказываний, что зачатки «дисгармонии» были присущи и самой эпохе Возрождения, он был, конечно, прав. Но как далеки от его гуманистической в своей основе мысли проповеди иных, современных уже нам, ниспровергателей «культа Возрождения», которые, апеллируя к тому же Достоевскому, тщатся перечеркнуть все значение этой великой эпохи в истории человечества, сводя ее к «взрыву плотской чувственности», из которой, мол-де, родились все «беды материализма» нового времени, и противопоставляя ей «духовное начало» средневековья.

Нет, «скорбь в улыбке» рафаэлевской мадонны не была для Достоевского ни отрицанием мадонны как символа гармонии, ни пресловутой ложкой дегтя в бочке меда Возрождения. Он мечтал избавить улыбку человека от тени скорби, а не вытянуть его лицо в безжизненную маску аскета. Эта мечта просматривается в подходе Достоевского и к другим произведениям изобразительного искусства Запада.

Если мысленно представить собранными вместе те из них, которые ему особенно нравились, составится небольшая, но, по правде говоря, довольно пестрая галерея — от Венеры Медичи до «Шоколадницы» Лиотара. Полотна Рафаэля, Корреджо, Тициана будут соседствовать в ней с картинами Аннибале Карраччи и Батони, Рембрандта с Ван Дейком, Рюисдаля с Клодом Лорреном. Можно, однако, догадаться, что объединяет их в восприятии Достоевского. Это именно некая гармония, понимаемая им как состояние покоя, с большей или меньшей долей торжественности, то есть то, чего была лишена его собственная мятущаяся душа.

Исключение представляет картина Гольбейна Младшего «Мертвый Христос». Между тем она настолько поразила его воображение, что, желая лучше ее рассмотреть в зале Базельского музея, Федор Михайлович даже встал на стул, в то время как его жена, у которой изображение истерзанного тела «возбудило одно только отвращение и какой-то ужас <...> очень боялась, чтобы с него не потребовали штраф, потому что здесь за все полагается штраф».

Действительно, в «воображаемом музее» Достоевского картина Гольбейна Младшего выглядела бы антитезой всем другим его предпочтениям в области живописи. Но из описания ее в «Идиоте» видно, что именно этим она и привлекла его внимание. Устами князя Мышкина писатель скажет об ее «антирелигиозном смысле».

Вчитываясь хотя и в отрывочные, как правило, высказывания Достоевского об изобразительном искусстве, нетрудно заметить, что он видел в произведениях живописи прежде всего сюжет и реагировал на него лишь в том случае, если тот перекликался как-то с его собственными идейно-философскими исканиями. Похоже, что художественные стили, собственно живописные приемы, присущие той или иной эпохе, школе, его не интересовали, а быть может, и не существовали для него. Жестоко раскритиковав полотно Н. Н. Ге «Тайная вечеря» за ее, так сказать, будничность («Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г. Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?»), Достоевский мог сожалеть, что художник, работавший в русле реалистических исканий середины XIX века и стремившийся приблизить смысл евангельских преданий к представлениям современников, не придал своему Христу черт тициановского Христа из чрезвычайно нравившейся ему самому картины «Динарий кесаря».

Впрочем, и здесь у Достоевского все гораздо сложнее, чем может поначалу показаться. Известно, что он приветствовал появление жанровой живописи передвижников. Однако и опасался забвения русскими художниками «идеального», «исторического рода живописи».

Передвижники были, конечно, тесно связаны с процессами, происходившими в русской литературе. Как и Достоевский, они, можно сказать, вышли из «Шинели» Гоголя. Но если двойники Акакия Акакиевича мужского и женского пола густо населяли петербургские квартиры в ранних повестях Достоевского, то в кипящем страстями мире Раскольникова, Настасьи Фи-

---

Н. ПРОЖОГИН
ДОСТОЕВСКИЙ ВО ФЛОРЕНЦИИ

липповны, Рогожина, князя Мышкина, братьев Карамазовых они все больше отодвигались на второй план. Видимо, писателю хотелось увидеть и в русской живописи нечто похожее на поэму о Великом инквизиторе.

Однако это тоже уже другая тема, хотя и связанная с отношением Достоевского к Флоренции, которая, несмотря на все ее «чудеса искусства, неслыханного и невообразимого», все же останется в его представлении частью глубоко чуждого и ненавистного ему «опоганившегося» мира.

В мае, в связи с ожидавшимся у Достоевских рождением ребенка, во Флоренцию приезжает мать Анны Григорьевны А. Н. Сниткина. Тогда же им пришлось сменить квартиру, переехав на площадь Нового рынка с ее изумительной лоджией, построенной в середине XVI века, и фонтаном — копией мраморной фигуры раненого кабана античной работы, находящейся в галерее Уффици. Но... «жара во Флоренции наступает ужасная, город душный и раскаленный, нервы у нас всех расстроены,— что вредит особенно жене, теснимся мы в настоящую минуту (и все en attendant) в теснейшей маленькой комнатке, выходящей на рынок. Надоела мне эта Флоренция, а теперь от тесноты и от жару даже и за работу сесть нельзя. Вообще тоска страшная, а пуще — от Европы; на все здесь смотрю как зверь».

Достоевский мечтает о том, как, вырвавшись из Флоренции, приступит, наконец, к работе над романом-притчей «Атеизм», «пред которой вся моя прежняя, литературная карьера — была только дрянь и введение и которой я всю мою жизнь будущую посвящаю <...> Ну так мне ведь нельзя писать ее здесь; никак; непременно надо быть в России. Без России не напишешь».

Позже, переехав, наконец, в Дрезден, он опишет эти несколько тягостных для него месяцев, проведенных в ставшей для него сущим адом Флоренции, в письме к С. А. Ивановой, опишет пером, достойным Достоевского-романиста.

«Теперь прошу вас, милый друг мой, прибегнуть к силе вашего воображения и представить себе, каково нам было оставаться во Флоренции июнь, июль и ½ августа (нов. стиля)! Я никогда еще в моей жизни ничему подобному не подвергался! В гидах объявлено, что Флоренция по положению своему, зимой — один из самых холодных городов Италии <...>; летом-же один из самых горячих пунктов всего полуострова <...>. Ну вот это-то пекло мы и вынесли на себе, как русские люди, которые все выносить способны <...>. Мы прежнюю зимнюю нашу квартиру принуждены были оставить по одному независящему случаю в Мае месяце и (ожидая скоро денег) переехали к одним знакомым хозяевам, где и заняли, на самое короткое время (т. е. так рассчитывая) крошечное помещение. Но так как денег не присылали, то мы и принуждены были оставаться в этом крошечном помещении (в котором мы поймали двух подлейших тарантулов) — три месяца. Окна наши выходили на рынок под портиками, с прекрасными гранитными колоннами и аркадами и с городским фонтаном в виде исполинского бронзового кабана, из пасти которого бьет вода (классическое произведение, красоты необыкновенной); но представьте себе, что вся эта громадная масса камня и аркад, занимавшая почти весь рынок, накаливалась каждый день как печка в бане (буквально) и <...> в этом-то воздухе мы и жили. <...>Но что для меня, арестованного во Флоренции обстоятельствами, было всего страннее,— продолжает Достоевский, не замечая, как впадает в противоречие с только что написанным,— так это — то, что шатающиеся иностранцы (а из них много народу очень богатого) на половину остались во Флоренции и даже вновь приезжали; тогда как почти все, со всей Европы, хлынули с наступлением жаров на воды в Германию. Я не понимал, ходя по городу и встречая нарядных англичанок и даже <!> француженок: как можно жить добровольно в таком аде, имея деньги на выезд. Всего больше мне было жаль мою бедную Аню. Она, бедная, была тогда на седьмом или на восьмом месяце; ей было ужасно тяжело в этой жаре. Кроме того город всю ночь не спит и ужасно много поет песен. Окна у нас ночью конечно отвореные, а к утру к 5 часам, кричит и стучит базар, кричат ослы,— так что нет возможности заснуть. Наконец мы выехали <...>».

...13 (25) марта 1882 года Иван Сергеевич Тургенев писал Марии Гавриловне Савиной: «<...> намерение Ваше ехать в Италию — особенно во Флоренцию — одобряю вполне. Я прожил во Флоренции — много, много лет тому назад (в 1858-м году) — десять прелестнейших дней; она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание... а между тем, я был там *один*... Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатичная, хорошая, *красивая* (это уж непременно)... <...> если Вы поедете во Флоренцию — поклонитесь ей от меня. Я проносил мимо ее чудес влюбленное... но беспредметно влюбленное сердце... Или нет: я в нее был влюблен. Ох, уж эти мне каменные красавицы!»

Конечно, письмо это не только и, быть может, не столько гимн самой Флоренции, сколько изъяснение в чувствах, которые писатель питал к молодой актрисе. Но ведь они еще более оттеняют его восторг и перед «каменной красавицей».

Достоевский и в жизни и в литературе выступал антагонистом Тургенева. Их взгляды не могли не разойтись и в отношении к такому городу — нет, больше чем городу, к такому явлению истории и культуры, как Флоренция.

◆

Антирубрика

АВСТРАЛИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

РОБИН РОБЕРТСОН

Перевод с английского Л. ЗАВЬЯЛОВОЙ

Вам же хуже

Это статья о статьях. Тех, которые я пытаюсь продать. Хотя за последние три года мною написано их около пятидесяти, стоящими из них я считаю не более десяти. Вот их-то я и пытаюсь сбыть.

Пишу я практически ежедневно, и мой опыт подсказывает, что на четверть часа вдохновения приходится десять часов изысканий, размышлений, раскачки и переписки. На одну статью можно ухлопать две недели, а потом окажется, что она ни к черту не годится. Некоторые мои статьи кажутся еще незрелыми, я их откладываю — пусть себе дозревают.

Статьи, которые мне действительно нравятся, я разослал в журналы. Они мои детки. Как больно посылать их в большой мир на поругание критики. Но мне приходится быть суровым, и они покидают своего папочку в конверте с оплаченным ответом.

«Клео», «Виминс уикли» и «Вуменс дей», как правило, действуют до обидного быстро—не пройдет и недели, как они неизменно возвращают рукописи по принадлежности. Я не могу отделаться от ощущения, что там их просто не читают.

Другие журналы держат мои статьи дольше, что дает мне основание надеяться. Я так и вижу, как редакторы, проглядывая их, ухмыляются и выписывают мне чек. Но не тут-то было. Статьи продолжают лежать в редакции под кипой других статей и ждут, пока какой-нибудь усталый редактор не просмотрит их по диагонали.

Мое первое и единственное художественное произведение — рассказ — путешествовало предостаточно. Сначала я послал его в «Клео», затем в «Космополитэн», потом в «Нэшнл таймс», наконец, он три месяца томился в «Нэшнл ревью». Выждав продолжительное время, я позвонил в редакцию. После долгих розысков и шелеста бумаги я услышал: «Принят условно». Такой ответ мог бы стать поводом для ликования, если бы «принят условно» не означало, что рассказ будет напечатан при наличии места. А оно, по самым скромным подсчетам, может у них появиться года так через три.

В редакции порекомендовали мне попытать счастья где-нибудь еще, но решили познакомиться и с другими моими сочинениями.

Я подобрал им две статьи. Прошло еще три месяца. Ни слуху ни духу... Тогда я решил позвонить и узнать о судьбе моих творений. На проводе снова зашелестели бумагой, и чей-то недовольный голос изрек, что у них переизбыток подобных «эссе» и вряд ли мои увидят свет. Редакция так и не потрудилась вернуть мне оригинал.

Тем не менее мой рассказ купил «Форд». Мне заплатили пятьдесят долларов Он был напечатан слово в слово как у меня, фамилия не была переврана и даже красовалась крупными буквами.

Шаг вперед. Но два назад.

Один периферийный журнал сообщил, что принимает три моих статьи. Вслед за этим письмом пришло второе, в котором говорилось, что мои статьи еще не одобрены, но пусть пока «полежат», а я волен ими распоряжаться по собственному усмотрению. Но тут открылся новый журнал — «Уоркинг вумен». Я ринулся туда. И моя статья им понравилась. Они опубликовали ее под рубрикой «Практика планирования». Согласен ли я написать следующую? Они еще спрашивают!

На двух статьях я заработал 125 долларов. Потом написал еще для следующих номеров. Но журнал приказал долго жить. Так

© Robin Robertson

мои четыре статьи — неопубликованные беспризорники — вернулись в отчий дом.

Тут начал выходить еще один журнал под крылышком у «Нью таймс». Инструкция подсказывала, что они оценят мой стиль, и я послал туда мое детище, но после первых трех номеров и этот журнал закрыли.

Я начал тихо подозревать, что мои статьи роковым образом влияют на судьбу журналов, и тогда у меня появилась мысль как-нибудь пробраться в редакцию «Виминс уикли», «Клео» и «Вуменс дей» и подкинуть им по парочке моих материалов. Пусть после этого закроют и эти журналы. Мой девиз: если тебя не печатают — отомсти.

МОРИН ПОПЛЬ

Шекспиру повезло!

В прошлом году я продала рассказ... Уже одна такая новость, видит бог, заслуживает аплодисментов. Но я пишу об этом, меньше всего чтобы хвастаться.

Мой рассказ не получил Пулицеровской премии. Если быть честной до конца, я считаю его чуть выше посредственного. В нем было 2498 слов. Ни больше ни меньше. Я новичок в писательском деле и пересчитала слова все до единого. 2498. И каждое оставлено мною в рассказе в результате серьезного обдумывания.

После принятия рассказа к печати я была преисполнена чувства собственного достоинства: галопом поскакала в банк за деньгами по чеку, раззвонила всем знакомым и коекому из совершенно незнакомых мне людей, приказав им следить за публикациями.

Я была абсолютно готова подставить лацкан своего пиджака для знаков отличия и приготовилась небрежно отвечать: «Да будет вам, стоит ли об этом». Но проделать все это мне так и не пришлось. Когда мой рассказ напечатали, мне никто даже не позвонил. Кроме злейшего врага — ей понравился сказала она

· Эти деляги выудили из моих 2498 слов 1001. Те, у кого есть счетная машинка, вооружитесь ею. Остальных прошу поверить мне на слово. Это составляет 40,07205 процента.

Сейчас мы подходим к сути моей статьи. Я хочу знать, имеют ли они право так с нами поступать? То есть, конечно же, имеют. Ведь это свершившийся факт. Но почему они могут и почему мы это им позволяем? Интересно, что испытывал бы Страдивариус, если бы они выстрогали из его скрипки дудочку? Или Корбюзье, если бы они свели его собор к бунгало? Ведь я, черт побери, чувствую то же самое, что чувствовали бы они просто с ними никто не посмел бы так поступить.

Я разразилась очень воинственным письмом и отослала его в издательство. В письме я решительно заявила о... беспардонном нарушении, искажении... шаблоне... Даже процитировала параграф из устава об охране авторских прав. Мне ответили (пожалуй, любезнее, чем я предполагала), какие трудности они испытывали, сокращая мой рассказ, им, видите ли, требовалось место для романа, и что газета или журнал, купив права на мое произведение, вольны обращаться с ним как угодно, а в заключение сообщали, что параграф 91 распространяется лишь на телевидение. Кроме того, похвалили последний отвергнутый абзац.

Думаю, издателю было не совсем по себе после моего едкого письма. А моя рана все еще кровоточит. Но кому бы только я не рассказывала свою горестную историю, все кивали головой или помалкивали выразительно, глядя на меня: «Это, мол, еще что». Похоже, такое случается с каждым. А то и кое-что похлеще.

Но почему? Если журналу нужен рассказ на 1497 слов, разве он не может опубликовать одну из сотен рукописей, которые, как нам говорят, ежедневно заполняют письменные столы несчастных редакторов. Почему нет наготове рукописей разного объема, тогда, в зависимости от места, не сокращали бы их, заменяли одну другой Почему нельзя предварить публикацию уведомлением: «Выдержки из рассказа Морин Попль» или «Избранные мысли М. Попль»? Почему, наконец, продержав рассказ пять лет — вполне обычный срок для редакций,— редактор так и не выбрал времени позвонить мне. Да я была бы рада-радешенька покорно обрезать свой рассказик и на стертых до крови коленках с сокращенным вариантом в зубах приползла бы в редакторский кабинет. И не теряла бы времени, как тот недоумок, что точил ножницы.

А я, вместо того чтобы ходить по врачам, за это время написала бы что-то еще и намного лучше.

Глядишь, пройдут тысячелетия, и люди, докопавшись до нашей цивилизации, извлекут этот номер журнала, как когда-то папирусы, и воскликнут: «И за такие рассказы ей присуждали премии?»

Неужто мы бессильны остановить варварскую шлифовку наших алмазов? Неужели несчастные сто долларов дают право корежить наши нежные творения без ведома автора, печатать не под псевдонимом выжимки из наших сочинений, даже не указывая на это? Если наши произведения достаточно хороши для продажи, они должны быть достаточно хороши и для печати. В полном объеме. Так что будьте любезны.

© Maureen Pople

АНХЕЛЬ АНТОНИО МИНГОТЕ

Перевод с испанского А. БАЛЖИ

Корова на рельсах

— Понимаете, доктор,— говорил Эухенио, теребя в руках фуражку,—галлюцинации у меня... Так что...

— Пустяки! — воскликнул врач.— Я вас вылечу в два счета. Один из моих пациентов страдал прелюбопытной галлюцинацией: каждую ночь он слышал, как под подушкой у него оглушительно громко играет Филадельфийский симфонический оркестр. Я назначил ему лечение и всего за две недели добился того, что он стал слышать только один кларнет. К тому же кларнет играл— в платяном шкафу. Так что судите сами...

— Нет, нет, доктор,— прервал его Эухенио.— Это не пойдет. Я к вам пришел не за лечением, а за тем, чтобы разнообразить мои галлюцинации, а то у меня четыре из них слишком часто повторяются. Но я вижу, что попал не совсем по адресу.

И не успел врач раскрыть рта, как он ушел.

С этого дня Эухенио смирился с тем, что ему не суждено видеть более десяти — двенадцати галлюцинаций, которые скромность позволяла ему иметь. Впрочем, и этого было предостаточно.

Те, кто его знал, никак не могли понять, как можно жить так счастливо, будучи водителем поезда метро.

— Тебе не скучно все время кататься в этой дыре? — спрашивали его.

Вместо ответа Эухенио давал гудок и загадочно улыбался.

Для любого машиниста метро провести поезд от станции до станции означает всего лишь проехать по туннелю, ограниченному перронами с обоих концов. Только не для Эухенио. Он, благодаря своим галлюцинациям, мог проехать из «Куатро Каминос» в «Кеведо»[1] с заездом на Лазурный берег, где слева тянулись отели, утопавшие в лимонных деревьях, а справа ослепительно блистало Средиземное море. При появлении огней, возвещавших приближение очередной подземной станции, Лазурный берег таял, но улыбка радости уже не сходила с губ Эухенио. Он проделал отличное путешествие, а туннель уже манил его, суля следующую поездку, быть может еще более увлекательную.

И действительно, когда вагоны освобождались от толпы сеньоров в плащах, а затем неизменно наполнялись другими сеньорами в более или менее таких же плащах, Эухенио давал гудок, поезд устремлялся в туннель, и начиналось дивное путешествие по штату Техас. Десятки ковбоев галопировали по обеим сторонам дороги, а молоденькие блондинки, владелицы ранчо, посылали вслед воздушные поцелуи. Иногда ему выпадал удачный на галлюцинации день, и тогда его поезд мчался по швейцарской долине, и можно было любоваться упитанными коровами, пасущимися на лугах. Завидев поезд, коровы мотали головами и блаженно мычали, а Эухенио в ответ весело давал гудок.

«Какого дьявола наш Эухенио сегодня все утро дает гудки? — размышлял начальник станции «Опера», почесывая затылок карандашом.— Прямо чокнутый какой-то...»

А все дело было в том, что этим утром в швейцарской долине было больше коров, чем обычно,— ведь это было воскресенье. Но как может понять такое начальник подземной станции метро? А в объяснения Эухенио предпочитал не пускаться.

И случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Одна из коров, смелее остальных, пересекла пути с безответственностью, свойственной разве что коровам да еще очень толстым дамам. Эухенио заметил ее, только когда до нее оставалось каких-нибудь несколько метров. Он едва успел бы затормозить. Зажмурив глаза, он сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы стереть эту галлюцинацию. Когда он открыл глаза, швейцарская долина уже растворилась в темноте, но одинокая, ярко освещенная корова все так же стояла на рельсах. Это было уже слишком даже для галлюцинации. Эухенио завопил, уцепился за тормоза, дал гудок и потерял сознание.

Когда он пришел в себя, то увидел, что лежит на перроне в окружении дежурных по станции. Они обливали ему лицо водой из всех поливальников, какие только на станции нашлись.

— Что случилось? Что это ты вдруг затормозил, да еще так резко?

Эухенио с трудом приподнялся.

— Корова...— пробормотал он.— Там была корова на рельсах...

Все расхохотались; казалось, он свихнулся, а такие люди бывают очень потешными. Однако смешки разом стихли, когда послышалось далекое жалобное мычание, гулко раздававшееся в туннеле. Все в удивлении повернули головы. Из туннеля появилась корова, которая мягко трусила между рельсов. Приблизившись к платформе, она с усилием вспрыгнула на нее и, подойдя к Эухенио, принялась облизывать ему лицо с выражением нежности.

— Бедная коровушка! — сказал Эухенио.— Я не хотел тебя так напугать, прости меня. В другой раз я постараюсь, чтобы галлюцинация не была такой сильной.

Он почесал ее за ухом. Корова успокоилась, и постепенно ее тело становилось прозрачным. Через минуту оказалось, что она соткана из тончайшего воздуха. И наконец, легкая и прозрачная, она исчезла.

И тогда все вздохнули с облегчением.

[1] Станции мадридского метро *(прим. перев.)*.

Звонарь

Когда ударили в колокола, множество неугомонных кумушек, всегда готовых откликнуться на любое проявление общественной жизни, высунулись в окна своих домов и в один голос воскликнули:

— Звонят по покойнику!

— Кто бы это мог умереть? — сказала одна из них, чья неугомонность никак не довольствовалась знанием общедоступных фактов.

Никто не знал, что ей отвечать, и хотя была высказана масса предположений, ни одной не удалось угадать имени того, у кого хватило ума умереть в такой прекрасный день, когда на все улицы городка выплескивалась весна.

А колокола продолжали печально звонить. Послушаешь их, так создается впечатление, что воскресение из мертвых будет для этого усопшего куда более трудной задачей, чем для любого другого.

— Надо признать, наш звонарь знает свое дело. Нигде больше не умеют звонить в колокола с таким чувством.

— А как хорошо они настроены!..

Наконец воцарилась тишина. Впрочем, тишина не полная, потому что птички продолжали щебетать, как будто им-то умереть вообще никогда не предстояло. С другого конца улицы появился звонарь Рафаэль.

— Кто сегодня умер, Рафаэль? — спросили его соседки, как только он подошел.

— Нынче ночью на Ямайке было землетрясение,— сказал Рафаэль.— Надо же оплакать гибель четырех тысяч человек...

Печальная новость, однако соседки подозревали, что у ямайских индейцев должны быть собственные колокола, чтобы оплакивать своих покойников, так что никто всерьез эту новость не воспринял.

— Должно быть, кто-то умер инкогнито,— решили все, заметив желание Рафаэля не разглашать секрет.

Немного погодя звонарь встретил дона Эулалио, нотариуса, которому весна выкрасила нос в изящный меловый цвет.

— По ком ты звонил сегодня утром, Рафаэль?

Рафаэль смерил его взглядом сверху донизу, покачав головой. Казалось, он хочет сказать: «Чтобы нотариус да спрашивал о подобных вещах...» Дон Эулалио, сконфуженный собственным невежеством покраснел и побежал расспрашивать врача, который сам умирал от страха, не по нему ли самому звонили сегодня в колокола.

Звонарь продолжал свой путь, улыбаясь, слушая птичек и наслаждаясь благоуханием цветов.

— Как хорошо ты звонил сегодня утром, Рафаэль! — сказали ему молоденькие девчонки, плясавшие босиком на траве луга.

Девчонкам было решительно все равно, кто умер, так как для тех, кто пляшет босиком на траве луга, мертвецы не представляют абсолютно никакого интереса. Однако они ценили искусство и именно поэтому хвалили звонаря.

— Колокола пели так жалобно, что я чуть не расплакалась, особенно когда вспомнила о последних танцах в клубе, куда я не попала из-за ангины!

Чуть позже Рафаэль встретил мэра, вышедшего проследить, чтобы весна не слишком выбивала городок из колеи.

— Похоже, один из твоих колоколов звучит излишне громко,— сказал он, нахмурившись.

Это было не так, но он был рассержен, потому что одним налогоплательщиком стало меньше; потому что кто-то умер, не поставив его в известность; и наконец потому, что надо же было что-нибудь сказать.

Зато престарелый дон Симеон, который непонятно как умудрился прожить столько лет, приветствовал звонаря с восторгом:

— Я очень доволен и только теперь понимаю, как сладко запоют колокола, когда ты в них ударишь по мне!

Вот так на все лады обсуждался колокольный звон по усопшему, произведший такую сенсацию.

— Наконец-то наше захолу́стье превращается в настоящий город,— говорил в казино дон Анисето Кустуньела, которому довелось много путешествовать,— наконец-то можно умереть так, чтобы об этом тут же не стало известно всем и каждому.

Когда Рафаэль пришел домой, его жена, сгоравшая от нетерпения, осыпала его упреками:

— Почему ты мне не сказал, что кто-то умер? Ты мне уже не доверяешь? Вот не думала, что между нами будут секреты!

Рафаэль и не пытался оправдываться. Он лишь пожал плечами и, не говоря ни слова, удалился к себе в спальню.

Когда немного спустя вошла жена, она нашла его неподвижно лежащим на кровати со скрещенными на груди руками. Потрогав его, она убедилась, что он мертв.

— Теперь все понятно...— сказала она.

Она надела черное платье, все расшитое стеклярусом. Затем начистила ботинки Рафаэля и разгладила руками покрывало на кровати: ведь придут соседки...

◆

КАРЛ КРАУС

Перевод с немецкого А. РЕПКО

Афоризмы

Маленькие станции очень гордятся тем, что мимо них проходят скорые поезда.

Боже, прости им, ибо ведают, что творят!

Бессмертие — единственное, что не терпит отсрочки.

Ловлю мысль на слове, вот она и приходит.

Сильный сомневается до принятия решения, слабый — после.

Речь — мать, а не служанка мысли.

Сколько же оптимизма у сатаны, думающего, что людей можно сделать хуже, чем они есть.

Есть две категории писателей. У одних содержание и форма так же едины, как душа и тело. У других они соотносятся как тело и нательное белье.

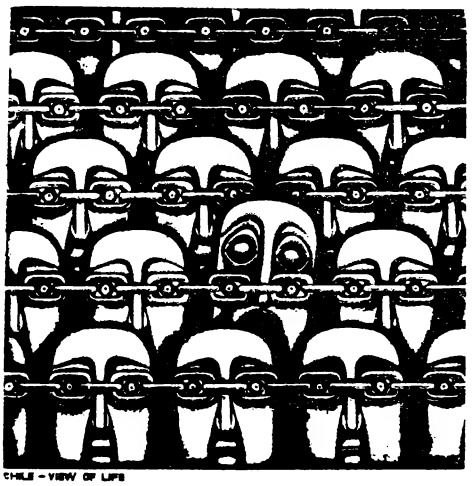
Прогресс празднует пирровы победы над природой.

Одни пишут, потому что видят, другие — потому что слышат.

У пишущей машинки был писатель. Вот только затраты на его прокат никогда не окупались.

Афоризм не может быть целиком сведен к правде. Он всегда или половина правды, или полторы.

◆



Йовчо САВОВ. Болгария. В ЧИЛИ.

Наши гости

Альдо Де ЯКО, Элио Филиппо АККРОККА

ИТАЛИЯ

Два года спустя мы вновь встречаемся с руководителями Национального синдиката писателей Италии — его генеральным секретарем Альдо Де Яко и секретарем по международным делам Элио Филиппо Аккроккой.

Альдо Де Яко — видный итальянский писатель, критик, литературовед, который дебютировал в 1946 году повестью «Южная ночь». Ряд произведений писателя был переведен на русский язык, в частности его «Повесть с эпилогом в тюрьме» печаталась в нашем журнале (см. «ИЛ», 1977, № 11). Большим успехом у читателя пользуется одна из последних его книг — «Дни победы», посвященная движению Сопротивления в Италии.

Элио Филиппо Аккрокка — один из наиболее крупных современных поэтов Италии, автор многочисленных поэтических сборников и литературоведческих монографий, чьи работы неизменно входят во все литературные энциклопедии Италии.

— Мы знаем, друзья, что главной целью вашего нынешнего приезда в Москву были переговоры в Правлении Союза писателей СССР, связанные с выработкой нового протокола о сотрудничестве между двумя организациями. Однако здесь, в редакции нашего журнала вы прежде всего наши авторы, прозаик и поэт, представители столь популярной в СССР итальянской литературы. Поэтому первый вопрос к вам, товарищ Де Яко: может быть в вашем «портфеле» уже лежит новый роман для нас?

А. ДЕ ЯКО. *Нет, нового романа, увы, пока нет. Замыслы есть, планы... Но я думаю что стоит начать нашу беседу все-таки с поэзии — этого «первого слова сумевшего,— я цитирую одну из статей Элио Филиппо Аккрокки,— преодолеть барьеры Алфавитов»*

Э. Ф. АККРОККА. *Меня давно, уже очень давно волнует одна мысль. Она о том, что литературу рождает опыт и культура — вот два источника поэзии в любую эпоху и в любой стране Разумеется, оба этих понятия — и опыт, и культура — не могут быть оторваны от национальной почвы. И все же... Мы только что вернулись из Риги, где субботним вечером я пережил неожиданное, но очень радостное ощущение, будто бы нахожусь дома: на площади с памятником великому Я. Райнису мы увидели стайку ребятишек, которые играли в прятки,— не найдя другой точки опоры, чтобы облокотиться и спрятать свое лицо, девчушка, уткнувшись в колени поэта, на совсем непонятном мне языке произносила очень тем не менее понятную «считалку». Архитектура Риги, конечно же, в целом далека от римской, но вот — одно удивительно памятное здание, другое, третье... Вот уголок парка... И море, тоже очень знакомое море. Если бы только не эти непривычные белые буруны льда на берегу. А может быть, это был и не лед вовсе, а пена волн, какие столь часты в нашем Средиземноморье?!*

Я побывал во многих странах, на разных континентах, но вместо более четкого представления о географии, истории, культуре народов и государств у меня создавался куда менее ясный, но все же достаточно определенный образ гигантского «человеческого леса», каждое дерево которого имеет свои собственные корни, но все корни вместе питаются из одного источника — нашей в общем-то совсем уж не такой бескрайней и бесконечной планеты. Деревья в этом лесу волею самой природы — в постоянном общении. Ибо кроме корней у них есть стволы, и листья, и плоды. Разные ветры, переносимые циклонами с разных широт, обдувают листву, дают ей воздух, оплодотворяют прилетевшей неведомо откуда пыльцой цветы. Разные птицы вьют гнезда и в тех и в этих краях но не та же, что и у человека, страсть к познанию, с одной стороны, и незыблемая вечность законов природы, с другой, влекут их к бесконечному передвижению?!

Но сколь неспокойна жизнь деревьев
в этом лесу, сколь
беззащитными порой оказываются они!

На пути волны времени,
которая дробит рябью горизонт и лишает
уверенности
парус (но руль — более упрям);
на пути моря лет, которое затопляет нас,
незащищенный перед натиском ветров
полуостров,
какую современную технику,
какую плотину или цементную стену
поставить?[1]

Этот вопрос я задавал себе не однажды — так родился цикл стихов «Неспокойная Европа». Здесь в обилии встречаешь

[1] Здесь и далее перевод стихов А. Веселицкого.

контрасты, достижения, портреты, символы, привычки, характеры. И все это понуждает к постоянному размышлению, к вопросам, обращенным к собственному «мы», к осмыслению нашего опыта, наших неудач, наших, может быть, необузданных желаний...

Слово, которым начинается плакат, всегда самое главное. Слово, которое сегодня чаще всего встречается на многоязыких плакатах нашего континента,— это слово «мир», понимаемое как надежда. Если так начинаются плакаты, значит, мы живем в неспокойные времена. И неспокойствие это затрагивает не только писателей, которым и без того вечно суждено скитаться в неспокойном море слов, бесконечных и тревожных поисков глагола, мысли, самой основы, питающей ствол и ветви человеческого леса.

Поэзия, а для меня это понятие идентично слову, является средством выражения человека, народа. Чтобы нести ее по земле, нам нужны переводы, печать, издательства.

Мир — иное дело. Он — выражение всякого свободного сознания, он — плод постоянной борьбы в человеческом лесу, он — неизменное утверждение идеалов и конкретных достижений.

Слово живет в надежде на выражение в творчестве, но мир не может быть ограничен лишь надеждой. Он должен стать уверенностью, перейдя для этого все границы и все континенты.

Следует добиться поэтому того, чтобы отпала нужда в самом переводе слова «мир», которое не является лишь лингвистическим термином, неким неологизмом времени. Оно не принадлежит лишь бумаге. Это — кислород для всей нашей человеческой природы. Это — знамя, окрашенное цветами поэзии всей планеты, ее прошлого, ее великих гениев, которые верили в силу слова...

Вот так, вероятно даже слишком патетически, я изложил вам и замысел второй части «Неспокойной Европы».

Что принесем мы, люди сегодняшнего дня, в год двухтысячный? Из всего, что я уже сказал, вы, конечно, поняли: несмотря ни на что, я оптимист. И этот мой оптимизм не абстрактен: я нахожу для него почву в самых разных странах —

в глазах, чей привет сильнее всякого жеста,
и это истинное открытие человеческой сущности, которая питает
нашу каждодневную историю...
Поэтов всех континентов,
пейзажи сотни наций,
достижения всех народов —
все мы доставим на свидание с годом
этим ДВУХТЫСЯЧНЫМ, надвигающимся,
целиком написанным с большой буквы...

...Название этой второй части «Неспокойной Европы» будет звучать как своеобразный тост: «Твое здоровье, Континент!»

А. ДЕ ЯКО. *После столь поэтичного и эмоционального выступления моего друга и коллеги весьма трудно перейти к прозе. К прозе нашей жизни. Тем более что в душе мы все немножко поэты, и кому из нас не дорога эта полная страстной надежды идея нового Континента — континента согласия, мира, дружбы.*

С Союзом писателей СССР мы подписали рабочий протокол о сотрудничестве на 1981—1982 годы, в котором заключены конкретные и очень важные инициативы. Но что стоили бы все наши протоколы и соглашения, если бы они не основывались на дружбе, на искренней дружбе, которая объединяет нас и — не побоюсь этого несколько высокопарного выражения — дает нам служащее источником вдохновения ощущение принадлежности к единой, не знающей географических границ семье литераторов, которые сообща, камень за камнем, воздвигают здание отвечающего требованиям дня единства писателей всего мира.

Я спрашиваю себя: как же это возможно? Каким образом мы добиваемся того, что это здание не превращается в Вавилонскую башню? Думаю, что ответ ясен: прежде всего потому, что мы знаем и любим друг друга. Потому, что, сопоставляя, порой даже остро, наши культурные позиции, мы всякий раз открываем, что, несмотря на расхождения, нас очень многое объединяет. И сознание этого помогает преодолеть все жизненные бури, во всех случаях мы остаемся друзьями и братьями.

Вот то настроение, с которым мы приехали в Москву, те мысли, которые высказывались во время бесед с руководством Союза писателей СССР.

— В ваших статьях, выступлениях вы часто обращаетесь к вопросу о месте и роли писателя в обществе...

— Да, я считаю, что это — вопрос вопросов как для каждого писателя в отдельности, а значит и для меня лично, так и для той организации, которую я сейчас возглавляю вместе с моими коллегами, представляющими самые различные политические силы.

Хотелось бы подчеркнуть, что Национальный синдикат писателей — антифашистская и светская организация итальянских литераторов, которые стремятся прежде всего к тому, чтобы добиться максимально благоприятных возможностей для самовыражения. Но разве можно создать что-либо значительное, лишь варясь, как говорится, в собственном соку, живя лишь жизнью этой своей организации? Одного этого ничтожно мало как в условиях капиталистической Италии, так и в любом другом обществе. Долг писателей — принимать самое активное участие в борьбе на идеологическом фронте — то есть в области познания и информации, за достижение истинной свободы творческих поисков.

Страна, в которой мы живем, в этом смысле отнюдь не создала для нас «сладкой жизни». Ведь дискриминация и цензура осуществляются здесь в чрезвычайно изощренных формах, которые в конечном итоге сводятся к самому прямому шантажу голодом: или ты даешь продукцию, которая обязательно найдет сбыт, или же тебя лишат этого источника существования.

За примерами далеко ходить не надо. Мы с горечью видим, как постепенно, шаг

за шагом, монополистическая индустрия уничтожает государственное телевидение, сведя до этого на нет всякие возможности вмешательства государства и общества в дела кино.

Страшной, я не нахожу иного слова, именно страшной представляется и ситуация, сложившаяся в издательском деле. Здесь также действует единственный и всесильный закон — стремление к максимальной прибыли, что, несомненно, не способствует ни созданию, ни распространению истинной культуры. Я приведу лишь один пример: Италия, эта колыбель древнейшей цивилизации, стоит ныне на последнем месте в Западной Европе по числу читающих. Подумать только: на 1600 периодических изданий в стране приходится немногим более десяти тысяч пунктов, через которые эта продукция реализуется. А это, в свою очередь, означает, что целая треть населения страны — жители небольших деревень и поселков — полностью лишена доступа к печатному слову: капиталистической промышленности невыгодно заниматься распространением периодики и книг, если данный книжный магазин, киоск, канцелярская лавка где порой отводится место и для газет с журналами, не гарантирует продажи заранее рассчитанного электронными машинами «рентабельного» количества экземпляров.

В результате мы наблюдаем, как все более утверждается культура элитарная, искусственно сведенная к «единому цвету» культура, далекая от масс и от реальной жизни, вырванная из контекста творческих поисков.

Иными словами: наша культура по-прежнему остается в плену капиталистического производства. Однако в то же время культура — естественный и непримиримый враг капитализма, как всякой реакционной формы общественного устройства, ибо только благодаря смелым, свободным поискам и многоголосому творчеству на свет могут появиться новые идеи — эти знамена будущего.

— Критик Джан Карло Ферретти в одной из своих недавних статей так определил контуры литературной жизни сегодняшней Италии:

«Республика и индустрия литературы в Италии все более начинают походить на знаменитые семьи патрициев прошлого: потускневший геральдический герб, освеженный с помощью выгодного брака с плебеем, много старости и мало молодости. В этих семьях во всяком случае редко бывают гости «извне».

Иными словами, сфера литературного производства и потребления высокого качества в Италии все более сужается, «затвердевает», не обновляется ни в читательском, ни в писательском плане.

А. ДЕ ЯКО. *Очень удачное сравнение. Впрочем, оно ни в коей мере не противоречит тому что я сказал о монополистическом наступлении на культуру. Именно результатом этого наступления я считаю ситуацию, когда, с одной стороны, мы имеем издательскую промышленность, которая уже потеряла свои традиционные формы, но не стала современной, которая не занимается более поисками, ограничиваясь максимальным использованием старых ресурсов, которая не идет на риск каких-либо крупных новых инициатив и обращена по-прежнему к одному и тому же читателю.*

С другой стороны, мы видим эту «республику литературы», которая занята скорее укреплением своих собственных структур, нежели поисками новых. И если она и озабочена поиском, то не в области творческой, а чисто практической, где стремится к достижению смычки и союза с другими мощными корпорациями — телевидением, журналистикой. И главная ее цель — это во что бы то ни стало избежать острого конфликта между старой структурой и новым рынком, между личностью писателя, творящего в одиночестве, и тем местом, которое он, желая или не желая того, занимает в обществе.

— Могли бы вы назвать хотя бы несколько новых имен, которые были бы интересны для нас?

А. ДЕ ЯКО. *Я бы не рискнул делать этого. И вот почему. На мой взгляд, современное литературное производство дало немало новых интересных имен, однако вся беда в том, что эти авторы, как правило, остаются знаменитыми не более сезона, с трудом преодолевают барьер «первого произведения». Они чаще всего не выходят за рамки очень ограниченного круга читателей из среды журналистов, преподавателей университетов, посетителей современных литературных «салонов». Это знаменитости от журналистики, которые превращают в роман собственный пережитый опыт. Это тети и дяди видных представителей элитарного мира, «обыгрывающие» факты своей биографии, создавая капитал на встречах и беседах со знаменитостями разного рода.*

Что же касается известных писателей, то они пишут или же с явным, хотя и настойчиво отрицаемым стремлением угодить рынку, или же отдают свое время «переписыванию» (заметьте, этот термин стал практически признанным, всерьез принимаемым критикой чуть ли не как некий новый жанр) своих старых книг.

Словом, литературная панорама очень пестра. И если подходить к ее оценке с более широкими мерками, нежели чисто литературные, то я бы сказал: в значительной мере эта литература — отражение того глубокого общественно-политического кризиса, который переживает сегодня Италия. Для меня в этом бурном брожении, в этой неустойчивости тенденций есть и обнадеживающий момент: во всем этом я вижу непосредственное доказательство того факта, что писатели, может быть полностью и не осознавая этого, самой логикой жизни оказываются вовлеченными в борьбу за обновление, которая идет ныне на всех уровнях, во всех сферах общественной и политической жизни.

А. ВЕСЕЛИЦКИЙ

Среди книг

Издано в СССР

ЛОЦМАН В КНИЖНОМ МОРЕ

Основные произведения иностранной художественной литературы. Европа, Америка, Австралия. Литературно-библиографический справочник. Ответственный редактор Л. А. Гвишиани. Четвертое, дополненное и переработанное издание. Москва, «Книга», 1980.

Рассказывать о справочном издании — нелегкая задача. Такие книги мы обычно покупаем, примерно с полчаса вертим в руках, а затем ставим на книжную полку, чтобы тут же забыть об их существовании — до тех пор, пока не понадобится нам срочно та или иная справка. Вот тут-то и должен новый справочник доказать свою научную состоятельность, а вместе с тем и продемонстрировать известную профессиональную «вежливость»: простоту в обращении, способность давать точные ответы быстро и без особых затруднений.

Новое издание Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, литературно-библиографический справочник «Основные произведения иностранной художественной литературы» мне довелось проверить в конкретном деле. Оказалось, что книга эта удобная и действительно очень полезная. И вот теперь, по-настоящему уже углубившись в справочник, неоднократно испытав его в работе, прочитав его сжатые, но такие информативно-полновесные статьи, посвященные творчеству того или иного писателя, я могу — уже на основании собственного «рабочего» опыта — утверждать, что справочник обладает полным набором профессиональных качеств. Солидный, восьмисотстраничный, со вкусом оформленный том несет в себе обширную и многоплановую информацию, необходимую всем тем, кто занимается сегодня зарубежной литературой — будь то критик-профессионал или просто любитель-читатель. И в то же время весь этот обширнейший материал прекрасно систематизирован: он даст возможность любому обратившемуся к нему расширить свои познания, укажет, где и что еще можно прочитать на интересующую тему.

Восемьсот страниц, пятьдесят печатных листов — объем, конечно, немалый. И все же перед создателями справочника стояла задача чрезвычайной сложности: уместить в этот, на первый взгляд, довольно солидный объем все наиболее существенные сведения, касающиеся литературного процесса в странах Европы и Америки, начиная с античных времен и почти что до самых наших дней. А значит, со всей остротой встала проблема отбора самого существенного, своеобразного литературно-исторического фильтра, через который пропускались только авторы и произведения наиболее значительные, этапные, обусловившие в свое время дальнейшее развитие литературного процесса. Уже в самом этом отборе, в его принципах — литературоведческая концепция справочника, концепция сегодняшней нашей науки о зарубежной литературе. От Гомера и миннезингеров до Томаса Манна и Поля Элюара, от Эсхила и Софокла до Джойса и Хемингуэя — такова широта охвата в этой справочной книге, и не перестаешь удивляться ее способности вобрать в себя практически необъятное, и не просто вобрать — расположить по строго продуманной, строго выверенной системе, так, чтобы не оказалось здесь ничего второстепенного, поверхностного, только наиболее весомое, существенное. И вместе с тем никак нельзя сказать, что справочник этот хоть в чем-то ограничен. Напротив, он демонстрирует поразительные — при такой недостаточности площади — широту и многообразие, не только ведя читателя от вершины к вершине, но и заполняя порой кое-какие лакуны, ликвидируя «белые пятна» на существующей в нашем сегодняшнем сознании литературной карте мира. Стоит только заглянуть в указатель авторов (а справочник, кстати, отличает весьма продуманная система указателей), и тут же наткнешься на целый ряд писательских имен, до сих пор в нашей стране малоизвестных, таких, как, скажем, грек Александрос Пападиамандис, один из основоположников современной греческой прозы, или Хуан Сорилья де Сан, уругвайский поэт и историк, внесший значительный вклад в развитие романтического направления в литературе своей страны, или, скажем, бразильский поэт Антонио Гонсальес Диас.

Теперь о научной состоятельности. Характеризуя в одном абзаце многоплановое содержание того или иного крупного эпического полотна, а именно такие произведения, естественно, в первую очередь отбирались для более подробной передачи содержания — сюжетного, тематического и идейного, — трудно избежать упрощенного и поверхностного изложения сложной образной и философской структуры показы-

ваемого текста. И к чести всех работавших над книгой следует отметить, что как бы предельно «ужаты» ни были отдельные статьи, они всегда сохраняют требуемый научный уровень — как в оценке того или иного явления, так и в методологических принципах его описания. Даже такой, думается, сложнейший для создателей книги момент, как краткая — в двух-трех фразах—передача основных идейных и сюжетных параметров разбираемых произведений, не дает оснований для критики: каждая фраза тут выверена. Вот, скажем, статья, посвященная творчеству Томаса Манна, в которой кратко передается содержание важнейших произведений писателя. «Доктор Фаустус» — сложнейший, многоплановый роман, объединяющий в себе сразу несколько подводных повествовательных течений, формирующих в итоге неоднородную, полифоническую композицию. Передать все это в одном, пусть очень весомом, очень насыщенном абзаце, чрезвычайно трудно. Трудно, но не невозможно. И в абзаце, посвященном «Доктору Фаустусу», пусть только пунктиром, но намечаются важнейшие идейные и смысловые направления писательского повествования.

О преимуществах нового справочника можно было бы говорить еще много. Тем не менее хотелось бы сделать несколько пожеланий «максималистского» характера — на случай, если справочник будет переиздаваться.

В частности, это касается библиографической части. Очень хорошо, что помещен в конце систематизированный перечень критических работ общего характера и антологий по зарубежной литературе. Информативную его значимость, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело с литературами «малыми», у нас еще недостаточно изученными, трудно переоценить. Хотелось бы только, чтобы при переиздании справочника библиографическая его часть раз от разу актуализировалась, расширялась и пополнялась за счет новых работ. И еще одно пожелание на будущее. Выборочный характер библиографии вполне понятен и объясним. И все же хотелось бы, чтобы по советским работам о зарубежных писателях библиография была бы п о л н о й. Не так уж существенно утяжелило бы это объем книги, а польза была бы огромной: в этом случае наш читатель получил бы полный библиографический перечень написанного у нас по интересующей его теме, а иной зарубежный читатель смог бы воочию убедиться, как основательно и системно изучается у нас зарубежная литература. Кстати, и сам по себе факт существования подобного справочника — еще одно лишнее тому доказательство.

Опыт издания данного справочника лишний раз доказывает, что назрела пора сделать такую же книгу на самом актуальном, самом свежем литературном материале. В нее должны быть включены писатели с е г о д н я ш н е г о дня, ныне живущие и активно работающие в литературе. Такая книга особенно необходима всем тем, кто имеет дело с современным литературным процессом. Понятно, что задача эта не из легких. Но положительный пример в этом плане уже есть — нынешний справочник, сочетающий объективный научный подход с партийностью оценок нашего литературоведения, книга, приносящая реальную пользу.

Н. ЛИТВИНЕЦ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ НАСТРОЙ

Э м и л и Д и к и н с о н. Лирика. Предисловие и переводы с английского Веры Марковой. Москва, «Художественная литература», 1981 г.

Ее судьба вот уже почти столетие не перестает изумлять исследователей и просто почитателей. Между тем Дикинсон однажды заметила — и справедливо,— что дни ее «слишком просты и слишком строги, чтобы кого-нибудь повергнуть в удивление». Но речь не о внешней занимательности биографии. Какой огонь должен был полыхать за размеренным и скучным повседневным распорядком, чтобы стали возможны ее стихи!

Часто ее называют «затворницей из Амхерста». Это не метафора. Она и сама говорила о своем «белом избранничестве». Почти вся жизнь Эмили Дикинсон (1830—1886) прошла в глубоком уединении. Амхерст, небольшой городок неподалеку от Бостона, в те времена служил одной из последних цитаделей пуританства. Духовная и религиозная традиция, восходящая еще к первым колонистам, хранилась здесь свято. На Дикинсон она оказала очень сильное, хотя и сложное влияние. Отчасти предопределив и этот уход от мира.

Уход датируется точно, благодаря сохранившемуся письму: «Я переживаю ужас — с сентября — и никому не могу сказать об этом — вот почему я пою, точно Мальчик, который идет мимо Кладбища,— мне страшно, как и ему». Это сентябрь 1861 года, апогей драмы, которой американская лирика обязана несколькими своими шедеврами. Старый как мир сюжет: немолодой семейный человек, страстное и в общем одностороннее чувство, давящее ощущение несвободы, его отъезд — далеко, в Сан-Франциско, по тогдашним понятиям чуть не на край света.

А вслед за этим — «избранничество». Монашески строгое, в любое время года непременно белое платье. Замкнутость, поражавшая даже близких. Отчужденность ото всех.

Ее общество составляли только родные и дети, с которыми она дружила.

Ее настоящей жизнью была поэзия.

Долгие годы никто и не подозревал, что она пишет. Стихи складывались в конверты, спрятанные на полках платяного шкафа. Впоследствии по этим конвертам более или менее точно устанавливали даты написания. При жизни было напечатано лишь восемь стихотворений — все анонимно. Они не удостоились ни малейшего внимания тогдашних литературных авторитетов. Слава пришла уже в XX веке.

Тогда выяснилось, что сам ее уход был вызван не только переживаниями, связанными с личной катастрофой. Причины лежали намного глубже. Это было бегство не от самой себя, а от окружающего мира — безликого, монотонного, лишенного воображения, которое для Дикинсон, как для каждого романтика, составляет смысл и оправдание бытия.

Тот роковой сентябрь оказался все-таки лишь внешним биографическим рубежом, а сам выбор был сделан гораздо раньше. Должно быть, еще в семинарии, куда Эмили отдали, когда ей не исполнилось и шестнадцати. Учениц здесь разделяли на три категории: верующие, подающие надежду, безнадежные. Она попала в последний разряд. И не по ошибке. Пожертвовать земным счастьем во имя грядущего спасения она не могла. Но просила близких молиться, чтобы и для нее «нашлось место в сияющих небесных чертогах». Мучилась этим противоречием и не обретала примирения с собой.

«Все вокруг меня откликнулись на призыв Христа, я же осталась одна в своем бунте». Это было потрясением, кризисом. Завязался конфликт веры и безверия, в каком-то смысле центральный и для ее биографии, и для поэзии:

Я узнаю — зачем? — когда кончится
Время —
И я перестану гадать — зачем.
В школе неба пойму — Учителю внемля —
Каждой муки причину и зачин.

Он расскажет — как Петр обещанье
нарушил —
И — когда услышу скорбный рассказ,
Забуду я каплю кипящей Печали —
Что сейчас меня жжет — обжигает сейчас.

Если бы эта «кипящая Печаль» не вмещала содержания куда более глубокого, чем исчерпанность традиций, на которых воспитывали Эмили Дикинсон, даже если бы в ней выразилась только непримиримость пуританской духовной культуры и романтического мироощущения, поэзия, созданная в «избранничестве», конечно, никогда не обрела бы непреходящей своей значимости. Но в ней воплотился смысл всечеловеческий и вечный: боль души, осознающей свою чужеродность всему и всем вокруг, гордость вызова и бескомпромиссность искания нравственной истины. Возникла вселенная духа, несущая на себе неповторимый отпечаток личности ее творца. А реальная биография, как всегда бывает у романтиков, не столько изменяла очертания этой вселенной, сколько сама воспринималась через призму ее законов. К Дикинсон вполне можно отнести парадоксальный афоризм Оскара Уайльда, гласящий, что жизнь подражает искусству.

Впрочем, современникам еще надо было доказывать, что намеренно неуклюжие эти строки с их неровным ритмом, причудливой пунктуацией, обилием заглавных букв, необычностью образов и редкой, необязательной рифмой — что все это и впрямь искусство, поэзия.

Нередко в этом сомневался даже литературный опекун амхерстской затворницы Хиггинсон. Довольно бесцветный версификатор и очеркист, он в ту пору пользовался немалым влиянием. И его не удивило письмо из провинции со стихами и просьбой честно сказать, «являются ли они живыми». Удивили сами стихи.

У него хватило чутья почувствовать поразительную одаренность своей безвестной корреспондентки. Но он тут же заключил, что стихам недостает формы. Еще бы! Ведь в них не было ни правильной метрики, ни привычной мелодичности, ни плавных строф. А в «кладбищенской» поэзии все это считалось обязательным. Как и элегический мотив смирения перед смертью.

Только смирения у Дикинсон нет и в помине. Есть страстность и непосредственность восприятия смерти в ее неотвратимой неизбежности для каждого. Есть предельная напряженность переживания. Но никакого мистицизма. И никакого поэтического шаблона. Ходульные метафоры, вялая меланхоличность, чисто литературное слово, в котором устоявшимися ассоциациями стерт и заглушен исходный смысл,— все это не для Дикинсон. При всей своей символической масштабности ее образы резко конкретизированы. А поэтическое пространство — это не какое-нибудь располагающее к созерцательности сельское кладбище вокруг живописной часовни. Это строго выстроенный космос, в котором отражены пропорции действительного мира с его вполне земными понятиями, вовсе не утратившими своего реального содержания. Элегия со всеми своими условностями преображена до неузнаваемости. Ни скорби, ни умиленности, ни искусственной гармонии — резкость диссонанса, трезвость взгляда, органика формы, «непоэтичной» по всем тогдашним канонам.

Так у нее повсюду, даже в стихотворениях, которые могут показаться лишь беглыми зарисовками или чисто лабораторными экспериментами. На самом деле они не были ни эскизами, ни пробами. Они разрушали худосочную поэтическую соразмерность, столь чтимую во времена Дикинсон, и уже своей «нескладностью» давали ощутить динамику, прозаичность, жестокость реальной жизни, от которой поэзия все еще тщилась найти укрытие в «благопристойности» и «изысканности», декларированных литературными властителями умов. Готовя первый сборник Дикинсон, изданный посмертно, опекун в своем предисловии спешил извиниться за то, что ее строки «напоминают овощи, сию минуту вырытые из огорода, с налипшими комьями земли, со следами дождя и росы». Ему, конечно, не приходило в голову, что эта «непосредственность», которая выдавала прискорбное незнание великих образцов, для поэзии будущего окажется завоеванием бесспорным и блистательным. И та почти экстатическая страстность, которая Хиггинсона шокировала и пугала, тоже найдет множество отголосков в поэзии нашего столетия, как и высокая серьезность,

всегда сопутствующая этим стихам, о чем бы они ни были написаны.

Внешне стихи Дикинсон почти не связаны с эпохой, в которую она жила. Покажется, что для нее словно не существовало движения истории. Даже Гражданская война отозвалась в ее творчестве лишь очень опосредованно, размышлениями о капризах судьбы, неизменно выхватывающей из жизни тех, кто полон сил и надежд. Ее лирику можно назвать исповедальной, медитативной, пейзажной — ни одно из этих определений не будет вполне точным, но они справедливы в том отношении, что передают органически присущее Дикинсон стремление всматриваться в глубины собственных переживаний, а не в быстро меняющийся спектр американской действительности.

Обычно ее стихотворения посвящены природе родных мест или каким-нибудь незаметным происшествиям, из которых складывается будничная жизнь. При всем богатстве библейских реминисценций их поэтический язык прост, намеренно беден выразительностью. А напряженность выраженного в них чувства можно было бы отнести за счет каких-то сугубо личных психологических особенностей Дикинсон, если бы не ощущался в этих безыскусных картинах второй план — философское осмысление важнейших понятий бытия. Душа, истина, красота, смерть и бессмертие — для Дикинсон все это были не отвлеченности, а категории, полные самого живого и непосредственного смысла.

Они постоянно просвечивают в каждом «эпизоде» создаваемого ею дневника провинциальной повседневности, и любая мелочь бытового обихода, которую Дикинсон стремится передать с наивозможной достоверностью и точностью, приобретает особое значение, особый вес. И колодезная вода в кувшине, тут же вызывающая мысль о Бездне об иных мирах, мерцающих в глубине скважины. И те же «покои из алебастра». И «фронтоны холмов», на которые опирается «вековечная крыша» замка, построенного творческим воображением.

Романтики принесли в искусство принцип двумирности, требовавший, говоря словами Блейка, «в одном мгновенье видеть вечность» так чтобы небо открывалось в чашечке цветка. Творчество Дикинсон продолжило эти трудные поиски согласия между духом и бытием, их синтеза. В ее стихах открылось неисчерпаемое богатство соотнесений, перекличек, контактов духовного и чувственного, «земли» и «неба». Но здесь-то всего нагляднее и выступило своеобразие ее мироощущения. Там, где до нее господствовала конечная гармония идеала и естественной жизни, теперь всевластны стали неслиянность, противоречие и даже антагонизм. У Дикинсон природа замкнута и недоступна человеческому опыту. Ею можно восхищаться как высшим образцом соразмерности начал, но еще чаще она предстает не только как сила, отчужденная от человека, а даже ему угрожающая какой-то неявной и все же грозной опасностью. Философского примирения конечного и бесконечного не происходит, и нет уже органической связи между природой и личностью:

Но кто — по правде говоря —
С ней коротко знаком?
Ведь мы тем дальше от нее —
Чем ближе подойдем.

По сути, это чувство собственной чуждости и другим, и даже природе было главным мотивом Дикинсон, центром ее художественного мира. И в том, что ее мукой и болью стал разлад бытия, тупики сознания, кризис веры,— во всем этом нельзя не различить ясный след ее времени. Несмотря на свою добровольную изоляцию, Дикинсон чувствовала драматизм эпохи, разрушающей связи личности с естественной жизнью и поколебавшей в человеке сознание своей необходимости и незаменимости среди тысяч других людей, уникальности каждого индивидуального пути и духовной связи всех людских поколений. Единство духа и бытия она, живя в мире, развороченном и перевернутом Гражданской войной, могла воспринимать только как идеал, не подтвержденный, а опрокинутый реальной действительностью, и мечте о гармоничности, хотя бы в отношениях с природой, у нее противостоит свидетельство о разделенности, необратимой, как она ни тягостна.

Ощущение разделенности человека и космоса бытия, так отчетливо переданное во многих ее стихах, скрывало за собой ту муку собственного духовного одиночества, которая воплотилась в шедеврах лирики Эмили Дикинсон, становясь доминирующим настроением. И вся эмоциональная гамма ее поэзии определяется этим осознанием выключенности из мира как своей неотвратимой судьбы, мужественно принимаемой и гордо несомой — с таким неколебимым достоинством, что в нем самом заключен дерзкий вызов обреченности. Едва ли Дикинсон первой нашла такую тональность, однако она сумела воплотить ее настолько обостренно и глубоко, что ее камерная поэзия приобрела емкость и непритупляющийся драматизм и оказалась предвестием целого направления в лирике XX века.

Судьба была ею угадана — и принята — очень рано, о чем свидетельствует хотя бы стихотворение, предположительно датируемое 1856 годом:

Я вызвала целый мир на бой —
Камень — в руке моей.
Крепче меня был пастух Давид —
Но я была вдвое сильней.

Я камень метнула — но только себя
Ударом на землю смела.
Был ли слишком велик Голиаф —
Или я чересчур мала?

До Дикинсон в ее уединении доходили, по всей вероятности, лишь смутные отзвуки общественной жизни, круто ломавшейся в те годы, когда она писала свои лучшие стихотворения — сугубо камерные, если иметь в виду тональность и композицию, и наполненные масштабными обобщениями, если подойти к ним со стороны воплощенного здесь философского и нравственного содержания. Она мыслила понятиями, тесно соотнесенными с областью теологии, однако такие понятия приобретали у Дикинсон содержательное значе-

ние, далеко выходящее за пределы собственно религиозной проблематики. Так было, например, и с понятием бессмертия, таким для нее важным. Оно синонимично для Дикинсон мысли о вечном духовном бытии, которое может и должно быть обретено каждым, кто не уклонился от неизбежного страдания, воспитывая в себе истинное моральное мужество и готовность противостоять любым ударам судьбы, как и тяготам одиночества, ожидающим личность в этом мире. Смерть при всем своем трагизме выступает у Дикинсон как необходимый компонент в сложных, многогранных отношениях притяжения и отталкивания, которые существуют между человеком и природой, телом и душой, бытием и духом. Однако для нее этот компонент не был конечным — отношения не прерывались, и с земным сроком не заканчивалось человеческое присутствие на земле, потому что

Наш мир — не завершенье —
Там — дальше — новый Круг —
Невидимый — как Музыка —
Вещественный — как Звук.

«Это письмо мое Миру — Ему — от кого ни письма»,— так охарактеризовала она свои стихотворения. Письмо было всерьез прочитано через много лет после смерти отправителя. В. Н. Марковой принадлежит главная заслуга в том, что теперь это письмо прочли и мы — само письмо, а не гладкий пересказ его содержания. Фактически творчество Дикинсон открыто ею для русского читателя впервые. Маленькая книжка затворницы из Амхерста встанет на полку рядом с книгами По, Уитмена, Фроста, на быстро пополняющуюся в последние годы полку, где собраны сокровища американской поэзии.

А. ЗВЕРЕВ

Издано за рубежом

ОТКРЫТИЕ БРЕТАНИ

Pierre-Jakez Hélias. Les autres et les miens. Paris, Plon. 1977.

Пьер-Жакез Элиас. Истории мои и не мои. 1977.

В 1911 году Александр Блок писал матери с Бретонского побережья: «...здесь... все кругом отчаянно и потно трудится... Этот север Франции, разумеется, беднее, его пожрал Париж, торгуют и набивают брюха на юге. Зато здесь очень тихо; и очень приятно посвятить месяц жизни бедной и милой Бретани. По вечерам океан поет очень ясно и громко, а днем только видно, как пена рассыпается у скал». Бретань оставила светлый след в душе Блока — и именно здесь родилось стихотворение, которое сам поэт высоко ценил:

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

. . . . . .

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг — суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

. . . . . .

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям,— и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

1911 — 6 февраля 1914
Aber'wrach, Finistere.

Столь хорошо запомнившаяся поэту Бретань, ее причудливые скалы и камни, неумолчный шум океана, мрачные замки-крепости, старинные легенды и песни ожили также в пьесе «Роза и крест», в которой Блок высказал столько сокровенного. Хотя «драма приурочена к XIII столетию и к французской жизни... — отмечал поэт в своей записной книжке в 1916 году,— действующие лица — «современные» люди, их трагедия — и наша трагедия». Упомянутые в пьесе названия деревень Бигуденского края, входящие в департамент Финистер,— подлинные, они сохранились в Бретани и по сей день.

Именно к этим местам спустя более полувека неожиданно привлекла заинтересованное внимание французов (и не только французов) документальная книга скромного университетского преподавателя Пьера-Жакеза Элиаса (род. в 1914) «Конь моей гордости» с подзаголовком «Воспоминания бретонца из Бигуденского края» (1975)[1].

Некоторое время назад во Франции вспыхнуло бурное движение за национальное возрождение провинций, их культур, местных языков и диалектов. Самым ярким и оригинальным литературным событием, вызванным к жизни этим процессом, явилась книга Пьера-Жакеза Элиаса, заново открывшая всем Бретань. Знаменитую Бретань, занимающую во Франции второе место после Лазурного берега по притоку туристов? Бретань, о которой уже столько написано? Почему же это объемистое повествование, текущее свободно и неторопливо, словно полноводная река, не заглушая задушевного и вместе с тем ироничного голоса самого автора, было воспринято всеми как подлинное откровение? Замечательный дар рассказчика, естественность и искренность интонации, поэтичность, глубокое проникновение в народную жизнь, ценные этнографические сведения о прошлом Бретани, о быте и традициях беднейших бигуденцев, издавна славящихся своей гордостью («Если ты беден, сын мой, умей дорожить своим достоинством»,— учил дед будущего писателя), демократическая позиция автора и призыв к нынешним поколениям: устремляясь вперед, не отрываться

[1] Фрагменты из этой книги опубликованы в «ИЛ», 1979, № 12.

от родной почвы и от своих корней — все это завоевало «Коню моей гордости» неубывающую с годами популярность. «Воспоминания бретонца» выдержали не одно издание — к настоящему моменту тираж достиг двух миллионов; их перевели и в других странах, а во Франции по ним поставлен фильм.

Сенсационный успех книги Элиаса, не имеющий ничего общего с коммерческим бумом иных разрекламированных романов, повлек за собой неожиданные последствия.

Мемуары Элиаса породили целую волну произведений, авторы которых вольно или невольно последовали примеру бигуденца и погрузились в воспоминания, чтобы воссоздать прошлое родных мест, воскресить образы забытых предков, их привычки и образ жизни. «Поиски корней» (которыми увлеченно занимаются многие современные писатели в разных странах) переросли во Франции в своего рода литературную моду. Однако значительная часть этого потока воспоминаний, пусть даже и продиктованных самым благородным желанием привлечь внимание к давно покинутому отчему краю и вспомнить о своих исконных связях с простым народом, уступает «Коню моей гордости» по уровню художественности, по богатству привлеченного материала, по внутренней органичности, своеобразию и глубине выводов. Нарочитость и самоумиление ощущаются даже в книгах таких известных писателей, как «Красные сабо» Жана Жубера (1979) и «Акцент моей матери» Мишеля Рагона (1980).

И все же две книги, выпущенные издательством «Плон» в той же серии «Земля человеческая», в какой вышли в свое время воспоминания Элиаса, заставили громко заговорить о себе. В них снова был услышан неподдельный и исполненный внутреннего достоинства голос авторов, вышедших из самых низов французского общества. Без всяких литературных ухищрений они сумели так рассказать о своей многотрудной жизни, что их безыскусные свидетельства произвели на читателя гораздо более сильное впечатление, чем исповеди признанных мастеров.

Одна из этих книг — «Гастон Люка, слесарь» (в подзаголовке «Хроника антигероя», 1976)[1] — представляет собой монолог семидесятилетнего рабочего, записанный журналисткой Аделаид Бласкес, которая полностью сохранила и подлинность интонации, и манеру речи своего собеседника.

Вторая — опубликованные посмертно незавершенные мемуары Антуана Сильвера «Туану. Крик овернского ребенка» (1980)[2]. Повествование о детстве и молодых годах этого удивительного человека, родившегося и выросшего в беспросветной нищете, которая не убила в нем неиссякаемой жажды знаний, прошедшего поистине тяжелый жизненный путь, а в годы войны со всей своей семьей активно участвовавшего в Сопротивлении, несет на себе печать явного литературного дарования. В предисловии к книге Пьер-Жакез Элиас, прослеживая историю превращений героя-крестьянина во французской литературе, подчеркивает ценность этого документа, в котором оживает столько народных характеров.

Возвращаясь к книге самого Элиаса, нельзя не сказать, какую неожиданную реакцию вызвала она у отдельных его соотечественников. Сторонников сепаратизма, занимающих непримиримо националистическую позицию, возмутил трезвый взгляд Элиаса на ход истории: с горечью констатируя духовные потери, которые понесла бретонская культура под влиянием политики ассимиляции, веками проводимой сменявшими друг друга французскими правительствами, и понимая, что безвозвратно погибшее уже не спасти, он в то же время не без надежды смотрит в будущее. Его книга — это не только ностальгический взгляд в прошлое, но и попытка разобраться в дне сегодняшнем и в тех переменах (зачастую разрушительных), которые происходят в укладе деревенской жизни под натиском цивилизации. Воспоминания Элиаса, исполненные гордости и одновременно боли за бретонский народ, заставили многих серьезно задуматься не только о судьбе Бретани, но и других провинций, которые иностранные туристы, да и сами французы привыкли рассматривать лишь как экзотические места, пригодные для летнего времяпрепровождения, не замечая их экономической отсталости и все еще ждущих здесь решения острых проблем.

Тем более отталкивает раздраженный тон оппонентов Элиаса, упрекающих его в непатриотичности, измене бретонскому народу и рабском преклонении перед французскими хозяевами. (Элиасу вменяется в вину даже то, что он переводит свои книги на французский язык.) Стараясь развенчать «Коня моей гордости», Ксавье Грааль четыре года назад издал работу под названием «Конь поверженный», оспаривающую и даже порочащую воспоминания Элиаса. Подобный шаг вызвал недоумение и открытое неодобрение у всех, кто ценил общечеловеческую значимость этой книги.

Не вступая в открытый спор со своими соотечественниками (что было бы, наверное, и бесполезно), Элиас продолжает то дело, которым занимается многие годы,— пропаганду духовного наследия и богатейшего фольклора своего народа. Еще до прославившего его «Коня моей гордости» Элиас публиковал бретонские сказки и легенды в своей обработке и выступал с чтением их по бретонскому радио. В последующие годы он выпустил еще несколько таких сборников на бретонском и французском языках.

Во Франции существует давняя традиция сопровождать книги сказок статьями, которые приоткрывают читателям то, что они не смогут почерпнуть из самих сказок: историю их создания, сведения о старинных деревенских обычаях, портреты народных сказителей.

Такое же требование предъявляли в прошлом веке и в России к первым сборникам русских народных сказок. «Нам сказки важны всего более как материалы для характеристики народа... Поэтому нам

[1] Gaston Lucas, serrurier. Chronique de l'antihéros par Adélaide Blasques. Paris, Plon, 1976.

[2] Antoine Sylvère. Toinou. Lē Cri d'un enfant auvergnat. Paris, Plon, 1980.

кажется, что всякий из людей, записывающих и собирающих произведения народной поэзии, сделал бы вещь очень полезную, если бы не стал ограничиваться простым записыванием текста сказки или песни, а передал бы и всю обстановку, как чисто внешнюю, нравственную, при которой удалось ему услышать эту песню или сказку»,— писал Добролюбов в 1858 году по поводу сборника русских народных сказок Афанасьева.

В обширном вступительном очерке к книге, название которой можно перевести как «Истории мои и не мои», Элиас, как всегда, с увлеченностью и любовно рассказывает о прошом Бигуденского края, о веками складывавшихся ритуалах, о сложной этике взаимоотношений, о законах чести и гостеприимства (например, считалось оскорбительным для прохожих держать днем двери дома закрытыми), о благоговейном отношении к хлебу, который доставался столь дорогой ценой, о крестьянской психологии и способности к поэтическому мироощущению, таящейся под заскорузлой и грубоватой внешностью деревенских обитателей.

Обрисовывая противоречивый характер бигуденцев (на удивление щедрых и на редкость прижимистых, скрупулезно честных, но при случае плутоватых), Элиас не скупится на веселую иронию, однако с грустью пишет он о вымирании старинных ремесел, о былом мастерстве бигуденских кружевниц и вышивальщиков, о закате сказки, которую вытеснили телевидение и научная фантастика. В деревнях, где в каждом доме теперь телевизор, отпала нужда в сказочниках, которых собирались когда-то послушать длинными зимними вечерами. Сказка объединяла и просвещала — с ее помощью неграмотные крестьяне передавали из поколения в поколение свои представления о Добре и Зле и любовь к прекрасному.

Далеко не всякий мог стать сказочником. Помимо счастливого природного дара призвание сказочника требовало полного бескорыстия — не случайно, подчеркивает Элиас, ни разу не довелось ему встретить сказочника в среде имущих. Лучшей наградой сказочнику служила сама сказка, на сочинение которой уходили иногда годы. Рассказывая ее, он испытывал такое же наслаждение, какое испытывает хлебопашец, жующий зерно, выращенное своими руками. Сказка была так же независима и свободна, как и ее сочинители. Не существовало отдельных сказок для детей и взрослых, для богатых и бедных. Каждый черпал и усваивал то мог из этого хранилища народной мудрости. «Дело сказочника — сеять. Важно лишь, чтобы зерно было добротным. Собирать же урожай — не его забота»,— пишет Элиас.

В сборник «Истории мои и не мои» вошли сказки и легенды, слышанные им еще в детстве от двух его дедов, которые были искусными рассказчиками. Хотя сам писатель, объясняя разницу между легендой и сказкой, уточняет, что основой для первой служит конкретный случай, а вторая — всегда плод воображения, он же добавляет, что «любая истина с годами расцвечивается красками легенды, а сегодняшняя выдумка завтра может превратиться в истину». Поэтому и трудно отличить в этой книге легенду от сказки, а сказку от правдоподобного случая из жизни. Поэтому и веришь всем этим историям о том, как море стало соленым (такая сказка есть, наверное, у всех народов, живущих вблизи моря); или о том, как бретонец стал королем Англии (в какой стране не услышишь сказки о хитроумном бедняке, которому удается жениться на царской или королевской дочке); или о том, как торговец слезами превратил чужие похороны в прибыльное для себя дело; или о том, почему перевелись на свете честные воры, изымавшие излишки у богатых и наделявшие ими бедных (вспомним благородного разбойника Робин Гуда).

Ироничный и насмешливый склад ума бретонского народа, сочинившего все эти истории, с трудом допускает вмешательство в ход событий сверхъестественных сил, неизменно присутствующих в стольких сказках мира. В роли героя бретонских сказок мы зачастую видим веселого плута, не верящего ни в бога, ни в черта и ради собственной выгоды, а то и просто ради шутки ловко дурачащего своих соплеменников, и — таков уж закон сказки — мы желаем ему удачи.

Но немало здесь и грустных историй.

О мужественном рыбаке, который спас во время кораблекрушения семнадцать человек и, обессиленный, утонул в тридцати шагах от берега.

О Жане, у которого в двенадцать лет открылся необыкновенный дар — понимать язык камней. И жизнь его с той поры наполнилась тревогой: где бы он ни находился, днем и ночью слышал он их жалобы и стоны. Главные приметы бретонского пейзажа — море и скалы — неизменно присутствуют в местных сказках и легендах.

Или история о румяных яблоках Алена Струллу. У этого одинокого старика возле дома росла единственная на всю округу яблоня, плоды которой казались деревенским мальчишкам поистине райскими яблоками. В сезон созревания старик неусыпно бдил возле своего драгоценного дерева, и стоило похитителям взобраться на него и завладеть румяными плодами, как раздавался торжествующий вопль: «Держи вора!» Мальчишки бросались врассыпную, но старик неизменно ловил какого-нибудь замешкавшегося. Он с удовольствием плевал на ладони — и злоумышленник получал порку. Свершив справедливый суд, старик отпускал наказанного, и тот, отделавшись парой слезинок, убегал восвояси, не забыв прихватить с собой яблоки. Шли годы. Старого Алена совсем скрутил ревматизм, ему уже стало не под силу бегать за быстроногими мальчишками, и родители запретили им воровать яблоки у беззащитного старика. Заброшенный и забытый всеми, старый Ален плакал, напрасно дожидаясь воришек. Вскоре он умер. И сразу же засохла его чудесная яблоня.

Или история о бездетных супругах, которые сами придумали себе сына и поверили в его существование. Они даже присмотрели ему невесту — пригожую соседскую дочку. Но когда ни о чем не подозревавшая

девушка пригласила их на свадьбу с реальным, а вовсе не придуманным женихом, старики не вынесли удара и друг за другом покинули этот свет. Каждый вправе сочинить для себя сказку, если эта сказка помогает жить, но не стоит вовлекать в нее других — разочарование может оказаться слишком горьким.

В последний раздел книги вошли короткие новеллы самого Элиаса о сегодняшнем житье бигуденцев, его наблюдения, жанровые сценки, диалоги, услышанные в среде крестьян, записанные им разговоры со старыми или молодыми бретонцами. Старики, как правило, жалуются на перемены в привычном деревенском существовании и одиночество. Зарастают давно протоптанные дорожки, деревни опустевают, дети и внуки уезжают в город, а немногие оставшиеся жители уже не ходят, как прежде, в гости к соседям. Молодые же крестьяне стараются приноровиться к новой жизни, к новой технике — и не без выгоды для себя. Наиновейшие рекламные проспекты, зазывающие туристов в Бретань, не обходятся без ярких картинок с символическим трактором на фоне золотого поля и старинных замков.

Однако Элиас своими книгами утверждает: пусть одни поколения сменяются другими и внешний лик земли неузнаваемо преображается — сама земля, а значит, и ее законы, которым непреложно подчиняется человек, остаются неизменными. «С плугом или с мотыгой, с трактором или с лошадью — с чем бы вы ни подступились к земле, последнее слово все равно за ней... И до тех пор, пока земля будет оставаться землей, никакому трактору не сладить с кустами роз, что каждое утро расцветают по краю поля. Не знаю, как сказать яснее»,— говорит автору старый бигуденец в новелле «Роза и трактор».

Н. ПОПОВА

РОМАН, СОЧИНЕННЫЙ НА ОСТРОВЕ БУРУ

Pramoedya Ananta Toer. Roman Karya Pulau Buru. Bumi Manusia. Jakarta, Hasta Mitra, Penerbit Buku Bermutu, 1980.

Прамудья Ананта Тур. Мир человеческий. 1980.

В 1971 году, когда журналистам впервые позволили посетить исправительную колонию на острове Буру, у сопровождавшего их генерального прокурора Индонезии спросили, разрешено ли заниматься литературным трудом Прамудье Ананте Туру, заключенному третьего отряда. «Он может сочинять сколько хочет, но у него нет карандаша и бумаги»,— пошутил прокурор. В 1973 году, через восемь лет после ареста Прама «по подозрению в заговоре с целью свержения законного правительства», последовало распоряжение сверху, и первому прозаику Индонезии в виде особой милости было позволено писать. С тех пор в печать не раз проникали слухи о том, что Прам[1] много и продуктивно трудится, хотя оставалось неясным, что именно он пишет, пока товарищи по общему согласию обрабатывали за него делянку. Лишь в августе 1980 года, без малого через год после того, как Прамудья Ананта Тур в числе последних амнистированных политзаключенных «группы Б» покинул остров Буру, в магазинах Джакарты появился «Мир человеческий», первая книга тетралогии, написанная в заключении, которое длилось пятнадцать лет[2].

С волнением берешь в руки эту книгу, выдержавшую четыре издания за четыре месяца, вызвавшую восторженные отклики в индонезийской печати, побудившую вице-президента Индонезии Адама Малика устроить прием в честь Прама и обоих издателей романа, также бывших политзаключенных. Но к волнению примешиваются и некоторые опасения: ведь самые талантливые произведения писателя были опубликованы в конце сороковых — начале пятидесятых годов, а перед свирепой антикоммунистической кампанией 1965—1966 годов, которая обошлась для Прама лишением свободы, он больше выступал в качестве историка, общественного деятеля и публициста, автора резких политических статей, публиковавшихся на страницах возглавляемой им газеты «Бинтанг тимур». Впрочем, опасения исчезают, стоит лишь раскрыть роман.

Он начинается пушечным салютом. Седьмого сентября 1898 года Сурабая, крупнейший портовый город Восточной Явы, празднует восшествие на престол юной Вильгельмины, королевы Нидерландов, Нидерландской Индии, Суринама и Антильских островов. В этот же день происходит важный поворот в судьбе подданного и ровесника Вильгельмины — Минке, учащегося привилегированной сурабайской гимназии, куда кроме детей голландских чиновников и коммерсантов совсем недавно начали зачислять и немногих подобных ему отпрысков яванских аристократических семейств. Неожиданное знакомство Минке с туземной семьей богатого голландца Меллемы — с его наложницей Саникем, дочерью Аннелис и сыном Робертом — оказывается не только прологом любовной драмы Минке и Аннелис, но и началом духовного становления героя, первопричиной его будущего столкновения с колониальным обществом, на которое он взирает поначалу глазами, полными надежд.

В первое время изумленный Минке видит в уютном доме Меллемы своего рода прообраз новой Индонезии, приобщенной к западной цивилизации. Тон там задает энергичная и обаятельная хозяйка, безупречно говорящая по-голландски и выписывающая журналы из метрополии, а красавица Аннелис помогает матери управлять усадьбой, превосходно устроенной по западному образцу. Однако очень скоро ста-

[1] Так почтительно и любовно называют писателя в Индонезии.

[2] По горькой иронии судьбы лучшее из предшествующих произведений Прама — повесть «Семья партизанов» (см. «Красные листья. Восточный альманах. Выпуск восьмой». М., 1980) — было написано в голландской тюрьме, где автор, военкор республиканской армии, пробыл также без суда и следствия два с половиной года, выйдя на свободу только после провозглашения независимости Индонезии.

новится ясно, что внешнее благополучие прячет глубокий разлад в семье: ее номинальный глава — пьяница, а его первенец Роберт — никчемный шалопай, с враждебным презрением относящийся к матери и сестре. Минке влюбляется в Аннелис, ее мать вызывает у него уважение и горячее восхищение, а они обе, такие одинокие в своем доме, тянутся к серьезному и участливому юноше, яванцу. Он становится частым гостем, а затем и обитателем дома, на воротах которого красуется доска с обманчивым названием «Поместье Беззаботное».

Только тогда узнает юноша всю меру страданий, выпавших на долю гордой и непримиримой Саникем, в ранней юности проданной своим отцом Герману Меллеме, управляющему сахарным заводом. А став мужем Аннелис, Минке уже на собственном опыте познает все бесправие туземцев в колониальных владениях голландской короны на исходе просвещенного девятнадцатого века. Амстердамский суд отнимает у овдовевшей Саникем имущество, отказывается признать брак Аннелис, заключенный в соответствии с мусульманским правом, и отправляет духовно сломленную молодую женщину в Голландию под опеку абсолютно чужого ей человека — сына Меллемы от брошенной им когда-то жены-голландки.

Тщетно надеются Минке и Саникем на голландских адвокатов и на те немногие газеты, которые печатают протесты Минке и его друзей. Полиция разгоняет мусульманских священнослужителей, выступающих против решения суда, расправляется с работниками Саникем, которые пытаются защитить молодую чету, и вот уже назначенные властями провожатые уводят из родного дома оцепеневшую и безучастную ко всему Аннелис. «Они одолели нас, мать»,— в отчаянии шепчет Минке, и в ответ ему звучат завершающие роман слова Саникем: «Мы боролись, сынок, мы боролись как только могли, и нас не в чем упрекнуть».

Достоверность исторической коллизии и искусно построенный сюжет нового романа Прама производят не меньшее впечатление, чем выведенные в нем характеры. Особенной органичностью отличается образ Минке, от лица которого ведется значительная часть повествования, а также образ Саникем, рассказывающей историю своей жизни в задушевном разговоре с дочерью. Но и в тех случаях, когда сами персонажи не раскрывают перед нами свой внутренний мир, почти все они сохраняют индивидуальность, а не рисуются как «типичные представители той или иной общественной группы», чем иногда грешил Прам в конце пятидесятых годов. Писатель скупыми изобразительными средствами создает емкие образы одновременно и страшного и жалкого в своей алчности отца Саникем, трепетной хранительницы аристократических идеалов — матери Минке, пылкой радикалки Магды Петерс, преподающей Минке голландский язык и литературу, и еще многих других действующих лиц романа. Особенно удаются автору диалоги, насыщенные внутренним драматизмом. Именно они служат основным способом характеристики таких персонажей романа, как доктор Мартине, юные вольнодумки Сара и Мириам де ля Круа, художник Жан Марэ,— европейцев, играющих важную роль в духовном возмужании героя.

Широкий исторический фон, обширный круг действующих лиц, действие, которое переносится из усадьбы Саникем то в патриархальный уголок Сурабаи, где живет Минке, то в резиденцию его знатного отца, то в зал заседаний колониального суда,— все это позволяет надеяться, что «Мир человеческий» окажется началом первого в своем роде романа-эпопеи о становлении индонезийской интеллигенции и ее месте в национально-освободительном движении. Об этом свидетельствует и дальнейший план тетралогии, доведенной до 1918 года — высшей точки общественного подъема в Нидерландской Индии, которому немало способствовал видный яванский журналист и политик Тирто Адисурьо, предполагаемый прототип Минке.

В то же время очевидна и глубинная связь реалистического произведения Прамудьи Ананты Тура с многовековой культурной традицией яванцев. Речь идет не только о прямых сравнениях главного героя с Панджи — галантным царевичем из средневековых яванских сказаний — или об отпечатке, который наложил на блестящие диалоги романа классический кукольно-теневой театр яванцев — ваянг кулит. Гораздо важнее то, что насильственное замужество красавицы Саникем в духе индонезийской мифологической традиции символизирует насильственный союз яванской земли с незваными пришельцами из-за океана, заключенный с благословения ее малодушных и корыстных раджей. Финал романа перекликается с эпизодом популярной на Яве «Рамаяны», когда Рама не в силах уберечь свою жену Ситу, которая оказывается увезена в заморское царство великанов-ракшасов.

Как будет развиваться действие в дальнейшем, станет ясно из последующих книг тетралогии. А пока можно сказать, что задуманный за несколько лет до ареста, рассказанный в 1973 году соседям по бараку, а в 1975 году переписанный на машинке «Мир человеческий» представляет собой новое слово в индонезийской литературе, которое в состоянии взять за живое как «серьезного», так и массового читателя, столь редко сходящихся во вкусах в нынешней Индонезии.

Б. ПАРНИКЕЛЬ

НЕ ТОЛЬКО ПРО ЛЮБОВЬ

Bel Kaufman. Love. Etc. New Jersey, Prentice Hall, 1979.

Бел Кауфман. Любовь и все остальное. 1979.

Название романа подсказывает: речь пойдет о любви. Ожидание оправдывается сполна. Мы читаем о любви — любви самозабвенной, сча-

стливой, поздней, которая вспыхнула у одинокой и далеко не молодой женщины, много пережившей, повидавшей и потерявшей—в том числе и эту, может быть, последнюю любовь — и все-таки не согнувшейся под тяжестью утраты и разочарований, нашедшей силы жить и дальше. Нечасто в сегодняшней американской прозе встретишь такие исполненные неподдельной страсти и одновременно по-девичьи целомудренные страницы, как в новой книге Бел Кауфман, писательницы и педагога, автора повести «Вверх по ведущей вниз лестнице», выдержавшей в Штатах около полусотни изданий и переведенной на русский язык, и ряда эссе, печатавшихся в «Иностранной литературе».

Роман охватывает совсем недолгий промежуток времени, меньше года в конце семидесятых. Еще короче, всего два-три месяца, история любви пятидесятишестилетней Джессики Прут и Максуэлла Малера. Но эти считанные недели, выпавшие героине как награда за долгие горестные и пустые годы, вызвали в ней такой взрыв чувственного влечения и такую светлую умиротворенность, каких она, пожалуй, и не знала прежде. Это было время большого душевного подъема, оно словно вместило все чистое, романтичное, почти что сказочное, чего не хватало ей всю не очень сложившуюся жизнь.

Любовь угасает быстро и, главное, без видимых причин. Впрочем, недостаточная мотивированность развязки не задевает драматизм состояния героини. Макс — фигура не то чтобы условная или схематичная, но явно недописанная, нераскрытая, если угодно — загадочная и даже темная.

Обаятельный и общительный светский человек, знаток и ценитель искусства и прекрасных вещей, он подвержен необъяснимым перепадам настроений. Он то внимателен, весел, нежен, то озабочен и напряжен до срыва: «Меня осаждают болезни мира». Он держит какую-то контору, много путешествует, то сваливаясь как снег на голову, то исчезая на неопределенный срок. Человек с деньгами, он тем не менее берет у Джессики в долг крупную сумму — и не возвращает ее. Создается впечатление, что его гнетет какая-то тайна, что он боится чего-то. Дипломат, негоциант или просто неудачник, надевающий маску образованного бонвивана?

Как бы то ни было, он, по его словам, не может, не имеет права оставаться с Джессикой. Та чувствует себя не обманутой, нет, а преданной. Ей жаль денег, но разве исчислить цену тех счастливых часов? Свою любовь она не предаст и не забудет.

Помимо «любви» в названии романа недаром присутствует — «и все остальное». Любовь к Максу отнюдь не исчерпывает содержание жизни Джессики Прут. Больше того, может быть, «все остальное» и помогает ей выстоять.

Целый ряд произведений американской литературы минувшего десятилетия показывает любопытную тенденцию плодотворного экспериментирования с романной формой. Формалистические упражнения авангардистов 60-х годов, претендующие то на создание некой автономной сверхреальности, то на полное и бесплодное для обеих сторон отождествление искусства и жизни,— и, с другой стороны, необыкновенно возросшее давление на общественное сознание массовой культуры во всех ее разновидностях побуждают серьезных художников исследовать и показывать действительные возможности литературы.

Поиски такого рода ведутся по-разному и в разных направлениях. В данном случае речь идет о таких произведениях, где самим романным действием ставится проблема факта и фантазии, соотношение правды реальной действительности и прав художественного вымысла.

Работа над очередным жизнеописанием заставляет героя романа «Разные жизни Уильяма Дюбина» Б. Маламуда (1979) иначе посмотреть на собственную судьбу, лучше понять свои начала, надежды и неудовлетворенность, четвертьвековое супружество и беспамятное увлечение молоденькой женщиной.

Изображение трагической судьбы польки, пережившей ужасы нацизма в романе «Софи делает выбор» Уильяма Стайрона [1], добавляет особые социальные краски распаду знакомой вирджинской семьи и самоубийству Пейтон Лофтис, которые воссоздавал в своей первой книге тогда еще начинающий Стинго, рассказчик и двойник автора.

Неприглядные телевизионные картины родной страны и сенсационно-философическое чтиво толкают на такие поступки, о которых не могли и помыслить в нормальных обстоятельствах провинциальные старики у Джона Гарднера в «Осеннем свете», где названная тенденция выразилась наиболее совершенно и непосредственно в отчетливом сопоставлении двух предметов и методов изображения.

В каждом из этих произведений наряду с непосредственной художественной реальностью присутствует опосредствованная, вторая, которая создается героем этого произведения или с помощью другого литературного приема. При известных условиях двойное отражение — книга в книге, роман в романе — глубоко содержательный прием. Как в процессе познания очередной уровень абстрагирования дает в силу законов диалектики возможность полнее постичь суть конкретного явления, поэтическая условность позволяет резче, нагляднее увидеть, что может искусство, как оно функционирует в жизни и как жизнь, в свою очередь, воздействует на него. Жизнью в подобных случаях становится непосредственная художественная реальность.

Тесно и органично взаимопроникают два вымышленных мира у Бел Кауфман. Джессика Прут пишет роман, основанный на реальных событиях ее биографии. Пишет медленно, хотя договорный срок истекает, а вернуть почти десять тысяч аванса она не в состоянии. Пишет тяжело потому, что мучительно переживает перипетии двадцатипятилетнего замужества с Чарльзом Галеном: редкие радости и долгие темные полосы в совместной жизни, взаимное охлаждение, его увлечения на стороне,

[1] Главы из романа опубликованы в «ИЛ», 1981, № 1.

тягостные сцены, тупик, в который зашли их отношения, не менее тягостная процедура развода, состоявшаяся двенадцать лет назад. Несмотря на некоторый писательский опыт — Джессика когда-то выпустила книжку стихов для детей,— ей трудно «преобразить безумный ужас тех дней в достоверный вымысел. Роман должен быть правдивее, чем жизнь, и более упорядочен».

Это двоемирие романа Кауфман определяет его архитектонику. Едва ли не половина текста отдана главам, отрывкам из этого «внутреннего» романа. К ним добавляются несколько десятков рабочих заметок, которые набрасывает героиня по ходу дела, и из них видно, как бьется она над словом и фразой, как ломает сопротивление материала («Надо поддаваться не воспоминаниям, а воображению»), как невольно задумывается над механикой писательской работы. Где кончается она, Джессика Прут, и начинается ее героиня, Изабелла Баршак, по мужу Уэбб? Не чересчур ли много авторской злости вложено в образ Эдгара Уэбба, врача-гинеколога, слишком явно пользующегося спецификой профессии в отношениях с женщинами? Как-никак бывший муж-дантист Джессики вовсе не был таким похотливым и патологически скупым подлецом, каким он предстает в ее изображении, в чем-то была неправа и она, и за ней водились грешки. Выстраивая по канве личного опыта романные ситуации, Джесс с изумлением обнаруживает, что ее персонажи начинают диктовать ей правила игры и даже подсказывают ей кое-что в ее собственных отношениях с Максом.

Изобретательная, если не сказать мастеровитая, композиция книги должна, очевидно, отвечать ее жанру как романа психологического, лирико-исповедального. Лишенный прямого, «объективированного» повествования (исключение составляют некоторые главы «внутреннего» романа, где Джессика прибегает к рассказу «от автора»), он сплавляет воедино различные формы и способы самовыражения: от самых личных, сокровенных, дневниковых записей и рабочих заметок, что ведет Джессика, через доверительные письма приятельнице, до публичного, предназначенного для многих будущего романа героини.

В камерное на первый взгляд пространство книги Кауфман ведут два отчетливых канала информации из внешнего, что называется большого, мира.

Один из них — это письма Нины Мур, когда-то начинавшей в литературной студии, которую вела Джессика. Нина моложе, ей всего тридцать семь, но она тоже разведена, хотя и недавно, и, судя по всему, избежала тех передряг, которые выпали на долю ее бывшей наставницы. Джессика из семейного благополучия скатилась в гордую бедность, а Нина из семейной бедности вознеслась к богатству. Она написала книгу о трудных подростках, о молодежи на дне. «Печальная карусель» попала в бестселлеры, Нина стала знаменитостью — фильм по книге, большие гонорары, интервью, приглашения, лекции, поездки.

Казалось бы, перед нами — еще один вариант достигнутой Американской мечты, воплощенной в характере удачливой и деловой женщины. Однако Нина испытывает острую неудовлетворенность, паблисити может позабавить ее, но успех определенно тяготит. «Я стала собственностью, средством капиталовложений. Курицей, несущей золотые яйца... На плечах успеха несется паранойя».

Настоящий же ее успех — в другом, в десятках и сотнях писем от неблагополучных тинэйджеров. Ей пишут, с ней делятся, у нее просят совета и участия мальчишки и девчонки, подростки и люди постарше. Выдержки из них Нина приводит в своих письмах подруге. Так в романе возникает еще один слой американской действительности: болезненное неустройство молодежи в Штатах.

Один из советских критиков высказал остроумное и тонкое предположение: переписка Джессики и Нины — это как встреча теперешней Бел Кауфман с самой собой, той, молодой, на гребне успеха после «Лестницы». Наверное, так оно и есть, наверное, и эта перекличка входила в замысел писательницы, хотя чрезмерное сближение автора с его персонажами рискованно.

Другой, основной канал из внешнего мира — это, конечно же, совокупная судьба Джессики и Изабеллы. Именно совокупная, так как мы больше узнаем или догадываемся о прошлом Джессики не из ее дневников или писем, заполненных теперешними событиями и переживаниями, а косвенно, отраженно, из ее сочинения, из картин жизни ее героини. Оно повторяется перед нами, это прошлое, страница за страницей, год за годом — от раннего, без особого чувства, замужества из-за беременности и по настоянию державшейся строгих правил матери до бракоразводного процесса, описание которого выдержано в горько-язвительном ключе: юридические хитросплетения и крючкотворство, унизительная тяжба и торг вокруг алиментов и имущества.

Шаткость института брака в Соединенных Штатах, мытарства разведенной немолодой, остающейся, как правило, без средств к существованию женщины — вот в чем социальное звучание личной и семейной драмы Изабеллы и придумавшей ее Джессики. Писательница не ограничивается изображением женщины-жертвы, как это повелось в сочинениях феминисток. Ее героиням трудно выйти из беспредельного одиночества, но они все-таки возрождаются к новой жизни, стараются быть не только женой, матерью, хозяйкой, а прежде всего личностью, человеком.

В одной рабочей заметке кауфманской героини читаем: «Об одиночестве как человеческом состоянии. Все тянутся к кому-то еще. Подростки своими письмами тянутся к Нине... Каждый в своей приватной пустыне взывает о любви и всем остальном». Здесь — ключ к названию романа и лаконичная формула его наиобщего смысла.

Мало-помалу «выздоравливает» от оди-

ночества, находит себя Изабелла, «выздоравливает» от Макса и перемогает разочарование Джессика. «Громкое «да» Вари перевешивает унылое «нет» моей мамы»,— заносит Джессика последнюю запись в дневник.

Одно из действующих лиц в романе — Варвара Александровна Рогова, соседка и знакомая героини.

Неунывающая, шумная, с раскатистым «р», сыплющая при каждом случае пословицами и поговорками (очень любопытны лингвистические эксперименты писательницы по их дословному переводу на английский), она воплощает неиссякаемые положительные эмоции в глазах Джессики, которая, между прочим, тоже не раз и не два называет себя русской и вспоминает киевское детство.

Русская тема и русская речевая стихия — немаловажный и в общем позитивный компонент романа, хотя тут есть издержки стереотипно-юмористического порядка. Неудивительно, что наметившиеся в американской литературе поиски исконных этнических и языковых корней так отчетливо проявились в книге Бел Кауфман, внучки Шолом-Алейхема, который был так тесно связан с российской передовой культурой.

Роман Бел Кауфман — интересная, остроумная, согретая живым чувством книга.

Г. ЗЛОБИН

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

«Избранное» в 2-х томах Вениамина КАВЕРИНА выпустило издательство «Народна култура».
Повесть Константина ПАУСТОВСКОГО «Черное море» вышла в издательстве «Народна младеж».
«Монологи» (юмористические рассказы) Юхана СМУУЛА выпущены издательством «Георги Бакалов».
Издательство «Партиздат» опубликовало роман «Победа» Александра ЧАКОВСКОГО и роман «Поднятая целина» Михаила ШОЛОХОВА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Роман Анатолия РЫБАКОВА «Тяжелый песок» выпущен в издательстве «Аллен Лейн».
Фантастическая повесть Вадима ШЕФНЕРА «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина» опубликована в издательстве «Макмиллан».

ВЕНГРИЯ

Рассказы Исаака БАБЕЛЯ опубликованы издательством «Европа».
Роман Валентина КАТАЕВА «Белеет парус одинокий» вышел в издательстве «Мора».
Роман Константина СИМОНОВА «Дни и ночи» выпущен издательством «Европа».
Роман Василия ШУКШИНА «Я пришел дать вам волю...» вышел в издательстве «Магветё».

ГДР

Издательство «Фольк унд вельт» опубликовало сборник рассказов, фельетонов, очерков Михаила БУЛГАКОВА под общим названием «Я убил» и новеллы Юрия ДОМБРОВСКОГО «Смуглая леди».
Сборник юмористических рассказов Михаила ЗОЩЕНКО вышел в издательстве «Ауфбау».
«Как закалялась сталь» Николая ОСТРОВСКОГО выпущена издательством «Нойес лебен».

ИТАЛИЯ

Избранные произведения Исаака БАБЕЛЯ вышли в издательстве «Гарзанти».
Поэма Александра БЛОКА «Возмездие» опубликована в издательстве «Эйнауди».
Роман Константина ФЕДИНА «Города и годы» выпущен издательством «Бомпиани».

ПОЛЬША

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Кафедра» вышла в издательстве «Чительник».
Роман Сергея ЗАЛЫГИНА «Комиссия» опубликован в издательстве «ПИВ».
Роман Юрия РЫТХЭУ «Сон в начале тумана» выпущен издательством «Искры».

ФРГ

Роман Валентина РАСПУТИНА «Живи и помни» вышел в издательстве «Бертельсман».
Роман Владимира ТЕНДРЯКОВА «Расплата» опубликован в издательстве «Зуркамп».
Сборник произведений Юрия ТРИФОНОВА под названием «Московские повести» выпущен издательством «Лухтерханд».

ШВЕЙЦАРИЯ

Рассказы Александры КОЛЛОНТАЙ под общим названием «Пути любви» опубликованы в издательстве «Штрёмфельд».

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

НОВАЯ РАБОТА ТОМАСА БЕРНГАРДА

Зальцбургское издательство «Резиденц» выпустило книгу «Холод» известного австрийского писателя Томаса Бернгарда. Это автобиографическое произведение рассказывает о нескольких месяцах, которые восемнадцатилетний, затем девятнадцатилетний рассказчик провел в легочной клинике Графенхоф.

Рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Герт Юдинг считает возможным провести параллели между «Холодом» и знаменитым романом Томаса Манна «Волшебная гора». Однако картина, нарисованная австрийским писателем, более тягостна и неприглядна, его критика больничных порядков более резка и бескомпромиссна. Бернгард не отворачивается даже от самого страшного и грязного, от «самых отталкивающих форм человеческого несчастья».

Рассказчик окружен людьми, обреченными на смерть, дома умирает от рака его мать, сам он почти не имеет надежды на выздоровление. Но ошеломляет и поражает в этой книге, по словам рецензента, неуемная любовь к жизни, которую болезнь не только не загасила, а, напротив, обострила и усилила.

Человек, познавший «высшую математику болезни и смерти», не впадает в отчаяние. «Очарованность жизнью» даже в самых жестоких ее проявлениях, бесконечное любопытство к ней — вот что определяет «противоречивую на первый взгляд структуру автобиографического повествования Бернгарда»,— пишет Герт Юдинг.

«Нет никакого парадокса в том, что страдания усиливают волю к жизни»,— утверждает Бернгард. Поэтому его автобиографическая книга — это «проповедь жизни» и одновременно «негативная утопия, радикальная, бескомпромиссная, ужасающе достоверная, написанная с виртуозным мастерством», — заключает рецензент.

АРГЕНТИНА

Во многих картинных галереях Аргентины и других стран Латинской Америки можно видеть полотна мастера современной аргентинской живописи и графики Переса Селиса. Творчество этого художника отличается обостренным интересом к проблемам и тревогам современников. Его жанровые картины привлекают мягкостью колорита, выразительностью пластического решения, динамизмом форм и проникновенным лиризмом.

На снимке: Перес Селис у одной из своих последних картин.

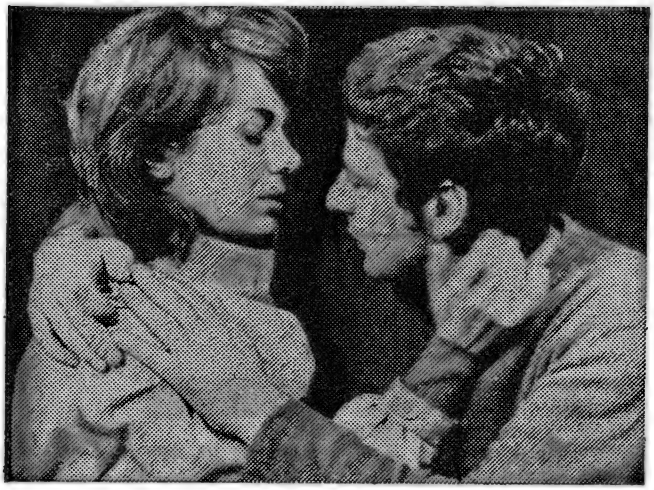
(Журнал «Архентина»)

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ КНИГИ

Объявлены имена лауреатов традиционной премии Союза болгарских писателей за лучшие книги прошлого года.

Премии удостоен известный поэт Димитр Методиев за новый сборник «И запах сладкий», в котором собраны стихи, написанные им за последние пятнадцать лет. К числу самых лирических поэтических книг, появившихся в 1980 году, единодушно отнесла



В театре Народной Армии в Софии с успехом идет спектакль по пьесе Драгомира Асенова «Премия». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях сотрудников инженерно-строительного института. Молодой инженер Благой поставлен перед выбором: он должен или принять участие в присуждении премии негодному проекту, снискав этим благоволение директора, или отстаивать свое профессиональное мнение в ущерб служебной карьере. От этого выбора зависит, встанет ли он на путь постоянных компромиссов или сохранит свое человеческое достоинство, гражданскую принципиальность. Как пишет критик А. Иванова, «пьеса Драгомира Асенова раскрывает нравственную сущность и духовное богатство нашего современника».

На снимке: сцена из спектакля «Премия».

(Бюллетень «Болгарские горизонты»)

этот сборник болгарская критика.

К славному юбилею — 1300-летию болгарского государства, который торжественно отмечается в этом году, приурочен сборник стихов для детей Николая Зидарова, так и озаглавленный «Тысяча триста весен».

Роман Кирилла Войнова «Остатки урожая» рассказывает о молодости человека, прожившего нелегкую, но достойную жизнь. Критика относит его к бесспорным удачам автора, которому есть что сказать и который говорит об этом непринужденно и сердечно.

Роман Костадина Колюмова «Дождаться солнца» — в сущности художественная биография известного болгарского партизана Ивана Козарева. Писатель сумел создать в нем яркий, масштабный и романтически-возвышенный образ легендарного героя, не погрешив при этом против жизненной правды.

Тема антифашистской борьбы нашла свое отражение и в пьесе Кольо Георгиева «Сине-белый иней», где речь идет о нравственном выборе, который должны сделать люди, оказавшиеся в трагической ситуации.

Встреченная с большим интересом, книга Климента Цачева «Начало пути» восстанавливает новейшую историю болгарской литературы, то бурное время, когда в нее вступали многие современные поэты, прозаики, критики.

ВЕНГРИЯ

«СМЫСЛ БЫТИЯ И СТРАСТНОСТЬ СЛУЖЕНИЯ»

Так называется новая книга венгерского писателя, лауреата премии Аттилы Йожефа Отто Майора.

Отто Майор работает в различных жанрах. Он вступил в литературу сорок лет назад, в 1943 году у него вышла первая книжка — сборник стихов «В тысячах образов». В течение 1955—1956 годов внимание венгерских читателей было приковано к его семитомному историческому роману «Венгерский Атлант», воссоздающему широкую панораму жизни венгерского общества первой половины XX века.

Отто Майор — автор сборника рассказов «Игра с зеркалами» и повести «Школа Петера Добаи».

В последние годы Отто Майор много и увлеченно работает как публицист, эссеист, театральный критик. Работы этого плана и составили книгу «Лица и маски», вышедшую пять лет назад в издательстве «Сепиродалми» и имевшую большой успех у читателей.

Книга «Смысл бытия и страстность служения», выпущенная тем же издательством, является как бы ее продолжением. Она состоит из нескольких тематических частей. Так, например, в первую часть под названием «История — каждому» вошли портреты и эссе Отто Майора о видных деятелях рабочего, революционного, антифашистского движения. Здесь же интересные эссе о Томасе Манне, Толстом. Вторую часть составляют литературные портреты венгерских писателей.

Страстный любитель, знаток и поклонник театра, Отто Майор систематически выступает в печати с откликами на театральные постановки. Они объединены в книге в две самостоятельные главы и рисуют всеобъемлющую картину театральной жизни Венгрии 1974—1976 годов.

Проникновенно написал Отто Майор о спектаклях-инсценировках по произведениям советских писателей Василия Шукшина, Федора Гладкова и рассказам Михаила Шолохова.

Последний раздел книги составляют интервью, которые брал Отто Майор у писателей, и интервью, которые он давал журналистам. Эти беседы-интервью, собранные вместе, читаются как своеобразный исторический очерк

о времени, его вопросах и проблемах, людях этого времени с их взглядами, мечтами, надеждами.

ГДР

НОВОЕ О БЕХЕРЕ

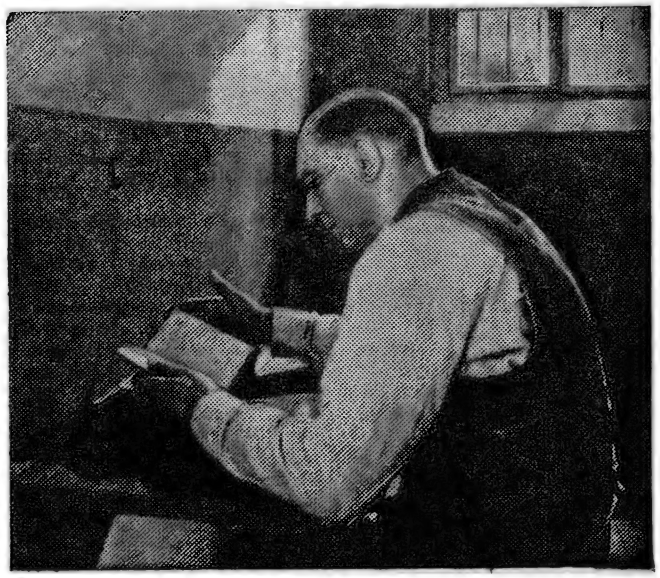
Исполнилось 90 лет со дня рождения Иоганнеса Р. Бехера — выдающегося немецкого поэта, прозаика, публициста, общественного деятеля, одного из основоположников немецкой социалистической литературы. Это событие было отмечено в ГДР торжественными собраниями, литературными вечерами; Центральный институт истории литературы при Академии наук ГДР готовится провести в конце текущего года большую международную научную конференцию, посвященную наследию Бехера. К юбилейной дате завершен выпуск Собрания сочинений Бехера в 18-ти томах; в него вошли шесть томов поэзии, тома «малой прозы», романы «Люизит» и «Прощание», драматические произведения, в частности драма «Битва за Москву» (написанная автором зимой 1941—1942 гг.), цикл литературно - теоретических работ под общим названием «Опыты» и, наконец, четыре тома публицистики. Собрание сочинений вышло в издательстве «Ауфбау»; над подготовкой текстов, их комментированием работали научные сотрудники Архива Иоганнеса Р. Бехера при Немецкой академии искусств при участии большого коллектива литературоведов. В Собрание сочинений включены многочисленные поэтические и публицистические произведения Бехера, разбросанные по многим сборникам, журналам, отчасти остававшиеся при его жизни в рукописи. Некоторые статьи Бехера, опубликованные в советской печати в годы его пребывания в эмиграции, были найдены составителями в книгохранилищах СССР и стали известны немецким читателям впервые.

Живой интерес читателей ГДР вызвала новая книга, вышедшая под общей редакцией и с предисловием исследователей творчества поэта, Ильзы Зиберт и Рольфа Хардера: «Бехер и Инзель». «Инзель» («Остров») — название крупного лейпцигского издательства, где печатались в начале века многочисленные выдающиеся произведения немецкой (и иностранной, в том числе русской) литературы. Владелец издательства «Инзель» профессор Антон Киппенберг и его жена Катарина заинтересовались творчеством Бехера еще в те годы, когда он был начинающим поэтом-экспрессионистом, с трудом пробивался в литературу и после разрыва со своим консервативно-бюргерским семейным окружением тяжело бедствовал. Издательство «Инзель» поддержало молодого поэта-бунтаря материально и морально, предоставило ему трибуну, выпустило в 1918—1924 гг. шесть сборников его стихов. Переписка Бехера с супругами Киппенберг, впервые опубликованная в новой книге, представляет большую ценность: поэт делился своими творческими планами, высказывался по волновавшим его вопросам литературного творчества. Общение Бехера с А. и К. Киппенберг, прервавшееся в 20-е годы, когда он стал печататься в коммунистических издательствах, возобновилось после краха третьей империи и возвращения поэта из эмиграции на родину. Бехер не забыл о той помощи, которую оказало ему издательство «Инзель» в трудные для него годы, и продолжал высоко ценить вклад руководителей этого издательства в развитие

Телефильм «Следствие по делу» режиссера Лотара Беллага, посвященный Эрнсту Тельману, рисует напряженные события марта 1933 года, когда нацисты попытались инсценировать против вождя немецких коммунистов судебный процесс. На страницах журнала «Фильмшпигель» актер Луц Риман рассказывает о своей работе над образом Тельмана — для него было главным создать не памятник, а передать живые черты Тельмана, который умел любить и ненавидеть, мог быть и добрым, и суровым. «Я прочел много фактического материала о Тельмане, но мне хотелось знать, как он говорил, как чувствовал. В этом мне помогли его письма, адресованные жене, дочери, отцу и молодому соседу по камере в Бауцене, речи и высказывания Тельмана».

На снимке: Луц Риман в роли Эрнста Тельмана в фильме «Следствие по делу».

(Журнал «Фильмшпигель»)



немецкой гуманистической культуры XX века; находясь на посту Президента демократического Культурбунда, он сделал все от него зависящее, чтобы включить издательство «Инзель» в дело строительства новой культуры демократической Германии. В этом издательстве, которое и теперь носит имя Антона Киппенберга (ныне покойного), и вышла книга «Бехер и Инзель».

ИНДИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ Х. А. АББАСА

Как сообщает газета «Джан юг», на экранах индийской столицы и других городов Северной Индии с огромным успехом демонстрируется новый фильм известного прогрессивного писателя и режиссера Ходжи Ахмада Аббаса «Наксалиты».

Термин «наксалиты» в общественно - политическом лексиконе Индии появился немногим более десяти лет назад, после вооруженного выступления безземельных крестьян из различных племен, населяющих район Наксалбари в северной части штата Западная Бенгалия, весной 1967 года. Наксалитами называются крайне экстремистские элементы в левом движении Индии, которые видят в терроре единственное средство низвержения социального зла и утверждения социальной справедливости. Объективно наксалиты нанесли серьезный ущерб левому движению в стране.

«Ходжа Ахмад Аббас своими фильмами всегда откликается на актуальные социальные проблемы современности, — пишет рецензент. — Еще одним убедительным свидетельством этому может служить его последняя работа: фильм «Наксалиты» — впечатляющий рассказ о борьбе против феодальной эксплуатации и гнета».

В своей картине Х. А. Аббас раскрывает те причины, которые заставляют людей браться за оружие и приводят их в ряды наксалитов. Вот деревенский юноша, которого местный заминдар, отняв его жилище и последний клочок земли, оставляет без крыши над головой и без средств к существованию; вот сын полицейского инспектора, который, насмотревшись на произвол, чинимый отцом, отправляется искать справедливости к наксалитам; вот репортер, который откладывает перо и берется за винтовку; вот больной туберкулезом рикша, вынужденный и в зной, и в холод из последних сил нажимать на педали коляски; вот, наконец, девушка-студентка, которая идет к наксалитам, чтобы мстить за погибшего от рук полиции брата... Их было много — молодых, горячих, готовых к подвигу и самопожертвованию людей, для которых участие в движении наксалитов обернулось подлинной трагедией.

«Создав фильм на такую сложную тему, — отмечается в рецензии, — Х. А. Аббас проявил гражданскую смелость, он показал произвол и эксплуатацию, которым подвергаются беднейшее крестьянство и рабочий класс. Он вскрыл те социальные условия, которые, делая людей «бунтовщиками», приводят их в стан наксалитов».

В условиях раскола левых сил Индии фильм «Наксалиты», созданный Х. А. Аббасом, привлек внимание широких кругов индийской общественности.

ИРЛАНДИЯ

ШЕЙМАС ХИНИ — ИРЛАНДСКИЙ БАРД

В связи с выходом в США двух сборников стихов и тома избранной литературно-критической прозы Шеймаса Хини еженедельник «Ньюсуик» поместил большую статью о творчестве известного ирландского поэта. В нашем веке, пишет обозреватель еженедельника, три ирландца — прозаик, поэт и драматург — внесли свою огромную лепту в упрочение славы британской литературы — Джеймс Джойс, Уильям Батлер Йитс и Бернард Шоу. Теперь к их именам английские и американские критики все чаще добавляют имя Хини, которого выдающийся американский поэт XX века Роберт Лоуэлл назвал «лучшим ирландским поэтом после Йитса».

Хини — ему сейчас сорок один год — вошел в литературу в период так называемого «ирландского возрождения» 1970-х годов, когда о себе заявила целая плеяда талантливых ирландских поэтов. В немалой степени это «возрождение» было обусловлено трагическими событиями в Ольстере, которые существенно повлияли на духовное становление молодого поколения поэтов. Хини стал непосредственным свидетелем ольстерской трагедии, до 1972 года он жил в Белфасте, а потом переехал в Дублин. Однако этот отъезд из родного города не означал, что поэт сдался, добровольно отвернулся от животрепещущих политических проблем. В его стихах, написанных в 70-е годы, отразились серьезные и мучительные раздумья о родине, о полной драматизма судьбе его народа. Наиболее значительным из того, что создал в истекшее десятилетие «ирландский бард», является сборник «Север» (1975) — ряд стихотворений вошел в американское издание его стихов, — где ольстерские события осмысливаются поэтом в далекой исторической перспективе: эта книга представляет собой политическое исследование истории Ольстера от эпохи вторжения викингов и вплоть до ввода туда контингентов английских войск.

Хини считает себя не только политическим поэтом, он ставит перед собой задачу более емкую, стремясь к философскому осмыслению и воссозданию «живого и трудно постигаемого духовного опыта ирландского народа». Главный же смысл своего творчества Хини, по его словам, видит в том, чтобы разрушить «стеклянную стену, которая отделяет наше собственное «я» от чужих страданий».

ИТАЛИЯ

ПОЭЗИЯ КОМИКА ТОТО

«В личной жизни он был нежным, романтическим, страстным, полной противоположностью той вихляющейся, издевающейся марионетке, каковой являлся на экране», — так пишет газета «Паэзе сера» о знаменитом комике Тото, запомнившемся зрителям далеко за пределами Италии прежде всего по виртуозному исполнению роли вора Фердинандо Эспозито в фильме «Полицейские и воры».

У себя на родине потомок неаполитанского княжеского рода Антонио Де Куртис (таково настоящее имя Тото) известен не только как комический актер, но и как поэт-лирик.

В настоящее время на основе двух поэтических сборников Де Куртиса в Неаполе, на родине выдающегося актера, создан поэтический спектакль «Антонио Де Куртис под именем Тото». Премьера совпала с конференцией, посвященной актерскому мастерству Тото. Стихи положены на музыку композитором Франко Нино, их поет известная исполнительница неаполитанских песен Нина Чиприани.

Негромкие звуки гитары и скрипки, неброские костюмы соответствуют «негромкой» поэзии Де Куртиса. Исполнение стихотворений перемежается демонстрацией отрывков из фильмов с участием Тото, которые становятся своеобразным контрапунктом этого представления.

Спектакль, по мнению рецензента «Паэзе сера», рельефно воссоздает портрет Антонио Де Куртиса — во всей его полноте, в единстве его поэтического и актерского творчества.

Следует отметить, что почти одновременно с этим спектаклем итальянское телевидение демонстрировало серию фильмов с участием выдающегося комика под общим названием «Планета Тото», а миланское издательство Рускони выпустило книгу Джанкарло Говерни «Жизнь Тото (неаполитанского князя и великого актера)».

На снимке: Антонио Де Куртис (Тото)

(Газета «Паэзе сера»)

КОСТА-РИКА

«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ»

Как сообщает журнал «Ат-Тарик», в Бейруте вышел сборник статей известного ливанского писателя-новеллиста и критика Мухаммеда Ибрахима Дакруба под названием «Новая литература и революция». Сборник включает ряд статей по вопросам теории литературы и литературной критики, интервью с писателями, поэтами и деятелями культуры и много других ценных материалов. В числе материалов сборника статьи «Литература, искусство и критика в освещении Энгельса и Ленина», «О культурной революции и наследии прошлого», «Мысли о социалистическом реализме, о положительном герое и «завербованности».

КНДР

Популярный в стране художественный ансамбль «Мансудэ» поставил музыкально-хореографический спектакль «Песня о вольном крае», в котором рассказывается о людях труда.

На снимке: выступление ансамбля.

(Театральный «Бюллетень»)

ЛИВАН

«ПОДСОЛНЕЧНИК»

Бейрутское издательство «Дар аль-Фараби» опубликовало роман Сахар Халифы «Подсолнечник». Роман является второй частью дилогии палестинской писательницы, живущей в г. Наблус на оккупированном Израилем Западном берегу Иордана. Первая часть дилогии — роман «Кактус» — имел большой успех и был переведен на французский, английский и иврит.

Если в романе «Кактус» рассказывалось о жизни и борьбе палестинцев Западного берега в первые годы израильской оккупации, то действие романа «Подсолнечник» развертывается уже в семидесятые годы. Арабская пресса высоко оценивает новое произведение С. Халифы.

ЛИВИЯ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ АХМАДА ИБРАХИМА АЛЬ-ФАКИХА

Совместное ливийско-тунисское издательство «Ад-дар аль-арабийя лильктаб» выпустило новый сборник рассказов известного ливийского писателя-новеллиста Ахмада Ибрахима аль-Факиха под названием «Ты приходишь подобно воде и уходишь подобно ветру».

Лирические, овеянные дымкой романтики рассказы аль-Факиха посвящены жизни современной Ливии. Они пользуются успехом не только на родине автора, но и в других арабских странах.

МАРОККО

«КУСАЮЩИЕ ЖЕЛЕЗО»

Как сообщает журнал «ИБЛА», издательство «Дар аль-китаб» в Касабланке выпустило в переводе на французский язык сборник новелл Мохаммеда Азиза Лахбаби «Кусающие железо».

Крупный марокканский философ, поэт и писатель М. А. Лахбаби создает свои произведения как на арабском, так и на французском языке. Его новеллы на арабском языке, вошедшие в сборник «Кусающие железо», отличаются социальной направленностью и сатирической остротой. На французский язык новеллы перевел востоковед-арабист Морис Борман.

НИКАРАГУА

«НА ЗЕМЛЕ САНДИНО»

Так называется новый документальный фильм, поставленный кубинским режиссером Хесусом Диасом, который ранее приобрел известность киноленто «55 братьев».

«Съемки фильма, — сказал Х. Диас в интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде», — были осуществлены по горячим следам никарагуанской революции 1979 года». Киноленто повествует о первых ее преобразованиях в разных областях жизни народа этой страны.

Действие фильма начинается в городе Масае, жители которого вписали немало незабываемых страниц в историю многовековой героической борьбы никарагуанского народа за национальную независимость. Кинокадры запечатлели ныне возобновившиеся традиционные народные празднества, запрещенные в период одной из самых жестоких в Латинской Америке диктатур — тирании правителей семейства Сомосы.

Проходящий через весь фильм образ никарагуанского огнедышащего вулкана Масаи становится как бы символом тех коренных перемен, которые принесла с собой революция, — символом разрушения многовековых устоев основанного на эксплуатации общества и наступления эры обновления в стране, за освобождение и социальный прогресс которой боролся и погиб ее национальный герой А. Сандино.

В центре второй части — один из эпизодов развернувшейся в Никарагуа классовой борьбы: крестьяне требуют от владельцев кофейных плантаций не только повышения оплаты их изнурительного труда, но и решительных перемен в их тяжкой жизни.

Третья часть киноленты представляет собой репортаж с урока кубинской учительницы Нерейды Орты Венто, прибывшей в Никарагуа для оказания помощи братскому народу в кампании по ликвидации неграмотности.

«Наш фильм, проникнутый идеями интернациональной солидарности, посвящен памяти выдающегося сальвадорского поэта Роке Дальтона, предательски убитого ультраправыми экстремистами», — сказал в заключение Х. Диас.

По мнению рецензента газеты «Хувентуд ребельде», «великолепно снятый операторами Адриано Морено и Гильермо Сентено фильм Х. Диаса «На земле Сандино» стал заметным явлением в латиноамериканской кинематографии, ибо анализ революционной никарагуанской действительности сочетается в нем с историческим подходом в освещении народной жизни».

На состоявшемся в Лейпциге в 1980 году XXIII Международном фестивале документальных фильмов киноленто была удостоена приза «Серебряный голубь».

ПОЛЬША

ПЕВЕЦ СИЛЕЗИИ

В августе нынешнего года исполнилось 90 лет со дня рождения «певца Силезии» Густава Морцинека (умер в 1963 г.).

Сын шахтера из Карвины, он всю жизнь оставался верен душой и сердцем шахтерам, которые после трагической смерти отца Густава Морцинека приютили его и помогли получить образование. Это им он посвятил большинство своих рассказов и романов.

Уже своим первым сборником рассказов, вышедшим в 1929 году, «Сердце

за преградой», Густав Морцинек привлек к себе внимание читателей и критики. В сборник вошло пять рассказов из жизни шахтеров. Высокую оценку получила его следующая книга — «Вырубленный штрек» (1931—1932), рисующая сопротивление силезцев германизации края, национальному угнетению накануне первой мировой войны. Морцинек дает в этой книге широкую панораму жизни шахтеров, описывает национальные и политические конфликты, силезские восстания. Критика отмечала, что в этом романе писатель создал галерею прекрасных образов силезских горняков.

Жизни шахтеров посвящены и другие книги Густава Морцинека. Лучшим романом тех лет является роман «Вывороченные камни» (1937).

Плодотворную деятельность писателя прервала вторая мировая война. Густав Морцинек с 1939 по 1945 год находился в гитлеровских лагерях Заксенхаузен и Дахау. Все пережитое им в этих лагерях нашло отражение в его книгах «Письма из-под Морвы» и «Девушка с Елисейских полей».

В народной Польше Морцинек, депутат Сейма, деятель польского комитета защитников мира, становится видным общественным деятелем. После войны он создает роман-хронику о столетней истории революционного движения на одной из шахт, «Пласт Иоанны», за который ему была присуждена государственная премия, исторический роман «Ондрашек» о легендарном силезском разбойнике, защитнике крестьян, и многие другие. Его последний роман «Горняцкое братство» описывает жизнь трех поколений шахтерской семьи.

Писатель широко использовал в своих произведениях силезский фольклор, отличным знатоком которого он был, он воспевал самоотверженность, трудолюбие и мужество жителей Бескид. И как отмечают критики, творчество Густава Морцинека сыграло огромную роль в «раскрытии» образа Силезии в сознании польского читателя.

США

«ВЫМЫШЛЕННЫЕ МЕМУАРЫ»

Через десять лет после своей книги «Мэрилин. Биография» Норман Мейлер вернулся к образу Мэрилин Монро, оставшейся в сознании американцев символом женственности и успеха, воплощением «американской мечты», притягательным мифом.

«Талант Н. Мейлера, — пишет рецензент американского журнала «Сатердей ревью» Мэрилин Фрэнч, — состоит в способности проникать в сущность мифа. Именно эта способность анатомировать национальный миф явилась причиной множества нападок, которые вызвала первая книга писателя о Мэрилин Монро. Многие соотечественники были возмущены его стремлением вскрыть трагическую реальность, которая невольно разрушала очарование тайны, притягательность мифа».

М. Фрэнч пишет о том, что все творчество Мейлера может быть воспринято как исследование американских стереотипов мировосприятия. Так, например, роман «Почему мы во Вьетнаме?» исследует «мифы мужчин», «гротескные, проникнутые насилием стороны доминирующей культуры». В своей новой книге о М. Монро, как и в предыдущей книге о ней, Н. Мейлер рисует ее жертвой этой культуры, «ориентированной, — по словам М. Фрэнч, — на силу и подавление личности». «Женщины и их элегантность» — романтическая повесть о

На снимке: Мэрилин Монро (редкий снимок).

(Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью»)

Монро, которую сам Мейлер назвал «вымышленными мемуарами», написанная в форме ее монолога. Она — главный персонаж повествования, его второстепенные герои — Джо Димаджио (один из мужей Моиро, «звезда» бейсбола), Артур Миллер и Лоуренс Оливье. Значительная часть книги посвящена размышлениям Монро о туалетах, косметике, размерах собственного тела, то есть о том, что она во многом уже думает о себе как об объекте рекламы, товаре на продажу.

По мнению М. Фрэнч, Н. Мейлер блестяще справился со своей задачей. «Мир, который он видит: извращенный, жестокий, полный насилия, безумный и уродующий, — это знакомый мне мир, мир, который вижу и я... В своем университетском курсе «Женщины в литературе» я предлагаю студентам прочесть роман Н. Мейлера «Американская мечта». Обсуждение этой книги свидетельствует о том, что студенты разделяют видение писателя, восхищаются глубиной его умения проникнуть в суть американских мифов», — пишет в заключение М. Фрэнч.

Рецензент ведущего американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» Лэрри Макмэрфи высказывает точку зрения, близкую мнению М. Фрэнч. Как и она, он указывает на то, что само название книги — «Женщины и их элегантность» — не совсем удачно отражает ее существо. Критик считает, что во второй книге Н. Мейлера текст и иллюстративный материал плохо сочетаются. По мнению рецензента, не всегда убедательно звучит то, что говорит о своих чувствах героиня, но неизменно достоверно ее чувство неуверенности в себе, сознание обреченности собственных надежд.

ТУНИС

«ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ»

Туниссное издательство «Дар Бу Салама» выпустило две новые книги прозаика Мухаммеда Бен Ашура. Первая из них — повесть под названием «Любовь в древнем городе», вторая — сборник рассказов «О люди, не разговаривайте!».

Рецензент журнала «Альфикр» отмечает, что в своих небольших по объему книжках автор отражает проблемы развивающегося тунисского общества.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова**. Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3.VI.81. Подписано в печать 15.VII.81. А 04745, формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая, 17 п. л., (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 28,9.

Тираж 525.000 экз. (1-й завод: 1—400.000 экз.). Зак. 1904.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цветок Маскаля

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394